

ДЕТИ ВРЕМЕНИ

МЕСТЕЧКО
СЕГЕЛЬФОРС



КНИГА ТАМ СУН

КНИГА
ТАМ СУН

КНУТ
ГАМСУН

KNUT
HAMSUN



КНУТ ГАМСУН

ДЕТИ ВРЕМЕНИ

**МЕСТЕЧКО
СЕГЕЛЬФОСС**

Романы

Москва
«Эй-Ди-Лтд»
1994

ББК 84.4.Нр
Г18

Художественное оформление
Б.М.Кравченко

При подготовке оригинал-макета использовались
программные продукты АО «Параграф-Интерфейс»

Тел. (095) 299-75-69, 299-79-23

Факс (095) 923-52-53

Гамсун К.

Г 18 Дети времени. Местечко Сегельфосс. Романы /
Пер. с норв.— М.: «Эй-Ди-Лтд», 1994.— 496 с.

ISBN 5—85869—042—4

В романах «Дети времени» (1913) и его продолжении «Местечко Сегельфосс» (1922) К. Гамсун рассказал историю возникновения и заката двух богатых семейств. Отношения владельца поместья Сегельфосс лейтенанта Виллаца Хольмсена и его жены фру Адельгейды — это характерные для многих гамсуновских персонажей отношения любви и взаимного отталкивания, своего рода любви-вражды, которая коверкает их жизни, приводит к разрыву.

ББК 84.4 Нр

ISBN 5—85869—042—4

© «Эй-Ди-Лтд», составление, 1994

**ДЕТИ
ВРЕМЕНИ**



Вся эта местность некогда составляла одно имение, а поместье Сегельфосс было господской усадьбой. По понятиям норвежцев Сегельфосс был большим поместьем, с его скотным двором в пятьдесят коров, с его лесопильней, кирпичным заводом, мельницей и лесом, простиравшимся на многие мили. Жизнь кипела ключом в поместье с его многочисленной челядью: служанками, работниками и торпарями. Рогатого скота держали в изобилии, много было лошадей и собак, кошек и свиней, а вдоль всей задней стены амбара тянулась постройка для кур и гусей.

— Да, привольно жилось здесь в те времена,— говорили старые люди, помнившие еще с детства рассказы родителей.

Владел поместьем Виллац Хольмсен, тучный, скупой господин, бывший прежде работником. Он скупал участок за участком по дешевой цене и, наконец, стал владельцем большого поместья. Он завел также торговлю, выстроил яхты, кирпичный завод, мельницу,— все полезные предприятия. Хотя Виллац Хольмсен был норвежец, как мы все, но он носил мундир и говорил по-датски. На осенние и весенние заседания суда он являлся в золотых галунах и с саблей. Он умел читать и писать, был судьей и судил по норвежским законам.

Жена его была неизвестно откуда родом: из Голландии или Гольштинии, может быть, из Швеции,— одним словом, неизвестно. Она прежде также была служанкой и приобрела многие барские замашки. От Сегельфосса проделали широкую дорогу нарочно, чтобы она могла ездить в церковь в карете. Да, то были богачи и все богатели с течением времени, и нет сомнения, что господин Виллац Хольмсен зарыл свои деньги в землю, потому что, дорогие мои, еще долго после его смерти его призрак бродил по кирпичному заводу.

Но когда старики рассказывали о поместье, они, прежде всего, начинали говорить о старшем сыне Виллаца

Хольмсена — Виллаце Хольмсе втором. Это был настоящий большой барин. Рыбные промыслы и яхты он забросил, как вещи, в которых ничего не понимал и не интересовался, но он выстроил новый помещичий дом в своем имении, украсив его колоннами и башнями, построил оранжерею, вырыл пруд для лебедей в парке и устроил площадки для игр всех национальностей. Теперь на месте пруда — луга, а площадки вспаханы под хлеб.

Этот Хольмсен превратил Сегельфосс в чудную усадьбу; он устроил картинную галерею, другую комнату наполнил книгами с пола до потолка. Обеденный стол всегда был украшен цветами и сервирован массивным серебром, а по всем покоям стояли мраморные и бронзовые статуи. Когда его жена проходила мимо прислуги, та вставала и стояла, пока «хозяйка» не пройдет мимо. У нее были собственные поместья в Швеции; она говорила по-французски и держала при себе горничную. Если люди в те времена задавали тон, так задавали всюду. У хозяина и хозяйки в Сегельфоссе был свой камердинер, свой кучер и свои комнаты у каждого. Они даже не могли одеться сами, да им в этом не было и надобности.

— Надень на меня жилет! — говорил господин Виллац Хольмсен утром камердинеру.

— Причеси меня! — приказывала хозяйка горничной.

Да, то были знатные господа. Несколько странная пара, но в то же время окруженная ореолом.

В первые года они редко бывали в Сегельфоссе; осенью укладывали десять сундуков, и владельцы уезжали за границу с детьми; весной возвращались с детьми и еще большим количеством сундуков и украшали дом всей этой роскошью. Потом они стали жить чаще в поместье.

Помещик уверял, что это вовсе не из экономии, а просто потому, что он и жена его побывали повсюду, и им надоело ездить. Для троих детей — двух девочек и мальчика — держали гувернантку и учителя, обучавших детей всему, и в имении находился тот же обширный штат прислуги.

Странно было только, что помещик продал несколько хороших лесных участков.

Он говорил, что его побуждает вовсе не нужда в этих деньгах, в этих медных грошах, а он сознает, что с годами ему становится тяжело управлять таким обширным поместьем. Если он говорил так, то значит так и было; помещик никогда не лгал, да и не имел к тому надобности. Злые языки уверяли, будто он в последние годы начал искать

клад, зарытый отцом. Но это значило не знать господина Виллаца Хольмсена, настоящего богатого хозяина.

Умер помещик в горах, печальной смертью, вдали от своих, лежа на вереске, и при нем были только восемь человек рабочих, сопровождавших его в поездке для отыскания места новой большой запруды. Рабочие принесли его домой на носилках. Жена его, увидав носилки, задрожала, крикнула что-то по-французски своей горничной и упала без чувств. Камеристка побежала за флаконом. Старуха осталась теперь одна. Дочери ее были замужем за богатыми помещиками в Швеции, а сын, Виллац Хольмсен третий, учился в кадетском корпусе. Весной он должен был кончить курс и вернуться домой.

Прошла зима. Наступила весна, и Виллац Хольмсен третий вернулся домой. Старожилы еще хорошо помнят его, хотя уже прошло много лет со времени его смерти. Сестры его получили в наследство имение в Швеции, ему же достался Сегельфосс со всеми его землями. Он не производил большого впечатления своей наружностью; он был гордый и молчаливый человек и уже женат; он вел такой же широкий образ жизни, как его родители. Хотя он совершил за свою жизнь несколько значительных дел, однако, прожил без блеска. Да и что мог бы сделать человек с такой ограниченной властью? Карьера его была испорчена; отец оставил ему в наследство значительный банковый долг; мать поспешила уехать к дочерям в Швецию; они все стали шведками и больше не возвращались домой. Таким образом, он остался один. Уважения окружающих он должен был добиться сам, и он добился глубокого уважения. Любовью местных жителей он не пользовался, но внушал к себе большое почтение; его называли просто поручиком, да другого чина у него и не было, — но относились к нему, как к генералу.

Об этом-то человеке и нескольких других пойдет речь в этой книге.

Хотя Виллац Хольмсен третий и не был настоящим богачом, а между тем его уважали больше всякого другого из владельцев Сегельфосса. Поручика странно видеть не на службе, но он справлялся с ролью помещика. В молодые годы он был безмерно горяч и упрям — это правда. Но вместе с тем поручик имел и почтенные качества. О них ходят рассказы в местности, где он жил. По мере того, как пробуждалось его любопытство, росли и его способности. Как описывал его пастор Виндфельд? Как сумасброда и крикуна. Но так маленький пастор понимал: эту

оригинальную личность. Поручик был образованный человек и с годами сумел обуздать свою вспыльчивость, как философ, и это произошло не от старости или отупения, а от его решимости. Что же заставило его измениться? Закон? Может быть, он преклонил перед ним колени? Он был третьим звеном в богатстве и роскоши, но цепь замыкалась им. Но колени он не преклонил,— человек такого склада всегда устоит на ногах.

Он женился в Ганновере на девушке, проведеншей детство в Дании, откуда ее мать была родом. Она была дочерью полковника и не обладала оригинальной наружностью; лицо ее не было особенно оживленно, но она была стройна и ловка, имела красивые руки и всем нравилась голосом и улыбкой. Так как она знала датский язык с детства, то язык не представлял для нее трудностей, и она могла свободно объясняться на нем, только изредка с трудом подыскивая выражения. У нее был хороший слух, и она знала много языков.

Она была хорошей наездницей и смело ездил на своем коне, и, так как она происходила из дворянского рода, то пользовалась уважением, и ей жилось недурно. Она не имела дела с работницами, они молчали в ее присутствии, и со своими поручениями и требованиями обращалась к экономке, иомфру Сальвезен.

Люди не понимали, почему она вышла за поручика; не было ли в ее прошлом ложного шага? Нет, невозможно. Тогда и скучный маленький Виллац Хольмсен не присватался бы к ней. Тут была иная причина. Жена привезла в дом гордого верхового коня, и кроме него — ничего; ни сундуков, ни чемоданов, ни ящиков с вещами; она была совсем бедна и пришла с пустыми руками,— за то ее и взял поручик. Этого объяснения было достаточно. А между тем не мешало бы, если бы она принесла кое-что в Сегельфосс. Потому что дела шли плохо. Поручик был изобретателен, но поместье медленно приходило в упадок. Он, как прежде вел хозяйство в имении и на кирпичном заводе, даже, может быть, лучше, но времена изменились, и хозяйство себя не окупало. Мельница стала; плотину, начатую покойным отцом, он не только не расширил, но совсем забросил, и она совершенно разрушилась. Муку для себя он покупал в Бергене.

Все считали его чудачком за то, что он не поправил мельничную плотину. Покойный отец не задумался бы над этим. Он не унаследовал хорошую семейную черту от своих предков, этих богачей, повелевавших по-отечески

своими слугами и торпарями: иначе этому Виллацу Хольмсену жилось бы самому хорошо, и не был бы он таким беспомощным.

Так как лес стоял нетронутый, то он начал продавать его и вздумал выплатить долги.

— Я послал всех рабочих и рыбаков в лес,— сказал он жене.— Я дам им хорошую плату.

Обстоятельства помогли ему. Стояла зима, и у народа не было заработка до начала рыбной ловли; работы в лесу пришлось кстати.

— Допустил бы это твой отец? — спросила жена.

Поручик отвечал:

— Конечно.

— Когда он продал пять участков из Сегельфосса, много лесу было в них?

— Отец сделал хорошо,— ответил поручик,— он округлил поместье, оно становилось слишком велико для его стареющих сил. С нас еще хватит.

Больше об этом у супругов не было разговоров, и каждый остался при своем мнении. Жена написала, наконец, своему отцу в Ганновер, и объяснила ему положение дел, но тот отвечал, что при существующих ценах на лес было ошибкой свозить лес в поместье.

— Вовсе нет,— отвечал поручик, и его маленькая рука, державшаяся за пуговицу, вся побледнела.

Так он был упрям и стоек.

Жена, фру Адельгейд, была неглупа и оценила предприятие. Хотя она была вспыльчива и большая спорщица, но, будучи немкой по происхождению, имела практический ум. Это она показала не раз в хозяйственных делах.

Поручик был также хороший ездок, и не проходило дня, чтобы он не ездил верхом. Но, между тем, как жена скакала по окрестностям в амазонке, спускавшейся на стремена, и часто в сопровождении лопаря Петтера, в качестве рейткнехта, поручик ездил большей частью без провожатого, он был ему не нужен. Он сидел в своем мундире без эполет и сабли; сидя прямо, опустив глаза и погрузившись в мысли, или предавшись покою. Губы его были твердо сжаты, что тоже указывало на упорство.

Однажды летом жена поручика села рисовать развалины разрушенной мельничной плотины. Поручик вернулся домой в сопровождении нескольких человек; губы его были плотно сжаты; по-видимому, он был чем-то озабочен. Он спросил жену:

— Сколько времени тебе еще понадобится, чтобы закончить картину?

— Разве ты не видишь, что она только начата? — ответила она. — Что это за народ?

— Пришли чинить плотину.

— Так. Вероятно... хм... Вероятно, знали, что я именно сегодня собиралась ее срисовать!

По лицу поручика пробежала как бы судорога, но он ответил, что и не подумал этого.

Жена быстро собрала все рисовальные принадлежности. Но вдруг остановилась. Она была спокойна, и на губах появилась улыбка. Ей пришло в голову, что муж опять достал денег за продажу первой партии леса, и, может быть, ему именно потому пришло в голову сделать этот расход.

— Виллац? — сказала она мягко. — И я не так глупа и неблагоприятна, чтобы не понять, что надо починить плотину, раз есть деньги...

Поручик весь вспыхнул.

— Деньги, — сказал он. — Нечего сказать, угадала!.. Деньги? Я знал, что ты подумала...

Жена опустила голову.

Стало быть, ее первое предположение оказалось неверно?

— Я... да... не то!..

Уже давно между супругами не существовало согласия, но о больших неприятностях не было слышно, и в сцене из-за мельничной плотины они держались в границах приличия.

Несколько дней поручик боролся с собой. Ему хотелось доставить жене какое-нибудь удовольствие, и однажды, подойдя к окну, он сказал, как бы равнодушно:

— Крыша на церкви, как я вижу, проваливается.

— В этом мало утешительного, — ответила она.

Она стала очень раздражительна в последнее время, и сама не понимала, что с ней происходит.

— Сегодня ночью бушевал западный ветер. Вы бы могли приказать кому-нибудь из ваших людей поправить ее.

— Я мог это сделать?

— Вы или я, как хотите. Сделайте вы. Деньги и люди в вашем распоряжении.

Он видел, что она сразу хотела положить конец своим унижительным сомнениям относительно состояния его денежных дел и показать свою силу; иначе к чему могла она вести весь этот разговор?

— Это было бы хорошим поступком с вашей стороны,— сказала она.

— С моей? — возразил он, протестуя.— Говорю вам...

— Ну, так с моей! — ответила она.

Правду сказать, жена часто боялась за свою жизнь в маленькой разрушающейся церкви. Поручик там не бывал, ему это и в голову не приходило, он читал себе гуманистов и энциклопедистов из отцовской библиотеки,— это было его богослужением. Пока мать его жила в Сегельфоссе, старая и молодая хозяйки вместе отправлялись в церковь, когда бывала служба, но с тех пор, как старуха уехала к дочерям и никогда не приезжала в Сегельфосс, молодая хозяйка ездила одна к богослужению. Во время же западного ветра в церкви становилось прямо опасно. Фру Адельгейд громко пела, сидя на своем месте,— пела так громко своим большим, красивым голосом, что все умолкали. Это она делала отчасти, чтобы ободрить самое себя при опасности, а отчасти потому, что богослужение являлось для нее единственным театром при ее жизни вдали от света. Это было уже настоящим представлением, когда прихожане, стоя, смотрели, как она подъезжала, как кучер снимал шапку и помогал ей выйти из экипажа, как она входила в дверь и направлялась к месту, отведенному владельцам Сегельфосса. Таково было представление каждого воскресного дня.

В ней шевельнулось чувство благодарности к мужу за то внимание, которое он уделил ветхому божьему дому, и она почувствовала себя мягко настроенной. Она начала рассказывать ему что-то, намекать на возможность... да, это уж, впрочем, совсем достоверно... она может сказать...

Он быстро обернулся к ней и пристально посмотрел на нее. Глаза его выразили изумление, лицо было взволнованно; на нем разлилось беспокойство. Как после стольких лет одинокой жизни... верно ли он расслышал?

Жена кивнула утвердительно: это была правда. И поэтому она была так раздражительна в тот день на мельничной плотине.

— Вы были раздражительны? Что это вам вздумалось...

— Боже мой... нет... я только хотела сказать... Но что вы скажете на это, если это так? Я не была вполне уверена в этом, но теперь могу сказать.

— Да благословит вас Бог... это... гм... это знаменательнейшее событие в моей жизни. Меня теперь вовсе не радует, что церковная крыша проваливается.

— Нет, извините меня...

— Замолчите! Как вы можете в такую минуту, как эта... при обстоятельствах... одним словом...

Он готов был провалиться сквозь землю; смущение заставило его направиться к двери; он отворил ее и вышел. Он долго не возвращался; жена слышала, как он ходил взад и вперед по библиотеке. Наконец он вернулся.

— Простите, что я не могу забыть церковь. Вопрос еще, не разрушится ли все здание... Я хочу сказать — при первой буре. И, кроме того, это стыд для нас, для всего поместья. Если вы согласитесь поручить мне это — я ведь кое-что смыслю в черчении, — то я мог бы начертить план новой церкви, а вы построили бы ее. Лес у нас еще есть, есть и плотники: Северин, Бертель из Сагвика, Оле Иоганн. Припомните мое слово: при следующем западном ветре... да к тому же это недостойно нас... теперь ведь нас скоро прибавится. Как вы думаете?.. Я сам, конечно, позабочусь об акустике, чтобы ваш голос разносился с вашего места по всей церкви. Если вы позволите мне пригласить подрядчика, чтобы руководить людьми...

— Благодарю вас. Если находите возможным...

— Возможным? Мне стоит сказать только слово... Пока позвольте мне поблагодарить вас... за все!

Неудачи сделали этого человека холодным, но теперь то была не неудача, а нечто новое, — удача, благословение. Он соединил с этим событием особое представление о богатстве, о каком-то чистом доходе. Какую все это имело связь между собой? И сестры его, с которыми он не видался с тех пор, как они стали шведками — и мать, которая не могла жить в «нищете» и уехала — что они теперь скажут? Она, словно крыса, поспешила убраться, а корабль не пошел ко дну.

Поручик опять надел на правую руку, где оно должно было быть, кольцо, которое некоторое время носил на левой руке. Он носил кольцо попеременно на разных руках потому, что думал много, и он переодевал кольцо, когда хотел вспомнить ту или другую важную вещь. Это происходило всегда тихо и незаметно; никто не знал, почему он делает это. Да и сам он, может быть, не знал.

ГЛАВА II

У поручика явилась странная фантазия: когда ему приходилось подниматься на второй этаж, он снимал сапоги и надевал туфли. Ведь их уже теперь не двое, — их было

почти трое,— так как же ему ходить в сапогах там, наверху, где гуманисты, когда комната жены приходилась как раз под этим помещением. В Сегельфоссе было два больших каменных крыльца,— у мужа и жены с давних времен были отдельные входы; теперь поручику пришлось на ум осмотреть крыльцо жены и залить цементом все образовавшиеся щели. Когда наступили морозы, он велел скалывать дочиста весь лед с лестницы.

Но все это раздражало хозяйку так, что она говорила:

— Вы могли бы найти что-нибудь более полезное. Ведь на плотине вам нужно много рабочих.

— Рабочие возят камень и кладут стены; скоро все будет готово. Кстати, я вспомнил, что брали одну из ваших лошадей.

— Зачем?..

— Взяли, не спрося меня... И лошадь захромала.

— Очень понятно.

— Она не может возить вас в церковь.

Она с трудом сдержала себя и только сказала:

— Жаль. Так я пойду пешком.

Такое разрешение вопроса было для него совершенной неожиданностью. Он надеялся, что жена прекратит свои посещения церкви, пока все не кончится,— не совершится событие: церковь показалась ему еще дряхлее, чем когда-либо.

— Вы можете взять другую лошадь,— сказал он недовольным тоном.

— Нет, мне не надо другой лошади, я пойду пешком.

— Но,— возразил он,— вы должны подумать...

Церковь может обрушиться в один прекрасный день, каждая новая буря все больше разрушает ее; может случиться несчастье.

Жена рассмеялась и стала его стыдить:

— Как вы стали опасливы, Виллац!

Жена, на основании некоторых обстоятельств, заключила, что муж ее не из особенно храбрых; она, прямо сказать, считала, что он немного трусоват. И в последние месяцы она не особенно старалась скрывать это нелестное мнение. Почему он всегда ездит шагом? Почему летом избегает трясущегося мостика над мельничной речкой, когда можно перейти ее в брод? Это неспроста.

Мало-помалу поручик привык, что его не понимают; он стал равнодушен, и это уже не отравляло его жизнь. Может быть, он находил, что ему удобнее думать, когда лошадь его шла шагом; может быть, просто намеревался

выкупать коня, когда ехал в брод через речку. Но, может быть, также, что он был трусом.

Лейтенант переоделся и поехал к пастору. Он поехал по доброму делу,— хотел переговорить о церкви, которую собирались строить. Рабочие уже навезли камень и нарубили лес. С юга приехал десятник. Можно было начинать.

Это был тот самый пастор Виндфельд, который впоследствии написал историю новой церкви в Сегельфоссе. Он описывает поручика, которому было в то время под сорок, как худого, но крепкого сложения человека, с опущенной головой, длинным выбритым лицом с серыми глазами, орлиным носом и синеватыми щеками. Седеющие волосы были аккуратно расчесаны пробором и из-за ушей зачесаны вперед. Руки у него были длинные и худые, и он всегда носил кожаные перчатки. Его обычным костюмом был синий фрак и желтые рейтузы, а в плохую погоду он носил грубый военный плащ. Все украшение составляло кольцо на правой руке и волосяная цепочка с золотыми часами и брелоком.

Поручик постучался и вошел прямо в контору пастора. Он смахнул пыль со стула желтым батистовым платком прежде чем сесть. Боже, как этот человек презирал в своей гордыне этого служителя господина.

— Вот, видите, жена моя решила... так как церковь может рухнуть каждый день.

Пастор отвечал что-то односложное, вроде: «Да».

— Церковь, как всякая вещь на земле, стареет...

— Конечно,— ответил поручик.— Вот моя жена и решила пожертвовать несколько лесу на новую церковь.

— Правда, это...

— Позвольте мне кончить... И она поручила мне передать вам. Вот по какому делу я приехал к вам.

— Это очень хорошее дело с вашей стороны.

— С моей? Нет, если вы вздумаете когда-нибудь утверждать это, вам придется покинуть приход... Я тут ни при чем. Поняли?!

Пастор знал, что он крепко сидел на своем месте, но видя перед собой этого человека в таком раздражении, он оробел. Поручик был сам на себя непохож; он встал со стула и стоял бледный, как смерть.

Он снова опустил на стул, вынул через некоторое время сверток бумаги и сказал:

— Вот рисунок церкви, если вы пожелаете взглянуть на него.

Пастор развернул бумаги и выразил свой восторг перед чудным маленьким домиком божьим: и колокольня, и шпиц!

— Жена так желает,— сказал поручик, готовясь взять чертежи обратно.

Он развернул другой сверток.

— Вот чертеж плана, если желаете взглянуть.

Пастор понимал в этом деле меньше, но он хотел задать несколько вопросов. Призвав на помощь Господа, он сказал:

— Но все это должно быть утверждено?

— Нет.

— А община... департамент?..

— Не нужно.

Поручик снова свернул рисунки, положил в карман и сказал:

— Если вы напишете об этом, то можете сказать, что новая церковь будет строиться в северной части кладбища; там нет глины, а камень. Жена жертвует землю для постройки.

Эта мысль показалась пастору хорошей, и он кивнул одобрительно.

Поручик встал.

— Жена уже наняла опытных рабочих; работы начнутся тотчас.

— Не могу ли я, со своей стороны, зайти и поблагодарить вашу супругу от всего прихода за ее щедрый дар?

— Если вы приедете,— поручик взглянул через плечо на сапоги пастора,— если вы приедете благодарить жену, так... у нее свой особенный подъезд. Желаю оставаться в мире!

Он сел на лошадь и поехал шагом.

Все происшедшее так мало касалось его, что он поехал по-другому делу через поля и леса к плотине.

Работы здесь заканчивались,— совершенно новая плотина с высоким падением воды, а к старой плотине был отведен рукав реки и так, что по ней можно было теперь сплавливать лес и бревна из поместья. То была удачная выдумка поручика. Прежде лес приходилось возить по зимней дороге далеко до моря; теперь, когда его можно было спускать по старой плотине, лес не рисковал разбиться в щепки.

Поручик смотрел на работу, не сходя с лошади.

— Через два дня кончим,— сказал он рабочим.

— Через два дня... Да! — подтвердили рабочие, одобрительно кивая.

В то время, когда у владелицы Сегельфосса должен был родиться ребенок, ей было двадцать восемь лет; таким образом, она была еще молодая женщина, здорового телосложения, как бы созданная для того, чтобы стать матерью. Но поручик при своей вечной опасливости боялся, как бы не случилось чего дурного, и принимал особые предосторожности.

За несколько дней до Рождества он сказал своему работнику Мартину:

— Взнуздай серую пару... понимаешь, пару серых.

— Слушаю.

— И отправь их без саней в Ура, в поместье «Ура», к ленсману. Поставь их в его конюшню, пока они мне понадобятся.

— Слушаю.

— Сделав это, возвращайся сейчас домой.

— Слушаю.

— Вот и все...

В рождественский сочельник с самого утра в Сегельфоссе все были в тревоге. За несколько дней перед тем в усадьбу приехала женщина в чепце. Экономка говорила с ней, и ходили слухи, что хозяйке плохо.

Несколько позднее в этот день поручик стоял без фуражки в коридоре между своими комнатами и комнатами жены, разговаривая с женщиной в чепце.

— Но, я надеюсь, что опасности пока нет?

— Нет, но... Нет, с божьей помощью; но... Ведь я прежде никогда не знала вашей жены, и отвечать...

— Надо доктора? — спросил поручик.

— Да. Если только доктор дома.

— Он предупрежден. Я могу привезти его сегодня ночью.

Поручик позвал работника и приказал запрячь пару гнедых, а сам пошел переодеться в дорогу. Когда все было готово, он сел в сани и выехал задними воротами, чтобы жена не слышала и не встревожилась.

Он сам поехал за доктором.

Он ехал быстро, доехал до Уры, запряг серых в сани и поехал дальше. Наконец он добрался до дома доктора.

Если бы то не был сам поручик из Сегельфосса, окружной доктор вряд ли бы побеспокоился ночью.

Он предлагал водку, закуски; пришла экономка и потчевала кофе и печеньем, поручик поблагодарил и отвечал на все:

— Я прошу только доктора.

Они сели в сани. Дорогой они мало говорили, не будучи знакомы друг с другом. Доктора, молодого окружного врача, звали Оле Рийс. В Ура поручик перепрягает гнедую пару, отдохнувшую несколько часов, и они едут дальше.

В Сегельфосс приезжают в два часа. Ребенок уже появился на свет.

Сын, Виллац Хольмсен четвертый, родился в самую рождественскую ночь. В этом было что-то необычайное. Но мать заболела, и тут молодому врачу представился случай показать свое искусство. Фру Адельгейд оценила его, за ним прислали из округа; иначе он, вероятно, пробыл бы еще дольше. Фру Адельгейд оценила его, победив отвращение к его волосатым рукам.

Зима подходила к концу. Фру Адельгейд выздоровела, и ребенок подрастал. Все шло хорошо. Естественно, что фру Адельгейд несколько похудела, и нос ее стал больше, но она была слишком занята, чтобы думать о своей внешности. У нее был ребенок,— неоцененное сокровище; он громко кричал, был упрям и капризен, но мил. И вот у него появились зубы.

Его следовало крестить в новой церкви, когда она будет готова. Какого мнения об этом фру Адельгейд?

Жена ответила, что эта мысль ей приятна.

Она теперь стала гораздо добрее и стоворчивее.

— Когда церковь может быть готова?

— Точно определить нельзя, но, вероятно, к следующей зиме. Стены возведены; черепица привезена из кирпичного завода.

Поручик хорошо рассчитал, поместив церковь в северной части кладбища; она будет стоять красиво и хорошо будет ходить туда. Стены подвигаются быстро. И покрыть крышу черепицей займет немного времени. Осталось только положить балки!

Весной началась работа, и один ряд кирпичей вырастал за другим; церковь росла, и уже миновали окна. В один прекрасный день приехал пастор.

— Я писал властям,— сказал он,— и те желают видеть план.

— Желают видеть? — переспросил поручик.— План нам самим нужен.

— Придется приостановить работы, пока чертежи не одобрят,— ответил пастор, как можно мягче.

— Вот как! — сказал поручик.

Он уважал власть; воспитание и служба приучили его повиноваться начальству. Но здесь он уперся и не дал чертежей.

Когда церковь подвели под крышу и поставили колокольню, снова приехал пастор и от имени начальства просил дать чертежи.

Поручик позвал подрядчика и спросил:

— Нужны еще чертежи?

— Нет.

— Дайте их пастору.

То была одна только комедия, — чертежи уже готовой церкви! И пастор С. П. Виндфельд не был агнцем; он сам рассказывал, что рассердился. Правда, перед ним стоял человек, жена которого подарила приходу церковь; но самовластие поручика Виллаца Хольмсена уже зашло слишком далеко.

— Вы дали мне только главные планы? — спросил пастор.

— Без других чертежей мы не можем обойтись, — ответил поручик, — надо еще сделать по ним кое-какие расчеты.

Тогда пастор распечатал большой конверт, который держал в руках, и сказал:

— Моя обязанность сообщить вам, что власти требуют прекращения работ.

— Вот как! — сказал поручик.

От церкви и колокольни доносился неумолкаемый стук молотков и топоров; он не останавливается, и пастору приходится уехать только с главными планами.

Церковь была закончена, и она красиво выделялась на опушке леса; но внутренняя отделка заняла всю зиму. В начале весны после Пасхи поручик приказал украсить божий дом снаружи и внутри и вывести имя жены золотыми буквами на хорах.

Дело было закончено!

Тогда поручик послал лопаря Петтера с известием к пастору, что церковь готова. Жена его построила церковь из собственного материала, собственными рабочими, на собственной земле. Приходу нет дела до частной собственности фру Хольмсен. Теперь она дарит церковь и землю приходу. Пусть власти решают, должен ли быть принят дар или нет. Прилагаются чертежи.

Поручик прождал неделю. Ответа не было. Он послал новое письмо пастору, написав, что, если через четыре недели церковь не будет разрешена и освещена, то он с женой поедет в Трондхейм, чтобы там окрестить сына. А, между тем, поддержка, оказываемая Сегельфоссом прежней церкви, ограничится тем, что предписывает закон.

Это помогло. Епископ Кроп лично, после объезда епархии, пожаловал в село и посетил церковь, причем окрестил уже подросткового ребенка. Его назвали Виллац Вильгельм Мориц фон Плац-Хольмсен.

ГЛАВА III

Зачем скрывать истину? Отношения между супругами в Сегельфоссе далеко не были такими, какими должны бы быть. Несогласие улеглось только на короткое время при ожидании ребенка; через некоторое время опять пошло то же самое, и теперь отношения окончательно обострились. Неужели поручик, взрослый человек, мог примириться со многим, чего не переносил всю жизнь и к чему относился с презрением. Бывало и смешно и больно видеть их раздражительных и недовольных, когда они сходились.

— Мой сын! — говорила она.

Это оскорбляло поручика.

— Мой маленький Мориц! — говорит она, продолжая.

Это обижает его, и он замечает:

— Его зовут Виллац, как деда.

— А можно звать также и Морицом.

— Нет. Почти нельзя.

Жена смеется и говорит:

— Ну, а когда он вырастет, и я позову: «Виллац», может прийти не тот, кого я зову.

— Ну, когда вы позовете: «Виллац», так я сейчас по тону узнаю, кого из нас вы зовете.

Жена снова засмеялась и сказала:

— Ничего нет удивительного... Кстати, я вспомнила: вы были так добры и взяли новую горничную в помощь экономке; она, кажется, уроженка гор; она молода и недурна, зовут ее Марсилия. Но у нее в голове что-то неладно. Можете себе вообразить, она ночью ходит вверх и вниз по вашей лестнице.

Молчание.

— Она всходит наверх поздно вечером и возвращается через долгое время. Да, через очень долгое время.

Молчание.

— Вы, вероятно, не находите этого так же удивительным как я; иначе вы что-нибудь сказали бы.

— Я молчу потому, что вы желаете этого, — ответил поручик. — Иначе вы не поражали бы меня так. Вы заставляете меня молчать.

Жена громко засмеялась.

— Я делаю вас безгласным?

— Почти. Мне очень неприятно, что мой выбор прислуги в помощь экономке оказался так неудачен. Девушка не знает своих обязанностей?

Жена не отвечает; она задумалась. Оба думают, оба готовятся к новому нападению. Жена уступает и говорит:

— Вы желаете сказать мне еще что-нибудь?

— Нет... Неделю тому назад я стучал к вам.

— Я была занята. Я просила извинить меня.

— Три недели тому назад я стучался к вам. Я стучался к вам в прошлом году и в нынешнем, просил разговора, несколько минут.

— Я каждый раз просила извинить меня.

Муж кланяется и стоит.

— И еще раз прошу извинить меня! — говорит жена, стараясь выразиться получше, и смотрит на него пристально.

Муж не понимает ее. Зачем он так стоит здесь? Она тревожится; может быть, боится, как бы ему не пришлось чего-нибудь в голову, и поэтому говорит:

— И еще раз прошу извинить меня.

Тогда муж смеется:

— Ха! Ха!

Но что это за хохот! Рот открыт, горло пересохло, а он хохочет. И муж уходит, уходит из дома, идет в конюшню, берет коня и вскакивает в седло. Вот что он делает.

Как они оба страдают! И жена также страдает; в ней нет сильного чувства к ушедшему человеку, в ней уже нет преувеличенной нежности к нему; это видно. Но это непонятно; ведь он ее муж, а разве можно не любить мужа?.. У окна есть местечко, там она стоит и смотрит, пока он не уезжает; тогда она чувствует себя спокойнее. У ее двери есть ключ, его она не променяла бы на золотой ключ; она пользуется им, запирая дверь изнутри.

Все это так непонятно. Что он ей сделал? Или в ней вообще говорит отвращение к супружеским отношениям... Привычка, чувство стыдливости... Может быть, ей противны его длинные руки, его дыхание?

Она идет к письменному столу и начинает писать. Тут размышления, заметки,— дневник. Ее пальцы перебирают листы и держат перо. Теперь она вставляет норвежские слова в немецкий, это плохая привычка, и это ее сердит, но она не пачкает тетради вычеркиваниями. Вероятно, она

ведет дневник изо дня в день, записывая какие-нибудь пустяки, какие могут прийти в голову дочери полковника; может быть, ей интересно перелистывать и снова перечитывать листки и будить отголосок прежних дней в себе.

Через некоторое время она снова идет к окну и смотрит, не едет ли кто-нибудь на пригорке, не возвращается ли кто-нибудь?.. Потом она, напевая, направляется к пианино и садится за него.

Она играет что-то веселое.

Неужели это она, покинувшая дворянское гнездо в большом городе Ганновере и заживо погребшая себя здесь, в Сегельфоссе? Несчастный слепой король в ее девичьи годы сказал: «Я по вашему голосу слышу, как вы прелестны, дитя мое!»

Голос у нее большой и красивый, полный; она поет песни своей родины, — поет полной грудью. Но, странно, в ее голосе есть что-то, напоминающее гонг. Инструмент тихо поет за ней; она закидывает голову; стан покачивается...

Вдруг она обрывается и спешит за две комнаты в детскую к сыну.

Подобные сцены повторяются часто в последнее время.

Одни только служанки в кухне слушают ее пение, они обыкновенно отворяют двери, чтобы лучше слышать. Кроме них никто в доме не отворяет дверей, чтобы послушать; это она знает. Муж ее встречается с ней только за столом, а между соседями у нее нет знакомых.

Один только старый помещик Кольдевин и его жена сохранили из прежних времен воспоминание о Сегельфоссе; раз в году приезжали они со своего большого острова и гостили с неделю. Вот и все. Ими почти ограничивается круг знакомства. Фру Адельгейд получала немецкие газеты и немецкие книги; но то были неживые голоса.

Поручик совершает свою длинную ежедневную поездку. В его поместье жили арендаторы и торпари в горах и у моря. Он едет к рыбакам. Здесь, не сходя с лошади, он смотрит на волны, на их дома, на их девушек. Поручик не был совершенно лишен сердца; иногда он помогал какой-нибудь девушке устроиться в поместье, иной раз посылал картофель и мясо особенно нуждавшейся семье.

Он приподнимается в седле и стучит хлыстом в окошко одного дома. Это дом рыбака Мануэльсена. Рыбак выходит и кланяется. Сзади него показывается в дверях несколько

лиц, а в глубине женщина, прижавшая руки к груди, будто желая скрыться под ними.

— Ты ездешь на ловлю? — спросил поручик.

Рыбак грустно покачал головой.

— Вы знаете, теперь одной ловлей не прокормиться.

— Мне нужно несколько рабочих на реке. Ты можешь взять еще пару человек и прийти работать на плотину.

— Вот как. Вы хотите открыть плотину? Река стоит высоко?

— Итак, начнем с будущего понедельника... Что это за высокий парень там?

— Это? Мой сын. Что же не кланяешься, Ларс?.. Его зовут Ларс. Он недавно подтвердился и стоял вторым номером; стало быть голова есть на плечах. Да, что толку?

— А это твоя дочь? Какая у тебя дома работа для девушки? И зачем ты держишь при себе столько взрослого народа?

— Да куда их девать? И где они себе достанут платье, чтобы показаться в люди?

— Пустяки! — сказал поручик. — Его зовут Ларс?

— Мальчика? Да. Божье наказание, он мне за мои грехи: только и знает, что сидит за книгой. Господь дал ему здоровые хорошие руки, а он ни к чему их не прикладывает, ничего не зарабатывает.

— Ты любишь книги? — спрашивает поручик.

— Что же ты не отвечаешь, Ларс? — строго спрашивает отец. Ларс ежится, конфузится и не может найти подходящего слова.

Поручик спрашивает:

— Это все твои ребятишки? И маленький также?

— Ну, само собой разумеется. Осенью пять лет минуло. Зовут Юлием.

Поручик вдруг говорит:

— Вот та могла бы служить в поместье. Как ее звать?

— Давердана.

— Давердана?

— Ты бы пошла приделась, Давердана, и не мозолила тут глаза людям.

— Покажи руки, — коротко приказывает поручик.

Давердана вспыхивает до корня рыжих волос, но послушно протягивает руки.

— Грамотная?

— Чего ты рта не раскроешь? — вступает отец. — Читает по книге, как кистер, — отвечает он за дочь. В конфирмации номер третий.

— Нет, четвертый,— вмешивается сын, Ларс, наконец, решившись открыть рот.

— Третий,— повторяет отец.— Сама знаешь, Давердана.

Поручик кивает:

— Приоденься и приходи в усадьбу. Я заплачу за платье. Приходи в воскресенье через неделю. Покажи еще раз руки. Хорошенько вымой их. Так, Давердана?

— Да. Давердана,— подтверждает отец.

Поручик поворачивает коня, говоря:

— Итак, в будущий понедельник начнем сплавливать лес.

Он едет своей дорогой, немного согнувшись худощавым станом в потертом мундире. И все же в нем чувствуется сила и упругость, что-то арабское, как будто для него не существует препятствий.

Да, теперь он продает лес; на него теперь стоят хорошие цены; он пилит бревна на доски на собственной лесопилке; денег вдоволь. Неужели и теперь дело не пойдет? Содержать поместье стоит денег, а большое поместье только разоришь, не вкладывая капитала. Ну, а если есть деньги? Кирпичный завод дает все меньше и меньше, а теперь стоит. Мельница же мелет золото, жидковатое правда, но все же окупает себя, и не только окупает, если сосчитать все, что смолото для окрестных жителей и еще не оплачено. Дело еще пойдет!

Не будь постройки этой церкви. Дорого она обошлась. Прошел год за годом со времени ее окончания, но у поручика осталось одно неприятное воспоминание о постройке. Ну, а лес и лесопилка — это настоящее Божье благословение.

Поручик приезжает домой. Откуда-то доносится звон. Что это такое? Динь-динь! Жена играет с сыном в лошадки на дворе. Она навешала на него бубенчики и правит вожжами. Оба хохочут и играют в лошадки.

— Ха! ха! ха!

Когда поручик подъезжает, смех умолкает, и мальчик начинает хныкать. Слезы мальчика огорчают мать, но когда она говорит: «Не плачь, маленький Мориц!», поручик плотно сжимает губы и, сидя на лошади, молчит. Этим именем Морица жена, вероятно, желает лишний раз напомнить, что ее дворянский род Мориц фон Плац выше его.

— Хм! — говорит поручик.— Снимите с него бубенчики.

— Да это только игра,— отвечает жена.

— На Виллаца Хольмсена бубенчиков не надевают и в игру.

— Как вы резки,— говорит жена.— Раз я допускаю это, то, кажется, вы... Пойдем домой, мой Мориц.

Опять маленькая размолвка, маленькая стычка. Постоянные шпильки,— слишком много шпилек! Иногда бывали неподражаемые сцены, когда со всех сторон выставлялись шпильки.

Мальчик и мать начали играть на фортепиано. Мать учила сына читать и играть, и она не нарадовалась на него. По целым часам они рисовали вместе цветными карандашами, по целым часам распевали песенки. Мальчик был способный. И вообще маленький Виллац в своей синей бархатной курточке и шитом воротничке на плечах был Божьим благословением в доме. Когда поручик приходил к обеду, между супругами снова господствовало наружное согласие и изысканная вежливость.

Не было ни споров, ни пикировки. Споры прекратились за отсутствием поводов к серьезным раздорам. Но в эти мирные часы за трапезой маленький Виллац уже не был Морицем. Мало того, мать или избегала называть его по имени или прямо называла его Виллацем, как и следовало. Благодарный за такую предупредительность, поручик уже не кричал то и дело: «Виллац, Виллац!» Он называл мальчика: «мой друг», или «дитя мое», обходя его имя.

Но это еще не значило, что поручик уступает. Он запрещает называть сына Морицем, когда это имя слышит от горничной или экономки.

— Извините, иомфру,— спрашивает он,— о ком это вы говорите? Кто это у нас в поместье Мориц? Или вы подразумеваете сына моего, Виллаца Хольмсена?

— Прошу прощения,— отвечает она,— хозяйка сама... иногда говорит Мориц.

— Хозяйка ошибается. Ни один из нас не желает называть мальчика вторым именем.

Поручик кивает головой и уходит.

— Кстати, иомфру,— говорит он, оборачиваясь.— У Ларса из Сагвика дом полон взрослых ребят, которые ничего не делают. Одна из его дочерей придет служить сюда; посмотрите, не пригодится ли она вам, вместо Марсилии.

— Разве Марсилия должна уйти?

— Полагаю, что да.

— Так, значит, сюда придет новая?

— Отцу ее приходится кормить слишком много ртов,— говорит поручик.

Он опасается, как бы экономка не истолковала по-своему его слова, поэтому тотчас прибавляет:

— У него также есть взрослый сын, который ничего не хочет делать, кроме как учиться. Я отправлю его в Тромсё.

Таким образом, добрый Ларс Мануэльсен будет избавлен от обузы. Эта мысль пришла поручику еще в Сагвике, но тогда он сдержался.

Теперь слово было сказано, Ларс-сын поступит в семинарию в Тромсё. Поручик, знай раскошеливайся во все стороны. Да, как бишь зовут девушку? Давердана. Как в сказке. Рыжие волосы, длинные руки.

Когда поручик шел по двору, что-то попавшееся ему под ноги обратило на себя его внимание. Он всегда идет наклонив голову, смотря в землю, а потому видит все, что попадает на дороге.

— Кто был здесь чужой? — спрашивает он работника.

— Чужой? Никого.

— На дороге лежит недокуренная сигара.

— Может быть, ее бросил доктор,— говорит другой рабочий.

— Да, может быть,— соглашается и первый.

Поручик идет своей дорогой. Так доктор был сегодня утром? Как рассеянная жена, что за все утро не упомянула о посещении доктора? Он пойдет к жене и скажет: «Был здесь доктор? Зачем?»

Вдруг ему приходит в голову: «Как странно отвечают, что никого чужого не было, а был доктор. Разве доктор не чужой в Сегельфоссе?»

За ужином маленький Виллац рассказывает, как доктор поднял его высоко под потолок, выше люстры.

— Доктор? — переспрашивает отец.

Жена отвечает тотчас:

— Доктор был здесь поблизости, и мы пригласили его зайти утром.

— Кто болен?

— Марсилия.

— Я этого не знал.

— Простуда. Доктор говорит: серьезная.

— Я ничего не знал,— повторяет поручик.

— Я не говорила. Не стоило.

Поручик улыбается:

— Вы хотели пощадить меня?

Но так как он смотрит на дело с такой стороны и не хочет оценить ее деликатности, то жена обижается и говорит:

— Да, хотела пощадить. Служанке Марсилии, по-видимому, не пошли впрок ее ночные прогулки по лестнице.
Молчание.

— Марсилия могла бы обойтись и без доктора,— говорит поручик.— Но тогда ведь вам не пришлось бы устроить демонстрацию.

— Я устраиваю демонстрацию? Как это вы не знаете, насколько равнодушно я отношусь ко всему, кроме моего маленького Морица. На здоровье!

Жена поднялась из-за стола.

ГЛАВА IV

К берегу причалил белый бот с четырьмя гребцами. Так как стоял теплый весенний день, то гребцы сняли куртки, но того, кого они везли, не было видно; должно быть, он сидел внизу. Бот остановился недалеко от устья реки, близ кирпичного завода.

Из каюты вылез толстый человек в шубе и теплой шапке. То не был ни доктор, ни старик Кольдевин. Бот был также незнакомый и, по-видимому, приплыл издалека. Человек вышел из бота, сказав несколько слов гребцам и пошел вверх по реке. Двое из гребцов последовали за ним.

У всех домов стояли люди и смотрели на необычайное зрелище. По-видимому, толстяку стало жарко; он снял шубу и отдал ее нести одному из своих матросов. У него был такой толстый зад, что полы его сюртука раскрывались на каждом шагу, и он часто должен был останавливаться и хватался за грудь. Так он шел, будто направляясь к водопаду, и, наконец, скрылся в лесу.

Тогда любопытные спускаются к боту, чтобы расспросить. Ларс Мануэльсен идет также, и много ребятишек бежит за ним. Гребцы догадываются тотчас, чего нужно этим людям, и готовятся: они понимают, что представляют из себя важных особ,— хранителей тайны.

— Здравствуйте,— говорит Ларс Мануэльсен, хотя, собственно говоря, поздороваться следовало бы гребцам первым, как приехавшим в чужую землю.

— Здравствуйте,— следует короткий ответ.

— Хорошая стоит погода.

— Грести было жарко.

Говорят некоторое время об этом; нет ли свежего бриза на море, не дует ли восточный ветер. Гребцы отвечают сдержанно.

— Хороший бот,— говорит Ларс.— Это ваш?
Матросы сплевывают и принимают удобные позы.
— Недурно, кабы так,— отвечают они.
— Вы издалека пришли?

Пауза; многозначительное молчание. Ребятишки внимательно слушают.

— Мы из Уттерлея.

— Я так и полагал,— говорит Ларс.

Он подходит ближе к боту и рассматривает его, но бот незнаком ему. На нем и на веслах только одна или две буквы.

Тогда гребцы, вероятно, думают, что испугали своей молчаливостью местных жителей; те уйдут, оставив их с их тайной. Языки развязываются, и один за другим гребцы говорят:

— Хорошо бы, если бы бот был наш,— повторяет один.

— Да, недурно,— подтверждает другой.

Теперь говорят почти исключительно гребцы, и Ларс старается узнать побольше. Они болтают, один перебивает другого, один превосходит другого в откровенности, но вовремя останавливаются:

— Мы только гребцы на боте.

— Кого же вы привезли? — спрашивает Ларс.

Пауза.

— Хм...

Это уж очень просто выходит.

— Привезли того, кому принадлежит лодка,— отвечает один из гребцов.

Другой, который стоял, как на угольях, прибавляет.

— Он купил бот только для этой поездки. Вынул деньги и заплатил чистоганом. И только для этой поездки.

Гребцы смотрят на Ларса Мануэльсена. Ребятишки смотрят на гребцов и слушают, развеся уши.

Но Ларс только замечает.

— Должно быть, поездка была очень нужная?

Он один раз спросил, кто иностранец и не получил ответа. Теперь он уже не задает такого вопроса; ответ придет сам собой.

— Что касается поездки, так я ничего не знаю о ней,— говорит один из матросов.

— Он пошел вверх по реке,— прибавляет другой.

Пауза. Удивительно продолжительна и многозначительна эта пауза. Ларс еще раз пристально смотрит на бот, болтает с людьми о посторонних вещах, о весне, о ловле сельдей, о галеасе из Уттерлея, который недавно загнало к ним бурей. Этот галеас принадлежит купцу Генриксену из Утверы.

Гребцы кивают: они знают купца Генриксена.

— Ведь не он владелец бота? — спрашивает Ларс.

— Нет.

Ларс, должно быть, устал. Он сплевывает и закладывает руки за спину. Постояв минуту, он вдруг поворачивается и делает вид, что хочет уйти.

— Да, хороший бот. Недурно бы, если бы у меня был такой! Однако, я стою и задерживаю вас.

Матросы настоуживаются.

— Все не задерживаешь, — говорит один.

— Совсем не задерживаешь, — подтверждает другой.

Матросы справедливо рассуждают, что если они не откроют тайны, то это могут сделать другие двое, ушедшие вверх по реке; ведь стоит одному из них за чем-нибудь войти в какой-нибудь дом, хотя бы попросить воды напиться, и он расскажет, чью он несет шубу.

И вот один из матросов спрашивает:

— Тут у вас в округе, должно быть, не знают, кого мы привезли.

— Нет, — отвечает Ларс и смотрит на него.

— Ну, само собой разумеется, — вмешивается другой матрос.

Он стоит будто на углях.

— Вот удивитесь, услышав, — добавляет он.

Ларс сгорает от нетерпения. Досаднее всего, что соседу его из Сагвика, Бертелю, тоже, по-видимому, надоело ждать, и он направляется по полю к боту.

— Нет амтмана? — спросил Ларс.

— Нет, — ответили люди.

— Я думаю только, что это, должно быть, богач, раз он такой толстый.

— Да, — подтвердили матросы, — у него кое-что есть за душой.

Ларс подождал минуту и, наконец, решил уйти. Бертель приближается к нему, и Ларс не хотел делить тайну с ним.

— Счастливо оставаться! — сказал Ларс.

— А, между тем, он из одной с нами деревни, можно сказать, — продолжал один из гребцов.

Другой подхватил:

— Товарищ детства, можно сказать.

— Вот как! — заметил Ларс.

— Вот видите. Он не совсем из нашего округа, но... Между нами несколько приходов, но... Но мы знаем кое-кого оттуда. Он уехал тридцать лет тому назад.

Другой гребец чувствует себя оттесненным на второй план, он хочет нагнать первого и наносит сильный удар:

— Он в детстве уехал с родного острова, посетил все чужие земли, побывал и в Австралии и в Америке. Там он женился, вел большие дела и нажил деньги.

Тут гребцы начинают перебивать друг друга и подозрительно следят один за другим.

— Ну, да, ты все знаешь,— говорит первый недовольным тоном, стараясь опередить товарища.— Он и в Китае был.

— Да где только не был,— говорит второй.— А когда он несколько дней лежал в одном ущелье; не помню уж, в какой это было земле...

— Да это случилось еще в детстве, когда он скитался. А я говорю о последних годах.

— Можешь мне ничего не рассказывать касательно этого, я знаю не хуже тебя. Он несколько дней пролежал в ущелье; спроси его, он сам тебе скажет. Досада, что я забыл, в какой это случилось земле.

— В неизвестной. А жену он нашел себе в Мексике; это я знаю твердо.

— Ты воображаешь, что я этого не знаю!

— Как его звать? — спрашивает Ларс Мануэльсен.

— Звать его...

— Хольменгро! — прибавляет другой с быстротой молнии.

— Это Тобиас, который уехал,— спешит объяснить первый.— Разве ты не слышал рассказов о парне, уехавшем от нас и ставшем королем?

— Вот как!

У Ларса Мануэльсена захватило дыхание. Конечно, он слышал о Тобиасе, сыне рыбака с маленького островка Уттерлея, уже давно покинувшем родину и ставшем могущественным королем, возвеличенным Господом и людьми, да так и оставшемся там. Так это он?

Ребятишки также слышали чудесный рассказ, они стояли и слушали рыбаков, широко открыв рты.

— Так он Тобиас! — повторил Ларс.— И отца его также звали Тобиасом, насколько я слышал?

— Отец его давно умер,— ответил Ион.— И матери теперь также нет в живых, но у него, говорят, есть сестра в Бергене.

— Да, отца звали Тобиасом,— сказал другой гребец с ударением, поправляя товарища.— Но сам он называет себя просто Хольменгро.

— Чудеса! — говорит Ларс.

Он вскидывает глаза на уже подходящего Бертеля; но Ларсу тем временем надо узнать еще кое-что самое важное, и гребцы наперебой отвечают ему.

— Так он женат? А жена не с ним?

— Нет, ее здесь нет. Она в чужих странах.

— Она так и осталась за границей.

— Она, должно быть, важная хозяйка. Как ее зовут?

— Этого я не могу сказать, но она...

— Она умерла, — говорит второй гребец, и замолкает.

— Господи, умерла... А дети есть?

— Есть, двое маленьких, мальчик и девочка.

— Зачем говоришь, что они маленькие. Девочка уже подросток.

— Да, да, а мальчик маленький. Вот что я говорю.

Подходит Бертель. Ларс спрашивает в последнее мгновение.

— Где же дети? Как их зовут? Чего ему надо на реке?

— Он сказал мне, что хочет посмотреть окрестность.

— И мне тоже.

Гребцы перед тем немного поспорили, но, наконец, сходятся на одном.

— Богато же он одет! — заметил Ларс.

Гребцы кивают головами.

— Да, у него и мехов и бархата довольно.

— Он говорит, что зябнет в нашей холодной стране и не может согреться.

Бертель не здороваётся, он пододвигается и слушает. У него длинные-предлинные уши.

— О чем вы тут калякали? — спрашивает он.

Гребцы не отвечают ему; они обращаются к Ларсу и рассказывают дальше о королевских богатствах, о бумажках, которыми приезжий платил за бот, вынимая из бумажника.

— Чудеса! — повторяет Ларс Мануэльсен.

— Вы сюда кого-нибудь привезли? — спрашивает Бертель.

Гребцы смотрят на него, сплевывают, и говорят, что привезли. После того они снова обращаются к Ларсу и качают головой, вспоминая и рассказывая о богаче.

— Да, вот я, да он, Ион, остались, как были, можно сказать, мелкотой, а он тем временем чем стал! А между тем он вырос в одной деревне с нами.

— Да, так-то бывает на свете, — говорит Ион.

Бертель обращается к Ларсу и спрашивает:

— О ком это вы болтаете?

Но Ларсу некогда: у него нет ни минуты времени; он не обращает внимания на вопрос Бертеля и вдруг говорит гребцам:

— Я, кажется, задержал вас?

И он уходит.

Теперь наступает очередь Бертеля обнаружить тайну. И как он любопытен, и как его мучают оба гребца!

Сперва Ларс шел по полю своим обычным шагом; ему казалось стыдно прыгать. Но мало-помалу он ускорил шаги и на полдороге свернул к дому Оле Иоганса, — так было ближе. Ларс весь надулся от тайны, которую хранил в себе. Он знал больше всех, что живут там на горе. Благодаря тому, он станет теперь значительной персоной на несколько дней. Несколько женщин от дома Оле Иоганса двинулись ему навстречу.

Но когда Ларс пришел домой, он увидел, что там уже известно все, что он тайл. Ребята из его собственного дома и других домов, эти длинноухие оборвыши, его собственный Ларс, высокий, неуклюжий Лабан, бегали из дому к дому и разболтали все. И перенести это от собственного сына! Как приятно?

Оле Иоганс встретил Ларса и спросил:

— Кого это они привезли?

И Ларс только что собрался было разрешиться бременем, как Оле Иоганс перебил его:

— Правда, что они привезли Тобиаса, ставшего королем?

Через несколько часов собралась толпа у белого бота; всем хотелось взглянуть, хоть одним глазком на сказочного короля, когда тот вернется. Женщины принарядились и надели фартуки; рыжая Давердана волновалась; она была высока и молода; король мог обратить на нее внимание.

Но все жестоко обманулись.

Когда трое приезжих вернулись от водопада, двое матросов направились с шубой прямо к боту, сам же господин пошел по дороге к поместью, в Сегельфосс, к поручику. И видно было, будто он шел по делу.

Он был плохой ходок, и ему понадобилось немало времени, чтобы добраться. Шляпу он держал в руках. В нем не было ничего сказочного; одет он был в новое платье, и на шее виднелась толстая золотая цепь; во всем прочем он не отличался от других людей при своем бледном лице с резкими чертами, обрамленном бородой, со своим прямым носом и массой морщин вокруг глаз. Ему было,

по-видимому, немного за сорок. На его правой руке блестело узкое золотое кольцо. Волосы на голове сохранились в целости. Тучность его ограничивалась болезненно вздутым животом, а ноги у него были худые.

Подойдя к усадьбе, он огляделся и пошел по боковой дорожке к кухне, хотя к фасаду дома вела большая дорога, выложенная плитами. Он окликнул горничную, попавшую ему, спросил, дома ли господин Хольмсен, и подал визитную карточку.

Поручик вышел и остановился в удивлении. Пришедший поклонился, говоря:

— Не знаю, разрешите ли вы мне посетить вас? Если бы вы отказали мне, я не нашел бы ничего удивительного.

Это было сказано очень скромно; и человек остановился под окнами кухни.

— Господин Хольменгро?

— Тобиас Хольменгро. Я родом из Уттерлея.

— Я много слышал о вас,— ответил поручик.

— И я много слышал о вас и вашей семье,— сказал Хольменгро,— о вашем отце и деде, о поместье Сегельфосс. И вот мне вздумалось приехать и взглянуть на это место. Я шел вверх по реке.

— Не угодно ли войти в дом? — спросил поручик и протянул ему, наконец, руку.

Этот чужой Хольменгро, по-видимому, слишком скромн, чтобы позвонить у дверей этого великолепного дома; он еще поколебался и сказал, наконец:

— Я смотрю и думаю, куда я попал? Во время моего детства Сегельфосс был, как мы слышали на Уттерлее, крупнейшим поместьем; никогда мне в голову не приходило, чтобы я мог когда-нибудь сидеть в здешнем доме.

Поручик ответил:

— У вас, вероятно, были другие, более широкие мечты... и вы их осуществили.

— Да, да...— задумчиво согласился Хольменгро.

— В отличие от нас, праздно просидевших дома.

— Между прочим, мне удалось испортить свое здоровье.

— Да? Оно у вас некрепкое?

— Ах, да. Во многих местах побывал я, стараясь восстановить его, но...

В этом человеке было что-то, что внушало поручику почтение. Он много слышал об этом сказочном герое, и вот он сам, сам король Тобиас, в Сегельфоссе, и нет в нем ничего особенного.

Поручик позвонил.

— А что, если бы вы попробовали снова пожить здесь?— спросил он.

— Я сам подумывал об этом.

— Хоть некоторое время?

— Только от вас нелегко выбраться, а у меня дела. Вошла экономка.

— Что могу я предложить вам? — спросил поручик.

Хольменгро поблагодарил и попросил стакан молока.

— И ничего больше?

— Благодарю; стакан молока.

Принесли стакан молока.

— Мне бы хотелось попробовать пожить здесь, но у меня еще кое-какие дела в Мексике. Я живу в Мексике, и у меня там еще есть дела. Дела небольшие, но если меня там не будет, они станут еще меньше.

— Дела?

— Да, несколько небольших и порядочных участков земли, имения, мельница, лесопилка и еще кое-что.

— Вы не можете продать все это?

— Нет, все это слишком хорошо для продажи. Жена у меня умерла, но осталось двое детей; вот мы и кормимся этим.

Это — откровение. Поручик не полагал, чтобы этот таинственный человек мог смотреть на жизнь с подобной точки зрения.

— Но ведь необходимо поправить здоровье,— говорит он.

— Конечно. Но я уж вошел в свою работу там; завел дела, сначала маленькие, и расширил их.

Поручик встал и подошел к окну. Может быть, он заметил на берегу что-нибудь необыкновенное? Увидал он всю толпу, устремившуюся к боту? Он постоял минуту,— следил ли за ним Хольменгро, неизвестно. Поручик увидал, что все его торпари и рабочие побросали работу и окружили бот. Среди толпы виднелось что-то большое. То была шуба, которую рассматривали. Он обернулся и спросил, полупотупив глаза:

— Это ваш бот стоит там?

Хольменгро встал и выглянул из окна.

— Да... Ах, какой у вас вид отсюда,— море, и лес, и поля, и луга... И река также! А там и церковь.

Похвала звучала как-то натянуто у приезжего; чувствовалось, будто он говорил только, чтобы польстить владельцу. Король Тобиас не казался ценителем пейзажей. Вид, открывавшийся из окна, представлял только море да оголенные острова.

В комнату вошел маленький Виллац и объявил, что обед подан.

— Милости просим! — сказал поручик и отворил дверь перед гостем.

В столовой он представил господина Хольменгро жене. Она была удивлена и сдержанна. Правда, она не выросла среди сказочных рассказов об этом человеке, но слыхала их много. Сегодня же экономка освежила ее воспоминание и подготовила ее.

Она была любезной хозяйкой.

— Господин Хольменгро вернулся в Норвегию, чтобы поправить здоровье, — пояснил поручик. — Оно у него расшаталось в последнее время.

— Пожалуй, мы не в состоянии предложить вам то, что следует? — сказала фру Адельгейд. — Может быть, вы держите диету?

Хольменгро не держал диеты. Он еще не так плох, только немного устал, это еще можно поправить.

Должно быть, Хольменгро был человек очень сильной воли; он, по-видимому, старался казаться бодрей, чем был на самом деле; на лице его не видно было страданий. Тихо и незаметно он препроводил в рот пилюлю, которую заставил себя проглотить без воды. Но вторая пилюля упала на пол, а он вовсе не желал, чтобы это видели.

— Вы попали сюда из большого света, господин Хольменгро? — спросила фру Адельгейд.

Он ответил, взглядывая через стол.

— Сегодня я, действительно, попал в большой свет. Я сию за столом в Сегельфоссе.

Это было недурно сказано; на столе серебро, вино и цветы, подавалась рыба, дичь и различные деликатесы. Правда, не часто за столом у Хольмсенов появлялся гость, знавший светские обычаи. Приезжий произвел на фру Адельгейд такое же благоприятное впечатление, как перед тем на ее мужа. Он говорил интересно о многих вещах, обращался к маленькому Виллацу и умел заинтересовать его.

— Как вы находите свою родину после столького времени? Ведь вы, кажется, пробыли в отсутствии около тридцати лет?

— Странное я испытываю чувство, — ответил он. — Хожу по острову и смотрю, узнаю каждый камень, каждую отмель на берегу залива и слушаю шум прибоя. Теперь там уж не осталось никого из моих близких, — многие умерли, а кто жив, пошли своей дорогой. Но мне кажется,

что это было еще совсем не так давно, когда мы жили все вместе. Тогда на берегу лежал треснувший точильный камень, лежит он и теперь; на пригорке стояло несколько молодых елочек; они стоят там и теперь.

— То же самое чувство я испытала, когда побывала несколько лет тому назад у отца в Ганновере,— говорит фру Адельгейд.— Как будто я совсем недавно была дома, совсем недавно.

— И я был там? — спрашивает маленький Виллац.

— Да. Жаль, что мы больше уже не попадем туда.

Поручик что-то перебирает руками у себя на коленях и передевает кольцо на левую руку.

— Уж не помню, было ли там весело,— говорит Виллац.

— Тише, друг мой, тогда ты был еще маленьким. Разве ты не помнишь, как дедушка дал тебе поиграть саблей, полученной за храбрость?

— Нет, не помню.

— Батюшка ваш офицер? — спрашивает Хольменгро.

— Полковник. Так и остался полковником. Ведь у меня на родине все остановилось.

— Я читал о больших событиях в Ганновере,— говорит Хольменгро.— Там мне не пришлось побывать. Богатая, прекрасная страна.

— Да, богатая, прекрасная.

— Ваш батюшка вышел в отставку?..

— Он не был еще стар и мог бы отличиться на службе. Полковник Мориц фон Плац. Но он чувствовал себя старым, чтобы поступить — как бы это сказать? — на чужую службу.

Поручик спросил:

— Ну, а как вы нашли, господин Хольменгро, судя по тому, что видели в Норвегии, пошла страна вперед или подалась назад?

— Пошла вперед. Безусловно вперед. Все страны идут вперед. Дома стали просторнее, крестьяне держат больше скота, живут лучше. Народонаселение увеличивается. Я еще немного видел здешней земли; на английском пароходе я доехал до Трондхейма. А севернее Трондхейма поехал на яхте. Да, судя по статистике, страна идет вперед.

— По статистике?

— Я только хочу сказать, что увеличивающееся население несколько подвинуло вперед земледелие, к нему стали относиться заботливее. Стали ли от того люди лучше,— я не знаю.

Это было сказано несколько ядовито.

— Здесь, на севере, как я вижу, улучшений меньше. Здесь подросло новое поколение, замечательно похожее на старое; они ходят, заложив руки в карманы,— ведь они норвежцы.

— Да, руки всегда в кармане,— согласилась фру Адельгейд.

Хольменгро усмехнулся пришедшему ему в голову воспоминанию и рассказал.

— Мне понадобилось нанять лодку для небольших экскурсий; но это оказалось не так легко. Мне указали на купца Генриксена в Утвере: у него был восьмивесельный бот, который ему не был нужен, но дать его мне для поездки он не пожелал. «Хотите продать бот?» — спросил я. Он принял это за шутку и ответил утвердительно, запросив за бот двести талеров. Так я и купил лодку.

Фру Адельгейд улыбнулась; поручик также. Хольменгро продолжал:

— Когда мне понадобились гребцы, я не мог их раздобыть. Они стояли вокруг сарая Генриксена и кругом его лодок, засунув руки в карманы. Они пошли бы под парусами, да ветра не было, а грести не хотели. Я узнал свой народ.

— Вы не сказали им, кто вы? — спросил поручик.

— Я высказал даже больше, чем было нужно; но они, очевидно, не поверили. Тогда я сказал, что они могли бы отвезти на остров старого знакомого, которого зовут Тобиасом; и спросил, помнят ли они меня? Но они оглядывали меня с головы до ног, не доверяя мне. Я снова узнал свой народ; отправился домой, навертел на себя большой шарф и превратил себя в толстяка, надел другое платье, а на шею повесил эту цепь. Я знал, что норвежцы чувствуют почтение перед толщиной и разной мишурой. Было по-весеннему тепло, и я не чувствовал необходимости кутаться, но все же надел шубу. Когда я подошел в таком наряде, все взглянули на меня другими глазами, и я достал гребцов.

Все засмеялись. Правду сказать, забавная была выдумка.

— И вы полагаете, что изменение в костюме доставило вам гребцов?

— Вполне уверен, фру. Все они слышали много разных рассказов обо мне за эти годы: что я стал могуществен, богат, сделался королем; как же мне не быть толстым и не иметь богатого вида? Когда я вернулся в шубе и золотой цепи, я превратился в Тобиаса с острова; меня признали. У негров один только король имеет право надевать на

голову кастрюлю, но притом он весь голый. Это настоящие дети, и норвежцы дети.

— Можно себе представить, что стало с народом, когда узнали, кто вы?

— Для меня это вышло неприятно. Со всех сторон начали стекаться люди, желая видеть меня; приходили с ведрами и мешками, просили денег и вспомоществования; у каждого была просьба. Некоторые помнили меня с детства, все знали мою сестру, жившую последнее время на острове, очень многие были в родстве с ней, следовательно и со мной. Одна женщина просила на похороны; другому нужны были деньги на хлеб; один мальчуган пришел с отцом; мальчишка проворовался, и я должен был откупить его...

— Нельзя сказать, чтобы...

— Да, можете себе представить, какие это были неприятные дни для меня. Однако мне удалось положить конец этому сумасшествию; оказалось, что я раздаю уж не так щедро, так как имею в своем бумажнике только один миллион и, следовательно, должен несколько ограничивать себя, пока не прибудет мой капитал; он находится в дороге, уложенный в пяти сундуках, и каждый сундук заперт четырьмя замками. Одним словом, я увидел, что нахожусь не в стране работы, но в стране, где народ живет сказкой. Я узнал свою родину.

Поручик слушал внимательно и вежливо, но несколько раз посматривал на толстую цепь Хольменгро. Не замечал ли он ее прежде, или в него запало подозрение, что она не золотая? Подобное подозрение легко могло зародиться в душе этого странного человека и вызвать в нем как бы неприятное чувство.

— Мы кончили?

Он поднялся.

Фру Адельгейд была в хорошем расположении духа и вышла с мужчинами на веранду. Подали кофе и ликер, старинное, дорогое серебро снова засверкало перед гостем. Из окон был тот же вид.

Маленький Виллац заметил толпу людей на морском берегу. Он позвал:

— Подите сюда, посмотрите! Сколько там людей, что они делают?

Мать подошла.

— Сколько народу; что там случилось? — сказала она.

И не обратила внимания на тон, каким муж ее ответил:

— Они собрались вокруг восьмивесельного бота господина Хольменгро!

Жене это показалось забавно; она засмеялась.

— Ах, боже мой! Стоят и смотрят на вашу лодку, господин Хольменгро; ждут вас! Как они вас там встретят!

Хольменгро улыбнулся, повернул голову к фру Адельгейд и тоже посмотрел в окно. Он не сказал ничего о толпе и встрече, а восхищался видом, рекой, шумевшей внизу, всем ландшафтом. Он обратился к поручику и выразил желание купить здесь клочок земли.

Поручик не имел ничего против того, чтобы при жене хвалили красоту Сегельфосса, но он старается не высказать своих мыслей.

— Вы находите, что здесь так хорошо,— говорит он.— Да, конечно.

— Я доходил до водопада,— продолжает Хольменгро.— Красивый водопад, приятная прогулка. Казалось, будто мне сразу становится легче.

— Хорошо бы вам поселиться здесь,— сказала фру Адельгейд.— Непременно выстройте дом и живите. Тогда поправитесь.

Хольменгро говорит:

— Если господин поручик согласится продать мне участок.

Оба взглянули на поручика; на его лице выразилось некоторое удивление; он наклонил голову и думал.

— Вам только остается сговориться,— сказала фру Адельгейд.

Поручик заметил, улыбаясь:

— Жена делает для вас исключение, господин Хольменгро; она вообще не любит, когда продается что-нибудь из Сегельфосса.

— Да, с лесом. Это другое дело,— перебила жена.— То же говорил и отец.

В этой музыкантше и певице скрывалась немецкая практическая жилка. У нее был здравый смысл и знание света.

— А теперь вы, вероятно, жалеете, что ваш отец... что он в свое время продавал участки с лесом,— прибавила она.

Но она чересчур напрягла лук.

— Я не жалею об этом шаге! — ответил поручик.

Пауза. Фру Адельгейд поправляет волосы маленькому Виллацу и разговаривает с ним.

— Я не имел в виду леса,— сказал Хольменгро, покачивая головой,— мне он и в голову не приходил. Но участок в каком угодно месте, небольшой уголок на берегу реки...

В этом желании не было ничего странного. Здесь сидел больной человек, имеющий вполне понятные желания... а, может быть, получится также немного денег, и то величущее. Почему жена не уходит? Зачем она остается тут? Или она думает, что он продает участки потому, что нуждается?

— Я, конечно, не стану препятствовать вашему намерению восстановить здесь ваше здоровье,— сказал поручик,— если вы только желаете попытаться?

— Надо посмотреть; эта мысль пришла мне в голову, когда я шел сюда по реке,— ответил Хольменгро.— Запах хвои был так силен и приятен, что мне стало легче дышать. «Стоит попытаться»,— подумал я. И привлекательно для жителя серого островка иметь хижину в Сегельфоссе,— добавил он, скромно улыбаясь.

Поручик сидел, слушая и наблюдая за выражением его лица. Он спросил:

— А в Мексике нет сосновых лесов?

Хольменгро ответил тотчас:

— Как же, есть. Только не там, где я живу.

На этом разговор прекратился. Выпив кофе и посидев минуту, Хольменгро стал прощаться, сердечно благодаря в самых изысканных выражениях за приятный день.

— Приезжайте поскорее опять! — пригласила фру Адельгейд.

Поручик приказал оседлать лошадь и сказал, что проводит гостя по дороге.

Тут случилось нечто. Толпа людей на морском берегу до сих пор торопливо ожидала возвращения короля Тобиаса; но в ту минуту, как он показался, сначала один, потом все прочие рассыпались по полям, кто куда. Это было так странно, так бессмысленно после того, как они потеряли столько времени! Отчего бы это? Добрые торпари и поденщики не ожидали, что поручик,— сам поручик поедет провожать гостя. И вот он приближается, по своему обыкновению верхом, между тем, как король Тобиас идет себе пешком, без шубы, которую он отослал раньше в лодку. В те времена поручик Виллац Хольмсен был человеком, с которым шутить не полагалось; барину не следовало попадаться на дороге.

— Там, по ту сторону реки, как мне кажется, можно найти кое-что,— сказал Хольменгро, смотря на гору.

— Вы про что это? Ах, да, про участки. При случае можно поговорить.

— Благодарю вас. Стоит попытаться. А что касается цены, то вполне представляю этот вопрос вашему усмотрению.

Через некоторое время они расстались там, где Хольменгро надо было свернуть к морю. Он снял шляпу и сердечно благодарил за приятный день. Хозяин попрощался.

Едучи дальше, поручик стал раздумывать:

«Вот и все, вот и вся сказка! Большой человек, мечтающий о доме, может быть, о хижине. Что из этого выйдет? Но симпатичный и благовоспитанный человек! Его манеры за столом были безукоризненны!»

ГЛАВА V

Поручик был прав: горничная Марсилия не нуждалась в докторе. Это другие выдумали, что она опасно больна, и уложили ее в постель. Через день она уже была на ногах, убрала комнату хозяина, мыла посуду, вставляла свечи в люстру и подсвечники по всему дому, выколачивала ковры, смотрела за печами,— бегала по лестнице вверх и вниз во всем северном флигеле. А под вечер, по обыкновению, поднялась в комнату хозяина.

Поручик лежал, вытянувшись на диване.

Марсилия кланяется; вероятно, этому ее научил хозяин; у нее это выходит красиво, и поэтому он отвечает ласковым кивком. Марсилия знает сама, что ей делать; она отходит от хозяина и останавливается. И это хорошо. Молодая девушка — всегда молодая девушка; если она трогает что-нибудь, она делает это красиво и мягко; она смотрит на кого-нибудь и не напрасно; ее взгляд имеет свое действие. Взгляд молодой девушки всегда действует.

Марсилия берет книгу со стола. Руки у нее очень гибкие, но большие и загорелые от стирки; на обратной стороне не видно жилки.

— Ты, может быть, чувствуешь себя нездоровой, чтобы читать сегодня вечером,— говорит поручик, и приподнимается.

— Ах, нет,— отвечает Марсилия весело.

Она подходит к своему месту у подсвечника с двумя свечами и садится. Она начинает читать, немного неуверенно и медленно вначале, но затем все лучше и лучше. При сомнительных словах она морщит брови и всматривается напряженно; но затем все идет хорошо и гладко, и ее лицо проясняется. Хозяин опять вытянулся; может быть, он воображает себя в самом деле пашой. Он лежит так, что может следить за изменяющимся выражением

лица девушки, и это, по-видимому, доставляет ему удовольствие; иногда, когда Марсилия нахмуливает брови, и он также нахмуливается. Эти чтения по вечерам поручик устроил вовсе не для того, чтобы научить Марсилию читать; он ни разу не поправляет ее; да и, вероятно, находит это лишним; но он прекрасно замечает, что она читает все лучше и лучше; может быть, она втихомолку упражняется одна в свободное время. Он устроил эти чтения исключительно для своего удовольствия. Настоящий паша; настоящий эгоист!

Он уже, вероятно, перешел тот возраст, когда мог бы рассчитывать на женское внимание ради своих личных качеств; но так как он не встречает сочувствия у себя дома и не может совершенно обойтись без него, то он и покупает его каждый вечер у своей горничной,— своей служанки? Может быть, это и так. Каждый устраивается, как может.

«Обычай травданцев вообще сходны с обычаями прочих фракийцев,— читает Марсилия перевод Геродота; — за исключением обычая убивать новорожденных и похоронных обрядов. Как только рождается ребенок, на него накликают всевозможные несчастья, какие могут постигнуть человека, и оплакивают горестную судьбу, неотвратимо ожидающую его в жизни. Когда кто умирает, они выражают свою радость, что его закапывают в землю, и ликуют, что он избавляется от стольких разнообразных невзгод».

Она читает дальше, что «упомянутые фракийцы имеют обычай продавать своих детей с тем условием, чтобы они не оставались в стране. О дочерях они мало заботятся, но зато жен держат очень строго; они следят за ними и покупают их за дорогую цену у их родителей. Они накладывают на себя знаки и отметины, и делают это как доказательство своего благородного происхождения; отсутствие отметин считалось признаком низкого происхождения. По их мнению, праздность лучше всего; ничто так не почетно; и ничто так не презирается, как хлебопашество. Это их замечательная черта».

Время идет; Марсилия читает быстро; это нравится поручику. Он по временам оглядывает комнату и смотрит в большое зеркало на противоположной стене; может быть, он взглядом ищет его; там ему видно отражение затылка девушки; вероятно, это доставляет удовольствие паше. А, может быть, что-нибудь еще? Не стало ли ему самому ясно, что вся эта сцена с этой читающей девушкой и Геродотом комична, и не вызывает ли она его собственный

смех? Нисколько. Что он придумал, не может быть смешным. Ему это и в голову не придет. Ему хорошо, он чувствует, что смотрит то туда, то сюда, и его глаза спокойно и ласково мигают.

В этой комнате он собрал много вещей, принадлежавших маленькому Виллацу; здесь пара зеленых сафьяновых башмачков, тряпичная кукла, кубики, шарики, еловые шишки. Картонная азбука повешена на стене, как дорогая картина. И человек его возраста, имея все это перед глазами и молодую девушку чтицей, мог успокоиться.

Или нет?

Паша встает, Марсилия закрывает книгу; очевидно, он желает перемены. Марсилия кладет книгу на место и вынимает шахматную доску и шашки. И это занятие для Виллаца Хольмсена!

Они садятся и играют.

Тут Марсилия смущается еще больше прежнего. Поручик играет смело; он делает ход, совсем не раздумывая, и ждет ее хода, смотрит на нее. Иногда во время игры она отваживается поднять на него глаза, он встречается с ней взглядом. Неужели Виллац Хольмсен может забавляться подобными вещами?

Они играют несколько партий, и он дает ей выиграть. Как он становится смешным и маленьким при подобном занятии!

— Если ты сделаешь этот ход, я опять выиграю,— говорит он.

Она спохватывается и хочет отступить, руки их встречаются; дыхание смешивается, они доигрывают игру, но на него будто что-то нашло: он стонет. Несколько шашек падает; он и она нагибаются за ними,— стол опрокидывается; лицо его принимает смущенное выражение...

— Спасибо, довольно,— говорит он и поднимается.

Она убирает шашки и, собираясь уйти, делает книксен в дверях.

— Ах, да,— говорит он.— Хм! Когда Давердана придет завтра, покажи ей, что делать.

— Хорошо.

— Приведи ее сюда и выучи всему.

— Хорошо.

— Вот и все.

Это был последний вечер чтения Марсилии.

Но сколько раз горничные внизу, в кухне, обсуждали между собой эти литературные вечера в кабинете поручика.

— Что у них там происходит? — говорит экономка. — Смех да и только!

Но в самой экономке много смешного; и говоря что-нибудь забавное, она скашивает рот в сторону, — так ей хочется первой засмеяться. Она из Вестланда, ей двадцать лет «с небольшим», и зовут ее иомфру Кристина Сальвезен. Но, храни Бог иомфру, если поручик как-нибудь услышит ее остроумные замечания!

— Что же ты думаешь, они сидят и глядят друг на друга?

— Марсилия говорит, что она читает из книги, — отвечает одна из горничных.

— Читает?

— Да, она говорит так.

Экономка скашивает рот и изрекает:

— Ну, да, читают. Читают по складам, да складывают.

— Ха! ха! ха! — хохочут девушки, зажимая себе рты.

Так как вечер летний и солнечный, поручик выходит на прогулку и производит осмотр. Он человек порядка; до сих пор он смотрел на свои собственные окна; теперь смотрит на окна жены. Они открыты; из комнаты слышны голоса; жена говорит с кем-то. Так как он человек порядка во всем, то ему кажется, что жена могла бы говорить с доктором потише.

— Но девушка выздоровела? — говорит она.

А доктор отвечает:

— Да, уже встала. Я немного преувеличил опасность, фру... чтобы иметь возможность как-нибудь опять заехать.

Поручик идет в сад. Там фонтан, устроенный его отцом; он высоко поднимается в воздух и сверкает, как яркое стальное лезвие на солнце. Поручик окидывает взглядом большой сад, поля до самого моря. Там стоит чужая лодка с гребцами, — должно быть, она привезла доктора. Фиорд спокоен и неподвижен, господствует такая тишина, будто перед бурей; далеко на горизонте стоит темная туча, — фиолетовая с широким золотым краем. Точно она разразится золотым дождем.

Поручик идет к садовой стене; он слышит шаги за собой, но не отвечает. Так как он человек порядка во всем, он запирает садовую калитку и вынимает ключ.

— Хо! — раздается позади него. — Не запирайте, господин поручик. Одну минуту...

Виллаца Хольмсена никто не смеет окликать: «Хо!»

Он медленно оборачивается.

— Извините, господин поручик, я пришел взглянуть на пациентку, горничную, — говорит доктор.

Так как поручик только смотрит на него, он снимает шляпу и желает доброго вечера.

— Девушка выздоровела,— говорит поручик.

— Да.

— Да.

Они смотрят друг на друга. Поручик начинает улыбаться.

— Извините,— говорит доктор,— но вы меня заперли.

Так как поручик, по-видимому, не собирается отпереть калитку, доктор спрашивает полушутя, полуозабоченно:

— Или мне придется перелезть через стену?

— Если находите для себя удобным,— говорит поручик.

— Удобным?..

— А иначе я вас переброшу через забор...

Поручик не шевелился; он держался за большую ручку калитки так крепко, что пальцы его побледнели. Доктор смерил глазами стену; бросил последний растерянный взгляд на поручика и поспешно полез вверх. Вечер так тих, что даже приятно перелезть через стену.

Когда несколько позднее поручик успокоился и пошел в дом, он встретил фру Адельгейд в дверях. Он не прочь был встретиться с ней и поклонился. Отсюда она, конечно, могла видеть человека, последний раз кивнувшего горничной Марсилини! Он смотрел ласково и с сознанием собственного достоинства.

Но жена, должно быть, не так поняла его и сказала:

— Я ждала вас, но вас не было дома. Вы гуляли.

Он ответил:

— Вы не часто ждете меня по вечерам; это совсем необычайно. Вы, действительно, ждали меня в такой поздний час? Пожалуйста, не желаете ли вы войти?

Они вошли в дом.

— Я ждала вас, чтобы спросить, что за дурак этот доктор, которого вы пригласили сюда?

— Доктор? Я совсем не знаю его. Он окружной врач. Он был вашим доктором десять лет.

— Десять лет? Теперь кончено.

— Почему? Я его не знаю, но вы ведь знаете его хорошо? Оле Рийс,— может быть, он сам по себе не представляет ничего особенного; но его сестра Шарлотта-Елена, бывшая замужем за магнатом Родвани в Венгрии, вышла в знать. Он вам не рассказывал о ней?

— Все болтовня...

— Я говорю только то, что знаю. Эта значительная и самоуверенная личность меня вовсе не интересует.

— Вы все шутите, Виллац. Я хотела попросить вас об одной вещи, но теперь передумала...

Что такое с фру Адельгейд? Она так взволнованна; она вдруг обнимает мужа и говорит:

— Отчего вы такой? Прошу у вас прощения!

К собственному своему изумлению, поручик не ответил на ее ласку; он стоял неподвижно, отвернувшись.

Она опустила руки, качаясь отошла в сторону и упала на стул.

Она ничего не понимала; не могла понять, почему она вызвала непоправимое охлаждение между ними; что его терпение истощилось, что место последнего заступила его несокрушимая воля.

Она только чувствовала свое унижение.

— Зачем вы сюда пришли? — спросила она.

— Чтобы выслушать, что вы скажете, — ответил он. — Исключительно для этого.

Теперь, очевидно, он взял верх и воспользовался своим преимуществом. Она почувствовала это и ответила:

— Мне нечего больше говорить.

— Не может быть!

— Хотите вы знать, что я скажу? — спросила она и выпрямилась. — Доктор... я хотела просить вас сказать этому мужику, что мы никогда больше не обратимся к нему. Теперь вы знаете?

— Хм! — сказал поручик.

— Но для вас это, вероятно, не имеет значения?

— Не могу себе представить более приятного поручения, — ответил поручик с выражением несказанного превосходства.

Выведенная из себя его тоном, она крикнула:

— Нет, вы этого не сделаете, уверена, что не сделаете.

— Вы не думаете, что говорите.

— Я вас знаю, — ответила она запальчиво, — вы всегда ездите шагом, вы боитесь за свою особу... Это свойство вашего характера. Но как угодно. Покойной ночи!

Когда она была уже в дверях, он с язвительным самообладанием сказал:

— Несколько дней тому назад вы высказали за обедом, что желали бы проехать к себе домой. Я, со своей стороны, не имею ничего против этого; деньги готовы к вашим услугам, — как всегда...

Молчание.

— Хорошо. Благодарю вас.

Но это предложение мужа сильно смутило ее, и она вышла из комнаты большими, поспешными шагами, чтобы остаться наедине и все обдумать.

А поручик снова надел кольцо на правую руку.

ГЛАВА VI

Маленький Виллац вырос; он высокий мальчик, хорошо играет и поет, но настоящий сорванец и своенравен; с ним нелегко справиться, как прежде; он делает, что хочет, и матери не слушается.

Отец долго раздумывал, как быть с ним; взять ли домашнего учителя, который учил его самого в детстве,— учителя с некоторыми школьными познаниями; или поступить иначе,— это было для него большим вопросом. Этот учитель будет ходить из комнаты в комнату по всему дому в Сегельфоссе, обедать за одним с ними столом и слушать все, что говорят; утром он станет заниматься, а по ночам зубрить, чтобы стать священником или адвокатом. Поручику были знакомы люди подобного сорта; он не мог говорить с такими господами, взгляды которых совершенно отличались от его личных; у них нет ничего собственного,— все одна школьная премудрость.

Поручик подумывал об Англии — это страна, подходящая для его сына, там школа хорошая, хотя и дорогая. Лишь бы нашлись средства послать туда мальчика, только туда! Средства! Разве он не отправил в Тромсё долговязого сына Ларса Мануэльсена и не содержал его там? Неужели же его собственному сыну прозябать дома? Неужели же поручику отстать от старого Кольдевина, отправившего сына когда-то в Сен-Сирскую школу во Франции?

Поручик все думает и думает.

А маленький Виллац — тот не думает. С годами он сошелся с мальчиком-соседом — Юлием, одним из сыновей Ларса Мануэльсена, и они вместе проводили веселые дни. Маленький Виллац раз провел Юлия по задней лестнице к себе в комнату, показывал ему разные вещи, и они вместе рисовали акварелью. Юлий был для него чем-то совершенно новым и любопытным; мальчик, кроме того, внушал к себе почтение своими огромными руками и ногами, которые они сейчас же нарисовали. Перед постелью Виллаца лежал ковер.

— Смотри, ты наступил на платье! — крикнул Юлий.

— Я?

Виллац взглянул на него с удивлением.

И так как Виллац не сходил с ковра, то Юлий поднял ковер и положил на постель.

— Зачем ты это делаешь? — спросил Виллац.

— Чтобы ты не топтал его, — ответил Юлий.

Приятели изрядно вымазались красками, и пока Виллац моет холодной водой руки и лицо, Юлий участливо смотрит на него.

— А ты что же, не станешь мыться? — спрашивает его Виллац.

— Нет, надо поторопиться, — говорит Юлий, — отлив начался.

Юлий чувствует себя не совсем ловко; он просит Виллаца спуститься с лестницы потихоньку: они могут встретить Давердану, а она не раз дома награждала брата колотушками. По предложению Юлия, Виллац должен спуститься сперва, а затем, если все благополучно в коридоре, кашлянуть. Виллац уходит. Юлий оборачивается к столу и берет резиновый мячик, который заметил между прочими вещами: игрушка может пригодиться. Виллац кашляет, и Юлий тихонько скользит по лестнице.

Они пошли к морю и стали искать морских звезд, ракушки и камешки. Они выстроили на песке из камней дом и хлев, в хлев загнали скотину; скотину же представляли из себя различные раковины; коров они раскрасили, какую пятнами, какую полосами; краской послужила смесь кирпича со слюной. И, Боже мой, как они увлеклись игрой, хотя оба были уже большие мальчики.

Юлий проголодался и собрался идти домой. Но как же так расстаться именно теперь, когда было веселее всего? Виллац с содроганием подумал, что он пропустил обед; но разве он мог помнить о нем, когда даже не чувствовал намека на голод? Теперь же голод дал себя знать вдруг очень сильно, и он пошел за Юлием к нему в дом.

— А, к нам идет дорогой гость? — говорит мать Юлию. — Садись, Виллац. Ешь, Юлий. Где вы были?

— Был с Виллацем, — отвечает Юлий.

— Ты в дом к нему, конечно, не заходил?

— Как не заходил? Мы сидели и раскрашивали картинки. Спроси у самого Виллаца.

— Удивительно! — говорит мать, и чувствует прилив женской гордости.

Дочь, Давердана, горничной в Сегельфоссе, а теперь и Юлий побывал там.

Юлий быстро принимается уплетать селедку и картофель не пользуясь ни ножом, ни вилкой; тарелка у него четырехугольная, деревянная, — все совсем необыкновенное. Виллац чувствует ужасный приступ голода.

— Кажется, селедка и картофель вкусные? — говорит он.

— Да, жаловаться нечего; этого добра у нас довольно! — отвечает женщина. — Что бы мы могли еще предложить Виллацу? Может, ты скушаешь ломоть хлеба с маслом? Нет, этого и предлагать нечего.

— Благодарю, я съем, — отвечает Виллац.

Он никогда еще не испытывал такого голода.

Женщина намазывает маслом большой ломоть хлеба, толчет бутылкой темный леденцовый сахар и посыпает им хлеб.

— Ну, вот, попробуй. Как понравится?

Виллац съел все; ему никогда не приходилось есть лучшего хлеба с маслом. Этот хлеб с коркой и хрустевшим сахаром был для него неизвестным лакомством; он решил просить мать ввести его в употребление дома.

Мальчики убежали опять, и снова началось веселье. Этот Юлий был молодец, настоящая находка для Виллаца; он был проворен, ловок и во всех выдумках всегда первым. Он умел здорово ругаться и знал удивительно много. Мальчики взобрались на крышу кирпичного завода, и теперь предстояло спуститься вниз. Пришлось пятиться на четвереньках и нащупывать крышу ногами; и несколько раз их постигла неудача; наконец, Виллацу надоело, и он прыгнул. Это ему удалось, и он предложил великодушно товарищу подхватить его, когда тот последует его примеру. Но Юлий не решался, он несколько раз пускается в путь, но каждый раз отказывается от намерения.

— Я не боюсь; а только можно насмерть расшибиться, — говорит он.

Наконец он снова принимается за первый способ, то есть пятится и, проползши некоторое пространство, спрашивает:

— Еще далеко?

— Нет, — отвечает Виллац, — из этого опять ничего не выйдет; прыгай!

Долго сидел Юлий, свесив ноги, но не решался прыгнуть; он опять стал ползать по крыше; но, наконец, отказался от попытки; находя свое положение безнадежным, он разревелся и объявил, что не может дольше висеть.

— Да прыгай! — крикнул ему Виллац.

Юлий зажмурил глаза и прыгнул.

— Вот видишь, вовсе не так опасно! — сказал Виллац.

Но Юлий немного ушибся. И теперь, чувствуя себя вне опасности, начал браниться.

— Да ты взгляни только, как я расшибся,— говорил он, показывая синяки и шишки.— Нет, скажу тебе, нелегко спрыгнуть с такой высоты!

Но что это такое? Мячик выпал из кармана Юлия и лежал у их ног.

— И у тебя такой мячик? — спросил Виллац.

— Мячик? Да, он, может, лежал здесь прежде,— ответил Юлий.

Но вдруг одумался и сознался, что взял мячик только для того, чтобы было чем поиграть.

Они бросают мяч, ловят его, резвятся, словно жеребята. Луг велик, и небо высоко; их смех и крики звучат, как крики чаек. Но вот мячик упал далеко в траву, среди камней, совсем далеко. Они ищут и ищут; мяча нет. Ничего не остается, как бросить его.

К ним приближается маленький Готфрид из одного соседнего дома на пригорке. Он, должно быть, видел, в каком знатном обществе играет Юлий, и тихонько, робко подходит, чтобы принять участие в игре.

— Вот идет Готфрид,— кричит Юлий и бежит.— Удерем!

Они бегут; Готфрид же так растерялся, что начал рвать траву на лугу и не шел дальше, наконец, сел на землю и продолжает рвать.

— Чего нам удирать? — сказал Виллац.

— А вот я тебе скажу,— ответил Юлий.— Я не хочу вести знакомства с таким, как этот Готфрид. Больше ничего не прибавлю. Виллац не понял ничего; но Готфрид после того стал еще больше интересоваться его.

— Его мать воровала яйца диких птиц на берегу.

Но это не уменьшило интереса, внушаемого Готфридом; товарищ, у которого была такая мать, представлялся ему чем-то загадочным. Чтобы отвлечь внимание от Готфрида, Юлий сказал:

— Что ты думаешь о ягнятах, которые не рождаются живыми?

Вот это уж загадка для Виллаца. Он сидел, открыв рот.

Юлий сказал:

— Если у овцы ягненок не родится, он гниет в ней.

— Вот как? — переспросил Виллац.— Гниет?

— Да. У нас была овца, с которой это случилось. Нет, ты посмотри на Готфрида; он уселся посреди поля. Чего этот негодяй сидит там?

Но тут ему в глаза бросается нечто другое; на дороге показался всадник, — поручик.

— Вон там твой отец! — шепнул он и без дальнейших размышлений пустился наутек.

Виллац оказывается в одиночестве, даже Готфрид, заметив поручика, старается заползти куда-нибудь, чтобы не быть таким заметным среди луга. Виллацу нет выбора, он должен идти навстречу отцу.

— Ты здесь? — спрашивает отец, придерживая лошадь. — Ты сегодня прогулял обед. С кем ты был?

— С Юлием.

— С каким Юлием?

— С Юлием. Право, не знаю; он из тех домов.

И он указывает на гору.

— Ступай домой, проси прощения у матери, — говорит отец и едет дальше.

ГЛАВА VII

Через некоторое время приезжает Кольдевин с женой и сыном; это знатные хозяева, и их принимают хорошо в Сегельфоссе. Молодому Кольдевину в это время было под сорок; он был женат и жил в одном из городков Вестланда. Он был купцом и французским вице-консулом. О Фредерике Кольдевине шла хорошая слава; он был очень любезен и изящен. Волосы он носил с пробором, а на пальцах много колец. Последний год был особенно выгоден для него; в его город прибыл потерпевший аварию французский корабль, и он купил весь груз, заработав большие деньги, а, кроме того, нашумел своими праздниками в честь Франции. Он устроил маскарад, голубой грот и фейерверк. Прислуживавшие девушки были в коротких национальных костюмах, а местный оркестр играл под окнами. Он давал праздники не только в честь офицеров парохода, но и в честь экипажа.

Как консул, он желал быть внимательным ко всем одинаково. В числе экипажа был негр из Алжира; он пригласил и его.

Фредерик Кольдевин охотно рассказывал о прошлом году; то было золотое время, и иностранцы — веселый народ. Его содержание в Сен-Сире окупилось.

— Замечательно, что одна из девушек-прислужниц на празднике несколько дней спустя вышла замуж за столяра. Я вдруг вспомнил об этом.

— Что же в том особенно удивительного?

— И вот родила мужу ребенка совершенного мулата. Молчание.

— Это мне непонятно,— замечает фру Хольмсен.

— И никому непонятно,— отвечает Фредерик Кольдевин.— И доктор не понимает.

— Ах, и у нас был гость,— говорит поручик.— Вам может рассказать о нем фру Адельгейд. А меня извините,— на минуту.

Поручик уходит.

Он выходит на двор; девушка Давердана стоит у входа, и он говорит ей:

— Ты не пришла сегодня вечером; ты забыла?

— Нет. Хозяйка послала меня по делу,— отвечает Давердана.

— Где ты была?

— У башмачника.

— Да; я забыл. Я сам сказал, что тебя надо послать к башмачнику. Надо было починить башмаки.

— Нет. Хозяйка сказала, что надо только почистить.

— Да, да.

Поручик пошел дальше. У него, собственно говоря, нет дела на дворе, но он все же вышел из дому; ему надо обдумать столько вещей. На поручике сегодня новый мундир в честь гостей, и поэтому он не пошел ни в хлев, ни в конюшню, а направился в ригу, где нашел себе темный угол, и простоял тут целый час. Вид у него вовсе не удрученный, он даже кивает головой будто от удовольствия.

— Так почистить! — повторяет он несколько раз, потирая худые руки. Возвращаясь домой, он снова надевает кольцо на левую руку, как бы для того, чтобы не позабыть чего-то.

Служанка Давердана опять на дворе. Поручик взглядывает на нее мимоходом.

— Ты принесла обратно башмаки?

— Нет,— отвечает Давердана,— я только отдала их.

Поручик кивает, и вид у него довольный.

Когда он возвращается, все общество сидит молча. Консул говорил последний и теперь снова начинает:

— Я слышал, ты принимал у себя короля Тобиаса, и он хочет купить участок. Великолепно — продать ему участок!

Поручик ничего не ответил на это и сказал только мимоходом:

— Мы думали,— я и фру Адельгейд,— что он больной человек. И вы слышали о нем?

Старая г-жа Кольдевин качает неодобрительно головой и говорит:

— Ну, конечно.

— Мы разделились на два лагеря,— говорит консул: — отец и мать, с одной стороны, я и фру Адельгейд — с другой; маленький Виллац кажется тоже на нашей стороне. Так, Виллац? Ну, само собой разумеется. А вот теперь и замолчали.

Старик Кольдевин сидел, глубоко задумавшись; он был добродушный старичок и не любил никаких споров. Когда фру Адельгейд рассказывала о короле, об этом Тобиасе Хольменгро, во что бы то ни стало желающем приобрести здесь участок земли, он проворчал что-то про себя и, наконец, сказал:

— Не допускайте этого; ни за что не допускайте!

Он теперь повторил свое предупреждение:

— Если продавать, да продавать, так что же останется от Сегельфосса?

— Конечно, от Сегельфосса останется еще много, очень много,— поправил он и добавил: — Но ведь последний Виллац Хольмсен еще не родился.

— Теперь времена новые, отец,— говорит консул.— Такие крупные имения не окупаются, они только поглощают средства. Их сохранить в состоянии только тот, кто в старину отложил капитал, из которого может тратить.

— У меня не было отложено большого капитала,— отвечает отец.— То, что надо было получить, исчезло в голодные годы и во время войны. И все же...

— Ну, отец, ты не гонишься за наживой...

Старушка сделала знак сыну, останавливая его.

— Но зато я и не хочу делиться ни с кем своим скромным клочком земли, ни за что.

— Но, отец, он тебе ничего не приносит.

— Может быть и не приносит. Разве везде надо искать одного дохода? — спросил старик.— Если бы мы с матерью все продавали и копили деньги, так и остались бы одни деньги, а большой земли совсем не было бы. И что бы делал весь этот народ, если бы у него не было твоей матери и меня? Вот нынешней весной у Генрика пала корова, хорошая корова, стельная. Ты помнишь Генрика, твоего крестника?

— Помню. И что же?

— Да ничего,— сказал старый Кольдевин,— только пришел он к матери...

Молчание.

Никто не нарушал его и, наконец, фру Кольдевин сказала:

— А я пошла к отцу...

Молчание.

— Но,— возразил консул, улыбаясь,— в конце концов, разве вышло бы не на одно и то же, если бы вы ему вместо новой коровы дали деньги?

— Вовсе нет,— отвечали оба старика, поднимая головы.— Деньги он бы истратил.

Поручик примирительно вставил:

— В этом случае дело идет о пустяках; мы желаем выстроить домик, хижину; а, может быть, все это еще ничем не кончится. Мы с фру Адельгейд говорили с господином Хольменгро об этом; он относится к вопросу очень благоразумно.

— Я вполне была на его стороне,— говорит фру Адельгейд.— Он болен и хочет попытаться, поправить свое здоровье в здешних сосновых лесах.

Они замолчали, и каждый думал про себя. Маленький Виллац, не знавший лучшей забавы, как перемена, быстро очутился в зале и начал играть на старом фортепиано.

— Бом-бом-бом-бом! — вторил ему консул, и встал.— У этого самого Генрика отца не было, а мать была, и звали ее Лизбета; так вот сына я окрестил Генри л'Исбет. Жизнь в Сегельфоссе текла однообразно.

Фредерик Кольдевин прекрасно знал это и не находил ее по своему вкусу, но он делал все, чтобы не скучать. Поручик был его товарищем детства, и фру Адельгейд с годами подружилась с ним. Он болтал, насвистывал и пел в комнатах, а по вечерам хорошо выпивал с поручиком. Даже простаивал иногда по целым часам с экономкой, иомфру Кристиной Сальвезен, у окна кладовой.

— Иомфру Сальвезен, я кланялся вам, когда приехал, но не успел перемолвиться с вами серьезным словечком.

— И в этом году опять серьезное словечко? — спрашивает иомфру Сальвезен смеясь.

Консул качает головой.

— В прошедшем году со мной было плохо. И теперь я приехал, чтобы положить конец.

— Вы и раньше приезжали с тем же. Ха-ха-ха!

— Я написал стихи о ваших бровях и глазах. «Ваши глаза — мое богатство», говорю я... Как бишь дальше? Ах,

если бы вы знали, что я говорю о ваших глазах! Иомфру Сальвезен, так это правда, что вы дали слово после того как я был здесь в прошедшем году?

— Да что же мне было делать? — восклицает иомфру Сальвезен и перекашивает рот. — Ведь консул порвал со мной.

— Я? Ну, как у вас хватает сердца быть такой коварной? Поэтому я и говорю: «Ее глаза — ее деньги, она все купит на них».

— Фи, господин консул!

— Ну, можете ли после того удивляться, что я окончательно лишился рассудка? Три года мучаюсь, приезжаю — и узнаю, что вы помолвлены. Лучше бы мне никогда не видеть вас... или, как это говорит Шекспир... «Вы тяжело согрешили предо мной».

— Да, вы похудели и измучены!

— Вот они, женщины. Во время моего путешествия на север я встретился с одним человеком, кто его знает, не был ли он где-нибудь пастором. Он сидел возле смертного одра жены, со своими тремя сыновьями. Из них он всегда признавал двоих; они казались ему похожими на него самого, но младшего, маленького и слабенького, он не выносил. Вдруг жена говорит ему: «Это твой сын!» Человека словно пришибло к земле. Когда он, наконец, оправился, он спросил: «А другие?» Жена не ответила. «А другие? А другие... другие?» — кричал он. Но жена уже умерла.

Консул и иомфру Сальвезен смотрят друг на друга.

— Уф! — говорит она и передергивает плечами.

— Поставьте себя на место этого человека, иомфру Сальвезен: всю жизнь будет он спрашивать себя: «А другие?» И ответа не получит.

Молчание.

— Приведите человека сюда, так он получит ответ! — внезапно говорит иомфру Сальвезен. — Мать, конечно, сокрушалась о меньшом и потому сказала... она чувствовала приближение смерти и хотела помочь меньшому... Ведь он был младший и, кроме того, находился в подозрении... Никогда не слыхала я такого ужаса!.. И вот она сказала...

Консул ждет.

— Она сделала это только для того, чтобы помочь малышу. Неужели вы не понимаете? — кричит иомфру.

Консул кивает. Его трогает ее доверчивость.

— Совершенно то же самое и я сказал этому человеку и посоветовал молчать...

— Ха! ха! ха! Это хорошо. Он того заслуживает.— Иомфру даже несколько похорошела от своей горячей веры.

Консул смягчается; он, может быть, зашел слишком далеко и поправляется:

— Точь-в-точь, что я сказал этому человеку, ну, самыми вашими словами. Почти слово в слово. И это заставляет меня теперь убедиться, как, собственно, мы с вами сходимся, иомфру Сальвезен; если бы вы только были не так коварны. Теперь я стану скитаться один по свету, спрашивая: «Что это за жизнь? На кой черт такая жизнь?»

— Да вы с ума сошли! — кричит иомфру и покатывается со смеху.— Ух, как я хохочу; даже сетка сваливается с головы,— говорит она и поправляется немного.— Что, теперь лучше сидит?

— Да, да,— отвечает консул.— А когда вы поднимаете руки, мне приходит на мысль...

— Нет, дорогой консул, неужели вы не *можете* хоть раз говорить серьезно?

— Какая у вас талия! Право, зайду и обниму вас...

И он действительно сделал движение, чтобы войти, но иомфру воскликнула:

— Вот было бы прекрасно! А что, если хозяйка придет.

Однако, он продолжал стоять и закончил свою болтовню несколькими ловкими фразами. Иомфру спросила о жене и детях. Неужели они больше не придут в Сегельфосс?

Но больше всего консул беседовал с фру Адельгейд. Он рассказывал ей смешные анекдоты и приключения, пережитые со времени его последнего пребывания в Сегельфоссе; был любезен и интересен; фру Адельгейд ожила и одевалась лучше обыкновенного; сам Фредерик Кольдевин был так изящен и весел. И он вел не одни бессодержательные разговоры и болтал не одни пустяки,— напротив, у него были свои мнения, и он излагал свое мирозерцание.

Его мирозерцание было таково, что надо следовать за своим временем.

Фру Адельгейд охотно слушала его. За последнее время она особенно чувствовала себя немкой, а консул Фредерик был француз, но тем не менее...

— Почему вы говорите постоянно франко-прусская война? — спросила она.— Ведь немцы победили; стало быть, это германо-французская война.

— Да,— ответил консул,— победили пруссаки.

— Германцы. Разве мы все не германцы?

— За исключением французов, да. Но об этом, милая фру Адельгейд, мы теперь не станем разговаривать. Вчера я слышал, как лебеди долго пели; их было несколько, и образовался хор. Впечатление получалось такое странное и жуткое, что я невольно подумал о вас.

— Да? — сказала фру Адельгейд.

Она вовсе не была холодной натурой; это становилось очевидным, когда она играла и пела вещи, которые ей нравились: она закидывала голову и давала волю своему увлечению. Консул Фредерик прекрасно заметил это, и ее пение открыло ему многое; он просил ее спеть еще:

— Хорошо, потом, — ответила она, — вечером, если пожелаете.

— Конечно, пожелаю!

— Но вы не должны благодарить меня, как имеете обыкновение. Мне следует благодарить вас.

Фру Адельгейд после того сидела некоторое время тихо, не стараясь скрыть свои чувства, и лицо ее медленно покрылось румянцем.

Тишина. Будто в воздухе прозвучало «Ave Maria». Консул Фредерик молчал. Этот шутник сидел, опустив глаза в землю. Он смотрел серьезно, не улыбаясь, лицо выражало глубокое сострадание.

Фру Адельгейд встала и направилась к двери.

У каждого была своя судьба, и у фру Адельгейд была своя. Поэтому у нее был ключ от двери ее комнаты, поэтому она выгнала из дому нахала-доктора, поэтому она писала дневник.

ГЛАВА VIII

Во время ночных заседаний консула и поручика за бутылкой, когда они сидели, разговаривая о том и сем, бывали и споры.

Разве консул не имел своих взглядов? Но когда он сидел в старинной, роскошной комнате, убранной драгоценностями из времен предков, за сигарой и вином в венецианском бокале, с добрым товарищем детства, в задушевной беседе, которой он годами бывал лишен в своем рыбацьем городке, — он чувствовал, что переносился в другую жизнь, чем та, которой он жил. И нелегко ему бывало отстаивать свое мировоззрение. Но что делать? Оставалось только превзойти себя, оправдаться перед самим собой во всем, чем он проникался в течение годов, говорить

отчаянные пошлости, повторять те же мещанские суждения, которые день и ночь он слышит вокруг себя,— что же еще больше. Его родители намеревались было сделать из него дипломата, поэтому и отправили прямо во Францию; из его сына Антона Бернгарда Кольдевина тоже не выйдет дипломата,— в этом он мог поручиться! Наследственность, голубоватый оттенок в крови,— что это значит?.. Болтовня, пустые мечты,— черт поberi все это.

Подарили корову Генри л'Исбету? Нет, monsieur, пожалуйста, вот деньги наличными; но ты должен отработать их у меня на пристани, а в залог дать свой дом. Да помещика мало что касается: война не лишает его земли, его зеркала и обстановки, даже печи нетронуты; на некоторых серебряные украшения, на других широкие гирлянды червонного золота. Стадо из 200 баранов осталось неприкосновенным, не тронула война его амбаров, лодок и заводов... многое сохраняется в больших имениях и после войны, и в худшем случае еще можно пережить. Подождать немного,— земля капитал, дремлющая сила,— через несколько лет можно опять стать на ноги, оправиться. Тут умирает тесть — пошли ему Господи царствие небесное,— он был из того же сословия, седой и напыщенный своей знатностью, и он потерпел, но снова стал на ноги. Что же теперь? Землевладелец получает наследство за наследством. Бедняге повезло,— да удостоит Господь эти души царствия небесного. Помещик удерживается. А другие,— рабочие, деловые люди, поденщики,— те показывают друг другу зубы и дерутся. Вот какова жизнь. И дерутся они из-за старых помещиков; они дерутся из-за тех, у кого что-нибудь есть за душой.

Старые помещики, это — кости; другие — собаки. Что же делать кости? Когда несколько собак дерутся из-за кости, ей остается только лежать, ей нечего вмешиваться и впутываться. Ей мало дела до них. Но всем другим следует идти за своим временем.

В душе консула Фредерика, вероятно, пробуждались мучительные воспоминания, внушенные наследственностью; но черт поberi эти мечты; он устоит! Иногда он горячился больше, чем следовало. Почему? Разве ему трудно сдерживать мечты? Его друг, поручик, правда, нечасто, раздражал его; он говорил мало, но так твердо придерживался своих убеждений, что ничто не могло сдвинуть его. Почему же Фредерик спорил с ним из года в год и так горячился? Как знать: может быть, Фредерик Кольдевин попал в жизни не на ту полочку и теперь старался не остаться

на ней один, а пытался поднять за собой и других. Кто знает?

— Я зашел так далеко, что позволю своим двум дочерям выйти замуж, за кого хотят. Тее восемнадцать лет, и она наполовину помолвлена со штурманом. Что ты скажешь на это? Я ей сказал, что это дело еще подождет. Да она и сама понимает. «Только Виллац Хольмсен и фру Адельгейд из Сегельфосса твои крестные родители, и этого нельзя оставить без внимания»,— добавил я. Она поняла и это. «Что же касается меня, то со мной не считайся, и выбирай, кого хочешь!» У Герды еще много времени впереди, ей всего пятнадцатый год. Господи, ведь мы вращаемся в лучшем обществе нашего города и не доставало бы только этого! Например, весь чиновничий мир.— Семья окружного судьи, очень образованная, а у жены племянник прокуратор. Таковы же пастор и таковы же мои коллеги-коммерсанты. Обжившись среди них, испытываешь необыкновенное удовлетворение; я не желаю ничего лучшего,— ничего.

Поручик слушал своего друга, опустив голову, но теперь он поднял глаза и сказал:

— Лучше штурмана!

— Что ты хочешь сказать?

— Скажи Маргарите,— которую ты называешь Теей,— скажи ей от меня: лучше штурмана!

Консул улыбнулся несколько тревожно:

— Тебе желательно, чтобы род Кольдевинов скорее прекратился?

— Дорогой Фредерик, вовсе нет. Мне, быть может, хочется воспрепятствовать этому. Моряк немало переживает на своем веку, он путешествует и видит многое; в конце концов, делается чужим. Подобно военному, в случае войны, он может повыситься. Моряк и солдат не так подчинены повседневности, как чиновники.

Тут консулу пришлось защищать свое мировоззрение.

— Извини, ты сидишь в своем Сегельфоссе и ошибаешься,— сказал он.— Если бы ты шел за своим временем, то знал бы, что многие взгляды изменились с тех пор, как мы были детьми. У нас чиновники стали дворянами. У нас так.

— Гражданские чиновники — это, правда, особый класс. Сын за отцом, поколение за поколением — писцы. Крестьяне по происхождению — они «выбились». А в сущности, они только опускаются, превращаясь из хороших земледельцев и рыбаков в судей и пасторов. Ну, пусть!

По-видимому, есть закон, что чиновник должен родить чиновника. Почему? Посмотри вокруг себя — и при незначительных доходах и медленном движении вперед — чиновничество процветает, приобретает почет, положение, это верно! Но значения, богатства? Сын после отца, поколение за поколением — все одно и то же. Это мировой закон. Сыновья должны становиться чиновниками; дочери должны выходить замуж за чиновника, за доктора или пастора — это все одно. Этот закон не допускает уклонений — это неумолимый закон и называется законом чиновничества. Бывают случаи небольших повышений, иногда ударит гром. Отец начал писцом, сын должен стать тем же; это они называют повышением культуры. Что меня касается, то я с гораздо большим удовольствием разговариваю со своими рабочими, чем с нашими чиновниками. Но вообще я мало с кем разговариваю, — заключил поручик.

— Ты слишком горд, — заметил консул обиженно. — Нам же приходится и продавать, и покупать, и разговаривать, и торговать.

— Я горд! — воскликнул поручик вдруг, и былая горячность проснулась в нем. — Конечно, я горд. Но это отвращение, понимаешь ты, — отвращение. Меня тошнит от всех этих судей, докторов и епископов. Я здесь жил в своем одиночестве и опередил то, что осталось позади меня. Они наслаждаются собственным ничтожеством, как солнечным светом, они суются вперед и воображают, что имеют право выражать свое мнение, — я им не препятствую. Они отваживаются ходить, задрвав голову, я же хожу нагнувшись, я всегда смотрю на землю, на камни, да на границы. Вот являються эти сыновья писцов и знают, что после дождя следует солнце, смотрят вверх и рассказывают мне. Тебе, вероятно, не приходилось испытать этого. Они умеют читать и вообще знают только самое необходимое для жизни, без чего нельзя обойтись. Но нельзя жить без образования, умея только читать и писать, не идя дальше школьной премудрости, — этим могут жить лишь немногие. Но для того, чтобы уметь наслаждаться культурой, — первое условие родиться многим поколениям в богатстве и роскоши; для этого недостаточно попасть из обыкновенных условий и бедности в чиновничий дом. Это богатство и роскошь во многих поколениях устанавливают характер, придают ему самостоятельность. Вот тогда можно жить культурной жизнью. А чиновничество? — да просветит тебя Господь — разве ты не видишь своими глазами,

до чего оно глупо, неустойчиво в мнениях, несамостоятельно. Заметь, к каким целям оно стремится,— к повышению или каким-нибудь нарушениям справедливости. Случалось ли тебе видеть, чтобы целью их было богатство? Откуда же это все? Все это выработалось продолжительной привычкой служить и есть следствие школьной премудрости. Они даже друг друга не могут двинуть вперед, и, по-моему, это оттого, что им пришлось бы выдираться из целого мира пошлости и пошлых обычаев. Так везде, так и у нас. Поэтому я и говорю: «Лучше штурмана».

— Извини,— ответил консул,— я не говорю: «Лучше штурман».

— Да, потому что...

— Я не говорю: «штурмана» потому, что не хочу для Теи неравного брака.

Как он был великолепен и банален в эту минуту!

Молчание.

Поручик сидит, открыв рот.

— Разве так непонятно то, что я говорю! Я сказал: «Лучше штурман» потому, что — как уже объяснил тебе — другие хуже.

Он, собственно, не из какой-либо семьи: отец его лодочник. Собственно, попросту, матрос.

— Можно жить и по природе. Между тем, как чиновник не может жить культурой, которой у него никогда не было и которую он никогда не может изобрести, так как культура не входит в школьную премудрость, штурман может вполне жить по природе. Ты возразишь, что штурман теперь уже не одна природа, но из них двоих он все же ближе к природе, и поэтому более выносливый. Передай это Маргарите.

— Извини, только я этого не сделаю. Да это убило бы мать ее. Семья моей жены из тех, которые «выбились».

— Вышли в чиновники? Стало быть, опустились! У жены твоей племянник прокуратор, тебе ежедневно докладывают, что он из себя представляет нечто. А ты прекрасно сознаешь, что это ложь. Сегодня вечером ты сказал несколько очень милых вещей! Он даже не из какой-либо семьи! Вот, если бы отец был прокуратором, так он был бы из семьи! Ну, не сошли ли вы с ума? Где та молния, где тот блеск,— отражение далеких предков,— который в настоящее время сделал бы его чем-нибудь? Чиновники знают одно только отступление от правил; это — «неравный брак». Это для них молния. У них даже нет представления о чем-нибудь другом, они рождены в ничтожестве для

ничтожества. Вот тут был доктор; ему приходилось лечить у нас в доме: у нас были больные, а сведения по медицине у него имелись. Он бывал здесь, в этой самой комнате; он ничего не смыслил, но сделал вид, что его ничто не удивляет. Он увидал тот стул, подумал, что стул сделан для того, чтобы сидеть на нем и развалился. Следовало бы ему сесть на пол и взять стул на колени. Он смотрел на стены: его товарищ-доктор рассказывал ему о здешних картинах; он смотрел на ту Афродиту, на те группы, на «Времена года», на люстру с орлами,— смотрел на все и не опустил глаз, не всплеснул руками. Зовут его Оле Рийс.

— Сестра его венгерская графиня. Ты как думаешь?

— То, о чем ты напоминаешь, может иметь известное значение,— для ее потомства со временем. А брат, благодаря тому, стал только нахалом.

Консул пьет и хочет возразить другу; раз навсегда покончить вопрос. О, как бы он мог поразить его всей этой банальностью, царящей в его семье и в городе!

— В продолжение вечера ты сказал несколько нехороших вещей. Ты ходишь здесь по Сегельфоссу, царишь над самим собой и над другими; противоречат тебе только раз в году,— когда я приезжаю к вам. Но теперь ты мне ответишь. Я стану говорить строго логически и прежде всего спрошу тебя: «Знаешь ли ты мой замечательный город? Нет. В таком случае ты не знаешь и Боммена. Боммен домохозяин. У него есть сын-студент; стало быть, Боммен желает, чтобы его дети вышли в люди. Я хочу воспользоваться здоровыми и справедливыми рассуждениями этого человека. Боммен сказал бы что-нибудь в таком роде: «По-твоему мнению, в членах одного рода не допускается отступлений от одного типа?» Боммен говорит и смотрит на тебя.

Поручик улыбается.

— Боммен этого не думает. Искусственно созданные отступления? Господин Боммен говорит, что таким образом, индивид остается таким же, каким был прежде. Он, может быть, достиг богатства и продвинулся вперед по общественной лестнице, чтобы сын-студент мог быть чем-либо иным, чем чиновником. Это первое предположение. Для этого он, может быть, стремился к богатству; может быть, для того приобретал собственность, чтобы он мог легче выбраться из писцов...

Вошла экономка и доложила, подав визитную карточку:

— Он желает переговорить с хозяином.

— В такое время!

Поручик читает карточку, нахмуривает брови и говорит, подумав минуту:

— Извини на минуту, Фредерик; мне хотелось бы еще кое-что сказать, но...

— Смотри, не забудь. Я тоже еще кое-что скажу, когда ты вернешься, будь уверен.

Поручик уходит и возвращается через несколько минут, как будто отказал пришедшему человеку.

— Удивительная манера! — сказал он, смотря на часы. — Как тебе показалось, фру Адельгейд ничего не имеет против продажи участка?

— Мне? — с изумлением спросил консул.

— Этот человек явился сюда; стоит внизу и, вероятно, хочет торговаться сегодня.

— Как мне показалось, фру Адельгейд не имеет ничего против. Так он хочет торговаться еще сегодня?

Поручик говорит с некоторым смущением:

— Я не имею обыкновения беспокоить фру Адельгейд так поздно, то есть без причины. Она, вероятно, только что легла, но ее окно отворено; и если бы ты постучался и спросил...

— Ты хочешь, чтобы я переговорил с фру Адельгейд?

— Если можешь оказать мне эту услугу? Ты человек веселый, а она вокруг себя видит не много веселья. Я человек угрюмый. Послушай прежде, чем пойдешь к ней: не старайся отговорить ее, если и она, подобно мне, не имеет ничего против продажи участка.

Консул ушел.

Поручик стоял на том месте, где остановился; лицо у него было недовольное.

Должно быть, это недовольство вызвано господином Хольменгро. И выбрал же он время для посещения Сегельфосса! Или он воображает, что владелец Сегельфосса так нуждается в деньгах? Он сильно ошибается.

Консул возвращается и приносит ответ, что фру Адельгейд не только не имеет ничего против продажи земли, но даже желает этого.

— Не окажешь ли ты мне также великую услугу, переговорив с этим человеком? Извини, что я беспокою тебя.

— С величайшим удовольствием. Попросту, поторговаться за тебя?

— Да, благодарю... завтра. Объясни ему, что сегодня ночь...

— Я ничего не имею против того, чтобы сегодня же продать участок. Для нас, купцов, не существует вечера. Обойдемся и без тебя.

— Делай, как знаешь. Только мне неприятно, что твои родители узнают о твоём участии в этой продаже.

— Это уж ты предоставь мне. Мне всю жизнь приходится идти против них. Вот они желали сделать меня дипломатом, да...

Несколько позднее консул снова потревожил фру Адельгейд. Король просил участок по ту сторону реки. Он желал приобрести участок, подходящий к морю и предлагал хорошую цену.

Еще раз консул потревожил фру Адельгейд, но это было уже утром: король желал приобрести половину реки от устья вверх по течению до самой горы, а также водопад. И на что ему столько воды,— это оставалось загадкой.

За утренним чаем консула Фредерика нет. Фредерик Кольдевин всю ночь ходил по западному берегу реки вместе с господином Хольменгро и его людьми. Они доходили вверх до водопада. Теперь они тихо сидят в комнате, занимаемой консулом в Сегельфоссе и пишут запродажную. Старик Кольдевин и жена извиняются за сына: он скоро придет. Они просят не ждать его. После завтрака старики пошли прогуляться по полям и лугам, так что Хольменгро и консул могли спокойно переговорить за завтраком.

— Посмотри-ка, Виллац, что там делается внизу? — говорит старый Кольдевин во время прогулки.

Поручик уже давно заметил, что какие-то люди взобрались на крышу старой церкви. Он знает, что это значило, но делает вид, что ничего не замечает.

— Они, должно быть, снимают крышу,— отвечает он.

— Зачем? Разве церковь продана? Пойдем, спросим.

— Для вас далеко, дорогой друг.

— Вовсе нет. Пойдем, спросим.

Они пошли к церкви, и старый Кольдевин получил ответ на свой вопрос: король, этот Тобиас Хольменгро из Уттерлея, купил церковь и теперь приказал срыть ее до основания. За работу принялось десять человек. Мало-помалу Кольдевин узнал, что господин Хольменгро намеревается выстроить себе дом на месте старой церкви. На западном берегу уже роют землю для фундамента набережной.

— Смотрите, сколько там народу...

Старик Кольдевин повернул обратно в поместье, но шел медленнее.

— Ты был прав, Виллац, туда дальше, чем я думал,— сказал он, взяв поручика под руку.— Да, правда, много простора в Сегельфоссе.

На пригорке они встретили Хольменгро. Он вежливо поклонился и поблагодарил за завтрак и гостеприимство. Он извинился за свое позднее появление вчера и сказал, что консул был необыкновенно любезен и проходил с ним всю ночь.

Поручик с удивлением заметил, что Хольменгро был худой и жилистый человек, когда не накутывал на себя несколько шарфов. Ему пришлось представить гостей друг другу, но он сделал это в коротких словах.

— Да, да, большие земли в Сегельфоссе,— сказал старый Кольдевин, останавливаясь, чтобы перевести дух.— А там у тебя подрастает хороший молодой лесок; маленький Виллац будет богатым человеком. Он тебе останется благодарен впоследствии; ну, теперь пойду почитать немного к себе в комнату, я всегда читаю до обеда.

— Во-первых,— начал консул,— я должен передать тебе его благодарность за завтрак.

— Он уже выразил ее лично,— ответил поручик.

— А извинился за вчерашнее? Сказал, почему явился так поздно? Удивительно умный человек этот Хольменгро,— гений! У него человек двадцать рабочих, он им платит до талера в день, а это — деньги, думает Хольменгро, надо извлечь из них пользу! Таким образом, он употребляет ночь, чтобы сделать покупку и осмотреть участок, а в шесть часов они у него уже за работой. Как тебе это кажется! Ни одной минуты не теряется.

— Такая настойчивость почти незнакома мне,— ответил поручик.— Лучше я уж, по примеру покойного отца стану искать клад деда,— прибавил он и улыбнулся.

— Я не знаю, привела ли его настойчивость к чему-нибудь,— сказал консул.— Ну, об этом можешь судить сам. Вот условие.

Поручик не читает его; он стоит и держит его в руках.

— Главное, чтобы фру Адельгейд одобрила дело.

— Фру Адельгейд довольна.

— Я говорил с твоим отцом. Он, очевидно, подозревает кое-что. Он ушел к себе в комнату, глубоко задумавшись.

— Ты не хочешь прочесть условие?

— Потом. Благодарю тебя за большую услугу.

Фредерик Кольдевин с минуту молчит и потом говорит:

— Удивительно!

— Что? Извини, милый Фредерик, если я сказал что-нибудь...

— Удивительно, что для тебя главное, чтобы фру Адельгейд одобрила продажу. Мне хочется сказать тебе кое-что по поводу вчерашнего, да и сегодняшнего. Так

можете рассуждать о продаже ты да мой отец, а мне просто хотелось в свое время употребить другие приемы. Ты не гонишься за деньгами, ты всегда твердо стоял на ногах, ты мог всегда тратить деньги, а мне приходилось их зарабатывать. Понимаешь, Виллац, зарабатывать?

— И я часто нуждался в деньгах,— сказал поручик.

— Ты? Не может быть?!

— У меня были большие траты.

— А разве у тебя нет также тайных источников, которыми ты можешь пользоваться, разве у тебя под землей нет неистощимых богатств?

— Да, если бы они были!

— Они были у отца.

— Да? Ну, а у меня их теперь нет. Ты говоришь, у отца были? Меня самого часто удивляло, откуда у него что берется.

— Я теперь скажу тебе это в ответ и еще кое-что прибавлю: он их получал от меня.

Поручик не поверил своим ушам, и лицо его выразило недоумение.

— Да, он получал их через меня в течение половины человеческого века. Без того он бы обанкротился.

Молчание.

Оба несколько минут сидят, погруженные в мысли.

— Прошу тебя не давать ложного толкования тому, что я открыл тебе. Я это сказал тебе, чтобы несколько подняться в твоих глазах. И я вижу, каким почетом окружен мой отец, настоящий земельный король, но теперь это уже умерло. Это отошло в давно прошедшие времена. Время опередило.

— Да, время опередило нас,— задумчиво говорит поручик.

— Я, само собой разумеется, не говорю о тебе. Тут были другие резервы.

— Которые он использовал?

— Которые он не использовал. Как я говорил вчера: многое остается в большом поместье, когда даже война коснется его. Использовал?

Консул смеется, чтобы одобрить друга, или почему другому.

— Что, если я, например, купил реку?

— Реку?

— Половину реки, половину водопада, половину горного озера,— я тоже показался бы тебе чудачком, покупающим все воду да воду. Сколько тебе за нее?

Поручик улыбнулся.

— Я это сказал не шутя. Половину реки с водопадом и горным озером.

— Бери реку, если хочешь. Она твоя.

— Я продал ее сегодня ночью.

— Да? Как ты разбогател от того!

— погоди. Чтобы знать, какую сделку я устроил, я прежде должен знать твою цену. Назначь цену за землю. Он не скуп; он сказал, что ни в чем не любит стесняться. Он купил всю полосу земли по западному берегу от озера, шириной в пятьдесят локтей, а у моря вдвое шире,— так пришлось по плану.

Молчание.

— Не подумай, что я не ценю твоей большой услуги,— сказал поручик,— но говоря откровенно, ты продал землю и... воду Сегельфосса без всякой выгоды для меня... Цена? Пусть себе берет реку. Лесопилка, мельница и кирпичный завод могут прекрасно стоять и на моей стороне.

— Конечно.

— Так пусть себе берет реку. Полоса земли не шире пятидесяти локтей. Да и земля не дорогая, без леса; вдоль реки растет только ивняк, везде один камень. Но все же земля. И я желал бы получить за нее хоть что-нибудь.

— Сколько?

— Сколько? Дорогой Фредерик, во всяком случае — для меня недостаточно. Мне нужно много. Здесь все приходит в упадок, Виллаца надо послать учиться, каждый день огромный расход, поля истощены... Две тысячи талеров,— дорого? Ну, тысячу? Уж и не знаю.

— Прочти бумагу.

— Спасибо, после...

— Чтобы указать характер сделки, я расскажу тебе, за сколько продал реку. Хольменгро сказал, что у него есть небольшая мельница где-то на краю света, и вот, если он поселится здесь, ему хочется пустить в ход что-нибудь подобное, и для этого ему нужна половина реки. Я — купец, и ответил, что это будет стоить дорого. «Почему дорого?» — спросил он. Я подумал: «Многое что продавал я на своем веку, но реки не случалось продавать. Моему другу вовсе не улыбнется продажа его реки,— ответил я,— если бы даже за нее предложили три-четыре тысячи талеров, так он только бы посмеялся на это».

— Да ты с ума сошел! Три-четыре тысячи!

— Нет, ты слушай дальше. Господин Хольменгро замечательный человек. Он ответил мне, что, хотя он не

знает здешних цен на реки, но очень желает приобрести эту большую красивую реку, а также водопад. Он везде побывал и высчитал вместе с озером по международным ценам. Он полагает, что за реку можно дать шесть тысяч талеров. Конечно, в таком случае и земля перейдет к нему.

Продолжительная тишина.

— Он издевался над тобой,— сказал поручик.

— Да ведь это включено в условие.

Перед Виллацем Хольмсеном встают золотые перспективы, им овладевает странная слабость, он скользит, разворачивает условие, снова сворачивает, вдруг начинает улыбаться и спрашивает дрожащими губами:

— Но может случиться... Ведь это только условие, а не деньги?..

— Мне вторично приходится выразить свое почтение к замечательному человеку — Тобиасу Хольменгро,— говорит консул.— Он уплатил наличными.

— Уплатил?

Фредерик Кольдевин сразу вырос! Он расстегивает сюртук и вынимает из кармана большие, огромные деньги.

— Это за реку,— говорит он.— Это за землю вдоль реки. Всего восемь тысяч талеров. Господин Хольменгро пошел так далеко потому, что, по его словам, «вид уж очень хорош». Перечти, хотя и я считал,— верно. Уф! Чуть не разорвал карман, вынимая!..

Да, как величествен был в эту минуту Фредерик Кольдевин.

Поручик же был совершенно ошеломлен, губы его раскрылись, но он не говорил ни слова. И вдруг остолбенение этого странного человека закончилось смешной выходкой. Он заложил руки за спину и передел кольцо на правую руку: в последнее время он носил его на левой.

— Да, правда,— сказал он, вставая.— Ты не спал всю ночь, поди приляг.

ГЛАВА IX

Хольменгро работает с многочисленными рабочими; у него десятник для деревянных работ и десятник для каменных, он нанимает всех лошадей, каких достает, и платит за них хорошо. Но платит не поденно, а с воза. При этом оказывается, что старая церковь под верхней обшивкой выстроена из великолепного леса.

Вся окрестность оживилась: это было хорошо и дурно. Сегельфосс превратился в ярмарку, повсюду — шум, взрывы в горах, народ и повозки по дорогам. К берегу приставали яхты с лесом и колониальными товарами, печами, обоями, мебелью, тюками и ящиками, большими ящиками; приходили рабочие и просили работы.

Хольменгро жил в усадьбе. «Это само собой разумеется», — сказал поручик. «Еще новая, большая любезность с вашей стороны», — ответил Хольменгро. Десятники также поселились в усадьбе, у каждого своя комната в флигеле для прислуги. Кругом в домах и хижинах жители обогащались, принимая к себе на житье рабочих по два шиллинга за ночь.

Пока Кольдевины жили в Сегельфоссе, не проходило ни одного дня, чтобы старик и его жена не совершали прогулки в восточном направлении, но непременно по лугам и лесам, лежавшим в восточной части Сегельфосса.

— Большие владения в Сегельфоссе, — каждый день повторял старик.

А жена его, уже зная это замечание наперед, отвечала:

— Да, большие; я не подозревала, что они так обширны.

Хольменгро казался по-прежнему человеком простым и деликатным. Когда консул Фредерик рассказывал ему о том, как старики сокрушаются о продаже участков, он пытался примирить их с этим, дать им хорошее понятие о себе, он вставал, когда они входили, и стоял, пока они не садились, он не навязывался, но пользовался случаем оказать им внимание. Однажды он подсел к ним и начал рассказывать кое-что о своей семье, о жене, умершей в Мексике, о том, что он ждет весны, чтобы привезти сюда детей, за которыми поедет сам.

Хольменгро постоянно извинялся за беспокойство, вносимое им в Сегельфосс и выражал надежду, что худшее скоро кончится, так как у него много народу.

— И тогда у вас в Сегельфоссе снова водворятся приятная тишина и спокойствие, — заключал он свою речь.

— Что нас касается, — отвечал старый Кольдевин, — это еще не так неприятно: мы скоро уезжаем.

Но перед отъездом поручик советовался с другом-консулом, в какую школу отправить Виллаца.

— Это должна быть школа широкого типа, — говорил поручик, — дающая, кроме познаний, воспитание, развитие, приучающая к образованной среде, — одним словом, школа для Хольмсена. Какого мнения Фредерик об Англии?

— Хорошая школа есть в Харроу,— ответил консул. Он знал это через своих знакомых. Ксавье Мур мог бы присмотреть там за Виллацом.

Консул тотчас написал Ксавье Муру и предупредил его. Консул Фредерик не забыл в последний раз перед отъездом поболтать с иомфру Сальвезен.

— Боже, как вы меня испугали, господин консул, я и не видала вас,— воскликнула иомфру, и они стали разговаривать через окно кладовой.

— Я стоял и любовался вами,— могу сказать, что всякий мужчина залюбовался бы.

— Ха! ха! ха! Опять начинается!

— Я уезжаю; в последний раз мы говорим с вами. Я пришел, чтобы положить конец.

— Ха! ха!

— Не смейтесь. Это доказывает пренебрежение к моим чувствам, которого я не заслуживаю. Но мне теперь уже нечего больше сказать. Когда вы несколько лет тому назад дали слово другому, для меня все было кончено. Теперь я принял решение и пришел посоветоваться с вами, какой способ лучше. Думаю, хлороформ?

— Да вы с ума сошли, консул! Ха-ха-ха! Вы меня заставляете так смеяться, что я, должно быть, ни на что непохожа,— говорит иомфру Сальвезен и слегка поправляет прическу.

— Смех в подобную минуту может означать две вещи: или для вас все нипочем, и в таком случае это не делает вам чести, или вы смеетесь, чтобы не плакать.

— Да,— отвечает иомфру Сальвезен,— я смеюсь, чтобы не плакать.

— Благодарю вас,— произносит консул.— Вот именно это я подразумеваю, говоря, что хочу покончить все, это исход не лучший, но при данных обстоятельствах, сносный. В эту минуту в вашем сердце шевельнулось чувство, за которое благодарю вас. Горечь смягчилась во мне, я могу теперь наслаждаться воспоминаниями.

— Бедный вы! Какая будущность.

— Надежда, что там устроюсь лучше.

— Ха! ха! ха! — против воли хохочет экономка.— Но о таких вещах не следует говорить слегка.

— Когда я буду лежать при последнем издыхании в одной из моих кроватей, разбросанных по всему свету, я вспомню о вас. Неужели вы сомневаетесь, чтобы вспомнил?

— Нет, нет...

— А вы как ответите?

- Я сяду здесь в кладовой и стану выть целый день — или это случится ночью?
- Темной ночью.
- Досадно! Нельзя же будить людей.
- Женщина, женщина, ты шутишь с душой, находящейся при последнем издыхании! Иомфру Сальвезен, дайте мне руку.
- Хорошо, только подождите минуту.
- Экономка тщательно вытирает руки.
- Благодарю вас. Теперь прощайте, иомфру Сальвезен, всего лучшего! Это я вам желаю.
- Прощайте, господин консул! Спасибо и вам.
- Консул уходит, но оборачивается.
- Ах, да! Во время моего путешествия по северной Норвегии я встретил на пароходе одного человека.
- Пастора? Вы уже рассказывали.
- Ах, он был пастор? Не может быть...
- Вы рассказывали случай с пастором.
- Невозможно, чтобы он был пастором? Я вам рассказывал случай. Не помню.
- О пасторе, у которого было три сына.
- Нет, такого случая я вам не рассказывал. Должно быть, вам говорил тот, кому вы дали слово, и, вероятно, он рассказал вам что-нибудь ужасное. Три сына и еще незаконные?
- Господи, не заставьте меня помереть со смеху, — кричит иомфру Сальвезен.
- Ах, как вы, женщины, играете нами, мужчинами! — говорит консул. — Я встретился на пароходе с человеком, рассказавшим тоже кое-что по этому поводу. На лице у него лежал отпечаток скорби и страдания; вы уже догадываетесь о причине. Женщина погубила его. Каким образом? «Она лгала мне, — говорил этот человек, — она уверяла, что, кроме меня, у нее никого нет. А, в конце концов, оказался еще ухаживатель». Я, Фредерик Кольдевин, заметил как можно деликатнее: «Это заставило вас сильно страдать?» «Да, — ответил он, — я страшно страдал. Но меня утешило, что оказался третий предшественник». «Ах, Боже мой! — сказал я, Фредерик, всплеснув руками, — да это была настоящая гостиница любви». «Гостиница? — сказал он, подумав. — Я бы сказал, «приют». Мы все любили ее, и она приютила нас».
- Консул собрался уходить.
- Хорошо, что вы уходите, — сказала иомфру Сальвезен, — иначе я не знаю, что бы сделала. Ха! ха! ха! Это ужасно!
- Ну, что вы!

— Да, говорю прямо. Но, право, всегда приходится несколько бояться ваших рассказов, господин консул.

— А ваш жених лучше?

— Мой жених?

— Помните пастора с тремя незаконными ребятами.

— Ха-ха-ха! Право, не стану больше болтать с вами.

— Прощайте, иомфру Сальвезен.

— Прощайте. Милости просим в будущем году.

Повседневная жизнь в Сегельфоссе течет уже не тихо и однообразно. Хольменгро все изменил. Масса народа, лошадей, пение каменщиков, взрывы мин, скрип лебедек с яхт,— все это кладет отпечаток чего-то вульгарного и тревожного на хольмсеновское поместье.

«Но разве в городах лучше? — раздумывал поручик, утешая себя,— можно жить по-барски и среди шума. Да, но настоящая барская жизнь в тишине. Вот теперь у нас кишмя кишат люди и лошади, носят и возят сено; в былые времена тут работал бы целый полк под начальством парня Мартина, а теперь нашествие чужестранцев».

Но ничего не дается даром.

На следующий день, после отъезда Кольдевина, поручик встретил девушку Давердану и сказал ей:

— Теперь наши вечера кончены. Мы не будем больше читать.

Давердана краснеет и бледнеет, бормоча:

— Я и вчера не забыла, но барыня послала меня за башмаками.

Лицо поручика выражает удовольствие, и он отвечает:

— Я послал тебя. Пока мы прекращаем чтение.

Когда поручик уже уходит, Давердана говорит:

— Мне... уйти?

— Нет,— отвечает он.— Зачем уходить? Ты ловкая девушка, такую нужно экономке.

Доброе слово поручика имело большое значение: при его аттестации Давердана вся вспыхнула от радости.

Поручик пошел дальше. Теперь все более или менее шло сносно для него: у него были деньги, он положил их на проценты в Трондхейм; он мог свободнее располагать своими действиями; он даже не так часто переезжал кольцо на левый палец. Теперь фру Адельгейд может поехать к отцу. Чего она еще ждет?

Собственно говоря, он вовсе не желал отъезда фру Адельгейд, каждый раз она возвращалась из этих поездок угрюмее и недоступнее. Сам же он не имел никаких сношений с ее отцом. Фру Адельгейд можно извинить. Не

был ли ее отец полковником, не ставшим генералом только потому, что все остановилось в Ганновере? А она, его дочь, не похоронила ли себя заживо в Норвегии, в Нордланде, где все мертво?

— Я думаю, Виллац здесь просто избегается,— сказал жене поручик.— Он научился неприличным словам и ругаться. Пора ему уезжать отсюда.

— Может быть, он учится этим новым словам от Даверданы и ее брата,— ответила жена.— Уж не знаю, от кого больше.

— От Даверданы? — спокойно переспросил поручик.— А пргрос. Экономка может совсем взять ее в свое распоряжение.

— Она не будет больше служить вам?

— Нет; она дотронулась до азбуки...

— До какой азбуки?

— До азбуки мальчика. Вы этого не помните, но у меня она висит на стене с того самого времени, как он был маленький, и я смотрю на нее. Большая картонная азбука. Она до нее дотронулась.

С тех пор, как он начал говорить, на лице фру Адельгейд появилась улыбка, и сам поручик улыбнулся, так доволен он был в эту минуту.

— Это моя слабая жилка,— сказал он,— когда Виллац уедет, соберу кое-какую мелочь, оставшуюся после него. Я думаю, что, если вы в то же время поедете в Ганновер, то можете захватить мальчика с собой.

— Куда вы посылаете Виллаца?

— Вы немка,— говорит поручик неуверенно.— Представьте себе, в Англию. В Харроу; у Фредерика там есть знакомые: конечно, в Англию.

— А меня отправляете в Ганновер?

— К сожалению, придется сделать небольшой крик по дороге в Харроу. Но при хорошей погоде, я думаю, и вы будете не прочь совершить маленькую поездку; это освежит. Можете взять свою горничную.

В ней вдруг пробуждается подозрение; она подходит к окну и смотрит в сад. Она стоит и улыбается, но на этот раз улыбка грустная.

— Какого вы мнения?

— Я?

— Вам план, кажется, не нравится?

— Необходимо отослать Виллаца?

— Он весь день в людской, а когда приходит, садится за фортепиано.

— Его можно бы направить иначе, взяв в дом учителя.

— Есть и другой исход.

— Я не поеду в Ганновер,— говорит она.

Молчание.

— Вот как! — сказал, наконец, поручик.

Она повернулась к нему.

— Очень просто. Я начинаю понимать!

Что такое? Его раздражает ее иронический тон; не стоит ли он перед ней, олицетворяя саму предупредительность? Он чуть было не дал ей понять, как она заблуждается, но сейчас сообразил, что это было бы не ко времени и ни к чему не привело.

— Вы напрасно рассчитываете,— сказала она.— С вашей стороны это плохой и коварный поступок.

— Как вы говорите?

— Мне так кажется.

— Так я поступаю дурно и коварно? Но ваше всегдашнее указывание на мои ошибки ведь не исправит меня. Мои недостатки... Я уже перестал интересоваться ими.

— И скажу,— вдруг перебивает она,— что давно, в прежние времена, я не ожидала от вас ничего подобного.

— Напрасно вы говорите так; это не умно с вашей стороны. Разве вы не видите, что бросаете тень на вашу собственную способность судить о человеке?

— Пустяки. Я была ребенком.

— Ребенком. Да вспомните...

— Я была ребенком.

Теперь война объявлена, и фру Адельгейд не щадит мужа, но нападает сильно, ловко. Брови у нее поднялись, и она смотрит на него со стороны из-под опущенных век... С какой иронией она говорила:

— Вы хотели успокоить меня, устранив ее от прислуживания вам? А мне предлагали уехать? Остается поблагодарить вас.

Много неприятного пришлось ему выслушать от нее, но ему казалось, что он слышит что-то приятное — прямо сказать — радостное. Он чувствовал, что готов идти ей навстречу и сказать ей что-нибудь, уверив в чем-нибудь. Но она, конечно, не ждала этого от него ничего и не обернулась к нему.

— Благодарю вас,— сказала она и ушла.

Может быть, ему удастся переговорить с ней, и он скажет:

— Я так давно желал успокоить вас, хотя и не думал, что вы нуждаетесь в успокоении в этом отношении.

Он ходил за ней целый день, но она была непримирима, избегала его и, наконец, пошла смотреть на работы у Хольменгро. За ужином ему не удалось сказать ей ничего, потому что пришел Хольменгро, и когда она ушла к себе, было уже поздно. Ему следовало бы поспешить.

Вечером он вышел в сад. Ее окно, как всегда, было открыто; он слышал ее шаги в комнате; в нем проснулось чувство вины, и он тихонько спросил:

— Фру Адельгейд, ваша дверь заперта? Мне только хотелось бы...

— Да... Я уже легла, — ответила она.

На следующее утро поручик снова въехал верхом. Его верховые прогулки прервались во время посещения Кольдевинов, теперь ему было удовольствием снова вскочить в седло и далеко окинуть глазом землю и море. «Эй, вороной, ты застоялся и горячишься!»

Поручик спустился до главной дороги. Он ехал спокойно, легким кентером. Вдруг он услышал окрик: «Береги-и-сь!» Поручик ехал дальше, не такой он был человек, чтобы остановиться по дороге; кто смел окликать его?

Раздался взрыв.

В следующее мгновение разразилась катастрофа, конь взвился на дыбы, поддал задом, сделал скачок в сторону, всадник потерял равновесие, он повис на одну сторону; конь понес его по дороге, земля грохотала под копытами; все дальше и дальше неся конь — мимо домов и садов; всадник все ниже и ниже опускался на одну сторону. Седло соскользнуло; теперь вопрос нескольких секунд!..

Мгновения драгоценны. У всадника одна нога на спине лошади, другая запуталась; он не может пошевелиться; наконец, ругаясь, он поднимается из-под лошади, карабкается с помощью рук на ее шею, схватившись за гриву, стальной силой своих рук поднимается на воздух и садится. В эту минуту седло сваливается; лошадь споткнулась; она поднялась было, но снова споткнулась.

Что это? Разве он не может ехать дальше? Лошадь поднялась на передние ноги и опять упала, поднялась вторично и снова споткнулась и, храпя, тряслась всем телом. Поручик высвободил, наконец, запутавшуюся ногу и мог слезть через голову лошади. Он поправил седло и поднял коня на ноги.

Он снова поехал, как всегда, шагом по направлению к дому. Ему встречался народ, спешивший к нему: его собственный работник Мартин, чужие рабочие и десятники,

наконец, сам Хольменгро, ужасно встревоженный и приписывавший себе вину этого взрыва, этого грохота.

Не пострадал ли сам поручик? А лошадь?

Поручик увидал жену, спешившую из усадьбы, и хотел поехать ей навстречу, чтобы сократить ее путь. Поэтому он не останавливается и только кратко отвечает встревоженным людям.

— Она споткнулась? Почему?.. Вы упали? — спрашивала поспешно жена. — Вы не ушиблены?

— Я не упал, — ответил он.

— Правда? Как это случилось? Как легко могло произойти несчастье! Вы не ранены?

— Нет, — ответил он.

В ее тоне он мог слышать ее радость, что он по крайней мере жив, но он, вероятно, ехал недостаточно осторожно; не шагом по своему обыкновению.

— А лошадь? — спросила она. — Я слышала, что она испугалась взрыва. Я этого не понимаю; разве вы не держали поводья? Взрыв такая простая вещь.

— Да, простая вещь.

— Не правда ли, взрыв — ровно ничего? Конечно, надо уметь сидеть на коне. Но ведь вы старый ездок.

— А пронос, — сказала она, как бы вспомнив о чем-то другом, — вы должны остерегаться взрывов некоторое время, когда будете ездить верхом. При взрыве мины такой грохот!

— Я не боюсь взрывов мин, — ответил поручик. — Этого еще не доставало!

Она потрепала лошадь по шее, говоря:

— И какой же ты глупый! Подумай, ты был на войне и вдруг испугался грохота!

Поручик заявляет:

— Чтобы не забыть! Через неделю мы с Виллацем уезжаем в Англию. Вы, может быть, позаботитесь приготовить его вещи?

У поручика не было причины заводить неприятности с фру Адельгейд, да он и не имел уже к тому желания.

Вечером он сидел один и раскладывал пасьянс, как старая барыня. Давердана уже не читала, и ему надо было чем-нибудь заменить ее, — пасьянсом, ручной работой, женским занятием...

На следующее утро он снова выехал на прогулку; он желал взрыва, но все оставалось тихо; до него долетали песни каменщиков, тесавших камни для новой набережной; грохота не было слышно. Это противоречило его видам, и

он пожелал получить объяснение. Бывали взрывы в продолжение дня, но как только поручик собирался выезжать на прогулку, водворялась тишина. Как будто кто сторожил его. Замечательнее всего было, что тишина наступала с той минуты, как он отдавал приказание седлать лошадь, еще прежде, чем он успевал выехать. Чем это можно было объяснить?

Однажды утром он стоял у своего открытого окна и смотрел, как каменотесы начали закладывать мину. Он видел, как они бурили все глубже и глубже, углубляясь все дальше и дальше в скалу, но вдруг остановились. Он нарочно мешкал так долго дома, чтобы дожидаться этого сильного взрыва. Теперь он отдал приказание седлать коня.

Между тем, он увидал, что рабочие продолжали работу и положили затравку; в то же время они не сводили глаз с усадьбы. Наконец один сделал другим какой-то знак. Как будто устроено телеграфное сообщение. Поручик высунулся из окна и осмотрел собственный дом сверху донизу. Что это такое? Полотенце, белое полотенце висело из окна комнаты фру Адельгейд. Оно висело на солнце,— должно быть, сушилось. Ветер играл им.

Поручик вышел, осмотрел седло и уздечку, подтянул подпругу, поправил стремена и, наконец, сел на лошадь. Съезжая по скату, он обернулся и снова увидал полотенце, все еще висевшее из окна. Неужели фру Адельгейд сообщила Хольменгро, что муж ее, Виллац Хольмсен, не может усидеть на коне и теряет равновесие при грохоте взорвавшейся мины? Что он боится быстрой езды и поэтому всегда едет шагом.

Он едет по дороге и видит, что все готово к взрыву, но рабочие занялись другим.

Он подъезжает прямо к ним и приказывает:

— Поджигайте!

Приказания такого человека, как поручик, послушаться нельзя.

Рабочие сейчас же направились к мине, а десятник подошел с вопросом:

— Зажигать?

— Да.

— Мы думали... что лошадь пугается шума?

— Я ее хочу приучить.

Поручик сидит прямо и неподвижно в седле. Он отлично знает, что глупая затея приучать лошадь к грохоту взрывов, но все-таки сидит.

— Береги-ись! — кричит рабочий.

— Но господину поручику здесь оставаться нельзя,— говорит десятник.

— Ведь вы же стоите!

— Это другое дело; я могу убежать.

— И мы можем убежать,— отвечает поручик, улыбаясь. Фитиль задымился, и рабочие отскочили.

Лошадь фыркает от дыма и трясется, предчувствуя что-то. Поручик гладит ее хлыстом и разговаривает с ней. В присутствии стольких зрителей, он старается казаться спокойнее, чем чувствует себя на самом деле; заметно только, как он сильно сжимает бока лошади шпорами, будто это может служить ему спасением. Он продолжал все время ласкать своего скакуна и говорить с ним.

Он продолжал и в то мгновение, как раздается взрыв. С быстротой молнии лошадь взвилась на дыбы, бросилась сперва в одну, потом в другую сторону, и понеслась по каменистой почве. Но на этот раз всадника не так-то легко было сбросить; все ее попытки оказались бесполезны. Она пошла спокойнее и затем поскакала по дороге; на повороте большой дороги она сама остановилась, а затем, благополучно завернув за угол, проскакала через деревню и исчезла в облаке пыли.

Воскресенье.

Маленький Виллац ходит по избам торпарей и прощается с товарищами. Он слышал выражения восторга и восхищения: ведь он едет в Англию, в большой свет и не вернется больше. Бедный Готфрид не стал его повседневным товарищем, но Виллац не забывает и его; он даже дарит ему две безделушки, которые Готфрид хочет сохранить на многие лета, как воспоминание: петушка-свистульку и одну из гребенок фру Адельгейд, в которой не хватает нескольких зубьев.

Потом Виллац пошел в дом Ларса Мануэльсена. Юлию он принес коня на колесиках и целую коробку со всевозможными редкостями. Юлий посмотрел в коробку и спросил:

— А петушка нет?

— Петушка получил Готфрид.

— Ты отдал его ему? Так, верно, отдал ему и ящик с красками?

— Нет, ящик с красками я отдал папе. Он попросил у меня.

— Как тебе не стыдно так приставать,— сказала мать Юлия.— И даже не поблагодарить за то, что получил! Повторяю, что говорила тебе не раз: невежа ты!

Юлий подхватывается, а Виллац конфузится, что подарки его такие незначительные.

Мать Юлия сняла с балки под потолком письмо и попросила Виллаца прочесть его,— оно от сына Ларса из семинарии. Старик Ларс Мануэльсен спал на постели, ведь сегодня воскресенье, но жена разбудила его, чтобы послушать чтение письма.

— «Дорогие родители!» — начал Виллац.

— Когда письмо написано? — спросил Ларс.

Виллац читает.

— Так оно шло целый месяц.

— Оно больше недели пролежало под балкой,— ответила жена.

В письме рассказывается о путешествии в Тромсё, о городе и жизни там, о домах, о кораблях на пристани, о тысячах людей на улицах. Письмо было длинное, написанное четким ученическим почерком. Что касается еды, то каждый день у них вкусный обед, только черного хлеба дают мало, и у других семинаристов хватает духу отнимать хлеб у него. Но он, сын своих родителей, полагается во всем на Господа.

— Вот бы мне попасть туда,— сказал Ларс с постели.

— Что же бы ты сделал? — спросила жена.

— Разве ты не слышишь, что его морят голодом?

Затем в письме говорится об учении, об изобилии всевозможных книг, о школьном зале, который больше церкви, о целом доме, предназначенном исключительно для скакания и прыганья ради развития тела. Все идет в общем благополучно. «Ваш сын обладает твердой верой, которую ничто не может отнять у него». Письмо заканчивалось краткими поклонами всем домашним и Давердане, живущей у поручика.

Когда Виллац собрался уходить, Юлий вышел за ним: у них осталось еще столько, о чем необходимо было переговорить, но Виллац приуныл и примолк.

— Ты непременно должен писать мне,— сказал Юлий.

— Конечно. Но ведь ты не умеешь читать?

— Да ты пиши печатными буквами.

Виллац обещал писать печатными буквами.

— Да, непременно делай так.

— Что это за разорванный мяч лежит там? — спросил Виллац.

— Мяч? Да тот самый, который мы потеряли. Я пошел на то место, и он попался мне; только он прогнил. Посмотри, какой стал гнилой.

Настала осень.

Хольменгро налегал на своих рабочих, и дом его уже подвели под крышу. Оставались только столяры да маляры, работавшие в обширном здании. Также и пристань с молоом до самого моря была возведена и принялись за расчистку большой площади для постройки складов. Взрывы продолжались — это стоило жизни многим глыбам гранита.

Оказалось, однако, что многочисленные рабочие стали испытывать затруднение в добывании ежедневного продовольствия, и однажды, по возвращении поручика из Англии, Хольменгро пришел к нему и вежливо и дружески спросил, не будет ли он против, если на берегу откроется лавочка. Это было для него очень важно, так как его полсотне людей приходится ежедневно ездить далеко за мукой, табаком и платьем. Они теряют время, и многие к тому же возвращаются из поездки пьяными.

Поручику было бы приятнее, если бы весь этот пришлый народ совершенно убрался из Сегельфосса, но у Хольменгро была особенная манера высказывать свои просьбы, так что поручик поставил себе за правило всегда соглашаться с его желаниями.

— Ну, а когда ваши каменные и прочие работы окончатся, и рабочие уедут, чем станет жить ваш лавочник?

— Конечно, спрос уменьшится; я уже подумал об этом, — ответил Хольменгро. — Но у меня еще надолго хватит работы для такого же количества людей...

— Что же вы намереваетесь строить?

— Да мельницу, о которой я уже упоминал.

— А!

— Надо будет провести дорогу к пристани.

— Это, во-первых, а во-вторых?..

— А во-вторых, мне надо будет много рабочих для моего хозяйства. Рабочие могут жить с семьями, в конце концов, может быть, окажется, больше народа, чем мы бы желали.

— Здесь вырастает целый город, — сказал поручик.

— Я, правда, внес много шума в ваше поместье, но города я вам не навяжу. Неужели вам прежде не приходило в голову, господин поручик, что это место создано для большой торговли и деятельности? Тут хороший берег, глубокое море, леса, река, поля и луга, большие пастбища...

— Все это было известно моему деду, он был чрезвычайно деятельный человек. Где же вы намереваетесь поставить лавочку?

— Близ моря, на принадлежащем мне клочке берега.

Поручик поднял глаза.

— Раз вы хотите строиться на своей собственной земле, почему вы спрашиваете меня?

Хольменгро вежливо склонил голову, говоря:

— Я понимаю, что мне ничего не мешает начать постройку немедленно. Если бы я знал, что вы, вообще, против подобного проекта, то возражения ваши были бы, вероятно, настолько основательны, что я немедленно отказался бы от своего плана.

— Я не имею никаких возражений.

— Благодарю вас.

— Да... мне пришло в голову: вы ведь намеревались построить большой склад, и, может быть, вам этот участок понадобится. Лавку можно поставить рядом, на моей земле. Все равно там один камень.

— Приношу вам глубочайшую благодарность за разрешение вопроса, господин поручик. Я буду платить ежегодную аренду за эту землю. Кроме того, я не сомневаюсь, что вы проявляете большую дальновидность, позволяя строиться на границе ваших владений...

— Как вы здесь устроились? Ваше здоровье поправляется?

— Тысячу раз благодарствуйте, это лето было для меня настоящим благословением.

— Очень рад,— ответил поручик.

Хольменгро все быстро устраивал; он за все принимался с деньгами, благоразумно строил из камня и дерева. Он уже не надевал летом шубы и не делал себе большого живота, чтобы внушать почтение; даже золотая цепь казалась ему лишней, когда он приходил в усадьбу Хольмсена, так что он часто наглухо застегивал сюртук. Теперь внушали почтение его полный денег несгораемый шкаф, из которого вечером в субботу он расплачивался с рабочими. Многие из его рабочих оценили также его ум и стали уважать его.

Время шло; на берегу, рядом с пристанью, появилась лавка и в ней поселился купец с товарами. Он был бережливый поселянин, звали его Пер, а когда ему удавалось залучить кого-нибудь грамотного, то он подписывался П. Иенсен; сам же он не умел писать. Он был невежественный, необразованный человек, но что касается наживы, собирания шиллингов и откладывания их, проявлял большую изобретательность. Он удовлетворял потребности поселка, торговал осторожно и привозил лишь те

товары, каких требовали рабочие; он прыгал только на такую высоту, с какой не трудно было бы опять стать на ноги.

По наружности лавочник был толстый, краснощекий мужчина с самым обыкновенным крестьянским лицом и хитрым взглядом. Он одевался в платье из домотканного сукна и имел вид самый простой, но он всех держал от себя на почтительном расстоянии, даже жену и детей. Для него в жизни существовал только один интерес — собирать шиллинги и нажива. Это составляло задачу его жизни и его религию, он ни на минуту не забывал этого и, даже отмеряя что-нибудь локтем, или отвешивая на весах, продельвал какие-то таинственные движения руками. Жители неохотно посылали к нему в лавку детей, а когда приходилось, то внушали им, чтобы глядели в оба.

Хольменгро привез этого человека с собой из Уттерлея, потому что приходился дальним родственником его жене. Хольменгро только указал ему место, а к лавке и торговле не имел никакого отношения: торговлей он не занимался.

— Я слышал, что люди не доверяют тебе, Пер.

— Не доверяют? — спросил Пер.

— Да. Говорят, что ты обсчитываешь и обмериваешь их.

— Вот локоть! — сказал Пер.

Хольменгро осмотрел локоть, положил перед собой и сказал:

— Народ жалуется десятникам. У Бертеля из Сагевика есть мальчишка, — зовут Готфридом.

— Он здесь околачивается каждый день.

— Бертель послал его недавно за кофе; он взял кофе в носовой платок и пошел домой. Так это было?

— Да, купил полфунта кофе.

— Но Бертель должен был перевесить кофе и снова пришел в лавку.

— Говорил я им, зачем покупают не фунт кофе, а полфунта? — ответил Пер.

— Все равно, полфунта должны весить полфунта, а не меньше.

— Да сколько же может быть кофе в полфунте, посудите сами? Если завернуть его в платок, так и не видно.

— Бертель получил кофе неполным весом, ты обвесил его.

— А, может быть, платок был дырявый? Я не знаю.

— Ты должен был перевесить, когда пришел Бертель.

— Я ему отвесил с походом. Это уж по своей доброте.

Хольменгро сказал:

— Смотри, Пер, не давай людям повода жаловаться на тебя.

И впоследствии Хольменгро приходилось отчитывать лавочника, но пользы от того было мало, лавочник Пер не желал оставлять своих привычек, и народ продолжал не доверять ему. Другой лавки не было, и если стоять настороже и глядеть в оба, с ним можно еще было иметь дело. Глупый плут Пер! Он, должно быть, воображал, что будет жить без конца на свете, и потому был так жаден и ненасытен!

— Какой-то П. Иенсен — кажется, лавочник из лавочки у моря — обратился ко мне с просьбой, — сказал однажды поручик Хольменгро.

Как он был далек от какого-то П. Иенсена, как умел превратить какого-то П. Иенсена в ничто! Но это не лишнее, особенно, когда тут сидела фру Адельгейд и слушала.

— Он из лавки, — ответил Хольменгро с крайним изумлением. — Что ему надо?

— Он написал. Он просит устроить танцевальный зал, или танцевальный сарай, уж не помню.

— Каков лавочник Пер! — воскликнул Хольменгро, поднимая голову.

— Это могло бы дать ему маленький доход, — пишет он, так как здесь столько рабочих.

— Хм! Вы, конечно, не...

— Я еще не ответил ему, — сказал поручик с такой равнодушной улыбкой, будто П. Иенсен был для него не больше мухи.

— Конечно. С вашего разрешения, я переговорю с лавочником Пером. Я сделал ошибку, поселив его здесь. Дело в том, что он в родстве со мной, в далеком родстве: сын троюродной сестры или что-то в этом роде. Иначе я и не вспомнил бы о нем. Надо позаботиться отправить его обратно.

Поручик слушал равнодушно, а, может быть, и вовсе не слушал; он уже кончил есть и сидел за ужином, погружившись в мысли и поблескивая глазами. Фру Адельгейд спросила из вежливости:

— У него есть семья?

— Даже большая: сыновья и дочери.

— И, должно быть, живется не особенно хорошо?

— Нет, хорошо; у него есть средства.

После ужина поручик пошел к себе. Нет повесы, маленького Виллаца; не слышать ни его ребячьих вопросов, ни пения; рояль молчит в зале.

Виллацу хорошо живется в Англии, он учится многому полезному и хорошему. Он писал, что умеет уже плавать и боксировать, он также играет на рояле и усердно посещает школу.

Эти письма от Виллаца были радостью для отца, и он никогда так не ожидал почты, как теперь. По уговору с Виллацем перед отъездом, письма всегда адресовались матери, чтобы она могла первой прочитывать их. И она каждый раз с радостью распечатывала письмо и громко читала мужу, а потом они много разговаривали. Чтобы избавить жену от такого обязательства, поручик послал однажды жене несколько писем с горничной. Но фру Адельгейд сейчас же попросила мужа к себе.

— Вы не заметили, что сегодня есть письмо от Виллаца?

— Да? От Виллаца! Благодарю вас.

Виллац писал, что понемногу начинает говорить и уже хорошо читает по-английски. В языке встречается много иностранных слов, а шрифт — латинский. «Иногда тебя очень недостает мне, дорогая мама, потому что в английском языке сорок тысяч слов, и я боюсь, что мне не одолеть. В Англии у нас нет снега, но хотя холодно и сыро, окна всегда открыты ночью, чтобы нас закалить».

У него теперь новый учитель танцев, потому что старый сказал, что вывихнул ногу, но мистер Ксавье Мур говорит, что он не совсем годится. В конце Виллац просил маму кланяться папе и напомнить ему, как весела была их поездка в Англию.

— Премного вам благодарен.

Когда он собрался уходить, она удержала его, говоря:

— Это уже во второй раз, что он вспоминает о поездке в Англию.

— Да, он видел много нового и интересного.

— И я отказалась от такой поездки!

— Вы жалеете? — спросил он с удивлением.

— Да, — ответила она и подошла к окну.

Молчание. Она продолжала:

— Если бы я попросила у вас... попросила бы теперь?.. Мне просто невыносимо: он среди чужих людей. Кто такой этот мистер Мур? — спросила она, оборачиваясь к мужу.

— В этом отношении можете быть спокойны, но...

— Открываются окна на ночь... Ну, что за манера заставлять учить сорок тысяч слов, когда и тысячи довольно. У него все спутается в голове.

— Мне кажется, вы правы.

— Я, конечно, не поеду в Ганновер, поеду к нему. Я каждый день раскаивалась в том, что не поехала с ним. Я не хочу домой... совсем не хочу.

— Если бы не зима...— начал поручик.

— То вы отпустили бы меня?

— С величайшим удовольствием... Прошу вас, не давайте неверного толкования моим словам... Если вы желаете этого...

— Благодарю вас, Виллац. Так я поеду. Как я рада!

О, в эту минуту он мог бы обернуть ее вокруг пальца, он мог бы взять ее на руки и вынести из комнаты к себе, а она бы только крепко держалась за него и не заметила бы даже, если бы он задел за дверь. Он ждал, может быть, первого слова с ее стороны и стоял молча, наблюдая.

— Однако, я стою и мешаю вам читать ваши другие письма.

Он слегка поклонился и хотел уйти.

— Виллац!

— Я пойду и распоряжусь относительно лошадей. Вы хотите ехать сейчас?

— Да, благодарю. Виллац,— заговорила было она и подошла к нему с необыкновенно покорным видом, склонив голову. Но подняв глаза и увидав его выражение, она поняла, что попытка к примирению невозможна,— что слишком поздно: в его упрямой голове раз принятое решение оставалось непоколебимым. Она убедилась, что все кончено.

Он воспользовался своим положением. Теперь сила была в его руках, как прежде находилась на ее стороне, и он решил про себя: «Ничего не осталось... от всего...»

Но не слишком ли он рано собрался воспользоваться своим торжеством? Ему следовало знать фру Адельгейд лучше; она не упадет на колени, не станет биться головой об пол; она выпрямилась и сказала с большим самообладанием:

— Я хотела только попросить вас дать мне шубу... шубку для Виллаца. Могу я отвезти ему?

Молчание.

— Конечно,— ответил он.— Благодарю, что напомнили. Носят ли только дети шубы в Англии?

— Может быть, и не носят. Не знаю. Но все равно.

— Все равно. Узнаете. Во всяком случае, это делает честь вашим материнским чувствам.

После этого разговора фру Адельгейд будто охладела к путешествию... к приготовлениям, ко всему вообще. Может

быть, она придумала это путешествие, чтобы смягчить мужа и заставить его отнестись снисходительно к ее капризам. Очевидно, что она в последнюю минуту отказалась бы от этой поездки в Англию, устроившейся так неожиданно, но пришедший Хольменгро ободрил ее и поддержал в ней желание. За обедом Хольменгро сказал:

— И я еду. Дети давно ждут меня.

— Но ваша поездка будет гораздо продолжительнее?

— Да, я поеду в Мексику. За Кордильеры.

— Хорошо бы, если бы я могла доехать с вами до Англии!

— Я счел бы это за великую честь для себя.

Фру Адельгейд и поручик взглянули на него.

— Так ли я поняла вас? Когда вы можете ехать? — спросила хозяйка.

— Когда вы прикажете, — ответил Хольменгро с поклоном.

— Как, я не... — воскликнула изумленная фру Адельгейд. — Вы можете ехать сейчас?

— Через несколько часов, если угодно.

— Вот удача!

— Постараюсь быть вам полезным, насколько могу.

Поручик спросил:

— Как же вы оставите весь этот народ?

— Рано или поздно, — все равно придется. Оставляю здесь несколько десятников.

— Но, насколько я понял, ваши дети не могут приехать раньше весны.

— Я и не привезу их раньше весны. Но в Мексике есть еще кое-что, что надо распутать и устроить. Конечно, не много, но все же кое-что, и это займет все время, что я проведу там. Надо развязаться с заводом... с несколькими заводами и небольшим имением. Дело невелико, но все же потребуется время, чтобы привести в порядок.

— Да, если вы можете ехать со мной до Англии, не принося жертвы, то я буду вам очень благодарна, — искренне сказала фру Адельгейд.

И поручик кивнул головой.

— Если вы только не ускоряете своего путешествия ради моей жены?

— Ни в коем случае.

— Может быть, вы поехали бы только через несколько месяцев?

— Правда, я сначала так предполагал, но дети пишут, что с нетерпением ждут меня.

— По-видимому, фру Адельгейд, вы действительно можете воспользоваться любезностью и опытом господина Хольменгро в путешествиях. Таким образом, нам бояться нечего.

— Да, бояться нечего.

Во все время отсутствия фру Адельгейд казалось, будто поручик вовсе не скучал по ней,— напротив, он поздоровел и посвежел и был деятельнее, чем когда-либо.

— Чудеса! — говорила иомфру Сальвезен.

Поручика видели верхом или пешком на дорогах к соседям или торпарям; он отдавал личные распоряжения относительно зимней порубки в лесу, чего не делал уже много лет, и велел привести в порядок к весне все колесные экипажи в усадьбе. И что это означало, что он ходил теперь, расстегнув сюртук, заложив большие пальцы в жилетные карманы и напевал? Может быть, он сам несколько удивлялся своему настроению и, чтобы не удивлять других своей веселостью, отдавал свои приказания тихим голосом, что не мешало, чтобы ему повиновались немедленно. Свалилось ли с него какое-нибудь бремя? Куда девалась его подавленность? Вообще с того времени, как у поручика оказались деньги в кармане, он стал свободнее, реже опускал голову и меньше задумывался над дорожной пылью.

И по вечерам он уже не лежал пашой на диване, и вид Даверданы не волновал его сердца и не совращал с пути,— не надо моря, не надо волнений.

Однажды вечером он встретил рыжую девушку в коридоре совершенно случайно; она стояла у стены; его плащ, обыкновенно, висел тут, и он принял ее за плащ.

— Как? Это ты, девушка?.. Здесь так темно...

Он пошел снова к себе, налил дрожащей рукой стакан воды, несколько раз прошелся по комнате и затем принялся за свой вечный пасьянс.

Но разве после Нового года, когда жена вернулась домой, он снова предался своему угнетенному состоянию? Вовсе нет; он продолжал напевать и, по-видимому, не мог скоро отвыкнуть от этой привычки. Таким образом, он ходил напевая несколько месяцев, будто ничего не случилось; он пел некоторое время и после возвращения жены. Этот человек никогда не останавливался наполовине. Может быть, он хотел этим ввести в заблуждение домашнюю прислугу?

— Я слышу, вы напеваете? — сказала фру Адельгейд.

— А, вы услышали? Плохая примета. Я отучу себя.

— Нет, зачем?

— Потому что гораздо приятнее, чтобы вы пели, так как умеете, а я молчал бы.

— Вы поете вовсе неплохо.

— Я пою исключительно для себя, и в отчаянии, что вы слышали.

— Хорошо, что кто-нибудь поет здесь в усадьбе,— сказала она.

— С отъездом Виллаца вы одна можете петь здесь, фру Адельгейд. Но вы молчите.

Что на это сказать?! Через несколько минут она снова заговорила:

— Я встретила во время пути странную пару, очень оригинальную.

— Да?

— Да, очень оригинальную.

— Любопытно послушать.

— Да? Они были очень странные. Один день они улыбались друг другу, кивая. Между ними господствовало такое согласие; они целовались, разговаривали между собой, желали друг другу спокойной ночи...

— А на следующий день?

— То же самое.

— Замечательно. Что это были за супруги?

— Как и все.

Молчание.

Поручик был сбит с толку; ему казалось, будто он снова свесился с лошади.

Фру Адельгейд продолжала:

— Я следила за ними во время путешествия. Я очень благодарна вам, что вы доставили мне случай видеть их.

Поручик поклонился, говоря:

— А еще что?

— Ничего,— ответила она.— Они были женатые люди, любившие друг друга, они были счастливы.

— Хм! Так ли я понял вас, фру Адельгейд? Мне следовало поучиться кое-чему у этой пары?

— И вам и мне, как я полагаю; обоим нам можно бы кое-что позаимствовать у них. Впрочем, не знаю...

— Вы меня извините, если я на минуту присяду на этом стульчике,— сказал поручик и сел.— Я не хочу заводить каких-либо счетов, но вы, кажется, желаете, чтобы между нами установились несколько другие отношения?

— Я этого желала и раньше, разве вы не помните? Но я встретила отказ...

— Это нехорошо.

— Да, это было более, чем печально,— сказала жена со слезами на глазах.— Меня, само собой, такое отношение обижало. Но оставим это.

Без сомнения, этот упрямый человек желал во что бы то ни стало и теперь проявить свою стойкость, потому что губы его скривились улыбкой, и в голосе будто зазвенело железо. Он просил ее только припомнить все.

— Вы встретили отказ?

— А разве не так? Разве вы два раза не отказали мне? Разве вы не сказали, что всему конец?

Молчание.

— Я вовсе не хочу допрашивать вас, но разве я годами запираю свою дверь?

— Господи! Да, я запираю дверь. Но разве я не просила извинения каждый раз? И вы каждый раз отвечали согласием, но в сущности никогда не извиняли меня. Теперь я уже не знаю, чего держаться.

Поручик вдруг стал очень серьезен; он даже наклонился вперед, смотря на нее пристально будто не понимал ее слов. Говорила она так по глупости или из коварства; хочет она свести его с ума?

— Теперь я прекрасно понимаю, что перешла границы,— продолжала она,— мне не следовало так долго наказывать вас. Я чувствую это теперь и раскаиваюсь.

— Во-первых: понимаете ли вы верно положение вещей, говоря о наказании? За что вы намеревались наказать меня?

— Вот видите... Я не могла наказать вас? В моих собственных владениях?

— У вас есть собственные владения?

— Придибка к словам...

И вот она начала пространно говорить о том, что, вероятно, передумала в течение многих лет. Но речь выливалась у нее в грубую форму, потому что она волновалась. Она говорила резко, прямо, непохоже на самое себя.

— Как вы приходили... приходили ко мне? Вы имели право на это; я не могла отказать вам. Разве комната не была приготовлена? Разве я сама не была готова? Разве вам было не все равно, сидела ли я, глядя на море, или думала про себя? Может быть, у меня не было стула для вас, потому что на стульях лежали мои вещи? Правда, раз случилось, что я положила вещи на стул, чтобы вы не могли сесть. Но ведь я их тотчас убрала, не правда

ли? Вскочила и освободила стул. Но вы уже рассердились, взглянули на часы и поклонились, собираясь уйти. Меня как холодной водой обдало, и я уже не стала удерживать вас. Ведь не могли же вы требовать, чтобы я умоляла вас! И вы ушли... На следующий раз вы, вероятно, ожидали, что во весь этот промежуток времени я не буду иметь иной мысли, как быть вам приятной, когда наступит этот следующий раз,— извините, этого вы должны были во всяком случае заслужить. Но вы пришли, как раньше, каждый раз приходили, как раньше. «Я опять помешал?»— спрашивали вы, считая это совершенно невероятным. И сердились, когда убеждались, что действительно попадали не вовремя. Я могла быть занята чем-нибудь, могла в это время писать в тетрадке, которая у меня заведена, могла летней ночью сидеть и рисовать, а вы требовали, чтобы я ни о чем другом не думала, как о том, как принять вас? На каком основании? Я вовсе не привыкла к мелкой угодливости; я вышла из большого дома и никогда не знала, что значит быть к услугам кого-нибудь. Что бы вы сказали, если бы я во всякое время дня и ночи беспокоила вас за вашими книгами? Вот как все это было. Я вижу, вы улыбаетесь, все, что я вам сказала, для вас не имеет ровно никакого значения. Но все это было так.

— Я не стану улыбаться.

— Не станете улыбаться? В таком случае вы сделаете что-нибудь другое, чтобы унижить меня,— безразлично что. Ах, Боже мой, вам не следовало... я хочу сказать, мне не следовало приезжать сюда...

Молчание.

— Вы молчите? Это тоже что-нибудь да значит.

— Вы хотите, чтобы я говорил?

— Нет, не говорили, опять пошли бы одни пикировки. Но я думала, что вы могли бы сказать что-нибудь, могли бы успокоить меня. Неужели у вас не найдется ни слова утешения для меня? Я не понимаю, из-за чего нам вечно не ладить между собой; во время путешествия я видела только согласные пары. И вот я теперь предложила вам мир и протянула руку. Вы не можете понять этого? Я хотела бы, чтобы между нами установились более естественные отношения, два раза я вас просила, плакала...

Поручик или нашел долю правды в ее словах, или его утомили вечные ссоры, только он ответил:

— Поздно, фру Адельгейд.

— Да, это вы тогда решили про себя: «До такого-то срока». Я ничего не знала о том, что вы приходили в

последний раз. Могли предостеречь меня. Почему вы не предупредили меня? Я бы изменилась, сейчас одумалась и попросила бы у вас прощения. Нет, вы молчали. Вы про себя решили, что то будет *последний* раз, но мне вы этого не сказали. Нехорошо вы поступили, нехорошо!

— Вы так часто говорили, что знаете меня.

— Да, правда. Но я никак не думала, что то будет в *последний* раз. Это было неожиданностью для меня.

Поручик обдумывал основательно и долго свой ответ и сказал, наконец, спокойным голосом с полным самообладанием:

— Чтобы не дойти до еще более тяжелых обвинений, положим раз навсегда конец подобным объяснениям. Все остальное, как было до сих пор. Если бы мы с вами пришли теперь к соглашению, фру Адельгейд, то не прошло бы и недели, как опять началось бы то же самое. Говорю по опыту. Вы опять пожелали бы наказать меня. Много лучших лет нашей жизни мы погубили, вечно стоя на стороже один против другого. Вы изощрились в своем искусстве и часто доводили меня до озлобления, но теперь кончено. Мы с вами оба уже немолоды, наши лучшие годы прошли, нам уже не пристало разыгрывать влюбленных. Это кажется относится одинаково, как к вам, так и ко мне.

Да, да, стало быть, все кончено... все! Фру Адельгейд думает и кивает головой. Вдруг она говорит:

— Немолоды? Вы первый, от кого слышу это. За все время моего зимнего путешествия я слышала только противоположное. Но, пожалуйста, не стесняйтесь, когда вам хочется сказать грубость.

Поручик встал.

— Знаете, что со мной случилось? — спросила она, все так же возбужденно. — Когда мы шли, однажды, с сыном, нас приняли за брата и сестру.

В него как бы вселился дьявол, и он ответил колко:

— Вот как! Виллац так вырос? И так возмужал!

После этого поручик ушел к себе.

Эта сцена осталась последней, как была первой. В течение многих лет у поручика происходили частые серьезные столкновения с женой, но его упорство всегда побеждало: он никогда не сдавался. А между тем его неподатливость не доставляла ему удовольствия, ему она стоила многих усилий над собой: эта упрямая, капризная фру Адельгейд из Ганновера овладела всеми его чувствами и всем существом. Почему бы иначе он подкрадывался к

ее двери в течение многих лет? И какого дьявола он обрекал себя на воздержание ради нее и не знал ни одной женщины во всей окрестности? Сколько раз он был готов положить конец своим мучениям, схватив жену и, крепко держа в своих железных объятиях, отнести ее к ней в комнату... Не раз он представлял себе это так ясно, что, казалось, слышал собственные грубые слова: «Я проучу вас, моя милая... научу капризничать!» Он сидел на диване и так живо переживал все, что, доходя до этой точки, весь съеживался будто собираясь прыгнуть на жену... Но тут же он приходил в себя. Правда, тяжело ему бывало, но он переломил себя. Должен же человек иметь силу, чтобы стать выше своей доли. Он думал о последствиях первого насилия со своей стороны, оно, без сомнения, повлекло бы повторения, потому что фру Адельгейд не сдалась бы. Таким образом, он сделал бы из ее жизни одно только мучение. Был другой путь, менее грубый, превратить супружество в игру фантазии.

Поручик держал себя, как и подобало ему с сознанием собственного превосходства. Сила была на его стороне, и он мог показать это, но не делал. Изумительный человек! Для него имело громадное значение, что его ничто не принуждало к такому самообладанию. Иначе он бы реагировал — и как еще. Он сам постановил, до какой степени должно дойти его превосходство: границы эти были широки, жена могла быть спокойна. Это было как бы в духе гуманистов.

Время шло. Поручик все больше и больше сидел; вечера он проводил за своими любезными книгами или раскладывал пасьянс. Достойное времяпровождение для Виллаца Хольмсена! Иногда, совершенно внезапно, он поднимался и брался за шнурок от звонка. Входила Давердана, прислуживавшая ему, и приседала. Но она не являлась на звонок немедленно; он сам научил ее мыть руки перед тем, как приходить. Зачем? Хотел он выиграть время и успокоиться? Когда Давердана раз долго не приходила, она застала поручика стоявшим, положив обе руки на стол, и молча смотрящим на нее. У него во взгляде было безумие.

— Ты ничего не трогала здесь? — спросил он, приходя в себя.

— Нет, — испуганно ответила она.

После той старой истории с азбукой, которую Давердана тронула, она уже не прикасалась ни к одной из запретных вещей в комнате.

— Знай, что все эти вещи остались после Виллаца, я дорожу ими. Помнишь Виллаца?

— Ну, как не помнить!

— Хорошо! Он в Англии, очень вырос, перерос мать. Как бишь тебя звать?

— Давердана.

— Забыл. Но ты ловкая девушка. Больше ничего.

Но Давердана продолжала стоять; она что-то держала в руках, не показывая.

— Ты что-нибудь хочешь спросить у меня?

— Нет... Благодарю вас,— говорит Давердана.— Это портрет нашего Ларса, вы, может, захотите взглянуть. Ларса из семинарии.

Поручик не берет карточки, но берет руку девушки в свою и слегка сжимает ее. Так он стоит и смотрит на фотографию, приблизив щеку к щеке девушки. Может быть, он хочет удостовериться, таким образом, чистые ли у нее руки? Или ему хочется подержать девичью руку в своей?

— Зачем мне смотреть на эту фотографию?

— И я так говорила,— отвечает Давердана,— но отец приказал отнести вам. А потом сказал, чтобы я вас поблагодарила хорошенько за Ларса.

Мальчик Ларс был снят в высоких воротничках и с толстой цепочкой, а вид имел переодетого парня с грубым, обыкновенным лицом.

Поручик кивает, давая тем понять, что видел довольно.

— Какой нарядный! — говорит девушка.— Да, да он взял платье напрокат, чтобы сняться.

— Взял напрокат?

— Да, и часы также. И кольца на пальцах тоже взял у товарища. Так он пишет. Теперь Ларс скоро придет домой.

Поручик снова кивает; теперь он, во всяком случае, видел довольно. Он выпускает руку Даверданы, и девушка уходит.

Мальчик, которому покровительствует поручик, не должен занимать платье для того, чтобы идти в фотографию. Этому надо положить конец. О, но еще многому надо бы положить конец: и дома, и у Виллаца в Англии, и среди прислуги, и у купцов в Бергене. Деньги так и тают...

Поручик переодевает кольцо на левую руку. Неприятности без конца. На ваканцию придет Виллац; теперь он уже взрослый молодой человек, *master*. Он ездит верхом, но у поручика для него нет лошади в конюшне; придется купить...

Поручик ждал возвращения Хольменгро. Почему это могло быть? Вероятно, потому, что у него связывалось с ним представление о деньгах и совете во всяком затруднительном случае. И тот летний вечер, когда господин Хольменгро высадился на пристани со своими двумя детьми и прислугой, был для поручика некоторым образом событием; он выехал к ним навстречу и привел к себе в дом.

ГЛАВА XI

В Сегельфоссе и его окрестностях произошли большие перемены. Мельница была выстроена и пущена в ход, по всей округе разносился гул; Хольменгро управлял, как настоящий король. Почему в маленькой церкви звонили каждый день? В Мальмё умер король,— его место занял господин Хольменгро. И как он работал, с какой энергией принимался за дело! Не прошло много времени с окончания набережной и устройства пристани с большими подъемными кранами, как к ней пристал большой пароход, пришедший из далеких стран с зерном. По палубе иностранные матросы разгуливали в клеенчатых шляпах на черноволосых головах и говорили на неизвестном языке. Как будто что-то сказочное, под стать Тобиасу-королю.

Даже для поручика в поместье это было событием. Английский капитан пригласил господина Хольменгро вместе с ним на ужин и угостил на славу. Не принимал ли господин Хольменгро какого-нибудь участия в устройстве этого ужина? Ведь ничто не обходилось без его участия. Потом поручик дал большой обед в честь капитана и офицеров корабля. Веселые были дни.

Все эти события служили к увеличению благосостояния во всей округе. Вся эта рожь, превращенная в муку, отстраняла всякую мысль о возможности голода в стране. В случае нужды можно было пойти к королю Тобиасу и взять займы, но прежде всего у него можно было найти работу и пользоваться его харчами. Жизнь изменилась к лучшему; лоденные рабочие весь день могли жевать табак, а крестьяне, у которых была лошадь, могли возить муку с мельницы, зарабатывая достаточно для покупки разного товара в лавке и уплаты податей.

Конца не было заработкам, а, стало быть, и благоденствие росло. И сам господин Хольменгро чувствовал себя хорошо и процветал; сосновый воздух и деятельность по душе оказались благодетельными для его здоровья, а что касается

доходов, то с этой стороны ему не грозило никакой опасности, по крайней мере, никакой непосредственной опасности. Или нет? Разве купцы не посылали со всех сторон свои баркасы и боты за мукой? И разве не дошло до того, что пришлось завести контору и квартиру для заведующего складом на пристани? В Сегельфоссе открылось почтовое отделение, пароходная станция: парходы линии Вадсё — Гамбург заходили через каждые три недели с юга и севера, привозя почту и товары, а увозили муку для всех северных местностей. Заведующему пристанью работы было достаточно; он принимал письма и посылки, вел книги, писал все письма, договаривался с рабочими на пристани, смотрел за порядком. Скоро ему понадобился помощник, так сильно развилась деятельность. К одному лавочнику Перу приходила масса товаров, — ящики и бочки с каждым кораблем, а после нового года он предполагал получить право на продажу вина; тогда будет приходиться для него еще больше ящиков и бочек. Вообще всему и конца не предвиделось!

И над всеми и над всем царил сам Хольменгро, как повелитель. Он стоил всех остальных вместе, притом был всегда спокоен, вдумчив и внимателен во всем. Если его останавливали по дороге и спрашивали о чем-нибудь, то он, хотя и не любил этого, всегда отвечал мимоходом.

Так шло некоторое время, но потом ему пришлось изменить свое поведение. За ним стали ходить по пятам, поджидая его. Когда он останавливался, разговаривая с поручиком, то сопровождавшие останавливались поблизости и ждали, пока он не закончит разговор, и тогда нападали на него. Ему пришлось научиться, как отделиться от просителей: «Ступай к начальнику склада! Спроси старшего мельника!» Но были и такие, от которых не было возможности отделаться: они уже побывали у заведующего, спрашивали мельника, но ничего не добились. Пришлось господину Хольменгро прибегнуть к третьему методу — выслушивать всех, не говоря ни слова. Ах, если бы он мог перенять от поручика его настоящую барскую манеру держать себя! Тот не был нем, но к нему редко обращались. Никто не умел так держать людей на почтительном расстоянии, как этот высокомерный помещик. Он ездил иногда к тому или другому из своих торпарей, разговаривал с ними и отдавал приказания, но торпаря являлись каждый день со все новыми просьбами.

— Чего им надо? — спросил поручик, подбехав, как всегда, верхом.

— Должно быть, хотят поговорить со мной, — ответил Хольменгро. — Я вижу среди них человека, который не

дает мне покоя; он пекарь, учился в Бергене и хочет завести здесь булочную. Я ему отказываю каждый день, и он снова возвращается. Кончится тем, что я ему отведу клочок земли там, у моря.

— Вы лично имеете что-нибудь против устройства булочной?

— Напротив. По самому простому расчету это будет мне выгодно, но...

— Вы можете дать ему участок в моих владениях,— предложил поручик.

Молчание.

Господин Хольменгро обдумывал и сказал:

— Я имею величайшее основание быть вам благодарным за это новое беспокойство, но я не могу воспользоваться им. Сегодня — одно, завтра появится еще что-нибудь. Меня не оставят в покое.

Помолчав, господин Хольменгро продолжал:

— Другое дело, если бы вы предоставили мне всю землю до мыса.

Поручик думает.

— Таким образом, мы не стали бы впредь беспокоить вас подобными просьбами.

— Если вам не хватает земли для построек, нужных для полного развития вашего предприятия, то я, само собой, не стану препятствовать такому соглашению.

— Еще раз убеждаюсь в вашем доброжелательном отношении ко мне, господин поручик.

— Вам нужна земля от набережной до мыса?

— Да. А в ширину до полей. Много народа хочет строиться.

Поручик собирается ехать дальше и говорит:

— Об этом можно подумать. Ах, правда,— перебивает он самого себя,— булочник ждет. Можете писать купчую.

Хольменгро низко кланяется, благодаря.

— Благодарю вас от своего имени и от имени многих. Вы согласны принять прежнюю цену за землю?

Цену! Поручика слегка передернуло; только теперь он понял, что с продажей связаны деньги, во всяком случае, довольно значительные. По прежней цене за этот участок приходится порядочная сумма.

— Я принимаю вашу цену,— сказал он.

Въехав к себе в усадьбу, он вдруг снял обе перчатки, передел кольцо на правую руку и снова надел перчатки. «Спасение! — подумал он.— Вывернулся!»

Господин Хольменгро, по-видимому, также считает, что не имеет причин быть недовольным. По своему обыкновению, он отпустил просителей несколькими ласковыми словами: «Это тебе расскажет мельник. Отдай заведующему пристанью эту записку, он даст тебе мешок муки!» Чужого булочника он удержал и имел с ним продолжительный разговор.

В то время, как они стояли, разговаривая, подошли к ним девушка и мальчик: то были дети Хольменгро. Девочка была старшей. Она одета в желтое платье, мальчик — в красное. У обоих вид иностранцев; оба смуглые и черноглазые. В них что-то заморское: черты лица резкие, огромные носы, губы полные, — все иноземное. Но дети смышленные, когда они приехали в Сегельфосс, они говорили только по-испански, в короткое время выучились говорить по-норвежски, теперь это высокие, ловкие нордландцы, весь день бегающие повсюду. Девочка, Марианна, бежит вприпрыжку впереди, веселая и подвижная, за ней — мальчик Феликс; оба без шляп с короткими волосами, спустившимися на низкие лбы. Дети бросились к отцу.

Отец открыл им объятия. Он доволен, что видит их такими здоровыми и цветущими.

— Ну, покажитесь, — сказал он.

Они поняли, что он хочет полюбоваться ими; они останавливаются на минуту, чтобы он мог посмотреть на них, а затем увлекают его за собой.

«Слава Богу, — думает господин Хольменгро, — что переселение в Сегельфосс не принесло им вреда».

Он успокоился. Все шло хорошо, он сделал рискованный шаг, переехав сам и перевезя детей из их далекой родины в эти новые места. Почему он это сделал? Может быть, в нем заговорил голос крови, может быть, в нем проснулась человеческая слабость. Разве он мог блистать в Кордильерах? После смерти жены он остался одиноким и всем чужим; у него было положение и средства, но не было перед кем похвалиться, а там далеко существовал серый островок. Помнил Хольменгро также водопад в Норвегии; там можно и блистать.

Болтая, он достиг с детьми большого дома на берегу реки. Он уже давно переселился от поручика и жил у себя, только молоко брал из имения. Вначале он не мог найти себе прислуги, потому что дом его был построен на месте церкви; там, должно быть, ходят привидения, и от стен идет запах. Ему пришлось уговорить некоторых из многочисленной прислуги поручика переночевать несколько

ночей в опасном доме. Все обошлось благополучно, никаких привидений не было, и через месяц у Хольменгро прислуги было сколько угодно, в числе ее оказалась и Марсилия, бывшая горничной в усадьбе, и убиравшая комнаты поручика.

Хольменгро все устроил хорошо и даже развел сад. Его дом был велик и красив, он стоял посреди лесов, кругом раздавался шелест листьев, а с мельницы, молотившей день и ночь, доносился грохот. Всем хозяйством заведовала вдова адвоката с Уттерлея, фру Иргенс, урожденная Гельмюнден.

У пристани остановился пароход «Орион», а на нем приехал *мастер* Виллац. Мать и отец верхами выехали к нему навстречу; они сошли с лошадей и отдали поводья грумам, как будто оба приехали из разных мест. И Хольменгро с детьми вышел на пристань, чтобы встретить Виллаца и оказать его родителям внимание.

— Вот он машет нам, — говорит фру Адельгейд, и также начинает махать платком.

Поручик вынул платок.

На пристани было много народу; заведующий складами стоял с бумагами в руках, а его помощник держал сумку с корреспонденцией; оба они отдавали еще кое-какие приказания своим рабочим. Лавочник Пер отстроил себе дом и очень важничал; дети всякого возраста глазели на пароход; поодаль стоял Ларс Мануэльсен, рыжий, грязный, любопытный; в нескольких шагах от него поместился его сын Ларс-семинарист, вернувшийся на последнем пароходе с юга и носивший крахмальные воротнички и длинные волосы.

Пароход подходит к пристани и останавливается.

Молодой Виллац выходит на берег и прежде здоровается с отцом, хотя мать стоит к нему ближе, плача и смеясь, и ведет его домой.

— Какой ты вырос большой! Добро пожаловать! — говорит мать с гордостью.

Сын обнимает мать и треплет ее по плечу и называет ее уменьшительными именами. Как он вырос! Настоящий мужчина, сравнялся ростом с матерью! Молодой Виллац подходит к Хольменгро, чтобы поздороваться с ним и его детьми; он держит себя совершенно по-английски, так вежливо, как большой.

Лошади вдруг стали беспокоиться; отчего бы это? Поручик оглядывается на них, но ничего не понимает.

— Мне кажется, моя Эльза узнала тебя, Виллац, — говорит мать, счастливо смеясь.

Семинарист несколько пододвигается, он подходит и кланяется господам; поручик отвечает.

— Да это Ларс,— говорит Виллац.— Я всех узнаю; вот и Юлий. Отец, ты кажется, поседел?

— Тебе кажется? Здесь такая толкотня. Фру Адельгейд, не пойти ли нам?

Они поворачиваются и видят перед собой трех оседланных лошадей. Чья же это чужая лошадь?

Поручик с удивлением смотрит на всех.

Господин Хольменгро подходит и объясняет:

— *Мастер* Виллац, надеюсь, не обидится: это небольшой сюрприз, который я приготовил к вашему приезду.

Все приятно поражены. Каков Хольменгро, этот король во всем! Вороной верховой, конь с седлом и всем прочим для *мастера* Виллаца! Его осыпают благодарностью со всех сторон, и на минуту он смущается, когда фру Адельгейд, сняв перчатки, благодарит его:

— Я рад, что угодил. Не стоит благодарности, вовсе не стоит...

Все осматривают коня и треплют его; скакун пятилеток, хорошо выезженный, стройный, с красивыми копытами! Господин Хольменгро в восторге, что сделал такой удачный выбор. Он отказывается от всякой платы: ведь он целые месяцы был гостем в усадьбе, не платя за себя. Ему не оставалось другого исхода, как выказать благодарность таким пустяком, чистой безделицей.

— Но я никак не ожидал увидеть вас вполне молодым человеком, *мастер* Виллац,— говорит он, вежливо отстраняясь.— Придется спустить стремена.

Так мать и сын поехали к усадьбе; они были так изящны и красивы, что им вслед смотрели даже с парохода. Поручик передал коня лопарю Петтеру и пошел пешком с Хольменгро.

— Вы знаете, кто этот молодой человек, идущий за нами? — спросил Хольменгро.

Поручик оглянулся и отрицательно покачал головой.

— Это семинарист. Он желает поступить ко мне домашним учителем.

— Вот как? Нет, я его не знаю.

— Моим маленьким индейцам, как я их называю, пора учиться. Я считал ваше расположение к этому молодому человеку за некоторую гарантию.

— Нет, я его почти не знаю. Мое знакомство с ним ограничивается только тем, что я платил за него семинарию.

— Советуете вы мне попробовать его?

— Да. Думаю, что окажется не хуже других.

Хольменгро переменял тему.

— Предполагаете ли вы в нынешнем году сплавливать лес?

— Может быть. Посмотрю.

— Я спрашиваю потому, что здесь много народа хочет строиться, а материала нет.

— Да? Цены стоят высокие. Не лучше ли переждать. Не знаю, стоит ли только. Нам еще как-нибудь надо будет поговорить об этом.

— Прекрасно. Так через неделю. К тому времени я наведу справки.

Они распрощались, и каждый пошел своей дорогой. Семинарист последовал за Хольменгро вверх по реке.

Хорошо, что поручик сразу не связал себя поставкой леса в нынешнем году, у него уже не было больших запасов его, но у него было много мелкого леса, такого, какой требуется в английских копиях. Поручик похозяйничал со своим лесом; его оставалось немного.

Дом Хольмсенов оживился с приездом сына; за обедом говорили больше; знакомые звуки фортепиано доносились из зала. Во время общих разговоров часто случалось, что присутствие Виллаца заставляло родителей отвечать друг другу; теперь мать и сын пели и играли на фортепиано среди дня, когда отец был дома и сидел у себя в комнате, следовательно, мог их слышать. Для поручика это было открытием: фру Адельгейд не забыла своего пения, она пела все так же хорошо, голос звучал полно и, Боже, насколько этот голос был выше всего земного!

— Пойдем со мной: ты ведь еще не видал скота,— позвал поручик сына.

Они пошли на скотный двор, но недолго оставались там. На скотном дворе все было приспособлено великолепно, ясли были устроены по последнему образцу, корм подвозили вагонетки; откормленные свиньи бродили, хрюкая, со своим потомством и напоминали допотопных животных; на птичьем дворе — цесарки, желтые боевые петухи со шпорами, как сабли, и всякая птица.

Но поручик быстро вышел. Посещение скотного двора, по-видимому, было только предлогом; он повел сына в сад в маленькую оранжерею, перестроенную им и переделанную после того, как она много лет была в забросе.

— Здесь еще есть кое-какие цветы,— сказал поручик,— возьми и отнеси, кому хочешь. Возьми этих... И этих... Сорви тот, который ты сейчас тронул. Ты вернулся домой:

они твои. Вот тут целые пучки, только как они бишь называются?

— Да ведь это розы.

— Может быть, и розы. Они растут пучками, это точно та песня, которую вы только что пели, не правда ли? Рви их все. Я знаю, кому ты их хочешь отнести, поступай, как хочешь...

— Кому же отнести цветы, как не матери, в ее комнату?

Отец промолчал на это, но не пожал плечами и не нахмурился, он имел очень равнодушный вид и посмотрел на часы. Ему вдруг вспомнилось, что надо возить лес, и поэтому он пошел, куда ему было надо.

Хм! Конечно, приятно было иметь сына дома; он внес радость и веселье; между мужем и женой не стояла по целым дням непроницаемая стена. Поручик любовался Виллацем, хотя... гм... он заметил в сыне перемену, произошедшую за последний год и заставлявшую его задуматься. Сын вырос слишком быстро и в своих письмах начал подписываться Вилль. Последнее письмо было даже подписано Билль. Разве это то же самое, что доброе старое имя Виллац? Ведь это может кончиться тем, что он, наконец, превратится в Билля Хольмса, примет имя, которое может носить первый встречный. Поручик был главой династии Виллац Хольмсенов и должен сохранить ее.

Молодой Виллац, вероятно, и не думал о династии; в подписи только сказывалось английское влияние на молодого человека. Но как приятно было опять очутиться дома! Иомфру Сальвезен и прочие служанки всплеснули руками, как он вырос; работник Мартин и прочие рабочие кланялись ему издали и не решались из почтения и боязни подойти к нему. Ведь этот мальчик родился в рождественскую ночь. Молодой Виллац ездил верхом по дорогам мимо домов тор арей, он ездил быстро и шагом мимо изб и видел, как из окон повсюду выглядывали лица, а ребятишки молча глазели на него, стоя на пороге. Через несколько дней такая отчужденность надоела ему, он остановил лошадь и пешком отправился разыскивать Юлия.

Юлий также подрос, но больше всего у него выросли руки и ноги, руки у него стали просто изумительные! Кроме того, у Юлия был странный вид: он только что выстриг себе брови, чтобы они росли гуще. Увидав Виллаца, он вышел навстречу и начал, как подобает старому товарищу, ругаться, не стесняясь присутствия матери:

— Черт побери!... Это ты, Виллац?

Виллац, улыбаясь, отвечает, что он самый! Он хочет показаться старше, чем он есть и старается говорить более низким голосом.

Мать Юлия вытирает стул фартуком и подвигает Виллацу, приглашая сесть.

— Какой почетный гость! Все же, может, присядете!

Маленькие сестры Юлия смотрят на чужого из угла. Они также подросли, платья им коротки и узки — так они выросли! Прежде в доме не было таких больших ребят.

— Ах, как вы выросли! — говорит мать Юлия. — Вас не узнаешь.

— Да прошел не один день с тех пор, как я сидел здесь, — отвечает Виллац, как большой.

— Да, времечко бежит!.. Чего вы там стоите, показываете свои лохмотья, — обращается она к малышам, — ступайте оденьтесь!

Юлий широко подбоченивается, громко зевая, и говорит:

— Что бишь я хотел сказать?.. Ты из Англии?

— Да, из Харроу, в Англии.

— Я подумываю, как бы мне наняться на корабль и уйти в море, — говорит Юлий.

— Ты? — спрашивает мать. — Постыдился бы так врать.

— Я вру? Потому что я раньше не говорил этого? Стану я болтать все, что думаю, напрасно вы этого ждете.

— Вот смотри, спушу с тебя штаны и выдеру! — сердито отвечает мать.

У Юлия лицо как будто сразу осунулось, он притих. Придя немного в себя, он снова обращается к Виллацу:

— У тебя не было морской болезни?

— Нет, у меня не было. А многие болели.

Юлий видел, что из разговора здесь, в избе, ничего не выйдет: мать стесняла его. Он выманил Виллаца на улицу и сразу почувствовал себя свободнее.

— Свинья ты, что не писал мне, как обещал.

Виллаца поразил этот тон, и он намеревается поскорее уйти. Что думает Юлий? Может быть, было бы лучше приехать сюда верхом.

— Ты, пожалуй, полагаешь, что мне нечего было делать в Англии? — спросил он.

— Может, и было, что делать... Что я хотел сказать? Желашь посмотреть на то, что я сделал за лето? Пойдем сюда!

Юлий пошел вперед, а Виллац за ним. Они направились к небольшому сараю, прилегающему к дому и где хранился корм для коз. Здесь Юлий указал на кучу сена в углу.

— Это я нарезал серпом по лесным лужайкам.

— Вот как!

— Высушил и наносил домой на собственной спине.
Не думай, чтобы это было так легко.

— Я и не думаю.

— Как ты считаешь, сколько тут возов?

— Здесь-то? — спросил Виллац.

— Я собрал сено для моей собственной козы, но для нее здесь слишком много. Думаю продать часть.

— Вот как!

— Как только цены поднимутся. Я видел, что ты ехал верхом; ты умеешь ездить?

— Умею ли ездить? Сам знаешь.

— Ну, это еще не Бог весть какая премудрость, и я ездил много раз, — сказал Юлий. — Нет, а все же еще повторю тебе, что не мешало бы тебе написать мне, — заключил он, запирая сарай.

— Ты все равно не мог бы прочесть. А писать печатными буквами мне было некогда.

Юлию вовсе не понравилось такое замечание, но он быстро нашелся:

— Что касается чтения и письма, так за помощью мне недалеко ходить. Что ты думаешь о Ларсе?

Виллац молчал.

— Он мой родной брат и, может, знает больше, чем мы оба с тобой. Да, тебе далеко до него.

— Посмотрю, найдется ли у меня время, чтобы писать тебе зимой, — сказал Виллац покорно.

Юлий вынул из кармана панталон длинную пачку жевательного табака и предложил Виллацу.

— Нет, благодарю.

— Не жуешь?

— Нет.

— Да, собственно, и не стоит. Но мне надо привыкнуть к табаку, если я поеду на Лофоденские. Если не жевать, так будешь болеть морской болезнью. Хорошо, что ты не болеешь!

— Ведь ты говорил, что собираешься в море?

— А что касается верховой езды, так и Ларс насмотрелся на нее в семинарии. Там была деревянная кобыла для езды, потому что живая лошадь не выдержала бы.

— Кобыла? А у меня живая лошадь, — сказал Виллац.

— Да ведь она не твоя.

— Не моя? А ты почему знаешь? Это моя собственная лошадь.

— Не верю,— ответил Юлий коротко и сплевывает.

Виллац вспыхнул от досады.

— Ты дурак!

У Юлия опять вытянулось лицо, и он предотвратил бурю молчанием. Наконец он сказал:

— Да, теперь Ларс скоро будет пастором. Он поступает домашним учителем к господину Хольменгро. Видел ты его Марианну и его Феликса?

— Нет,— ответил Виллац коротко.

Он еще продолжал сердиться.

— Ты видел их; они были на пристани, когда ты приехал. Они не умеют говорить, знают только несколько слов, а болтают только по-испански. Про них рассказывают будто они язычники, но Ларс говорит, что это ложь.

— Как поживает Готфрид? — спросил Виллац.

— Готфрид? По правде сказать, ничего не знаю о нем. Виллац, у тебя нет ничего в карманах, что ты мог бы продать мне?

— Нет.

— Трубки... складного ножа или чего-нибудь в этом роде?

Виллац вынул из жилетного кармана перочинный ножичек с перламутровым черенком. Юлий рассмотрел его и спросил:

— Ты продашь его?

— Нет. Ради чего? — ответил Виллац.

— Что ты заплатил за него?

— Мне его подарили.

— У меня есть четыре шиллинга, отдашь мне ножик за них?

— Нет.

— Ну, все равно, дам тебе шесть шиллингов наличными, остальное сеном.

— Я не продаю ножа,— ответил Виллац и спрятал ножичек в карман.

Он пошел вперед. Нет, Юлий вовсе не так занимателен, как был прежде; он даже не годится в товарищи, он стал воображать себя взрослым и просто противен. Вот он опять сплюнул, как грубо!

— Куда ты идешь? К Готфриду? — спросил Юлий.

— Да, я подумываю о том.

— Если хочешь послушаться моего совета, не заводи знакомства с Готфридом. Я с ним не в ладах.

— Почему?

— Он такой вороватый. «Он ворует, как конь бежит к старому лесу»,— так говорится в пословице. У меня

пропадала одна вещь за другой. После четвертой пропажи я пошел к нему...

— Пошел к нему?

— Прямохонько к нему. И вот, если бы ты видел, Виллац. Стоило посмотреть, скажу тебе.

— Что же, ты налетел на него? Ты его вздул?

— Вздул? И добился своего. Он, наконец, признался во всем: как он тащил у меня все, что плохо лежало. Господи, Боже мой, он мне наговорил столько, что я мог бы притянуть его к суду, но я этого не сделал.

Виллац постоял некоторое время молча. Ему хотелось уйти от Юлия, но от него нелегко было отделаться. Не уйти ли без дальнейших околичностей?

— Да?.. Ну, прощай,— сказал он.

— Что же ты уходишь? — закричал ему вслед Юлий.— Разве мы не пойдем на берег?

— Нет.

— А мою козу не хочешь посмотреть? У меня есть губная гармоника.

Юлий не получил ответа. Он стоял с минуту, смотря вслед Виллацу, быстро направлявшемуся по дороге к Готфриду. Он хотел было позвать его, но потом раздумал и пошел домой.

Готфрид был такой же тщедушный и большеглазый, как и прежде. Виллац застал его стоящим в дверях. Они поздоровались друг с другом, но Готфрид смущался, разговаривая с богатым мальчиком, и разговор не клеился. Да, все эти старые товарищи стали теперь малоинтересны: Виллац перерос их, опередил их, разочаровался в них. Готфрид был еще лучшим из них, несмотря на то, что он говорил тихо и мягко; но он продолжал стоять в дверях, когда другой человек, может быть, хочет войти в дом. Должно быть, Готфрид не понимал этого.

— Мне захотелось пройтись,— сказал Виллац.— Устал от верховой езды.

— Мы несколько раз видели, как ты проезжал мимо,— отвечал Готфрид, радуясь, что видел это.

— Да, я проезжал несколько раз. Это моя собственная лошадь.

— Да.

— Ты знал это? — спросил Виллац.

Ему стало неприятно, что он похвастал.

— Да, отец слышал.

— Нельзя ли напиться воды? — спросил Виллац, заглядывая в сени.

— В кухне есть вода,— ответил Готфрид и вошел в курные сени.

Это были совершенно темные сени без окон; тут же помещались козы. Готфрид подал Виллацу воды в деревянном ковше. Никогда Виллацу до того времени не приходилось пить из деревянного ковша, края были толстые; он не привык пить таким образом, и вода текла ему на платье; да ему, впрочем, не очень хотелось пить.

— А отец и мать дома? — спросил он, снова выходя из сеней.

— Да, мать дома.

Странная манера была у Готфрида становиться прямо перед человеком в дверях. Виллац не обратил бы на это внимания, если бы не вспомнил, что в доме жила маленькая девочка, впрочем, уж не очень она маленькая. Она всегда ходила, опустив глаза, а глаза у нее были синие.

Наконец вышла мать Готфрида, поклонилась и пригласила войти.

— Видите ли, я поручила Готфриду задержать вас на дворе, пока я не подотру полы,— сказала она.— У нас был беспорядок.

Виллац вошел; пол был мокрый, его только что вымыли. Но в избе не было никого, кроме трех ребятшек. Изба была темная. Виллац отказался от кофе и увел снова за собой Готфрида.

— Я почти что помню ее,— начал он.— Но сестры твоей нет дома?

— Паулины? Она ушла в лавку.

— Она, должно быть, сравнялась с тобой ростом?

— Да.

— Правда, что Юлий вздул тебя?

Готфрид несколько смутился.

— Он не говорил, когда?

— Только сказал, что отдул тебя.

— Но он не сказал, в который раз?

— Он только сказал будто ты что-то взял у него.

— А, вот когда!

Молчание.

Виллац еще ничего не понимал и спросил:

— Что ты взял?

— Взял? Я только взял у него свою гармонику. Он забыл, что спрятал ее у себя.

— Он тебя вздул?

— Да.

— Тебе было больно?

— Нет.

— Он часто бьет тебя?

— Как только попадусь ему, так и бьет.

Виллац не понимал, что это значит, но возмутился и спросил:

— Вот попытался бы он вздуть меня! Ты получил свою гармошку?

— Да. Только теперь он ее у меня отнял опять.

Виллац смотрел на него.

— И ты оставишь ее ему?

— Этого я не знаю. Попытаюсь вернуть ее.

— Добром у него не возьмешь!

— Он требует за нее два шиллинга.

— Два шиллинга? За твою собственную гармонику?

— Да, так говорит.

Молчание.

Виллац стоял, готовясь к важному решению.

— Пойдем к Юлию,— пригласил он Готфрида.

Готфрид пошел охотно: Виллац сознавал себя совсем взрослым.

Дело уладилось в одну минуту. Юлий увидел приближавшихся мальчиков и встретил их на дворе, держа губную гармонику в руках. Он тотчас же отдал ее и объявил, что взял ее, чтобы пошутить.

Молодые люди пошли своей дорогой; Готфрид притих от восхищения.

— Ты заметил, как он ее быстро вынес? — спросил он.

Виллац бросил:

— Попробовал бы он помешкать!

Они стояли на дороге, где каждому надо было идти в свою сторону: но они не спешили: им не часто приходилось сходиться. Если Готфрид еще подождет немного, может подойти его сестра, и все пойдут вместе.

Виллац вынул свой перочинный нож и начал стругать ветку. Готфрид смотрел на ножичек; ему хотелось бы подержать его немного, пощупать. Вдруг Виллац складывает ножик и протягивает его Готфриду.

— Возьми этот ножик.

Готфрид никогда еще не испытывал такого восторга, у него закружилась голова, он не верил самому себе и взял ножик, говоря:

— Я могу подержать его?

— Я подарю его тебе. Он останется у тебя, когда я уеду.

Но Готфрид не понимал, с кем имел дело; он стоял в нерешительности; глаза у него стали еще больше.

— Нет, а разве ты не боишься? Ну, если отец спросит, где ножик?

— Да ведь этот нож мой,— воскликнул Виллац запальчиво.

Готфрид протянул руки и стал благодарить. И вот дорога исчезла из глаз; мысли унеслись куда-то далеко; он даже не слышал, как Виллац кричал ему:

— Смотри, вот идет Паулина!

Виллац был тоже очень взволнован: это было какое-то удивительное состояние. Паулина между тем подходила все ближе и ближе.

Виллац приосанился и сказал:

— Знаешь, Готфрид, я скоро начну бриться.

Готфрид все еще витал где-то далеко и спросил:

— Зачем?

— Зачем? Разве не видишь? — ответил он, проводя по подбородку.

— А бриться не больно?

— Что делать. Ведь нельзя ходить небритым.

Вот и Паулина. Она худая, высокая, одетая во все черное: принарядилась, чтобы идти в лавку; в руках она несла по узлу; на ногах надеты деревянные башмаки, а глаза у нее точно созданы для того, чтобы быть вечно опущенными.

Если бы она вовремя позаботилась освободить руку, она могла бы поздороваться; но этого нельзя было сделать. И вот она останавливается перед ними. Виллац здоровается, и она отвечает ему. Но разговор не клеился, и девушка только изредка взглядывала на брата.

— Посмотри! — сказал Готфрид, и протянул нож с красивой ручкой.— Как ты думаешь, кто подарил мне его?

Паулина посмотрела на Виллаца и снова опустила глаза.

— Смотри, чтобы он не попал Юлию,— предупредил Виллац.

— Отец спрячет его,— ответил Готфрид.

— В таком случае, ты не можешь пользоваться им.

— Нет, иногда можно будет.

Виллац думал, что ножик в таком случае не вполне исполнит свое назначение, и поэтому сказал:

— Нет, ты должен носить его при себе каждый день. А если Юлий отнимет, так напиши мне в Англию.

— Хорошо.

Что-то подумает Паулина о такой силе?

Но Паулина только взглянула на него в то время, как он говорил, а затем опять потупилась.

— В нем два лезвия,— бормотал Готфрид про себя, не отрывая глаз от ножа. Он увидал еще крючок.

— Что это?

— Крючок, чтобы застегивать перчатки, когда едешь верхом,— объяснил Виллац,— но у меня есть другой.

— Ну, как ты поживала все это время? — спросил он Паулину.

Нет, здесь невозможно вести разговор. Паулина только раз подняла глаза, покраснела и ответила:

— Хорошо.

Виллацу оставалось проститься.

Тут начался разговор между сестрой и братом. Виллац долго слышал их позади себя, а когда он обернулся, то Паулина положила свои узелки на землю и вместе с братом рассматривала ножик.

Нет, ничего не выйдет из дружбы с этими старыми товарищами; Паулина была, как другие, а другие — как она. Виллац сначала думал сказать им несколько слов по-английски, чтобы дать им понятие о языке, но теперь увидал, что это совершенно излишнее.

ГЛАВА XII

— Как вы думаете, приедут Кольдевины в нынешнем году? — спросила фру Адельгейд.

Но по выражению ее не видно было, чтобы она с нетерпением ждала ответа.

— Нет,— ответил поручик,— старик так огорчился происходившим у нас, что вряд ли они приедут.

О консуле даже не упомянули.

В летние недели не произошло ничего особого, только старый Сегельфосс изменялся и превращался во все больше и больше заселявшееся местечко. Поэтому Перу-лавочнику невтерпех стало дожидаться до нового года, когда выдавались патенты на торговлю вином, и он начал продавать водку контрабандой, потому что было много желающих купить. И торговля эта внесла жизнь и веселье в скучные воскресные вечера.

Вблизи пароходной пристани то и дело строились новые дома, все сосредоточивалось тут, так что нижний Сегельфосс начинал походить на маленький городок. На том самом месте, где еще недавно стояли одни сосны! Не было

сомнения, что течение жизни изменилось с тех пор, как король Тобиас поселился в этих местах. Тут стоял также дом Ларса Мануэльсена, и никак на окнах появились гардины? Его сын-семинарист, вероятно, не пожелал видеть отцовский дом без гардин. Но разве не стали после того очень многие справляться у Пера-лавочника о цене на гардины!

И стоило ли теперь какой-нибудь христианской душе сидеть у себя дома? Нет, тысячу раз, нет! Безземельные лопари, имевшие право косьбы по межам, к зимнему солнцевороту возвращавшиеся из диких лесов, считали, что не стоит так работать, если можно иметь готовую муку или обед на пристани. И мука такая белая! Если бы не картофель, земля, наверное, оставалась бы невозделанной, а если бы не требовалось молоко к кофе, то перестали бы собирать по лесам и корм для коз. Теперь жилось хорошо всем безземельным. Они шли на работы к Хольменгро и жили у него на хлебах. В субботу вечером получали квитанцию от десятника, и по ней заведующий пристанью выдавал, смотря по желанию, или муку или деньги. Да, жизнь была! Находились безземельные, делавшие долги, чтобы купить лошадь с телегой и заняться извозом. И что же? В короткое время они могли выплатить за лошадь и повозку, потому что зарабатывали деньгу. Деньги так и звенели в карманах, когда покупатели стояли у Пера в лавке. Вообще деньги — шиллинги уже не были редкостью. Этот извоз так обогащал окрестное население, что просто чудеса! Теперь каждый мог позволить себе чашку кофе после ужина и носить высокие воротнички летом. Окружной врач, Оле Рийс, уже начал сожалеть, что переселился в южный округ. За последние недели, что он жил на севере, дела его пошли блестяще. «Кой черт, — говорил Оле Рийс, — прежде народ обращался к врачу только в случае горячки, а теперь проезжают по две мили из-за какого-нибудь нарыва на пальце».

И новому окружному врачу не было причин жаловаться. Он сразу приобрел популярность, и его вызывали ежедневно днем и ночью; вошло в моду обращаться к нему, и редкий нашелся бы дом, куда не пригласили бы нового доктора ради какой-нибудь пустяшной болезни. Плохо приходилось знахарям и знахаркам, умевшим лечить болезни; они влачили поистине жалкое существование; жаль было смотреть на них.

Новый окружной врач давно собирался сделать визит поручику в Сегельфоссе, но у него не хватало времени.

Он откладывал свое посещение не из невежливости, как и сам сказал, когда, наконец, явился в один прекрасный день в поместье.

Его приняла фру Адельгейд; она всегда принимала гостей, потому что вообще чьи-либо посещения были ей менее приятны, чем ее мужу, и, может быть, они несколько развлекали ее в ее уединении. Фамилия доктора была Мус, и при взгляде на него невольно думалось, что фамилия подходящая (мус по-норвежски значит мышь). Доктор был маленький человечек, сведущий в медицине, с желтым лицом — он, очевидно, страдал желудком — и следами переутомления на лице, с большим носом, огромными безобразными ушами и жидкой растительностью на голове и подбородке.

Фру Адельгейд предложила ему остаться: в этот день в доме было маленькое торжество, — обед в честь мастера Виллаца, уезжавшего обратно в Англию.

Вошли отец с сыном, одетые по парадному, оказывая внимание друг другу. Поручик поздоровался с доктором и сказал несколько самых необходимых фраз. Пришел господин Хольменгро с детьми, своими двумя индейцами, как он называл их.

— Бедняжки, за что вы зовете их индейцами? — спросила фру Адельгейд.

— Моими маленькими индейцами? — ответил Хольменгро. — Это не напрасно, поверьте, они потомки Куометока, которых осталось очень мало.

— Как это?

— В них есть немного индейской крови, их мать была квартеронка.

— Стало быть, они квартероны, — сказал доктор. — Очень интересно.

— Чудные дети! — сказала фру Адельгейд и обняла обоих.

Обед прошел скоро, Виллацу надо было успеть переодеться в дорожное платье, и почтового парохода ожидали в скором времени. На высоком месте поставили караульного, чтобы он дал знак в усадьбу.

Поручик поднял стакан, пожелав Виллацу счастливого пути и благодарил за лето.

— Бог да благословит тебя! — сказала мать, — будь только добр и впредь добрым мальчиком! Папа дал тебе достаточно денег?

— Да, благодарю.

— Пойди и переоденься.

Доктор Мус не говорил ничего. Он, должно быть, был знатоком вин у себя дома, потому что выпив, смаковал вино и причмокивал губами. Вообще он старался показать, что его ничего не удивляет, что в доме нет ничего особенного, что он бывал в обществе, где пили одно шампанское. Может быть, доктор Оле Рийс, потерпев неудачу, успел предупредить доктора Муса, а может быть, он так долго откладывал свой визит к поручику, желая показать свое пренебрежение.

За кофею опять пришлось говорить одной фру Адельгейд, муж ее был в подавленном настроении и, по-видимому, думал только о Виллаце. Он вежливо выслушивал, что говорили, и иногда делал попытку отвечать, но тотчас умолкал. Можно было настойчиво обращаться к нему, но он так же настойчиво молчал. Он не всегда был так рассеян, вероятно, у него на душе было что-нибудь, но что?

Фру Адельгейд старалась не дать разговору окончательно замереть.

— Вы с севера, господин доктор?

— Да, из Финмарка. Мы, чиновники, начинаем свою карьеру там.

— Я слышала, что у вас здесь много дел?

— Да, масса. Особенно здесь, в окрестностях Сегельфосса.

— Это все результат деятельности господина Хольменгро. Не правда ли, господин Хольменгро?

Но доктор Мус строго логичен и отвечает:

— Ха, ха! Думаю, что не вполне. Так выходит, что господин Хольменгро причина всех болезней.

Все переглядываются. Господин Хольменгро говорит, улыбаясь:

— Доктор лишил меня комплимента. Без сомнения, при таком количестве народа, как у меня, без докторской помощи обойтись нельзя, и надо ее иметь под руками. Так повсюду. Народу много, много и случаев, требующих врачебной помощи. Тут есть возчики, за всю жизнь не научившиеся осторожности; рука может попасть в колесо; человек может не справиться с лебедкой, шестерня может завертеться... На днях шестерней ушибло Оле Йоганна.

— Я только что был у него,— сказал доктор.— Ему не так уж плохо, потери крови нет, не более, как контузия, как называется у нас.

Фру Адельгейд надеется, что мужчины разговорятся между собой и бежит наверх к Виллацу. Бедная она!

Невесело прощаться с сыном, с пением, с музыкой, с веселыми разговорами.

Когда она сошла вниз, все молчали. Она принесла несколько книг с картинками.

— Вот, дети, Виллац дает вам эти книги. А теперь будем кушать пирожное; хочешь, Марианна? Конечно. И ты, Феликс? Вот так...

— Он скоро готов? — спрашивает поручик.

— Сейчас. Ах, если бы не приходилось отправлять его так далеко. И собственно, зачем?

— Вовсе это не так далеко, фру, — пытается утешить ее Хольменгро. — Пароход большой, хороший; в воскресенье он уже будет на месте.

Фру Адельгейд улыбается против воли.

— Воскресенье как раз день, когда следует приезжать в Англию!

Господин Хольменгро тоже улыбается; да, английское воскресенье не весело.

— Я не знаю ничего веселого в этой стране.

— Фру — немка? — спрашивает доктор Мус.

— Да, слава Богу! — отвечает она и не слушает продолжения речи.

Вообще этот маленький человечек вовсе не так симпатичен, как часто бывают маленькие мужчины. Он сидел и рассматривал картины будто у себя дома, где тоже были литографии. О чем он думал? Фру Адельгейд сказала:

— В английских домах есть что-то, напоминающее отель. Я была во многих местах, и везде одно и то же. Слуги в костюмах кельнеров, сервировка изысканная, дамы обращаются в бегство тотчас после обеда. Прежде я думала, что люблю высокие дома, но...

— Отец мой, — заговорил доктор Мус, — юрист, ездил на конгресс в Англию. И он не хвалил ни тамошней жизни, ни людей.

— И какой это немзыкальный народ, — продолжала хозяйка, — они нанимают людей, чтобы играли и пели у них дома, нанимают, чтобы пели в церквах.

Доктор заметил:

— Такой культурный народ вряд ли часто посещает церковь.

— А что может стоять орган? — внезапно спросила фру Адельгейд. — Небольшой, в несколько труб? Что, если бы у нас был такой органчик в церкви?

— Это вещь достижимая, — сказал Хольменгро. — И, вероятно, один из учителей умеет играть. Это можно устроить.

Поручик сделал несколько шагов к окну, чтобы взглянуть, нет ли сигнала о приближении парохода. Вернувшись и сев, он передел кольцо на левую руку. Он, вероятно, подумал, что фру Адельгейд достаточно наговорила и решил сменить ее, попросив пойти и взглянуть, что делает Виллац. Он начал разговаривать с Хольменгро о делах.

— Я ответил вам как-то зимой, что у меня нет леса для построек здесь на месте. Теперь я снова объехал лес, и, кажется, еще кое-что найдется. Но теперь, вероятно, для вас уже поздно?

— Все нет; надо его много. В скором времени нам опять нужен будет лес. А какого размера?

— Некрупный. Есть восемь дюймов, десять локтей.

— В других местах это называется крупным. Прекрасный строевой лес. Я его весь покупаю у вас.

Человек, стоявший на стороже, дал сигнал: пароход приближается.

Фру Адельгейд сходит сверху с сыном. Виллац в дорожном костюме. Он совсем притих. Мать и сын успели еще пройти в зал и немного помузицировать на прощание. Как они пели! Они пели дуэт, песнь матери-лебедя и ее сына возносилась к небу.

— Фру поет? — спросил доктор Мус, прислушиваясь. — Это по-итальянски?

Надевая перчатки перед уходом, поручик снова передел кольцо на правую руку. Это любопытное переодевание кольца вряд ли имело какое-либо значение; то была просто привычка, плохая привычка.

Все пошли вниз по пригорку; все общество шло пешком. Виллац присоединился к детям, и они побежали; такой длинноногой, как Марианна, трудно было найти второй! Доктор с поручиком шли последние. Доктор спросил:

— Говорят, Сегельфосс совершенно изменился. Вы вообще довольны преобразованиями?

— Ах, это вы, доктор? Благодарю вас, я доволен. Откуда вы сами родом?

— С запада. А что?

— Я вспомнил несколько рекрутов, которых обучал.

— Рекрутов?

— Не объясняйте, прошу, моих слов иначе. Это были рослые, красивые парни. Вы напоминаете их, говоря. Как вы сказали, ваша фамилия.

— Мус.

— Мус?

Доктор пожевал кончик усов и спросил:

— А ваша — Хольмсен?

— Да.

— Может быть, фон Хольмсен?

— Нет, просто Хольмсен.

Казалось, они поквитались; но доктор вдруг засмеялся от удовольствия, а поручик смотрел на него с удивлением. Во взгляде его отражалось равнодушие, с некоторым удивлением видел он перед собой этого человека. Но он считал ниже своего достоинства спросить о причине смеха.

Виллац вернулся к отцу и сказал:

— Будь добр, присмотри за Беллой.

— Конечно, мой друг.

— Кто это Белла? — спросил доктор, не смущаясь.

— Моя лошадь.

— Господи Иисусе!

Виллац посмотрел на доктора, и в его глазах появилось смущение, вроде как в глазах отца.

— Это моя верховая лошадь, — объяснил он.

— Я в твоём возрасте не знал ни словечка по-латыни, — сказал доктор. — Отец и мать должны радоваться, что у них сын такой молодец, как ты.

И доктор ласково кивнул Виллацу.

Но Виллацу, вероятно, до сих пор не приходилось слышать такого странного обращения; он ничего не понимал; с ним говорили на родном языке, а ему казалось, что это какое-то неведомое наречие.

Отец улыбнулся, глядя на него.

— Ты не понимаешь, что сказал доктор. Ведь ты не всегда и Мартина понимаешь? — спросил он.

— Кто это Мартин? — перебил доктор.

— Один из моих рабочих.

Они подошли к пристани. Пароход уже стоял там. Поручик и жена пошли на борт с сыном. И доктор Мус последовал за ними.

— Одну минуту! — обратился он к поручику. — Я только хотел спросить, где я могу увидеть вашего рабского Мартина? Он, без сомнения, образованный человек.

Поручик покачал головой и ответил:

— В следующий раз, когда вы посетите Сегельфосс, например, чтобы попрощаться, так увидите вход в желтый домик при входе в усадьбу. Там найдете рабочего Мартина.

— Благодарю. Если только к тому времени окажется еще желтый домик и рабочий Мартин.

Хольменгро живет одиноко, ему не с кем перемолвиться словом, его экономка, фру Иргенс, была прекрасная женщина: она вела хозяйство, смотрела за бельем и платьем, добросовестно наблюдала за детьми и крахмальным бельем хозяина, но она не умела ни играть, ни петь. Если Хольменгро хотел развлечься, он должен был отправляться к поручику в усадьбу. Там был иной мир. Он не был уверен, всегда ли доволен поручик его посещениями, как это можно было знать? Поручик был неизменно вежлив и предупредителен, но холоден и замкнут, при всей своей корректности. Его благородная жена несколько раз выражала удовольствие, когда сосед приходил, и это, казалось, имело известное значение для господина Хольменгро.

Иногда он обгонял фру Адельгейд на ее прогулках. Это случалось не часто, он не злоупотреблял этим и ограничивался поклоном издали и коротким разговором на дороге. Несколько раз поручик с женой также посещали его, но на короткое время, по какому-нибудь делу, и хвалили его красивые комнаты.

В последний раз фру Адельгейд пришла одна, и, уходя, пригласила в усадьбу, где он в последнее время бывал так редко.

— Когда я буду иметь удовольствие видеть фру и господина поручика у себя вечером? — спросил Хольменгро.

Фру Адельгейд поблагодарила и обещала прийти в тот вечер, когда он назначит.

— Чем скорее, тем лучше, — заключила фру Адельгейд, улыбаясь.

Она была так любезна.

Хольменгро стоял на пристани, ожидая поручика и его жену, чтобы поговорить с ними.

Он хотел пригласить их именно сегодня, чтобы развлечь этих родителей, долго стоявших, глядя на море, вслед сыну. Он, было, подумал, не пригласить ли также окружного врача, доктора Муса, но окружному врачу сегодня было некогда, он извинился до следующего раза. У Хольменгро было чутье, подсказавшее ему, что поручику и его жене будет приятнее после разлуки с сыном провести вечер без других гостей.

Он увел их к себе. Фру Иргенс думала, что надо приготовить тонкий ужин, но хозяин распорядился, чтобы подали только изысканную закуску и испанское вино. Хольменгро устроил так из деликатности, не желая соперничать с господской усадьбой.

Фру Адельгейд изумилась, увидав рояль в доме Хольменгро, — великолепный Стейнвей.

— Только что привезли, — сказал Хольменгро, — не будет ли фру так добра первая попробовать его, не окажется ли она эту большую любезность?

Она подбежала к роялю, и волны чудных звуков поплыли в вечернем воздухе.

Кто мог понять этого человека, эту женщину? Голос у нее был огромный, глубокий и мягкий, — фиолетовый. Если ее муж с восточным темпераментом иной раз считал ее холодной, то вряд ли он мог думать это теперь. Что она пела? Тут был и огонь и пепел, тоска и любовь, — сонаты, вихри звуков, хоралы... Продолжалось это недолго, полчаса, нот не оказалось, и ей пришлось умолкнуть, потому что она больше не помнила наизусть. Было ли в том что-нибудь особенное, что фру Адельгейд, окончив одну пьесу, сейчас же переходила, не задумываясь, к другой, — все время, целые полчаса? Можно ли сказать про такого человека, что у него холодная душа? Араб, видно, никогда и не задумывался над этим. Потому что иначе не мог бы оставаться равнодушным.

В комнату вошла фру Иргенс и поблагодарила, говоря прямодушно:

— Позвольте мне поблагодарить вас, фру Хольмсен.

— А вы сами не играете?

— Нет, я училась немного, как все другие. Способностей у меня не оказалось, но немного я все же училась. Совсем пустяки.

— Чудный рояль, господин Хольменгро.

Больше фру Адельгейд ничего не сказала о рояле. А то, чего доброго, ее муж опять заберет себе сумасбродную мысль в голову, вроде как с органом. Муж ее, действительно, носился с мыслью о приобретении этого несчастного органа для церкви.

Это огорчало ее, так как для денег можно бы найти лучшее употребление. Разве она жаловалась на старое фортепиано в доме? Никогда! Но *пожелать* такого рояля, как у Хольменгро?.. Без сомнения, большого желания у нее не могло быть. Но она молчала. Может быть, она боялась также, как бы Хольменгро не предложил ей свой рояль? Он был богатым американцем, может быть, он предназначал этот ненужный ему инструмент именно для нее, так же, как подарил верховую лошадь Виллацу? Но этот человек был очень чуток, намек с ее стороны было достаточно, чтобы он понял, что подарить ей этот драгоценный рояль было бы бестактностью.

Вообще фру Адельгейд несколько удивлялась ему. Сколько ему могло быть лет. Приблизительно столько же, сколько поручику, может быть, он несколькими годами старше; он также поседел, но лицо длинное, простое. За время своих скитаний по белу свету он приобрел хорошие манеры, был любезен, но сдержан. Она вспомнила тот ужин, который дал английский капитан,— сегодня вечером она узнала на столе то серебро, которое видела за ужином. Стало быть, он втихомолку устроил этот ужин. Ошибалась ли она? Проявил ли Хольменгро свою деликатность, чтобы она впоследствии обнаружилась? Одно знала фру Адельгейд, что его внимательность не могла выражаться тактичнее, если бы даже был влюблен в нее. Он был человек замечательный и таинственный, но что она знала о королях с Кордильер!

И хотя раз или другой — изредка — этот человек позволял взглянуть в свою душу,— то что же из того? И мало кто так редко позволял это, хотя и по рождению, и по воспитанию он не принадлежал к образованному классу.

Фру Адельгейд вспомнила о своей поездке в Англию. Все время он держал себя спокойно и приветливо, с утра до вечера он был ее спутником,— всегда интересным, всегда внимательным. На пароходе были другие дамы, но ни одной из них он не оказывал внимания; была одна молодая красавица, племянница капитана, привыкшая к ухаживанию,— ее звали фрекен Оттезен. На нее Хольменгро и не смотрел. Вечером же он пришел и сказал, что с ними едет секретарь датского посольства в Лондоне,— важный пожилой господин со свитой.

— Не желает ли фру поговорить с ним?

— Нет, с какой стати! — ответила она, взглянув на него.

На это он не мог ответить ничего. Она улыбалась про себя, вспоминая об этом; впрочем также ответила ему комплиментом: «Нет, благодарю вас, ваше общество для меня самое приятное!»

Без сомнения, в этом человеке много своеобразного. Он успел рассмотреть все на борту парохода, а, между тем, ему импонировал старый секретарь посольства.

Вечером она видела его стоящим у трапа на палубе в ожидании, пойдет ли дипломат вверх или вниз.

— За доктором, вероятно, опять посылали из какого-нибудь дома,— заметил господин Хольменгро, смотря в окно.— Вот его бот причалил к берегу.

— А, доктор! — сказала фру Адельгейд.— Я рада, что у нас нет больных, которым нужен бы доктор. Право, не знаю... но было бы неприятно.

Муж взглянул на нее.

— Я хотела сказать: иметь больных в доме,— помолчав, быстро прибавила она.

Хольменгро подошел и сказал:

— Я думаю, не устроить ли мне собственную врачебную помощь для окрестного населения.

— Зачем? — спросил поручик.

— Доктор Мус часто уезжает надолго. Он не успевает вовремя к больному. Мои люди уже давно говорят об этом.

Таким образом, фру Адельгейд могла успокоиться, и у нее появился новый взгляд на значение господина Хольменгро: он мог завести собственного врача. Но ведь она тут ни при чем.

Затем же? Ведь этот доктор... как его... Мус, кажется? Человек знающий и надежный? Не правда ли, Виллац, господину Хольменгро нечего этого заводить.

— Да нечего,— ответил поручик.

Хольменгро не продолжал разговора, он ограничился сказав:

— Конечно, доктор Мус знающий человек, и я это говорил своим рабочим. Надеюсь, дело уладится. Но они жалуются.

Поручик начал разговаривать с детьми. Он заставил их показать фотографии их матери, из которых несколько стояло в комнате. Фотографии изображали красавицу в индейском наряде. «Помнят ли они ее?» — Да.— «Есть у Марианны такой же красивый костюм, как у матери?» — «О, да, и у Феликса есть». Поручик просил их прийти как-нибудь днем в усадьбу в таких нарядах.

Фру Адельгейд подняла голову, она в первый раз заметила, что Хольменгро исподтишка посматривает на нее. Но это была, очевидно, случайность, и он сказал:

— Я сижу и думаю: «Какое наслаждение испытала бы жена, если бы слышала вас сегодня вечером. Она была музыкантша».

Зимой поручик не только рубил строевой лес, продавая его Хольменгро, но также и мелкий, который отправлял за границу,— такой лес, какой требуется в английских и бельгийских рудниках. Но на этом он не остановился. С течением времени он вошел во вкус, разоряя себя все больше и больше. Два года он опустошал свой молодой лес. К чему он шел! Но, вероятно, поручик имел свои причины поступать так, как поступал. Большое хозяйство, долг отца банку,— до сих пор не уплаченный,— жизнь на широкую ногу,

содержание сына в Англии, — все держало владельца Сегельфосса в тисках. Он сам, в сущности, не понимал, куда девались деньги будто злой рок высасывал их у него из рук. Не делайся он постепенно все большим и большим философом, он этого не выдержал бы. Вот хотя бы орган для церкви. Разве мыслимо дольше откладывать приобретение его? Стыд, что это еще не сделано; Хольменгро мог предупредить его о покупке, — хорошо бы это было. Церковь целиком принадлежала Сегельфоссу, как же допустить, чтобы посторонний покупал для нее орган!

Но для приобретения этой маленькой игрушки надо иметь средства. Что она стоит? Несколько сотен, насколько он знал, — триста марок, а, может быть, и больше. Он снова заговорил с фру Адельгейд:

— Я навел справки касательно органа, который вы пожелали однажды. Надо иметь его мерку, у меня ее нет. Придется пристроить галерею, а до тех пор нет места. Церковь надо расширить.

— Ни в коем случае! — ответила фру Адельгейд. — Прошу вас, оставьте мысль об органе, есть вещи поважнее.

— Вы что-нибудь имеете в виду?

— Нет, я думаю только о Виллаце, об одном Виллаце.

— Виллац большой и умный мальчик. Он заслуживает ваших забот. Теперь ему хорошо: он в лучшей школе, он готовит себе хорошую будущность.

— Бог знает! — сказала фру Адельгейд.

— Что вы хотите сказать?

— Не знаю, не чересчур ли дорога его школа?

— Да, очень дорога. Но ведь он у нас единственный сын.

Фру Адельгейд многое хорошо понимала, у нее не было предвзятых взглядов, она, может быть, поняла, что муж ее запутался в своих делах. Милому Виллацу было бы лучше в Германии, — это несомненно; несомненно, что его товарищи в Англии постоянно выделяются, — сыновья лордов: имеют целый дом, камердинеров, прислугу! На последней вакансии Виллац принимал участие в дорогой поездке по Франции для изучения языка; нынешний год опять предстоит путешествие...

— Он пишет, что ему нужно новое платье... Право, не знаю, так ли это необходимо. Во всяком случае, терьера он не должен покупать.

Поручик ответил:

— Вы совершенно правы, фру Адельгейд. Знай я о вашем желании раньше, я бы не поступил так, как сделал. Но теперь поздно. Я уже послал деньги.

— Уже?

— Пустяки. Но, кстати, не пишет ли Виллац о ноже? О ноже, который он подарил Готфриду, и который у него мог отнять другой мальчик?

— Юлий? Он просил меня узнать об этом, и я хотела справиться завтра. Вы не беспокойтесь.

— Мне ехать по дороге, и я знаю избу, я быстро все устрою. Сегодня воскресенье, мальчик дома.

Поручик едет к дому Готфрида, стучит в дверь хлыстом и вызывает мальчика.

— Сын мой подарил тебе ножичек, перочинный нож. Он у тебя еще?

— Да,— растерявшись отвечает Готфрид.— Нет,— поправляется он, едва держась на ногах от страха.

Он оглядывается на избу: не придет ли оттуда помощь.

— У тебя его отняли?

— Да,— лепечет Готфрид.

Мать, между тем, немного приделась и выходит из двери.

— Видите, как это случилось? — начинает она.— Нож долго был спрятан у отца; ну, а как-то на днях... в такой незадачный день после обеда...

— Юлиус отнял его? — спросил коротко поручик.

— Да,— ответил Готфрид.

Поручик тронул лошадь, кивая:

— Получишь ножик обратно!

На этот раз поручик поехал прямо к дому Ларса Мануэльсена.

Сегодня воскресенье. Сын Ларса, семинарист, пришел в гости домой и поклонился, стоя в дверях.

— Позовите Юлия.

Ларс ушел и вернулся с братом. Тот побледнел и осунулся в лице.

— У тебя нож Готфрида? Ступай, принеси.

Юлий не стал отрицать, но собирался что-то сказать,— оправдаться. Поручик сделал подозрительное движение, будто собираясь слезть с лошади, и Юлий удрал в дом.

Ларс стоял в неловкой позе, он последовал за братом и подал ножик.

— Ты сломал одно лезвие? — спросил поручик.

— Нет, оно уже раньше было сломано,— ответил Юлий.— Истинная правда.

— В следующий раз не смей трогать ничего, что мой сын дарит кому-нибудь, а не то попробуешь этого,— сказал поручик, поднимая хлыст.

Юлий спешит укрыться в доме, и не запирает двери за собой.

Поручик слышит, как Ларс Мануэльсен-отец ворчит себе под нос. В последнее время он начал важничать; он служил у мельника и хорошо зарабатывал; на окнах у него висели гардины; сын его уже окончил семинарию. Дочь Давердана тоже не совсем заурядная девушка, за нее сватался помощник заведующего пристанью. Ларс Мануэльсен ворчал, говоря:

— Что это? Он ударил тебя, Юлий?

Поручик уже собирался отъехать, но остановился и приказал Ларсу:

— Позови отца.

Ларс исчез.

Старик выходит в красной рубашке, купленной у Пера-лавочника. Да, Ларс Мануэльсен заважничался.

— Чего ты ворчишь? — спросил поручик.

— Я? Нет, я только спросил мальчика...

— Я слышал, что ты ворчал!..

— Если бы мальчишка даже сломал лезвие, так нечего ему за это грозить.

— Слушай, Ларс, прошлогодней осенью ты украл у меня барана; смотри, чтобы этого больше не повторялось. Предупреждаю тебя раз навсегда.

— Я украл барана? Как это?

— Да так! Ведь ты продал шкуру с моей отметкой в лавке, так что рабочий Мартин купил ее там. Не хочу я, чтобы шкуры и кожи из Сегельфосса попадали в эту воровскую лавочку.

— Уж сказать так прямо, что я украл барана этого нельзя. Это неправда.

Поручик пригрозил хлыстом.

— Еще одно слово... и я подам на тебя в суд!

— Милый хозяин! — взмолился Ларс дрожащими губами. — Если меня оштрафуют за барана? Пожалейте семью. Другое дело, если бы я бедняка сделал беднее, но ведь вы богач. И я ли не твержу постоянно, что Ларсу и Давердане во всю жизнь не отблагодарить вас...

— Уведи отца! — закричал поручик, выходя из себя.

— Чего ты тут торчал все время? Все это тебя ничуть не касается. Будешь себя вести прилично, не о чем будет беспокоиться. Что ты хочешь сказать?

Ларс пытается сказать и не осмеливается. Он все время стоял смущенно, опустив голову, вся его огромная фигура выражала униженность.

— Я ничего не могу сказать на это. Тут не я виноват.

Поручик хотел отъехать.

Ларс сделал шаг к нему и сказал:

— Я целый год учился у пастора. Хотел испытать, могу ли стать чем-нибудь больше. Я хочу учиться дальше.

«Тип — подумал поручик.— Крестьянин, мечтающий подняться до пастора. Да он хочет учиться дальше! Ну, что же? Ведь это только — с философской точки зрения — вечный круговорот. Собственно, по сложению, Ларс как раз в рыбаки годится».

— Мне стыдно просить, но если вы протянете мне руку помощи... пока я буду в состоянии учиться на собственные средства... через год...

Минута для подобной просьбы была, может быть, самая подходящая, самая настоящая: после сцены с двумя грешниками поручик мог почувствовать желание выказать великодушие. Не складывалось ли все благоприятно? Ларс жил у Хольменгро, но он обратился не к нему: он, как прежде, пришел к помещику, к господину Сегельфосса, все державшему в своей власти. Кроме того, парень доводился Давердане братом, а Давердана дельная девушка.

— Мне хотелось бы брать частные уроки,— продолжал Ларс.

Поручик кивнул и ответил:

— Я тебя поддержу.

Коротко и ясно. Точка. Поручик едет обратно к Готфриду. Возня, целое событие из-за какого-то перочинного ножа. Но поручик ничего не делает наполовину. Мать и сын стоят на пороге; Паулина с большими глазами стоит в дверях.

— Ножик был цел, когда его отняли у тебя?

— Да.

— Ты уверен?

— Да, уверен,— отвечает Готфрид и взглядывает на мать.

Он ничего не понимает: разве ножик не был цел? Разве его кто-нибудь сломал?

— Да, нож был целый и светлый,— ответила мать,— он у нас был спрятан в сундуке. Но в тот день...

Поручик снимает перчатку, расстегивает мундир и вынимает из кармана ножик. Он с серебряной рукояткой и двумя звериными головками с каждой стороны; у него два лезвия и крючок для застегивания перчаток. Поручик купил его сам во время поездки в Англию.

— Виллац посылает тебе этот ножик вместо того,— сказал поручик.

Готфрид конфузится и не решается взять нож; он стоит весь красный, несколько раз протягивает руку и снова отдергивает ее. Он слышит, как мать говорит: «Это слишком». Взяв ножик в руки, Готфрид молчит, и мать приказывает ему подать поручику руку.

Поручик берет протянутую руку и кивает; поручик идет еще дальше: он некоторое время держит руку, — эту маленькую, живую, шевелящуюся детскую ручку, протянутую в знак благодарности, в своей руке. Что случилось с поручиком?

— Тебя зовут Готфрид?

— Да.

— Приходи ко мне завтра в это время.

— Он должен прийти к вам? — переспросила мать. — Завтра?

— В двенадцать часов.

Поручик уезжает.

ГЛАВА XIII

Дела поручика шли все хуже и хуже. Проходили месяцы, прошел год. На первый взгляд ничто не изменилось, но в сущности пустяки, приносимые каждым месяцем, толкали медленным шагом дела к полному падению. В Сегельфоссе и его окрестностях уже позабыли те времена, когда поручик был неограниченным господином; это господство не рушилось, но все так изменилось, — и время, и люди.

И Кольдевины больше не приезжали.

— Не приедут ли они в нынешнем году? — спрашивала фру Адельгейд.

— Нет, не приедут и в нынешнем году.

Так она прождала лето и зиму и снова спросила:

— Хорошо было бы, если бы кто-нибудь из них приехал. *Никто* не приедет?

— Никто, — ответил поручик, — Фредерик пишет, что родители очень одряхлели и предпочитают оставаться дома. Он просит кланяться.

— И фру Фредерик, и дети?

— О них он ничего не пишет.

Фру Адельгейд роняет булавку на пол, нагибается и ищет ее, затем говорит:

— А сам Фредерик?

— Ему некогда... Вы уронили булавку. Дайте, я помогу вам искать.

— Благодарю вас, я нашла.

Да, все переменялось, даже Кольдевины. Они уже не придут. И дальше все продолжает изменяться.

Не заходило ли речи об образовании отдельного прихода при церкви в Сегельфоссе?

Но это дело вряд ли устроится; пастор Виндфельд вряд ли станет заботиться над осуществлением такого плана, от которого сильно уменьшатся его доходы.

— Ну, когда мои глаза закроются, пусть тогда делают, что хотят!

Когда его глаза закроются!.. Просто он, вероятно, помышлял о переселении на другое место. Здесь он вел благодатную жизнь. Хорошее жалованье и мало дела. Он жил здесь шестой год, он здесь поседел и сроднился с местностью. Но ему предстояло переселение на юг; он был служитель церкви, и души вzywали к нему из какого-либо западного города. Жизнь в Нордланде? В Нордланде? Нет, на подобное прозябание его не могут обречь. К. П. Виндфельд был прекрасный проповедник, и, кроме того, мог внести в приходский архив несколько сведений о постройке новой церкви в Сегельфоссе. И он этим занялся! Как же такому человеку было не стремиться на юг? С Божьей помощью перевод не ограничится местом пастора.

С Божьей помощью и преемник найдется,— сын Ларса Мануэльсена, Ларс Ларсен, который прилежно зубрил.

Ах, этот Ларс! Точно железный. Как богатырь преодолевает он школьную премудрость! Он ездил в Христианию и сдал экзамен, еще просидел год и сдал новый экзамен. В семинарии Тромсё он назывался Лаурсен, но, поступив учителем к детям господина Хольменгро, он уже не мог на своей родине сохранить этой фамилии и стал называться Лассен, Л. Лассен. О его учености уже шла молва; он словно с ума спятил. Когда епископ приехал с визитом в Сегельфосс, он сказал:

— Если Лассен не перестанет так гнущься над книгами, у него сделается грудная болезнь!

Местечко гордилось его выдержкой, и вблизи отца Ларса, старика Мануэльсена, слышалось меньше ругани. При каждом экзамене имя его переходило из уст в уста, и не раз о мальчике Ларсе Мануэльсене заходил разговор у прилавка в лавке Пера.

— На него одного и можно указать! — говорил один.

— Если только не сковырнется, как говорил епископ,— прибавлял другой.

— Тогда, чего доброго, умрет, а какая была бы жалость! — раздался чей-то голос.

Тут вмешался отец, Ларс Мануэльсен:

— Чего болтать зря! У него здоровье крепкое!

И языки не умолкают.

Да, хорошо курилось в лавочке у Пера; это было оживленное место, где вечно велись разговоры, звенели деньги, вечно толпился народ в дверях и около бочек с вином. И все плотнее, все богаче, все почетнее становился Пер Иенсен, но он не переставал носить своего домотканного крестьянского платья. Теперь каждый знал, что человек с его средствами не станет обвешивать ребенка; но народ не забывал о прошлом! Как и прежде, покупатели продолжали пересчитывать сдачу и зорко следить, когда он что-нибудь отвешивал или отмеривал.

Пока П. Иенсен наживался за счет местных жителей, не могло быть иначе. Так как он не получил разрешения на открытие танцевального зала, то оповестил местную молодежь о сарае за мысом. В сарае был настлан пол, и получилось место для вечерних собраний по воскресеньям.

А тот, кто управлял всем и всеми,— сам Хольменгро,— не худел от своей постоянной работы и не полнел от своего богатства. Скромный и непритязательный ходил он и распоряжался огромным предприятием. Его состояние оценивалось в сто тысяч талеров, но в этом году счет денег пошел на кроны и эры, и, таким образом, состояние господина Хольменгро, как у всех прочих, было обложено налогом и он оказался обладателем миллиона. Жаловался он? И речи не было о чем-нибудь подобном. Нет, казалось, будто он был бы очень доволен, если бы ему приписывали два миллиона этих новопоявившихся денег. Должно быть, у него были неисчерпаемые богатства. Теперь он владел окраинами Сегельфосса, мельницей, набережной и пристанью; кроме того, ему принадлежала лавка и булочная на берегу моря, хотя и открытая на другое имя. Всем было также известно, что ему уже принадлежат многие из лавочек вдоль побережья, во всяком случае, лавка Генриксена в Утвере; даже говорили, что его владения доходят до старинного поместья Кольдевина на Уттерлее; этот был слишком богат, чтобы его можно было проглотить. Но существовали ли какие-нибудь границы для Хольменгро.

В последнее время он хлопотал над проведением телеграфа в местечко. Дело немного затянулось; правительство, к которому пришлось обратиться, раздумывало. Но все были убеждены, что в случае дальнейших проволочек со стороны правительства, Хольменгро выстроит телеграфную линию на свой счет. И казалось, будто

правительство испугалось этой опасности: оно прислало, наконец, столбы, проволоку и рабочих, чтобы начать дело.

Мельница гудела, не умолкая. Все более и более крупные суда, нагруженные зерном, приходили с востока и юга; наконец, прибыла партия пшеницы,— еще подспорье для народа. Пшеница,— сказка, южный плод! Мельница ее смолола, жители стали покупать,— пшеничную муку легко печь,— в булочной появился белый хлеб, и на столе бедняка каша также не стала редкостью. Удивительно, как это народ был жив до тех пор, особенно дети, когда каша не была бела как снег.

Чего еще можно было желать? Наконец в местечке поселился даже адвокат, молодой человек, такой законник, что народ начал сдерживать как руки, так и языки. Теперь уже не надо было ездить, Бог знает как далеко, или ждать сессии суда, чтобы добиться правды: адвокат быстро давал совет тут же на месте.

Все были довольны, что он приехал, а Хольменгро выстроил ему домик.

Господин Раш собирался нанести визит владельцу поместья, но Хольменгро устроил так, что встреча с поручиком и его женой произошла под открытым небом. Это была прекрасная выдумка, и обе стороны были благодарны за нее.

Случилось это так:

Весенним напором воды прорвало плотину поручика и снесло мельницу. Это не имело значения, так как маленькая мельница молчала уже несколько лет с тех пор, как Хольменгро открыл свою мельницу. Но, пока она стояла, все же она придавала некоторое величие поместью, а теперь и это исчезло. А лесопилка? Разве там была и лесопилка? И ее не стало. Казалось, будто мельница и лесопилка уступили реку всецело Хольменгро, согласно его желанию. Это было замечательно, очень замечательно: эти два здания в сущности мешали осуществлению нового проекта Хольменгро; и вот их унесла река.

Хольменгро и не думал скрывать, что он виноват в этом несчастье: он слишком сильно запрудил реку для сплава бревен из леса поручика.

Когда поручик пошел на реку, чтобы посмотреть на разрушение, фру Адельгейд от души пожалела его, так тяжело ему было исчезновение мельницы и лесопилки, выстроенных отцом и дедом. Он вернулся домой к обеду, но затем опять хотел идти на место несчастья. Фру Адельгейд предложила сопровождать его, что сначала изумило его, но потом он сказал:

— Благодарю вас за участие. Наденьте высокие башмаки.

Хольменгро же в это время шел с адвокатом Рашем к поручику. Таким образом, произошла встреча.

Река шумела. Они обменялись поклонами, но слов невозможно было расслышать; Хольменгро пришлось говорить очень громко, представляя господина Раша. Было странно видеть, как молодой человек только наклонил голову, кланяясь молча, среди гула.

Все шло медленно к месту катастрофы, — поручик впереди. Когда он остановился, Хольменгро сказал:

— Вот какое несчастье может вызвать невежество! Человек понимающий никогда не запрудил бы реку ради сплавки леса.

Поручик наострил уши.

— Разве вы запрудили реку? Зачем?

— По глупости, к сожалению. Я в отчаянии и прошу теперь только дать мне время, чтобы исправить причиненный вред.

— Что вы намерены сделать?

— Тут была плотина, стояла мельница и лесопилка, я хочу восстановить все это.

Молчание.

— В сущности, это были старые постройки, стоявшие здесь без употребления, — вступился поручик. — Нет, вы не должны тратить на это.

Ожидал ли Хольменгро такого ответа? Кто знает; сам он ни словом не обмолвился. Он только взглянул на поручика с большим почтением.

— В таком случае, есть другое средство. Мне кажется, что ваша половина реки уже не нужна вам; я заплачу по стоимости.

Молчание.

Поручик соображает что-то и приходит к решению.

— Вы желаете владеть всей рекой?

— Если вы не имеете ничего против.

Поручик идет дальше; все следуют за ним. На перекрестке он останавливается и начинает говорить, — довольно долго он раздумывал:

— Нет, я не продам больше ни кусочка реки.

Ожидал ли Хольменгро подобного ответа? Он не удивился и сказал с обычной готовностью идти навстречу желаниям поручика.

— Есть еще третий исход. Я предлагаю вам возместить убытки по стоимости.

Несколько дней спустя Хольменгро шел вдоль реки по своей стороне. Вероятно, у него созрел новый план в голове; он измерял берег глазами, шагал назад и вперед, что-то рассчитывая. Новый план? Да, новый проект.

Часом позднее той же самой дорогой шел поручик. Он шел пешком. Так как он направился на сторону Хольменгро, и никогда ничего не делал тайком, то следовало предположить, что он ищет самого Хольменгро. Время от времени он останавливался, размышляя.

Все эти два дня он думал и думал, и все еще не додумался ни до чего. Казалось, что отказывая Хольменгро в его предположении купить остаток реки, он руководствовался только капризом, или он сразу не понял выгоды; но поручик про себя знал, что он имел веские основания: банк пожелал обеспечить себя и по совещании с бергенскими поручителями предложил ему воздержаться от дальнейшей продажи сегельфосских угодий.

То был долготерпеливый банк, что ждал так долго. Но, во всяком случае, владелец Сегельфосса получил первое напоминание и сильно опечалился. Перед ним в эти дни предстала ужасная перспектива, что он может лишиться всего. Какое же оправдание он найдет перед династией Виллацев Хольмсенов? Все его раздумывание ни к чему не привело, может быть, это еще было не последнее затруднение.

Да, это являлось только началом, пробой. Он сравнивал себя с курами на птичьем дворе: когда курице что-нибудь приходит на ум, она мечется, сломя голову, то в одну, то в другую сторону, и не знает, куда броситься. Это совершенно подходит к его образу действий. Так она хлопочет понапрасну и останавливается, только чтобы сделать еще новую глупость.

Но ничто на свете не заставит ее отказаться от ее воли: она может уклоняться, может ослабевать, но не оглядывается назад.

Зачем поручику оглядываться? Разве он прожил жизнь? Даже органа не купил. Нет, он еще не был разорен; он, а никто другой, владел Сегельфоссом, ему, а не кому иному, принадлежал большой дом с массой драгоценностей; но его владения обременены долгами, а долги — самая невыносимая вещь. Он мог убедить себя принять предложение Хольменгро о возмещении убытков, но насколько это улучшит положение? Даже банку нельзя будет замазать рот, а чем же самому жить дальше? Он не искал извинения себе, единственное, в чем он виноват, — что он не понимал,

что тут вмешался рок. Он мог сказать себе, что ничего не выходит, если сорить деньгами, не имея дохода, но ведь он этого не делал.

Конечно, он не скарденничал до того, чтобы употреблять для пасьянса игранные карты, — это было бы смешно, — и, собственно говоря, уж не было такой неотложной надобности в дорогом мундире, который он сделал себе во время поездки в Англию. Это единственный непроизводительный расход, какой он мог упомнить. Теперь мундир висел без употребления: при дворе поручик не бывал, генералу нечего было делать в Нордланде, на что же мог пригодиться мундир? Конечно, если его ждет крушение, мундир, лежащий, как ненужная игрушка, в ящике шкапа, — не единственное, в чем может упрекнуть его жена, фру Адельгейд! И он мог бы сказать кое-что о фру Адельгейд, она не принесла ему счастья в супружестве, но это он мог сказать ей, пока знал себя безупречным. Что, если теперь она имеет право упрекнуть его? Уж так он был создан: он мог выносить незаслуженную обиду, а заслуженной не мог.

Он отправляется к Хольменгро, чтобы принести ему извинение. Тогда он облек свой отказ в резкую форму и хотел объяснить теперь, что некоторые обстоятельства мешают ему продавать еще часть реки. Он, вероятно, не ответил бы так коротко, если бы тут не присутствовала фру Адельгейд; из-за ее присутствия он отказал богачу-землевладельцу.

Он увидел шляпу и спину Хольменгро у реки; теперь тот его уже не станет просить ни о чем... однако, все возможно. Хольменгро! Этот человек глубоко врезался в его жизнь. Поручик во многих отношениях мог считать его себе равным, а во многих других даже стоящим выше себя. Но что такое Хольменгро? Антипод.

Вот он повернулся и идет поручику навстречу. Кто этот человек? Без роду, без племени, как бы вышедший из сказки; из всех стран, — может быть, символ, рок...

Хольменгро поклонился поручику и поручик ответил ему. Между ними все по-старому, но богач-земледелец теперь чувствует себя неуверенно. Не ходит ли Хольменгро здесь, поджидая его? Поручик, по своему обыкновению, начинает сразу.

— Если вы помните, мы говорили о трех выходах. Есть еще четвертый: оставим всякие разговоры об этом.

— Этого я не могу, — отвечает Хольменгро.

— Мне нельзя больше продавать часть реки или участки земли. Препятствуют некоторые обстоятельства, взятые на себя моим отцом.

— Разве это мешает принять от меня вознаграждение за причиненный вред?

— Хм. Это вовсе мне не по душе. Мой убыток ведь не принес вам выгоды.

— Я сейчас ходил туда снова. На реке для меня стояло два препятствия; теперь их нет. Это, может быть, странно слышать, но они мешали мне, а теперь они устранены.

Поручик не понимает и говорит:

— Право, не знаю... просто не понимаю, что вы говорите.

— Очень просто,— поясняет Хольменгро,— если бы мне удалось выстроить вашу плотину, здесь, на моей стороне реки, то она могла бы у меня двигать очень нужную машину. Если позволите беспокоить вас, то попрошу последовать за мной, и я вам объясню.

Они пошли вверх по реке, разговаривая.

— Что это за машина?

— Приспособление с канатами и тому подобное, избавившее бы меня от применения лошадиной силы, которой я пользуюсь до сих пор.

Поручик спросил что-то о локомотивах и рельсах, и Хольменгро объяснил:

— Да, я проложу рельсы по набережной до мола,— двойной путь. Но мне хочется устроить так, чтобы водопад двигал вагоны.

Они остановились, и Хольменгро указал место, где будет плотина и турбины. Шум от водопада заставил собеседников сойтись как можно ближе, чтобы говорить; это было неприятно поручику, возникало впечатление, будто уже нет никакого препятствия к осуществлению плана, и он отошел от реки.

— Отчего вам и не строить? — сказал он.

— Отчего? Но нет ли такой формы, которая могла бы удовлетворить нас обоих?

— Уж не знаю. Банк запрещает мне продавать.

— Банк запрещает? — спросил Хольменгро.— Я вас освобожу от банка.

Поручик остановился. Для него мелькнул проблеск надежды: его барской душе было приятно, что он может удовлетворить банк наличными.

— Сумма большая,— ответил он,— вся моя земля заложена. Я уплатил кое-что, но остается еще четырнадцать тысяч.

— Старыми деньгами?

— Да, к несчастью, четырнадцать тысяч большой старой монетной единицей,— талерами.

Хольменгро, очевидно, постепенно перенял у поручика манеру отвечать все короче и короче.

— Есть вексельное обязательство?

— Да. За поручительством землевладельцев.

— Я выкуплю его.

Замечательно, что здесь решалось большое и важное дело, но сказано было мало,— только самое необходимое. Когда они расстались, все было решено. Сговорились также о цене за реку и все озеро на горе. Хольменгро купил все это.

Поручику захотелось посмотреть свои лесные участки здесь, на западном берегу реки, раз уж он попал сюда. Он повернулся и пошел снова к развалинам своей плотины, миновал их и направился вверх по реке до горного озера. Да, хороший здесь лес, лет через пятьдесят он будет большим дорогим лесом. Виллацу нечего беспокоиться. Вообще все опять налаживается.

Важное событие совершилось пополудни: долг банку был уплачен, а в руках снова очутились деньги. Что за человек этот господин Хольменгро? Он являлся, как провидение, и всегда выручал. Поручик изумлялся. А самое лучшее, что Хольменгро не оказывал ему услуг даром, а только покупал у него. Неприятно быть обязанным за даровую услугу? Покупка не так тяжела, как дар!

Годы умудряли поручика. Куда девалась неподатливость, его строптивость былых лет? Лишь изредка огонь вспыхивал под пеплом. Так, должно быть, уж полагалось.

Он присел на минуту, раздумывая. Он философ, и спешить ему некуда. Встав, он снова пошел в лес и стал осматривать: много свежих пней от последней порубки, но также много хорошего молодого леса. Со временем он вырастет, и Виллац обогатится!

Поручик поднялся на пригорок, остановился и стал смотреть на усадьбу Хольменгро внизу; дом большой, но новый и с оттенком чужеземного; огромная крыша, далеко выдающаяся вперед, как бы для прохлады,—будто это необходимо! Крышу подпирают колонны. Но все имело вид еще не законченный; по саду бродили куры, а на дворе виднелись одни кусты.

Из дома, с его задней стороны, вышла фру Адельгейд,—вероятно, ходила играть на рояле. За ней следом вышел Хольменгро и провожал ее по дорожке до калитки на дворе. Как странно: он вел ее, обняв за талию. Они сели на скамью под кустом.

И там внизу был также хороший лес, но не один сосновый, а также и лиственный. Если, действительно,

Хольменгро искал соснового воздуха, почему он построил себе дом в смешанном лесу? Прежде такой вопрос не приходил на ум поручику, но теперь он обратил на это внимание. Он пошел дальше, чтобы спуститься к реке, и остановился на мосту. Тут еще стоял кирпичный завод, забытый всеми, даже разливом реки,— единственное старое здание, уцелевшее на берегу.

Когда поручик лежит на диване в своем кабинете, он уже не вскакивает и не вызывает звонком Давердану; он отвык от многих привычек; он воспитывает себя: но это еще не значит, что ему живется плохо; он поседел, но это от лет; он читает гуманистов, но только по склонности к ним. Когда поручик звонит в редких случаях, приходит Готфрид.

Маленький, тщедушный Готфрид с детскими руками.

Несколько лет тому назад поручик приказал ему прийти; мальчик был очень доволен, и мать отвела его в усадьбу. Поручик обошелся с ним ласково, разговаривал и сказал, что он может остаться. Чудак-поручик привел потом мальчика к жене и спросил ее мнение,— может ли он остаться в усадьбе. «Конечно!» — ответила фру Адельгейд. Так и остался Готфрид в барском доме. Он теперь одет хорошо и всегда сыт; вид у него, как у барчука, хотя он и одет казачком: на нем курточка со светлыми пуговицами. Его обязанность чистить господских верховых лошадей и седла, но, кроме того, он исполняет много мелких и полезных работ. Он стал исключительно слугой хозяйки и хозяина; никто другой не приказывал ему и не распоряжался им. Хозяйка немало пользовалась его услугами. Когда ей вздумалось поучить его немного по-французски, то Готфрид оказался очень способным учеником. Иногда она глубоко чувствовала свое одиночество, и у нее являлось желание поговорить с кем-нибудь. Готфрид был под рукой. Вероятно, она в это время думала о Виллаце и разговаривала, собственно, с ним; иногда она читала вслух письма сына, и это было большой радостью для Готфрида.

Поручик давал мальчику различные поручения вне дома. Готфрид приносил письма из конторы на пристани и относил их туда; он кормил голубей горохом. Ведь и это надо было кому-нибудь делать. В общем, в большом доме было немало всякого дела. Когда господа выходили из дому или возвращались домой, Готфрид стоял у входа, готовый выполнить, что от него потребуют. Но вообще поручик и его жена были хорошие господа по отношению

к прислуге, а Готфрид, к тому же, был такой маленький. Иногда, например, поручик звонил Готфриду, чтобы послать его вниз по главной лестнице, взглянуть на термометр. Когда мальчик возвращался и докладывал, сколько градусов, поручик кивал, и тем все заканчивалось.

Так хорошо жилось Готфриду. И теперь Паулина, сестра Готфрида, всегда ходившая, опустив глаза, тоже пожелала поступить в услужение к господам. Этому ничто не препятствовало. Мать девушки привела ее в усадьбу.

— Спрошу у хозяйки,— ответила экономка.

— Я поговорю с мужем,— сказала фру Адельгейд.

— Если у вас есть дело, то я со своей стороны не имею ничего против,— ответил поручик.

— Приведите девушку сюда,— сказала фру Адельгейд.— Как тебя зовут? Паулина? Мы тебя оставим здесь. Сколько тебе лет? Подними глаза, Паулина.

Так поселилась Паулина в поместье. Народу в Сегельфоссе было и без того много; одним больше или меньше,— не все ли равно.

Время, между тем, шло.

Поручик совершал свою ежедневную прогулку, объезжая свои земли, поля и леса; он обсуждал с Мартином-работником хозяйственные дела; по временам вызывал торпарей на экстренные работы, и все это делал на свой добрый старый лад.

Но мертвые зимы тянулись бесконечно. В своей комнате по временам он не слышал другого звука по всему дому, кроме собственных глухих шагов. Да, зимы были длинные и мертвые. Виллац продолжал посещать школу в Англии, а фру Адельгейд играла на рояле у Хольменгро.

Совершенно особенный человек этот Хольменгро. Теперь ему принадлежала река. Он мог строить плотину и ставить турбины, но он этого не делал. За два года он не выстроил ничего и однажды объяснил поручику причину: ему пришлось отказаться от этого плана, народ пострадал бы от того; возчики лишились бы куска хлеба.

— Мой план рушился,— сказал Хольменгро.

Да. А что касается проекта о локомотивах, движимых водой,— думал ли он когда-нибудь серьезно об этом?

Но одно было несомненно: господин Хольменгро стал владельцем Сегельфосса, реки, леса и земли. Поручик знал это.

В первый раз, когда это открылось ему во всей ужасной ясности, Хольмсен содрогнулся; он даже еще больше посидел за короткое время. Он вывел из этого заключение,

что придет день, когда он очутится на дороге господина Хольменгро, и в своем страхе он старался читать в глазах своего кредитора. Но Хольменгро ни в чем не изменился, он был по-прежнему, как в первый день, вежлив и предупредителен с землевладельцем Сегельфосса. Так загадка оставалась загадкой. Прошли месяцы, прошел год, и не произошло никакой перемены,— из усадьбы все по-прежнему доставлялось молоко Хольменгро, и он платил за него! Поручик же, со своей стороны, ему аккуратно выплачивал проценты по своему векселю, хотя, в сущности, Хольменгро тем или иным способом доставлял ему деньги для того.

Но это еще не все,— мало ли находилось чего другого? Как, например, забыть орган, который решено было купить? И не являлся ли тут прежде всего вопрос о расширении церкви, необходимом для того, чтобы поставить орган на галерее? Поручик упрекал себя, что это дело продвигается так медленно вперед; ведь может показаться, что у него не хватает для того средств. Не начал ли он терять энергию? Неужели он лишился лучшего дара Божьего?

Была одна вещь, которую поручик решил сделать во что бы то ни стало: он не скрывал от себя самого, что ему необходимо переговорить серьезно с Виллацем, когда тот придет домой на каникулы. Уже подросший мальчик все был такой же хороший и добрый, но у него не было твердого характера и воли, какие должен был иметь Виллац Хольмсен. Что случилось с мальчиком? Он захотел учиться рисованию и живописи, задумал стать художником,— настоящим художником! Ну, что же? Будь художником. Нет, он пожелал стать моряком,— флотским офицером. «Это еще лучше, гораздо лучше, мой мальчик, служи некоторое время моряком, пока не возьмешь в свои руки Сегельфосс!» Но у Виллаца было еще много других фантазий, он желал испытать и то и другое, и, наконец, решил всецело посвятить себя музыке. Это уж было самой неразумной из его выдумок, и он больше не упоминал о ней.

Но не знал отец того, что в настоящее время Виллац был весь поглощен музыкой и днем и ночью. Это у него уже было в крови,— склонность к музыке ему передала мать.

Виллац вернулся домой.

Он — здоровый красивый молодой человек в сером английском костюме и гамашах. Увидав этого юношу, своего родного сына, мать сильно взволновалась: много, видно, лет прошло с его рождения; годы, вероятно, и на нее повлияли так же, — она состарилась. Как эта мысль показалась ей странна и удивительна. «Боже мой! Да, кажется, у мальчика уже растут усы!» — подумала она. И мать несколько дней смотрела с недоверием на сына, уже вышедшего из детского возраста.

С Виллацем приехал еще другой молодой человек, — товарищ с детских лет, — Антон Кольдевин, сын консула Фредерика. Молодой Антон несколько лет посещал Сен-Сирскую школу, как некогда его отец. Он должен был идти по коммерческой части, по стопам отца.

Наконец-то один Кольдевин снова попал в Сегельфосс. Консул Фредерик послал своего представителя, — почти взрослого сына. Боже, сколько лет уже, должно быть, прошло! Фру Адельгейд с таким же неудовольствием смотрела на высокую фигуру гостя, как на собственного сына.

Между молодыми людьми было мало сходства; однако, они были друзьями: если один хотел чего-нибудь, то второй желал другого, — оба были упрямы. Антон побывал везде, — на мельнице, на пристани, у Хольменгро, в домах у торпарей. Виллац только из любезности иногда сопровождал его, но он уже настолько проникся английским духом, что предпочитал стоять по целым часам на берегу реки и с идиотским видом удить горную форель. Вообще Виллац представлял из себя какую-то смесь. Он также играл и пел с матерью, и как взрослый, беседовал с отцом. Он втихомолку привез несколько собственных сочинений, романов, разных мелких вещей. Ведь мать всегда знала, что он гений, рожденный в рождественскую ночь. Она пела эту юношескую музыку и возносила ее своим меццо-сопрано до неба и рая. Тогда она забывала, что он перерос ее, что она состарилась; она стала его другом. Иногда они вместе ходили к Хольменгро играть на рояле, и Виллац проводил время с детьми.

Маленькие индейцы тоже выросли. Наружность у них была самая оригинальная; они были черноволосые смугляки, черные глаза так и сверкали. Чувствовалось, что в них больше индейского, чем допускал отец. В походе

Марианны было что-то скользящее, как у дикарей; руки у нее лениво болтались вдоль тела, как у того кочевого народа, от которого она происходила. Виллац сначала поразился ей, а потом влюбился в нее.

Как странно он себя чувствовал! Он весь как будто проникся блаженством, стал кротким, в сердце он чувствовал уколы и сладкую истому. Марианна же, вероятно, уже опередила его; эта тринадцатилетняя девочка гладила его по куртке, стояла и смотрела на него. Что же это может значить? Однажды, встретившись, они улыбнулись друг другу и покраснели до корней волос, — стали совершенно пунцовыми. Он слегка поцеловал ее, почти не прикоснувшись к ней, но во рту у него остался удивительный аромат. И, Боже мой, как его смутила его собственная дерзость, он готов был провалиться сквозь землю! Он не мог оторваться от Марианны, но спрятал лицо, и оба они спрятали лица, уткнувшись в затылки один другому. Однако, надо же было отпустить друг друга, посмотреть друг другу в глаза. Невозможно! Ну как смотреть друг другу в глаза среди белого дня? Невозможно! Хоть бы было темно! Неужели нет спасения?

— По дороге кто-то идет, — сказала Марианна.

— Где? — спросил Виллац, слегка поворачиваясь.

— Там, на дороге, он что-то несет. Да, несет мешок, разве ты не видишь, что это мешок?

При этом они отдаляются друг от друга.

— Какой у вас огромный петух, — говорит Виллац и смотрит мимо нее. Еще много времени пройдет, прежде чем они в состоянии будут смотреть друг другу в глаза.

Марианна оглядывается во все стороны, ища петуха, и спрашивает:

— Где же он?

Виллацу приходится ответить, что он видел петуха накануне, но что это великолепный петух.

— Да, красивый, — соглашается Марианна. — Гребень у него торчит прямо вверх, не у всех петухов такие гребни.

Тут к ним подошел Феликс, и они были спасены... на этот раз.

Какое чудное, удивительное время переживалось!

Когда теперь Виллац ездил верхом, то уже не для того, чтобы на него смотрели из домов по дороге; он совершал длинную дорогу исключительно чтобы иметь возможность видеть дом и сад Марианны. Мягкая летняя погода и сверкающие глаза! Он жил в мире сладкой истомы; она гнала его в лес, в горы, обратно в дом, на прогулки без

цели. Где он лежал по ночам? В траве, на сене, на детских качелях в саду — везде, везде понемногу, а иногда в постели, не раздеваясь, обессиленный.

Он стал непостоянен и обеспокоен; у него не хватало терпения довести что-нибудь до конца. Он уже не просиживал по целым часам на реке с удочкой. Может быть, и прежде, предаваясь этому пустому занятию, он разыгрывал из себя большого англичанина, чем был на самом деле.

Готфрид был его товарищем в это время, он терпеливо выслушивал его излияния и участливо относился к нему. Паулина? Ну что же, конечно, она... Паулина ходила теперь хорошо одетой, как брат, она хорошо питалась и имела вид здоровый. Но она по-прежнему оставалась застенчивой, напоминая собой нежный цветок. Она даже ни разу не спросила его, Виллаца, который час, так что он не имел случая показать ей свои часы. Готфрид же расспрашивал по своей простоте и об Англии, так что Виллац мог рассказывать. Готфрид успел выучиться порядочно французскому языку, так что уже не представлял из себя полного ничтожества.

— Я видел, что Антон опять пошел к Хольменгро, — сказал Виллац равнодушным тоном.

— Да, пошел? — спросил Готфрид.

— И вчера он был у них. Решительно не понимаю, что он там делает целый день: Марианна сама сказала, что он ей надоел.

— Да? Так он, должно быть, ходит к Феликсу.

— Может быть, но я видел, что они встретились с Марианной. С полчаса тому назад. Должно быть пошли за курятник.

— Я сбегаю, посмотрю, если хочешь.

— Нет, ты не думай, чтоб я этим интересовался! Пусть их себе!... Да, что я хотел сказать? Правда, что Белла очень статная лошадка?

— Да, и ужасно умная, — отвечает Готфрид и рассказывает о том, как он ходит за лошадью. — Она стоит так тихо, когда я ей мою копыта — и оборачивается, смотря мне вслед, когда я ухожу.

Виллац не слушает: его мысли заняты другим, и он вдруг спрашивает?

— Умеешь ты молчать?

— Молчать?

— Да, молчать, как могила. Если можешь, то я попрошу тебя оказать мне большую услугу.

— Да, я умею молчать! — торжественно уверяет Готфрид.

— Лучше не обещай, если не сможешь выполнить. Это очень важная вещь. Дело в том, чтобы передать это письмо.

— Я его передам.

— Передать в ее собственные руки. Ты видишь, кому оно адресовано?

— Да.

— Мне нужно, чтобы ты сделал это скорее. А главное — под секретом. И поскорее... ах, нет, я не то хотел сказать... я рассеян... Но ты понимаешь, как это важно. Если застанешь там Антона, так подмигни ей, и она сплавит его.

— Хорошо.

— Только, чтоб Антон ни в коем случае не заметил.

— Не заметит!

Готфрид пропадал очень долгое время; казалось, конца не будет его отсутствию, и Виллац пошел ему навстречу. Он встретился с ним на мосту. Готфрид был осторожен и лег под кустом. Он вынул письмо.

— Ты не отдал письма? — со страхом спросил Виллац.

— Как же. А она просила передать это в твои собственные руки.

— Ответ!.. Она прислала ответ. Молодец, Готфрид.

Они пошли домой. Виллацу хотелось прыгать, но это было бы несогласно с его достоинством. Что могло быть написано в письме?

— У меня есть тросточка, — сказал Виллац. — Я подарю ее тебе. Знаешь ты, что говорится в письме?

— Нет, не знаю.

— Ну что написано, пусть так и будет. Видел ты Антона?

— Нет, он уже ушел.

Виллац спешит в свою комнату, остается там минуту, бежит снова вниз, весь охваченный неземным блаженством, разыскивает Готфрида и передает ему трость.

— Нет, спасибо! Зачем ты это делаешь? Мне не нужно!

Виллац снова бежит наверх, остается там довольно долго, сходит по лестнице, напевая, останавливается на дворе и оглядывается, поворачивается и опять идет наверх в третий раз, и кажется, будто ему хочется запереться у себя, чтобы выучить какой-нибудь трудный урок или что-либо в этом роде. Но через полчаса он, вероятно, выучил урок, потому что снова показывается на лестнице и спускается по ступеням. Что ему придумать? Он успокоился и как будто

немного утомился. Мать проходит мимо него по коридору; она, вероятно, собралась прогуляться. Они перекидываются несколькими словами; она не приглашает его сопровождать ее. Он слышит, что отец ходит взад и вперед по своей комнате — добрый отец, товарищ и джентльмен. Виллац стучится и входит в кабинет.

— Ты не на рыбной ловле? — спрашивает отец. — Антон, вероятно, на реке.

— Вероятно. Мне это не интересно... Как ты поседел, отец.

Отец удивлен.

— Поседел. Ну, не так уже. Где мать? Вы не станете играть?

— Да, потом. Мы в прошлый раз пели английский текст, а музыка норвежская. Ты слышал?

— Да, очень красиво.

— Я не хотел говорить тебе, но музыка — моя.

Отец еще больше изумляется.

— Виллац... говорю не потому... музыка была прелестна, я слушал здесь. Так ты сам?.. Вот как! А мать знает?

— Да.

— Музыка очень хороша, нечего сказать. Что говорит мать о ней?

— Она думает, что хорошо.

Отец вдруг говорит.

— Подумал ли ты о том, кем хочешь стать, мой друг? Молчание.

— Хочешь ли ты стать художником или флотским офицером? Надо выбрать что-нибудь определенное. Я вовсе не хочу торопить тебя, но так было бы лучше для тебя самого. Музыка — только игра и пение. Но то, что вы пели, было на редкость красиво; я сошел вниз и слушал. Мать такого же мнения?

— Да.

Отец принимает решительное выражение и говорит:

— Но все же, музыка — одно, серьезное же дело — другое. Не согласен ли ты со мной? Прийди к положительному решению; мы еще поговорим об этом. Я не имею ничего против того, чтобы ты стал художником или скульптором, может быть, и следует, чтобы в нашем роду появилось новое течение... не знаю. Обдумай хорошенько и выскажи мне свое мнение откровенно.

Таким образом Виллац получил отсрочку и был рад. Но он мог всегда ожидать, что вопрос повторится. Что, если теперь сделать маленький намек?

— Но ведь ты, вероятно, хочешь, чтобы я окончил школу в Харроу? — спросил он.

Бог знает, имел ли это в виду отец, кто знает, как решил этот вопрос этот седеющий и стареющий человек, ходивший взад и вперед по комнате? Но он ответил тотчас:

— Окончил школу? Само собой разумеется — если ты этого желаешь. Таким образом у тебя еще будет время обдумать. Да... окончить школу.

Но это вовсе не было желанием Виллаца. У него не было большей мечты, как покинуть школу в Харроу; ему там было очень трудно, и школа задерживала его. Но мать поможет ему, придет время, найдется и совет; отец тоже добрая душа, а Марианна очаровательна...

— Я опять сыграю тебе песню, если хочешь, — сказал он.

— Теперь? Нет, благодарю; когда мать вернется; а в настоящую минуту у меня дело. Но все же, спасибо.

Он кивает, и Виллац уходит.

Поручику опять никто не мешает, но дело его состояло очевидно в том, чтобы снова начать ходить взад и вперед по комнате. Оставить школу? Эта школа в Харроу что-то таинственна; надо разузнать про нее. Университет что ли это? Год за годом в дорогой школе; справится ли он! Надо написать Ксавье Муру, да кроме того, посоветоваться с фру Адельгейд. Он позвонил и спросил, дома ли жена?

Готфрид видел, как она пошла к Хольменгро.

— Посмотри, когда хозяйка вернется.

Он ждал долго, целый час — очевидно Адельгейд все забывает за роялем! Через два часа он увидел, что она возвращается. Что это? Она, кажется, плакала? Она была замечательно ласкова и мягка. Это удивило его, и он спросил:

— Что-нибудь случилось с вами?

— Со мной? Почему вы так думаете? Нет, ничего. Благодарю вас.

Они стали говорить о Виллаце; Адельгейд овладела собой и привела веские доводы, что Виллаца нет смысла дольше удерживать в Харроу: это и дорого, и бесполезно. Школа для избранных — и только.

— Это не имеет значения; он наш единственный.

— Но пребывание в школе теперь для него совершенно бесполезно. Мальчика привлекает одна только музыка.

Эту склонность к музыке он унаследовал от матери, тут кровь Хольмсенов не причем. Поэтому он позволил себе несколько язвительных замечаний и даже высказал некоторую несправедливость.

Но Адельгейд? Что случилось с ней в этот вечер? В былые дни она отплатила бы той же монетой, а сегодня она — сама уступчивость и в ее словах слышится мольба:

— Ах нет, разве вы не видите, что он уже родился таким, что он живет только музыкой. Если бы вы только знали... Я не решалась сказать вам...

— Что он сочиняет музыку для романсов? Он сам сказал мне.

— Слава Богу, так и следовало сделать. Ах, этот мальчик — он олицетворенная мелодия; уверяю вас, я пою его сочинения с истинным наслаждением. Вы, вероятно, вчера не слышали?

— Нет, я ходил по своей комнате и слушал. Я уже несколько дней слушаю.

— Какое же ваше мнение?

— Ваше пение всегда прекрасно.

— Вам так кажется? Но мелодия действительно замечательно музыкальная. Он необыкновенный мальчик, не надо забывать это.

Сам поручик находил, что сын его незаурядная натура; разве он отрицал это? Ведь и мать его не обыкновенная женщина... Одним словом...

— Гм. Я не имею ничего против напоминания об этом... Хотя это и излишнее.

— Извините!

Опять уступчивость, опять смирение. Откуда они? Поручик ясно видел, что произошло что-то, иначе Адельгейд не держала бы себя так несогласно со своей обычной манерой. Ему было неприятно, что жена проявляла уважение к нему; а относительно школы в Харроу она была безусловно права — это была бездонная пропасть. Адельгейд стояла перед ним. Годы не прошли для нее бесследно, но она так хорошо сохранилась, казалась такой нетронутой. Второй подобной не найти! Гм. И на этот раз он решил держать сторону жены против сына: он намеревался показать свою власть и заставить Виллаца слушаться. Мальчику это принесет одну только пользу.

— Я думал было написать Ксавье Муру, — сказал поручик, — но теперь это уже излишнее. Виллац не поедет больше в Харроу. Но что вы желали сказать?

— Что я хотела сказать? Я хотела попросить вас за него, — ответила она.

Что за тон! Поручик сказал:

— Возьмете ли вы, Адельгейд, на себя подготовить Виллаца, что в силу обстоятельств, которые стали мне

известны только теперь, я вынужден взять его из школы в Харроу?

— Хорошо. И он не будет огорчен, он будет вам благодарен.

Чем дальше, тем лучше, все изменилось, единственное, что остановилось — мысли поручика. Опять мать с сыном заодно! Чем же все кончилось? Тем, что решено отправить Виллаца в Германию. Он получит возможность стать настолько великим музыкантом, насколько хватит способностей. Этим все и кончилось.

— Пусть это будет на вашей ответственности, — сказал поручик. — Он наш единственный, но вы в этом отношении понимаете больше меня. Но пусть будет на вашей ответственности.

Она сделала движение, будто собираясь сделать шаг к нему и протянуть руку, но остановилась. Жест был так красив, что это маленькое проявление дружелюбия к нему, это чисто девическое движение подействовало на поручика.

— Благодарю вас, — сказала она, — теперь все улажено, хорошо для него и незаслуженно хорошо для меня.

Вечером мать и сын играли на фортепиано и пели.

Несколько дней спустя Виллацу пришлось выступить адвокатом матери перед поручиком. Это был столь необычный прием, что тут дело, очевидно, было неспроста: Адельгейд желала сопровождать сына в Берлин.

Прибегая к посреднику, она, очевидно, желала уклониться от дальнейшего объяснения — это было несомненно. Поручик спросил сына:

— Верно ли ты понял мать?

— Да.

— Если бы я не боялся утомить ее, я бы сам просил ее поехать. По различным причинам. Она понимает это дело и будет очень полезна тебе.

Виллацу вдруг стало невыносимо грустно, и он с трудом овладел собой. Была ли то любовь, или жалость? Отец как-то постарел и опустился; он казался таким одиноким и озабоченным.

Когда Виллац нашел в себе силу говорить, он сказал:

— Мы с тобой должны поехать еще раз. С тобой так весело путешествовать.

— Хорошо, в следующий раз, — кивком подтвердил поручик. — Теперь походи к матери и передай ей. Скажи ей, что здесь дело пойдет плохо без нее во время ее отсутствия, но что делать. Когда вы собираетесь уезжать?

— Антон хочет ехать теперь.

- Антон? А ты с матерью?
- Мать тоже хочет ехать сейчас.
- Сейчас?
- Мать говорит, что в музыке нет каникул.
- Хорошо; она знает.

Виллац не думал, чтобы ему в этот раз привелось встретиться с Юлием; Готфрид рассказал ему о плутовской проделке с перочинным ножом, и это произвело на него глубокое впечатление. Юлий несколько раз приходил в усадьбу и стоял, отплевываясь по своей привычке. Он присил Готфрида передать поклон; но Виллац не выходил к нему. Юлий никак не мог взять этого в толк: такие хорошие друзья были, а, кроме того, — следовало бы и это принять во внимание — он был братом человека, который скоро выдержит экзамен на пастора.

И в Юлие произошла перемена: он возмужал, когда хотел быть прекрасным работником, и благодаря своей физической силе брал всегда верх при домашних спорах в родительском доме. Готфрид видел это, а также слышал от самого Юлия. Способности у него всегда были гораздо лучшие, чем у братьев, но так как он не научился даже читать, то ему не представлялось случая развить их. Почему иначе он не ходил к себе в избу, не слушал ничего, не говорил ни слова? Вся его умственная сила уходила на мелкие дела вроде заготовки соленой рыбы или собирания корма для козла и козы. Но в последнее время Юлий стал дельнее, он ездил две зимы кряду ловить рыбу на Лофондены и часто работал у Хольменгро. Он подружился с Феликсом, в котором нашел себе товарища по невежеству и ненависти к книгам. Феликс был в этом отношении настоящий язычник.

Однажды Антон и Виллац шли дорогой, а Юлий стоял перед домом. И Феликс находился вблизи, в том не было сомнения — слышался его свист около домов.

Молодые люди поздоровались, поклонившись, и хотели пройти дальше.

Но Юлий, вероятно, вообразил себе, что эти самые молодые люди пришли нарочно, чтобы повидаться с ним, — иначе зачем им было идти этой дорогой? И поэтому он сам стал здесь.

- Кой черт! Ты не узнаешь меня, Виллац? — спросил он.
- Как же!
- Ты меня искал?
- Нет, — ответил Виллац с удивлением.

Юлию показалось очень неприятным, что он ошибся в своем предположении.

— Так не меня? Вот как!

Между тем молодые люди остановились, и Антон расхохотался. Что же Юлию стоять тут и давать поднимать себя на смех? Ни в коем случае. Он был силен и крепок. Брови у него действительно подросли, стало быть, у него не должно быть соперников!

— Что тут стоит за дурак и смеется? — спрашивает он.

Но Антон Кольдевин уже стоял рядом с ним — юноша, которому не раз приходилось драться с Сен-Сирскими кадетами. Кто смел назвать его дураком?

— Ты чего хочешь? Получить взбучку? — говорит он.

Юлий не отступил на два шага, напротив выдвинулся несколько вперед. Зачем? Что вселило в него такое мужество, и к кому относилось это движение? Он готовился обороняться, не намереваясь допустить такого поступка, чтобы его отдули, но лицо его совершенно осунулось.

Молчание.

Виллац в принципе не имел ничего против небольшой потасовки, но разве прилично драться посреди дороги?

— Нет, ребята, оставьте это! — сказал он.

Подошел Феликс, маленький индеец; он сразу бросился вперед; ясно было, что он смотрел на дело Юлия, как на свое. Он стал между врагами и смотрел на Антона сверкающими глазами. Маленький дьяволенок мог быть опасен. Виллацу пришлось потратить немало слов, прежде чем удалось уговорить Антона идти дальше.

Юлий злобно кричал вслед: «Ну-ка, вернитесь!» Он богатырь, герой, далеко сплевывает жвачку. Брат будущего пастора употребляет все более и более энергичные выражения: «Я быка могу убить, — кричит он, — только посмейте вернуться! Я из тебя кишки выпущу... Насажу на тебя пуговичных петель!»

И Феликс выражает свое одобрение намерениям Юлия.

ГЛАВА XV

Виллац с матерью уехали. Провожали их обычным прощальным обедом в усадьбе, и семья Хольменгро была также приглашена. Так как пришел поворотный пункт в судьбе Виллаца, то отец говорил серьезнее, чем обычно: есть два способа сохранить свое имя для потомства. Его можно зарыть глубоко в могилу, и кто-нибудь откроет его через две тысячи лет; или же можно поднять целую бурю среди людей, и тогда его вспомнит история!

Пообедали быстро, и хотя за обедом не присутствовал окружной врач Мус, вносящий неприятное настроение, однако, господствовало молчание. Всех опечаливала предстоящая разлука. Хольменгро — внимательный и деликатный, как всегда, — взял фру Адельгейд за руку и сказал почти шепотом:

— Возвращайтесь скорее!

Прошло несколько месяцев, и фру Адельгейд не вернулась. Отчего это могло произойти? Поручик получал письма с просьбой отсрочить возвращение, — хорошо, пусть себе остается; нельзя принуждать ее возвращаться домой! Поручик решил, что раз она добровольно не хочет возвращаться, то пусть остается. Он начал свыкаться с ее отсутствием, и в один прекрасный день запел. Да, опять запел! Давердана, снова прислуживавшая ему, принесла эту новость в кухню, и все служанки стали прислушиваться. Но они ничего не услышали: поручик напевал так тихо, так неслышно, больше про себя, как и прежде. И что из того, если он даже напевал? Вероятно, он делал это потому, что его дом стал теперь официально музыкальным.

Через некоторое время пришло письмо, где фру Адельгейд просила разрешения остаться всю осень. А потом всю зиму? Это неспроста.

Брак их был не лучше и не хуже других; никакого несчастья не обрушивалось, но оно было постоянное. Что такое несчастье, — пустяки! Всякому несчастью приходит конец, оно продолжается изо дня в день, из году в год, — но конец есть. Ангел может рассердиться, — конечно. Но ангел, который не сердится, а только вечно недоволен, ходит всегда с угрюмым лицом и ядовитой усмешкой?.. Хорошо, что поручик философ, что он проникает духом гуманистов. Комары — большое мучение; они жужжат и... и... и... Но будет ли признаком разумного человека бороться с ними? Счастье, — что это такое? Легко убедиться в том, что оно не самое важное. Хольмсеновский брак в последнее время стал сносен, произошло изменение к лучшему; все пошло, как следует. Взаимное уважение всегда существовало, теперь присоединилась и доля сердечности, по временам мелькала откровенная улыбка. Поручик начинал надеяться на улучшение для них обоих; в старости могла начаться новая жизнь; в последние недели своего пребывания дома фру Адельгейд проявляла открыто приязнь к нему, как будто она уже не чувствовала прежнего отвращения... да, под старость. И вот она уехала и не хочет возвращаться!

У поручика зарождается мысль о возможности того, что в ее жизни случилось нечто, еще более невыносимое, чем ее брак.

Но что это могло быть? Кто знает, но во всяком случае не пустяки. В своем последнем письме она писала, что виновата перед ним,— но это только фразы, уловки, чтобы открыть себе возможность отсрочить свое возвращение домой. Но фру Адельгейд скрывает какое-то горе. Поручик вдруг перестал петь; ему надоело. Правда, пение продолжалось недолго; это было самое невинное пение, какое человек может позволить себе в отсутствие жены.

Но поручик хотел идти дальше: он ничего не делал наполовину. Если фру Адельгейд переживает какой-нибудь кризис, то он должен показать ей свое участие: он порадует ее по возвращении домой: он начнет работать по постановке органа. Надо этот орган приобрести во что бы то ни стало.

Ах, если бы надо было купить только орган. Но где галерея, на которой он должен стоять? И где место для этой галереи? Придется перестраивать церковь. Не привезти ли без дальнейших разговоров балок из своих опустошенных лесов? Он был связан; ему надо было снова прочитать решение на лице Хольменгро.

Прошла осень, а фру Адельгейд не вернулась. Теперь она написала, прося разрешения пробыть еще некоторое время,— зиму. Иначе Виллац останется совершенно одинок,— да и она также. Они устроились хорошо, тратили мало денег и занимались музыкой.

Может быть, сама судьба давала поручику время, чтобы окончить перестройку церкви до приезда фру Адельгейд.

Хольменгро часто спрашивал об отсутствующих, о матери и сыне, что было довольно странно по нескольким причинам: во-первых, он никогда не осведомлялся о Виллаце, когда тот был в Англии, а, во-вторых, маленький Готфрид время от времени отправлялся в усадьбу Хольменгро с письмом от Виллаца к Марианне.

— Хорошо им живется? — спрашивал Хольменгро.

— Живут себе, и хорошо,— неизменно отвечал поручик.

Сегодня он ответил, как обыкновенно, но прибавил:

— Жена желает остаться в Берлине еще некоторое время.

Он начал говорить о церкви.

— Да, что касается маленькой церкви... то ваша деятельность настолько увеличила население, что она стала тесна.

— Это правда,— ответил Хольменгро.

Но, очевидно, он был занят чем-то другим, однако лицо его было непроницаемо: на нем нельзя было ничего прочесть. Поручик уже не распространялся больше о церкви, чуткий человек сразу остановился, будто ему сделали намек. Он только прибавил:

— Да, не является ли постройка церкви неотложным делом? Где народу сходиться в дни крестин или другие праздники? Можно было предвидеть, какая будет теснота за обедней, когда новый слуга, господин Л. Лассен, в первый раз обратится с речью к своим согражданам.

— Конечно, конечно,— ответил Хольменгро коротко.

Поручик в своем упрямстве, вероятно, думал, что еще имеет свое прежнее значение, и, поехав в лес, приказал своим рабочим нарубить бревен на целую половину церкви. И подумал дальше: «Если бы я воспользовался своим правом, я мог бы телеграфировать, чтобы прислали лес из Намсена!» При этом он имел веселое и гордое выражение. У него, наконец, опять была сила; он получил деньги за реку, и если бы не мать и сын в Берлине, то мог бы ликовать. Новые кроны — это масса железных денег, уже не талеров.

Вопрос, с которым Хольменгро обратился однажды к поручику и ответ, полученный им, был достоин обоих мужчин:

— Мне не приходилось бывать в Берлине; не дорого ли фру Адельгейд жить там? — спросил Хольменгро поручика.

— Для моей жены *не дорого* жить в Берлине,— ответил ему поручик.

Не было сомнения, что в следующие недели между владельцем Сегельфосса и новым пришельцем, Хольменгро, установился несколько иной тон. Окружающие этого не замечали, но поручик не сомневался в том, и в его упрямой голове зародился план, с которым он не расставался ни днем, ни ночью: он ходил по заложенной земле, жил в заложенном доме; он решил перебраться. Хорошо, что фру Адельгейд и Виллац были за границей; он предложил им остаться там, где они находились; стало быть, ему одному предстоит новая судьба.

В конце сочинения пастора Виндфельда значилось, что фру Адельгейд уехала за границу и осталась там: так несогласно жили супруги. Но в этом вопросе супруги сошлись. «Оставайтесь пока там!» — писал поручик жене. И чтобы ее не тяготила благодарность, он заявил,— и

совершенно правдиво,— что желает выполнить задуманный им план, для чего ему необходимо быть одному.

Куда же ему переселиться? Старый кирпичный завод еще стоял; его поручик не продал, он не входил в продажу реки. Конечно, завод был заложен, как все остальное, но его можно было выключить из закладной. Крыша в нем текла и дул сквозняк, но помещение можно было покрыть новой крышей и устроить в нем человеческое жилье.

Эта мысль сильно занимала поручика. Во все эти годы, когда дела шли все хуже и хуже, он, в сущности, жил беззаботно, предоставляя все собственному течению, это было в его характере. Он чувствовал всю безвыходность своего положения, но не мог положить ему границ. И как положить конец? Разыскать новый источник доходов, производить? Ему-то? Человеку, умевшему только тратить и платить... платить,— расточителю, не имеющему состояния, отрицательному гению. Он был редкий экземпляр, умевший толкать себя в бездну. Он был сыном своего отца, и судьба отца будет его судьбой.

С того дня, как он услышал действительный или воображаемый намек Хольменгро, в поручике произошла перемена: он как будто преднамеренно забывал о своем владении, о роскошном доме, инвентаре, произведениях искусства, библиотеке, стаде, лошадях, лодках, машинах.— Он все забросил. Конечно, как человек, во всем любящий порядок, он видел, что шел к полному банкротству.

Старый поручик,— куда девалась его сила?

Не обратиться ли ему к сестрам в Швецию? Это ему и в голову не приходило: между ними и им уже двадцать лет не было крепкой связи, а со смерти матери даже переписка прекратилась. Он, конечно, мог бы ограничить свой образ жизни, свою прислугу, ежегодные счета, получавшиеся от бергенских купцов? На это он ответил бы себе, что можно ему сделать упрек: зачем он всего этого не покончил. Но такой поворот возбудил бы у живущих за границей подозрение, что не все в Сегельфоссе обстоит благополучно! Этого он не желал, да и они не заслуживали. Маленький Виллац не должен был иметь о своем отце иного представления, какое поручик имел о своем: Виллац Хольмсен должен думать, что отец всегда находит средство поддерживать других, мог раздавать, покупать,— был вполне независимым. А что касается прислуги? Разве теперь было в экономии больше горничных и работников, чем во времена отца? Разве маленький Готфрид мешает кому-нибудь? Или его сестра Паулина, единственная, у которой находился ласковый ответ

поручику и которая кланялась ему, как отцу, когда он проходил мимо? Ведь и в отсутствие жены он не мог отпустить экономку. Ничего нельзя было изменить.

Экономка? Ловкая и способная, обученная самой хозяйкой за многие годы, она теперь вполне управляла домом. Трещало ли хозяйство по всем швам под ее руками? Ни в коем случае.

Самой иомфру Сальвезен не приходилось ни в чем испытывать нужду: у нее было достаточно всевозможного дела, большая усадьба доставляла много всего, чего следовало, а вина, закуски и колониальные товары привозились из Бергена, как прежде. Всего было в изобилии. Потому иомфру Сальвезен и была всегда весела и довольна своей судьбой; она часто кривила рот и говорила колкости горничным.

Не была ли она главным лицом в Сегельфоссе? Но разве это все? Заведующий пристанью ухаживал за ней и сватался. Всерьез. Это заведующий пел такие веселые песни. Они почти дали слово друг другу. Но тут адвокат Раш тоже вздумал последовать примеру отца, деда и прадеда,— обзавестись семьей. Он отыщет себе подходящее место, и они заживут культурной жизнью. Будущее же заведующего пристанью более необеспеченно; он состоял на частной службе и не мог без денег начать какого-либо дела. Нет, заведующего пристанью даже сравнивать нельзя было с тем, с другим; ее рот кривился от жалости. Однако, все же иомфру Сальвезен не было неприятно, что у нее одновременно просили ее руки двое.

Она подружилась с фру Иргенс, рожденной Геельмюйден, и часто по вечерам отправлялась в дом Хольменгро, чтобы покоротать время с тамошней экономкой.

Как вдова адвоката, фру Иргенс, конечно, стояла за Раша,— какое же сравнение: человек образованный, между тем как другой может помышлять разве что о лавке. Нет, Рашу отказать нельзя!

— Лишь бы он не сбился с пути,— говорит иомфру Сальвезен.

— Сбился с пути,— человек, бывший в университете? Никогда. Это не похоже на него. Никогда ничего подобного не случилось с Иргенсом.

— Как вам живется в этом доме? — спрашивает иомфру Сальвезен.

— Здесь? Да здесь рай земной,— отвечает фру Иргенс, качая головой.— Никогда мне не жилось так хорошо. Вот если бы только Иргенс мог быть здесь.

— Знаете, что я думаю, фру Иргенс? Я думаю, что господин Хольменгро вовсе не таков, каким кажется по виду.

— Каким образом? Какой же он?

— Обнимал он вас когда-нибудь?

— Да Господь с вами: что вы говорите, иомфру Сальвезен? Да хранит Господь ваш язык!

— А меня обнимал.

— Обнимал?

— Да, несколько вечеров тому назад.

Фру Иргенс оскорблена и говорит:

— Я полагаю, что он никого не обнимал так же, как не обнимал меня; хотя, правда, за последние недели он как будто несколько изменился. Но, говорю к его чести, что он никогда не заходит слишком далеко. Ни... ни... А с теми, кого он мало знает, он еще осторожнее. Что он сделал с вами, как сказали вы? Я в отчаянии за вас.

Обе дамы продолжали болтать, и иомфру, в свою очередь, оскорблена. Дело в том, что фру Иргенс уверяет ее, будто объятия могут быть различные: можно стать самой на дороге мимо проходящего мужчины; что же ему тогда делать со своими руками, иомфру Сальвезен?

— Пожалуйста, не рассказывайте мне впредь подобных вещей,— говорит фру Иргенс.— А каково живется у вас там в усадьбе?

— У нас? — отвечает иомфру Сальвезен,— ужасно,— до крайности, оскорбленная.— Знаете ли, вы можете разыгрывать из себя настоящих испанцев, жить среди богатства и роскоши, как вы здесь, а все же вам не сравняться с нашими в усадьбе. Так и передайте господину Хольменгро и кланяйтесь ему. Я здесь не видала посуды и подносов из чистого серебра, а у нас они есть, и не видала золоченых ручек у серебряных сахарниц, как у нас. Да... а...

— Но, скажите, иомфру Сальвезен, ведь она убежала от него?

— Убежала? Вы сами поберегитесь от сплетен, фру Иргенс, а мне нечего советовать. Ну, что вы говорите? Она поехала с сыном в Германию; он учится, чтобы быть сочинителем. Я не понимаю, на что вы намекаете. Здесь почти ничего не изменилось с их отъездом. А что меня касается, то я надеюсь жить и умереть, как подобает приличной женщине. Вот, например, консул Кольдевин и тот, говоря правду, не обнимал меня никогда. Прошу передать господину Хольменгро поклон.

Дамы продолжают болтать. Выходит так курьезно: они и подсмеиваются друг над другом и стараются выведать

друг у друга. Болтая между собой, они не остерегались; это у них выходило естественно: их разговор соответствовал их развитию. Это было вполне естественно.

Наконец пастор Виндфельд получил перевод на казенное место и переселился на юг,— на юг. Он достиг того, к чему стремился, старый, простой человек, хотя и здесь ему жилось неплохо: церковь всегда полная и доброжелательное отношение. Но что из того! Народ стекался в Остланде, чтобы слушать проповеди пастора Виндфельда, он уже не мог больше оставаться. Он получил приход в плоском, так богатом природными красотами, Смоланде.

Приехал заместитель. Это не был капеллан, такого, к сожалению, не случилось свободным, но самоотверженная душа, готовая служить общине до поры до времени. Приходилось довольствоваться тем, что было и благодарить за это, в ожидании приезда настоящего пастора через несколько недель.

И какого еще! Красивого мужчины в черном сюртуке и крахмальных воротничках. В нем поражали руки, похудевшие от перелистывания книг и рукописей, богатырское тело, так что он мог бы снести по овце на каждом плече, огромные сапоги для двух пар чулок и, наконец, галоши. У него не было еще епископского посоха, но он носил длинные волосы и очки,— должно быть, потому, что был такой ученый. То был сын Ларса Мануэльсена,— Л. Лассен.

Он, наконец, получил звание пастора и приехал на родину заявить о себе. Нельзя блистать в Кордильерах, блистать можно только дома.

Он привез с собой мебель и несколько ящиков домашних вещей и сразу отправился в пасторский дом. Кистер встретил его со всевозможной предупредительностью. Слава шла о нем уже несколько лет. Кто не слышал о Л. Лассене!

— Желаем вам благоденствовать среди нас и прожить долго! — приветствовал его кистер.

— Нет, я не останусь здесь долго,— ответил пастор.— Но я считал своим долгом некоторое время служить здесь.

— Надо надеяться, поживете среди нас подольше.

— Нет, друзья мои, но здешняя местность так в стороне, и я не могу оставаться в глуши. Мои обширные интересы указывают мне место на юге.

— Конечно. Но ища прихода, вы бы могли принять, наш, как первое место.

— Место в здешней лесной глуши? Нет, я не добиваюсь этого. Здоровье мое не переносит здешнего климата, местность слишком северная.

Он служил в церкви, но просил открыть окна, чтобы его можно было слышать снаружи.

Мала была церковь в Сегельфоссе, когда в ней стал проповедовать господин Лассен; места брались с бою! Все шли в церковь, даже Пер-лавочник пошел, но внутрь не пробрался.

— Выньте окна,— приказал пастор вторично,— таким образом, с Божьей помощью, и самые далекие услышат меня! И, правда, его голос достигал моста, доходил до изб рабочих. Не стоило даже в церковь ходить, и поэтому одна молодая парочка отправилась в танцевальный сарай у мыса; и были то Давердана, сестра пастора, а парень — помощник заведующего пристанью.

Но после богослужения пастор проголодался, и так как не последовало приглашения ни от поручика из усадьбы, ни от Хольменгро, то господин Лассен скромно отправился в родительский дом и там пообедал.

И вот, мальчик Ларс, благословение и чудо филиального прихода, сидел опять в своем доме. Сестры и братья его выросли, мать поседела, но отец был такой же рыжеволосый здоровяк, и Юлий стал совсем мужчиной.

— Будешь ли ты еще кушать нашу еду? — говорит мать.

— Как же, благодарю, мясо ведь свежее.

— Мы убили козу,— сказала мать.

Он приобрел утонченные привычки, и заложил носовой платок за петлицу, а хлеб брал вилкой. Юлий подумал про себя: «Вот так знатно!»

Через некоторое время все ушли из маленькой избы, чтобы Ларсу было просторнее, а маленькую сестренку, остановившуюся было на пороге, отозвал отец.

Отец был сегодня на седьмом небе; он онемел от блаженства, а также хотел показать сыну, что проповедь навела его на размышления. А грешник Юлий действительно поднялся на небеса: он нашел дыру в потолке и оттуда наблюдал за братом в избе. Скажите, как он себя держит! Куда девалась благовоспитанность Ларса: он спешит, ест как попало, грубо, не разбирая, неопрятно, льет жир вокруг себя. Он спешит есть, будто хочет набить себя прежде, чем кто-нибудь войдет. Юлий думает после того, что брат уже не так далеко отошел от него, чтобы с ним нельзя было говорить.

Пообедав, пастор лег на отцовскую постель и заснул. Когда он проснулся, мать принесла кофе. Пастор оживился, он зевает и благодарит мать за кофе. Он вынимает из-под

балок у потолка две старые знакомые книжки, оставленные им в доме: книгу духовных утешений и «Зеркало человеческого сердца». Отец однажды привез их ему из поездки на Лофондены.

Постепенно возвращаются и прочие; приходят и малыши, а, наконец, появляется и Давердана. Пастор ничего не видит и не слышит, он весь углубился в книги. Он, Ларс, и книги! И удивительно умеет он перелистывать книгу, не смачивая пальцев, и удивительно умеет держать книгу в руках, словно это какое сокровище. Мать смотрит на сына, будто только теперь узнавая его: знакомое движение рук, как прежде, знакомая посадка головы на шею.

Он спрашивает о Виллаце; замечает Давердану и справляется о поручике.

— Спасибо, здоров.

— Мне надо повидаться с ним,— говорит пастор.— Я слышал, жена его уехала.

Он спрашивается о Виллаце.

— Слышала, что он учится музыке,— отвечает Давердана.

— Все суета.

— То же, что я говорю все время,— замечает отец, Ларс Мануэльсен.— Я человек несведущий касательно книг и газет, но то, что я знаю о музыке, играх и танцах, игре в карты,— так это все дьявольщина,— прости, Господи, мое прегрешение!

— Сколько времени пробудешь ты в нашем поселке?— спросил Юлий.

— Этого я не знаю; как можно меньше,— ответил пастор.— Епископ обещал меня скоро сменить.

— Почему ты не ищешь прихода?

— Потому что учение истощило меня, и здешний воздух вреден мне. Мне надо жить на юге.

— Воздух? Какая же гадость в здешнем воздухе?

— Ты такой неотесанный, Юлий,— замечает ему брат.

Но Юлий вовсе не был таким: ему только казалось глупостью, что можно считать здешний воздух вредным? И что же приход останется без пастора?

— Такова судьба всех северных приходов; нет пастора, желающего оставаться в Нордланде. Я только из снисхождения согласился.

Простая и ученая глупость встретились, мать даже раздувается от гордости своим знаменитым сыном.

— Да, это великое дело, что ты пожелал снова побывать на родине.

Но Юлий не сдавался.

— Так здесь, в Нордланде, мы и совсем можем оставаться без пасторов?

— Болтаешь пустяки,— заметил ему отец.

Пастор кашляет и отвечает:

— Мой епископ предполагает, что здешнему народонаселению не надо такого ученого пастора. Снизойди ты до этого, Юлий.

Юлий, конечно, не снизошел бы до этого, тем более, что не готовился к такому призванию. Впрочем, его уважение к последнему совершенно исчезло; казалось все равно, будто на Ларсе надета овчина.

— Что? Ты болен? — спросил он, будто слыша первый раз об этом.

— Да, я слишком много занимался. У меня в груди неладно.

Но Юлий, вспомнив львиный рев с кафедры, снова спрашивает с изумлением:

— В груди?

— Да, и глаза болят. Зрение ослабело.

— Оставь Ларса в покое,— говорит отец.

— Что же с твоими глазами?— снова спрашивает Юлий.

— Пришлось носить выпуклые очки. Разве ты не заметил, Юлий?

Этого Юлий и теперь не замечает.

Пастор положил руку на книги и сказал:

— Этими книжками вряд ли кто много занимается дома?

— Да, правда, мало читают слово Божие,— ответила мать.

— В таком случае, вы мне, может быть, позволите взять их с собой?

— На что они тебе? — спросил Юлий.

У отца такое выражение, будто он не имеет желаний расставаться с книгами, но он говорит:

— Возьми, если хочешь.

— Так ты совсем ослепнешь,— пророчествует Юлий.

— Ну, может быть, с Божьей помощью и не ослепну,— отвечает пастор.— Мой доктор говорит, что мне в последнее время лучше.

— Я знаю об одной книге,— говорит Юлий.— У Гана Оле Иоганна есть старинная книга, написанная Эспером Брокманом.

— Можешь ты достать мне эту книгу? — спрашивает брат.

— Думаю, что достану,— отвечает Юлий, уходя.

Пастор начинает говорить о господине Хольменгро, какая это суетная душа, только и думающая о разных предприятиях. Правда ли, что он начал пить?

— Хольменгро?

Пастор утвердительно кивает.

— Так мне говорили.

Мать снова покачала головой.

Боже, и чего только не знает ее сын!

— И с ним я как-нибудь хочу повидаться,— сказал пастор.— Дети, вероятно, опять все позабыли и стали настоящими язычниками после моего отъезда?

— Да, Феликс ничему не желает учиться. Давердана слышала, что отец хочет отослать его обратно в Мексику.

Брат прислушивается.

— В Мексику? И Марианну также?

— Нет, одного Феликса. Марианна скоро уедет в Христианию.

— В Христианию? Вот как!

Разговор заходит о Пере-лавочнике. Пастор обо всем кое-что знал. Церковный прислужник любезно посвятил его во все дела. Пер-лавочник все толстел да толстел; но уж как-нибудь его притянут к суду за ловкость пальцев при весе и мере.

— Ну, а телеграфист не ходит по ночам на охоту за девушками? А заведующий пристанью? Выйдет у него что-нибудь с иомфру Сальвезен?

Давердана сидела как на углях: теперь пойдут расспросы о помощнике заведующего, ее женихе. Теперь им с ним и видеться не придется!

Юлий скоро вернулся; он бегал к Оле Иоганну и положил на стол необыкновенно толстую и растрепанную книгу. Кто его знает,— может быть он и стащил ее?

— Вот и книга,— сказал он.

— Могу ее взять? — спросил пастор.

— Да, можешь.

И мать покачала головой: «И книг же у Ларса! А ученость-то какая!»

Пастор сложил в кучку три книги и похлопал по ним. На что они ему?

А он, Л. Лассен, заводит библиотеку. Он отыскивает книги в избах рабочих. Вот еще три новых тома. И этот Эспер Брехман будет иметь великолепный вид на полке.

Юлий сказал:

— Он, Оле Иоганн, просил тебя зайти устроить собеседование в его доме до отъезда.

— Устроить беседу у Оле Иоганна? У него ведь нет порядочной избы.

— Мы могли бы и там выставить окна.

Пауза.

Мать начинает говорить:

— Неужели ты настолько прост, чтобы устроить собеседование у Оле Иоганна? Неужели ты станешь напрягать себя еще!

— Нет,— отвечает пастор.— Да и действительно он не казался способным на собеседование в этот день.

— Горло... хм!— Пастор закрывает рот рукой и сильно кашляет, задыхаясь.

— Нет, нет, ни в коем случае,— повторяет также отец, Ларс Мануэльсен.— Довольно с Оле Иоганна и того, что он слышал сегодня!

Но Юлий настоящий чертенок.

— А что до того, что ты охрип, так пусть мать снимет с тебя болезнь серебряной ложкой. Она так мне помогла.

— Ах, какой ты невежда, Юлий,— говорит пастор брату.

Он надел сюртук на богатырское тело, галоши на ноги и вышел. Он, вероятно, хотел пройтись на обратной дороге к пастырскому дому по старым местам. Давердана и сестра крались по кустам, подсматривая за ним.

Ларс Лассен шел знакомой дорогой в гору, беспомощно опустив голову, так как подъем был крут, а он не хотел останавливаться дорогой. Он, по-видимому, не обращал внимания ни на что окружающее, чувствуя себя, вероятно, хорошо и вполне уверенно, а при встрече с народом его единственным опасением, по-видимому, было, что ему не поклонятся. Ведь не ему же кланяться первому: разве он не пастор? Мимо прошло много людей, и некоторые ему были незнакомы — вероятно, рабочие от Хольменгро. Он пристально смотрел на этих людей — до последнего мгновения, и иногда добивался тем поклона. Это, конечно, не имело для него значения. Но все же не он кланялся первым.

Да, в Ларсе Лассене были задатки церковного борца, и он наверное пойдет вперед. Нет ничего невозможного, что придет такой час, когда он потреплет поручика Хольмсена по плечу.

Но до того времени еще случится многое.

Телеграфист сидит перед своим аппаратом и работает. Приходит телеграмма из Берлина. Она не длинна, но так важна, что телеграфист сам хочет отнести ее. Он отбивает

три точки и черту, встает, выпивает глоток из бутылки, стоящей на полке за занавеской, запирает контору в неурочное время и уходит.

Он идет к усадьбе. Он высокий, крепкий, широкоплечий парень.

Так как ему не доводилось бывать в усадьбе, то он пошел задним ходом, чтобы встретить кого-нибудь; он спросил горничную, где поручик; горничная вышла с экономкой, и только после настоятельного требования со стороны телеграфиста поручика позвали.

Он, очевидно, был сильно изумлен и спросил, чтобы кто-нибудь расписался в получении телеграммы.

— Это все можно. Да и не нужно. Я только хотел предупредить, что телеграмма очень важная.

Поручик хочет сейчас же вскрыть ее и прочесть, но телеграфист удерживает его, говоря:

— Подождите немного, не спешите: телеграмма невестлая.

При обыкновенных обстоятельствах поручик, вероятно, попросту прогнал бы этого человека, теперь он стоял растерявшись и смотрел на него. Он немного знал его по телеграфной конторе. Телеграфист был услужливый и любезный человек по фамилии Бардсен. Когда поручик, наконец, вскрыл телеграмму и прочел ее, она вначале произвела на него какое-то тупое впечатление.

«С матерью несчастье»,— телеграфировал Виллац.

— Уф! — произнес поручик и прислонился к дверному косяку.— «Несчастье во время купания»,— стояло дальше.— «Да разве может случиться несчастье во время купания?» В телеграмме еще было продолжение, но оно не имело значения.

— Надо ответить. Подождите немного, я пойду с вами.

Он захватил по дороге фонарь, и оба пошли в телеграфную контору.

— При купание? — сказал поручик своему спутнику, сам не сознавая, что говорит.

— Жена, вероятно, оступилась.

— Это, к несчастью, бывает редко,— ответил телеграфист.

У телеграфиста такой вид, будто он подозревает все случившееся, и через некоторое время он говорит:

— Может быть, тут что-нибудь да кроется.

Они приходят в контору, и поручик садится писать ответную телеграмму, задавая много вопросов Виллацу. В то время, как он занят этим, телеграфист садится к столу и продолжает работать.

— Погодите,— говорит он,— пришла новая телеграмма. И в то время, как он ее пишет, он старается подготовить поручика.

— Теперь все становится понятнее,— говорит он,— и вас извещают...

Фру Адельгейд утонула во время купания.

Через несколько дней поручик уехал на юг с почтовым пароходом; он должен был встретиться с сыном, везшим тело матери, дорогой. Тут поручик пустил в ход новый мундир, купленный им в Англии. Но он не носил его с прежней самоуверенностью.

ГЛАВА XVI

Известие о смерти фру Адельгейд произвело странное впечатление на господина Хольменгро, он точно с ума сошел.

Он начал с того, что погрузился в глубочайшую печаль; фру Адельгейд была так бесконечно добра к нему с самого первого дня; он был, пожалуй, обязан ей даже успехом всей своей деятельности в этих местах.

Но по прошествии нескольких дней с господином Хольменгро произошла перемена,— он стал веселее смотреть на жизнь. Да, зачем скрывать правду, жизнь положительно стала казаться ему светлой. Никто не мог понять этого. Его часто видели улыбающимся и объясняли себе это тем, что он выпил своего испанского вина за обедом. И кистеры торопились к пастору Лассену с новыми сведениями.

Кто был господин Хольменгро? Знамение небесное, символ? Может быть, в нем не было ничего таинственного, может быть, он был просто типом переходного времени? Он был человеком, долго жившим в глубоком уединении и безвестности в Мексике, заработал много денег и приехал на родину наслаждаться уважением соотечественников. И больше ничего. Он приехал, и слава его загремела, но гром этот некому было слушать на Серых Холмах; отсюда необходимо было выбраться. И он выбрался и появился в Сегельфоссе.

Там было достаточно образованных людей и было больше видов на успех предприятия. Оттуда можно было сдаться на всю провинцию.

И что же? Он привел в исполнение все свои замыслы, он сделал даже больше, чем хотел; но он продолжал вести

себя скрытно; единственное, из-за чего он поднимал шум, были его машины. Его положение было прочно. Мог ли он когда-либо сорваться? Никогда! Да иначе и быть не могло. В отношениях с семьей поручика в усадьбе он всегда был корректен, с рабочими обходился снисходительно; он был богат, и относился ко всем добродушно.

Дело свое он вел честно и никогда никого не обманывал. Он был щедр и честен до щепетильности. Если у поручика были какие-либо подозрения насчет этого чудака-иностранца, то только благодаря свойствам своей недоверчивой натуры. А случай с мельничной плотиной, которая обрушилась? Из-за нее господин Хольменгро продал свои облигации! Что он при этом оказался владельцем всей реки и всего водопада, было простой случайностью. Во всяком случае, он заплатил за все наличными деньгами. В этом не было ничего подозрительного.

В Мексике, конечно, тоже был здоровый сосновый воздух, но не в тех местах, где жил господин Хольменгро и где у него была лесопильня. Его здоровье сильно распаталось. Он постоянно принимал пилюли, до тех самых пор, пока дело его не наладилось. Тогда он забыл и о пилюлях, и о распатанном здоровье. И странно, тот же самый воздух, который действовал, по-видимому, так хорошо на господина Хольменгро, был совершенно не впрок другому борцу с жизнью, пастору Лассену.

Где и кто видел тактичность, подобную тактичности господина Хольменгро? Это был такт прирожденный, а не заученный. Он был тактичен всегда и со всеми. Фру Адельгейд, которая знала толк в этих делах, ни разу не выражала своего неудовольствия. А как он старался угодить ей! Не был ли он влюблен в нее? Влюблен? Да он тогда обратил бы свой взор на более молодую женщину. Но отчего же он так упал духом, когда она уехала? Да вовсе не потому, что он был влюблен в нее, а просто потому, что ему, Тобиасу из Гольмена было лестно бывать у помещиков в Сегельфоссе и считаться другом хозяйки. Господин Хольменгро выказывал расположение хозяйке Сегельфосса, как он некогда выказывал уважение секретарю датского посольства. Он был крестьянином из Вугте, и жизнь оказала ему только одну услугу,— спасла его от смерти. Все, что он знал, было то, к чему он прислушался, когда терся между образованными людьми. Он владел их языком и стал по внешности похож на них. Прекрасно сделано, господин Хольменгро! И все-таки он был, так сказать, на двести лет моложе обитателей Сегельфосса; он научился кланяться, но он кланялся, как раб.

Были у него особые причины сожалеть о смерти фру Адельгейд? Этот вопрос постоянно задают друг другу экономка иомфру Сальвезен и фру Иргенс, рожденная Геельмюйден. Хозяйка Сегельфосса, может быть, сама когда-нибудь откроет эту тайну, если ее дневник будет издан. Волчица может приходить на двор к собаке.

Но как бы то ни было, смерть фру опечалила господина Хольменгро. Он точно осунулся в лице, вид у него стал еще разочарованнее, нос вытянулся, может быть оттого, что он похудел. Когда же он вдруг очнулся и повеселел, то это произошло, вероятно, от того, что ему ни до кого больше дела не стало на свете. Не о ком стало думать и заботиться с тех пор, как фру Адельгейд умерла.

Но перемена в нем все-таки произошла. Он стал так близко подходить к фру Иргенс, что ей приходилось защищаться и говорить!

— Нет же! Сюда могут войти!

Чем дальше, тем хуже. Однажды вечером он поймал экономку иомфру Сальвезен и сказал, что хочет жениться на ней.

— Обдумайте,— сказал он,— и помните, что я дал вам слово. Приходите и посмотрите, каково у меня в доме.

Совсем с ума сошел!

Целую неделю он был непохож на себя, совершенно потерял равновесие. Казалось, будто он целые годы сидел в тисках и наконец освободился. Он нарочно выпустил кур однажды вечером и затем подошел к окну птичницы Марсилии. Увидя, что она не одна, он сказал ей, что куры выбежали и что их нужно загнать. Когда она вышла, он пошел за ней в курятник, поцеловал ее и дал ей денег. Что с ним творилось?

Он и прежде, бывало, пошаливал, но не так, как теперь! Он был богат, всегда был уверен в успехе и ничуть не беспокоился о том, что скажут люди. Когда поручика не было в усадьбе, господин Хольменгро отправился туда и застал Давердану. Она была обручена с помощником заведующего пристанью и, таким образом, вовсе не жаждала любви. Узнав об этом, господин Хольменгро заревновал и влюбился. Он оделся по-праздничному и надел двойную золотую цепь на жилет. Он сам чуть не плакал от того, что в преклонные годы вел себя, как мальчишка.

Тут он вспомнил об уездном враче Мусе и пригласил его к себе. Отчего не приехать? — это простая вежливость. Доктора угостили обильно и вкусно. Он вспоминал потом

с удовольствием об этом дне. Человек с запада оказался хорошим хозяином; и серебряная сервировка, и вино,— все как у порядочных людей. И доктор Мус, благодушествуя, положил ногу на ногу.

— Я надеюсь, что и адвокат Раш заглянет сегодня к нам наверх,— сказал господин Хольменгро,— вам будет не так одиноко.

Ага! значит адвоката не пригласили к обеду, а только звали провести вечер. И доктор вполне оценил это изъявление уважения. Адвокат Раш также происходил из чиновничьей семьи и, следовательно, был равен ему по положению. Но как хотите, адвокат все-таки не то, что доктор, и не то, что пастор. Господин Хольменгро прекрасно понимал эту разницу положений, и доктору Мусу это как нельзя более нравилось.

Доктор был уверен в том, что он должен был поддерживать гордость высших классов. Может быть, поэтому у них с поручиком вышло столкновение при первой встрече. Господин Мус был продуктом четырех поколений прилежных школьников со средними способностями. Где ему было уметь говорить о музыке и о новых нотах, которые лежали на рояле. Фру Адельгейд упомянула как-то об этих нотах и тем самым обязала господина Хольменгро купить их. Теперь они будут напрасно лежать здесь на рояле и ждать фру Адельгейд, которая никогда больше не придет. Но они по-прежнему останутся в почете, и это будет справедливо. Оказалось, что господин Мус любит итальянскую музыку, так научили его родители. А это ведь был только Бетховен,— фру Хольмсен любила все немецкое.

— Я слышал, что фру Хольмсен умерла? — сказал доктор.

Господин Хольменгро низко опустил голову и ответил.

— Да, ужасный удар.

— А как он принял его?

— Поручик? Да он разумный человек, рассудительный. Но это больше, чем он может перенести.

— Вы считаете его разумным человеком?

Господин Хольменгро ответил:

— Да, это мое впечатление.

— Я думаю,— сказал доктор,— что ваше впечатление ошибочно.

И доктор принялся высказывать свое мнение.

Народ ставит доктора выше многих людей; но господин Хольменгро видел немало докторов на своем веку, видел

их даже в Кордильерах. Для него они были не редкость. Кроме того, господин Хольменгро думал, что на его впечатление можно положиться, что ему самому не раз приходилось в жизни полагаться на него, и оно не обманывало его и привело его туда, где он находился ныне.

— Я думаю, что поручик разумный человек,— сказал он еще раз.

Но это ничуть не импонировало господину Мусу. Он считал себя принадлежащим к высшему классу. Кроме того, он был человек образованный.

— Я делаю различие между человеком, который падает на колени от горя, и человеком, который впадает от него в безумие,— говорил он.— Поручик принадлежит к числу последних. Я слышал, между прочим, что его усадьба принадлежит вам.

Доктор положительно считал фру Адельгейд и поручика самыми обыкновенными людьми, о которых можно было думать, что угодно. Что за честь была бы для господина Хольменгро в том, чтобы считаться их близким другом?

— Это сплетни,— сказал он.

— Сплетни? Я слышал это от порядочных людей.

— Тогда вы плохо слышали или плохо поняли этих порядочных людей.

— Я прекрасно понял их. Но тем лучше, если их опасения за поручика оказались напрасными.

В это время пришел адвокат, и они вышли. Адвокат был проще, он любил жизнь и не был так учен и придиричив. Не прошло и пяти минут, как он заговорил с господином Хольменгро о делах. Пил он также совершенно иначе, чем доктор. Он ставил даже себе в заслугу то, что он много пил. Бог знает, в чем была эта заслуга, может быть, в том, что он всякий раз выражал благие пожелания хозяину. Адвокат был многим обязан господину Хольменгро,— домом, землей и первыми добрыми советами. Теперь дело его шло, как нельзя лучше, он завел себе даже секретаря, которого посадил в соседней комнате. Ему очень повезло. Он уже собирался купить землю, на которой стоял его дом и примыкающий к ней луг. Но господин Хольменгро отвечал ему на это каждый раз, что поручик не хочет больше продавать земли.

Господин Раш и на этот раз опять спросил об этом, но получил опять тот же ответ.

Адвокат опять предложил господину Хольменгро выпить за его здоровье.

Чем это кончится? Господин Хольменгро, крестьянин из Гольма, разгорячившись вином, принялся высказывать великие идеи. Он сказал, между прочим, что хочет взять на откуп ловлю испанских сардинок и держать норвежскую флотилию у Сантандера.

— Норвежские рыбаки не поедут туда.

— Так я натурализирую их там.

Говорил ли он серьезно, или просто ему хотелось похвастаться перед своими гостями, но он сообщил о том, что неподалеку найдена железная руда и что он хочет купить эти рудники. Очевидно, он хотел похвастаться, потому что о своих серьезных планах он не говорил никогда, а без шума принимался за дело.

Он говорил тихо и не торопясь, по своему обыкновению, но за спокойной речью чувствовались великие идеи. Его интересно было слушать.

— За ваше здоровье, господа,— заключил он,— вы были очень любезны, что заглянули ко мне.

В комнату вошла Марианна и показала, как она умеет приседать на своих длинных ногах. Она была удивительно развита физически, ее широкий рот был такой зрелый. Она подала отцу почту, за которой ходила, и сказала:

— Письмо из дому!

Странно было слышать норвежскую речь от этой девушки с низким лбом, индейскими волосами и вздернутым носом.

— Это все,— прибавила она.

— Благодарю,— сказал отец.

Да, это было все. Для нее не было писем. Юный Виллац перестал писать ей.

— Извините меня на минуту,— сказал господин Хольменгро и открыл письмо с иностранной почтовой маркой. Он быстро пробежал его глазами и сказал дочери:

— Поклон тебе, мой друг!

Марианна поклонилась опять и вышла.

Господин Хольменгро отложил письмо.

— Если вы находите, господа,— сказал он,— что вино слишком горячо или слишком холодно,— не у всех ведь один и тот же вкус,— так пожалуйста. Или нет?

Это было сказано вежливо и добродушно. Потом он начал дразнить адвоката за его отношения к иомфру Сальвезен.

— Верно от того вы так и хлопчете из-за участка, господин Раш?

Доктор воспользовался случаем.

— А правда, отчего бы вам не продать этого участка адвокату Рашу? Вы бы доказали тогда, что Сегельфосс принадлежит вам.

— Да как же я могу продавать части усадьбы поручика? Пер-лавочник тоже хочет покупать землю, он накопил так много денег, что хочет расширить свои владения. Но я даже и не говорил об этом поручику. А впрочем, стоит ли говорить о двух десятинах!

— А отчего поручик не хочет продавать землю? — спросил адвокат. — Ведь он уже получил за нее деньги. Я знаю человека, которому также очень хочется стать собственником, — это Ларс Мануэльсен. Он приходил ко мне и говорил об этом. С тех пор, как сын его стал пастором, да еще в придачу известным, ему уже не хочется быть арендатором. Он охотно купил бы то, что теперь арендует и еще небольшой клочок земли.

— Это отец пастора Лассена? — спросил доктор.

— Да. И за ним в этом деле стоит, конечно, пастор. Вы знаете его?

— Нет. Он был у меня с визитом; мне показалось, что он очень скромный. Крестьянин, конечно, но своим умом дошел до культуры.

— Да, значит вот этот крестьянин, у которого сын — пастор, — проговорил адвокат, глядя на господина Хольменгро. — И я знаю еще других, которые тоже хотели бы купить землю, это ваш собственный булочник, господин Хольменгро.

В это время господину Хольменгро показалось, что он на сегодняшний вечер недостаточно наслушался разговоров двух порядочных и образованных молодых людей.

Казалось, он перестал обращать на них внимание и говорил то, что ему хотелось говорить:

— Мой булочник? вы ведь думаете о том, что я имею большую власть, вы смотрите на мою цепь и воображаете, что она настоящая. Она, конечно, ненастоящая. К чему такая расточительность? Для этого я еще недостаточно могуществен. Цепочка позолочена, она крепче золота, она блестит как золото. Или нет, по-вашему?

Может быть, господину Хольменгро опять хотелось поразить своих гостей? Или ему из тщеславия опять хотелось воскресить свою сказочную славу? Он помолчал немного, потом проговорил, как бы в похвалу своим гостям:

— У меня есть сын, Феликс. Я мечтал сделать из него образованного человека, как вы, господа. Но он не хочет учиться. Приходится отослать его обратно в Мексику.

— Есть у него кто-нибудь в Мексике? Я думал...

— Я могу поручить его кому-нибудь. Да впрочем, у него есть там и родственники. Например, его мать.

Молчание. Адвокат и доктор до крайности удивлены.

— Я думал... Мне говорили, что вы вдовец.

Господин Хольменгро равнодушно смотрит на доктора, и опять как будто не обращает на него внимания, а говорит то, что ему хочется.

— Здесь из Феликса ничего не выйдет. Он хочет вернуться к своему племени. Но Марианна, моя дочь, останется со мной.

Когда господин Хольменгро вечером провожал своих гостей, он был как раз настолько пьян, чтобы свернуть на запретный путь. Был вечер. Гости хорошо поели и немало выпили; на угощение нельзя было жаловаться. Но доктор Мус говорил адвокату, что когда господин Хольменгро возражал ему, в его глазах горел огонь ненависти низших, необразованных классов по отношению к высшему и образованному, к которому принадлежали они с адвокатом. Адвокат сказал, что он тоже заметил это.

Но этим вечером закончились чудачества господина Хольменгро. На другой день он был уже самим собой и господином всех. Он делал приготовления к похоронам, телеграфировал, чтобы выслали венок для гроба фру Адельгейд. В то время, когда пароход заворачивал в фиорд, он велел усыпать всю пристань и дорогу еловыми ветками. Отчего он бросил свои чудачества? Из уважения к поручику? Или он устыдился самого себя? Как бы то ни было, а за эти две недели он наделал столько глупостей, что другой на его месте долго не мог бы опомниться. Но господин Хольменгро опомнился сразу. Он был вообще удивительный человек, от него можно было ожидать всего.

На погребение приехал и Фредерик Кольдевин с женой, он давным-давно не был в Сегельфоссе. И старики Кольдевины приехали со своего острова. Они стали оба маленькими седыми чудаками, у них уже голоса не было. Они были похожи на детей-альбиносов. Полковник фон Платц из Ганновера прислал представителя и цветы, которые, впрочем, пришли на целую неделю позже.

Даже и при этом случае поручик вел себя странно и самобытно. Он по телеграфу приказал, чтобы на похороны привезли соседнего пастора. И как он только мог это сделать! Уж, кажется, глубоко и сильно задело его горе. Нет! он продолжал поступать по-своему. Но вечером, накануне похорон, посланный вернулся с отказом: пастор

извинялся, произошла неожиданная задержка. На самом деле он просто не хотел обижать своего коллегу Лассена, который пользовался расположением епископа.

Поручик улыбнулся и сказал своему сыну:

— Придется взять Ларса. Да, впрочем, это ведь безразлично. Твоя мать не услышит его. Скажи Мартину, чтобы он сходил завтра утром за Ларсом.

Когда пастор пришел, консулу Фредерику пришлось быть посредником между ним и поручиком. Поручик не желал слышать речи Ларса, но пастор не мог согласиться на это. Он обещал из уважения к поручику говорить как можно короче и отказался ждть тела у ворот кладбища.

Поручик сказал:

— Тогда я останусь дома.

Консул Фредерик сделал вид, что он согласен, чтобы не раздражать друга, но он не сомневался в том, что это невозможное дело.

— Конечно, это выход,— сказал он, кивнув головой.— Только бы ты сам потом в этом не раскаялся.

— Да, без сомнения.

— Так, пожалуй, лучше будет потерпеть час, чем потом раскаиваться всю жизнь.

Поручик решил, что он пойдет. Он оделся в парадную форму с эполетами, шпагой и золотыми аксельбантами и надел плащ. Он был великолепно, чем когда-либо. Юный Виллац был в новом черном костюме с крепом на цилиндре. Оба, и отец и сын, были в белых перчатках, но без черной каймы.

Все рабочие господина Хольменгро были отпущены; мельница стояла, все арендаторы собрались у кладбища, площадь перед церковью кишела народом, как в большой праздник. Гроб был совершенно закрыт цветами,— тут были венки из Англии, из Германии, от Хольменгро, от Кольдевинов, от торговцев из Бергена. В землю опустили точно гигантскую охапку цветов.

Потом началась речь. Пастор Лассен был не вполне уверен в себе. Слишком жаль было упускать случай пространно поговорить о духовных вещах, и он вернулся к своему прежнему намерению сказать длинную речь. Всякий другой человек в своем горе был бы благодарен ему за слова утешения, но поручик был по-прежнему верен себе. Он, казалось, даже не слушал. Когда речь продолжалась уже полчаса, ему надоело ждть. Он взял у кистера маленькую деревянную лопаточку и подал ее пастору. Он даже не потрудился повернуть ее ручкой к нему.

Пастору пришлось остановиться. Он взглянул на поручика и понял, что пора кончать. Он взял лопаточку и три раза бросил на цветы песку.

Потом могилу зарыли.

Люди, которые видели проделку поручика с лопаточкой, осудили его: Ларс Мануэльсен осудил его и Пер-лавочник осудил его; они никогда в жизни не видели такой бесцеремонности по отношению к говорящему представителю Бога, каким был Ларс в данную минуту.

Но пастор, конечно, лучше знал, как следовало поступить, потому что он был образованный человек. И он доказал это до конца. Когда церемония была окончена, он решил сказать несколько частных слов утешения родственникам покойной, как это принято делать. Но так как он был не особенно твердо уверен в себе, то обратился сначала к юному Виллацу, который стоял рядом с ним. Пастор Лассен протянул мальчику руку и сказал:

— Ты понес большую утрату, но Бог поможет тебе нести ее!

— О, да, пусть Бог сделает это, скажите ему это пастор Лассен!

В это время послышался голос поручика, и пастор увидел пару серых глаз, полных леденящего спокойствия:

— Что ты там ноешь, сын мой? Перестань!

И поручик вернулся домой с похорон.

Старики Кольдевины остались только на два дня, потом уехали в своем ковчеге. Старики чувствовали себя очень странно.

— Здесь прежде не было дороги,— говорили они,— а там не стоял дом.

Они качали головами и не узнавали старых мест; им казалось, что это был вовсе не Сегельфосс. Они уехали домой, не побывав в молодой роще, и почти ничего не говорили.

Консул Фредерик с женой оставались четыре дня; потом пришел пароход, отправлявшийся на юг, и они уехали. Консул Фредерик тоже сильно изменился; он поседел и под глазами у него были мешки. Жена его потолстела, и стала увлекаться благотворительностью. Она уехала вместе с мужем.

— Поручику не до людей,— говорила она,— его горе так велико, так ужасно велико. Никто, конечно, не ожидал, что он перестанет спать от того, что потерял Адельгейд: он потерял ее гораздо раньше.

Консулу все время было не по себе, и он не мог дожидаться, когда пройдут эти четыре дня.

Они, по обыкновению, сидели по вечерам вдвоем за стаканом вина, но говорили очень мало. Консулу Фредерику не пришлось ни разу заговорить о своем взгляде на жизнь. Они даже ни словом не обмолвились обо всех переменах в усадьбе. Когда консул намекнул на то, что он явился отчасти виновником этих перемен, поручик быстро перебил его:

— Да, да, я благодарю тебя; все эти перемены произошли не без твоего участия.

Консул попробовал заговорить о юном Виллаце, о том, останется ли он в Берлине.

— Конечно, останется,— ответил поручик,— Он поедет на юг с тем же пароходом, что и ты.

— Моя дочь Теа,— сказал консул,— ты помнишь ее? Она приняла предложение штурмана.

— И очень хорошо сделала.

— Он назначен капитаном.

— Ну вот, видишь!

— Да! капитаном парохода «Клефт», двести пятьдесят футов длины. Но что толку?

Молчание.

Консул попробовал завести разговор на более веселую тему.

— Ты говорил о том, что по твоей вине у вас в городе стало меньше рыбаков?

— Да, я сожалею об этом, из-за них.

— Что же мне делать? Ты помнишь, как несколько лет тому назад у нас в городе родился ребенок-мулат. Я не понимаю, каким образом, но ответственность за него возлагали на меня. Ты слышал что-нибудь подобное?! Говорили, что между ним и празднеством в моем саду была какая-то связь. Хе-хе-хе! Ну, потом это мне надоело, и я отослал ребенка. Он теперь в торговой школе в Филадельфии.

— Твоя вина, в таком случае, меньше моей.

Как скучно стало говорить теперь с другом. Консул сожалел уже, что приехал на похороны. По правде сказать, он так втянулся в жизнь маленького городка, что стал находить ее приятной. Да и на самом деле, разве дело его шло нехорошо? Разве перья не скрипели в его конторе? Разве он не вращался в кругу лучших семейств городка? В городском клубе случалось немало занимательных историй. Например, недавно дочь домовладельца Боммен дотанцевалась до смерти на балу на немецком военном судне, стоявшем в гавани. Хе-хе! Безумное дитя!

Но консул Фредерик, который говорил так весело и так охотно смеялся, впадал иногда в задумчивость и уходил в свою комнату. Может быть, он стыдился самого себя? Один раз, когда ему некуда было уединиться, он вошел в спальню фру Адельгейд и остановился. Он выглядел усталым и изнуренным; мешки под глазами были заметнее обычного. Он взял гребень, который лежал в кучке других украшений, должно быть, гребень был красив, потому что он долго смотрел на него. Потом ему вдруг показалось, что здесь нельзя остаться для того, чтобы посидеть и подумать спокойно, и он опять вышел.

Он ушел в оранжерею. Сюда нужно было прийти с самого начала, здесь было пусто и хорошо. Но что это? Он взял гребень с собой? Смешно! Но это такая мелочь, с которой не стоит приставать к поручику. От гребня как будто пахло чем-то, ее волосами? Воображение! просто пахнет черепахой. А если бы она вдруг запела у себя наверху, запела бы этим цветам? Она иногда давала волю своей страсти и становилась доброй и безумной. Бедная Адельгейд! Бедные все!

Консул Фредерик счел своим долгом поболтать на прощание с экономкой и омфру Сальвезен. Но ему удалось только через два дня, как бы случайно, очутиться у окна кладовой; он знал, что жена была у фру Иргенс.

— Это вы? — сказала и омфру Сальвезен.

— Более или менее я, и омфру.

И омфру Сальвезен, связанная горем, поразившим дом, давно не открывала рта для веселой шутки. По тону голоса консула она поняла, что можно сбросить серьезность на некоторое время.

— Вы пришли, вероятно, чтобы покончить с этим, господин консул?

Консул надувается, надувается и произносит, наконец:

— И омфру Сальвезен, я слышал все!

— Все!

— Да, вы, может быть, можете рассказать еще что-нибудь?

— Нет, я не хочу доводить вас опять до сумасшествия.

— Женщина! Вы обещали себя двум другим прежде меня! Знают ли они, и омфру, как вы поступили со мной?

Но шутка показалась и омфру Сальвезен слишком тяжеловесной, и она ответила:

— Я скажу это своему жениху, адвокату Раш.

Консул Фредерик серьезно заинтересовался. Это было, пожалуй, поинтереснее истории с и омфру Боммен, которая

дотанцевалась до смерти. Он спросил, высоко поднимая брови:

— Можно позавидовать? Правда?

— Да, я думаю, что можно,— улыбаясь, ответила иомфру.

— Это превесело! Интересная новость! Вы, значит, выходите замуж?

— Не знаю еще. Может быть, через год.

— А кто же будет у поручика?

— Другая. Я не уеду прежде, чем он найдет другую.

— А вы будете жить здесь?

— Да, некоторое время, во всяком случае. У Раша здесь большое дело. Он хочет со временем подыскать себе место на юге.

— Так вы еще, может быть, приедете в наши края, иомфру Сальвезен? Не забудьте тогда побывать у меня.

— Очень благодарна за любезность, консул Кольдевин.

— Я очень ценю образованных людей, я собираю их. Нет, на самом деле, это чудесная новость! Могу я позжать вам руку, иомфру Сальвезен?

— Да, подождите немного,— отвечает иомфру Сальвезен и вытирает руку.

Но, взяв руку иомфру, консулу опять захотелось пошутить и он начал речь:

— Теперь, когда я держу эту руку в последний раз...

— Ха-ха-ха!

— Я говорю, хотя вы и невинны, я говорю, хотя мы и оба невинны... Да, так теперь, когда я держу эту руку, которую я не получил...

— Отпустите, господин консул!

— Которая не была мне дана... Нет ли у вас бокала или чего-нибудь, чтобы выпить, иомфру?

— Нет, серьезно,— говорит иомфру и оглядывается.— Пустите меня, тогда я принесу чего-нибудь из столовой.

— О, нет, благодарю вас, уж лучше не нужно. Но, иомфру, вы говорите, что я пришел, чтобы покончить с этим? Нет. Я хочу вам сказать только, что я нашел форму. Но это по-настоящему нужно было бы спеть: в ту минуту, когда пастор Лассен произнесет благословение над вами и адвокатом Рашем, меня найдут с веревкой в руке, ищущим крюка.

— Ха-ха! Нет, это невозможно!

— Вы знаете, что должно скоро случиться?

— Вон фру идет! — говорит вдруг иомфру Сальвезен.

Консул Фредерик выпустил ее руку.

Он отлично знал свою жену, он прямо пошел ей навстречу и рассказал, что иомфру Сальвезен выходит замуж за адвоката Раша, и он только что поздравил ее.

— Тебе нужно было держать ее за руку для этого? — сказала жена.

Консул Фредерик ответил:

— Я хотел быть вежливым. Она будет теперь совершенно в другом положении. Может быть, она со временем будет бывать у нас.

Юный Виллац мучился угрызениями совести. Он перестал писать письма Марианне. Как это случилось? Отчасти потому, что у него было так много дел. А потом, он в своем блаженстве доверился однажды матери, и она очень обеспокоилась этим и запретила писать. Когда он уверял ее, что любит Марианну сильнее жизни, она сказала: «Подожди лет десять, тогда увидим. Сначала ты должен стать чем-нибудь дельным и обрадовать отца».

Но когда он увиделся с Марианной на мосту и потом на кладбище, он не мог, чтобы не протянуть ей руку. Она посмотрела ему прямо в глаза, притянула его к себе и стояла, чуть не прижимаясь к нему и смотря на него. Она была так необузданно нежна.

Они встретились перед отъездом; юный Виллац пошел прогуляться. Марианна стояла на дороге. Около моста росли ивы, и они остановились под ними. Юный Виллац был одет по дорожному и ждал только прихода парохода. Но несмотря на то, что времени оставалось так мало, он не говорил ничего. Куда девались все слова из его сердца и головы? Марианна тоже молчала. Они стояли оба и щипали ветви ивы.

— Я сегодня уеду, — сказал он.

— Да.

— Уже скоро!

— Феликс тоже уедет, — ответила она на это. — Он уедет в Мексику.

— Неужели?

— Да. Он не хочет учиться. И я тоже уеду, в Христианию, — сказала Марианна. — Мне и хочется и не хочется.

— Христиания это не Берлин. Бояться нечего.

— Ты больше не можешь писать мне, — сказала она.

— Могу. Но у меня не будет времени. Мама сказала, что нужно трудиться, чтобы быть чем-нибудь. Марианна нагнулась к нему, и он обнял ее и, потеряв всякое самообладание, она попросила его писать по воскресеньям. В воскресенье вечером, объяснила она.

— Да нет, я не могу.

— Я написала тебе много писем. Я писала вчера и сегодня. Вот посмотри!

И она подала ему несколько писем.

— Вот!

И Виллац протянул руку, взял письма и спрятал их в карман. Он был нем от счастья и стыда.

Бог знает, как это случилось, — она была такая большая и такая милая, со своими индейскими волосами, висевшими на спине и медно-красным цветом лица, — Марианна нагнулась к нему, и он обнял ее и не знал сам, что делал. Они стояли обнявшись. Наконец он сказал:

— Позволь мне поцеловать тебя за письма, если ты думаешь, что это можно.

Она не ответила, но сделала движение, которое он принял за согласие. И губы их слились, и они оба закрыли глаза.

Но после этого они вскоре расстались. Они больше не могли смотреть друг на друга и говорить друг с другом. Они оба смотрели в землю.

— Прощай, — сказал он.

— Прощай, — ответила она.

Когда юный Виллац вернулся домой, Готфрид повел его в комнату отца. Старый согнувшийся поручик был очень серьезен.

— Я ждал тебя, — сказал он торжественно.

— Прости, я...

— Все прощаю. Гм... Тебя зовут Виллац Вильгельм Мориц фон Плац-Хольмсен.

— Да? — сказал сын.

— Да, — подтвердил отец. Так тебя зовут. Гм... А Виллац — твое сокращенное имя.

— Да?

— Ты можешь звать себя и Морицем, если тебе это нравится.

— Нет, зачем же?

— Я говорю, если тебе нравится.

— Да, но мне это не нравится.

— Разве, живя в Германии, не удобнее называться Морицем? Твоя мать... Мы должны чтить ее память...

— Но я уже записан именем Виллац, — возразил сын.

— Твоя мать называла тебя Морицем.

— Я не помню, чтобы слышал это когда-нибудь.

— Когда ты был маленький.

— А в последнее время никогда.

— Хорошо. Так нечего и говорить об этом. Гм... Ты извинишь, что я не пригласил никого к обеду сегодня?

— Конечно.

— Мы не могли сделать этого.

— А что, если бы ты поехал сегодня со мной, отец.

— Некогда, дитя. Впрочем, ведь ты теперь взрослый. Веди себя хорошо, Виллац. И счастливого пути.

ГЛАВА XVII

Если бы все было, как в старину, поручик поставил бы памятник на могилу фру Адельгейд; а что ему было делать теперь? Он, правда, заказал большую красивую бронзовую плиту, но это разве был памятник? Он, наверное, подарил бы церкви золотую чашу, если бы у него хватило средств на это? И так, у него не хватало средств?

Но могло ли быть иначе? Ему уже пришлось отказаться от органа. Ему не удалось даже заказать портретов Адельгейд для галереи своих предков! Это глубоко оскорбляло его. И потом тут был маленький Готфрид — надо было сделать что-нибудь для него. А Паулина? И ее нельзя было обидеть.

А лопарь Петер, он ведь был когда-то рейткнехтом фру Адельгейд!

Ах, да! хорошо, что Адельгейд вовремя умерла. Она не вынесла бы этого; ее пение умолкло бы. Бывают несчастья в семьях, которые превращаются в настоящее благословение. Небо оказывает милосердие, отнимая у людей тех, кто им дорог.

Так говорят гуманисты.

Но когда консул Фредерик спросил, вернется ли юный Виллац в Берлин, это было уже смешно.

Куда же ему было деваться, не оставаться же дома, чтобы любоваться несчастьем отца? Бедному Фредерику не повезло в жизни. Он не мог понять даже того, что дело шло о молодом Виллаце Хольмсене, который жил за границей и только изредка приезжал домой.

Но поручик никогда не жаловался. Он молчал из гордости, как подобает воину и светскому человеку с твердой волей.

Может быть, поручику не было никакого дела до жизни! О, тогда он не думал бы об этом целые дни и не ворочался бы в своей постели целые ночи. Траурный год еще не

прошел, как он уже начал заводить свои порядки; его терпению пришел конец. Он решил опять устраивать литературные вечера.

Маленькая Паулина была у него горничной, кто-нибудь должен же был быть горничной, а она была такая милая и тихая, и у нее были такие хорошие голубые глаза. Поручику для перемены опять захотелось быть пашой; он позвал Давердану.

Она явилась не скоро; он лежал на диване и с удовольствием думал, что она теперь моет руки. Она вошла, сильно раскачивая на ходу бедрами и пробудила в нем самые опасные надежды. Он лежал, засунув обе руки в карманы, грубый и злой. Она хотела уйти и принести книгу, потом вернулась и все раскачивала бедрами.

Настал светлый летний вечер, он начал озиаться в комнате, смотреть на мебель и картины, и увидел большой портрет Адельгейд, азбуку и игрушки юного Виллаца,— все старые вещи... Ушло время.

Ушло.

Он разжал кулаки в карманах и стал думать о том времени, которое ушло. Сколько лет проживет он еще? Он стал такой сухой и костлявый!

Когда он услышал, что Давердана вернулась, он вскочил и встал прямо и гордо. Что он с ума сошел? Его прежняя горячность овладела им, он стоял прямо и неподвижно. Когда Давердана вошла, он сказал ей, что она ловкая девушка, что она всегда была ловкой девушкой, одним словом, гм...

Его припадок прошел, и он кончил тем, что сказал:

— Подожди немного, останься здесь!

И поискав в столе, он вынул кредитную бумажку и дал ей.

Давердана покраснела, поклонилась и поблагодарила. Всякое слово поручика,— похвала или порицание,— имели свой вес. Давердана была так удивлена, что продолжала стоять после того, как он уже кивнул ей. Разве не нужно было читать или играть в шашки? И поручику опять пришлось кивнуть и сказать:

— Больше ничего.

Дело было сделано.

Как однажды он решил по отношению к жене: «Это будет в последний раз! — так решил он теперь о своей жизни. Отчего все его зрелые годы были так пусты? Он мог сделать единственное, что остается сделать старику, чтобы не быть в тягость себе и другим: он мог стоять прямо и гордо. Стоило

ли братья за дело теперь и устраивать себе нищенский обед за большим столом? Он был гостем, которого изгнали, но он не хотел ссориться со слугами из-за остатков пира, он ушел прямо и гордо. Он не хотел добиваться теперь того, чего он не получил раньше. Была ли это месть самому себе? Да, месть — себе и всем, и всему — прямо и гордо. Это было последний раз.

Маленькая Паулина осталась горничной. Но так как у поручика была потребность тратить деньги при всяком удобном случае, то и Паулина получила такую же бумажку, как Давердана. Это была одна из тех новеньких бумажек, которые ему было почти стыдно отдавать.

— Неужели ты так довольна? — сказал он Паулине.

Поручик иногда разговаривал с ней.

— Да, благодарю, — отвечала Паулина.

— Хочешь еще такую же?

— Нет, благодарю, нет.

И он продолжал говорить с ней о том, чему она будет учиться.

— Подумала ты об этом? Хочешь учиться шить, например?

Нет, Паулина предпочитала стать экономкой.

— Ты хочешь? Экономкой? Так! Так этому тебя может поучить иомфру Сальвезен, это очень неплохая мысль. Я поговорю с иомфру Сальвезен.

Подобные же разговоры он вел с телеграфистом Бардсеном о маленьком Готфриде; он думал о том, не учить ли мальчика телеграфному ремеслу. Он был такой маленький, из него не могло выйти порядочного рыбака. А фру так хорошо выучила его языкам...

Телеграфист Бардсен был замечательный человек. Он сидел и играл на почерневшей звонкой виолончели, когда вошел поручик.

Тогда он встал и поклонился. Когда он услышал, зачем поручик пришел, он ответил:

— Непременно, господин поручик, если вы этого желаете.

Это была не ирония, а вежливость, как будто бы поручик по-прежнему был важной персоной в Сегельфоссе.

Поручик был совершенно так же вежлив и сказал, что он был очень благодарен.

Когда поручик вышел, телеграфист подошел к полке с занавеской, выпил несколько глотков прямо из горлышка и опять взялся за виолончель. Его широкие плечи так и ходили во время игры.

Дни протекали. Поручик старел и старел, однако, держался гордо. Но какое горе заставляло сесть волосы господина Хольменгро, у которого не случилось никакого несчастья? Это было странно.хлопоты похорон не могли утомить его так, а смерть фру Адельгейд не касалась его, она была не его жена.

Феликс уехал. Феликс не хотел ничему учиться, объяснял отец, поэтому он должен был вернуться к своим родным в Мексику. Жаль было смотреть, как господин Хольменгро седел от огорчения. По правде говоря, никому в Сегельфоссе не было сладко жить. Даже Давердана ходила с опущенной головой и начинала скучать. Даже Давердана со своей юностью и рыжими волосами. Она стояла один раз у колодца за постройками. И тут же стоял почему-то господин Хольменгро, и Давердана плакала.

Экономка иомфру Сальвезен подошла к ним и видела это.

«Что же это, свет, что ли, перевернулся?» — подумала она. Потом вдруг сообразила: «А как легко могло бы случиться, что и я стояла бы перед господином Хольменгро и плакала!»

Да, всем жилось несладко. У Пера-лавочника сделался удар. У того самого Пера-лавочника, который постоянно взвешивался и боялся похудеть. У него одна сторона тела отнялась, и окружной врач Мус объявил, что следующий удар убьет его окончательно. Да, так сказал окружной врач Мус. Перу-лавочнику казалось тоже, что свет перевернулся. Он ничего не мог понять. Одна половина его тела, которая лежала тут же на его кровати, умерла? Он всю жизнь рботал и не мог представить себе жизнь без работы. Он был, так сказать, в полном расцвете сил; он никогда не умел так хорошо считать, как теперь. Он никогда не торговал так хорошо шелковыми платками, машинными чулками, всяческими лампами с подвесками... Неужели это конец? Никому не нужно было самому работать по вечерам. Все можно было купить у Пера-лавочника! Он продавал готовые грабли, топорща, жженный и молотый кофе в красивой упаковке, продавал масло в жестянках из Америки. В старину приходилось самому резать табак — Пер-лавочник и этому помог. Он продавал готовый резаный табак. А сапоги? Приходил, бывало, Нильс-сапожник в усадьбу и на весь год нашивал сапог на всю семью. И сам дубил кожу, и сам смолил нитки, и чего он только не делал, этот Нильс-сапожник? Теперь Пер-лавочник торговал городскими сапогами; они были тонки, как сукно, и блестели как зеркало.

Поэтому нельзя сказать, что Пер-лавочник не делает ничего. Он работал все время и вот вдруг слег в постель. Впрочем, он продолжал вести свою торговлю через жену и детей. Он властно распоряжался ей в своей постели, и дело не стояло.

Когда он был здоров, он умел внушить к себе почтение. Он и теперь поступал так же. Когда ему нужно было кого-нибудь, он стучал палкой в пол. Он приглашал доктора, приглашал знахарей и знахарок, он пил рыбий жир и оподельдок, накладывал холодные компрессы — это было, впрочем, хуже всего — и вот, наконец, он постучал палкой и приказал позвать пастора, — не поможет ли это?

— Со мной случилась неприятность, хуже которой на свете нет.

Пастор Лассен утешал его тем, что одна половина у него осталась здоровой и что он остался жив.

— Жив? Не-ет. Видите вот эту палку? Я столько же жив, сколько она.

Чтобы смягчить его, пастор Лассен говорил ему о Христе и его страданиях, что была его болезнь в сравнении с этим! Он должен был благодарить Бога за здоровую половину.

— Да что вы все время говорите о здоровой половине? — рассердился больной. — Я вам скажу, что и она у меня теперь не вполне здорова.

И Пер из Буа указал на недостатки своей здоровой половины.

— А посмотрите на это?

И он взял онемевшую руку и швырнул ее об стену, чтобы пастор убедился в том, что она ничего не чувствует.

— Вот об этой-то половине я и говорю. Вот она лежит тут, а если бы я не видел ее, я не знал бы, что она у меня есть. Какой толк в ней? Даром только хлеб ест.

Он поднял неподвижную руку, дергал ее, вертел.

— Это называется рукой? Тьфу! Прости мое согрешение!

И он опять бросил ее об стену.

Пастор Лассен опять утешал его и чтобы доставить ему удовольствие, называл его Иенсен.

— Видите ли, милейший Иенсен, вы не можете жаловаться, чтобы вам не везло в жизни. Вам всегда везло. Надо потерпеть теперь немного. У всех бывают неприятности.

Больной терпеливо повернулся и спросил:

— Нет, вы, кажется, не можете мне помочь? Неужели вы не знаете никакого средства? Вы, пасторы, знаете то, что мы, простые смертные, не знаем.

— Конечно, конечно, — ответил пастор, — средство есть.

И он решил исповедать Пера-лавочника, в действительности и просто для того, чтобы узнать, что это был за человек в глубине души.

Он встал, тщательно запер дверь и вернулся к больному. Пер-лавочник думал, что это приготовление к какому-нибудь таинственному заклинанию и терпеливо ждал. Пастор пристально смотрел ему в глаза.

— Я спрашиваю вас, Иенсен, как духовник, не согрешили ли вы когда-нибудь этой больной рукой?

Пер-лавочник смотрел на него разинув рот.

— Согрешил? Рукой?

— Может быть, вы обвесили или обмеряли кого-нибудь. Я спрашиваю вас, Иенсен, как духовник.

Рот Пера-лавочника закрылся сам собой, напряженное ожидание перешло в ярость, он схватил палку.

— Обвешивал! Обмеривал! — закричал он. — Что? Так вот зачем ты пришел? Убирайся домой и говори там речи своему отцу и своим людям. Ты, кажется, с ума сошел!

Он так разозлился на духовника и господина Лассена, что называл его Ларсом и говорил ему ты.

Пастор ушел.

Но больной крикнул ему вслед.

— Кланяйся отцу, да скажи ему, чтоб он долги свои платил!

Пастор Лассен вошел в комнату родителей и устроил им небольшую сцену.

— Что же будет с Даверданой? Сколько времени она станет все откладывать свою свадьбу? А ты что сам будешь делать, скажи пожалуйста? Все так и будешь сидеть на этом участке и отдалживаться всем и каждому? Пер-лавочник требует деньги!

— Ты должен устроить это сам! — продолжал он. У меня нет денег, чтобы помочь тебе, иначе я тебе все отдал бы. Но все, что я зарабатываю, идет на книги и учение. Ищи выхода сам.

— Да, конечно, — сказал отец. — Но это не так просто. Где же я возьму денег? Поручик не хочет продавать мне участок. Приходится оставаться арендатором.

— Ты его спрашивал?

— Я спрашивал господина Хольменгро.

Молание. Сын раздумывал.

— Это Хольменгро вряд ли сделает. Во всяком случае, я не хочу, чтобы вы портили мне карьеру здесь.

— Конечно, ты не хочешь этого. Чего это ты не хочешь, чтобы мы портили?

— Моей карьеры.

— Конечно, конечно. Я пойду сегодня же к Хольменгро и поговорю с ним.

Поручик перестал ездить верхом на свою утреннюю прогулку. Он ходит теперь пешком. Это удивляет всех, кроме него самого. Ведь лошади по-прежнему стоят у него в конюшне, а лопарь Петер ездит на них каждый день для того, чтобы они не застаивались. Отчего поручику не ездить лучше самому?

Это опять были выдумки. Он, наверное, хотел заранее привыкнуть обходиться без лошадей. Он страдал бессонницей и тоской.

Он часто ходил вниз к кирпичному заводу и шагал там одиноко, разговаривая сам с собой. Потом по несколько дней не появлялся там, брал грабли и лопату и пересаживал цветы в саду. Он копал клумбы на таких местах, что люди с удивлением смотрели на него.

— Неужели и третий Виллац Хольмсен принимается искать в саду клад предков?

Вот до чего дошел этот гордый и самоуверенный человек. Может быть, бессонница довела его до этого? Но зачем эти цветочные горшки из оранжереи, которые он носил с собой всюду, где он рыл, и которые, конечно, были только для вида...

Во внешности его нельзя было заметить ничего особенного. Если он страдал, то он отлично скрывал это. С тех пор, как старый рыцарь стал ходить пешком, кривизна его ног стала еще заметнее. Он казался сторбленным оттого, что всегда смотрел вниз. Но был ли он вял и слаб? Он?! — Как сталь!!

Когда он узнал, что экономка собирается выходить замуж, он принял в этом очень деятельное участие, хотя это ему было вовсе невыгодно.

— Разумеется, — ответил он. — Какой день вы хотите назначить? Не откладывайте лучше!

Но потом ему показалось, что его усердие может быть понято превратно и он прибавил:

— Я не тороплю вас, напротив. Я не могу себе представить, что я буду делать без вас.

Его похвала была высшей наградой для иомфру Сальвезен, и она, преисполненная благодарности, ответила, что ни за что на свете не уедет, прежде чем не найдется другая на ее место.

— Впрочем, маленькая Паулина стала в последнее время очень хорошей хозяйкой.

— Да? Очень рад. Гм... Рано или поздно мне придется все равно устроиться где-нибудь в двух комнатах. Так что, не откладывайте свою свадьбу из-за меня.

— А разве господин поручик не будет жить здесь в усадьбе? Простите, но где же будет жить тогда молодой хозяин, когда он приедет домой.

— Он не приедет домой, у него не будет времени.

— Но когда-нибудь он все-таки приедет!

— Нет. Я свободен, я могу поехать к нему. Вы не читали о нем в газетах? Он музыкант, он сочиняет.

— Во всяком случае, господин поручик позволит мне остаться еще на год?

— Нет. Но я все-таки вам очень благодарен. Что вы еще хотели спросить?

Иомфру решается заговорить.

— Мой жених думает, что нам мало накопленных денег для того, чтобы жениться. У нас нет ничего, кроме дома. У нас нет земли.

— Земли?

— Несколько десятин всего, господин поручик! только для небольшого молочного хозяйства.

— Это надо как-нибудь устроить. Гм...

— Ах, Господи! Если бы вы это сделали! — воскликнула иомфру Сальвезен. Мой жених несколько раз просил господина Хольменгро поговорить с вами об этом! Но господин Хольменгро отвечал всякий раз, что господин поручик не хочет продавать землю.

Поручик насторожил уши, он не спросил ничего, но заставил иомфру повторить рассказ.

Потом он кивнул головой и сказал:

— Вам это необходимо! Я устрою вам клочок земли, иомфру Сальвезен.

Поручик ходил взад и вперед у старого кирпичного завода, измеряет и качает головой. Отчего он не принимается сейчас же за дело?

Это были тяжелые дни, он сам не знал, как ему поступить; он мерил и говорил сам с собой, как будто бы то, что он только что слышал, совсем не касалось его. Так — господин Хольменгро распорядился всем имением и от его имени заявлял, что он не хочет продавать. И вот бедная иомфру Сальвезен, которая столько лет служила ему и Адельгейд, не могла даже получить клочка земли от своего старого хозяина!

Поручик снял кольцо с правой руки и надел его на левую. Станный человек! Он уже несколько месяцев

забывал переодевать кольцо. Он мог пронести его все время на левой руке! А этого он ни за что не хотел делать из уважения к памяти Адельгейд. Теперь он опять передел его, как будто он мог распоряжаться чем-нибудь, как будто можно было что-нибудь спасти. Это была маленькая комедия, которую он разыгрывал перед самим собой, невинная причуда, которую его несокрушимая воля возводила на степень чего-то важного.

Он решил идти домой и составить опись своей движимости.

Он ушел от кирпичного завода, но отойдя на небольшое расстояние, оглянулся и кивнул. И это опять была комедия. Он много раз уже обдумывал эту перестройку старого кирпичного завода в жилой дом, но дело не двигалось с места.

Он шел и смотрел под ноги по своему обыкновению и следил за следами мужских ног, направлявшихся к усадьбе. Он успел подготовиться к тому, что его ожидала неприятность, и вовремя собрался с силами.

Господин Хольменгро ждал его.

Они раскланиваются и изъявляют оба большую любезность, дружбу даже. Они входят в дом, садятся, и для начала начинают говорить о совершенно безразличных вещах. Господин Хольменгро немножко опустил, он худ и бледен, он не начинает говорить о своем деле, но поручик торопит развязку и помогает ему.

— Вы пришли очень кстати, господин Хольменгро, мне нужно поговорить с вами кое о чем.

Хольменгро кланяется.

— Моя экономка выходит замуж; она и ее жених желают купить клочок земли в... в Сегельфоссе. Гм... Я охотно устроил бы это дело ввиду больших заслуг иомфру Сальвезен. Но при настоящем положении дел я не могу продавать.

Господин Хольменгро молчит с минуту, потом говорит, улыбаясь:

— Это вполне зависит от господина поручика!

— Нет, нет. Я не хочу уменьшать залога.

— Залог? Ну, это, положим, не мешает вам продавать.

Ну, скажите пожалуйста, кто разберет этого Хольменгро? Поручик так привык ожидать всегда худшего, например, что его попросту выгонят, что теперь он испытывает действительную радость. Лицо его просияло, и он тихо надел кольцо опять на правую руку. Перед ним сидел господин Хольменгро, он говорил с ним, и поручик был опять благоразумен.

Господин Хольменгро и сам радовался. Что происходило в его голове? Немногое, почти ничего. Поручик сам облегчил ему вопрос, ради которого он пришел, даже совсем разрешил его. Господин Хольменгро чувствовал себя последнее время отвратительно. Неудачное дело, которое он затеял в дни своего безумия, угнетало его и не давало покоя. И в довершение всего к нему явилась работница Давердана и горько плакала перед ним. Но и этого было недостаточно. Ее отец, Ларс Мануэльсен, стал могущественным человеком, он мог теперь говорить, мог даже угрожать. Неприятности без конца! Ларс Мануэльсен остановил сегодня господина Хольменгро на дороге и требовал объяснений.

— Я очень вам благодарен, как много раз прежде, господин Хольменгро,— говорит поручик.— Само собой разумеется, что сумма, за которую я продам землю, будет выплачена вам мною!

— О нет! Я не нахожу, чтобы продажа этого клочка земли уменьшала стоимость имения.

— В таком случае, я не могу продавать,— говорит поручик.

И оба осыпают друг друга любезностями.

— В последнее время,— говорит господин Хольменгро,— ко мне уже несколько человек обращались с просьбой поговорить с вами о покупке земли. Я ответил им, что пока вы не хотите продавать. Я не хотел, чтобы они приходили и беспокоили вас в эти тяжелые дни, когда вам нужен был покой.

— Благодарю, я вполне одобряю вас.

— Но за одного из них я хотел бы замолвить теперь словечко.

— Пожалуйста.

— Благодарю вас. Это — Ларс Мануэльсен. Он вбил себе в голову, что не может оставаться арендатором, когда у него сын стал пастором. Он непременно хочет быть собственником.

— Вот как? Ларс Мануэльсен!

— Да, Ларс Мануэльсен. Он положительно замучил меня этой просьбой, останавливает меня на дороге и все время говорит об этом.

— Сумасшедший!

— Если господин поручик хочет избавить меня от этого человека, то я устрою это дело. Деньги Ларс уплатит вам через меня.

— Я совершенно полагаюсь на вас, господин Хольменгро.

— Собственно говоря, Ларс Мануэльсен хочет совсем не так мало земли, целых две десятины. Это значит, всю землю между его домом и старым Оле Йоганном.

Жизнь кипела в Сегельфоссе, а настроение оставалось тяжелым. Единственный человек, легко смотревший на жизнь, был господин Хольменгро. Это был странный человек. У него были все причины на то, чтобы печалиться, а он пел и веселился. Может быть, Бог наделил его странным легкомыслием. Его слуга женился там счастливо, а он был отвергнут. Хорошо, иомфру Сальвезен, выходите замуж, берите своего адвоката! Неизвестно, с горя или по другой причине, но господин Хольменгро посреди зимы устроил в Сегельфоссе общество пения.

Поручик с некоторым затруднением перебрался в свои две комнатки, переделанные из кирпичного завода и велел Мартину-работнику перевезти туда пианино и кое-какую мебель.

Жилище было прекрасно. Оно понравилось поручику. Он начал с того, что попробовал переночевать там. Ночь прошла благополучно, он затопил печь, зажег лампы и свечи, стиснул зубы и заставил себя заснуть. Через неделю он попробовал переночевать еще раз. Ему было как-то странно на этом новом месте; река шумела так близко, но он опять заставил себя заснуть. С тех пор он ночевал на заводе каждый день, а в дом приходил только обедать. Он говорил иомфру Сальвезен и писал сыну в Берлин, что нашел средство против бессонницы.

Настала весна, а поручик не нанимал рабочих. Он заставлял Мартина-работника собирать повсюду камни, чтобы строить фундамент. Землю под фундамент он копал сам. И вот однажды, во время этого занятия он получил письмо от сына да так и остался на месте, как прикованный.

На каком-то аукционе, около роскошного рояля, стояла дама и плакала. Рояль был ее хлебом насущным. Что же мог сделать молодой Виллац, как не выкупить для нее рояль? Это было дело чести.

«Дорогой отец,— писал он,— сумма довольно большая, я, может быть, не должен был поступать так? Но это был такой случай. Мы все, музыканты, пошли на аукцион инструментов. Одна дама плакала, это, верно, была учительница, а мы стояли и смотрели на нее. Тогда я подумал о тебе и решил, что я должен помочь ей. Деньги нужно уплатить через месяц. Что же мне было делать, отец?»

— Довольно!— сказал поручик себе самому и письму.— Ни слова больше. Денег? Конечно!

Он отправился к господину Хольменгро. Дорогой он заметил, что очень взволнован. Его сын сделал ему честь, он восхищался им. Молодой Виллац, представитель рода, был таким же, как его изящный и великий отец. Я расскажу ему все в двух словах.

Поручик был достаточно умен для того, чтобы не надеяться на господина Хольменгро на этот раз. Он несколько раз уже замечал, что богатый фабрикант точно отдалается от него. Он, например, прекрасно видел, что поручику не хватало рабочих, но не послал к нему ни одного человека. А вместе с тем, тот же самый господин Хольменгро был прежде всегда так услужлив.

— Прошу позволения обратиться к вам сегодня по секретному делу,— начал поручик.— Чтобы не задерживать вас напрасно, я буду краток. Я попрошу вас прочесть эту бумагу; это список моей движимости. Я хотел бы продать это.

— Лучше всего устроить аукцион,— ответил тотчас же господин Хольменгро.

Поручик понял, что он пришел напрасно. Господин Хольменгро не взял даже из его рук списка. Это было слишком ясным отказом.

— Я не занес сюда самых ценных вещей,— продолжал поручик, еще не совсем потерявший надежду.— Но это можно сделать. Картины старых мастеров, которые вы, вероятно, видели у меня, большие мраморные статуи, серебряные статуэтки. Вы помните, вероятно, высокую женскую фигуру с амфорой на плече, потом четыре времени года,— все ценные произведения искусства.

— О, я не сомневаюсь!— сказал господин Хольменгро.— Но я сейчас не могу покупать.

Поручик побледнел. Оставалось только молчать.

Тогда заговорил господин Хольменгро. Ему так не везло, он потерял большую сумму; дело шло не о мелочах, а о целом состоянии. Ему, может быть, не следовало говорить об этом и обнажать свои неудачи. Но когда-нибудь да нужно высказаться. Его считали королем, но ведь и у королей были свои недостатки. Король тоже мог потерять равновесие.

Кроме того, господин Хольменгро был уверен, что у него была слабость ко всему утонченному, благородному. Ему доставляло нравственное удовлетворение бывать у хозяев Сегельфосса. Но какой толк помогать теперь этому свергнутому королю, обитателю старого кирпичного завода?

— Ничего не поделаешь, — сказал он, — нам обоим надо сокращаться.

Но это показалось поручику слишком фамильярным, и он ответил:

— Мне не в чем сокращаться.

— Вы уже сделали это. Вы живете на кирпичном заводе?

— Я сплю на кирпичном заводе, — поправил поручик, снова овладевая собой. — Это лучшее средство, какое я когда-либо находил против бессонницы.

Потом, сжигая корабли, он добавил:

— А кстати, я хоть и не собирался говорить об этом сегодня, но, может быть, мне лучше выяснить это у своего кредитора. Я живу почти все время на заводе, я старею, может быть, вы как-нибудь иначе распорядитесь управлением Сегельфосса?

— Вот что!

Господин Хольменгро сделал вид, что он очень удивился, на самом же деле он, может быть, не удивился совсем. И между ними произошел следующий разговор.

— Я должен взять себе имение? — спросил господин Хольменгро.

— Оно не принадлежит мне больше.

— Но я не могу управлять им.

— Я могу, по мере сил, продолжать управлять им.

За это господин Хольменгро выразил свою признательность, — в душе же он, может быть, вовсе не был признателен.

Идя домой, поручик печально качал головой.

— Напрасно! Что же мне теперь делать?

Он раскаивался в том, что ходил к заводчику. Это был бы слишком легкий способ выйти из тисков. Не думай, что в жизни все устраивается легко, и не будешь получать уроков.

Против господина Хольменгро он ничего не имел. Заводчик часто помогал ему, и охотно, теперь неудача постигла его самого.

ГЛАВА XVIII

По лицу поручика нельзя было заметить ничего особенного, но он переживал тяжелые дни. Он с удвоенным усердием занимался пересадкой цветов в грунт. Он копал решительно всюду, и можно было подумать, что он никак

не найдет места, где его цветам было бы хорошо. Прошло несколько дней, а он не оставлял своего занятия.

Он телеграфировал сыну, что вполне одобряет его поступок и, разумеется, вышлет деньги. Их нужно было достать во что бы то ни стало, если бы даже пришлось ехать в Трондхейм с серебром. Но хуже и смешнее всего было то, что у него не было денег даже на эту поездку.

Всякий человек на месте поручика потерял бы мужество, но воля поручика только закалялась. Он взял только палку, чтобы опираться на нее во время прогулок. Эта палка осталась после его отца, большого хозяина, она была с золотым набалдашником и серебряным шнурком, за который можно было вешать палку на руку; эта палка очень шла поручику и нисколько не уменьшала его достоинства.

Однажды на прогулке он встретил окружного врача и адвоката; оба поклонились глубоко несчастному человеку; доктор поклонился также потому, что он был образованный человек. Он считал поручика полоумным королем без королевства, у которого не было ни гроша за душой, и который не мог держать даже работника; однако, все-таки поклонился ему. Но поручик ответил так равнодушно и так небрежно, что потерял последнюю симпатию доктора и адвоката.

Адвокату Рашу удалось достигнуть, чего он хотел. Он купил участок земли, который ему был нужен, но он не обязан был вечно таять от благодарности. Иомфру Сальвезен он решил взять на будущей неделе из усадьбы и жениться на ней. Как поручик будет обходиться без экономки, его вовсе не касалось.

Будущее поручика было мрачно. При этих обстоятельствах он, конечно, бросил копать землю для фундамента? Ничуть!

Осень была уже недалеко, а к зиме фундамент должен быть готов. Поручик копал, а работник возил камни. Его золотая, благословенная Богом, воля не сдавалась.

По вечерам он сидел у себя на кирпичном заводе, отдыхал и раскладывал пасьянсы из карт, которые он сам подклеил и починил заплатками. Он прятал их очень тщательно, чтобы Паулина не видала их. Рукам его пришлось много испытать за последнее время, они были все в мозолях и царапинах. Ему самому неприятно было смотреть на них; они стали некрасивые и погубели. И он складывал карты и убирал их. А сам садился и погружался в свои невеселые думы.

Вы думаете, что он сидит согнувшись и говорит с самим собой, как человек, потерявший силы в борьбе? Или вы думаете, что он опустил голову на руки и поджал ноги, как несчастный комок без души и воли?

Вовсе нет!

Он, конечно, чувствует себя плохо, ему уже шестьдесят девять лет, денежные заботы мучат его; но он говорит сам с собой так же мало, как с другими, он молчит всегда, совсем. Только с Паулиной он говорит иногда, когда она приходит прибирать его комнаты на кирпичном заводе.

— Ты, верно, находишь, Паулина, что у меня скверный вид, но ты ошибаешься, Паулина, я никогда не спал так хорошо, как теперь.

Паулина рассказывает ему, что в четверг иомфру Сальвезен выходит замуж; поручик кивает головой и говорит, что непременно запомнит это.

И для большей уверенности переодевает кольцо на левую руку.

Он устроил свое хозяйство на кирпичном заводе с особенной бережливостью; он любил беречь даже спички. Как будто это могло помочь ему. Для того, чтобы зажечь лампу в сумерки, он становился на колени перед камином и раздувал уголья.

Эту привычку он сохранил до конца дней. Но он никогда не бросался в глаза своей бережливостью. Однажды, когда он заметил, что его форменная куртка разорвалась на локте, он тотчас же отправился в дом и переменял куртку.

Он рано ложился и рано вставал, может быть, для того, чтобы беречь керосин, может быть, просто ему хотелось поскорее приняться за работу.

Снег уже выпал, но земля была еще мягкая, только сверху образовалась легкая корочка. Он отправлялся на прогулку со своей палкой. Утро морозное, на небе еще кое-где мерцают бледные звезды, из Сегельфосса, из его усадьбы, доносится звонкий крик петуха. Он останавливается на мосту и смотрит на дом Хольменгро. Нет, там не горит ни одного огонька.

Под ним бежит река и шумит, и шумит вечно. Проносится ветер, который проснулся так же, как он. Он слеп и невидим, у него нет тела, но он здесь. Когда на мосту становится слишком холодно, поручик идет вниз, на пристань. Он становится под крышу и долго смотрит на море.

Потом слышатся людские звуки; кто-нибудь, верно, встает? Шум раздастся снова. Но это не тот шумит, кто

встает, а кто уже встал; он слеп и невидим, у него нет тела, но он здесь. Через некоторое время из дома выходят Ларс Мануэльсен, а за ним помощник заведующего пристанью. Это тесть и зять. Они молча возятся с каким-то мешком, который взваливают Ларсу на спину. Когда Ларс замечает поручика, он уже не успевает отвернуться и кланяется ему глубоко и с умоляющим видом. А зять исчезает за дверью.

«Была, наверное, ночная работа,— думает поручик,— у каждого свой труд и свои заботы».

И он смотрит на человека, уснувшего на мешках в углу.

Он решил забрать серебро и отправиться в Трондхейм с почтовым пароходом. Заплатить он мог по приезде в город, его все знали. Он решился лишить себя некоторых из своих сокровищ, завернуть несколько ценных украшений в вату и взять их с собой. Нужда заставляла его расстаться с ними.

Он кивает головой, но лицо его непроницаемо. Когда он возвращается к себе на кирпичный завод, рассветает еще не совсем. Долина окутана полумраком, и он идет по дороге подобно видению, высокий, прямой.

Он и не подозревает, что идет ему навстречу. Так как он собирается в Трондхейм, он, верно, не будет уже рыть яму для фундамента? Напротив, он хочет кончить работу и привести все в порядок. Он хочет привезти каменщиков из Трондхейма. Позавтракав в большом доме, он отправился прямо на кирпичный завод.

И вот, случилось что-то.

Он копал часа два на углу дома, как вдруг лопата его ударилась о дерево. Да, о дерево. Он окопал кругом этого дерева, взял совок, выбросил землю, опять стал копать и перед ним появился ящик. И точно молнией мелькнуло у него в уме. Это клад!

Если первый Хольмсен, действительно, зарыл клад в землю, то это было именно здесь. Поручик не верил в сказки, но это было фамильное предание. Он долго старался вытащить ящик из земли, но должен был отказаться от этого. Тогда он сломал крышку и заглянул в темную глубину.

В ящике было несколько шкатулок и маленьких ящичков, все они были тяжелы и наполнены золотыми монетами. Поручик принялся перетаскивать их в дом, но он был так слаб, как никогда прежде. Его колени дрожали каждый раз, когда он возвращался, все больше и больше. Хорошо, что он был один.

Мартин-работник два раза приезжал с камнями для фундамента. Поручика не было видно. Настал полдень, и Мартин уехал домой.

Поручик нигде не показывался и Паулина пришла, наконец, на завод искать его.

Поручик сидел у себя в комнате, он был совсем серый в лице от боли. Большое горе не сразило его так, как большая радость. Пришлось послать за Мартином-работником, чтобы отвести его домой.

В продолжение дня он несколько раз ездил с завода в дом и обратно. Ему нужно было многое устроить, а времени было мало. Завтра он решил ехать в город. Он уложил свой сундук на заводе, наполнил его какими-то таинственными свертками, тяжелыми как свинец. Это старое золото, испанские дублоны, английские гиней — это клад. В старых усадьбах всегда есть запасы на всякий случай!

На другой день поручик поехал в Трондхейм. Он был по-прежнему совсем серый от боли. Казалось, что вся кровь ушла из него. Но он стоял на пароходе прямой и гордый и опирался на свою палку с золотым набалдашником.

Заводчик очень занят. Он устраивает спевки своему смешанному хору. Его слуга поет басовые соло. Хор разучивает хоралы и свадебные гимны для свадьбы иомфру Сальвезен и адвоката Раша. Это было очень хорошо со стороны господина Хольменгро, взяться за это дело и показать свое сочувствие к этой свадьбе. Конечно, он одобрял ее, приходилось плыть по ветру. Но он был недоволен хором и говорил:

— Мы воем, как звери. Разве это хор? Это труба пароходная. Мы ни за что не будем готовы вовремя.

Но однажды вечером он пришел на спевку и радостно объявил, что свадьба отложена на неделю, и что он надеется научить их петь, как людей. И он опять принялся за хоралы.

Отчего же свадьба была отложена? Да из уважения к господину Хольменгро. Судьба захотела, чтобы господин Хольменгро был именно в это время удручен своими неудачными спекуляциями. Когда его пригласили на свадьбу, он наотрез отказался. Он был богатый человек и, конечно, мог отказаться. А добродушие? Конечно, он был добродушен, но он был также крупным дельцом, а дело его не ладилось.

— Благодарю, — ответил господин Хольменгро за приглашение, — но на этих днях я не могу. Прошу извинить меня.

Для чего ему было нужно принуждать себя? Он был человек самобытный, его воспитанность не напускная, но он мог показываться в своем настоящем виде. На это он имел достаточно денег.

Но разве можно было устраивать свадьбу без господина Хольменгро? Адвокат Раш поговорил об этом со своей невестой, и они оба пришли к заключению, что без господина Хольменгро нельзя. У них будет доктор, у них будет пастор, обладающий известным именем, Ларс Лассен, у них будет судья из Ура с женой, — вот и все. Никто из родных жениха и невесты не придет на свадьбу. У бедняжки иомфру Сальвезен совсем не было родных, а родственники жениха все были чиновниками на юге, их нельзя было беспокоить ехать так далеко. Это были люди, которым Нордланд достаточно надоел в свое время. Телеграфист Бардсен не был приглашен, потому что с ним никто не был знаком, он никому не сделал визита. Тоже манеры, нечего сказать! Разве можно не делать визитов? Кто же еще оставался? Поручик уехал, иначе он непременно пришел бы на свадьбу иомфру. О, конечно! Несмотря даже на то, что он был так болен последнее время. Господин Хольменгро был тоже болен и тоже отказался. Кто же еще?

Но господин Хольменгро был необходим. Когда он услышал, что свадьба отложена исключительно из-за него, он был очень польщен этим и принял приглашение.

— Такое великодушие совершенно побеждает меня, — сказал он.

И свадьбу отпраздновали тихо и просто, но совсем, как подобает образованным людям. Было вино и речи, и телеграммы, и пение под окнами.

Пастор Лассен был такой славный. Он, положим, немного преувеличил торжественность, круглый воротник слишком пышно лежал у него на шее. Поэтому доктор Мус был вначале очень сдержан с ним. Но разве можно было кому-нибудь равняться с доктором Мусом, этим образованным человеком до кончика ногтей! Но после обеда доктор Мус немного смягчился и с удовольствием говорил с пастором о книгах и экзаменах. У них оказались совершенно одинаковые убеждения. Доктор Мус удивлялся даже, что пастор Лассен происходил не из образованной семьи.

— Как вам нравится здесь, на моей родине? — спросил пастор Лассен.

— А, да ведь знаете, здесь не то, что на юге. Но у меня здесь занятие. Придется потерпеть некоторое время.

— Да, таково уж нам всем — чиновникам. Я тоже не знаю, для чего мне оставаться здесь. Я нашел себе заместителя.

Доктор ответил:

— Я думал, что, так как это ваша родина и что вы так недавно уехали отсюда... Впрочем, ваше здоровье, кажется, страдает от здешнего климата.

— Да, я никогда не бываю совсем здоров. Мне здешний воздух вреден. Это, верно, от того, что я долго прожил на юге. Все время, пока я учился. И потом еще душевное состояние. Меня тянет к более крупной деятельности. Я нахожу, что только выдающиеся личности могут ужиться здесь на севере. Мой епископ говорит то же самое.

Но доктору показалось, что откровенность пастора зашла слишком далеко!

— До некоторой степени, пожалуй,— сказал он,— но это относится не ко всем. Вы скоро уезжаете?

— Через несколько дней, я уже укладываюсь.

Молодые получали в подарок хозяйственные предметы и серебро. Благодаря задержке свадьбы все подарки пришли вовремя. Поручик прислал невесте золотые часы с цепочкой. Это было наградой за долгую службу, и иомфру Сальвезен плакала от благодарности.

— Скажите пожалуйста, поручик ездил в Трондхейм и вспомнил обо мне! Нет человека лучше поручика.

Но адвокат Раш, который с социальной точки зрения несколько унижал себя этой свадьбой, поспешил осушить слезы благодарности своей невесте.

— Надо сознаться, милая Кристина, что тебя обрадовать очень легко.

— Вы видели часы, которые прислал поручик? — спросил доктор у пастора. — Он, должно быть, опять при деньгах?

— Да. Поручик человек загадочный. Я видел у него палку с золотым набалдашником дорожке, чем епископский жезл.

Доктор Мус пожал плечами. Ему очень хотелось бы поучить обоих, и поручика, и пастора.

— Часы, конечно, дорогие,— сказал он.— Но я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь дарил невесте на свадьбу часы.

— А ведь, пожалуй, и правда,— сказал пастор.— Я не подумал об этом.

А господин Хольменгро? Он явился на свадьбу. Он пришел поздно и всеобщее уважение очень льстило ему.

Очень может быть, что ему совсем не было весело, может быть, ему не доставало кого-нибудь, на кого он мог бы обращать свое внимание, к кому он мог бы прислушиваться. Здесь не говорилось ни о чем более или менее крупном, ни разу не произнесли слова миллион. Жених провозгласил тост за его здоровье; это так. Жених благодарил его за то, что он помог двум людям при покупке земли в Сегельфоссе. Он благодарил его от своего имени и от имени жены.

И Хольменгро пил, но отказывался признать свою заслугу. Сегельфосс принадлежит не ему.

— А теперь говорят,— сказал опять адвокат,— булочник и Пер-лавочник тоже хотят покупать землю. Несчастный господин Иенсен лежит, как выдра, как он выражается о себе. А все-таки распорядился всем делом. Попомните о нем, господин Хольменгро. Само собой разумеется, что при продаже перепадает кое-что и адвокату.

Господин Хольменгро не ответил. Он думал, вероятно, о другом. Он ничем не обнаружил, что познакомился с адвокатом и доктором за стаканом вина, а с невестой — в дни своей легкомысленной погони за женщинами. В этой маленькой комнате, полной маленьких предметов и маленьких людей, он чувствовал себя неизмеримо выше остальных.

Фру Иргенс, которая не сводила глаз со своего хозяина, видела, что он собирается уходить. Когда он исчез за дверью, она подумала про себя:

«Ага, Марсилия сидит одна и ждет его там».

Жених разговаривает с двумя купцами, ему приходится брать на себя эту обязанность. Невеста незнакома совершенно с правилами светской жизни. Он обратил внимание, что на телеграммах не стояло обычного заголовка поздравительных телеграмм. Он удивлялся, что телеграммы были написаны не рукой Бардсена, а рукой маленького Готфрида, который только что научился работать. Его детский почерк оскорбил жениха. Ведь телеграммы эти будут отданы в переплет, чтобы красоваться в гостиной на столе.

Гости разошлись.

Когда пастор Лассен уходил, он сказал:

— Оставайтесь с миром в доме!

Это было сказано кстати. Доктор Мус пришел в восторг от этого такта сына рыбака.

— Все книги,— сказал он пастору, выражая свое одобрение.

— Да,— согласился пастор,— книги научили меня многому. Я был сегодня у одного арендатора и купил две книги духовного содержания.

И пастор назвал их.

Поручик вернулся из своего путешествия совершенно сломленным. Его привезли с пристани на кирпичный завод и уложили в постель.

— Не позвать ли доктора? — спросили его.

— Нет.

— Не известить ли молодого Виллаца?

— Нет.

Поручик ничего не хотел.

— Я полежу и поправлюсь,— сказал он.

Но ему не стало легче. Ему стало хуже. Хорошо, что он не привез каменщиков. Они могли приехать не раньше марта. Когда Паулина приносила поручику кушать, Марианна часто ожидала ее у двери, чтобы справиться о его здоровье. Она стояла у кирпичного завода и каждый раз получала один и тот же ответ.

— Ему хуже сегодня.

Однажды, когда поручик потребовал — не доктора и не пастора,— а телеграфиста Бардсена, то Марианна сбегала за ним на станцию и привела его.

— Я начинаю сомневаться в том, что я выздоровею,— сказал он,— я очень сильно простудился по дороге из Трондхейма.

Телеграфист Бардсен ответил на это вопросом, не желает ли поручик сделать какие-нибудь распоряжения.

— Я был бы благодарен вам, если бы вы послали телеграмму моему сыну. Но я думаю, что он все равно не успеет приехать вовремя.

Бардсен ответил:

— Я имею основание полагать, что ваш сын уже в дороге.

Старый поручик старается скрыть свое радостное удивление и говорит сухо:

— Кто-нибудь известил его?

— Да. Я.

Молчание.

— Гм... Благодарю вас, в таком случае. Я вам очень благодарен — гм... Но все-таки, он не успеет приехать вовремя. Когда он может быть здесь?

— С первым северным пароходом.

Поручик считает дни и говорит:

— На столе лежит письмо. Я написал его на пароходе. У вас на станции есть железный шкаф. Там оно будет лежать надежнее.

— Да.

— И я прошу вас передать его моему сыну в случае... если...

— Будет сделано,— говорит Бардсен и берет письмо.

Поручик благодарит и говорит, что ему больше ничего не нужно.

— Вы разрешите мне навестить вас опять?

— Да, но разве у вас есть время?

— Сколько угодно. Готфрид сделает все за меня.

— Тогда я буду вам очень благодарен, если вы заглянете ко мне.

Бардсен вышел. У двери стояла Марианна и ждала.

Добрая, некультурная душа.

Какая радость была ей стоять и ждать тут каждый день? Она вбила себе в голову, что ее справки приносили больному облегчение. Она знала, что Паулина рассказала ему о них. Телеграфист кивает ей и говорит:

— Марианнушка! Молодой Виллац едет домой.

Смуглое лицо Марианны краснеет, и она отвечает:

— Да — разве?

Телеграфист Бардсен то и дело приходил на кирпичный завод. Больной не имел ничего против, а телеграфист не утомлялся визитами. Он приносил с собой виолончель и играл немного, он говорил мало и молчал умно. Без него поручик был бы лишен общества симпатичного человека в последние дни своей жизни. Бардсен сообщал больному всякий раз, где молодой Виллац мог находиться в настоящее время, и поручик был ему благодарен за это.

Он лежал совсем ослабленный и серый и ждал сына. Его взгляд был точно обращен в себя, виски ввалились — это была работа смерти.

— Подожди немного, Марианна,— сказал однажды телеграфист, входя в комнату кирпичного завода.

И больной узнал, благодаря этому, что Марианна была там.

— Как это дитя может приходить сюда каждый день? Позовите ее сюда.

— Я скоро поеду в Христианию,— сказала Марианна,— и уж не знаю, поправится ли вы до тех пор.

— Вот как? Приходи тогда прощаться. Это было очень мило с твоей стороны. Твоему отцу, верно, много дела?

— Да. Он ждет нового парохода с рожью.

— Кланяйся ему.

В эту самую минуту отворяется дверь и входит доктор Мус. Он нарочно не стучался, чтобы не беспокоить. Но, войдя, он тотчас же снимает пальто и властно говорит:

— Я слышал, что вы больны.

И он хочет пощупать пульс у поручика.

Когда больной не соглашается, он продолжает очень твердым голосом:

— Теперь вам не помогут никакие чудачества. На этот раз вам придется покориться мне.

Ведь он исполнял свой долг, и это было действительно очень любезно с его стороны.

Но поручик никогда не умеет покоряться, а теперь он был уже слишком стар, чтобы учиться этому. Он искал глазами помощи и подозвал Бардсена.

— Проведите его! — сказал он.

— Я провожу вас, — сказал Бардсен доктору и помог ему надеть пальто.

У телеграфиста были такие широкие плечи; он чуть не поднял доктора над полом, подавая ему пальто.

Молодой Виллац не приезжал, а дни проходили. Почтовый пароход приближался, но он приближался слишком медленно. У поручика, вероятно, не было больше его могучей воли; смерть уже уничтожила большую часть ее.

— На тот случай, — говорил он, — если я умру сегодня или завтра, — нельзя знать, — скажите моему сыну, что он должен получить посылку. Придут два портрета из Трондхейма, — моей жены и мой, — они не очень хороши, но их нужно повесить рядом с остальными. Вы скажете ему это?

— Будет сделано.

— А весной прибудет орган, небольшой орган для нашей церкви. Я запоздал немного, его мать просила об этом. Пусть он пристроит церковь, — тридцать футов будет достаточно, — и устроит галерею для органа. Приедут плотники из Намсена. У нас будет орган...

Твердая воля до последней минуты, золотая воля.

На другой день пастор Лассен, конечно, также пришел, чтобы исполнить свою обязанность. Был ясный день, и яркое солнце заливало комнату поручика, когда он вошел.

При виде его больной улыбнулся. Этот человек, находившийся уже во власти смерти, заставил свой рот криво улыбнуться и закрыл глаза. Он больше не открыл их.

Телеграфист Бардсен запер кирпичный завод.

Когда через два дня после этого, молодой Виллац на пароходе приближался к Сегельфоссу, флаги на большом доме, на пристани и у Хольменгро были спущены наполовину. Он понял, что случилось.

Ему было так странно на душе, еще страннее, чем тогда, когда умерла мать. Все, казалось, оставалось

по-прежнему, и вместе с тем, все так странно изменилось. Они обогнули мыс с амбаром, который Пер-лавочник переделал в павильон для танцев. Амбар был все такой же, выкрашенный и чистый. Когда они вышли из-за мыса, Виллац услышал шум мельницы. У пристани стояла баржа с грузом ржи; по палубе ходили матросы; носильщики разгружали судно. Везде были люди и жизнь, но флаги были спущены, а отец его был мертв.

Молодой Виллац стоял и смотрел на берег, он надеялся, что придет вовремя. Он был совсем большой, взрослый, на жилете у него были золотые пуговицы. В конце концов, он стал каким-то рассеянным, он видел все, но не понимал ничего. Он помнил, что должен передать отцу поклон от Фредерика Кольдевина, который не мог приехать в Сегельфосс теперь, но обещал приехать летом.

На пристани его встретили Мартин-работник и Паулина, подошел господин Хольменгро и протянул ему руку. Фру Раш, которая была недавно иомфру Сальвезен, подошла к нему с заплаканными глазами. Вдали стояла Марианна, крепко стиснув руки, и смотрела на него.

Когда Виллац подошел к кирпичному заводу, там ходил взад и вперед телеграфист Бардсен и ждал его.

Они вошли в комнату, большую и светлую, с мебелью и картинами. Они прошли в следующую большую комнату; там лежал отец, одетый и убранный, худой и сухой.

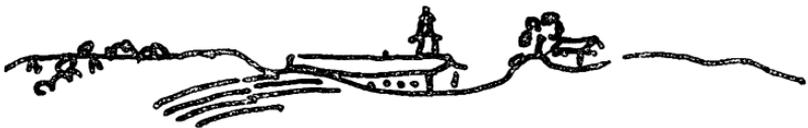
Военный плащ покрывал его тело. Бардсен положил его, потому что так было нужно. Поручик в последний раз надевал дорогой мундир.

Телеграфист Бардсен вышел, и молодой Виллац остался один. Он узнал о последних днях жизни отца, получил его письмо и прочел его. Конечно, он выкупит заложенное имение; деньги лежали там-то и там-то. Слава Богу, отец был все время богат. Если бы только он успел увидеться с ним еще раз и услышать хоть одно слово от него!

Молодой Виллац сидел перед ним со своими золотыми пуговицами. Эти пуговицы отец сам купил ему в Англии и подарил. Он надел их сегодня, чтобы сделать удовольствие отцу...

Он вышел. До него донесся шум реки. С большой черноморской баржи разгружали рожь. Марианна одна возвращалась по холму домой.

**МЕСТЕЧКО
СЕГЕЛЬФОРСС**



Зачем это там человек на новом сигнальном холме? Наверное, опять какая-нибудь дурацкая выдумка Теодора из Буа,— узнал бы об этом его отец, старик Пер из Буа!

Ну, у господина Хольменгро, у помещика, есть сигнальный холм, и флаг, и сигнальщик; это разумно и нужно: ему приходится подавать сигналы почтовым пароходам и когда к набережной заворачивает тяжелый грузовой корабль с зерном для мельницы. У Теодора же из Буа просто нет ни стыда, ни совести: он завел себе сигнальный холм только потому, что он мелочный торговец, и машет флагом всему на свете, а то и вовсе зря или только по случаю воскресенья. Валяет дурака!

Вот и сейчас — выслал человека на сигнальный холм, будто в этом есть надобность, и человек стоит, и смотрит на море, и держит наготове флаг, чтоб поднять его, как только увидит, что нужно. А и ждет-то, должно быть, всего какую-нибудь рыбацью лодку!

Но удивительно — сколько бы раз молодой Теодор из Буа ни махал флагом и ни дурачил народ — ему это всегда прощалось. Он возбуждал в людях любопытство, увлекая их, заставляя работать языки — что такое будет нынче? От этого черта Теодора можно ждать какого угодно сюрприза. Во всяком случае, Оле Йогана и Ларса Мануэльсена здорово разобрало любопытство; они встретились под горой на дороге и не могут оторвать глаз от человека на сигнальном холме.

Оле Йоган такой же, каким был всегда, во все годы службы у господина Хольменгро, орудует мешками и тяжелой кладью, неуклюжий замараха, в сапогах с голенищами и в исландской куртке. Ни до чего порядочного он не дослужился — куда там! — и семья его, как и раньше, едва-едва перебивается. Так-то плохо складывается жизнь для одних. Ларс же Мануэльсен — тот, напротив,

достиг ступеней высоких, он рос вместе с местечком, с самим Сегельфоссом, он отец Л. Лассена, знаменитого пастора на юге, ученого и кандидата в епископы, и отец Юлия, того самого, что держит гостиницу Ларсена на набережной. Давердана тоже его дочь, она замужем за пристанским конторщиком, и огненно-рыжие волосы придают ей необыкновенно страстный вид. Так что семья Ларса Мануэльсена очень возвысилась, сам он тоже уже давно самостоятельный хозяин, и никто не видал его в Буа без денег. Так-то вот складывается жизнь для других. Рыжая борода Ларса Мануэльсена поредела и поседела, волосы совсем вылезли, но сын его Л. Ларсен прислал ему парик, и Ларс носит его постоянно. Если он ходит в буйволовоу куртке с двумя рядами пуговиц и пальцем не притронется к работе, так это оттого, что ему не нужно,— настолько поправились его обстоятельства.

За последнее время Ларс ни от кого уже не слышит ничего обидного, но, разумеется, случается, что его бывшие товарищи и собратья по каторжному житью на нашей грешной земле и скажут ему что-нибудь вроде того, чтобы:

— Не понимаю я, на что ты живешь, Ларс, ежели не крадешь?

Тогда Ларс Мануэльсен сплюнет, помедлит немножко и ответит:

— А я тебе — скажет — что-нибудь должен?

— Нет, что ты! А жалко, что не должен!

— Тогда я заплатил бы,— скажет Ларс.

Доходы Ларса Мануэльсена были вполне натуральные. Например, разве мог человек, имея таких важных детей, пойти работать на других? Конечно, нет. Но когда Юлий открыл гостиницу и стал принимать постояльцев, то, само собой разумеется, старик-отец был привлечен к делу. Иначе, кто бы стал таскать сундуки и чемоданы с пристани и обратно? По первоначально Ларс Мануэльсен был скромн и зарабатывал мало, но в последнее время доходы его возросли, частенько стали приезжать шкипера, прасолы, скупающие убойный скот для городов, а то заглянет фотограф или какой-нибудь корреспондент иллюстрированной газеты, а тут появился даже коммивояжер с образчиками в ручном саквояже. А это все были щедрые и приятные постояльцы, выдавшие свет и не жалевшие выбросить монетку в двадцать пять эре за то, чтоб их багаж снес отец знаменитости. Про Оле Йогана, стоявшего тут же, никто ничего не знал, про Ларса же Мануэльсена

всем было известно, кто он такой, да он и сам это знал и не таил про себя.

— Нет, они ждут не рыбацкую лодку и не парусную шхуну,— говорит Ларс Мануэльсен.— Ветра нет.

— Да, ветра нет. Разве что послали гребную лодку за приезжими гостями?

Оба обдумывают это, но находят невозможным, смешным. Нет, у старика Пера из Буа и у Теодора из Буа не бывает гостей. Вот если бы человек стоял на сигнальном холме господина Хольменгро...

Потому что господин Хольменгро все еще был великим человеком, и о нем всегда вспоминали прежде всех. Правда, несколько лет тому назад у него было много потерь, убытки, да и потом тоже у него было много потерь, но что значат одна — две потери для того, кто может с ними справиться? Ведь рожь и пшеница нынче, как прежде, прибывали в Сегельфосс из Америки и с Черного моря на больших пароходах и покидали Сегельфосс перемолотые в муку, направляясь во все северные страны и в Финмаркен. Мельница господина Хольменгро не стояла ни одного рабочего дня, хотя уже не работала по ночам, как встарь.

Насчет же гостей и всего такого Оле Иоган и Ларс Мануэльсен долго прикидывали, какого же это важного человека мог ожидать господин Хольменгро: ведь дочь его, фрекен Марианна, уже приехала домой, в красной пелерине, из Христиании и из-за границы, и во всяком случае — не стал бы господин Хольменгро пользоваться ради этого сигнальным холмом Теодора из Буа!

Оле Иоган говорит:

— Будь у меня время, я сходил бы на сигнальный холм и спросил. Не сходишь ли ты?

Ларс Мануэльсен отвечает:

— Я? Нет.

— Что так?

— Мне это ни к чему.

— Что ж, по мне, ладно, но только так никто из нас не узнает,— обиженно говорит Оле Иоган.— Только уж очень ты стал важный, тебе ни до чего нет дела.

Ларс Мануэльсен плюет и отвечает:

— Я тебе что-нибудь должен?

Оле Иоган собирается уходить, но вдруг замечает Мартина-работника, несущего на плече несколько штук дичи. Мартин-работник идет из леса, в руке у него ружье, днем он охотится,— песцовые шкурки нынче семьдесят крон, а выдра — тридцать.

— Что убил нынче? — спрашивает Ларс Мануэльсен, желая проявить благосклонность.

— Смотри сам! — кратко отвечает Мартин-работник.

Мартин-работник так краток со всеми, и с отцом великого человека обращается не иначе, чем с другими. Великий человек, — кто в наши времена велик? После смерти своих бывших господ Мартин-работник не видал ничего великого среди людей, он живет большею частью воспоминаниями о временах лейтенанта, о временах Виллаца Хольмсена Третьего, когда теперешняя фру Раш, жена ходатая по делам, была камеристкой в поместье, а Готфред-телеграфист служил на побегушках в Сегельфоссе. Эти времена он помнит. Разумеется, и теперь тоже есть Виллац Хольмсен Четвертый, по прозвищу молодой Виллац; но он артист и редко живет дома, Мартин-работник мало его знает.

Он идет дальше с перекинутыми через плечо птицами, сохраняя свои старинные убеждения.

— Отчего ты не пойдешь к нам в гостиницу, продал бы птиц и получил бы за них деньги? — говорит ему Ларс Мануэльсен.

Слышал Мартин-работник или нет? Слышал отлично, но не ответил. Так презирал он это хвастливое предложение.

— Ты не видал, кто это стоит на сигнальном холме? — кричит ему вслед Оле Иоган.

Мартин-работник останавливается:

— На сигнальном холме? Корнелиус из Буа, — отвечает он, потому что спросил Оле Иоган.

— Корнелиус из Буа?

— Да.

Мартин-работник идет дальше. И в особенности он презирает Ларса Мануэльсена с его двумя рядами пуговиц на куртке.

А ведь оба, и Оле Иоган, и Ларс Мануэльсен, отлично видели, что это подручный лавочника Корнелиус стоит дозорным на холме, вырисовываясь с флагом в руке на небе, но им надо было это слышать и надо было об этом поговорить. Да, раз это Корнелиус, то, стало быть, дело касается хозяев лавки, Пера из Буа или его сына Теодора из Буа, а что же это может быть?

Впрочем, в Буа был только один человек, потому что сам старик Иенсен лежал в параличе, развалина на восьмидесятом году, и все равно, что нет его, сын же был все и великолепно вел дело, на широкую ногу, того и гляди станет богачом. У этого Теодора была счастливая

рука на все, что он ни задумает и ни затеет: он перегнал отца, он зарабатывал деньги, тогда как отец их только копил. Молодому человеку было всего двадцать лет, а он до сих пор умел оградить местечко от конкурентов; недавно он проглотил даже пекаря со всей его пекарней за долг в лавку.

Но, при всем своем твердом и настойчивом характере, парень этот был все же довольно ограничен. Чего еще можно было от него ожидать? Как природный крестьянин, как мошенник, он хорошо вел свою торговлю, но вне дела был не лучше прочих парней своего звания, пожалуй, даже хуже по тщеславию и дурашности. Носил кольца на обеих руках, а иногда расхаживал по грязному полу своей лавки в башмаках с шелковыми бантами. Даже односельчане смеялись над ним и говорили: «Посмотрел бы на тебя твой отец!»

А что ему за дело до отца,— он победил и превзошел его. Уже несколько лет он спекулировал на собственный страх и покупал рыбу на Лофонденских островах, насколько хватало средств,— с каждым годом все больше и больше, и наконец завел себе собственную рыбацью яхту. И вот теперь парень стоял на большой высоте, и перед ним раскрывалось целое царство. Осенью он поразил всех,— продал свою новую рыбацью яхту и получил много денег. Бросил он рыбный промысел, что ли? Да, на один год. Сделал передышку.

Весною он купил у одной компании в Уттерлее большую, гнилую шхуну «Анна», которую можно было проткнуть дождевым зонтом; судно никуда не годилось, но зато ничего и не стоило. Два месяца спустя шхуна была наилучшим и наиболее быстрым образом отремонтирована и вдобавок оснащена, как галеас, покрашена, застрахована и отправлена на лов сельдей. «Анна» выдержала, дно из нее не вывалилось. А зимой уж не пошла ли она в Лофонден за треской? Это было бы ее смертью; вместо этого Теодор заарендовал в тот год под свою треску грузовое судно. Это была замечательная идея, и все понимали, что она приносит каждый день убыток. Убыток? Как раз в эти дни милашка Теодор заказал себе из золотого в двадцать крон булавку для галстука и стал щеголять в этом украшении. А что же произошло осенью, когда треска высохла и стала легкой? Милашка Теодор погрузил ее на гнилой галеас, перестраховал и отправил в море. Правда, это был последний рейс галеаса «Анна», он пошел ко дну, едва миновав Фолла, но никогда у милашки Теодора не

было дела выгоднее этого. Благодаря этому маневру, он получил капитал, необходимый для следующей операции: знаменитой покупки гагачьего острова у купца Генриксена.

За этой операцией последовало много других. В особенности ему везло со старыми судами; нынче у него опять имелась старая, но вполне пригодная шхуна. И вот теперь шхуну ждали со дня на день с новым грузом трески, которую предстояло сушить на горах, но шхуна не могла прийти вследствие безветрия. Однако, Корнелиуса послали сигнализировать на шхуне.

Оле Иоган обладает закоренелым пороком, терзающим его ежеминутно: он любопытен, как баба. И вот он предлагает пойти прямо в Буа и все разузнать, если Ларс Мануэльсен тем временем поработает за него на мельнице.

Правда, Ларс больше не работает своими руками; но он уж столько раз отказывал своему товарищу и соседу, что теперь не хочет отвечать напрямик: нет.

— Я не так одет,— говорит он вместо этого.

— Одет? Ну, да, у тебя восемь пуговиц на куртке,— раздраженно издевается Оле Иоган,— и ты боишься, как бы они не смолотись!

— Не в этом дело,— отвечает Ларс Мануэльсен довольно миролюбиво.— Но я не знаю, позволит ли парик.

— Парик? А разве ты не можешь его снять. Что же, ты так на всю жизнь и хочешь быть развалиной из-за парика? Начхать на парик! Надевай его по праздникам и к причастию,— против этого никто тебе ничего не скажет.

Тогда Ларс Мануэльсен направляется к мельнице и больше не препирается. Для этого он слишком важен. Покосившись через плечо, он видит, как Оле Иоган поворачивает к Буа.

На мельнице ему все хорошо знакомо с прежних времен, и он сам находит себе работу. Но он нагибается не чаще, чем надо, и не поднимает тяжелых кулей,— это все отошло в прошлое, когда он еще не получил великого отвращения к труду.

Бертель из Сагвика стоит на своем посту. Он дослужился у помещика до положения доверенного, и дневная плата его теперь немного выше, чем когда он поступил. Бертелю из Сагвика и его жене живется сносно, сам он имеет верные деньги, а жена его, по примеру прочих, шьет мешки для мельницы и тоже прирабатывает. Дети у них выдались хорошие и после конфирмации вышли в люди: Готфред служит на телеграфе, а дочь Полина живет хозяйкой в имении Сегельфосс и заведывает всеми

служащими, оставшимися у молодого Виллаца. Эта самая Полина отлично научилась домоводству и кулинарии у стариков Виллац Хольмсен, так что была бы очень подходящей хозяйкой в гостинице Ларсена, — ну, да разве Юлий о ней не подумывал? Еще как, он уже давно думал о ней, и любил ее, и настойчиво сватался, но Полина его отвергала.

Ларс Мануэльсен не устоял — завернул к Бертелю поболтать и прежде всего объявил, что он пришел сюда не работать, а за тем, чтоб немножко пособить Оле Иогану.

— Понимаю, — отвечал Бертель и слегка усмехается про себя.

— Я больше не хожу работать, мне это не нужно.

— Конечно, — отвечает Бертель и сильнее усмехается про себя, потому что с годами Бертель стал очень весел и жизнерадостен.

— Потому что, ежели насчет всего такого, так у Юлия есть гостиница Ларсена с едой и питьем, и готовыми постелями, и всем, что даже угодно.

— И я то же говорю.

Ларс Мануэльсен спрашивает:

— Так как же, женится Юлий на Полине? Известно тебе что-нибудь?

— Нет.

— Я вот что хочу сказать, — продолжает Ларс Мануэльсен, — мой сын Лассен мог бы повенчать их, а ведь это, пожалуй, получше, чем если бы их повенчал кто другой.

На это Бертель отвечает, что ему ничего неизвестно; Полина вольна поступать, как хочет, и непохоже, чтоб она торопилась уходить из имения.

— Она может поступать, как ей угодно! Да что же она думает? Смешно слушать! Что же, она метит за самого Виллаца? Шалопай и музыкантшик, то он в одной стране, то в другой. А имением управляет Мартин-работник.

Но Бертель сохранил часть своего прежнего почтения к дому Хольмсен, его сердит насмешка Ларса Мануэльсена над молодым Виллацем, и он этого не скрывает:

— Твоя мать родила шалопая, — сказал он, — и шалопай этот — ты. Виллац настолько выше меня и моих семейных, что он не замечает нас на земле, а еще меньше видит Полину, которая служит ему за насущный хлеб. Виллац — барин, а что такое мы с тобой? А до твоего поганого рта, Ларс, ему и дела нет, он и плюнуть то на тебя не захочет!

С этими словами Бертель весьма непочтительно сплюнул.

Ларс Мануэльсен стоит безмолвно, полный собственного достоинства. Давно уже никто не говорил с ним в таком оскорбительном тоне, и вот он уходит — возвращается на свое место и к своей работе, подальше от Бертеля из Сагвика.

Внизу, по дороге, идет господин Хольменгро, сам помещик. Удивительно, до чего он изменился! Серая куртка, серые сморщенные брюки, пара грубых башмаков, белых от муки, и большая нечищенная шляпа — вот и все его великолепии. Зимы с каждым годом становятся мягче, но люди, раньше ходившие в куртке, теперь стали носить пальто, — они сделались такие неженки, такие зябки; господин же Хольменгро идет в серой куртке. Даже ленсман из Ура носит на фуражке шнур, даже у лоцмана берегового судна ясные пуговицы с якорями; а господин Хольменгро похож на рабочего у невода или на артельного старосту. Если б люди не привыкли к этому за последние годы и не видали его в другом виде, они бы очень подивились. Не он ли король Тобиас здешних мест, не он ли поработил и согнул перед собой все живое? Если бы не толстая золотая цепь на жилете, никак нельзя было бы подумать, что это он. Да, не будь цепи, его можно было бы принять за сушильщика рыбы у Теодора из Буа.

Он проходит мимо Бертеля из Сагвика, и Бертель кланяется. Идет к четверым рабочим, которые насыпают мешки мукой и затягивают у них верхушки; эти не то кланяются, не то нет, двое слегка кивают, а двое умышленно нагибаются над мешками и притворяются, будто не видят. Это рабочие нового склада, они ходят в галошах и приехали сюда на велосипедах, машины их стоят поблизости.

Господин Хольменгро заговаривает с ними, они не выпрямляются и слушают не очень внимательно; стоят, навалившись на мешки, и словно заставляют себя слушать. Когда хозяин кончает говорить, они выпрямляются и с минуту думают о том, что он сказал, потом начинают громко разговаривать между собой так, чтобы хозяин слышал, выражают сомнение в правильности его распоряжения, спрашивают друг у друга, плюют, советуются: — Как по-твоему, Аслак? — говорят они. — Что нам делать? — говорят.

Помещик повернулся уходить и уж сделал несколько шагов, но, услышав последние слова, кричит через плечо: — Что вам делать? Вы должны сделать так, как я сказал!

И при этом, должно быть, думает, что дело решено. Увы, оно, пожалуй, совсем не решено; но помещик видит сейчас, как и раньше, что уважение пропало, он боится спора и удаляется. Больше он не смеет настаивать. Случалось, что помещик увольнял своего слугу Аслака, но тогда остальные его слуги грозили, что тоже уйдут. Это случилось два раза, и оба раза не приводило ни к чему.

А будь на его месте бывший владелец имения Сегельфосс, лейтенант! Молнией сверкнул бы воздух от хлыста,— вон! С годами господину Хольменгро часто приходилось вспоминать лейтенанта Хольмсена: слов у того было немного, два слова, четыре, а глаза словно печати. Когда он вжимал в руке ручку хлыста, суставы пальцев становились совсем белыми, но зато, когда он раскрывал руку и хотел кого-нибудь поощрить, минута эта долго жила в людской памяти. Служить у него было приятно, потому что он умел приказывать, он был начальник, барин. А носил ли он огромные золотые кольца в ушах, как важные шкипера с западного побережья? Курил ли длинную пеньковую трубку с серебряным мундштуком? Был ли так толст, чтобы на двух стульях помещать свое величие? И все-таки никому не отводилось такого просторного места, как ему, и никто не осмеливался говорить с ним свысока.

Господин Хольменгро и понынче удивляется. Он ли не пробовал сам всяческими способами приобрести власть над своими служащими? Разве он не додумался даже до того, что поступил в масоны и разгуливал, словно затаив какую-то сверхъестественную силу. Но люди не очень-то обращали на это внимание, никто его не боялся, таких дураков не было. Да никто в точности и не знал, действительно ли помещик был масон.

Он подходит к Ларсу Мануэльсену и говорит:

— Здравствуй, Ларс. Ты опять начал у меня работать?

Ларс отвечает:

— Избави бог! Нет, это я только случайно.

— Где Оле Иоган?

— Задержался внизу. Я поработаю покамест вместо него.

— Я послал сегодня утром поденщика на подмогу, где он? — спрашивает господин Хольменгро.

— Поденщика? Не Конрада ли? — Нет, Ларс Мануэльсен не видал Конрада.

— Он столкуется у меня, получает харчи, нынче утром он должен был прийти сюда.

— Стало быть, сидит где-нибудь и ждет. Разыскать его?

— Да, разыщи.

Все идет неладно, и помещик хмурит брови. Поистине, у этого короля, владеющего поместьем Сегельфосс, много неприятностей. Несколько лет тому назад это был добродушный и свежий господин, теперь у него синие жилки на висках, заострившийся нос, морщины у глаз и седая борода. Все у него тонкое: руки и лицо, ноги — все превратилось в кожу да кости. Но разве он стал из-за этого ничтожен?

Тогда он не был бы тем, кем он был! Правда, в деятельности его уже нет прежнего широкого размаха, да, мельница его работает только днем, он держит меньше рабочих; но король Тобиас не рассыпался на кусочки, у него выносливости хватит. Когда он стоит на открытом месте и, задумавшись, озирает свою могучую реку, а за нею пристань и море, и дает волку своей голове похозяничать, тогда выражение лица его сильно, и глаза полны отваги. Молодость отлегла от него, да, но старость еще не пришла — он человек пожилой, но поговаривают, будто в соседнем поселке у него еще родятся ребятишки.

Ларс Мануэльсен возвращается с поденщиком, и помещик спрашивает:

— Что ты делал сегодня?

— Да я только так, сидел, — отвечает Конрад.

— Он сидел и курил, — докладывает Ларс Мануэльсен.

— А что же мне было делать? — спрашивает Конрад. — Ведь Оле Иоган не пришел.

— Ты мог бы явиться ко мне и был бы приставлен к работе, когда я пришел, — важно говорит Ларс Мануэльсен.

Но Конрад фыркает:

— К тебе? Мне надо было явиться к тебе?

— Да, надо было, — подтверждает помещик.

— Нет, не надо, — говорит Конрад. — А если вы хотите вычсть с меня за этот прогул, так я за него ничего и не получу.

— И ты думаешь, что тогда все в порядке? — спрашивает помещик. — Да ведь работа, которую ты должен был сделать, стоит.

— Да, а что ж, если Оле Иоган не пришел? Я тут не при чем.

— А то, что ты два раза ел сегодня, это мне тоже с тебя вычсть?

Тогда поденщик отвечает:

— Ел? Что же мне — выходить на работу на тощий желудок? Нам, наемным рабам, становится все хуже и хуже, вы хотите вырвать у нас даже кусок из рта.

Дело опять грозило жестокой перебранкой, если б помещик не смолчал. Он знал, чем это кончится: поденщик останется.

— Собственно, мне следовало бы сейчас же отправить тебя домой, — сказал помещик и пошел.

Конрад не полез за словом в карман.

— Вы так полагаете? А я вот так прост, что думаю — у нас в стране есть закон и право. И если я пойду в газету, так там тоже так думают.

Да, в газете, конечно, думают тоже так, — размышлял господин Хольменгро, — в почтенной «Сегельфосской газете», выходявшей уже седьмой год и руководившей мнениями городка и округа! Помещика неоднократно поминали в газете, кое за что осуждали, усердно трепали его и за цены на муку, — в особенности пшеничная мука и ржаная мелкого размола стала очень дорога для бедноты. Но «Сегельфосская газета» была справедливая газета, редактор умел признавать заслуги, а его признание было не лишено значения. «Мы», — говорил он, — «по нашему мнению», — говорил он. Изредка он предупредительно кивал в сторону господина Хольменгро, одобряя его деятельность, а один раз написал:

«Считаясь с обстоятельствами, мы должны одобрить произведенную помещиком починку дороги к мельнице. Подъем теперь значительно мягче, и подводчики могут забирать на 100 кило больше груза. Дорога стала несколько длиннее против прежнего, но, как сказано, это окупается большей нагрузкой подвод. И потому, в качестве нашего личного мнения, мы должны сказать, что перекладка дороги была полезным для нашего местечка мероприятием, хотя не можем не заметить, что коням очень многих бедняков приходится взбираться на более крутые пригорки и нести более тяжелую работу, чем здесь. Нельзя также отрицать большой выгоды для работодателя от того, что теперь измученный рабочий может утром подъехать на велосипеде прямо к месту работы и, таким образом, приступить к своей ежедневной каторге с неистраченными силами. Запомните это, рабочие!»

Наконец приковылял Оле Иоган. Он из хороших старых рабочих на мельнице, глуповат и бестолков, но надежен и силен, и умеет не жалеть себя, когда нужно. Вежливость его выражается в такой форме, что он еще издали начинает кланяться и кричит:

— Здравствуйте! Я ужасно опоздал, но я послал за себя Ларса!

Господин Хольменгро только кивнул и удалился с мельницы.

— Что, он рассердился? — спросил Оле Иоган, смотря ему вслед.

— Попробовал бы! — отвечал Ларс Мануэльсен с удариением.

— Так ему и позволили! — ответил поденщик и выпятил грудь.

Тут вся история была пересказана, обсуждена и оценена. Поденщик не забыл повторить, что он ответил почтенному барину: — Право и закон в стране! — сказал.

— Да, я стоял вот тут и слышал, — подтвердил Ларс Мануэльсен, перешедший теперь на сторону Конрада. Ободренный этой поддержкой, Конрад заважничал еще больше:

— Ты ведь сам знаешь, Ларс, да и ты тоже, Оле Иоган, что я исполню свою работу и несу свое бремя. Но когда он поступает, как тиран или, скажем, как рабовладелец, то я не из таковых, чтоб молчать. Пусть он это попомнит! Потому что, — или я скажу ему, что думаю прямо в глаза, или он не услышит от меня ни звука.

— Да, — сказал Ларс Мануэльсен. — Что это я хотел сказать? Известно кому-нибудь, чего это ради Теодор из Буа подает сигналы?

Конрад обиделся, — он полагал, что сумеет поддержать интерес к себе еще на порядочное время. И он пошел прочь, прошел мимо Бертеля из Сагвика, мимо велосипедов, которые мимоходом осмотрел, и остановился у группы, затягивавшей мешки.

А Оле Иоган тяжело плюхнулся на мучной мешок, так что от него пошел столбом дым. Свинья! О, да ведь это все равно, — немножко больше или немножко меньше муки на его платье, — какая разница? Оно и раньше состояло из материи и муки, на нем и раньше были корки из теста.

— Чего ради он подает сигналы? — повторил Оле Иоган. — Я спросил его, зачем он морозит человека на сигнальном холме? А он, Теодор-то, ответил: «В положенное время узнается».

— Да, такой ответ как раз подстать его поведению и складу, — с досадой говорит Ларс Мануэльсен.

Оле Иоган встал и для начала стащил с себя куртку; но любопытство его так велико, что парализует его.

— Если б я мог догадаться! — сказал он. — Ты что думаешь, Ларс?

— Пожалуй, опять одни выдумки и хвастовство Теодора.

Оле Иоган сказал:

— А знаешь, что я думаю, Ларс? Я думаю, что это опять не что иное, как выдумки и хвастовство этого Теодора. Наплевать на него!

Но таким способом они сами лишали себя интересного приключения и опустошали себе душу. Оле Иоган все никак не мог взяться за дело и вдруг сказал:

— А что, если это принц шведского короля?

— Едет к нам на охоту!

— Разве что так!

Тогда Оле Иоган пришел в необычное возбуждение, снова напялил на себя куртку и сказал:

— Пойдем, послушаем, что скажут Аслак и другие.

Так шло время. Эти люди работали мозгами на свой образец и по-своему питали свои сердца. И им тоже мерещились чудные видения, когда они заглядывали в страну фантазии.

А работа стояла.

Подойдя к Аслаку и остальным рабочим, они снова прослушали историю о храброй отповеди поденщика, о том, что в стране, слава богу, есть закон и право. И память Конрада не притупилась; наоборот, она обострилась, он припомнил теперь, что бросил слово «рабовладелец» помещику прямо в лицо да еще прибавил: масон. Шестеро взрослых мужчин стояли и слушали седьмого. Работа не подвигалась.

Вот они — современные рабочие, разбегющиеся на велосипедах и щеголяющие в пиджаках с болтающимися часовыми цепочками, закаленные борцы, прибегающие к прессе. У всех у них были свои мнения. Они знали себе цену, да в сущности они и имели цену, потому что их было много. Куда денутся остальные без них? И что они смогут против них? Капиталисты, судный день близится?

Оле Иоган попробовал преподнести свою великую сенсацию: о человеке на сигнальном холме. Нет, Аслак и другие ничего не знали, они были закалены в борьбе, у них не было даже фантазии, они снова вернулись к делу Конрада. О, это дело Конрада, чего оно стоило, как могло утолить человеческое сердце!

Тогда Оле Иоган одновременно, и разочаровался, и оскорбился, чувство долга внезапно вспыхнуло в нем, он величественно зашагал на свое место к своей работе, снимая на ходу куртку, и крикнул через плечо поденщику:

— Ну, иди, что ли, Конрад, да живей, сию же минуту!
Ларс Мануэльсен пошел прочь.

— Если услышишь что, приходи к нам рассказать! — крикнул ему вдогонку Оле Йоган,

«Очень-то мне это нужно!» — подумал про себя Ларс Мануэльсен. — «Эти старые приятели не помнят, чей я отец», — думал он. Он пошел вниз, ощупывая на ходу свою куртку.

Корнелиус все еще стоял на сигнальном холме и таращился на море. Внизу, в Буа, у мелочной лавки, царило то же оживление, что и каждый день: покупатели и зрители, дети и собаки, рабочие, таскавшие ящики и тюки, таскавшие товары в большую сельскую лавку для продажи в розницу.

И как это из таких мелочей могла вырасти такая громада!

ГЛАВА II

То же самое строение, в котором старик Пер из Буа начал свою маленькую мелочную торговлю, но увеличенное и расширенное вдвое. Это сделал Теодор.

Наверху, в мезанине, лежал сам Пер из Буа и никак не мог умереть. Поразительно, до чего он был живуч, хотя парализованная сторона у него порядком высохла, так что получилась женская рука и женская нога, вместо его прежних солидных конечностей. Умереть? Разумеется. Но не сейчас, не раньше времени! Люди издали могли судить о его ежедневном нежелании умирать; он лежал в кровати и стучал в пол палкой, когда ему что-нибудь было нужно, стучал часто, оглушительно и вмешивался во все происходящее. Он и лежал-то всегда в жилетке, для того чтобы хоть верхняя часть туловища не совсем была прикована к постели. Но все же это был дряхлый и безнадежный паралитик, заросший бородой и с белыми косичками на затылке. Летом, в теплые дни, его выносили наружу, и тогда он испытывал большое удовольствие, наблюдая движение перед своей мелочной лавкой. Зимой же, в короткие дни, он не читал, лежа, газеты или собрание проповедей, — для этого керосин был слишком дорог, — а лежал впотьмах и слушал далеко, за милю от земли, пение лебедей, и это было жуткое пение, на которое он отзывался невольным стоном. Ветер словно швырял железные листы, церковные флюгера вертелись, большие ворота скрипели

на петлях: у — у! И какого черта так кричат дикие птицы? Ведь никто их не трогает!

Но в летние светлые ночи Пер из Буа опять становился другим,— он лежал, и строил планы, и ворочал делами. О, это были детские забавы, сущая чепуха. Он полагал, что торговля и оборот ведутся в наши дни точь-в-точь так, как в его времена, только что все стало немножко крупнее. Он все еще верил в такой товар, как постные баранки, которые купеческие яхты привозили из Бергена в пустых бочонках и гробах. Он верил в гвозди, много ящиков с толстыми трех- и четырех-дюймовыми гвоздями, в мятные лепешки для школьников, в бумажные воротнички и манишки,— кому это теперь нужно! Пер из Буа был человек старинного склада, идиотски бережливый, выше всякой меры осторожный и упрямый мелочник. Ну да. Но бог знает,— может быть, лежа и торгуя ненаходящими спроса товарами, он знал, что делает и даже как будто обманывал кого-то. Кого? Себя самого или других, но кого-то обманывал. Он родился для того, чтоб менять и торговать, и его неистребимый талант к этим занятиям вел его все дальше и дальше; он давно уже миновал двусмысленность, перешагнул изощренный обман, и теперь, пожалуй, совершил полный круг, добрался до изнанки: он играл в обманывание. Коварный и смешной человек.

Он постучал палкой в пол. Наконец пришла его жена; он велел позвать Теодора, а когда жена продолжала стоять, не торопясь исполнить приказание, он повторил свои слова очень кратко. Он не разговаривает с женой без особой надобности и никогда не смотрит на нее, потому что она представляется ему козой в образе человека.

— Это смотря по тому, есть ли у Теодора время,— говорит она.

— Пусть Теодор придет сейчас же! — кричит Пер из Буа.

Но Теодор шел или не шел, в зависимости от времени и охоты. Если отцу приходилось ждать слишком долго, он посылал новых гонцов, и слова его были еще грознее. Ведь вот, старый упрямец и до сих пор имел некоторую власть, не говоря уже о том, что все дело велось от его имени и под фирмой П. Иенсен. Теодор и посейчас еще не отваживался являться к отцу в полном параде, а обычно прятал свои перстни в жилетный карман. Так сделал он и на этот раз.

Он останавливается у постели и, из прежнего уважения не садится на стул.

— Ты не мог прийти, когда я стучал? — говорит отец.
— Я был в погребе, — отвечает сын.
— Не верю. У нас есть спички?
— Спички? Как же.
— Цена на них не поднимается?
— На спички? Нет.
— Нам надо закупить тысячу гросс, — говорит старик, — тогда они поднимутся.

— Тысячу гросс? Это груз на целую яхту, да и где мы их будем хранить?

— В сарае. Чтoб в сарае плясу больше не было, это грех. У меня было насчет этого знамение. А нечистый пусть заполучит в сарай спички!

Из старого уважения, Теодор не смеется и не хлопает себя по коленке. Стало быть, отец хочет победить нечистого, победить дьявола спичками! Но и сам не собирается на этом проиграть, — он хочет скупить дочиста всю фабрику и сам завладеть, всеми спичками в Нордландии. Детские затеи, — отец превратился в младенца. Тысячу гросс спичек невозможно перевезти, они займут, бог знает, сколько места и ничего не весят. Да и какой барыш даст тысяча гросс спичек? Никакого. Будь это тросточки или ткани на блузки.

— Тысячу гросс, я так решил. А соль у нас есть? — говорит старик, предполагая легким спичкам противопоставить тяжелый груз.

— Соль? Есть, сколько нужно на лето.

— Что, закром полон?

— Не скажу, что б совсем полон. Но соль от жары тает.

— Щенок — хочешь учить отца? Так, значит, сто тонн соли. Ступай и напиши.

Все это был вздор. Теодор сошел вниз и ничего не написал. Он понимал, что отцу очень важно было выставить спички против нечистого, раз он шел даже на большой убыток от соляной операции, но отец был невменяем. Да и сарай нельзя было трогать, — он служил танцевальным залом для молодежи и приносил колоссальный доход. Правда, у лавки отняли право винной торговли, но все же многие приходили к милашке Теодору и получали от него бутылочку на субботнюю вечеринку. И когда Теодор сам иной раз приходил в сарай во всем своем великолепии и в башмаках с бантами, он был словно барин, словно вельможа, богач, олицетворение земной пышности и величия в глазах всех бывших там девушек.

Но юный Теодор любил принцессу, и девушки для него не существовали. Должно быть, господь бросил это тяжкое несчастье в трюм его души, чтобы он не опрокинулся от глупости и легкомыслия. Но это был крест.

Он опять надевает свои кольца и спускается в лавку, в свое царство. Толпящиеся у прилавка и заграждающие ему дорогу расступаются перед ним; он поднимает доску, проскальзывает в проход и опять опускает доску. Теперь он командир. У молодого человека двое подручных, полки и выдвижные ящики полны, потолок увешан товарами, пол завален товарами,— в лавке все, что может пожелать человек: шелковые ткани, изразцовые печки, венское печенье. Он помещал объявления в «Сегельфосской газете» только ради шика,— это было излишне, конкурентов у него не было, но он вел дело на современный образец.

Старик Пер из Буа не имел никакого представления о том, что происходит под его ногами, он сказал: спички, сказал: соль. Уж не воображал ли он, что и сейчас, как во времена его владычества, дневную выручку можно уложить в кожаный кошелек и запрятать на ночь под подушку? Теперь выручка записывалась в толстые книги и пряталась в нескораемый шкаф в конторе, а контора существовала для одного только Теодора, который сидел там на высоком винтовом табурете и записывал все на свете. Вначале, когда он был маленьким, он писал: «с совершенным почтением Теодор Педерсен», потому что отца его звали Пер, теперь же подписывался: «Теодор Иенсен», потому что отца звали Иенсен. Это мать перекрестила так отца,— она захотела ходить в шляпке и величаться «мадам». Так все и пошло расти в вышину, одно за другим, пуще же всего — торговля. Спички и соль? Нет, консервы, и макароны, и швейцарский сыр. Упрямый калека в мезанине и сейчас требовал козьего сыру, как в старину,— простак, козьего сыру негде было достать, потому что никто уже не держал коз. Товар вывелся точно так же, как вывелись бумажные воротнички и постные баранки. Старику предлагали взамен так называемый жирный сыр, или сливочный,— покорно благодарю, он выплевывал эту дрянь на пол! Он был самым неприятным клиентом в лавке из-за своего пристрастия к старине. Почему бы ему не есть, со всеми прочими, рокфор в серебряной бумажке и камамбер в изящных деревянных коробочках? Но это, в его глазах, был обман. Клецки в молоке — это он понимал, но макароны — это еще что такое? Он отстал от развития местечка и его обитателей,

теперь и здесь уже не было человека, который не кушал бы макарон на свой заработок, и все кушали конфеты, и кушали вкусные сливы на заработанные денежки, и истребляли целые леса макарон, как за границей!

В особенности сказались все эти новшества на домашнем хозяйстве, — его стало гораздо легче и удобнее вести. Масло? Масла уже не сбивали, а шли в лавку и покупали маргарин. Кладовые и чуланы с мясом, свининой и рыбой? Все бы до смерти нахотались над чудачком, который вздумал бы запастись солониной. Гораздо разумнее было покупать кушанье в жестянках, порционное кушанье. Оно было готовое, сваренное, почти что уже пережеванное, только и оставалось, что завязать его в тряпочку и сделать соску для человечества. Ах, как бедным хозяйкам приходилось мучиться в старину по сравнению с теперешними временами! К чему теперь зубы во рту?

Ведь вставные зубы висят на шнурке в лавочке дантиста, а для жестяночных кушаний требуется только ложка. И потом, кушанье в жестянках свежие, они действуют мягко на людей, уже получивших от них язвы желудка. Так неужели это не расцвет по всей линии?

А вот Нильс-сапожник и его сын остались без хлеба. Они, некогда бывшие самыми необходимыми людьми в Сегельфоссе и окрестностях, шившие кожаные башмаки, которых хватало на год, а то и на два, и умевшие положить заплатку так, что она служила только отделкой и украшением сапога, — они остались без хлеба. Теперь люди покупают обувь в лавке. Ну, конечно. И она страсть какая блестящая и остроносая и чуть что не тает на языке.

Выдержав такое положение вещей несколько лет, в течение которых Нильс становился все тоньше и тоньше и превратился в тень самого себя, чуть ли не в мальчика-конфирманта, — до того он стал легок на ногу, когда бродил по избам, напрашиваясь на ломоть хлеба с чашкой кофе, и когда на каждой мусорной куче находил эти покупные сапоги и покупные башмаки, которые люди снашивали в каких-нибудь два-три месяца и потом выбрасывали, — да, выдержав это несколько лет, Нильс-сапожник в один прекрасный день решительно отправил своего сына в Америку, а сам продолжал бродить по пустырям и голодать изо дня в день. Нечего говорить — иногда он встречал щедрую душу. Встречал Борсена с телеграфа, начальника станции, и тот давал ему несколько грошей. Странное знакомство было между ними, — оно началось с того, что Нильс-сапожник пошел однажды к

начальнику телеграфа, указал тому на его сапоги и предложил подкинуть под ним подметки.

— Нет,— сказал Борсен,— на это у меня не хватит средств. Но вот, выпей рюмочку и возьми две кроны.

И с тех пор сапожник постоянно получал какую-нибудь мелочь, когда у Борсена было из чего уделить.

Юлий тоже нередко помогал ему,— в гостинице Ларсена оставалось много объедков для изможденного скелета.

— Покорми Нильса, он пришел издалека,— говорил хозяин Юлий своей матери, заведывавшей кухней,— дай ему побольше мяса,— говорил Юлий.— Уж если ты идешь в поместье и увидишь Полину, так пусть не скажут, что тебя отпустили из гостиницы Ларсена без всякого угощения,— говорил Юлий Нильсу-сапожнику.

— Еще никогда не случалось, чтоб я прошел мимо гостиницы Ларсена и меня не угостили по-царски,— отвечал, в свою очередь, Нильс-сапожник, и говорил хитро и рабелепно. Старый крючок!

Еще была хорошая кухня, куда приятно попасть, у жены ходатая по делам, адвоката Раша. Самого адвоката Нильс-сапожник никогда не видал; он был ужасно жирный и толстый и постоянно сидел в своей конторе, пыхтел и вел большие дела; зато Нильс-сапожник видел барыню,— добрая душа, во времена лейтенанта она жила в поместье Сегельфосс и звалась иомфру Сальвесен, а потом сделалась важной дамой. Да, поистине, все, как есть, возвысились против прежнего! У лейтенанта иомфру Сальвесен просто служила на жалованье, и удивительно, что тогда она была довольна и счастлива. Ну, а теперь она была фру Раш, имела кучу денег и двоих детей,— чего же еще? И все-таки фру чувствовала себя несчастной, нервничала и жаловалась, часто плакала и вела себя глупо, хотя наряжалась в бархат и перья. Вот так положение! Может, ее подсекло, что она стала матерью двоих детей? Или же она не могла забыть начальника пристани у господина Хольменгро, с которым она была помолвлена, когда явился адвокат Раш и женился на ней?

Когда Нильс-сапожник притаскивался к ней в кухню с веником, сделанным для барыни, или с починенным детским башмачком, фру Раш подсаживалась к нему, угощала, говорила о старых временах и расспрашивала, как живет в Америке его сыну. И даже мысль-то о переселении в Америку пришла как раз этой странной фру Раш, но, к сожалению, денег тогда она не могла дать — всего несколько крон, двадцать крон, которые она

урвала из своего хозяйства, приписывая в течение многих месяцев к подаваемым мужу счетам. И чудная барыня чуть не плакала, давая Нильсу-сапожнику эти двадцать крон для сына, эти гроши для сына, и вся покраснела от того, что их так мало. «Но вот,— сказала фру Раш,— здесь есть еще, это деньги на весь билет, они от молодого Виллаца,— сказала она,— от Виллаца Хольмсена, понимаешь?» И фру Раш рассказала, как она написала молодому Виллацу,— он был далеко, жил в большом свете, давал концерты, тешил людей музыкой и был знаменитостью. Так вот она ему написала и получила все, что просила, и даже больше. «Денег? — ответил молодой Виллац.— С удовольствием!» Точь-в-точь, как в свое время его отец, когда к нему приходили и о чем-нибудь просили. Ах, помещики Хольмсен, вот это были господа! И сын такой же, две капли воды, как его родители. Нынче летом он приедет домой и долго проживет в своем большом доме.

Фру Раш необычайно взволнована и с воодушевлением разговаривает с Нильсом-сапожником, не обращая внимания на то, что ее служанки все слышат. Но все время она сидит точно на булавках и просит Нильса-сапожника поскорее съесть бутерброды и кусок пирога, чтобы ей поскорее убрать со стола, потому что незачем оставлять беспорядок. Потом она уходит на минутку в кладовую и, вернувшись, спрашивает Нильса-сапожника, не возьмет ли он починить и другой детский башмачок; она уложила его в большой пакет, чтоб — говорит — не так легко было его потерять.

Когда Нильс-сапожник стоит у дверей с пакетом под мышкой, фру Раш как будто успокаивается и начинает расспрашивать:

— Ну, как же тебе, все-таки, живется? Ведь ты не очень тепло одет по такому морозу?

— Одет? — повторяет Нильс-сапожник, и шутит, и смеется всем своим сморщенным лицом, потому что сыт.— Я не люблю напяливать на себя лишнюю одежду. А кроме того, я бегу так шибко, что морозу меня не догнать. Ха-ха, вот так я делаю,— говорит Нильс-сапожник.

Фру Раш спрашивает:

— А ты ничего не получал от сына?

— Как же,— отвечает Нильс,— только все больше письма. Должно быть, у него самого не так-то уж густо. Но я рад, что ему живется так замечательно.

— И ты никогда не получал ничего, кроме писем?

— Как же, карточку.

— И ничего больше?

— Н-нет. Но он обещал прислать в следующий раз. Он пишет так крупно и четко,— легко читать. Он подписывается «Нельсон».

— Ах, был бы жив лейтенант! — говорит фру Раш и сжимает руки.— Он бы научил твоего сына писать так, что еще легче было бы читать!

На это Нильс-сапожник ничего не отвечает, но, когда он благодарит и собирается уходить, фру Раш говорит, что попросит молодого Виллаца написать в Америку этому сыну, этому Нельсону. И тогда Нильс-сапожник, ослепленный этим американским сыном, которому живется так замечательно, отвечает:

— Да нет, может, ему и самому не так-то легко. Если на то пошло — по карточке я вижу, что он здоров и у него есть все, что нужно по части платья, и часы, и все такое. Он пишет, что собирается приехать домой. И я уж как-нибудь дождусь его приезда. Покорно благодарю за угощение!

— Приходи опять поскорее,— говорит фру Раш.

По уходе Нильса-сапожника она отводит душу со служанками: уж она бы проучила этого американского барина, этого Нельсона! Ведь это лопнуть можно! Очень разжиреет худой отец от карточки! Но подожди, пусть только приедет молодой Виллац!

И тут она вспоминает, что пора ей наконец заглянуть в Сегельфосс, в поместье, она пойдет сейчас,— все откладывала день за днем, а теперь надо это сделать сию минуту.

— Принесите мне пальто, Флорина! И не забудьте, девочки, сходите без меня кто-нибудь в лавку за кофе.

Добрая же эта фру Раш,— она обещала молодому Виллацу заглядывать кое-когда на его усадьбу и решила это сделать. Хозяйничала у него молоденькая Полина, славная девушка; под началом у нее было несколько работниц, а, кроме того, там жил Мартин-работник, он следил за полевым хозяйством и командовал лопарем Петтером и другими рабочими. Фру Раш всегда находила в имении полный порядок, но весной и осенью производила самолично ревизию серебра. Она так решила. Во-первых, это была ее обязанность, раз она обещала, а во-вторых — и серебро-то стоило того, чтобы его посмотреть! Ах господи, какие блюда, миски с позолоченными ручками, вазы для печенья, подносы, жбаны, ножи с кабаньими головами на ручках, рукомойники из серебра в комнатах барина и

барыни! И всюду — ни одного местечка, где не было бы роскоши и великолепия, — картины, мраморные статуи, золоченые люстры, резные ларцы.

Фру Раш вся кипит, она со временем своего девичества сохранила неистребимое почтение ко всему, относящемуся к имению, — такого, как там, не было нигде, даже перила на двух парадных лестницах — «не знаю, из чего они сделаны, — говорила она, — но они блестят, как золото». И когда однажды она прочитала в газете про золотой сервиз у какого-то князя, она сказала своим служанкам на кухне:

— В имении у нас был сервиз, который никогда не употреблялся.

— Золотой? — спросили девушки.

— Не скажу, чтоб золотой, — отвечала фру Раш, — но, во всяком случае, серебряный. Мы никогда его не употребляли, потому что он был ужасно дорогой. Его никогда не вынимали, он лежал всегда запакованный. Подумать только, тарелок на двадцать четыре персоны?

— Серебряные тарелки? — вскричали девушки.

А фру Раш отвечала:

— Вот, серебряные они или золотые, я хорошенько не знаю, но ясно помню, что один раз видела двадцать четыре тарелки!

Ну, да фру Раш, наверное, преувеличивала и врала, — она была в хорошем настроении. Оттого, придя в Сегельфосс и увидев Полину, она приступила к делу весело и крикнула:

— Вот пришел инспектор производить ревизию!

А Полина отвечает:

— Это очень хорошо, потому что Мартин-работник получил письмо.

— Он приедет?

— Приедет скоро. И вы скажите нам, что надо сделать.

Сказать было вовсе не так просто, — надо было хорошенько обсудить. У молодого Виллаца, кроме главного дома, были две комнаты на кирпичном заводе, где под конец жизни ютился его отец. Где же теперь поселится сын? И там, и здесь комнаты стояли нетронутыми, со всей мебелью.

— А он не пишет, где думает жить? Послушай, Полина, надо здесь все убрать! Ты думаешь, такой человек, как он, может жить где-нибудь, кроме главного дома? Убери комнаты его отца, комнаты лейтенанта, всю северную половину, знаешь? Пойдем, посмотрим!

Обе женщины пошли. Воспоминания неслись навстречу фру Раш из каждой комнаты; она суетилась и отдавала

приказания, как в былые дни, таскала за собой Полину, указывала, двигала стулья. Они прошли в будуар барыни; здесь тоже надо все осмотреть, обмести пыль, выколотить подушки и выстирать гардины. Взялись за серебро. «О-о!» — сказала фру Раш и упала на стул. Время шло, обе женщины с головой погрузились в свое занятие; они все глубже и глубже зарывались в груды серебра, вынимали предметы и опять их укладывали, сидели, держа на коленях большие серебряные сосуды. А теперь ларец, с виду такой простой и незначительный, хотя и на золоченых львиных ножках, — они никогда хорошенько не рассмотрели, что находится в его глубоких недрах, — скорее, ключ! Ну-да, опять серебро в вате, но старинное и особенное серебро, ажурные вещи, сервиз. Полина вынимала футляр за футляром, сверток за свертком; на самом дне был ящик, — вынимай и его, Полина, давай сюда весь ящик! Но ящик был страшно тяжелый, и, когда его вынули, в нем оказалось две дюжины серебряных тарелок.

Фру Раш подскочила на стуле. То, что она сама считала почти сном, выдумкой, родившейся в ее душе, — оказалось действительностью.

— Что я говорила? — воскликнула фру Раш. — Я же знала, что они есть, я видела их собственными глазами; только я не знала, наверное, может быть, лейтенант их продал, может быть, перечеканил на деньги в последние годы своей жизни. Мне бы надо было сообразить, такой-то человек, как он! Две дюжины, если я не ошибаюсь, пересчитай, Полина! Ну, натурально, это серебряные тарелки на двадцать четыре персоны, — мы с тобой в барском доме или нет? Ах ты, господи, боже милостивый!

Она пришла в сильное волнение, жалела, что не взяла с собой своих деток, чтобы и они полюбовались чудом.

— Почему знать, может быть, это повлияло бы на всю их жизнь — повлияло бы на всю жизнь моих драгоценных малюток. Но я расскажу им нынче вечером, когда они будут ложиться спать; ты знаешь, Полина, какие у них хорошенькие глазки, красивые, большие глаза у обоих, спаси их господь! Мне хотелось бы иметь еще детей! Но теперь я скоро состарюсь и больше у меня не будет, а когда эти двое вырастут, у меня в доме не будет маленьких. Я об этом часто думаю. Полина, помни, хорошенько перетри все и закутай опять каждую вещь в свою ватку и уложи в свои отделения, и пусть они спят. Пусть спят, спят, здесь спит целое богатство! Да, можно сказать, милочка Полина, мы с тобой сегодня кое-что видели.

Я расскажу тебе когда-нибудь, как надо накрывать стол серебром, когда все до последнего, кроме венецианского хрустала, из серебра. И тут уж тебе не хлеб с маслом или вареная козлятина, а три блюда одних только рыб разных сортов, кроме пяти, а то и десяти всевозможных мясных блюд, а потом фрукты и сыр, а под самый конец кофе с ликерами из кувшинов, что стоят в погребе. Я расскажу тебе когда-нибудь, какие у господ бывают торжества. Тогда мы надеваем крахмальные передники и белые чепчики на голову, чтоб волосы не попали в кушанье. А дамы декольтированы вот по сих пор и с золотыми цепочками на шее, а мужчины все в сюртуках, если обед днем. Так у них полагается. И вот лейтенант встает и держит всем речь,— когда крестили Маргариту Кольдевин, то крестили ее здесь, и тогда лейтенант произнес про нее речь — прекраснее этой речи не может быть на человеческом языке. Но меня тогда здесь не было, это было до меня, но консул Фредерик мне это сам рассказывал такие истории, над которыми я и до сих пор покатываюсь со смеху, и он брал меня вот так, легонечко, за руку, когда хотел пошутить, и был такой обворожительный. Другого такого не найти, и он умел находить самые смешные слова на свете. «Я все жду вас»,— говорил он мне и, конечно, говорил это так себе, нарочно, потому что давным-давно был женат. Не будь этого, бог знает, чем бы между нами кончилось, потому что он мог заговорить всех нас. Ох, да что же это я все сижу и болтаю, пойдем скорее, милочка! Я позабыла про деток и про полдник.

Уже стоя в дверях, фру Раш все еще не покончила с последними приказааниями; она опять вернулась в кухню и сказала Полине:

— Ужасно, что мы об этом не подумали раньше: приготовить комнаты и на кирпичном заводе. Зимой гардины, выколоти ковры и вытри везде пыль. Такой господин, как он, может захотеть жить в нескольких местах за раз,— почем мы знаем.

Наконец, фру Раш отправилась домой, к своим дорогим малюткам. И тотчас служанки ее приобщились к великому мгновению, пережитому в поместье, серебряный сервиз превратился в алмазную россыпь, тысячи штук, рай.

— Мы перетерли и золотой сервиз,— сказала она как бы мимоходом,— двадцать четыре тарелки.

— Неужто из золота? — спросили девушки, всплеснув руками.

Фру Раш ответила:

— Этого я в точности не заметила, может, они были из серебра. Но во всяком случае — из настоящего, проба была на каждой тарелке. Между золотом и серебром разница небольшая, — если есть серебряные тарелки, можно иметь и золотые, но серебряные тарелки часто даже гораздо благороднее, особенно к завтраку. А что, детки пополуночи?

Горничная Флорина, в свою очередь, рассказала о том, что видела в лавке. Там было пропасть народу, она насилу добилась кофе, все говорили о том, что будет и что такое затевалось, раз Корнелиус день-деньской стоит на сигнальном холме и что-то караулит.

— В свое время увидите! — отвечали приказчики и сам Теодор, но больше ничего не хотели сказать. А люди сошлись даже с верхних выселков, чтоб узнать, что такое происходит.

— Наверное, какие-нибудь глупости, — сказала фру Раш. — Они там в лавке выдумывают, что кто-то едет, и махают флагом. Мне это так же интересно, как вот эта моя перчатка.

Но девушки заразились общим возбуждением и под вечер спросили барыню, не принести ли кстати гороху и ячневой крупы из лавки. Да, конечно, и хотя одна из девушек, которую звали Флорина, как раз была нездорова, мучилась тошнотой, зубной болью и плакала, она все-таки пошла, и ее невозможно было удержать, только замотала себе щеки шерстяным платком. И вот, девушки отправились, а когда они вернулись, приказчик Корнелиус все еще стоял на сигнальном холме и не сходил с него.

— Приказчики угостили нас шоколадом, — сказали девушки, — а Давердана пришла в лавку и пила вино, сам Теодор поднес ей. Словно на свадьбе или вроде этого.

Тогда любопытство одолело и фру Раш, — она ведь тоже была обыкновенный человек из плоти и крови, и знала, что если сегодня она не купит пакета желатина и полметра марли от мух, то придется сделать это завтра, потому что послезавтра воскресенье. Но она решила не делать из этого события, а пойти в лавку без шляпки и побыть там только минутку, чтобы те там видели, насколько она мало интересуется их выдумками.

Когда она вошла в лавку, все ей поклонились, потому что она была фру Раш и все ее любили; но плохо было то, что и смотритель пристани стоял тут же, а он служил смотрителем пристани у господина Хольменгро и, в

сущности, был первым возлюбленным фру Раш в этих местах. Правда, он поклонился, как всегда, и ничем себя не выдал, но сама фру Раш почувствовала себя неловко, потому что была без шляпки и не одета.

— Покажите мне, какой у вас желатин,— сказала она в смущении.— И дайте полметра кисеи от мух,— сказала она.

И молодой Теодор подошел и сам стал ей отпускать, но когда он откинул доску прилавка и попросил ее пройти, она ответила «нет», «спасибо»,— она торопится.

И вот молодой Теодор выложил двадцать пакетов желатина, все разного сорта, и сбросил на прилавок целую штуку кисеи от мух и развернул ее так, чтобы фру Раш могла как следует рассмотреть товар. Молодой Теодор был в общем очень вежлив и изыскан, и руки у него, пожалуй, совсем приличные, только чересчур много колец. Он сам начал рассказывать фру Раш, кого он ждет в гости и кому собирается подавать сигналы, а так как он мучил всех остальных своей тайной, а теперь открыл секрет ей, то молодой парень стал нравиться ей все больше и больше,— она, ведь, была такой же человек, как все, а вдобавок и говорил-то он так рассудительно и мило.

Да, он хотел оказать ему некоторый почет и сигнализировать его пароходу, когда он станет подходить; это крупный коммивояжер, представитель фирмы Дидрексон и Гюбрехт и сын самого Дидрексона. У него собственный пароход, и он объезжает только самые крупные пункты.— Вы знаете Дидрексона и Гюбрехта, фру? Да, так это его представитель. Он телеграфировал несколько дней тому назад, что приедет сегодня, но, должно быть, задержался.— Теодору надоели эти мелкие южные оптовики, присылающие доверенных с ручным саквояжем, этого не хватает, это не крупное дело.

— Ведь мы — очень крупный потребитель,— сказал он,— и намерены сделать солидные закупки на весну и лето.

Все слушали, да еще как, вытаращив глаза и вытянув шею. Содержатель гостиницы, Юлий, дошлый парень, прервал молодого Теодора и спросил:

— А жить он будет у меня?

— Нет,— отрезал Теодор.

— Вот что,— нет. Так он будет жить у вас?

Теодор улыбнулся и ответил больше фру Раш, чем Юлию:

— Я полагаю, он будет жить у себя, в своем большом салоне.

И все слушали, поражаясь все больше. Что же это за неслыханно важная персона к ним едет?

А Теодор все распинался перед барыней и говорил, ломаясь:

— Мы подбираем ассортимент к сезону, наша фирма — ведь единственное большое коммерческое предприятие в этих местах, и мы имеем в виду дать заказ тысяч на двадцать — тридцать крон одной мануфактуры, дорогие и модные ткани, настоящие страусовые перья, готовые платья из Парижа и Лондона, все, что фру может пожелать. Я надеюсь иметь честь увидеть фру у нас, когда получатся товары.

— А у вас будут костюмчики для мальчиков? — спросила фру Раш.

— Все, фру, все.

Уходя она ласково кивнула ему. Ей одной и никому больше рассказал он великую новость, да еще в присутствии начальника пристани. О, Теодор Иенсен был не только шалопаем.

Лавка опустела, люди удовлетворили свое любопытство и спешат по дорогам с новостью, несут ее по домам, делятся со встречными. Разве не оправдались их догадки, — вот до чего важны стали хозяева лавки: этот молодой Теодор-лавочник, ему присылают собственный пароход с одними только образцами; чем же это кончится? И если он может закупить на тридцать тысяч крон одних страусовых перьев и детских костюмчиков и тому подобного, так чего же он вообще-то не может закупить?!

Какой-то человек заинтересовался изящным пакетиком, купленным фру Раш, — что в нем такое? Желатин? Для чего его употребляется? Человек был из дальних выселков, полупьяный, лошадь его стояла на дворе и мерзла.

— Дайте мне один пакет, — сказал он.

Когда пришлось платить, он поразился дешевой ценой и потребовал еще несколько пакетиков, чтоб ему хватило желатину надольше. Потом купил еще коробку печенья. И вышел со своей добычей.

Стемнело, и приказчики зажгли огонь. Подручный Корнелиус спустился с сигнального холма и заявил, что ничего не видно на расстоянии кабельтова; он весь посинел от холода, и рот у него свело. Когда кто-то рассмешил его, лицо у него перекошилось до неузнаваемости, и люди захохотались до колик, глядя на него.

Давердана все еще стояла в лавке и покупала разные мелочи. У нее огненно-рыжие волосы, она простоволосая

и пышнотелая, хохочет ужасно заразительно, и глаза у нее становятся влажными, когда Теодор просит ее пойти домой к детям. Давердана — дочь Ларса Мануэльсена, она уже несколько лет замужем за помощником смотрителя пристани у господина Хольменгро, и у нее только один ребенок. Чего ей спешить домой к детям? У нее только один ребенок, — стало быть, немного. Да и ребенок-то — девочка, которая отлично справляется одна. Впрочем, молодая мать очень работящая, она шьет мешки на мельницу и сама зарабатывает деньги; муж влюблен в нее, она веселая и проворная, и в доме у них уютно. В нее влюблены еще многие, все, — она такая пышная, и вид у нее ужасно страстный. Но муж ее не верит про нее ничему плохому и глух ко всем сплетням.

Да и зачем ему верить чему-нибудь про Давердану? Разве она не замужем и у нее нет собственного мужа?

ГЛАВА III

Представитель Дидрексона и Гюбрехта не приехал и на следующий день, и подручному Корнелиусу пришлось три дня выстоять на сигнальном холме и мерзнуть до потери человеческого образа, пока знатный гость наконец не приехал. Но он все-таки приехал, и уж тут вдосталь помахали флагом и на сигнальном холме, и дома, с лавки, а старый Пер лежал и никак не мог сообразить, что это еще за новый шум у него над головою.

— Должно быть, это проклятая сорока, — сказал он, — вздумала гнездиться аккурат здесь! Но пусть только попробует!

Теодор был на пароходе и торговался с утра до вечера; его видели мельком, когда он ходил в лавку, он понес с собой целую кипу балансов. Маленький пароходик тоже возбуждал большое внимание, — он топил машину целый день и дымил; многие из местных жителей взбирались на палубу, и им все показывали не потому, что пароход мог потягаться с огромными насыпными судами, пришедшими из далеких стран к господину Хольменгро, а потому, что это был пассажирский пароход, находившийся в распоряжении одного-единственного магната.

Хозяин его был высок, задорен и молод, повеса, изредка показывавшийся на палубе в шубе и резиновых ботфортах. Он подмигивал молодым девушкам на набережной и бросал монеты в пять эре ребятишкам, — рубаха-парень, он

совершал первое путешествие в северные страны. Начальник пристани пришел к нему, пришли и редактор, и метранпаж «Сегельфосской газеты» и писали что-то своими тощими типографскими пальцами. Всем, кто приходил, предлагали выпить стаканчик. Ларс Мануэльсен тоже поднялся на палубу и спросил, не надо ли снести чего-нибудь. Нет. Тогда он сказал, кто он такой — отец Л. Лассена, и спросил, не может ли чем услужить. Господин Дидрексон посмотрел на глаза старика и на его осанку и ответил:

— Тысяча чертей, пойдемте, выпьем стаканчик, я страшно рад с вами познакомиться, — сказал он. И они отошли к сторонке и, наверное, сколько-нибудь да узнали друг друга, потому что разговаривали долго.

Хотя пароход стоял под парами, господин Дидрексон не намеревался уезжать в тот же вечер, как собирался вначале, — нет, он решил устроить пир. По правде сказать, он думал покончить в Сегельфоссе часа в два и уехать, но заказ Теодора оказался гораздо крупнее, и вот господин Дидрексон решил устроить маленькую пирушку в мужской компании, чтоб отпраздновать сделку. Он посоветовался об этом с самим Теодором, и Теодор согласился. О господине Хольменгро, разумеется, нечего было думать, но если бы господин Дидрексон сейчас же сделал визит, то можно было бы залучить адвоката Раша. Господин Дидрексон не захотел, — впрочем, есть там молодые женщины? — спросил он. Нет. Ну, в таком случае, он не хочет. Потом, есть уездный врач Муус, живет он, правда, очень далеко, но он был бы очень приятен. А вот Борсена надо непременно позвать, начальника телеграфа, он сильно пьет, но играет на виолончели. А еще кого?

Они думали и сображали, а тем временем выпивали стакан за стаканом и пировали авансом. По прошествии некоторого времени господин Дидрексон стал недоумевать, почему решили позвать одних мужчин, — как это так? Почему не двое-трое мужчин с своими дамами, то есть по даме на каждого? — А что это за субъект, этот старый почтенный человек в парике, отец пастора Лассена? — спросил он вдруг и в заключение заявил, что не желает никаких чинных и скучных людей.

— Мы можем обойтись и без них, нас трое: вы, машинист и я, а если к нам придут потанцевать несколько барышень, то мы выедем с ними на фиорд. Пары у нас разведены.

Но тут выяснилось, что Теодор не из таковских, то есть малый он хоть куда, не дурак и покутить, прихвастнул

он, но он почти что помолвлен. Это чудесно, и они выпили по этому случаю. А разве нельзя пригласить и его даму? Нет, Теодор грустно улыбнулся,— об этом не может быть и речи, они слишком высокого полета. Да, впрочем, ему на ней никогда не жениться.

Ну, и конечно, последний стаканчик выдал молодого Теодора,— он не был пьяницей, и в голове у него скоро затуманилось, он впал в элегическое настроение. В будничном сердце его был маленький уголок, куда не проникала никогда торговля и никакая земная суета,— это была заповедная роща с грезами, коленопреклонениями и жертвоприношениями.

А у того не было ни черта, у господина Дидрексона не было никакой рощи, он обыкновенно просто уезжал,— хвастался он. Он притворился, будто сердится на молодого Теодора и боится, что тот испортит ему вечер: как будто набережная не кишит девицами? Он начал утешать молодого парня и заговорил с ним так, как говорил со своими клиентами, когда хотел их подбодрить:

— Вы говорите, вам на ней никогда не жениться? Такой-то человек, как вы, богатейший коммерсант! Я за всю поездку не продал на большую сумму ни одному частному лицу. Она, наверное, одумается.

Элегия усиливается. Она слишком высокого полета. И потом она так невероятно богата. Нет, она никогда не будет принадлежать ему!

— Ну, в таком случае вам надо просто ее бросить.

— Да,— сказал Теодор,— больше ничего не остается.

— Хорошо, значит ничто не мешает нам пригласить на парход двух барышень.

Нет, Теодор не соглашался. Это значило насмеяться над самим собой. Он постоянен и тверд, никто не может обвести этого молодого парня вокруг пальца. В нем живо, должно быть, юношеское обожание, в нем еще живы две души. Bravo!

— Тогда давайте своего телеграфиста,— сказал господин Дидрексон. Потом позвонил повара и заказал большой ужин.

Ох, как молодой Дидрексон старался быть мужчиной! Он, словно, не мог жить без пьянства, кутежей и женщин,— вот до чего он был опытен. Он достал записную книжку и показал карточки шансонетных певичек; на одной была нежная надпись, но, может быть, он сам написал ее,— чего не придумает безумная юность! Но он импонировал провинциальному Теодору из Буа,— оба были молоды.

Когда настал вечер, народу на набережной прибавилось,— подошли люди, покончившие свою дневную работу, подошли рабочие с мельницы и обитатели дальних домов. Вот стоит в сторонке какой-то человек и курит; Теодор манит его, чтоб он поднялся на пароход, но человек продолжает курить, не обращая внимания на приглашение.

— Это телеграфист Борсен,— сказал Теодор,— должно быть, он уже пьян.

— Позовите его сюда,— сказал господин Дидрексон.

Теодор опять помахал рукой,— нет, Борсен не обратил внимания. Вдруг господин Дидрексон сбегает на берег, снимает шляпу, представляется и приглашает начальника телеграфа. Оба поднимаются на пароход.

Борсен, высокий мужчина, в выцветшем синем костюме, на ходу раскачивает широкими плечами. Лет ему под сорок. Он опрятен и чисто выбрит, но платье его сильно потерто, он без пальто, пиджак на нем даже распахнут, и видна жилетка с недостающей пуговицей. Нос у него красноватый, и, несомненно, это объясняется не одним только холодом на набережной — нет, вид у Борсена настоящего пьяницы.

— Я простою здесь до утра и прошу вас пожаловать нынче вечером ко мне, если вам не предстоит ничего более приятного,— предупредительно сказал хозяин.

— Спасибо,— ответил Борсен.

— Ведь вы между собой знакомы. Что позволите вам предложить для начала?

Борсен несколько растерян, он попал снаружи, где еще светло, в маленький темный салон. Он видел очертания бутылок и стаканов на столе, но ответил:

— Если можно, свету.

Господин Дидрексон позвонил.

— Свету, это вы правы, ха-ха, поразительно верное замечание! Свету! — крикнул он показавшемуся в дверях повару. И хозяин постарался быть как нельзя более любезным и предупредительным с потертым гостем.

Они сели и приступили к ужину. По-видимому, это была незаурядная минута для Борсена; вначале он был несколько односложен, зато, с течением времени, разговорился и благожелательно слушал болтовню молодого коммивояжера. Но Теодора-лавочника он слушал без благожелательности,— бог знает, по какой причине, он почти его не видит, почти не слышит. А Теодор, со своей стороны, должно быть воображал, что может допустить в обращении с телеграфистом некоторую вольность,— он

продал ему такое огромное количество своего скверного вина и знал его жалкое положение. Но тут молодой Теодор ошибся,— оказалось, что ему следует быть поосторожнее.

— Вы не можете сбежать домой за своей виолончелью, Борсен? — сказал Теодор напрямик.

— Отчего же? Когда вы уйдете, — ответил Борсен.

— Вот как! — сказал Теодор и засмеялся. Но, немного спустя, понял грубость и сказал: — Вы и завтра тоже будете таким важным?

— Да, кстати, ведь здесь есть гостиница, — поспешно говорит Дидрексон. — Гостиница и рассыльный — какой-то старик, Мануэльсен, Ларсен или что-то в этом роде. Он — отец известного пастора Лассена.

— Совершенно верно.

— К сожалению, я не мог дать ему никакого поручения, — улыбаясь, сказал господин Дидрексон. — Я обещал, что остановлюсь в его гостинице в следующий раз.

Хмель начинал все больше разбирать господина Дидрексона, он боролся против него, обдумывая свои слова и действовал молодцом. Он был эластичен и молод, ему хотелось оказать телеграфисту побольше почета именно потому, что он видел его запойный нос и жилетку без пуговицы.

— У нас в Сегельфоссе много интересного и кроме Ларса Мануэльсена, — заявил начальник станции. — У нас есть король, господин Хольменгро, он вдовец, у него есть принцесса.

Молодой Теодор потупился.

— У нас есть заброшенный замок, — продолжал телеграфист, — в нем жил некий дворянин Виллац Хольмсен, он умер. Сын его, молодой Виллац, за границей, нынче весной он приедет домой.

— Разве он приедет весной домой? — спросил Теодор.

— Да. Но это не значит, что вы должны потерять всякую надежду.

— Всякую надежду — как так?

— Мне показалось, что у вас такой вид.

— Да, так здесь много интересного, — поспешил вмешаться господин Дидрексон. — Наверное то, что мы видим на горе, это — замок?

— Да, это замок...

— Надо сказать — великолепный, я видел его сегодня с палубы. Если б иметь такой замок, то можно бы заполнить и принцессу.

— Вы слышали? — сказал Борсен и взглянул в лицо молодому Теодору. — Во всяком случае, надо иметь замок.

— Да, — отозвался Теодор, он покраснел, но не потерял головы. — Это меня не касается, у меня есть лавка. Не понимаю, на что вы намекаете весь вечер, — прибавил он.

Борсен продолжал:

— Потом у нас есть старый кирпичный завод, возле устья реки. На нем не выделяется уже ни одного кирпича, он мертв, теперь в нем две новых горницы. Но если бы самый старый столб его мог поделиться своими воспоминаниями!

Хозяин сказал:

— Да, Сегельфосс — старинное и большое место, о нем написано в «Истории землевладения» Стенвинкеля. И, по-видимому, оно не умалилось с течением времени, — во всяком случае, я заключил здесь сделку, какой мне не удалось заключить в южных городах. Господин Иенсен, разрешите с вами чокнуться!

— Присоединяюсь, — сказал телеграфист. — За многие хорошие качества юности!

— Вы чокаетесь со мной? — спросил Теодор.

— Да, с вами. Это наводит вас на подозрения?

— Да.

Телеграфист усмехнулся про себя и сказал:

— За ваши многие хорошие качества!

— Я не стану пить, — сказал Теодор и поставил стакан.

Хозяин опять вмешался и предложил:

— Не хотите ли прогуляться на палубу? Мой придворный повар, наверное, желает накрыть стол. Вы пришли без пальто, господин Борсен, будьте добры, накиньте мой ульстер.

Они оделись и вышли наверх. На палубе стояли машинист со знакомым и разговаривали, оба держали по стакану горячего грога и курили сигары после длинной прогулки на берегу.

Вечер был светлый и тихий, но еще прохладный, от реки шел мягкий, нескончаемый шелест. На фоне леса маячили белые колонны и две спускавшиеся донизу каменные лестницы поместья Сегельфосс, — барская усадьба, замок. Мельница бездействовала, рабочий день кончился.

Вдали показалась рыбацья яхта, три человека в ялике тянули ее на буксире, а на ней стоял только один человек у руля.

— Вот идет моя яхта, — сказал Теодор. — А ветра-то ни капельки.

— Это ваша яхта? Куда вам ее надо отвести? — спросил господин Дидрексон.— Мы пойдем за ней. Мастер! — крикнул он машинисту.— Давайте-ка притащим вот ту посудину, это яхта господина Иенсена.

Это заняло полчаса, может быть за все про все — час, они подтянули яхту к сараю, где рыбу выкладывали, чтоб потом высушить на плоских вершинах, и пароход вернулся обратно к пристани. Стол был накрыт, мужчины спустились в салон.

— Обратили вы внимание на человека в ялике, с развевающимся желтым шелковым платком на шее? — спросил Борсен.

— Это Нильс из Вельта,— сказал Теодор.— Это он так расфрантился потому, что собирается вечером на берег, к своей милашке. А что такое с ним?

— Вот, господин Дидрексон,— ответил Борсен, обращаясь к хозяину,— мы все барахтаемся, и вы, и он, и я. И ничего нет для нас значительнее именно этого нашего собственного барахтанья. Один покупает гагачий остров, вечером, ложась спать, потирает руки, радуясь хорошему дельцу; другой уезжает на двенадцать недель на заработки, а когда возвращается домой, оказывается, что милая его уже три недели мучается зубной болью и рвотой.

И Теодор, и хозяин поняли, что тут было что намотать на ус. Тут был какой-то намек, они думали и прикидывали в уме: двенадцать недель, три недели. А может быть, это просто вранье пьяного человека? В конце концов Теодор рассердился и сказал:

— Это не на мой ли гагачий остров вы намекнули?

— И те, что померли несколько лет тому назад, или, в прошлом году, а то и совсем на днях, тоже жили здесь раньше и барахтались,— продолжал Борсен.— Продавали, и покупали, и по вечерам почитали себя счастливыми, потому что им удалось обтяпать дельце. Да. А потом умерли. Так не могло ли им быть безразлично, обтяпали они хорошее дело или нет? На нашем маленьком кладбище я прочитал на могильном кресте про Андора Нильсена Вельта. Он был отцом человека с желтым шелковым платком в ялике. Этот отец умер лет этак с двадцать тому назад, и ни одна душа не вспомнит о нем, даже и сын; а он барахтался усердно, смастерил новую дерновую крышу на своей избе в Вельте и по вечерам, ложась спать, радовался этой новой крыше. Потом умер и ушел от всего. А теперь барахтается его сын.

— Да,— сказал хозяин, желая выразиться как-нибудь помягче, чтобы никого не задеть.— Такова уж жизнь. Ведь так уж ведется.

— А если остановиться только на минутку и прислушаться, так видишь неслыханную дерзость и бесстыдство, в этом занятии своими делишками и суетой. Неужто не может быть все равно?

При этих словах телеграфист уставился глазами в свой стакан, в славный стаканчик, и принял глубокомысленный вид.

Ах, этот телеграфист Борсен, такой разбойник-плутяга, пожалуй, он прибегает к обычным уловкам пьянчужки, внушая мысль о глубоких думах, переживаниях и разочарованиях, скрывающихся за его пьянством. А в следующую минуту — уж не закатит ли он глаза к звездам и не испустит ли тяжкий вздох, не находя слов? Наверное, его молодые слушатели достаточно потрясены слышанным?

Теодор, во всяком случае, устоял, — может, ему и раньше доводилось переживать такое же положение; он сказал — даже не прожевав хорошенько:

— Ну, а разве плохо было, Борсен, прийти на пароход и попасть на такое знатное угощение? Я помахал вам сверху, но вы притворились, будто не видите.

Но и на этот раз молодой Теодор, должно быть, проявил чрезмерную развязность.

Телеграфист поднял свои глаза откуда-то с большой глубины, очень издалека, и медленно перевел их на Теодора:

— Вы махали мне, да, — сказал он. — Надеюсь, вы научились потом у этого молодого господина, нашего хозяина, как такие вещи делаются.

— Ах, вот вы как! — ответил Теодор и захохотал, но изрядно смутился. — Я полагал, что настолько вас знаю, что могу себе это позволить.

— Так что вы читали Стенвинкеля, господин Дидрек-сон? — спросил Борсен без всякого перехода.

— Да. Чтобы быть в курсе того, что мне встретится на пути.

— Правильно. Таким путем видишь огромные перемены, совершившиеся здесь с тех пор. У нас не делается ничего большого по сравнению с тем, что было тогда. Дела, торговля? Дребедень, кучи желтых шелковых платков. Наша жизнь выбита из колеи, лошади без кучера, а так как лошади знают, что везти вниз легче, чем на гору, то они и тащат вниз. Вниз нас, под гору, долой! Жизнь становится смешной, мы суетимся и работаем из-за еды и платья, мы притворяемся, будто живем. В старину существовали огромные различия, был замок и была

пустыня, нынче — все одинаково; в старину была судьба, нынче — заработная плата. Величие — что это такое? Лошади стащили его под гору: позвольте и мне фунтик величия, сколько это будет стоить? Мы покупаем себе искусственные челюсти и разводим новую кишечную флору в желудках, для всех одинаковую, единую по всей линии, мы делим между собою жизнь, разрезаем друг другу воздух и оставляем каждому следующему поколению все более и более спутанный и изуродованный мир. Принцесса? Она разъезжает на велосипеде, как рабочие ее папаши — короля, а они еле-еле сворачивают перед ней на дороге, хотят — поклонятся, хотят — нет.

Наступил уже вечер, и ужин был окончен, а телеграфист все говорил и пил; хозяин еще соблюдал вежливость и слушал, но юный Теодор не скрывал своего нетерпения, он не понимал ни звука из разговора и принимал его за обыкновенную пьяную болтовню, — так неужели же с ней считаться? Юный Теодор смотрел на часы, хлопал себя по коленке и громко зевал, закидывая руки за голову и вытягивался — олицетворение всесветной наглости и дурных манер. Ему, во всяком случае, следовало бы знать, что пиджак его пропотел под мышками, хотя пиджак и был новый, и вот теперь он рисковал тем, что Борсен порекомендует ему ванну, физическую ванну. Откуда такая храбрость? Беря новую сигару или протягивая руку за спичками, он опрокидывал стаканы из одного озорства.

Но телеграфист не посмотрел на него строго, и даже вовсе не посмотрел, — должно быть, он просто находился в болтливом настроении и продолжал говорить:

— Вы кланяетесь принцессе или не кланяетесь, и она пропускает это совершенно равнодушно, потому что принцессу тоже стащили под гору. Случись-ка это в старину! Ее горничные расчищали бы ей дорогу, лакеи расстилали бы перед ней ковры. Они радовались бы, пыжились бы от милостивого наказания, — это было переживание, роковой час; нынче они катят на велосипеде и наслаждаются своей невежливостью, и все же недовольны. Вы улыбаетесь, господин Теодор? — спросил вдруг Борсен, словно впервые заметив присутствие молодого человека.

— Нет! — с изумлением ответил Теодор.

Борсен заговорил с ним ласково, тоном как бы благодетеля.

— Если вы когда-нибудь попадете в замок...

— Я? Что мне там делать? — прервал Теодор.

— Если вас пригласят, когда приедет молодой Виллац...

— Меня не пригласят,— резко ответил Теодор и сунул большие пальцы в прорезы рукавов.— Ха, это еще что за выдумка!

— Тогда вы увидите там портреты, это — предки. Сначала-то они не так уж интересны, просто высокомерны и неаристократичны. Барин в каком-то подобии всоружения, похожий на обезьяну; единственное ценное в нем, это — его воля, она кладет основу всему. А барин? Барыня должна позировать своему изобразителю и искажителю, она входит в дверь словно наводнение из шелка и золотых пряжек и изливается на стул. Она так благородна, что, сидя, непременно должна опираться ножкой на подушку, а на подушке — три нитки жемчуга, на которые она наступает. Потом она поднимает голову,— лицом она не похожа на властительницу, но гордость ее беспредельна. Величие до такой степени для нее ново, что ей кажется, его не будет, если она его не подчеркнет. Но из этих двух свойств — воли и гордости — все-таки может произойти поколение высшего класса, если у него будут деньги.

— Да, деньги! — говорит господин Дидрексон, чтоб не молчать.

— Деньги. Но не какие-нибудь гроши, нужно настоящее богатство. Гроши — это на то, чтобы избаловать поколение, оберечь его от необходимости промачивать ноги, гроши это на то, чтобы выработать ни на что не нужное тщеславие. Нет — богатство.

— Я полагаю, нам пора расходиться,— говорит Теодор и опять смотрит на часы.

Лицо телеграфиста недовольно морщится, но он сейчас же справляется с собой и притворяется, будто не слышал. У него такой вид, словно он собирается распространяться до бесконечности,— ха, о чем только он не может поговорить!

— Еще не поздно,— вставляет хозяин.

Однако, если весь пир устроен, собственно, в честь купца Теодора, то до некоторой степени невежливо со стороны этого доброго телеграфиста сидеть и отличаться тут весь вечер. Машинист играет на гармонике, это выход! Господин Дидрексон думает, высовывает кончик языка, ловит кончик своих усиков, зажимает его зубами, потом опять выталкивает языком. Он придумал. И велит позвать машиниста.

— Надеюсь, вы взыщите за музыку, которую мы можем вам предложить,— говорит он, извиняясь.

И когда машинист приходит с гармоникой, ему сначала подносят порядочный стаканчик,— до того ему рады. Гармоника вся вымазана углем и маслом, но она звучит, играет. Теодор положительно оживился, музыка эта известна ему по сараю, он осушает свой стакан до дна и сидит, отбивая ногой такт вальса. Телеграфист возглядывает на него, и Теодору становится немножко стыдно за свое увлечение.

— Почему вы не сбегали за своею виолончелью? — сказал он.

— А зачем мне это? Ведь вот есть же вам музыка,— ответил Борсен.

— Вы играете на виолончели? — спросил машинист и бросил гармонику на диван. Он чувствовал себя в салоне, как дома, налил второй стаканчик, выпил его и отказался сыграть еще.— Давайте лучше сыграем партию в карты,— предложил он.

Хозяин переводил глаза с одного на другого:

— Это с удовольствием,— ответил Теодор.

— Гвоздь. С ограниченной ставкой,— сказал машинист и стал очищать место для игры. Во время долгих переходов от Копенгагена к купцам на норландском побережье он, наверное, устраивал не одну партию в карты в этом салоне, он знал все наизусть.— Сколько нас? Четверо,— сказал он и достал фишки для игры.

— Я не играю,— сказал Борсен.

Его стали выговаривать, ему покажут игру, меньше четверых невозможно.

— Вы окажете нам услугу,— вежливо просил хозяин.

— Но, милье мои, человек, у которого в кармане нет денег, не может играть в карты на деньги,— возразил Борсен.

— Вы доставите мне удовольствие, проиграв вот эти гроши,— сказал хозяин, протягивая ему две бумажки.— Вы окажете нам услугу, если согласитесь, без вас нас только трое.

Машинист уже сдал карты, и игра началась, все купили фишек для расплаты. Борсен выиграл. С тупым равнодушием он вернул хозяину бумажки, продолжал игру, опять выиграл, продал фишки за наличные другим, и у него осталось еще несколько бумажек на столе. Все много пили. Машинист был веселый малый, шутил при проигрыше,— оба купца были слишком богаты, чтобы горевать о маленьком проигрыше. Но в конце концов Теодор начал злиться, что ему так не везет.

— Никогда не видал ничего подобного, — говорил он.

— Который час? — воскликнул машинист. — Теперь будем играть с повышенными ставками. Надо пощипать счастливого игрока, ха-ха!

Хозяин обвел взглядом гостей, и Теодор ответил:

— С повышенными ставками? По мне — с удовольствием.

— А что говорит счастливчик? — улыбаясь, спросил хозяин.

— Счастливчик? Он согласен на все. У меня, господа, лежит несколько бумажек, посмотрим, сумеете ли вы их отобрать.

— Вы так равнодушным к деньгам? — спросил Теодор.

Но тут вышла форменная ерунда, — телеграфист опять стал выигрывать, и это было прямо что-то роковое, — он выигрывал на самые смешные карты. Разумеется, один раз и он проиграл, но потом несколько раз подряд начисто обыграл своих партнеров, а так как ставки все повышались, то в конце концов у него скопилось солидная сумма, хотя сам по себе гвоздь — глупейшая и мелкая игра.

— Вот видите, Борсен, совсем неплохо, что вы пришли сюда нынче вечером, — сказал Теодор.

Хозяин не мог задеть своего почетного гостя каким-нибудь прямым замечанием, но машинист сгладил неловкость, чокнувшись с Борсеном.

— О, проживи вы у нас на пароходе с неделю, мы бы отомстили вам! — сказал машинист и захохотал во все горло.

Борсен забрал большинство фишек, и, кроме того, перед ним лежала целая груда бумажек. Когда пришла очередь Теодора покупать фишки, он сказал без обиняков:

— А нельзя ли эти двадцать пять крон засчитать в долг по лавке?

— Конечно, — ответил Борсен.

Спора из-за этого не вышло. Может быть, со стороны Теодора было и не особенно красиво получать долг таким способом, но посещение телеграфиста в этот вечер было еще удивительнее: он был должен молодому купцу, но обращался с ним больше, чем свысока, он обращался с ним презрительно, не видел его. И кредитор не платил ему тем же, а мирился. Опять, должно быть, у этого мазурика и плута, Борсена, была при этом какая-нибудь задняя мысль, и он сумел бы привести длинное и глубокомысленное объяснение, но никто его ни о чем не спрашивал. Игра продолжалась. Теодор опять купил фишек и спросил:

— Скостить нам и эти двадцать пять?

— Да,— ответил Борсен.

— Я, впрочем, не помню, сколько именно вы должны, но если вы переплатите, мы это урегулируем завтра.

— Хорошо,— сказал Борсен.

Тогда машинист положил карты и сказал:

— Нет, нам не одолеть нынче счастливец, надо кончать. Давайте рассчитывать!

Они оплатили свои фишки, допили стаканы, продолжая разговаривать. Телеграфист кочевряжился со своими кредитками, в конце концов он сунул их в карман, не пересчитав. Притворялся он перед другими и хотел пооригинальничать? Тогда ему надо было бы придумать что-нибудь получше,— все нищие притворяются равнодушными к деньгам, оттого-то они и нищие. Никого нет расточительнее бродяг. На полу лежала бумажка, машинист поднял ее, бросил на стол и сказал:

— Это, должно быть, тоже ваша.

— Спасибо,— сказал Борсен и сунул ее к остальным.

Машинист набросился, на этот раз уже без приглашения, на гармонику и заиграл какой-то марш, отчаянно гудя на басах. Это было нечто поразительное, он так растягивал меха, что лицо его искажалось, и пыхтел от напряжения. Потом резко оборвал и раскатился громким хохотом:

— Ну-ка, попробуйте сыграть по-моему! — сказал он.

Его попросили продолжать, и он опять заиграл.

И так уж это было, или нет, а звуки, верно, доносились и на берег, верно, их слышали поздние гуляки, на набережной появилось много народу, кое-кто из молодежи забрался на пароход,— компания в салоне слышит, что над головами у нее что-то топчет и топчет. На палубе начались танцы.

Некоторое время всем им это очень нравилось, но Теодор вскоре встал и ушел домой. Выпивка, музыка и танцы опять настроили его на элегический лад и напомнили ему о том, что он влюблен.

Уходя с парохода, телеграфист Борсен услышал в закоулке, у большой хлебной пристани господина Хольменгро, голоса ссорившейся парочки: парень резко упрекал, что он много чего про нее наслушался, что в его отсутствие она вела себя, как подлая, неверная свинья, а девушка плакала и отрицала все. Говорили о деньгах, что у нее несколько сот крон, парень фыркнул на это: покорно благодарю, у него у самого скоплено жалованье за три месяца.

— Делай, как знаешь! — сказала тогда девушка.

— Ступай себе домой, — ответил парень и вышел из-за угла.

Это оказался Нильс из Вельта в желтом шелковом шарфе, развевавшемся у шеи. Он больше не обернулся и ушел. Девушка тоже вышла, Флорина, служанка адвоката Раша, щеки и рот у нее были завязаны большим шерстяным платком, она отодвигала его, когда говорила, а кончив, опять спускала. Что же это — дружок уходит и даже не обернется!

— Нильс! — окликнула она.

Он не ответил.

— Тогда она крикнула:

— Я сейчас же пойду на пароход и буду танцевать, вот увидишь!

— Скатертью дорожка! — ответил он.

Она еще порядочно постояла, смотря вслед парню; телеграфист прошел мимо, но она его не заметила, она вся превратилась в два огромных глаза, светившихся из-под шерстяного платка. Потом прошла по набережной и поднялась на пароход.

Тихо было на узеньких тропинках между домами, — маленький городок улегся на покой; далеко в вышине звенели лебеди. Телеграфист пошел прочь от берега, смотря в спину Нильса из Вельта. Малый с характером — этот жених. Молодец, даже не обернулся ни разочка. Молодец? Еще бы, двадцать с чем-нибудь лет и жалованье за три месяца в кармане. Но, пройдя за ним с четверть часа на почтенном расстоянии, Борсен вдруг подумал: «А что, если он все время слышит мои шаги и воображает, что это его душенька?»

— Хм, — громко кашлянул телеграфист.

Что же, идет парень дальше? Он круто оборачивается и для видимости проходит еще несколько шагов, потом останавливается. Сильный парень вдруг ослабел. Правда, он начинает обшаривать себя, словно ища чего-то, шупает в карманах, — чего это он ищет? Ах, он просто притворяется, ему надо сделать вид, что он потерял что-то, чтоб иметь предлог вернуться. И вот он идет навстречу телеграфисту и смущенно улыбается, поровнявшись с ним, улыбается словно нищий:

— Я позабыл... виданное ли дело!..

Потом поспешно шагает обратно к пристани. Но на ходу все еще продолжает рыться в карманах, чтобы не ударить лицом в грязь.

А пароход тем временем отчаливает от пристани и торжественно заворачивает в море. Нильс из Вельта круто останавливается на минуту и угнетенно смотрит прямо перед собой. Потом бегом пускается к набережной, словно хочет догнать уходящее судно. Далеко в вышине по-прежнему звенят лебеди.

Телеграфист Борсен бредет дальше, забирается далеко от берега, доходит до избышки Нильса-сапожника и минует ее, доходит до маленьких двориков, до жилых домов, до расширенных под постройку мест. Кое-где овцы уже выпущены на волю, хотя снег еще не сошел. Борсен поворачивает назад и заходит в избышку Нильса-сапожника.

— Я видел дымок над твоей крышей и решил, что ты еще не спишь,— сказал он.

Нильс-сапожник смахивает для гостя пыль и со скамьи, и со стула,— он сильно смущен. На столе лежит селедка и несколько картошек в большом листе бумаги.

— Да,— говорит Нильс-сапожник,— я варю кофе, только что вернулся из города и собрался сварить кофею, я ведь страсть какой любитель кофею. Да что же это, начальник телеграфиста и вдруг пожаловал в такой дом, ведь здесь негде и присесть! — Он прибирает на столе, швыряет селедку и картошки на кровать и растерянно бормочет:— Так вы видели дым из трубы? Я собрался варить кофе, я страсть до чего жаден на кофею. Я бы с удовольствием предложил вам сейчас чашечку, да боюсь, не больно он хорош.

— Отчего же, с удовольствием,— сказал Борсен.

Великое смущение: — Это всерьез? Ах, господа, да годится ли он? И пить-то его не с чем, как раз подошло, что ни крошки сахару, позабыл нынче в лавке. А хуже всего, что и кофе тоже остался там, пакетик с кофе, забыл на прилавке. Я стал ужас какой беспамятный,— говорил Нильс-сапожник.

— Что это за портрет? — спросил Борсен, хотя отлично знал. И оказалось, это — сын, У. Нельсон, живущий в Америке, разодетый, сытый и причесанный, прежний Ульрик.

— А дама? — спрашивает Борсен.

— Ну, это, собственно, большой секрет,— отвечает Нильс-сапожник,— но, как я понимаю, это его будущая жена. Кто бы мог подумать, малютка Ульрик, который всюду таскался за мной и тачал сапоги. А ручки-то у него были не больше вот этого, когда он только что взялся

за дело. А теперь-то! Какой важнецкий вышел парень! Ну, да оно и понятно!

Тогда Борсен вдруг притворился пьяным и грубым, нахлобучил шляпу и сказал:

— Убери эту дрянную чашку, разве это кофе, я такой гадости не пью. Что это я хотел сказать — вот, возьми эти бумажки и поезжай в Америку. Молчи, дай мне договорить: стало быть, бумажки. Поезжай в Америку и ты, говорю. Ты не можешь помолчать, пока я доскажу? Купи себе билет и поезжай, эти деньги твои. Я не желаю больше стоять и слушать твою ерунду. И уезжай непременно, да скорее, слышишь...

Борсен вышел, продолжая повторять те же слова, а Нильс-сапожник шел за ним, держа в руке деньги, и что-то возражал. Под конец телеграфист услышал уже чистейшую чепуху:

— С вами даже нет ничего, что я мог бы вам понести!

Старый, в конец отощавший сапожник и — нести что-нибудь для Борсена с раскачивающимися богатырскими плечами!

По дороге домой Борсен опять видит маленький пароходик, идущий теперь к берегу. Он выходил недалеко в море, совершил увеселительную прогулку с несколькими аборигенами; молодежь покаталась и потанцевала на палубе в холодную ночь.

Когда Борсен пришел на станцию, маленький Готфред передавал телеграмму. Маленький Готфред Бертельсен, сын Бертеля из Сагвика, передавал конец огромной телеграммы Дидрексону и Гюбрехту; их представитель, молодой господин Дидрексон, потребовал, чтобы станцию открыли из-за этой телеграммы, — дело шло о крупной сделке, о заказе самого Теодора из Буа. О, этот молодой Дидрексон — большой плут, ведь потребовать открыть телеграф — большая реклама, а стоит недорого, он пускал в ход этот приемчик с клиентами, которым хотел польстить и оказать почет.

Покончив с работой, маленький Готфред обернулся и сказал:

— Ходят слухи, что вам нынче страшно повезло.

Борсен вытаращил глаза.

— Теодор заходил сюда по дороге домой, он сказал, что вы выиграли огромные деньги.

— А-а, да, — сказал Борсен, — это правда. Должно быть, судьба.

— Я очень этому рад, — сказал маленький Готфред.

— Но не скажу, чтоб огромные, если вычесть расходы. А кое-что очистилось, маленький выигрыш был. Вы не думаете, что это судьба?

— Сколько же именно?

— Да пустяки. Вы весь вечер работали, бедняжка?

— Я очень рад этому выигрышу, за вас. Потому что инспектор может нагряться со дня на день. И на этот раз вам, знаете, не отвертеться.

— Да поймите же, черт побери, что это сущие пустяки, если откинуть расходы! — нетерпеливо воскликнул Борсен.

— Расходы? Какие же расходы?

— А рассчитаться разве не нужно было? А кроме того, одна — другая бумажка упадет на пол, одна фишка закатится сюда, другая — туда, все это надо учесть.

— Вы ведь не умеете играть в карты.

Маленький Готфред потупился в раздумьи.

— Хорошо, но, во всяком случае, вы ведь можете пополнить кассу? — спросил он.

— Ну, да, ну, да. Но вы сейчас устали. А кроме того, это моя касса, а не ваша. Хуже всего то, что вы просидели здесь половину ночи, в то время как я развлекался.

В душе доброго маленького Готфреда зарождаются боязливые предчувствия, ему по прежним случаям известно беспечное отношение Борсена к деньгам, и он не может удержаться, чтобы не сказать:

— Хуже всего, если вы не сможете сразу пополнить кассу. Вы ведь знаете последствия.

— Последствия такие, что вы будете начальником станции вместо меня, братишка Готфред. А я, может быть, займу ваше место.

— Не шутите с этим! — ответил Готфред. — Вот ведомость. Покройте же недостачу наличности.

Борсен молча шагнул в угол, где стояла его виолончель.

— Вы не хотите? — спросил Готфред.

Тогда Борсен крикнул:

— Не хотите! Не хотите! Ну, слушайте: я не могу! Довольны вы? Ну, чего вы стоите и хнычите?

— Не можете?

— Нет. У меня ничего нет. Вот, ищите сами, карманы пусты, никаких денег нет.

— Значит, вы их кому-нибудь отдали?

— Да, натурально, значит я их кому-нибудь отдал. Чушь!

Готфред опять задумчиво уставился в пол.

— Бедняга вы! — сказал он.

Борсен обиделся:

— Я не понимаю — вы воображаете, что имеете право постоянно жалеть меня.

— Кто отобрал у вас деньги?

— Дьявол вас задави! — закричал Борсен.— Отобрал? Нильс-сапожник взял их взаймы. Ему надо ехать в Америку. К своему сыну. Нильс-сапожник. Тьфу, вы кажется сошли с ума!

Маленький Готфред сразу принял решение: поклявшись всеми святыми, что сейчас же пойдет и отберет часть денег, он надел шляпу и вышел из конторы. Борсен смотрел ему вслед, разинув рот, сделал несколько попыток окликнуть его, но слишком долго собирался и промолчал. Немного спустя он уселся играть на виолончели, пьяный и невменяемый.

ГЛАВА IV

Почтовый пароход выгрузил на набережную огромную рояль. Мартин-работник и пятеро других рабочих волокут и поднимают тяжелый ящик на сани, чтоб увезти его по теряющейся в дали зимней дороге. Рояль доставлен для молодого Виллаца, хозяина Сегельфосса; сам он не приехал и не прислал никаких распоряжений. Куда везти,— на усадьбу Сегельфосс или на кирпичный завод, где две горницы? Мартин-работник и пятеро рабочих долго обсуждали этот вопрос, послали гонца к фру Раш с запросом, и она ответила, что рояль, разумеется, нужно отвезти на усадьбу Сегельфосс, в собственные апартаменты молодого барина Хольмсена в замке Сегельфосс,— куда же иначе? Гонец поблагодарил за распоряжение и ушел. Но не прошел он и несколько шагов, как фру Раш крикнула ему, что нет, пожалуй, может быть, лучше отвезти на кирпичный завод. Бог знает! И там тоже — где его поставить? Не в обеих же комнатах сразу,— нет, она не знает, не может ничего решить. Фру Раш совсем растерялась и смутилась.

Гонец вернулся на мост, и Мартин-работник, и пятеро рабочих снова принялась судить и рядить.

Господин Хольменгро подошел к ним и сказал:

— Поставьте ящик у меня на пристани до приезда молодого Виллаца.

Таким образом, вопрос был разрешен. И один из рабочих предупредительно кивнул головой и сказал: — И крик-то не такой большой.— Ну да,— ответил другой,— а снег сойдет, так ты тогда доставишь тяжелый ящик?

Мартин-работник скомандовал:

— Ну, ну, беретесь-ка, нечего тут стоять и рассуждать, когда барин сказал!

Но не всегда бывало, что у барина случался под рукой Мартин-работник, и тогда те же самые рабочие с величайшей бесцеремонностью обсуждали его распоряжения. Барину начинала надоедать его деятельность, его рабочие, его положение. Быть теперь королем Сегельфосса? Это, пожалуй, похуже, чем быть королем Сегельфосса? Это, пожалуй, похуже, чем быть настоящим королем и давать изредка аудиенции какому-нибудь полярному путешественнику, а в остальное время сидеть и подписывать, что постановит большинство в стране. Господин Хольменгро радовался приезду молодого Виллаца; при первом слухе о нем, он весь радостно содрогнулся,— это было чудесно: воспоминание о прежних Хольмсенгах и прекрасных временах, когда было так просто разгуливать с толстой золотой цепочкой на жилете. Наконец-то явился человек, стоящий внимания.

Потому что, кто же у него бывал? Никого. Ходатай по делам Раш? Он ходил обтрепанный, пока не нажил средств на покупку платья, а вместе с платьем приобрел средства на брюшко и двойной подбородок; с этого времени у него пропал интерес ко всему, за исключением наживы. Окружной врач Муус? Человек без всяких способностей и вдобавок очень холодный. Вызубрил свои книжки и верил в них. Он такой человек, что ни за что не поклонится первым; ну, что ж — господин Хольменгро кланялся первый; врач рассуждал о людях и мире, о жизни и смерти — а господин Хольменгро молчал. Но хуже всего была, пожалуй, внешность окружного врача, его дегенеративность, плоская голова с торчащими вкривь и вкось косицами волос, его близорукость, большие безобразные уши. Должно быть, в его роду заблудился в свое время какой-нибудь уродец, пролежал в могиле все прошлые столетия, а теперь снова воскрес в его лице.

Когда они оба приходили к господину Хольменгро, причем доктор всегда входил в дверь первым, потому что отстаивал свое старшинство, а адвокат Раш следом за ним, потому что не видел для себя от этого никакого ущерба,— когда они оба оказывали господину Хольменгро учтивость, заявляясь к нему с визитом в воскресенье вечером, их всегда радушно принимали и обильно угощали; часто они засиживались до поздней ночи.

Сам господин Хольменгро словно оживал: «Очень любезно с вашей стороны, господа, вспомнить о моем

существовании»,— говорил он. Экономка его, фру Иргенс, рожденная Геельмуиден, пользовалась случаем напечь и нажарить для парадного ужина. Подавалась телятина и жареная птица с божественными соусами, печенье, и сладкое варенье, и мармелад для доктора, чудеснейшие пирожные, желе. Если фрекен Марианна бывала дома после очередной своей поездки в Христианию или за границу, она тоже присоединялась к компании и выпивала стаканчик. Она была такая юная и веселая, к тому же очень своеобразная, метиска из Мексики, индианка по чертам лица, со скользкой походкой, и добрая и злая, и то и другое вместе, подчас прямо волшебница. Доктор Муус сватался в прошлом году к этому чистому ребенку, и сначала дело шло, как по маслу. Он самый обыкновенный человек из плоти и крови,— сказал он,— и так как, по счастью, он может предложить ей известное положение и почтенное имя, то и намерен это сделать теперь же. Она посмотрела на него как-то по-особенному, и глаза у нее стали индейскими и блестящими.

— Вы полагаете, что нам следует пожениться? — спросила она.

Да, именно это он имеет в виду.

— Нам с вами? — переспросила она.

Он не видел в этом ничего невозможного. Правда, имеется некоторая разница в годах, но у него есть положение и имя,— это можно засчитать, как некоторую компенсацию; он намекнул даже на то, что наружность его нельзя назвать отталкивающей.

После этого оба порядочно помолчали.

— Так вы действительно хотите жениться на мне? — спросила она, проникнувшись серьезностью положения.

— Да, я это основательно обдумал,— ответил он.— К сожалению, я еще не уверен, как к этому отнесется вся моя семья, но, в конце концов, ведь это касается только меня одного, а сам я решил этот вопрос положительно!

Тогда она попросила отсрочки на несколько лет, чтобы им можно было хорошенько все взвесить,— лет пять,— сказала она,— так, чтобы не помешала ни малейшая мелочь; в сущности, следовало бы восемь лет,— сказала она. Но тут он покачал головой,— восемь лет, это уж чересчур долго.

— Нет, восемь лет,— проговорил он,— это, можно сказать, преувеличение.

— Но мне очень важно, чтобы вы дали время и себе, и мне хорошенько все взвесить. Дело немножко запутан-

ное, — сказала фрекес Марианна. — В жилах моей матери текла индийская кровь, и я не знаю, совершенно ли у меня самой покончено с моими родичами в Мексике. Если мне придется извещать моих родичей о вашем предложении, так ведь племя это постоянно кочует, и на розыски, наверное, потребуется не менее пяти лет.

На это доктор Муус засопел и заявил, что нет никакой надобности вмешивать в вопрос племя мексиканских индейцев.

— Ну, как же, — таинственно и меланхолично заявила фрекес Марианна, — у племени свои законы, не нарушайте их! Племя мстит, — для чего же у них имеются отравленные кинжалы? Если месть их не сможет достигнуть ее в Сегельфоссе, то ведь ее брат Феликс в Мексике, он моряк, плавает вдоль побережья, его непременно убьют.

Подумав немножко, доктор сказал твердо:

— Да, между вашим племенем и моей семьей не может быть ничего общего. Прошу вас извинить меня!

Марианна наклонила голову.

— Но это не помешает нам остаться добрыми друзьями, — сказал доктор Муус.

— Надеюсь! — ответила фрекес и поспешно скользнула за дверь, чтоб оправиться от удара.

Помимо доктора и ходатая по делам изредка навещал господина Хольменгро ленсман из Ура. Это был приятный старичок, не причинявший никаких беспокойств; фрекен Марианна по несколько часов просиживала с ним за разговорами, да и сам господин Хольменгро охотно приглашал его к себе, не ради каких-нибудь его особенных слов и дел, а ради его уютности и красивых седых волос.

— Приходите же опять поскорее! — говорила фрекен Марианна.

— Благодарствуйте, — отвечал ленсман, стоя с непокрытой головой в прихожей, и надевал шляпу только после того, как фрекен уйдет.

Несколько раз бывал священник; он знал токарное, плотническое и кузнечное мастерство; разумеется, он не пытался выступать руководителем своей паствы в глубоких духовных вопросах, по примеру знаменитого сына Ларса Мануэльсена, Л. Лассена, во времена его капелланства. Теперешний же священник попал не на свою полочку. Он мог делать что угодно руками, умел плести свадебные корзинки, даже сам смастерил себе сани. В этом случае он проявил себя настоящим изобретателем: сделал весь коробок из старых мешков, которые пропитал клеем и

придал им нужную форму. Когда форма застыла, он прошелся по ней лопаточкой, а когда все как следует засохло, соскоблил неровности пемзой, чтоб везде было гладко и красиво. В заключение он три раза покрыл коробок густой лаковой краской, и работа была кончена. Получились легкие и чудесные, точно стеклянные, сани. За это художественное произведение его избрали председателем поселковой общины.

Фамилия священника была Ландмарк; он прожил в приходе уже четыре года и был первым священником со времени выделения Сегельфосса в самостоятельный приход. Жена его была родом из маленького южного городка, — все пасторские жены родом из маленьких южных городков и деревень, они дочери таможенных чиновников, капитанов или сборщиков податей в маленьких городишках и все выходят замуж за приезжих учителей местных школ. Так бывает с ними всеми, так же было и с фру Ландмарк. Она была дочерью полицейместера, из бедной многодетной семьи, вышла замуж за учителя и сама стала матерью; когда же детей народилось порядочно, учителю пришлось поискать места пастора на севере, хотя он и не умел говорить проповеди. Такова участь всех богословов, такова же была и участь пастора Ландмарка. Теперь он занимал прочное положение духовного пастыря, хотя ничего не понимал в этом деле, — глупая и скучная профессия для человека, способного действия руками. Он устроил в пасторской усадьбе кузницу и столярную мастерскую и проводил счастливейшие часы свои среди древесных стружек и кузнечной копоти. Дело шло неплохо, могло бы быть хуже, — пастор Ландмарк мирился с жизнью. Но пасторша, его супруга, рожденная Пост, никогда и не воображала себе подобной жизни и подобной нищеты с должностным лицом, — ведь это выходило немногим лучшим, как если б она была женой простого мастерового. Случалось, что муж ее делал какому-нибудь соседу что-то к таратайке или оттачивал заступ, и ему предлагали за это плату, а один раз он смастерил даже детский гробик. Конечно, хорошо помогать людям, нуждающимся в помощи, но где же, при таком образе действий, будет граница, и как удержать на расстоянии назойливых людей? Фру говорила, что она рождена вовсе не для того, чтоб якшаться со всеми соседками, которые лезут к ней в кухню со всякими просьбами, и она совершенно не желает их там видеть, — нет, ступай себе домой, Олина, ступайте домой, Маттеа и Лизбета! Все это происходило из-за пристрастия

ее мужа к ремеслам, это был крест всей семьи, и она, опять-таки резонно, говорила, что, во всяком случае, слишком дорогое удовольствие строить кузницу и мастерскую в пастырской усадьбе, откуда все равно уедешь, как только кончатся годы обязательного пребывания в Нордландии. Разве возьмешь с собой дом или кузницу? Слава богу, четыре года уже прошло, еще через четыре можно будет и перебраться отсюда куда-нибудь на юг,— пусть в самое глухое местечко, но на юг,— а мастерскую, значит, оставлять здесь! Дорого стоящая причуда,— несколько сот крон, которые не принесут пользы никому, кроме нового священника в Сегельфоссе.

За эти четыре года пастор с женой были у господина Хольменгро всего два раза — с первым визитом и потом еще один раз. И этот второй визит сошел не совсем благополучно,— пастора господин Хольменгро увел с собой на мельницу посмотреть машины и новое оборудование, а пасторша осталась вдвоем с фру Иргенс, рожденной Геельмюйден. Нет, вышло совсем неблагоприятно,— обе дамы знали себе цену, и ни одна не находила причины уступать другой. Вот, например, цветы: фру Ландмарк привыкла совсем к другим цветам в своем родном доме на юге; но она все-таки не высказала это прямо, а только намекнула, что у них дома одна аралия росла прямо на воздухе. Фру Иргенс вскинула голову. Опять же окна: фру Ландмарк каждое утро заставляла служанок протирать окна у себя в пасторском доме, но это уж сами стекла,— здесь на севере ужасно трудно достать порядочные оконные стекла. Фру Иргенс заметила, что она все-таки видела чистые окна и в Нордландии, но тут пасторша неосторожно спросила: — Где?

— На мой взгляд, например, и эти довольно чисты,— ответила фру Иргенс.

Тогда фру Ландмарк улыбнулась и сказала:

— Ну, так вы не видели, какие окна у нас на юге, фру!

За этим последовало оскорбленное молчание.

— Но вы не истолкуйте моих слов превратно,— сказала тогда фру Ландмарк,— это не ваша вина, это от самого стекла!

— Нет уж, если что нехорошо в этих стеклах, так в этом виновата я,— ответила фру Иргенс.— Стекло очень хорошее, господин Хольменгро такой человек, что у него в окнах зеркальные стекла.

Пасторша недоверчиво спросила:

— Разве это зеркальные стекла? Ведь не потому же они зеркальные, что большие и цельные?

— Нет, но потому что они зеркальные,— ответила фру Иргенс.

Спор легко мог бы разгореться, потому что у фру Иргенс, рожденной Геельмюйден, выступил легкий румянец на щеках, но фру Ландмарк решила, в качестве пасторской жены, смириться и уступить. То есть уступить-то она не уступила, она заговорила о другом — о служанках, серебре и генеральной стирке, но не забыв про окна. Неужели она могла допустить, чтоб какая-то нордландская дама ее морочила? Она остановилась у дальнего окна в комнате и сказала:

— Послушайте, милейшая фру, разве на зеркальном стекле бывают такие царапины?

Фру Иргенс подошла.

— Эти царапины — знаете, что это такое? — сказал она.— Это имена, написанные бриллиантовыми кольцами.

Тогда фру Ландмарк посмотрела на фру Иргенс, посмотрела пристально и долго. Неужели эти выдумки будут становиться все грубее и грубее, а она должна принимать их за чистую монету?

— Бриллиантовыми кольцами? — проговорила фру Ландмарк.— Но ведь это же редкие и дорогие вещи!

Вполне ли вы отдаете себе отчет в своих словах, фру?

Фру Иргенс серьезно оскорбилась и попросила заметить, что она носит фамилию Иргенс. На что фру Ландмарк ответила, что она рожденная Пост, однако из-за этого не считает нужным впечатлять в свой разговор бриллианты ради пушей важности.

— Но боже мой! Ведь это же писали иностранные капитаны! — воскликнула фру Иргенс.— Когда они привозили сюда хлебные грузы, они это и написали, снимали с пальца кольцо и писали.— Вы, кажется, хотите выставить меня лгуньей, фру Ландмарк! — При этих словах у фру Иргенс выступили на глазах слезы, а щеки побледнели.

— Любезнейшая фру,— воскликнула пасторша,— я готова сделать все, чтоб успокоить вас, фру, это мое искреннее желание, и я не стану вам противоречить, раз вы этого не выносите. Но извините меня, я не слыхала здесь, на севере, о бриллиантовых кольцах; у нас, на юге, это — дело другое. Но раз вы заявляете, что это писали иностранные капитаны, то это уже не так невероятно. Нет, дорогая фру Иргенс, я вовсе не хочу выставить вас лгуньей.

— Господин Хольменгро даже рассердился, когда увидел эти царапины,— продолжала фру Иргенс, не желая дать заговорить себе зубы.— И он нарочно попросил фрекен Марианну не царапать больше своими бриллиантами; это совсем некрасиво,— сказал он,— а фрекен Марианна ответила, что она и не думала царапать, и засмеялась. У фрекен Марианны три или четыре драгоценных бриллиантовых кольца, которыми она могла бы отлично поцарапать!

— Вот так,— ответила фру Ландмарк только для того, чтоб не противоречить фру Иргенс.

Но фру Иргенс все равно опять обиделась, потому что вопросительно повторила:

— Вот как? Я ведь не говорю, что они есть у меня, потому что у меня их нет. Хотя и я не совсем уж нищая.— Иргенс подарил мне страшно дорогую парюру из богемских гранат; там и браслеты, и кольца, и серьги, и ожерелье, и диадема для волос,— помнится, он говорил, она стоила несколько сот крон.

— Не сомневаюсь,— ответила пасторша, опять проявляя своеобразную уступчивость.— У нас на юге богемские гранаты мало в ходу, но, по нашим скудным сведениям, они стоят, пожалуй, тысячу крон,— так зачем же говорить несколько сот, фру Иргенс? Впрочем, некоторые люди находят гораздо шикарнее говорить шестьдесят минут, а не час. Я, лично, никогда этого не понимала!

Вернувшиеся с мельницы мужчины разъединили дам. Но на обратном пути домой пасторша заявила, что впредь ноги ее не будет в доме господина Хольменгро. Это ее долг перед самой собой.

И пока она держала слово.

И вот оставался только телеграфист Борсен, но он никуда не ходил в гости, и господин Хольменгро встречался с ним только на дорогах да на телеграфе. Между ними бывали только краткие, вежливые разговоры — ничего больше, никакой фамильярности. Но когда господин Хольменгро прожил в Сегельфоссе десять лет и праздновал нечто в роде юбилея, начальник телеграфа вывесил на станции флаг,— что он хотел этим выразить? Он никогда не вывешивал флага помимо регламента. Вечером он получил приглашение пожаловать к помещику, но поблагодарил и отказался, сославшись на экстренную работу. Маленький Готфред, его коллега по телеграфу, говорил, что у Борсена нет приличного костюма.

В конечном счете, жизнь господина Хольменгро в Сегельфоссе сделалась чрезвычайно однообразной и неу-

ютной — не с кем видаться, не с кем поговорить. Самое производство тоже не радовало, рабочие роптали, а мельница иногда работала чуть не в убыток. Два раза ему пришлось увеличить цены, и в последний раз «Сегельфосская газета» ополчилась на него, доказывая, что он высасывает кровь из населения.

Да, помещику частенько приходилось очень невесело! Иной раз срывалась и какая-нибудь спекуляция, — урожай в Индии выдавался лучше, чем ожидали, и оказывалось, что он закупил хлеб по слишком дорогой цене; когда это стало известно, «Сегельфосская газета» писала, что помещик понес крупный убыток, но что это заслуженное возмездие, — не следует спекулировать на бедствиях Индии. Долой капитал! Положение создалось прямо тягостное, — помимо того, что помещик нес потери, ему приходилось еще давать объяснения, хвастать: слава богу, он еще стоит на ногах, он сводит концы с концами, хе, хе! А чтобы прекратить слухи, он снизошел до того, что к юбилею пожертвовал пять тысяч крон в кассу взаимопомощи своих рабочих. Тогда «Сегельфосская газета» написала: «Наконец-то маленький возврат из богатств частного человека, накопленных потом рабочих. Услышьте истину, рабочие!»

А потом эти пять тысяч крон — в какую жалкую комедию, они превратились! Рабочие основали на них банк, рабочий банк, «Сегельфосскую ссудно-сберегательную кассу», и адвокат Раша, а с ним еще два человека попали в директора. Они выдавали ссуды несколько недель, ссуды выдавали всем, все стали закладывать свои дома, имущество, скотину и брали ссуды. Если получал Иенс, надо было получить и Якобу; это превратилось в своего рода эпидемию, один ручался за другого. Теодор-лавочник много торговал в те дни на наличные, продавал материи на платье, часовые цепочки и тонкие сыры. В конце концов, в «Сегельфосской ссудно-сберегательной кассе» уже не осталось никаких денег, директора кое-как наскребли себе жалованье. Они переглянулись. Что же дальше? Они подошли к концу.

Тут наступил черед адвоката Раша:

— Если у меня будут развязаны руки, я спасу банк, — сказал он.

Ему развязали руки, он сделался единоличным директором с двойным окладом.

А тут подошли сроки, и адвокат хорошо заработал, — он созывал комиссии, писал постановления и производил аукционы. Теодор-лавочник купил несколько голов рогатого

скота и отправил их на юг с пароходом, а ходатай Раш перевел на себя несколько изб, за которые жителям впоследствии пришлось платить аренду. О, это был настойчивый переворот, землетрясение, господи помилуй,—никто, верно, не видал таких крупных последствий от добротного дара в пять тысяч крон!

А банк устоял. Это было чудо, но в черный день банк оказался на высоте положения. Как же это вышло? Никто не сомневался, что спасением были обязаны ходатаю Рашу. Все пропало бы, если бы этот железный юрист не действовал с таким умом и молниеносной быстротой. Он разослал тридцать судебных повесток на один и тот же день и покори́л Сегельфосс, посеял в местечке панику; люди не успели опомниться даже настолько, чтоб смощенничать и выдать обязательства на все свои потроха какому-нибудь родственнику или свойственнику и надуть банк. Люди сдались со стоном, как дети, как убойный скот. Адвокат Раш хорошо заработал, а сами рабочие? Большинство было довольно. Семейные рабочие, имевшие и собственный дом, и скотину, те пострадали,—они не только брали ссуды сами, но ручались и за других, за поденных рабочих, огромное большинство,—для таких семейных это явилось тяжелым ударом, но большинство заявляло, что кому же и нести удар, как не этому «имущему классу» среди рабочего сословия,—они пошли по стопам капиталистов, имеют сбережения, им и отвечать! По этому поводу собиралось несколько сходов, выступал рабочий Аслак, выступал поденщик Конрад. «Сегельфосская газета» рекомендовала помещику посетить митинг и послушать ораторов.

Господин Хольменгро расхаживал в толстой фуфайке и запачканных мукой сапогах и на митинг не пошел; но от благодеяния своего он имел мало удовольствия. Нет, на митинг он не пошел, но этим дело не кончилось! Они осмелились послать за ним с митинга, и ему пришлось отвечать посланному, что он занят и не может прийти. Казалось, что это были переговоры между равными.

Разве это была жизнь для чудодея, для короля Тобиаса, из страны сказки и золота? До катастрофы, до краха никогда не доходило, но положение оставалось тяжелым. У него не было никакого крупного противника, который мог бы сразить его, но огромное множество мелкоты терзало и мучило его. Лучше было бы опять стать сказкой о миллионере с Кордильер.

Да, нечего таить, люди начали относиться с подозрением к богатству господина Хольменгро, а если он не богат,

стало быть, он — никто. Скажите на милость, ради чего это богатый человек станет заниматься мельничным делом в Сегельфоссе и даже не потолстеет и не нарядится в шубу? Вот, ходатай Раш, этот здорово разбогател, и по нем это видно. Господину Хольменгро следовало бы придумать что-нибудь новенькое и не приbedниваться. Разве он не может вернуть чудесные времена, когда он вынырнул из сказки в непомерном блеске восходящего солнца? О господи, что за времена! Он должен как-нибудь использовать эту легенду, может быть, он это и обдумывает, и верно, для опыта он съездил в город и вернулся оттуда масоном.

«Хоть бы это помогло!» — быть может, думал он. — «Хоть бы мне удалось вернуть себе уважение!» — верно, думает он.

Сегодня он доволен и сегодня полон надежды. Если приедет молодой Виллац, у него в первый раз за много лет появится человек, с которым можно иметь общение; он полон радостного ожидания, у него такое чувство, как на другой день после удачи.

Господин Хольменгро идет в лавку. Он редко там бывает, никогда не бывает, и маленький Теодор откидывает перед важным барином прилавок. И хорошо, что он это делает, — ведь это господин Хольменгро заложил основание всей лавки и помог старику Перу стать П. Иенсеном. Помещик — само добродушие по отношению к хозяевам лавки и не требует в них аренды за землю. Он в дальнем, дальнем родстве с матерью Теодора и ничего не имеет против того, что Теодор превратился в толкового парня, который занимается мелочной торговлей и этим живет. Но сам он ничего здесь не покупает, а выписывает все из городов.

— Будьте добры пожаловать сюда, — говорит Теодор.

Господин Хольменгро улыбается. Приглашение за прилавок, это — прием, выработанный торговцем для оказания почета покупателю; это, может, и хорошо для жителей Сегельфосса, но для короля — дело другое!

— Отец твой все лежит? — спрашивает помещик. — Тогда поговори с ним об этом сам: я вижу, вы опять моете рыбу с яхты и раскладываете ее на горах. Это шестой год.

Теодор смущается и говорит:

— Разве это горы не Виллаца?

— Ты хочешь сказать: горы господина Хольмсена? Да. Это было бы неважно, будь эти горы мои. Мне кажется, вам следует заплатить ему аренду за все эти годы.

Теодор, толковый парень, и отвечает:

— Виллац Хольмсен был здесь после того, как мы начали сушить рыбу на его островах, но он никогда не поминал про аренду.

— Правильно! — кивает король. — Но именно по этой причине я и думаю, что вы должны заплатить ему.

— Я потолкую с отцом.

— Правильно. Скажи отцу, что я хочу, чтоб вы ему заплатили аренду за горы.

Теодор некоторое время колебался, но все же решил сказать правду. Может быть, ему хочется, по той или иной причине, произвести как можно больше впечатления на помещика, на короля. Он говорит:

— Да, впрочем, и рыба, и яхта — мои, они не принадлежат нашей фирме.

И, может быть, господин Хольменгро это уже знает, и ему хотелось немножко одернуть молодого парня в его величии. Это возможно. Потому, что он ласков и отечески благожелателен ко всем обитателям лавки.

— Как рыба твоя, Теодор? — спрашивает он. — Ну, тогда такой деловой человек, как ты, и сам должен понимать, что за гору надо заплатить аренду. Больше нам не о чем разговаривать.

Но Теодор хочет, должно быть, произвести еще большее впечатление, он говорит:

— Пекарня, что перешла к нам, стоит, насколько мне известно, на вашей земле.

— Это все равно.

— Мы заплатим вам аренду.

— А торговля и вообще дела идут хорошо? — спрашивает господин Хольменгро.

— Жаловаться нельзя.

Господин Хольменгро кивает головой и уходит.

Приятно было опять немножко проявить себя, иметь что сказать, сделать указания: за последние годы это случалось нечасто. Должно быть, весна начала оживлять его, — каждый год в марте он начинал чувствовать в себе какую-то перемену, шагал крупнее, когда ходил по дорогам, и говорил более определенно. Весна играла с ним неприятные штуки, налагала на него крест: молодость. Он заболел молодостью. Это имело глупые и досадные последствия.

Дорогой он встречает возчика, тот здоровается и говорит, что он отец Марсилии.

— А-а, — отвечает господин Хольменгро.

— Отец Марсилии, которая опять у вас служит,— говорит возчик.

— А-а. Да, да!

— Мальчонка ее совсем большой парнишка и ходит на лыжах.

— Вот как! Отлично.

— Только лыж у него нету.

Господин Хольменгро достает бумажник и вынимает из него кредитку.

— Вот, на, купи ему лыжи. Да куда же ему теперь лыжи, на весну глядя?

— Что до этого, то я так и говорил ему всю зиму, но он плачет и просит лыжи. А к тому же у нас в горах снег до самого Иванова дня.

— Ладно, купи ему лыжи. Марсилия славная девушка, пусть у сынишки ее будут лыжи.

— Я так и думал! — говорит возчик.— Ежели я скажу вам, вы не захотите, чтоб ребенок плакал. Покорнейше благодарю за деньги. Не подвезти ли вас, барин? — кричит возник вслед господину Хольменгро.

— Подвезти меня?

— Я бы повернул и довез вас до дому. Со всем удовольствием, если вы не погнушаетесь сесть на дровни.

И возчик поворачивает лошадь.

— Поезжай своей дорогой! — крикнул господин Хольменгро и зашагал прочь от него.

Разумеется, можно попасть в глупые истории, и это неизбежно. Какое же против этого средство? Вот, какой-то человек предлагает ему подвезти его на дровнях, словно он кто-нибудь из сегельфосской знати, словно он ходатай Раш или милашка Теодор из Буа. Нет, надо что-нибудь сделать! Какой там — почет, когда нет самого простого уважения.

Ну, а у этого дошлого человека, отца Марсилии и деда сынишки Марсилии, верно, было свое на уме, когда он предложил подвезти помещика, — захотел посидеть в санях рядом с помещиком и показаться так всему Сегельфосу.

Вдруг он слышит, что впереди кто-то кричит; поднимает голову и видит человека, размахивающего руками. Это Конрад, поденщик, он бежит с мельницы.

Господин Хольменгро невольно думает, что случилось что-то серьезное, он даже не дожидается, пока подойдет поближе, и спрашивает:

— Что случилось?

— Ничего,— отвечает Конрад.— Я просто кричал вот тому человеку с лошадью, что бы он подождал и посадил меня.

Господин Хольменгро как будто не понимает.

— Куда же ты собрался? — спрашивает он.

— Да никуда, просто надо поскорее в лавочку. У нас там вышел весь табак.

Лицо господина Хольменгро передернулось, словно его ударили хлыстом. Одно мгновение, потом все прошло.

Вероятно, в эту минуту господин Хольменгро пожелал вернуть свою молодость, когда он был сильным, здоровым матросом. Плохо быть стариком, — господин Хольменгро был беспомощен. Он настолько овладел собой, что мог сказать:

— К вечеру все двести мешков должны быть насыпаны. Ты понял?

Возможно, что Конрад и в самом деле понял, но это не произвело на него особого впечатления. Он не обратил никакого внимания. Вынул носовой платок, и стал чистить нос и равнодушно прошел мимо барина.

Господин Хольменгро, должно быть, испугался, что погорячился и что это будет иметь последствия, — он был старый человек, он сказал кротким тоном:

— Но незачем начинать раньше, чем вы пообедаете. Ты обедал?

— Обедал ли? — усмехаясь отвечал Конрад. — Как же, много раз.

— Я хочу сказать — сегодня. Сегодня обедал?

— Вы бы так сразу и говорили.

Господин Хольменгро восклицает:

— О господи, это превосходит все границы! — Ты ни одного дня не останешься больше на мельнице!

Но Конрада один раз уже уволяли, это не бог знает как страшно. Господь наделил его хорошей головой, и он знал, что сила на его стороне и на стороне его товарищей. Он повернулся и сказал:

— Вот что я вам скажу, Тобиас: старому человеку не годится так горячиться. Нас двадцать человек против одного и среди нас нет рабов.

— А как ты думаешь, сколько нас? — спросил господин Хольменгро, выходя из себя. — Я вам покажу — я вас проучу...

— Ну-у, это ты насчет фармазонов! — крикнул Конрад. — Так ведь этому никто не верит.

И Конрад пошел. Пошел на воз к человеку и поехал в лавку за табаком.

Господин Хольменгро возвращается домой и говорит своей экономке фру Иргенс:

— Я нынче вечером уезжаю на юг на пароходе. Пожалуйста, уложите мне чемодан. Только самое необходимое, штуки две сорочек, я вернусь с первым северным.

Фру Иргенс привыкла к тому, что он изредка уезжал, по его словам, на заседание в ложу; она спрашивает, поедет ли с ним фрекен Марианна, и господин Хольменгро отвечает, что нет, она не поедет. Он едет по очень важным делам и должен быть один.— А дом тем временем останется под вашим надзором, фру Иргенс.

— Под моим надзором! — уныло говорит фру Иргенс.— Я и без того вне себя,— ключ ведь так и не находится. Я целыми ночами о нем думаю.

— Ключ?

— Ключ от кладовой, о котором я вам говорила. Мы ищем, ищем, но так и не находим.

— Ну, это уже не такая беда,— рассеянно говорит господин Хольменгро.

Но нет, это большая беда. Фру Иргенс не может успокоиться. Этот маленький ключик невозможно найти, он провалился сквозь землю, черт припрятал его осенью, когда кололи скотину, тогда столько народу перебивало в кладовой. Искали в доме и на улице, шупали друг у друга карманы, всех спрашивали; теперь уж и снег на дворе стаял, а ключ так и не обнаружился. Да и ключ-то был не какой-нибудь большой,— настоящий ключ от кладовой с замысловатой бородкой,— а совсем дрянненький, простой никелевый ключик, плоский, как бумага, и величиной-то всего в полвершка,— ключ для всячего замка, для американского замка. Его можно было носить на часовой цепочке.

— И теперь вы не можете попасть в кладовую? — равнодушно спрашивает господин Хольменгро.

— Ну, как же! — отвечает фру Иргенс, невольно улыбаясь такой наивности.— Разумеется, мы бывали в кладовой всю зиму, и входили, и выходили. Только нам приходится попадать туда через подвал. Ключ от подвала у нас, слава богу, остался.

— Ну, так это небольшая беда,— повторяет господин Хольменгро, думая о другом.

Но нет, это большая беда. Фру Иргенс боится, что кто-нибудь найдет ключ от кладовой, запретят в ней и украдут все, что там есть. А в кладовой мясо, и свинина, и рыба, и сыр, и масло, и варенье, и крендели, и сухари, да чего только там нет! Она попросила господина Хольменгро купить теперь в городе новый замок, и господин Хольменгро обещал.

— И уж теперь я буду носить ключ и днем, и ночью на себе! — сказала фру Иргенс.

Насчет экономки господину Хольменгро повезло, — она служила ему верой и правдой и хлопотала о его благе все годы, что он жил в Сегельфоссе; другой вопрос, может ли он сейчас пригласить молодого Виллаца в богатый и аристократический дом. Вот вопрос. Гардины подобраны плохо, местами отказались от надежды подобрать их выше, они так и застыли в непоколебимой кривизне. В столовой порядочно серебра и граненого хрустала, на буфете новомодные вазы, фарфор. Резные немецкие часы со шнурами и маятником, не желали ходить без дополнительной тяжести на гирях, и вот фру Иргенс привязала к ним зеленым вышивальным шелком камень. Вид получился не особенно красивый и благородный. Кабинет был бы очень уютный, если сделать в нем кое-какие умелые перестановки. Как раз сейчас у него несколько заброшенный вид, — эта милая Марианна имеет дурную привычку уносить к себе в комнату целую кучу книг и там читать, забывая ставить книги на место; сейчас, с опустошенным книжным шкафом, кабинет весьма неказист.

Господин Хольменгро позвал дочь вниз и, стуча кулаком по столу, стал выговаривать ей за книги, и за камень на часах, и за кривые шторы. А Марианна смеется, потому что отец всегда такой ласковый и шутник, потом хватает его за волосы и говорит, что нет никакого смысла носить такие длинные волосы и что он должен непременно остричься в городе.

— Хорошо. А, впрочем, я с тобой в ссоре, — говорит вдруг отец и опять хмурится. — Камень на часах! И неужели у тебя или фру Иргенс нет глазомера? Неужели ты не видишь, что шторы совсем перекошились? И вот что я тебе скажу: ступай и принеси книги!

— А я тебе скажу вот что, — ответила Марианна, — что я — «твоем дети» и, если б ты был хорошим отцом, ты пошел бы со мной и помог мне перетащить книги.

— Вот я тебе помогу! — язвительно отозвался он. — Ах, ты чудовище! Индеец ты, а не Марианна!

Но, разумеется, пошел и возился, и шутил с ней, хотя и был старик. Так они и жили. Иногда он пытался выдержать серьезность и строгость, притворялся, будто не слышит ее слов. Но кончалось тем, что она вертела им по-своему.

У госпожи Хольменгро была только она, только одна Марианна. Сын Феликс еще мальчиком уехал обратно в Мексику и был теперь мексиканцем и моряком, плавал

на всяких кораблях. Должно быть, жилось ему, как в свое время отцу; наверное, порядком хватил бурь. Но раз дома была одна Марианна, то она — «его дети», говорила она.

Марианна была далеко не красавица, с желтым цветом лица и с заросшим черными волосами лбом. У носа была хищная складка, он точно приплюснулся, был большой и некрасивый. Но много было и хорошего в Марианне, и хорошего, и дурного, как во всех людях, но в Марианне иногда было что-то коварное, а иногда что-то беззаветное мягкое и милое. Несмотря на свою молодость, она уже давно сложилась и так много унаследовала от своей матери-индианки — высокий, гибкий стан, скользкую походку — что была очаровательна. Взять хоть бы ее светло-карие глаза, — особенной мягкости в них тоже не было, но они были продолговатые и с ярким блеском. А большие золотые полумесяцы, которые она носила вместо серег — они были ужасны, но ведь Марианна была не обыкновенная сегольфосская барыня в пальто и шляпке. Так как же отцу на нее не радоваться? Сам он от природы был игрок, всесветный бродяга, и только судьба сделала из него делового человека. Он не мог научить свою дочь хозяйству, но мог быть для нее веселым другом и загадкой.

Вечером Марианна проводила отца не набережную и на пароход. На набережной стояло много народу, некоторые кланялись, некоторые нет, но все вытягивали шею и с любопытством смотрели на них.

Сойдя на берег, Марианна не стала при всех шутить с отцом, а кивнула ему на прощание и пошла.

— Вот тут две кроны, кто их потерял? — громко сказала она, проходя, и указала рукой.

Теодор-лавочник подбежал и поднял с земли монету, вытянул руку и шутливо крикнул:

— Признавайтесь, чьи!

Никто не отозвался. Все пошарили в карманах, но никто не объявился хозяином монеты. Ларс Мануэльсен забормотал и усердно стал рыться в карманах, как будто монета и в самом деле могла быть его.

Теодор сказал:

— Хозяин не объявляется, две кроны ваши, фрекен Хольменгро.

— Нет, — ответила Марианна, не останавливаясь.

— Да ведь это же вы нашли их! — тщето кричал ей вслед Теодор.

Если это Теодор-лавочник сам подбросил монету, чтоб завязать разговор, то фокус отказался неудачным. Он даже

чуть не попал в неприятность из-за этих денег, когда сунул их в карман,— Ларс Мануэльсен как раз убедился, что признал монету: у него были две кроны, а теперь,— вот видишь,— в кошельке нет ни одной монеты и двух крон.

Но Теодор-лавочник был не такой человек, чтоб зря раздавать деньги,— он был большой любитель звонкого металла.

— Пускай пока побудут у меня,— сказал он.

— Разве это твои две кроны? — спросил Ларс Мануэльсен.

Теодор как будто соображал, как будто пришел в замешательство. Что такое, уж не думают ли, что он во что бы то ни стало хотел заговорить с Марианной?

— Это не мои две кроны,— твердо проговорил он.— Но я их спрячу,— сказал он.

А Ларс Мануэльсен пробормотал обиженно:

— Ну, я не стану спорить с тобой из-за двух крон. Мне они не нужны.

ГЛАВА V

С веселым духом начала сорока таскать ветки в гнездо.

— А господь дал сороке такой веселый нрав затем, чтоб мы на нее смотрели и тоже были довольны,— постоянно говорила старая Катрина, мать маленькой Паулины и маленького Готфреда.

Когда настал март и миновали самые жестокие морозы, старая Катрина поглядела на окно, соскребла с него лед и сказала:

— Слава тебе, господи, скоро и этой зиме конец, вот уже сорока начала таскать ветки.

Но, впрочем, сорока таскала не только ветки,— она таскала все блестящее, яркое и мохнатое, все, что ей попадалось на глаза. Любопытство и жадность ее были так велики, что она лъстилась на самые необыкновенные вещи. Ну, на что ей очки Ларса Мануэльсена? Для чтения собрания проповедей, как самому Ларсу Мануэльсену, они ей не нужны, а видеть лучше, чем она видит, ей тоже ни к чему. Ларс Мануэльсен потерял очки, идя домой из гостиницы, и он отлично знал, где обронил, сейчас же вернулся и поискал, но очки пропали.

— Это сорока! — сказал Ларс Мануэльсен.

И вот опять прилетела сорока, летела она от большого дома господина Хольменгро и держала в клюве что-то

блестящее — неизвестно что, только не ветку и не соломинку. Спускаясь к земле, она стала похожа на кружащийся кусочек картона. Но противная сорока все-таки беленькая с черными перышками и хорошенькая, писаная красotka; черные перышки у нее с зеленым металлическим блеском. Даже сидя на земле и повиливая корпусом, она великолепно и вносит большое оживление в пейзаж. Сорока очень чутка, наверное она видит спиной, при малейшей опасности она снимается с места, но, очутившись в безопасности, частенько присаживается похохотать, — такой уж у нее веселый нрав. Попадется ей кошка или собака — она задразнит их до смерти и сама натешится вдосталь. Она селится поблизости от человеческого жилья не ради удовольствия, а из расчета, чтоб иметь защиту против своих врагов. Такова сорока.

Но часто врагами ее являются и сами люди.

— Ты не разберешь, что такое в нее в клюве? — говорит жена Ларса Мануэльсена.

— Болтай про сороку! — отвечает Ларс Мануэльсен. — Она тащит все, что видит, она утащила мои очки. Но пусть только построит свое гнездышко, да положит в гнездо яйца, да выведет птенцов, уж я поговорю с ней!

— Не смей трогать гнездо! — отвечает жена.

Каждую весну повторялся тот же спор. — Ларс Мануэльсен хотел разорить сорочье гнездо, старое сорочье гнездо на березе перед его избой, а жена не позволяла. До сих пор победа оставалась за женою. А у нее были основательные причины: сорока мстительна, у сороки помощников и на земле, и под землей; лопари пользуются сорокой вместо гонца; сорока полна и добра, и зла.

Ларс Мануэльсен не слушал всех этих глупостей.

— Ну да, как же! — сказал он, сердито махая рукой на сороку. В ту же секунду сорока снялась и взлетела на березу; она сидит с минуту, потом проскальзывает в гнездо, словно дух. Когда она опять показалась из гнезда, в клюве у нее уже не было ничего блестящего, и вот она начинает смотреть на Ларса Мануэльсена и хохотать над ним. Она словно была полна веселого яда. Она даже перепрыгнула на другую ветку, чтоб лучше высмеять Ларса Мануэльсена, перепрыгнула даже на третью ветку, перегнула головку на бок и кричала ему что-то вниз. Это было невыносимо, сорока зашла слишком далеко, — не владей Ларс Мануэльсен своим рассудком, он бросил бы в нее топором.

— Не смей грозить сороке, говорю тебе! — предостерегала жена.

— Я скажу тебе только одно единственное, — отвечает Ларс Мануэльсен с весом, — Ларс Мануэльсен начал очень многое говорить с весом с тех пор, как стал отцом знаменитого человека, получил парик и зарабатывал деньги у коммивояжеров в гостинице. А кроме того, Ларс Мануэльсен был владельцем собственного участка, собственного скотного двора, со стойлами на двух коров, и мог теперь принять своего знаменитого сына, когда тот придет, а бог знает, не думает ли сын, что сорочье гнездо — самая обыкновенная вещь на крестьянском дворе! И потому Ларс Мануэльсен отвечает с весом: — Где, коли так, мои очки? — Жена не знала. — Ну, так спроси сороку! — говорит Ларс Мануэльсен. — А, может, ты еще что-нибудь хочешь узнать? — спрашивает она. — Видала ли ты, чтоб на порядочных дворах водились сорочьи гнезда, да еще с такими фокусами? — Нет, пожалуй, жена не видала. — Ну, так значит, нечего тебе больше и говорить! — заявил Ларс Мануэльсен.

Не одна сорока готовилась к весне, — готовился и ходатай по делам Раш. Все остатки снега на своей земле он велел посыпать песком, чтобы ускорить таяние. Ходатай Раш в несколько лет преобразил свой участок и превратил его в сад и парк. Прежде это была жиденькая лужайка с парой низкорослых сосенок; теперь сосенок не было, а лужайка была засажена кустами, и деревьями, и всякими растениями для украшения дома, на радость людям и всему Сегельфоссу. Ходатай Раш наделал великих дел с тех пор, как получил в свои руки средства. На что ему сосны и коровы? Скотница, это — лишняя прислуга. Он мог покупать молоко в Сегельфоссе, как все другие; конечно, возделывать Норвегию — дело почтенное, но оно не стоило хлопот. Тут же он видел большие и осязательные результаты своей деятельности, — он насадил сибирской акации и американской сосны, вырыл в лесу кусты можжевельника, папоротников и вербы и перенес в свой парк, и они хорошо принялись там, особенно же земля оказалась подходящей для акации, которая разрослась в целый лес. Окружной врач Муус, приезжая в гости, каждый раз обходил парк, очень одобрял его и говорил, что он замечательен.

— Если вы позаждаетесь так еще несколько лет, у вас в конце концов зазеленеют сосны в ваших рощах! — говорил он. Конечно, окружной врач Муус говорил это больше в шутку, потому что он был образованный господин и говорил замечательно хорошо, когда хотел; ходатай же

Раш только кивал на это головой,— он-де такой человек, для которого ничего нет невозможного, вполне осуществимы и соловьи. Он оповестил, чтоб ему набрали раковин, чешуек и редких камешков, чтобы выложить ими клумбы с астрами и маками, точь-в-точь как на барских дачах на юге. Хмель и дикий виноград каждый год взбирались по южной стене его швейцарской виллы почти до самого скворечника; с фронтонов и с конька на крыше зияли раскрытые пасти драконов в натуральную величину, с зубами и высунутым языком. Даже лужайка посреди сада и та имела украшение: маленький цементный бассейн, вмещавший две бочки воды, и от него шла труба, из которой вода была струей в воздух. Провести сюда воду из реки стоило двести крон, но расходов здесь не жалели. Пониже, в саду, стоял флашток с посеребренным шаром.

Ходатаю Раш нечего было желать большего великолепия для себя и для своей семьи на этом свете. Оставалось одно: освятить этот сад и этот парк, возникший из лужка с двумя сосенками. Каждый год он собирался устроить этот праздник, но все откладывал и откладывал, пока не подрастут «боксеры», и вот в этом году собирался опять. Разве жизнь не была к нему ласкова? Он мог принять ее дары или пренебречь ими,— он их принял. Жизнь подарила ему счастье без всяких условий, без закладной, как сказал бы он сам: он считал себя обязанным удостоверить получение, выдать расписку,— праздник положительно необходимо было устроить в этом году.

Ну, да и огромная же была разница между молодым юристом, приехавшим сюда несколько лет тому назад, без жены и без денег, и сбосновавшимся здесь при помощи господина Хольменгро, и теперешним всесильным адвокатом Рашем с деньгами, брюшком и авторитетом. Было время, когда он вывешивал все свои пальто и шляпы в прихожей конторы, чтоб люди, приходившие к нему, думали, что у него несколько клиентов. И вот они сидели несколько минут в приемной, ожидая своей очереди и слушали разговор в кабинете; потом хозяин отворял входную дверь в прихожую, провожая клиентов, и приветливо говорил: «До свиданья, до свиданья! Да, да, мы это уладим, будьте спокойны!» А затем входил в приемную и говорил еще приветливее: «Здравствуйте, здравствуйте. Извините, что вам пришлось подождать, я был занят».

Теперь адвокат Раш действительно был занят, он был завален делами, состоял директором банка, а, кроме того,

тайком работал в «Сегельфосской газете». Да и не так-то просто было попасть к нему в кабинет,— нужно было докладывать о себе: конторщик стучит в дверь и спрашивает, может ли господин адвокат принять.— Сейчас,— отвечает адвокат,— подождите минутку,— отвечает он. Кто это? Ларс Мануэльсен? Попросите Мануэльсена подождать одну секунду.

Адвокат ничего не делал в эту секунду, хмурил брови и думал. Потом отворил дверь и сказал:

— Здравствуйте, здравствуйте, Мануэльсен. Пожалуйста! Вы давно ждете?

— Нет.

Вид у Ларса Мануэльсена такой, что сразу чувствуется — он знает себе цену, оттого ему и не приходится долго ждать. Это ему не нужно. И адвокат с ним соответственно и обращается.

— Садитесь, Мануэльсен. Имеете ли вы какие-нибудь известия от сына?

— О, нет, давно уже.

— Он так занят в столице, все произносит проповеди и пишет?

— Должно быть, так.

— Его научные исследования возбуждают большое внимание. Я читал, что его переводят на шведский язык.

— Вот как, на шведский язык?

— На шведский язык. Да, он великий человек. Он несомненно будет епископом.

— Вы так думаете?

— Без сомнения.

— Он ничего не посылает домой,— говорит отец великого человека.

— Неужели? Это меня немножко удивляет. Должно быть, он позабывает.

— Мог бы выбрать время и вспомнить.

— То есть он все откладывает и откладывает, не справляется с работой. Я знаю это по себе.

— Что до этого касается, так не очень уж много времени заняло бы написать перевод в пять или десять крон.

— А выбрать-то это время, Мануэльсен! Впрочем, это меня немножко удивляет. Он не прислал вам и собрания своих проповедей?

— Нет, как же! Но только я потерял свои очки и не могу сейчас прочитать их. Прямо чудеса,— должно быть, это сорока их утащила.

— Сорока? Ха-ха-ха!

— Тут не над чем смеяться,— обиженно говорит Ларс Мануэльсен,— я знаю, что это сорока. А вот что я хотел вас спросить: правильно ли, что Теодор из Беу взял себе две кроны; он поднял их на набережной и положил себе в карман.

Ларс Мануэльсен рассказывает всю историю, заявляя, что две кроны принадлежат ему. Адвокат обещает поговорить с Теодором, с молодым Йенсенем.

— Впрочем, по-моему, такому человеку, как вы, Мануэльсен, не стоит с этим возиться,— говорит адвокат.— Что такое две кроны!

— Зарботки нынче гораздо меньше, чем в прежние весны,— отвечает Ларс Мануэльсен.— Постояльцев в гостинице мало. Последний приезжий торговец жил на собственном пароходе и не сходил на берег. От него никакого заработка не было.

— Я слышал об этом приезде,— говорит адвокат.

— Фамилия его Дидрексон, а на пароходе у него были и игра, и танцы, и попойка. Нам всем было прямо тошно смотреть на это.

— Должно быть, он молодой и веселый человек,— говорит адвокат и в задумчивости тянется за стопкой бумаг на столе.

— Еще бы! Ночью он прекратил танцы и отправился в море с двумя девушками. Одна была наша, Флорина.

— Флорина? Ну, молодость и глупость! Вот как, Флорина.

— Я больше ничего не скажу, а рты не замажешь! — говорит Ларс Мануэльсен. А потом смотрит твердо на адвоката и произносит ему следующие слова: — Только я думаю, что это там-то Флорина и подцепила свою зубную боль.

Адвокат Раш даже не шевельнулся на стуле и не вскинул пары быстрых глаз на Ларса Мануэльсена. Но глаза его закрылись, словно от чего-то странно громкого, оглушительного. На что намекал человек в парике? Что он знает?

— Да,— сказал адвокат Раш.— А разве Флорина жалуется на зубную боль?

— И на рвоту,— сказал Ларс Мануэльсен.

— И на рвоту тоже? Да, нехорошо, когда весной разгорячишься от танцев, а потом простынешь.

— А теперь Нильс из Вельта с ней разошелся.

— Вот как? Да, уж одно идет за другим!

— Так что вы это знаете,— сказал Ларс Мануэльсен.

Тут уж адвокат Раш не мог не улыбнуться,— что он, заложен и продан, что ли? Что такое воображает этот старый дурак?

— В таком доме, как наш,— ответил он,— прислугой ведает хозяйка. Это не мой департамент.

Тогда Ларс Мануэльсен поднялся и тоже улыбнулся на эти слова этакой кривой улыбочкой, которую адвокат отлично понял,— он даже немножко смутился.

— А что касается тех двух крон, так вы можете получить их от меня, Мануэльсен,— сказал он, протягивая деньги.— Настолько я уверен, что молодой Иенсен вам их возвратит.

— Спасибо,— сказал Ларс Мануэльсен.— И не напечатаете ли вы в газете про сына моего Лассена просто для того, чтоб люди знали?

— Этого я не могу,— ответил адвокат.— «Сегельфосскую газету» редактирую не я.

Иной раз адвокат ничего не имел против того, чтоб его считали настоящим хозяином газеты, а иной раз ему это не нравилось. Вот стоит старый плут Ларс Мануэльсен и ведет себя так нескромно, так павязчиво, словно считает, что заработал плату за какую-то услугу,— да за что же? А когда получил две кроны, сказал спасибо и взял. Извините, адвокат Раш не такой человек, что его можно было сослать на остров Святой Елены!

Но Ларс Мануэльсен с годами приобрел чертовскую самоуверенность, он не отступал ни перед кем.

— А заодно уж,— продолжал он,— помяните и про то, кто такие родители Лассена — здесь, на севере.

Адвокат только покачал головой и занялся папкой с документами.

Ларс Мануэльсен ушел.

Через несколько дней он явился снова.

— Я занят. Попросите Ларса подождать,— сказал адвокат своему конторщику.

Ларс Мануэльсен порядочно подождал в приемной; когда его наконец впустили, адвокат поднял голову и сказал:

— Говорите покороче, Ларс, мне сегодня очень некогда.

— Гм. В газете ничего не было написано,— сказал Ларс Мануэльсен.

Адвокат потянулся и поднял со стула свое тяжелое тело.

— Мне надоела эта болтовня про газету,— сказал он, и лицо его покраснело.— Идите в редакцию, самого редактора зовут Кошперуд, а меня зовут — Раш.

— Я не стану с вами спорить, мне это не нужно,— ответил Ларс Мануэльсен и вышел из комнаты.

Адвокат постоял, нахмурил брови, подумал, прошелся по комнате, остановился, посмотрел на стену, еще подумал. И вдруг крикнул в приемную:

— Мануэльсен ушел? Ушел Мануэльсен?

— Да. Побежать за ним?

— Да. Попросите его вернуться!

Адвокат стоит в конторе и слышит, как конторщик зовет на улице и как Ларс Мануэльсен ворчливо отвечает: — Мне это не нужно!

Значит, кости брошены? Старый плут хочет воевать? Бедняга, воевать с адвокатом Рашем! Но день адвокату испорчен,— разве он может воевать с каким-то жалким плутом. Не лучше ли проявить снисходительность? Но день все равно был испорчен,— так он встревожился.

— И сегодня тоже не поступило платежа от ленсманна? — спросил он своего конторщика.— Он набрал на аукционе несколько сот крон и не посылает денег,— что это значит?

Конторщик качает головой.

— Доброму ленсману из Ура следует немножко поостеречься!

За обедом адвокат тоже был неразговорчив и неласков,— у него целый мешок дел,— говорил он,— огромная папка с документами. Он сейчас же пойдет опять в контору — пришли туда Флорину с кофе!

— Послушай, зачем ты замотала себе рот этим отвратительным платком? — говорит адвокат, оставшись наедине с горничной Флориной в конторе.

— Зубы болят,— отвечает Флорина.

— Чего же и ждать, как не зубной боли, если ты пляшешь до поту, а потом отправляешься кататься по морю в такие морозные ночи, какие сейчас стоят.

— А вам это известно? — спрашивает Флорина.— Значит, вам известно и то, почему я так поступила.

Адвокат кратко отвечает «нет» и не желает распространяться на эту тему.

Странную и непонятную речь заводит тогда горничная Флорина,— намеки, тихие слова: «Бог мне свидетель! Что со мной будет?» Адвокат отвечает то запальчиво, то со смехом.

— Ха-ха,— говорит он,— брось Нильса из Вельта, у тебя, должно быть, на каждый палец по любовнику! У тебя уж есть новый? Как это его зовут — Дидрексон?

— А, вы и это знаете? — говорит Флорина.— Значит, вы знаете также, почему я так сделала.

— Нет,— опять отвечает адвокат.— Но, во всяком случае, сними этот платок здесь. Слышанное ли дело,— молодая, красивая девушка, сберегательная книжка и все такое! Не бросай сберегательную книжку!

Флорина говорит:

— Лучше бы ее у меня не было!

— Чепуха. Нильс из Вельта рад будет взять и тебя, и книжку.

Но когда адвокат берется за папку с документами, намекая, что Флорина может идти, она заливается слезами. Горничная Флорина была не промах, она развивалась вместе с местечком Сегельфосс, она знала пути и выходы.

— Тс, реви потише! — остановил адвокат.

Горничная Флорина, видимо, хотела затянуть разговор,— это так облегчало,— она была упряма и подавлена, перешла на своего рода профессиональный девичий язык и стала утверждать, что у мужчины, «сорвавшего ее цветок», нет сердца.

— Цветок? — отозвался адвокат Раш и слегка подскокил от раздражения.— Черт бы меня побрал — цветок!

— Вот сберегательная книжка! — сказала Флорина и положила ее на стол.— Я не хочу ее брать!

Целую минуту смотрел ходатай Раш на девушку. Вдруг он кротоко усмехнулся и сказал:

— Я сейчас немножко прибавлю, сегодняшним числом припишу приличную сумму. Вот, покажи это теперь Нильсу из Вельта!

Адвокат вписал в книжку и вернул ее горничной Флорине с чем-то вроде поклона. Она взяла и, то ли из смущения, то ли из любопытства, раскрыла и прочитала написанное. Потом опять обмотала платком рот, сунула книжку за пазуху и вышла.

Кончено. Улажено. Адвокат записал расход в банковские книги и снова задумался. Ну, да, все в порядке. Но все-таки правильнее проявить дружелюбие и снисходительность по отношению к Ларсу Мануэльсену. Старый пролаза не выносит грубого обращения, это надо намотать себе на ус.

Адвокат стоит в дверях и диктует конторщику:

«Господину ленсману в Ура. Нижеподписавшийся просит прислать причитающиеся сегельфосской ссудно-сберегатель-

ной кассе уплаченные суммы — в течение — 8 — восьми — дней. С почтением».

День испорчен. Адвокат Раш берет шляпу и палку и отправляется погулять. От сарая доносится грохот и стук молотков; он идет туда, — это плотники работают в сарае, в танцевальном зале Пера из Буа; сарай расширяют, делают огромную пристройку, устраивается сцена, сколачивают скамьи. Что тут затевается?

— Здесь будет театр, — отвечают рабочим.

Вот так получил нечистый спички! Театр — вот что он получил!

Адвокат стоит с минутку и смотрит. Вот подходит вразвалку телеграфист Борсен, — должно быть, он имеет какое-то отношение к постройке, распоряжается, указывает. Адвокат ждет, чтоб телеграфист поклонился, — ничего подобного! Телеграфист просто измеряет метром одну из стен и отдает еще какое-то приказание. Разве пристало превращать адвоката Раша в воздух и ничто? Этот телеграфист всегда был бесстыжим, не кланялся, а пьянствовал, играл на виолончели и обманывал девушек, негодяй!

Ходатай Раш отправляется в Буа, прилавок откидывается перед ним, и он заходит, топая своими тяжелыми ногами, — топает через всю лавку и входит в контору. Эта маленькая каютка Теодора, с конторкой, денежным шкафом и винтовым табуретом; Теодор пишет.

Адвокат излагает дело о двух кронах. Это было маленькое дело, но господин Раш, видимо, считал его не мельче многих других своих дел.

Зачем ему лишаться двух крон из-за Ларса Мануэля-сена? Все его состояние построено из таких мелких монет в две кроны.

Услышав, в чем дело, Теодор на мгновение лишается дара речи, лицо его растерянно от изумления. Но так как голова у него толковая, он соображает, что слишком долго противиться тут не приходится.

— Пожалуйста! — говорит он. — Я и позабыл про эти две кроны. Да, я нашел их на набережной.

— Спасибо! — ответил адвокат. — Я сразу сказал, что вы их отдадите, если вам напомнить. Ну, а как вообще дела, Иенсен?

— Ничего, хорошо!

Но и Теодору из Буа тоже не очень интересно швыряться деньгами, он не так воспитан, и еще меньше заложено это в нем от рождения.

— Но только вы не думайте, что эти две кроны — Ларса Мануэльсена, — сказал он.

Адвокат выпутался без убытка и потому ответил только:

— Не понимаю, что вам за охота вспоминать о каких-то грошах? Ведь вы ворочаете такими крупными суммами.

— Я и не вспоминаю, я только говорю.

— Ну, я так и думал. Кстати, что это, — вы строите театр?

Теодор качает головой:

— Уж и не говорите — да, я строю театр!

Но адвокат ничего не понимает и спрашивает, что это значит.

— Да вот, театр, парадный зал, — отвечает Теодор. — Эти артисты пишут мне, как самому известному в местечке человеку, и спрашивают, нельзя ли им приехать и сыграть представление.

Ходатай Раш страшно оскорблен этими словами.

— Разве вы самый известный человек в местечке? — сказал он. — Я этого не знал.

Но, может быть, маленький Теодор из Буа только обмолвился, вероятно он хотел сказать, что он человек, лучше всех знающий местечко; перед образованным человеком он, конечно, должен стушеваться.

Он и стушевался, когда адвокат сказал:

— Не понимаю, как вам могли писать по такого рода делу! Ведь вы же не имеете о нем понятия.

— Я попросил начальника телеграфа Борсена взять на себя наблюдение, — смиренно ответил Теодор.

— Да, это самый настоящий человек! — фыркнул адвокат. — Никогда не слышал ничего подобного!

— Он из хорошей семьи. Много бывал в театрах.

— Вот как! Я никогда не слышал о семействе Борсен.

— Это известная и богатая купеческая семья.

— Да, — сказал адвокат, — так пусть она и будет купеческой семьей. Ну, да, впрочем, мне это все равно. А вы заручились «Сегельфосской газетой» для нашего предприятия?

Теодор не понял.

— Артисты обращались в «Сегельфосскую газету» по поводу своих представлений?

— Не знаю.

— Ну, мне это все равно, — сказал адвокат.

Он ушел, но оскорбленный до глубины души. Скажите, пожалуйста, самый известный человек в Сегельфоссе, стало быть, Теодор-лавочник! Святая простота! — говорится по-

латыни. И по театральным делам пишут не Рашу и не окружному врачу Муусу, а пишут Теодору-лавочнику?

Между тем досада разобрала и маленького Теодора, он побегал за адвокатом и показал ему письмо актеров,— вот, пожалуйста! И там действительно было написано, что господин Теодор Иенсен — самый известный человек в Сегельфоссе. Он только это передал.

— Может быть, вы хотите взять на себя постройку? — сердито спросил Теодор.

— Я? Чего это ради? Я не желаю брать на себя никакой постройки.

— Я подумал, раз вы так в это вмешиваетесь.

Нет, это было уж чересчур,— не вздумала ли лавочная мышь показать зубы?

— Ну, ты берегись, карапуз? — сказал адвокат.

— Берегитесь сами! — ответил Теодор. И вдруг превратился в сына Пера из Буа, сердитого и твердого, раздраженного потерей двух крон и чужим превосходством.

Господи помилуй, неужели этот Теодор вздумал бороться с Рашем? Адвокат пошел дальше с таким видом, как будто Буа и все его обитатели, и все покупатели, да и весь Сегельфосс — только песчинка в его владениях,— такая была у него поступь. Но как бы тяжело он ни ступал, ноги его не чувствовали под собой твердой почвы. Словно все люди сегодня о нем что-то знали.

А Теодор кричал ему вслед что-то о двух кронах. Так, стало быть, маленький Теодор знает про него только этот пустяк и ничего больше. Адвокат снова почувствовал твердую почву под ногами. Но маленький Теодор знал и еще что-то,— он стоял, маленький, злобный и мстительный, и кричал вдогонку адвокату. Не мог же он кричать про Нильса из Вельта и про сберегательную книжку горьичной Флорины, не намекая на что-то?

Маленький Теодор поплелся обратно в Буа точь-в-точь как собака, выбегавшая без всякого стыда полаять на прохожего. Он сейчас же начал разглагольствовать перед своими покупателями, что он сделал то-то и то-то для города, для Сегельфосса, устроил новый сигнальный холм и сигнализирует новым с иголки флагом, сейчас строит театр для приезжающих артистов, а потом залучит постоянного фотографа в местечко,— он уже написал одному. А что делал ходатай Раш? Далее он намеревается прибить большую вывеску в Буа,— с названием нашей фирмы,— сказал Теодор, коммивояжер Дидрексон предоставит ему вывеску с золотом и в несколько красок. Это,

конечно, может показаться и не таким большим делом, но, во всяком случае, благодаря этому Сегельфосс станет похожим на другие города.

— А что делает Раш? Да, вы видели новые первомайские цветы, выписанные для нынешнего года? — спросил Теодор. — Вот посмотрите, десять эре, доход поступает в пользу общества. Я взял на себя продажу, чтоб все мы могли купить себе первомайский цветок, приколоть его на грудь и быть похожими на людей в других городах.

И так как он все еще был в задоре, он крикнул на всю лавку приказчику Корнелиусу и другому подручному.

— Эй, ребята, очистите место в кладовой! Нынче вечером придут наши весенние товары.

Юлий, хозяин гостиницы, частенько приходивший в Буа поболтать, тоже был здесь. Он, верно, чуял заработок, а он был не из тех, что брезговали приложить руку к чему бы то ни было. Юлий брезглив? Он безбожник и грубиян, но не баловень, не развратник. Отец его деморализован и не может больше работать из-за парика; над матерью посмеиваются за то, что она зимой носит муфту, но, помимо этого, она работает и трудится, как и раньше, хотя она и мать Л. Лассена. Юлий же кидается на заработок, где только его видит, да вдобавок у него отменнейшие кулаки. Он спросил:

— Так вы получите сегодня много товаров?

Теодор ответил:

— Да, наверное, придет тюков сто для нашей фирмы.

— Вам понадобятся люди?

— Я уж подговорил людей, — кратко ответил Теодор.

Юлий не знал, что Теодор потерял сегодня две кроны из-за его отца, выбросил две кроны за здорово живешь, — Юлий это не знал. Он думал только о зареботке, который от него ускользал.

— Сотня тюков? Я этому не верю, — сказал он.

Двое покупателей, уже стоявших некоторое время у бывшей винной стойки, поддержали его и, усмехаясь, сказали:

— Ну да, сотня тюков! Хвастаешь, небось?

— Ну, скажем, что это ящики и что их десять, — продолжал Юлий.

— Я с тобой не считаю, — сердито ответил Теодор.

Стоит тут этот Юлий и проявляет неуважительность к нему в присутствии стольких людей!

С другой же стороны, с ним ничего нельзя поделаться, его не вышвырнешь за дверь, а язык у него бедовый.

— В десять ящиков может много поместиться, — сказал он.

— Да,— отозвались пьяные покупатели,— мы были бы рады получить десять ящиков. Остальные девяносто пусть бы забрал Теодор! — И громко захохотали.

— Я вас не понимаю! — сказал Теодор.— Я получаю целый ящик одних только гребней.— С этими словами Теодор ушел к себе в контору, чтоб больше не слышать.

Юлий спросил:

— Гребни, какие это? Частые гребни, расчески?

Приказчик громко захохотал:

— Эх ты, Юлий! Нет, это гребенки втыкать в волосы, в шиньон. Самая последняя мода, в Лондоне не увидишь ни одной женщины без такого гребня. Но они не для старух, а только для молоденьких, и подбирают их в цвет волосам, желтые или коричневые гребни. У нас хороший выбор.

— А почему они стоят? — спросили от винной стойки.

— Это выяснится из фактуры. Мы их не расценивали.

Но когда наступил вечер и пароход с юга ошвартовался у набережной, он простоял лишь обычное время и нагрузил и выгрузил самые обычные товары, после чего ушел. Сотня тюков для Буа не прибыла. Порядочная толпа народа собралась на набережной, преимущественно молодежь, поджидавшая весенних товаров; вся эта компания болтала и смеялась, чтоб скрыть свое разочарование; Теодор расхаживал в башмаках с бантами и посматривал, как ни в чем не бывало,— может, он даже и не ждал своих весенних товаров в этот вечер, а только хотел оповестить о них. Это было в характере тщеславного парня.

— Где же сотня тюков? — спросил Юлий.— И где десять ящиков с гребнями? — добавил он дерзко.

Но кое-что в этот вечер все же случилось: вернулся господин Хольменгро. Где он был, и что пережил? Он был молчалив и полон таинственности, не улыбался и вымолвил лишь несколько слов. С ним произошла перемена, это было понятно всякому, даже платье на нем было новое и дорогое, на шелковой подкладке. Но замечательнее всего был взгляд господина Хольменгро. Уж не стал ли он косить? Похоже было, что он долго постился.

Когда он сошел с мостков, перед ним очутились адвокат Раш с женой. Ну, адвокат Раш, должно быть, хотел показать людям, что ходит гулять с женою, как только улучит минутку от важных дел, и вот он притопал с ней на набережную, и это было неглупо, потому что народу там было много. Он пожелал господину Хольменгро доброго вечера, но господин Хольменгро не ответил ему тем же,

а только снял шляпу, не сгибая пальцев, — и на среднем пальце у него был замечательный золотой перстень.

— С приездом! — сказал адвокат.

На это господин Хольменгро ничего не ответил, а прошел мимо, скосив глаза, точно рядом с адвокатом находился какой-нибудь необыкновенный предмет.

— Ну, тут что-то очень и очень неладно! — сказал адвокат жене. И заговорил громко, чтоб придать себе весу и показать, что он много знает.

Окружающие слушали. Жена просто сердечно спросила:

— Что неладно?

— Ты видела перстень у него на руке?

— Перстень?

Юлий возвысил голос, — этот Юлий был развязный малый, ему нипочем было задать великим и сильным мира сего вопрос-другой! Он сказал:

— Я видел перстень. Что это за перстень?

Адвокат страшно напыжился и посмотрел на Юлия так, словно никак не мог решиться ответить ему. Потом наклонился к жене и спросил:

— А ты не видела, как он косит глазами? Он, несомненно, много дней не ел.

К чему все эти вопросы, куда клонил адвокат? Он говорил не из суеверия, еще меньше в ироническом смысле; так что же, он говорил, чтоб оскорбить господина Хольменгро и выставить его напоказ? Адвокат Раш не выставлял напоказ никого, кроме себя самого. Он говорил, чтоб блистать, из важности, чтоб припугнуть Ларса Мануэльсена, этого старого мошенника, чтоб импонировать Теодору-лавочнику, стоявшему несколько поодаль и в свою очередь делавшему вид, будто он вовсе и не замечает адвоката.

— А вы не можете мне сказать, какого сорта этот перстень? — спросил Юлий.

Адвокат наконец ответил:

— Не спрашивай об этом, Юлий, потому что это выше твоего понимания; а перстень этот — настоящий масонский.

Адвокат в сущности предпочел бы уже удалиться от толпы, но жена неосторожно сказала:

— Масонский перстень? Неужели это так страшно?

Адвокат торжественно вразумил ее:

— Я так от всех слышал, Христина. В доме моих родителей висит на стене портрет деда моей матери. Он держит правую руку вот так, на среднем пальце у него перстень, масонский перстень. Так вот, я кое-что об этом знаю.

— Но на что же годится такой перстень? — спросил Юлий. Ох, этот чертов Юлий, нет того, чтоб помолчать!

Адвокат не желал разговаривать на площади, — ни малейшего желанья, — он решительно повернулся к жене и сказал:

— Господин Хольменгро стоит теперь на такой высоте, до какой вообще может достигнуть смертный! После чего супруги проследовали дальше.

И вот все начали раздумывать о слышанном и рассуждать о кольце, смотрели вслед господину Хольменгро, кивая головой. Да, это несомненно подлинное франмасонство. Вот он идет, погруженный в страшное раздумье, глаза у него перекошились, бог знает, видит ли он теперь ими простые земные вещи. Адвокат сказал, что здесь что-то очень и очень неладное. Ларс Мануэльсен вдруг проговорил:

— Я пошлю письмо моему сыну Лассену и спрошу.

Кто-то выразил сомнение в том, что Лассену это известно:

— Я слышал, что про фармазонов никто ничего не знает.

Тогда Ларс Мануэльсен улыбнулся, — это была единственная улыбка во всем этом серьезном сборище, и ответил:

— Чего не знает Лассен, о том тебе и не снилось. Все были сильно потрясены. Казалось, будто они соприкоснулись с вечностью, с загадкой, с ложной присягой, закланием-кровью.

ГЛАВА VI

Сороки свили гнезда на занятых ими вершинах берез, положили яйца и вывели птенцов, семейная жизнь шла полным ходом, во всех гнездах родители исполняли свой долг.

Ларс Мануэльсен пошел к Бертелю из Сагвика; сам Бертель был на мельнице, старая же Катрина была дома и шила мешки для помола. Ларс Мануэльсен пришел попросить лестницу.

— Возьми, пожалуйста, лестницу, — ответила Катрина, — только на что она тебе?

— Хочу взлететь на крышу и прочистить дымоход, — ответил Ларс Мануэльсен.

Когда он принес лестницу, жена ушла в гостиницу, так что он был дома один. Лестница была тяжелая, он вытер платком лицо и парик. Прямо перед ним из большого

гнезда вылетела сорока, немного спустя показалась другая и полетела низко над землей; Ларс Мануэльсен приставил лестницу к березе и добрался до гнезда.

Он хотел поискать свои очки, заглянул в гнездо и увидел только птенцов. Противны были эти голые существа, перья у них еще не отросли, но неестественно длинные клювы свои они разевали шире, чем взрослые. Они то пищали, то шипели; Ларс Мануэльсен не мог взять их в руки и выбросить, но он всерьез решил покончить с этим, снять все гнездо и сбросить вниз. Оно сидело очень прочно в развилке сука, и Ларсу Мануэльсену стоило большого труда оторвать его; наконец он оторвал от него кусок, примерно с половину, и швырнул на землю. Он глянул вниз,— пара сорок сидела как раз под деревом. Очков своих он не нашел, птенцы таращили глаза и шипели, как дьяволята; Ларс Мануэльсен с сердцем рванул остатки гнезда и швырнул на землю вместе с птенцами и всем, что в нем было. Вон оно лежит.

Пара сорок сидела и смотрела.

Он слез с лестницы и стал исследовать гнездо: комочки, кости, осколки стекла, кусочек блестящего никеля,— что это такое? Очков нигде не было, но зато оказался моток чистой шерсти и вполне пригодный медный гребешок; Ларс Мануэльсен выбрал, что можно было. И опять попался на глаза кусочек никеля, Ларс Мануэльсен осмотрел его пристальнее и подумал: «А ей-ей, это малюсенький ключик, который потеряла фру Иргенс у Хольменгро! Ведь всю зиму она ходила и спрашивала у всех про ключик от кладовой, а он вот где!» Ларс Мануэльсен бережно спрятал ключик в карман и еще раз обшарил гнездо,— нет, больше ничего не нашлось. В заключение своего предприятия он растоптал по одному всех птенцов и истребил сорочье потомство. Родители сидели и смотрели.

Когда Ларс Мануэльсен отнес лестницу обратно в Сагвик и поблагодарил старую Катрину за одолжение, она сказала:

— Не стоит благодарности. Ну, что же, прочистил дымоход?

— Да,— ответил Ларс Мануэльсен.

Он вернулся домой и закинул сорочье гнездо подальше, а после этого отправился в гостиницу. Это был другой его дом,— жена его стряпала на кухне при гостинице, а сам он носил туда багаж приезжих. Юлий до некоторой степени содержал мать за то, что она на него работала; отец жил «чаевыми».

Юлий был неплохой делец. Он читал неважно и писал только отметками и значками для собственного употребления, но у него были большие способности и чудовищная память; счета гостиницы в любую минуту вставали совершенно ясно в его голове. А разве не чертовское искусство завести гостиницу с пустыми руками? Разумеется, вначале ему пришлось занять денег в Сегельфосской ссудно-сберегательной кассе в ту пору, когда все занимали; он употребил их на постройку дома, на бревна и оборудование, а не на причуды и щегольство. По-видимому, счастье улыбалось ему; правда, молоденькая Полина из усадьбы Сегельфосс, та, что так хорошо подходила к гостинице, отказала ему; глупая девчонка, должно быть, его не любила; но в остальном Юлию очень везло. От того, что первый дом его сгорел, едва он его как следует отстроил, он ничего не потерял, наоборот, даже на этом заработал, сделав хорошее дело. Юлий выстроил новый дом и нажил вдобавок на инвентарь: раньше было две кровати, теперь стало шесть. Это было сущее счастье, прямо свинская удача.

А с осени стали появляться первые постояльцы. Первым явился один с почтового парохода, он пожаловал в Буа с шубой под мышкой и с образцами в ручном саквояже. За ним — другой, этот был еще больше похож на коммивояжера, у него было по саквояжу в обеих руках, и Юлий помог ему снести их. А вскоре появились и настоящие коммерсанты с окованными железом сундуками, эти не могли раскладываться в Буа, им нужна была гостиница, большая зала. С этого времени Юлий сделался настоящим содержанием гостиницы, он приставил своего отца носильщиком, а себя возвел в администраторы. В мертвые же летние и зимние месяцы Юлий был всем, чем угодно, высматривал себе кусок насущного хлеба, как ворон, даже работал на сушке рыбы у Теодора из Буа, когда не было другого заработка.

Итак, Юлию и всем детям Ларса Мануэльсена жилось хорошо. У Даверданы был собственный дом и верный доход; изредка и она приходила помогать в гостиницу, когда постояльцев набиралось много. Трое других жили тоже самостоятельно, сестра была замужем в Тронгейме, одного брата пастор Лассен пристроил в управление маяками, а другого, который вышел незадачливым, он отправил в Америку. В общем, надо сказать, брат Лассен сделал для семьи, что мог, сам же он был важным человеком, могущим кое-что сделать! Но он делал не больше того, что мог

себе позволить. Например, Юлий задумал соорудить дешевым манером у себя на гостинице вывеску; приказчик Корнелиус из Буа брался написать ее на железной полосе, и Юлий написал брату, прося его разрешения написать на вывеске «Гостиница Лассена». Это не прошло, нет, как и можно было ожидать,— пастор Лассен ни в коем случае не желал, чтобы его имя фигурировало на гостиничной вывеске. «Напиши: “Гостиница Ларсена”,— ответил он,— а я остановлюсь у тебя, когда поеду на север». Дальше он спрашивал, ведет ли господин Хольменгро свое большое мельничное дело, и так же ли он богат, и, наконец, писал, что мельком встретил раза два в Христиании Марианну и что она стала очаровательна,— поклонись ей от меня!

— Ларс дурака валяет! — сказал Юлий и захохотал без зазрения совести.

Вошедший отец вразумил его, что Лассен не такой человек, чтоб над ним смеяться.

— А мне плевать на него,— сказал Юлий.— Что там еще в письме?

Давердана, призванная для прочтения письма, закончила так:

«Не забудь, брат Юлий, следующее: постояльцы в гостиницах часто возят с собой книги и бросают их по прочтении; будь добр, сохрани такие книги, если тебе попадутся, и пришли мне, а я включу их в свою библиотеку и спасу от уничтожения».

— Ох, господи, Ларс и — книги! — пробормотала мать, качая головой.

— Очень-то мне нужно! — язвительно сказал Юлий.— Он не говорит, сколько мне за это заплатит.

— Постыдился бы ты, нехристь! — воскликнул Ларс Мануэльсен.— Там в зале валяются две книжки, я схожу за ними.

— Я уважаю Ларса не больше своего сапога,— заявил Юлий.

Ларс Мануэльсен вернулся с книгами и сказал:

— Если ты не хочешь, то я буду прятать их для Лассена.

Давердана прочла заглавие: «Поджог в Тетервике» и «По горячим следам» и сказала:

— Можно мне взять их?

— Выйдут две славные книжки, если их переплести,— сказал Юлий, дразня отца.— Я не отдам их и за две кроны, так и напиши Ларсу.

Вдруг смех сбежал с его лица,— он увидел в окно ленсмана.

Юлий не во всех делах вел себя так честно, как следовало бы, и не любил, когда ленсман заходил в гостиницу. Он был дерзок со всеми, но еще в детстве лицо у него менялось и вытягивалось как раз тогда, когда надо было проявить мужество. А тут — ленсман, в фуражке с золотым кантом и с сумкой через плечо.

— Здравствуйте! — сказал ленсман.

Более мирного человека нельзя было найти. Приходил ли он, когда надо было описывать имущество Ларса Мануэльсена, или когда Ларс Мануэльсен привлекался к суду за кражу овец с дальнего поля, — всегда говорил он, приходя, «здравствуйте» и, уходя — «мир вам». К Юлию он приходил по поводу весьма злостной мены часов с Аслаком на мельнице; Аслак требовал возврата часов и наказания, но ленсман ограничился только тем, что заставил вернуть часы и примирил противников. Вот каков был ленсман из Ура.

Он садится, говорит с хозяевами о том, о сем и только после этого переходит к своему делу:

— Тут у меня счетик с аукциона, Юлий. Не знаю только, ко времени ли он тебе?

Юлий плохой человек, он не выносит кротости. Так как речь идет только о незначительном просроченном долге по аукциону, он становится груб и заносчив:

— Вам не стоило из-за этого беспокоиться, — отвечает он, — я и сам пришел бы в контору и заплатил.

— У меня здесь были кстати дела.

— Но сегодня мне это некстати, — говорит Юлий. — Я приду как-нибудь на днях.

— Дело в том, что банк требует к сроку, — возражает ленсман. — Адвокат опять прислал мне напоминание.

Юлий становится еще резче:

— Сколько там? Есть о чем толковать! А впрочем, я желаю знать, заплатили ли другие?

— Нет, — говорит ленсман. — Большинство отвечает, как ты, что придут попозже.

— Попробую зайти нынче вечером, — заявляет Юлий, — займу у кого-нибудь эти гроши.

Когда ленсман уходит, Юлий пыжится и фанфаронит:

— Ну, уж этот — плевать мне на него! У лоцманов тоже золотой кант на фуражке.

— Зачем ты обещал принести деньги нынче вечером, — говорит мать. — Откуда ты их достанешь?

Юлий не удостаивается ее ответом. Вместо этого он развивает явившуюся у него идею:

— Я куплю шесть маленьких сливочников, чтоб у каждого постояльца был свой. Когда ставишь один большой, то первый, кто садится за стол, выливает сразу весь сливочник, а следующему остается только постучать по столу — давай еще! Нет, благодарю покорно!

— Да, это верно! — соглашается мать.

— Этого больше не будет! — говорит Юлий.— Книги — куда девались книги, Давердана?

Отец отложил книги в сторону, Юлий разыскивает их и не выпускает больше из рук. И тут Юлий настолько уже оправился, что опять начинает поддразнивать отца:

— Когда я их переплету, Ларс может их купить.

— Скотина ты! — говорит Ларс Мануэльсен.

— Хе-хе-хе — «поклонись ей от меня!» Пусть и не воображает! Не понимаю, по-моему, так он просто глуп.

— Кто глуп?

— Да Ларс же. Да, так оно и есть. А ты как думаешь, отец?

— А ты просто болтун и ругатель!

— Хе-хе-хе. Может, ты сам сходишь передать ей поклон. Скажите пожалуйста, Ларс сидит и думает о книжках, которые постояльцы бросают у печки! Разве это не замечательно?

Давердана вмешивается:

— Наверное, ты отдашь книги Полине?

— Полине? А хоть бы и так?

И не затевай лучше. Она не хочет тебя знать.

Это попало в цель, Юлий разозлился:

— Черт с ней, с Полиной! Все бабы — дрянь, что ты воображаешь, очень они мне нужны? Но уж ты-то, Давердана, книг не получишь.

— Я и не нуждаюсь.

— Никогда в жизни не получишь, — сказал Юлий.

— Да-да, ты стал теперь такой важный. Но все-таки, без меня тебе не обойтись.

— Ни на что ты мне нужна. Зачем это ты можешь мне понадобиться? Я выпишу себе экономку из города, и она все будет делать. Как думаешь, мать? Тогда ты можешь уйти домой.

Мать заплакала:

— Ну, что ж, господь до сих пор милостиво питал меня своими крохами, авось он позаботится обо мне и дальше.

— Да, — говорит и Ларс Мануэльсен, — господь поможет нам, старикам-родителям, и дальше, как помогал до сих пор.

— А Ларс-то! — издевается Юлий. — Великий Лассен! — издевается он.

Ларс Мануэльсен возмущенно встает и отвечает веско:

— Ноги моей больше не будет в этом доме, так ты и знай! Сын мой Лассен — святой человек, а ты — если бы ты мог так же верно рассчитывать попасть в царство небесное, как он!

— А что он послал тебе? — спрашивает Юлий. — Вы оба сидели бы в богадельне, не будь меня.

Мать плачет, Ларс Мануэльсен стоит, держась за дверную ручку. Все это была одна из мелких ссор, оканчивающихся миром — Давердана обиделась на заявление о новой экономке:

— Вот как, ты выпишешь экономку из города?

— А хоть бы и так?

— И шесть сливочников, — ты все больше и больше зазнаешься!

— Шесть сливочников, — подтверждает Юлий. — Куплю нынче же вечером.

— Да ведь ты же не мог заплатить ленсману.

— Не суй свое рыло! — крикнул Юлий. — Я не мог заплатить ленсману? Если бы он вынул счет из сумки, я заплатил бы, не сходя с места.

Давердана засмеялась, засмеялись и старики. Юлий выхватил бумажник и стал вытаскивать кредитки, — денег было много, он отсчитывал их громко и хвастливо, клал каждую бумажку со стуком на стол, а когда дошел до последней, хватил по ней изо всей силы кулаком.

— Не мог я заплатить ленсману? Как по-вашему?

Он обвел глазами всех, все лишились языка. Этаким черт, этот Юлий, нагреб-таки денег, носит их на груди, он богат. Давердана притворилась, будто денег немного, вовсе не так много, она покосилась на них и сказала:

— Воображаешь, есть чем хвастаться? Я однажды видела целых три тысячи.

Но у отца настроение изменилось:

— Не смей так обращаться с Юлием, Давердана, чтоб этого больше не было! На Юлия нельзя пожаловаться, я это всегда говорил, и мать твоя тоже. А если у тебя так много денег, Юлий, ты не должен допускать старика-отца умирать с голоду, это на твоей душе грех.

— Умирать с голоду? Напиши Ларсу! — ответил Юлий.

— Ты не обеднеешь от кроны или двух.

— Ни одного эре. Напиши Ларсу!

— Оставь ему его бумажки! — вскричала Давердана и с сердцем встала. — От них добра не будет! — И, уходя, крикнула Юлию. — Не трудись больше посылать за мной!

Но, разумеется, прошло немного дней, и Юлий послал за Даверданой, и Давердана пришла. В сущности, между ними не было разлада, вся семья по-своему была дружна, Юлий же только твердо вел свою линию. То же делали и остальные. Действовал ли Юлий когда-либо умнее? У него был долг в лавке и долг ленсману, неужели же ему было нечем уплатить долги и остаться не при чем, разориться? Ха-ха, у Юлия на этот счет были свои мнения и соображения: налоги — важно было платить их как можно меньше. В этом отношении сочувствие всей семьи было на его стороне, она сама всю жизнь к этому стремилась. Налог — что это такое? — Никогда не выматывалось более зрячих денег из крови и пота бедняков! — говорил Юлий. — Налоги шли на богатых, на господ, а с тех пор, как Сегельфосс превратился в самостоятельный приход, налоги сыпались без конца. Юлий стоял за то, чтоб извести с корнем всех господ, и первый готов был стрелять в них.

Ларс Мануэльсен соглашался с сыном, в данный момент он не расположен был противоречить, — как раз наступали мертвые месяцы без «чаевых», и тогда хорошо было иметь приют в кухне гостиницы Ларсена. Тут уж слово Юлия являлось законом, и отец с сыном были закадычными друзьями.

И дошлый же парень этот Юлий! Другие щеголяли бы своими средствами, Юлий же, хоть и выступал в роли жениха, прятал свои средства в кармане и имел повсюду долги исключительно из тонкого расчета. Ведь вот, следовало бы ему завести флаг для гостиницы, — на пристани был флаг, в Буа был флаг, в «Сегельфосской газете» был флаг, — но разве Юлий имел на это средства?

Он был трусливый и неважный парень, но удивительно ловкий и занятный плут.

А как же ленсман из Ура, так и не получивший денег? Он сам был в этом виноват, он перестал понимать Сегельфосс, — здесь надо было рвать когтями, а он этого не разобрал. Человека, в роде ходатая Раша, не так-то легко было понять: аукционные деньги на сегодняшнее число — прекрасно; а если их нет? Ведь ленсман с женой несколько лет тому назад были даже на свадьбе у адвоката Раша, кажется, можно отнестись по-человечески, по-приятельски? Как время изменило местечко и людей! Соседи ссорились из-за места причала лодки; рабочие на мельнице жаловались ленсману друг на друга из-за драк и удара ножом на танцевальной вечеринке; парня, стрелявшего куропаток

где-то далеко в горах, привлекли к суду за охоту в запрещенное время. Ничто не осталось таким, как было. А теперь опасность грозила и самому ленсману. Он побывал у адвоката Раша, не мог как следует отчитаться, в чем нужно было, и адвокат пригрозил ему. На что это похоже?

К сожалению, ленсман из Ура получил большинство следуемых банку аукционных сумм и сам их истратил. Так-то обстояло дело, он был конченный человек. У него имелось еще много крупных взысканий, оставшихся от прежних времен, но так как он не обладал когтями, то ничего и не получал; произведенный им в течение нескольких дней обход своего округа так же, как и вторичная посылка счетов, не дали почти никаких результатов, кроме разочарования. Перспективы были мрачны. У него был полуторагодовалый бычок, жаль было с ним расставаться сейчас, глядя на лето, но господин Хольменгро отзывчивый человек и, может быть, купит его. Две-три сотни крон будут хорошей подмогой. Кроме того, у ленсмана была великолепная лошадь, он мог обойтись другой, подешевле.

— У вас сегодня такой обиженный и кислый вид, ленсман,— шутливо говорит ему фрекес Марианна.— Что я вам сделала?

— Ничего, кроме хорошего, сегодня, как и всегда,— отвечает ленсман.

— Положительно, таким ядовитым и злым я вас никогда не видала,— продолжает шутить Марианна.— Хотя я и не давала вам отставки,— прибавляет она.

На это ленсман ничего не отвечает, а только смеется и качает головой на ее веселые выдумки.

Затем они говорят о разных вещах, и Марианна по-прежнему расположена к шуткам.

А вот скоро, наверное, приедет молодой Биллац, я и расскажу ему, чтобы он не очень на вас полагался,— говорит в свою очередь ленсман.

— Только посмейте! — грозит Марианна.— Вы хотите отнять у меня единственного жениха, на кого я могу рассчитывать.

— Что же, выйдет у вас в этом году что-нибудь? — спрашивает ленсман.

— Не знаю,— отвечала она.— А впрочем, у вас в голове только свадьба, ленсман, чтоб вам можно было прийти и ужасно напиться и кутить всю ночь. Ха-ха-ха, этакие вы с папой кутилы!

— Можно поговорить с вашим отцом?

— Это чтоб насплетничать о том, что я вам сказала? Впрочем, папа еще кислее вас; должно быть, с кем-то обручился, когда ездил в город,— он вернулся с кольцом.

— Я слышал об этом.

— Забавное кольцо, в нем даже нет камня. Я предупредила папу, что не променяю его ни на одно из моих.

— Фрекен Марианна, как вы думаете, могу я поговорить с фру Иргенс по маленькому делу?

Она быстро взглядывает на него и спрашивает:

— Что такое?

— Дело в том...— отвечает он,— да нет, ничего. Я просто хотел бы продать бычка.

Она думает о том, что он сказал, видит, что старик улыбается, но верит его улыбке только наполовину. О, Марианна вовсе не маленькая, ничего не понимающая девочка.

— Вас это выручит? — спрашивает она.

Он молчит и удивленно смотрит на нее. Когда она повторяет вопрос, он отвечает.

— Выручит ли? Да, спасибо.

— Потому что нам как раз нужен бычок,— говорит она.— Сегодня опять был разговор о том, что, может быть, придется поискать мяса в местечке. Приезжает молодой Виллац, а он всегда кого-нибудь с собой привозит, и когда они приходят обедать, то ужасно много едят. Да и вы тоже придете, лесман, и попробуете бычка,— ведь я вас знаю!

— Ха-ха, мне смешно, что вы сказали: выручит ли меня? Ему полтора года. Я мог бы подержать его до осени, но раз вам так нужно.

— Я сейчас позову фру Иргенс.

Господин Хольменгро не показывался, его не было дома почти ни для кого, он заперся наверху, в своей спальне. Ежедневно, как раньше, он совершал прогулку в свою контору на пристани, где хлопотал смотритель пристани, оттуда шел на мельницу и наблюдал за работой. Ему встречались вереницы возов с мешками муки, он не разговаривал с возчиками. Нет, он усвоил себе новую манеру — положительно, прекрасную манеру: он ни слова не говорил рабочим, а обращался со всеми своими речами к Бертелю из Сагвика, который был старшим мельником, и к Оле Иогану, которого он поставил старостой над рабочими, прибавив ему жалованья. Конечно, господин Хольменгро и с ними не очень церемонился, а отдавал

приказания в кратких словах: — Большую партию на север надо погрузить на почтовый пароход нынче вечером, не забудьте! — Мы и так подгоняем, — отвечает Бертель. — Так смотри же, чтоб дело сошло гладко, Оле Иоган, у тебя ведь есть люди! — И Оле Иоган, выросший вместе с возросшей ответственностью и прибавкой жалованья, работал за десятерых. Разумеется, он был неизмеримо глуп, но зато — сила, рабочая скотина, в заляпанной одежде, добродушный, с могучими руками. Он работал на мельнице с первого дня и знал все, как свои пять пальцев; сделавшись начальником, он еще крепче сросся с мельницей и даже по воскресеньям ходил туда и смотрел на нее с таким чувством, словно отчасти был совладельцем. «Мы», — говорил он про мельницу. «Мы подваливаем муку», — говорил он про жернова. Да, Оле Иоган, наверное, уж устроит так, что все сойдет гладко.

По уходе с мельницы господин Хольменгро отправляется прямо домой. Это была новая манера. Он словно следовал полученному от кого-то совету, чувствовалась какая-то преднамеренность, пожалуй, утомлявшая и его самого. Дорогое платье на шелковой подкладке мешало ему свободно двигаться, — чистое наказание, — а одинокие часы в спальне были ужасно мучительны. Что он мог предпринять? Стояла весна, земля опять становилась юной, все живое снова безумствовало, даже старый помещик снова чувствовал на себе это чудо. Раньше он помаленьку пошаливал и в своем собственном доме, и в чужих домах, смотря по такому, где было удобнее, и таким образом имел немало неожиданных походов, изрядное количество краденого счастья, чистейшие находки. Теперь это все миновало, новая манера связывала его.

Не подлежало ни малейшему сомнению, что господин Хольменгро пробует какой-то новый метод. Чтоб поднять среди рабочих уважение к своей особе, он решил больше с ними не смешиваться, показываться пореже, нарядно одеваться и держаться на расстоянии. Кроме того, он не снимал с пальца загадочного кольца, — авось поможет и оно. Он понимал своих рабочих, он сам по рождению принадлежал к их среде, происходил из народных низов, и отлично знал тот мир, из которого вышел. Раньше, встречаясь на дороге с одним из своих рабочих, он сейчас же думал с тайным страхом: «Поклонится он или нет?» Теперь положение улучшилось, рабочие брались за шапки. Это уж было кое-что, кольцо и новая манера подействовали, важно было вести себя умненько. А как ему отвечать

на поклонь? Может быть, и в этом отношении он следовал чьему-то совету: он будет кланяться не очень низко, почти совсем не будет кланяться, почти даже и не кивать, а только ошупает человека глазами, пройдет мимо с таким видом, как будто кто ему есть о чем подумать. По вечерам ему можно и побродить, ему незачем бояться дневного света. Некоторые предпочитают избегать дневного света, но господин Хольменгро был не из их числа. Во всяком случае, он был не прочь побродить и у себя в доме, и в чужих домах.

Внизу обозы с мукой весь день тянутся к набережной, а поздним вечером засвистел и причалил почтовый пароход. Господин Хольменгро и тут не вмешался и даже не посмотрел туда, ничего подобного. Обошлось, впрочем, и без него, смотритель пристани действовал умопомрачительно с мешками муки, он взялся командовать сам, хотя у него и имелся для таких случаев помощник. А почему смотритель пристани действовал так необычно? Этого он никому не говорил, но при отправке последних трех северных пароходов на набережную приходила фру Раш и присутствовала при погрузке, и три раза смотритель самолично давал все распоряжения. Сегодня фру Раш опять пришла, и стоило посмотреть, как долговязый смотритель носился взад-вперед по набережной, во весь голос отдавая приказания относительно мешков. Ну, что ж, у него был хороший, звучный голос, много лет тому назад он основал в Сегельфоссе певческий кружок и был сам лучшим певцом.

А фру Раш — она-то зачем приходила на набережную так поздно вечером? Она приходила встречать молодого Виллаца, на случай его приезда, вот такое у нее было дело. Кроме нее никто его не встречал, никто из Хольмсефов уже не пользовался почетом в Сегельфоссе, нынче все были одинаково велики и одинаково малы. Правда, был господин Хольменгро, но больше никто, да и господин Хольменгро был уже не тот, что прежде. Когда фру Раш стояла на набережной в ожидании последнего Хольмсена, она казалась словно крошечным островом, затерянным в море, словно и не существовала для других детей. У людей было о чем подумать, кроме нее и ее дела. А тут как раз вышел последний номер «Сегельфосской газеты», в нем была широковещательная статья о пасторе Л. Лассене, и статью приписывали адвокату Рапу, потому что она была замечательно составлена; о ней-то в данный момент и разговаривали в народе. Пастор Л. Лассен, светоч

Сегельфосса, начал проникать и к соседке нашей, Швеции, известность его простирается на все страны, он несомненно будет епископом. А здесь, в Сегельфоссе, живут его престарелые, почтенные родители и следят по газетам за своим знаменитым сыном. Замечательно составлено, никому, кроме адвоката Раша, так не сделать,— в представлении очень многих он был несомненно единственным. А в заключении говорилось, что господину Теодору Иенсену из Буа не мешало бы иметь конкурента в его торговле.

Золотую мысль посеял этими словами адвокат Раш.

А жена его, фру Раш, стыдно сказать, стояла и прислушивалась к голосу зрителя пристани, а сама глядела на пароход, выискивая молодого Виллаца, и маленькая головка ее была полна только этим. И вот молодой Виллац сошел, наконец, на берег, так-таки и сошел действительно, молодой. В сером костюме и на вид совсем обыкновенный. Ну, разумеется, он был богатый и изящный господин, всегда придававший значение своей наружности, и потому лакированные башмаки его были с острыми носками, а жемчужина в галстук с лиловатым отливом, а не белая, из тех, что делаются из эмали; чемоданы его тоже были прямо-таки желтые сокровища, иначе нельзя сказать; но ходил он, как все прочие люди, и сказал фру Раш «здравствуйте!» — снял перчатку и поклонился.

Это был не торжественный въезд, он не возбудил никакого особого внимания, как было бы при встрече его покойного отца после долгого отсутствия. Молодой Виллац — ну, что ж, счастливчик, под мышкой палка с золотым набалдашником, палка-то еще наследственная драгоценность; ну а дальше? И все-таки он был человек известный в стране. Натянув опять хорошенько перчатку, он сказал стоявшему поодаль Юлию: — Здравствуй, Юлий! — И Юлию это было отнюдь не неприятно: — С приездом! — ответил Юлий и поклонился перчатке. Но молодой Виллац сейчас же обернулся опять к фру Раш, и заговорил с ней, и стал подшучивать.

— Наконец-то вы приехали, — сказала она, — мы ждали вас с каждым пароходом.

— Спасибо, — дорогая фру Христина, — ответил он, — поистине, вы единственная верная душа на свете.

— Будь не так поздно, — сказала она, — мы пошли бы сначала к нам, и вы выпили бы хоть чашку чаю; отчего вы приехали так поздно?

— Поздно? — спросил он с очаровательной шутливостью. — Я прихожу к вам, Христина, в этот поздний час,

я прихожу к моей старой возлюбленной и шепчу:пусти меня! Такие вещи нельзя ведь делать перед завтраком. Пойдемте, я пойду к вам!

— А ваши вещи? — говорит она.

— За ними присмотрит начальник пристани.

— Да, но у нас... Раш, наверное, лег спать.

— Тем лучше, мы пойдем на кухню.

Значит, никак от него не отделаться.

Но тут появился Мартин-работник с лошадейю и тележкой для багажа. И те двое пошли: фру Раш, простодушная и простоволосая дама в шали, и Виллац Хольмсен из поместья Сегельфосс, музыкант и холостяк, человек, приехавший на пароходе навестить свое родное поместье. Торжественного въезда не было.

Народ стоял на набережной и разговаривал, муку грузили по пятнадцати мешков за раз, но смотритель пристани уж выдохся, голос его замолк, потому что фру Раш ушла. Ларс Мануэльсен ходил взад-вперед и говорил о своем сыне, о статье в «Сегельфосской газете», каждое слово в ней — сушая правда, все, наверное, помнят, кто такой Лассен и кто родители Лассена.

— Это приехал Виллац, — говорил Юлий, — я с ним здоровался.

— Да, это Виллац, — отвечают люди. — Он похож на отца, он не носит бороды, но выше ростом.

— Он приблизительно моего роста, — говорит Юлий.

— Лассен много толще любого из вас, — говорит Ларс Мануэльсен, — вы все против него — все равно, что ничего.

Ларс Мануэльсен расхаживал взад-вперед, полный единственной мыслью: «Виллац Хольмсен приехал нынче вечером, но много есть коммивояжеров, у которых в кармане побольше денег, чем у него. Что, я лгу? Музыкантишка, шелкопер и пустозвон. Другое дело, Лассен. Вот здесь он играл ребенком, люди знали его — Ларс, эти дороги носили его, на эти острова и шхеры смотрели его глаза. Еще цела изба, в которой он жил ребенком, его отец и мать до сих пор ютятся в ней. Ах, и чудно же думать, чего достиг Лассен!»

Пароход ушел, наступила ночь. На набережной стояло десять ящиков, адресованных Перу из Буа, но Теодор не показывался. Наверное, это пришли всеенные товары, но Теодор не являлся, потому что ящиков было десять, а не сто.

Юлий встретил приказчика Корнелиуса и сказал:

— Гребни-то пришли, десять ящиков.

— Скотина! — с досадой ответил Корнелиус.

Но в этот поздний ночной час господин Хольменгро вышел-таки из дома. Конечно, у него, как и у всех, была потребность света и солнца, и вечером, когда все были на набережной, а дороги опустели, он удрал. Бог весть, откуда он возвращался, но шел он по направлению к дому. Солнце светило.

ГЛАВА VII

Стояла великолепная погода, весенние работы благополучно кончились, поля и луга зеленели, — самая хорошая погода для роста, теплая и с дождем. Большие лужайки в Сегельфоссе и сад со старыми деревьями, окружающие леса и барские постройки, дышали изобилием и пышностью. Чего могли еще пожелать люди!

Молодой Виллац никого не привез с собой, но он и один заменял целое общество, и трудно поверить, насколько оживленное стало в большом поместье с приездом владельца. Взять хотя бы обед, — что готовить на обед? В Сегельфоссе всегда было пропасть прислуги, и сейчас ее было не меньше, кормили ее до отвала, полагались и кровати для спанья, и большие горницы, где можно было разойтись вовсю; и что же, люди точно сошли с ума и только и думали теперь о том, что будет господин Хольмсен кушать и пить! Он кушал и пил, что подадут, и никогда не говорил по этому поводу ни слова, не вмешивался в это: времена теперь не такие, чтоб пировать, — говорил он. В детстве у него была на конюшне верховая лошадь, и маленький Готфред с телеграфа убирал и чистил ее; теперь у него уже не было верховой лошади, да он и не хотел ее иметь. «Надо поскорее становиться взрослым», — говорил он. Вот как дьявольски он стал рассудителен! Когда же Мартин-работник услышал о затруднениях в доме насчет кушанья и предложил в запрещенное время настрелять дичи к столу господина Хольмсена, он получил ошеломляющий ответ: «Стреляй, стреляй! А я сейчас же донесу на тебя, понял!»

Так что нельзя сказать, чтоб хозяин имения Сегельфосс очень уж чванился. Но тем лучше. Не успел он приехать домой, как все его полюбили, он жил потихоньку и не вмешивался во всякую мелочь, но умел и сказать так, что не поздоровится. Сила у него была поразительная, косцы опомниться не могли, когда однажды возились с огромной гранитной глыбой, и он неожиданно помог им.

— Благодарим за подмогу! — сказал Мартин-работник, как бы извиняясь. Он обратил внимание на руки молодого Виллаца, — предплечья у него были длинные, а суставы железные.

Молодой Виллац отправился с визитом к господину Хольменгро и был принят с большой сердечностью. Он не видел господина Хольменгро несколько лет и в первую минуту поразился уже начавшей сказываться в нем старостью, — глаза его посветлели, и голова поникла. Старик выразил неподдельную радость, все его добродушное, заурядное лицо оживилось, он приветствовал гостя самым любезным образом. Неужели он так обрадовался? Он усадил гостя в удобное кресло и позвонил. Ну, конечно же, он был рад! Ведь молодой человек пришел к нему первому, знаменитый музыкант, как о нем писали газеты, молодой Виллац, сын лейтенанта, пришел к нему первому! Он пошел не к адвокату Рашу, или к пастору Ландмарку, а пошел сначала к королю, как и следовало.

— Я позволил себе распорядиться, чтобы ваш рояль поставили на моей пристани до вашего приезда, — сказал он.

— Благодарю вас, это вышло великолепно, — ответил Виллац.

— И теперь вам остается только сказать, где вы хотите его поставить, и я сейчас же отряжу полсотни своих рабочих, чтобы осторожно перенесли туда. Я полагаю — на кирпичный завод?

— Благодарю вас тысячу раз, — ответил Виллац. — Все здесь изменилось, но ваша любезность осталась та же, — сказал он. И молодой Виллац, конечно, не подумал, что эта «полсотня рабочих» была простым хвастовством, — у господина Хольменгро давно уже не было полсотни рабочих.

Вошла фру Иргенс, господин Хольменгро стал было напоминать гостю, кто такая фру Иргенс, но это оказалось излишним, привет гостя был полон галантности и свидетельствовал о том, что он отлично помнит фру Иргенс. И она была очень довольна, что надела некоторые вещицы из своей гранатовой парюры. Она принесла вина и печенья, того самого знаменитого печенья, что таяло во рту.

— Я хотел пойти встретить вас на набережной, — сказал господин Хольменгро, — и Марианна тоже собиралась, мы даже послали человека последить, когда покажется парокход, но он пришел слишком поздно.

— Это было бы чересчур!

— Нет, это было бы не чересчур, — серьезным тоном возразил господин Хольменгро.

- Фрекен Марианна дома?
- Она не наверху, фру Иргенс?
- Я сейчас посмотрю.

— Не беспокойтесь, фрекен! — крикнул ей вдогонку молодой Виллац. — Мы с фрекен ведь не такие далекие знакомые, мы часто встречались за эти годы.

— Марианна писала. Вы были так любезны, что ходили с ней в театры и концерты.

- А Феликс в Мексике?

— Да, Феликс в Мексике. Он моряк, два раза побывал в Европе, один раз был в Киле. Но домой не приезжал. Теперь он сам командует судном.

— Это хорошо. Я не очень разбираюсь в таких делах, но, по-видимому, это хорошая карьера? При его молодости?

- О, да. Очень хорошая.

— А вот наш брат не делает никакой карьеры, — сказал молодой Виллац.

— Вы достигли славы, — ответил господин Хольменгро. — Недаром же про вас пишут в газетах.

Молодой Виллац устало улыбается и говорит:

— Это ничего не значит. Годы уходят за годами, а я все при старом. Кстати, господин Хольменгро, я совсем чист перед вами? У вас нет ко мне никаких претензий?

— Нет, у меня нет к вам никаких претензий... к сожалению, — отвечает господин Хольменгро и улыбается.

— Слава богу! — говорит молодой Виллац и тоже улыбается.

— Между прочим, вам совершенно не нужно было мне платить, — замечает господин Хольменгро, весь благожелательство. И, бог знает, не начало ли уже на него действовать выпитое вино, потому что он прибавил: — Во всяком случае, до тех пор, пока у меня не начались бы серьезные стеснения в деньгах.

Молодой Виллац ответил:

— Тогда мне пришлось бы, конечно, ждать очень долго. Нет, лучше было это урегулировать. А теперь вот в чем дело, господин Хольменгро, я ничего не понимаю в лесном деле. Могу я опять произвести порубку в своем лесу?

Господин Хольменгро с минуту думает и отвечает как специалист:

— Я полагаю, что вы можете вырубить определенные возрастные группы. Лес стоял нетронутым еще со времен вашего отца.

— Было бы очень недурно, если б это оказалось возможным.

— Я с удовольствием готов осмотреть ваш лес и скажу вам, что вы можете вырубить осенью.

— А сейчас нельзя?

— Сейчас? Нет. Осенью и зимой.

— Так,— сказал молодой Виллац.— Да, это неожиданное препятствие. Ведь может случиться, что я не останусь здесь на осень и зиму.

— Для дела это ничего не значит. Лес стоит на месте, его рубят, продают и сдают. Но даже и насчет последнего вопроса, относительно которого нет никакой спешки — насчет денег, так и их можно получить сейчас же, если угодно. Так обстоит дело с торговлей лесом. Если бы кто-нибудь из соседних лесовладельцев обратился ко мне за деньгами, я дал бы ему, сколько бы он ни запросил. До такой степени выгодно сейчас лесное дело.

Молодой Виллац взглянул на господина Хольменгро и проник в его хитрость. Господин Хольменгро прибавил:

— Впрочем, деньги он мог бы получить, где угодно, например, в здешнем банке. Я основал в Сегельфоссе маленький банк и поставил во главе его адвоката Раша; денег в нем теперь порядочно. Всем этим я хочу сказать только то, что вам нет надобности лично находиться на месте, если вы занимаетесь рубкой леса. Но, в таком случае, к осени мы опять лишимся вас, Виллац?

— Не знаю. Да, наверное, я уеду. Я работаю над одной вещью, но не знаю, удастся ли мне ее кончить и здесь. Я никак не могу ее кончить.

— Вы простите, что я называю вас — Виллац.

— Я вам за это очень благодарен.

— Я знал вашего отца и вашу мать, знал вас самого маленьким и молодым человеком, когда вы вернулись из Англии.

— Вы мне подарили тогда верховую лошадь.

— Я? Ах, да, гнедую кобылку,— вы еще помните? Да, с тех пор вы пережили совсем другие впечатления. Вы хотите здесь работать? Не забывайте нас, навещайте нас. Мы живем не так роскошно, как у вас в Сегельфоссе, но мы будем очень рады вас видеть.

Мужчины чокнулись и опять выпили. Не было никакого сомнения в том, что господин Хольменгро растроган. Старик долго молчал и теперь испытывал потребность выговориться. Он был изысканно любезен, маленькая бравада относительно полусотни рабочих и учрежденного им банка заставила его быть затем гораздо скромнее, и он больше не хвастался. Бедный король в своем дорогом

платье, бедный фантазер, у него был весьма поношенный, пришибленный вид, и молодой Виллац невольно вспомнил торжественный въезд его в Сегельфосс много лет тому назад, когда господина Хольменгро окружала золотистая дымка поклонения. Что произошло с тех пор? Ничего, ни он сам, ни другие не могли бы указать ни на что определенное. Но сказка кончилась.

— Вчера утром ко мне пришел человек и хотел заплатить мне какие-то деньги,— сказал молодой Виллац.— Иенсен, Теодор Иенсен, Теодор из Буа, он стал совсем взрослым. Пришел сегодня рано утром.

Господин Хольменгро изобразил не своим лице удивление.

— Он сушил рыбу на моих горах и желал мне за это заплатить. Сказал, будто должен мне за шесть лет!

— Вот как! О, да этот милейший Теодор совсем не так глуп,— сказал господин Хольменгро.

— Я спросил его, испортил он как-нибудь мои горы, не изрыл ли их? Оказывается, нет. Ну, в таком случае, по-моему, мне за них ничего и не причитается.

— Разумеется,— согласился господин Хольменгро.— Но вообще здесь принято платить аренду за горы, и Теодор об этом вспомнил.

— Он желал также купить землю. Сказал, что у него нет ни пяди земли, лавка его, пекарня и еще что-то стоят на вашей земле, сарай его отец выстроил на моей, а у него нет ни пяди, так нельзя ли купить сколько-нибудь? Я сказал, что подумаю. Но видите ли, господин Хольменгро, мне не хочется продавать землю.

— Пусть он больше не приходит надоедать вам с такими вещами, этот Теодор. Я скажу ему.

— Нет, ничего. Он, впрочем, показался мне славным и дельным человеком. Он рассказал, что адвокат Раш хочет насадить здесь конкурентов в его торговле, но тогда всем не будет из-за чего работать. Поэтому он задумал купить земли и берег, чтоб не допустить конкуренции.

Господин Хольменгро снисходительно улыбнулся.

— На это у него не хватит силенки,— сказал он.— Тут милейший Теодор слишком уж занесся. Но ход его мыслей верен. Здесь не будет приличного заработка даже и для двоих.

Вошла Марианна и поздоровалась. Мужчины встали, и молодой Виллац шагнул к ней навстречу; можно было предположить кое-что побольше обыкновенной встречи, но ничего не вышло. Молодые люди были коротко знакомы,

говорили друг другу «ты», как в детстве, болтали спокойно и по-приятельски; смуглая тоненькая девушка была в белом платье, и Виллац сказал, что она — гвоздика в серебряном графинчике. Все посмеялись над этим сравнением.— В серебряном водочном графинчике,— сказала Марианна.

— Ты приехал один? — спросила она.— Разве ты без компании?

— Должен тебе сказать,— ответил он,— что я один стою целой компании. Но, впрочем, немного попозже приедет Антон Кольдевин.

— Мы купили быка, которого вы должны съесть.

— Господин Хольменгро, ваша дочь всегда приспосабливает меня к какой-нибудь каторжной работе. Обычно-венно моя обязанность — барабанить для нее на рояли.

Господин Хольменгро только усмехнулся им обоим, усмехнулся детям.

Она заговорила о мелких домашних проишествиях:

— Можешь поверить, здесь все идет, как полагается, десять цыплят у одной наседки, и только одиннадцатое яйцо оказалось испорченным.— Она все больше и больше переходила на местное наречие и не обращала внимания на выбор выражений. Был ли это ее жаргон, или особый прием? Она сказала отцу: — Наконец-то я сейчас дала курам корм, который должна была дать еще вчера! — Потом обернулась в Виллацу и спросила: — Не хочешь ли фруктов?

— По-моему, и так хорошо.

— Да, но немножко фруктов? Тогда фру Иргенс принесет их в серебряной вазе, это для нее великая минута. Да, папа, сегодня она опять плакала из-за ключа. Надо тебе знать, Виллац, что у фру Иргенс пропал маленький ключик от кладовой, и она мучается из-за него до смерти.

Фрекен Марианна позвонила и приказала подать фруктов.

— А ведь у нас здесь будет театр,— сказал Виллац.— Этот же самый молодой Теодор рассказал мне, что он строит театр. Он извинился, что строит его не моей земле.

— Да, уж этот Теодор! — сказал господин Хольменгро.— Совершенно верно, он расширяет сарай и перестраивает его под какое-то увеселительное заведение. И сарай стоит на вашей земле.

— Он стал настоящим мужчиной, этот Теодор; я помню его, когда он был вот такой маленький и ничего собой не представлял.

— В некоторых отношениях он толковый парень. И ему, по-видимому, везет.

— Кстати, почему он не может купить земли и таким образом вытеснить конкуренцию? Ведь земля здесь недо-рога.

— О, да. Конечно, это зависит от того, сколько вы за нее возьмете, но вообще-то — это дорогая земля, ценная земля. Цены на земельные участки в Сегельфоссе стали теперь совсем не те, что прежде.

— Этим я обязан вам, господин Хольменгро. Но, впрочем, я не собираюсь продавать землю.

Появились фрукты, виноград и яблоки в серебряной вазе. Марианна сказала лукаво:

— Фру Иргенс, папа говорит, чтобы вы не беспокоились о ключе.

— Нет, нет, — уклончиво отозвалась фру Иргенс.

— Ну, да, потому что это же — всего-навсего ключ.

Но это было уж чересчур, и фру Иргенс ответила:

— Ваш папа все время говорит, чтобы я не беспокоилась, но я все равно не могу не огорчаться. А самое главное, я никак не могу сообразить и придумать, куда бы он мог деваться!

Все засмеялись, невольно улыбнулась и сама фру Иргенс, а господин Хольменгро стал утешать ее, говоря, что здесь нет воров.

— Не шутите с этим! — предостерегающе проговорила она. — К тому же вы чересчур добры. Есть люди, которых я не потерпела бы в людской, если б только могла прогнать их.

— Кого же именно?

— Прежде всего Конрада.

Господин Хольменгро неприятно взволновался. Конрад — это поденщик, тот самый молодчик, которого нельзя рассчитывать без того, чтоб мельничные рабочие сейчас же не вступились за него и не устроили стачку. Господин Хольменгро сказал:

— Да ведь это было уж давно.

— Похоже, что опять начинается то же.

Господин Хольменгро заставил себя сделать веселое лицо, но он был явно встревожен. Некоторое время он сидел задумавшись, потом попросил извинить его на минутку и вышел из комнаты следом за фру Иргенс.

Молодые люди остались одни.

Молодой Виллац хотел было сказать что-то, полагая, что может продолжать, как и раньше, безразличную болтовню, но ошибся, — Марианна спросила сразу, и лицо ее побледнело:

— Почему ты ничего не писал мне? Значит ли это, что ты негодяй?

Возможно, что он и ожидал кое-чего в этом роде, но, во всяком случае, не сразу нашел подходящий ответ и изумленно взглянул на нее.

— Не горячись,— сказал он, вставая.— Я держался твоего последнего слова.

— Какого слова? Что я не хочу?

— Да, что ты не хочешь.

— Ах, так! — сказала она.— Но ты сам виноват, что я так сказала, ты меня замучил.

— А ты виновата, что я тебя мучил, ты играла со мной.

— Нет, ты лжешь! — прошипела она, и индейское лицо ее запылало яростью.

Молодой Виллац улыбнулся и сказал:

— Очень трудно подделывать чувства. Ты не взбешена ни на иоту!

Марианна овладела собой. Ну, нет, она-то была как нельзя, более искренней, но он охладил ее своими словами.

— Нет, я взбешена,— сказала она,— страшно взбешена! Я этого не заслужила. Что из того, что я это сказала? Молчи, пожалуйста! Я даже не помню, как его звали, а ты сам помнишь? Что это был за человек?

— Ты подразумеваешь: последний?

— Разве их много? О, Боже мой, перестань! Ты невыносим, я никогда не играла, никогда не играла. Да и ты не из таких, чтобы тобой стоило вертеть.

— В этом, пожалуй, есть доля истины,— ответил он.

Но, конечно, он этого не думал. Молодой Виллац чувствовал, очевидно, свою силу и был оскорблен. Он представлял собою плохую подделку под англичанина, она же была резка и несдержанна.

— Ты ревнивей всякой женщины,— сказала она.— Я сижу на иголках, когда бываю с тобой. Я спрашиваю, что это был за человек?

Молодой Виллац повел плечом. Однако он начал понимать, что, пожалуй, обидел ее, может быть, раньше он не считал этого таким серьезным, ему захотелось сгладить, он опять сел и сказал:

— Не стоит больше об этом говорить.

— Говорить! Что я сделала, скажи мне?

— Сделала? Ах, не будем же преувеличивать. Ты делаешь многое. Собираешь целый кружок мужчин тем, что болтаешь с ними и смотришь на них. Что же, по-твоему, ты могла бы сделать еще? Я должен был поймать тебя на чем-нибудь более явном?

— Я разговариваю и смотрю. Разве я виновата, что я такая?

— Ну, да, конечно, ты не виновата,— ответил он гораздо мягче.— Но если ты знаешь, что так всемогуща, тебе незачем ежеминутно совершать чудеса.

— Попробую перестать,— сказала она и улыбнулась, как будто раскаиваясь.

— Потому что ты портишь мне многое.

— Я попробую перестать, Виллац.

— Да, попробуй! — сказал он.

В общем, любовная ссора и больше ничего, обычная и сладкая размолвка, окончившаяся миром, как и раньше. Они несомненно привыкли к борьбе, примирение наступало быстро. В конце концов, Марианна заявила, что она сама ревнива:

— Это несчастье,— сказала она,— когда ты сидишь и играешь для всех этих женщин, и они не отрывают от тебя глаз и пылают к тебе. Да, да, я видела! Но тут уж и я должна что-нибудь выкинуть!

Нерасчетливая и ясная речь. Они взяли рюмки, и, когда пили, молодой Виллац не поднял глаз, фрекен же Марианна следила за ним и метнула на него взглядом из-за края рюмки, словно молнией из-под почти закрытых век. В волосах ее торчал маленький серебряный гребень, совсем не модный, да и гребень-то был всего с двумя зубцами и совсем крошечный, развилка на ножке, змеиный язычок.

Виллац ушел, обещав вскоре прийти. Он отправился на телеграфную станцию повидаться с начальником телеграфа. Маленький Готфред тоже жил там, Готфред был славный и милый парень, телеграфист на станции, но Борсен интересовал Виллаца побольше. Он немножко поседел и весь был какой-то потертый, как всегда, но, нечего сказать, мужчина очень видный, и плечи у него остались те же. Виолончель стояла в углу. Борсен как раз собирался уходить, но снял шляпу и придвинул Виллацу стул.

— Не взыщите за то, что простой деревянный стул,— сказал он. По-видимому, он ничего не имел против визита, был вежлив, разговорчив, обходителен: деревянные стулья не так уж плохи, а эти не хуже других деревянных стульев. Они трещат, но прочны, эти рассохлись вот уже несколько лет на моей памяти, и на них страшно садиться; но они как будто не становятся хуже, и совсем негодными к употреблению они никогда не делаются. Они занятные.— Я следил за вашей карьерой с величайшим интересом,

господин Хольмсен. Я не очень разбираюсь в вашем искусстве, но много читал про вас.

— Вы сами занимаетесь искусством. Я хорошо помню, как прелестно вы играли на виолончели.

Борсен бросил взгляд на свой инструмент, но сейчас же отвернулся.

— Вы намерены основаться здесь на лето?

— Да. И вы должны прийти ко мне, мы поиграем.

Я теперь играю немножко лучше, чем раньше.

— Спасибо, с удовольствием.

— И вы тоже, Готфред.

Готфред был скромен и поблагодарил только почтительным поклоном. Он все время не садился.

— Позвольте мне взглянуть на вашу виолончель,— сказал Виллац. Он подошел, постучал по ней и искренне похвалил: — Да ведь это же чудесный инструмент!

— Она для меня все равно, что маленький человечек,— сказал Борсен и заговорил о своей виолончели с любовью и нежностью.

— Телеграфист и виолончель! — сказал он, иронизируя над собой.— Но и это тоже ничего. Сидим мы здесь вдвоем и коротаем время. А наш милый Готфред верит в нас, слушает и восхищается нами. Так мы и сидим здесь и чувствуем себя великими. Большая Медведица поет для туманности Ориона.— Поля и луга у вас в нынешнем году в чудесном состоянии, господин Хольмсен.

Только тут Виллац заметил, что Борсен стал как-то странно говорить. Он ответил, что да, урожай обещает быть хорошим.

— Но следовало бы вашему отцу верхом на своем коне дополнить ландшафт.

— Да.

Борсен сидел и играл рассеянно ножом,— это был кинжал с фокусом, лезвие его при ударе уходило вовнутрь и пряталось в рукоятке. Заметив, что это нервирует Виллаца, он положил нож на стол.

— Да, а ваша матушка,— сказал он.— Она великолепно ездил верхом. Вообще, вот было времечко! В первые годы, что я сюда приехал — это было время! А вы уже виделись с пастором Ландмарком?

— Нет еще.

— Я вспомнил про него. Он немножко не такой, как все здешние люди, и навлекает на себя осуждение общины. А по-моему интересно, что он столярничает. Механик и пастор, хорошенькая смесь. А впрочем, разве мы знаем,

для чего нас смешивают? Аристократы умерли. Не более чем сто лет тому назад на них еще смотрели снизу вверх, теперь их не видать, они невидимы в наших краях, сострадательным людям приходится их выискивать. Не знаю, может быть миру от этого хорошо, меня это не касается; а может быть, Спартака опять придется усмирять. Это невозможно. Усмирять еще раз. Миру, может быть, станет от этого лучше. Но пастор Ландмарк, во всяком случае,— курьезная смесь и обязан жизнью какому-нибудь вулканическому извержению.

Молодой Виллац поднялся, собираясь уходить:

— Ну, так я вас жду к себе. Я живу большей частью на кирпичном заводе.

Борсен пошел за ним и, выходя, надел шляпу.

— Пойду к своим рабочим,— сказал он, улыбаясь.— Теодор Иенсен строит театр, а я его архитектор.— Он попрощался и твердой поступью, в раскачку, зашагал по тропинке к сараю.

Когда молодой Виллац проходил мимо Буа, Теодор вынырнул из-за угла, видимо желая поговорить с ним. Сегодня это было уже во второй раз, и Виллац хотел пройти мимо. Он с изумлением прочитал новую вывеску на лавке: «П. Иенсен, мануфактура и колониальные товары». Буквы были золотые.

— Не смею вас просить зайти в нашу лавочку,— сказал Теодор.— Чтоб у вас составилось впечатление о нашем деле.— Виллац чуть сдвинул брови и посмотрел на часы.

— В другой раз,— сказал он.

— Я хочу сказать, тогда вы сами убедились бы, насколько нам необходимо расшириться, а у нас нет земли, негде построиться. Если бы вы были так добры заглянуть хотя бы только с лестницы.

— Не знаю, зачем мне это делать,— недовольно проговорил Виллац, но уступил и пошел за ним.

А Теодор не дремал, пользовался случаем. Один вид молодого господина Хольмсена рядом с ним,— возвратившийся помещик рядом с ним,— стоил дорого, и никогда это не было так кстати, как именно теперь. Пришли новые товары, о дорогие, прекрасные товары, а места для них не было, они лежали кучами повсюду, и лавка была полна народа. Как же Теодору не думать о том, чтоб расширить помещение?

— Будьте любезны взглянуть, например, сюда,— говорил Теодор, указывая.— Мануфактурное отделение, где находятся ткани и дамские наряды,— ни одного вершка свободного!

Люди повернулись к двери и смотрели на них; не мог же Виллац стоять и коситься внутрь в дверную щель, пришлось ему войти, и Теодор расчистил ему дорогу, откинул перед ним доску прилавка, но нет, спасибо! — Виллац остановился у двери.

Конечно, лавка сегодня была чересчур мала, весенние товары заполнили весь дом, он был набит народом, и деньги звенели у всех в руках. Женщины рылись в новых тканях и готовых блузках, женщины и девушки, одинаково увлеченные нездоровым возбуждением от всей этой роскоши, кисеи и так называемых швейцарских шелков. Это была оргия, праздник служанок. Молодец Теодор, он знал свое дело и приобщал Сегельфосс к миру! Что это за вещи в десяти картонных коробках на полке? Гребни для волос, гребни вкалывать в прическу, украшения из целлулоида по доступным ценам. А вот сумочки с позолоченными цепочками вместо ручек, и желтые туфли из имитации кожи, с большими бронзовыми пряжками, наперекос охватывающими подъем. Воротнички? Как же, целый ассортимент и всевозможных цветов: Мария Стюарт и Сэтерсдален. Конфирмант покупает письменный прибор, на нем много серебра, подставку для перьев поддерживают ангелочки; на чернильнице пластинка достаточной величины, чтоб выгравировать фамилию владельца.

Мужчины по старой привычке толпятся у бывшей винной стойки. Вино и пиво теперь запрещены, но не запрещено покупать керосин и одеколон для питья, равным образом не запрещалось встретить у винной стойки загадочного дружка и налить ему стопочку из горлышка бутылки, спрятанной в кармане. Но, разумеется, не сравнивать с тем, что было в старину, не было даже места, чтоб как следует расположиться, такое множество набралось баб!

Торговля гребнями идет вовсю. Был один гребень с красной бусинкой, один-единственный гребень с бусинкой, он попал с другими, замешался в них случайно, приказчик Корнелиус выделяет его в особую категорию.

— Зачем это?

— Сколько он стоит?

— Он останется за мной.

Хотя молодой Теодор находится в знатном обществе, он своего не упускает и кричит:

— Этот гребень с красным камнем не продается! Молодой Виллац поворачивает голову. Кто эта рыженькая? Он узнает Давердану, в ранней его юности она служила

на усадьбе, она самая, с чудесными медно-красными волосами. Она увлечена своими покупками:

— А мне нельзя купить этот гребень? — говорит она.

— На что он тебе? — спрашивает Корнелиус. — Ведь это желтый гребень, он тебе не годится.

— Да, но он с красным камнем!

Корнелиус откладывает гребень в сторону.

Значит, Теодор собирает его кому-нибудь подарить? — спрашивает Давердана напрямик.

Теодор слышит и передумывает. Может быть, ему хочется показать, что он крупный коммерсант и одним гребнем больше или меньше — для него ничего не значит, а, может быть, он боится языка Даверданы, который подчас мог становиться таким же необузданным, как и язык Юлия.

Так Давердана и купила гребень с красной бусинкой.

— Наша фирма делает все, чтоб удовлетворить покупателей, — говорит Теодор, обращаясь к Виллацу. — Мы находим, что, в конце концов, это самый правильный способ. И потому я очень прошу вас подумать на досуге о моей просьбе. Из того, что вы видите, ясно, что адвокат Раш по одной только злобе хочет насадить здесь конкурентов и разорить нашу цветущую торговлю.

Теодор продолжал говорить. Несколько молодых девушек рассматривали желтое манто из швейцарского шелка, с черными бантами и золотыми кистями, — чудо, мечта! Оно было тонкое и воздушное, словно неземное, пальто из папиросной бумаги, и все-таки предназначалось для ношения на улице. Одна девушка, повязанная шерстяным платком от зубной боли, соблазнилась сокровищем, но остальные отговаривали ее, — манто такое дорогое, да и, по правде сказать, слишком уж благородное, — что ты выдумываешь, Флорина! Но у Флорины, очевидно, было свое на уме, а что касается до цены, так она не стала скрывать, что у нее хватит средств не только на это, но и на кое-что подороже. Она отняла платок ото рта и спросила:

— Для чего это пальто?

Приказчик Корнелиус, поднял ее на смех. Для чего употребляется пальто? Понятно, что не ночная кофта, желтое шелковое пальто носят летом, когда зимнее пальто становится слишком теплым, а это пальто самого модного фасона, какие нынче носят дамы.

— Она не об этом спрашивает, — вмешался Теодор со всей хозяйской жесткостью. — Я полагаю, ты интересуешься, когда тебе можно надевать это пальто, Флорина? Это пальто ты можешь надевать во всякое время, за исклю-

чением причастия, когда полагается быть в черном. Можно надевать его куда угодно. Это прекрасная вещь, и в здешних местах такое пальто будет у тебя одной.— Зайдите же, пожалуйста, за прилавок, господин Хольмсен!

Наконец-то мужчины у стойки заметили Виллаца, один за другим стали подходить и здороваться, пожимая ему руку; Виллацу пришлось остаться, и хорошо, что он был в перчатках. Заговорили об его отце: замечательный человек, на свой манер, немножко горяч, но отходчивый, настоящий барин. Они частенько бывали у лейтенанта, и он отвечал им и кивал головой. Он ездил верхом, лошадь у него была гнедая со светлой гривой. А его мать, барыня, та пела в церкви, такого пения после нее не доводилось слышать. Нечего сказать, имение Сегельфосс было такое место, куда всегда можно было обратиться за помощью. А теперь, вот, бог прибрал их обоих!..

— Если бы нам получить полоску земли от лавки до сарая, мы были бы спасены,— говорил Теодор.

— А теперь они лежат в могилах,— продолжали мужчины.— Да, так-то вот оно с нами грешными! А вы сами как, хорошо ли вам живется?

Виллац кивнул мужчинам и ушел. Он не сказал почти ни одного слова. Он пошел на кирпичный завод, в две комнатки, которые должны были приютить его на время усердной работы, большой работы,— о, он вовсе не намеревался отличаться перед самим собой безделием с утра до вечера, он решил серьезно трудиться. Рояль уже привезли, сундуки с платьем разобрала Полина, записные книжки остались с прошлого раза, когда он приезжал домой, все было в порядке. На стенах висели ружья и револьверы, удочки и ножи, редкие музыкальные инструменты, флейты, окарины, раковины с дырками, ракушки для игры. Он выложил из сундуков остальное, и, между прочим, щеточки для ногтей, три дюжины шелковых носков и прочие предметы, какие не стыдно надеть. Несколько вещей из оникса пошли на стол, флакон из желтого льдистого хрустала, не подходивший к ним, пришлось отставить на этажерку. Он привез также рисовальные принадлежности, кисти и тюбики с красками, а почему бы и нет? Его мать тоже занималась живописью, так уж полагалось. В конце концов, великолепно придумано, что всякая вещь должна находиться на своем месте; он займет эти две комнаты, две отцовские комнаты, и будет играть, компоновать и работать, как сумасшедший. И если не выйдет здесь, так, значит, не выйдет нигде!

Что-то приключилось со старухой Катриной из Сагвика. В один прекрасный день она замечает, что пара чужих сорок, прилетев к ее старым березам, начинает над ними кружиться, переговаривается между собой, выбирает одну березу и принимается поспешно вить на ней гнездо. А время было уж позднее, все прочие сороки давным-давно уж построили гнезда и вывели птенцов,— что бы это значило? Катрина знала, что сороки Ларса Мануэльсена остались бесприютными, и все их птенцы перебиты,— стало быть, она никак не могла отказать в приюте на одной из своих берез паре бездомных сорок, независимо от того, к какой национальности принадлежала эта пара. Она поговорила об этом с Бертелем, но Бертель отнесся без всякого восхищения к тому, чтоб принимать чужих сорок, тем более, что у них и раньше было гнездо, на этом же месте. Однако, когда новые сороки с невероятной быстротой сели на яйца, вывели птенцов и расположились здесь прочно, он немножко смягчился.

Да, у них в Сагвике и раньше было сорочье гнездо. Здесь сорок никто не тревожил, и одна и та же пара ежегодно возвращалась в гнездо, выбрасывала сгнившие ветки, выстилала гнездо новыми и устраивалась на оседлое житье. Пока дети были дома, пока маленький Готфред и маленькая Полина жили дома, вокруг избы целыми днями раздавалось сорочье стрекотание и царило веселое оживление, а осенью, когда кололи скотину, забавно было смотреть, как сороки прыгали по земле, путаясь в какой-нибудь длинной кишке.

Но это было в давно прошедшие времена.

— Но приютить у себя сорок Ларса Мануэльсена — это дело совсем иное,— сказал Бертель,— и я очень подумываю, не пойти ли мне и не прикончить ли их нынче же ночью,— добавил он.

Катрина, по обыкновению шившая мешки на мельницу, с ужасом взглянула на Бертеля. Должно быть, она редко видала его таким мрачным, потому что ей вдруг стало жутко.

— А куда девалось мыло? — спросил Бертель все так же мрачно.

Катрине пришлось признаться, что она забыла сегодня мыло на речке, а когда пошла за ним, оно пропало.

— Гм! — буркнул Бертель, чуть не скрипя зубами.— Сороки утащили! Нечего сказать, славных сорок ты заполучила во двор, и я сейчас же разыщу нож.

— Господи, что ты городишь! — воскликнула Катрина.

— Горожу? Придешь домой с работы, хочешь помыться, так нет же, — сороки утащили мыло! — Бертель грозно наступает на свою старую жену и говорит: — Скажи, пожалуйста, зачем это сороке понадобилось мыло? Ест она его, что ли? Или кладет под голову, вместо подушки?

И так как Бертель был не аппетитный красавчик, а бородатый и лохматый мужчина, то слова эти в его устах звучали необычайно серьезно. Но жена, должно быть, догадалась, в чем дело, она опять взглянула на него, и когда Бертель поспешил от нее отвернуться, она вдруг совсем уверилась. Тогда она расхохоталась, хохотала так, что слезы выступили на глазах, и все повторяла: подушка, подушка!

Бертель громко отхаркнулся, вышел из горницы и довольно долго не возвращался.

Ох, господи, какой забавник и шутник стал Бертель с годами, и все оттого, что он имел постоянную работу, зарабатывал, сколько требовалось, и жизнь для него посветлела. А самое главное — оттого, что дети вышли удачные, такие, как и следовало быть.

Вот зашла домой Полина, поболтать часок, окончив работу в поместье. Она рассказала, что нынче вечером в сарае танцы, но сарай теперь уж не сарай, а театр и место для увеселений, а там-то и происходят танцы. Теодор-лавочник решил ознаменовать окончание нового дома веселием, даже поднял на доме флаг и махал флагом целый день. Разумеется, мать рассказала историю с мылом, и теперь Бертель сам над ней посмеялся.

Когда Полина через час возвращалась в имение, ей повстречались девушки и парни, шедшие на танцы, среди них была Флорина, в желтом шелковом манто, и с нею Нильс из Вельта; а Марсилию, которая опять служила у господина Хольменгро, провожал поденщик Конрад.

— А ты не пойдешь танцевать, Полина? — спросили они.

— Нет, ответила Полина.

— Ну, понятно, ты ведь теперь стала важная, — захохотали те. — Думаешь, верно, что Виллац и часа без тебя не проживет? — прибавили они.

Ничего подобного, Виллац сам просил ее пойти, когда узнал про танцы, но фру Раш сказала, что это он, конечно, пошутил, потому что как же можно ходить на какие-то плясы, когда служишь экономкой в имении Сегельфосс, и имеешь такого брата, как Готфред, который занимает ответственное место на телеграфе.

— Другое дело, если ты пойдешь, когда там будет театр,— сказала фру Раш.— Ведь у нас тут будет театр, и туда тебе можно пойти, потому что пойдет и Раш, и я, и доктор Муус, и кто-нибудь из пасторской усадьбы, а может быть, пойдет и сам господин Виллац.

Фру Раш еще наставляла свою бывшую ученицу по многим вопросам, и молоденькой Полине это шло на пользу.

Всю ночь народ бродил взад-вперед по большой дороге. Виллац из своей спальни видел, как они ходили, парни и девушки, влюбленные и соперники, все шли на танцы или возвращались с танцев. По временам он слышал крики, бесцеремонные возгласы в пространство, и Виллац не помнил, чтобы ему приходилось слышать крики на дороге при жизни отца и матери. Утром Мартин-работник рассказал про драку между парнями, рабочими с мельницы, один из них пустил в ход камень. Девушку звали Палестина. Послали за ленсманом, и он приехал; ленсман из Ура, запутавшийся в долгах старик, у которого и без того было о чем подумать, приехал установить мир, заставить парней помириться, а так как ему не хотелось беспокоить людей среди ночи и просить ночлега, он до утра пробыл на ногах. Потом пошел к адвокату.

Он принес все деньги, сколько удалось наскрести, должен же адвокат внять голосу рассудка и не требовать невозможного, ведь ленсман был на его свадьбе. Он снял фуражку с золотым кантом и остался стоять. И адвокат Раш стал сговорчивее при виде столь большого смирения, адвокат Раш не был бесчеловечным, когда чувствовал, что в нем признают начальство.

— Я приму этот платеж,— сказал он,— но на остальное вы должны будете заплатить проценты.

— Хорошо,— сказал ленсман.

— Но вместе в тем, должен вам сказать, что банк — не я, и банк дает вам отсрочку на один месяц.

— Благодарю вас.

Толстый адвокат Раш выпирал из кресла, а ленсман стоял. Но адвокат Раш ценил смирение, когда встречал его, поэтому он стал и сказал:

— Пойдемте, закусим немножечко, ленсман, вам надо подкрепиться.

Мужчины пошли завтракать. Подкрепившись же и выпив кофе, ленсман осмелел, спокойно беседовал с фру и был вежливо разговорчив.

— Когда я был на вашей свадьбе...— сказал он.

Что это, он позабыл про свое смирение? Адвокат Раш сказал:

— Кстати, а что, если окружной казначей нагрянет к вам с ревизией, ленсман, что тогда? Вы подумали об этом?

А ленсман вряд ли думал о чем ином все последнее время, но все-таки вздрогнул от грубого вопроса; фру тоже, она даже налила ленсману еще чашку кофе.

— Окружной казначей уж бывал у меня раньше, — сказал он.

— И находил кассу в порядке? А, в таком случае остается надеяться, что и на этот раз у него не найдется никаких замечаний, — сказал адвокат, задетый за живое. — Как уже сказано, банк может ждать месяц, не дольше.

Но старый ленсман из Ура был действительно немножко легкомысленный господин, в этом адвокат Раш был прав. Он прекрасно мог бы держать свою кассу в порядке, если б лучше понимал, в чем его назначение, и был живодером. Много дворов и домов из тех, мимо которых он проходил утром, возвращаясь домой, он хорошо знал; там жили его должники, он был уверен, что они могли бы привести ему овцу или козу в счет долга, если б захотели, но они никогда не хотели. Вот такой пошел теперь народ! Люди всегда бывали ему должны, но раньше они не могли платить, а теперь не хотели. Вот уже много лет, как господин Хольменгро и мельница ввели в округ работу и наличные деньги, но деньги были ужасно ветхие, они уходили на разные товары, исчезали за прилавком у Пера из Буа. Молодежь тратила вдвое больше против прежнего на платье, наряды и папиросы и старалась быть современной в самых скверных смыслах, развитие же характера ни на шаг не подвигалось вперед. А что до того, чтоб выколотить больше из своей должности? Господи, ленсман отлично мог бы драть шкуры и зарабатывать деньги. Он мог бы то и дело штрафовать Теодора-лавочника за незаконную торговлю вином и забирать себе половину добычи.

Ленсман заходит в избу к Нильсу-сапожнику, Нильс-сапожник был дома, делать ему было нечего, и он проводил время или на табуретке, или на кровати. Время заразило, должно быть, и старого сапожника. Весной на него свалились с неба большие деньги, и если бы не явился Готфред-телеграфист и не отобрал у него часть этих денег, Нильс-сапожник сидел бы теперь в Америке и кушал бы мясо по три раза в день. Так же, как обернулось дело, из поездки в Америку ничего не вышло, и Нильс-сапожник

только стал покупать себе еды побольше и повкуснее, чтоб поддержать свои старые кости. Бедняге это было очень нужно. Но на беду соблазн захватил и его, ему требовалось все больше вкусной еды, одно тянуло за собой другое, в конце концов и он стал пить кофе гораздо крепче, чем раньше, и консервы тоже полюбил заграничный сын из Буа. Дошло до настоящего помешательства, сапожник совсем завертелся, он не понимал, как это мог жить раньше без консервов. Ведь можно было получить свежие мясные фрикадельки в разгаре лета, и блестящие жестянки с рыбой. Нильс-сапожник мог бы и сам отплыть на несколько сот метров в бухту и наловить рыбы, трески, камбалы, морских окуней; но — чего ради? В Буа можно купить рыбные консервы, лакомые кусочки, приобретшие тонкий вкус оттого, что полежали, потомились в масле. Нильс-сапожник прожил две человеческие жизни: одну в нужде и лишениях, другую — в полной удовлетворенности, теперь время настигло его своими новыми благами и превратило его в нечто совсем неподобное. Дошло до того, что он уже не жарил кофе сам, а покупал жареный кофе в пакетиках, а какого черта ему сидеть и молоть себе кофе, когда можно купить молотый кофе в серебряной бумажке с множеством печатей! Вот до чего дошло, он занесся прямо в облака. Нильс-сапожник храбро тратил свои деньги.

— Я хотел позвать тебя поработать у нас,— сказал ленсман,— мы скоро останемся совсем босые.

— В Буа есть сейчас всякая обувь,— ответил Нильс,— и она гораздо лучше.

— Ну, я старинного склада и больше верю в твои башмаки,— сказал ленсман.

— Я стал плохо видеть,— ответил Нильс.

— То, что надо сделать у меня, ты разглядишь.

— Нет.

Ленсман с изумлением посмотрел на Нильса-сапожника и не узнал его. По своему обыкновению, он стал действовать осторожно, говорил ласково, убедительно, но сапожник уклонялся. В конце концов он сказал:

— А кроме того, я сижу в кассе и продаю билеты в театр.

На том и расстались. Нильс-сапожник уперся. Получив это поручение, эту должность от Теодора из Буа, он решил, что занят на вечные времена и не смеет расточать свои силы ни на что другое. Нынче ночью он сидел в будке и продавал билеты на танцы, и дело шло чудесно, люди приходили к нему, как ко всякому купцу, он

отпускал билеты и принимал деньги, а утром, когда он сдавал выручку, Теодор бросил на стол две кроны и сказал: — Пожалуйста, — это тебе за работу! И приходи опять, когда у нас будет настоящий театр! — сказал Теодор.

С этими словами Теодор пошел по своим делам, потому что был очень занят.

Оказалось, что с театром пропасть хлопот. Объявление уже было напечатано два раза в «Сегельфосской газете» и завтра должно было появиться еще раз, печатные плакаты были прибиты в лавке, флаг на здании театра развевался днем и ночью, напечатали красные, зеленые и белые билеты. Теодор агитировал всюю.

— Будут играть «Ядовитую змею в пещере», замечательная пьеса, сочинения не то Бьернсена, не то кого-то другого, но, во всяком случае, тоже очень замечательного писателя. А ядовитая змея — не думайте, что это и правда ядовитая змея; ядовитая змея это такой же человек, как мы с тобой. Я построил театр для того, чтоб мы увидели эту пьесу, все должны купить билеты, нельзя же нам быть хуже других городов.

Но недоставало заметочки в газете. Объявление было, а заметки — нет. Теодор пошел к редактору и спросил, что это значит? И разве его фирма не дает постоянные объявления в газету? Редактор был приперт к стене.

— Заметка, да, конечно, она будет. — Но ее не было. Теодор опять пошел в газету. — Заметка, — да, да, но адвокат еще не успел написать ее.

— Разве ее должен писать адвокат?

— Да. И он хотел дождаться приезда актеров.

Больше ничего не добился Теодор, он столкнулся с высшей силой. Он мог выbranить редактора, мог отнять у газеты на веки вечные объявления о своей фирме, все напрасно; оказалось, что «Сегельфосская газета», принадлежит адвокату Рашу. Черт бы побрал почтенного адвоката!

Теодор закусил губы, а он был молод, зубы у него были все целы, так что куснул он крепко. Он отнюдь не растерялся, в сметливой голове его моментально блеснула идея: он знал кое-что про девушку, повязанную шерстяным платком, и девушка не прятала имевшуюся у нее сберегательную книжку, только вот — откуда она у нее? Но торопиться некуда, подождем, пусть адвокат Раш напишет свою заметку или не напишет, это дело его!

В конце концов, у Теодора вовсе и не так много стояло на карте, он сдал свое помещение и получит за него плату, он кредитор, пользующийся всеми правами и

преимуществами. Да и ради дальнейших представлений лучше жить с газетой в ладу.

Приехали актеры, Теодор помахал флагом, труппа поселилась в гостинице Ларсена, семь человек, стариков и молодежи: примадонна, актрепренер, кассир. Юлий решил показать знатной компании, что она попала к порядочным людям, в знаменитый дом. Он вставил портрет своего брата Л. Лассена в рамку и повесил в зале. Вышло так удачно, что этот портрет как раз появился в издании Лютеровского Общества, и пастор сейчас же послал один экземпляр домой, своим дорогим родственникам, с собственноручной надписью. И вот он висел теперь за стеклом и в рамке, пастор был в скюртуке и воротничке, актеры увидели его, а Ларс Мануэльсен, принесший их вещи, сейчас же выпалил:

— Это мой сын! — сказал он.

— Иисусе! — воскликнул один из актеров. Остальные, услышав это восклицание, переглянулись и укусили себя за пальцы, а дамы забрали в рот носовые платки. Они вели себя очень странно.

— Вы ведь слышали про Лассена? — спросил Ларс Мануэльсен.

— Да, — как же, естественно, кто же не слышал про Лассена? Лассен!

Актеры пошли гулять. И людям на земле, и птичкам в небе удивительно было смотреть на их походку, их платье и манеры. У мужчин шляпы были на шнурочке, они шли и напевали от сытых желудков и веселого настроения, начальник был в полосатом красно-зеленом галстуке, бросавшем на него сияющие светкости и барства. Один из них запел про «его волосатую лапу и сизый от водки нос».

Неслыханная жизнерадостность и больше ничего, пышность, барство и радость. Ошеломленный Сегельфосс тарачил глаза на блестящее общество.

Но примадонна была не красивее прочих двух дам, отнюдь нет, — красивее всех была высокая темноволосая девушка с низким голосом, она выступала с гордостью королевы и немножко приподняв платье, а на юбке внизу была шелковая отделка для того, чтоб шуршало на ходу. По афише ее звали фрекен Сибилла Энгель, наверное, ее артистический псевдоним. Она была красивее всех. Но зато примадонна имела перевес в другом, в отношении искусства, а это главное. На ней была огромная шляпа, и звали ее фру Лидия, и только. Но, впрочем, примадонна тоже была высокая и с красивой фигурой.

Прежде всего они пожелали отправиться в Буа. Это там живет господин Теодор Иенсен? Благодарствуйте. Они вошли в лавку с целой охапкой благодарностей. Так как их было очень много, Теодор не мог впустить всех за прилавок, а только снял шляпу и был необыкновенно вежлив. Они не могли достаточно выразить ему свою благодарность,— ну, а как складываются дела, все ли в порядке? Вот как, не было заметки? А газета выйдет сегодня вечером? Господи, значит им надо поспешить к адвокату, к проклятому адвокату, его зовут Раш, так кажется? Примадонна и антрепренер отправились вместе. Тем временем остальная группа пошла в театр, сопровождаемая Теодором.

— Вы вывесили флаг? Почему это вы вывесили флаг?— спросили они.

— Для вас, в честь события,— ответил Теодор.

— Ах, сумеем ли мы когда-нибудь как следует отблагодарить вас! — сказали они.

Теодор-лавочник совсем не растерялся, он был толковый малый и произвел хорошее впечатление. Может быть, банты на его туфлях сделали свое, но еще больше сделала большая золотая булавка в его галстук.— Наша рыба — вон там, видите,— говорил он.

— Ах, боже мой, опять у меня подвернулась нога! — воскликнула фрекен Сибилла Энгель и схватила за руку Теодора.— Позвольте мне взять вас под руку,— попросила она.

Теодор, конечно, никогда не водил под руку дам и не знал, как за это взяться, но госпожа Сибилла сделала гримаску и сейчас же все наладила.

— Здесь очень плохая дорога,— сказал он, извиняясь,— но скоро будет лучше.

— Это виновата не дорога,— сказала Сибилла.

Остальные ее не жалели, а улыбались слегка, словно фрекен Сибилла подвертывала себе ногу и хваталась за чью-нибудь руку всякий раз, когда это бывало кстати.

Они вошли в коридор. Нильс-сапожник сидел в будке. Должно быть, проверял, все ли в исправности.

— Это билетер,— сказал Теодор.— Только представленные не сегодня, Нильс.

— Знаю. Я пришел просто так.

— Билеты у тебя в шкафу? Смотри, чтоб кто-нибудь сюда не забрался,— сказал Теодор важно и заботливо.— Ты понял, Нильс: красные — полторы кроны, зеленые — по одной, а белые — по семьдесят пять эре. И смотри, не отрывай по два за раз.

Вошли в залу.

— Великолепно! — сказали актеры.— Сцена достаточно высока, скамейки, стены, положительно все, как нужно. Вам это устраивали сведущие люди, господин Иенсен! А за сценой две комнаты,—боже мой, господин Иенсен, вы — очаровательный человек, я буду любить вас до самой смерти,— две комнаты, нам почти везде приходится довольствоваться занавеской, а вы не знаете, что значит для меня две комнаты! Лампы, рефлектора, не понимаю, откуда вы все это достали! Да, если мы не сыграем здесь, то не можем играть нигде!

Все были того же мнения, и Теодор возгордился. Да, он уж постарался и обдумал все наилучшим образом. Единственно, вот здесь, с боков, как это называется...

— Кулисы?

— Кулисы. Этого я не нашел. У нас их маловато, кулисы-то. Но мы достанем. И вообще, декораций. Очень удачно, что ваша пьеса вся происходит в одной комнате.

— Вы знаете пьесу?

Теодор улыбнулся:

— Немножко знаю. Ядовитая змея — не змея, а человек.

— Да, но пьеса не вся происходит в одной комнате,— говорит один из актеров; его звали Макс. Должно быть, его раздражало, что фрекен Сибилла так долго нуждается в поддержке чужой руки.

Теодор поправляется:

— Я не знаю пьесы. Это Борсен мне сказал. А может быть, он сказал, что кое-что происходит и вне комнаты, на дороге. У нас имеется такой вот фон. Вот этот!

— Этот-то, да он великолепен и отлично подходит. А кто это — Борсен?

— Начальник телеграфа.

— У нас есть с собой кое-какие декорации,— сказал тот же актер Макс.— Справимся здесь, как и в других местах.— Естественно, он ревновал.

На обратном пути встретили антрепренера и примадонну. Они переговорили с адвокатом Рашем, и он обещал напомнить редактору про заметку в газете. Редактирует «Сегельфосскую газету» вовсе не сам адвокат, но он попросит редактора.

Актеры вернулись все вместе в театр, к подмосткам, к своему миру, чтоб показать все великолепии двоим, еще не видевшим его. Теодор тоже пошел с ними. Он услышал те же похвалы и ответил: — Я старался сделать как можно

лучше.— Но двое, ходивших к адвокату, вдруг спросили про Борсена: не следует ли им пойти поблагодарить и Борсена, поблагодарить начальника станции.

— Отчего же,— ответил Теодор.— Борсена? Да, он был очень полезен, Теодор не всегда располагал временем, чтоб присутствовать на работах.

И ехидный же адвокат!

Пошли домой, но Теодор уже не пыжился. Остальные это заметили, о, заметили очень хорошо, они проводили господина Теодора до самого дома, зашли даже в лавку, чтоб задобрить его, и фрекен Сибилла все висела на его руке и держалась за нее очень крепко. А в лавке стоял сам начальник станции и покупал на несколько скиллингов табаку — сам Борсен стоял в лавке.

Вот как полна жизнь случайностей и роковых событий.

Он стоял у прилавка, выуживая из житейского кармана мелочь, и собирался расплачиваться, когда Теодор сказал.

— Артисты хотят поблагодарить вас, Борсен.

Борсен медленно повернул свои плечи и увидел всю компанию, семеро незнакомых жизнерадостных людей в шляпах на шнурке и шелестящих шелковых нарядах. Антрепренер выступил вперед и заговорил, за ним подошли две дамы поважнее, и наконец, мужчины, все говорили, улыбались, жали ему руки. Теодор ушел к себе в контору. И вдруг самая незаметная из актрис, та, что еще не вымолвила ни слова, говорит:

— Но где же мы возьмем рояль?

Гробовое молчание. Про рояль забыли.

— Ты права, Клара! — сказал антрепренер. А Борсену он пояснил: — Это фрекен Клара, пианистка.

Борсен взглянул на нее, на ее молодое, оживленное лицо и длинные музыкальные руки с голубыми жилками.

— Слишком мало было времени,— сказал Борсен.— Но господин Теодор непременно достанет рояль к будущему вашему приезду. За это можно поручиться.

По лицу фрекен Клары промелькнула тень. Она была сумасбродная особа и не соображала того, что она — самое незначительное лицо в группе. Борсен заговорил с ней о музыке и узнал, с кем она играла и что одно время она даже получала стипендию. Вот как! Впрочем, она в то же время и актриса, а даже по преимуществу актриса.

Теодор вышел из комнаты, махая письмом, которое держал в руке. Славный малый, если б не был так дурачлив! Вот-вот, расхаживает с письмом в руке, чтоб все видели, что оно адресовано фрекен Марианне Холь-

менгро; уж не хочет ли он импонировать труппе? Но фамилия Хольменгро была, видимо, знакома труппе не лучше фамилии Лассен; опять заговорили о рояли, и Теодор обещал достать к следующему разу, после чего труппа удалилась.

— Снеси это письмо! — сказал Теодор своему подручному мальчишке. Но импонировать было некому, и он обратился к Борсену, как бы извиняясь: — Вас, может быть, удивляет, что я пишу фрекен Хольменгро, но это совсем не письмо, ничего подобного, я просто посылаю ей билет в театр.

— Вы посылаете ей билет в театр? — спрашивает Борсен, улыбаясь.

— Да. Так делается и в других городах, кавалер посылает даме билет в театр.

Пожалел ли Борсен откровенную ребячливость парня, или нет, но он не улыбнулся ему прямо в лицо, а посоветовал отказаться от своего плана. Если господин Хольменгро и его дочь захотят посмотреть представление, они пошлют прислугу купить билет. Средств у них хватит, как вы полагаете?

— Это понятно, красный билет, на самое лучшее место, — сказал Теодор. — Я думаю, мне можно послать.

— Не делайте этого! — сказал Борсен. — А если уж вам непременно хочется сделать что-нибудь в этом смысле, подойдите сами с несколькими билетами, попросите ее выйти в переднюю и изложите свое дело. Скажите фрекен Марианне, что вам очень важно видеть господ Хольменгро на открытии вашего театра и что вы будете благодарны, если принесенные билеты пригодятся.

— Сколько же мне взять с собой билетов? — спросил Теодор.

— Я не знаю, сколько их там, народу. Возьмите с полдюжины.

— Этого я не сделаю! — сказал Теодор.

Тогда Борсен опять улыбнулся и сказал:

— Правильно. Вы бутон, розовый бутон.

После репетиции на следующий день актеры были свободны до вечера, гуляли, показываясь при свете дня, и разогли любопытство публики к пьесе. Они услышали, что Виллац Хольмсен живет в имении, вон в том доме с колоннами, барин с незнакомой фамилией. Пианистка встрепнулась:

— Хольмсен? Композитор? Господи, боже мой, музыкант Хольмсен! Подумайте, вдруг я увижу его.

— Подумайте, вдруг я тоже увижу его! — сказал артист Макс, остряк и насмешник, но завидовавший все и каждому.

— Ты обезьяна, Макс! — сказала фрекен Клара. — Виллац Хольмсен написал пропасть вещей, кантату, песни, танцы, он — большой музыкант, — сказала она, хвастаясь уже тем, что знает его имя.

Но, разумеется, фрекен Клара не могла разговаривать о музыке с обезьяной, что она прямо и высказала, и отправилась на телеграф к Борсену.

Вот как капризна жизнь.

А Борсен был импозантен и очень благосклонен. Он встал и предложил даме табурет.

— У нас есть и диван, — сказал он, — но он завален бумагами. Мы освободим его к следующему вашему посещению.

Они заговорили о Виллаце Хольмсене, — совершенно верно, это он живет здесь, приехал на родину работать и, конечно, очень занят.

— Подумайте, вдруг он придет сегодня вечером!

— У вас есть роль, фрекен?

— Господи, да ведь же я — ядовитая змея!

— А я думала, что вы — ангел?

— Нет. На это у нас имеется примадонна.

— Но у вас глаза! Божественный карат в глазах.

— Вы находите? — проговорила фрекен Клара и повеселела.

Особенно много в первый раз они не поговорили, а маленький Готфред был прямо ни к чему и держался на заднем плане. Но фрекен Клара, должно быть, очень скоро заметила выпренную речь телеграфиста и дала ему понять, что очень ее ценит.

— Какая у вас замечательная речь, господин Борсен; божественный карат, — такого в нашей среде не услышишь! А, может быть, это производит такое впечатление оттого, что вы сами такой большой и представительный, не знаю.

Удивительно, — милейший телеграфист, живший кое-как, пьянствовавший, философствовавший и взиравший свысока на жизнь, не проявлял теперь никакого высокомерия, а явно находился под действием похвал фрекен Клары. Кончилось тем, что он стал говорить с ней о своей музыке, взял виолончель и заиграл. Никогда еще Борсен не вел себя так глупо, и маленький Готфред дивился на него. И что это была за игра? Маленький Готфред видел, что глаза Борсена закрываются все больше и больше по

мере того, как глаза фрекен Клары становятся все шире и шире, а рот ее совсем раскрылся.

— Грудные звуки, — сказал Борсен, кончив. — Эта старая виолончель — совсем как человек.

— Да ведь это же чудесно! — тихо проговорила фрекен Клара. — Я поражена! — еще много наговорила в таком же роде перед тем как уйти, она, видимо, была взволнована и говорила искренно.

Когда она ушла, Готфред проговорил в ужасе:

— Мне кажется, вы влюблены в нее?

Борсен отрекся и сказал:

— Я так редко вижу дам. А она, кроме того, музыкальна, дружище!

И вот в белую летнюю ночь «Ядовитая змея в пещере» появилась на сцене. Это было крупное событие, газета напечатала приличную заметку, люди сбежались из местечка и сел, и Нильс-сапожник продал все свои билеты, приказчик Корнелиус, поставленный вместо швейцара, вернул ему пятьдесят штук, он продал и те. Были адвокат Раш с женой, окружной врач Муус и двое из пасторской усадьбы; от Хольменгро пришли фру Иргенс и вся прислуга, немного позже явилась и Марианна с Виллацом Хольмсеном. Никто не усидел дома. Но неограниченная продажа билетов привела к тому, что помещение оказалось переполненным, и окружной врач Муус стал ворчать насчет вентиляции: — Первое условие в театре — воздух! — громко сказал он Теодору-лавочнику. Представление же прошло неожиданно удачно, оказалось, что в пьесе хуже всего было заглавие, содержание было интересное и захватывающее, публика зыбыла, что сидит в духоте и копотит. Разумеется, окружной врач Муус не хлопал, не хлопал и адвокат Раш, но аплодисменты все-таки были очень сильные, они начинались чаще всего с хлопка Марианны и ее кавалера и распространялись дальше Теодором, владельцем театра, счастливчиком. Под конец окружной врач Муус даже стал сердиться на аплодисменты, обернулся в сторону зала и сказал: — Тише! — В общем вечер вышел замечательный.

А что было лучше всего — пьеса, или примадонна, или артист Макс? Примадонна. Когда окружной врач Муус один раз одобрительно кивнул, смотря на ее игру, и шепнул пару слов, адвокат сейчас же поддержал его и проговорил вслух: — Это выше всего, что я видел по части актерского искусства! — Впрочем, мужчинам, конечно, больше понравилась фрекен Сибилла, да это и не удивительно, — она

была прелесть как хороша. Но если бы начальник телеграфа Борсен присутствовал на представлении, на него произвела бы сильное впечатление ядовитая змея — фрекен Клара: она обнаруживала по временам поразительную глубину наивной развращенности, никто не мог хорошенько разобрать ее, она говорила чудовищно грубые слова чистыми устами. Она выворачивала вещи на изнанку и играла на этой изнанке,— несомненно, у нее был талант невменяемости, нуто. Но начальник телеграфа Борсен не присутствовал на представлении и не видел ее, говорили, что у него экстренное дежурство.

На следующий день труппа была опять свободна до вечера, до прихода почтового парохода, шедшего на север,— актеры ехали дальше на север, туда, где все кончается. Этот день начальник телеграфа Борсен употребил на посещение фрекен Клары в гостинице Ларсена; его попросили пройти к ней в комнату, хотя он и явился неожиданно, попросили садиться, хотя дамочка была одна и лежала в постели.

Что такое? А где же другие? Опять случайность? Было одиннадцать часов, и все ушли гулять. Чтоб сгладить своеобразность положения, он решил изобразить человека, выдавшего всякие виды,— маленькая вольность ничего не значит,— и заговорил по-товарищески:

— Если бы вы уже встали и были хоть сколько-нибудь одеты, мы пошли бы с вами к Виллацу Хольмсену.

— Что вы говорите! — воскликнула она, приподнимаясь.

— Я заручился его разрешением. То есть он почтительно просит вас пожаловать.

— Вы были на представлении? — спросила она.

— Нет.

— Мне хотелось спросить ваше мнение о нем.

— Я слышал, успех был огромный.

— Не для меня.

— Для всех вас.

— Нет, я не пойду к Виллацу Хольмсену,— сказала она вдруг.

— У него есть рояль, вы можете поиграть с ним,— сказать Борсен.— А если вам угодно, я могу взять с собой виолончель. А Хольмсен играет все, что угодно.

— Вот в том-то и дело! — сказала фрекен Клара.— Играет все, играет восхитительно! Когда я услышала вас, я была побеждена. Я знала это и раньше, знаю и теперь: я не могу играть. Нет, я не пойду к Виллацу Хольмсену.

Молчание. «Уж не пьяна ли она?» — подумал Борсен; «но, во всяком случае, вот она лежит предо мной, молодая

и страстная!» — подумал он. Это не имело связи с предыдущим, но он сказал:

— Мне нет надобности делать усилия, чтоб признать вас бесподобной.

— У вас нет к этому причин, — ответила она. — Вы не были на представлении. Я больше не буду играть на рояли, но я займусь другой игрой. Ах, боже мой, когда-нибудь я покажу вам, покажу всем...

— Так вы полагаете, что ваше призвание в этом?

— Да! — И она вдруг приподнялась и встала на колени на кровати. — Ведь вы же ни на минуту не сомневаетесь, что я не могу заткнуть за пояс фру Лидию?

— Нет.

— Нет. Публика восхищается, что она умеет бледнеть: это не штука бледнеть, я берусь сделаться совсем серой. Да, в этом мое призвание. Я буду играть так, что разобью их всех в пух и прах. Мне ничего не стоило бы выйти замуж, но зачем? Он богат и молод и хочет на мне жениться; но ведь это надо с ума сойти! Раньше я должна показать миру, на что я способна. Но еще раньше мне надо ехать в Норвегию и брэнчать на рояли, — прибавила она огорченно.

Телеграфист Борсен не знал, что подумать, но нет, она не пьяна, это он понимал, как специалист.

— Значит, вы еще не попали на свою настоящую полочку, фрекен? — спросил он шутливо.

— Нет. То есть да! Но мое время еще не настало. Нет, я попала на свою настоящую полочку; а вы вот нет? Вы играете на виолончели, как бог.

И опять похвала этой женщины подействовала на телеграфиста и была ему приятна.

— У меня отличный инструмент, — сказал он. — Вы не хотите навестить Виллаца Хольмсена?

— Нет, я отказываюсь. Я буду играть только в комедиях.

— Хм. Смотрите, как бы вы не сыграли самой себе фарс.

— Нет. Но послушайте-ка, — сказала она. — Вы-то сами не играете себе фарс? Вы сидите здесь, посылаете телеграммы, играете на виолончели и удовлетворены?

— Ну, да, фрекен!

— Извините, не примите дурно то, что я скажу. С вами интересно разговаривать, господин Борсен. Но ведь вы же должны здесь изнывать. Вы улыбаетесь, но, конечно же, вы изнываете от тоски.

— Ха-ха, вы думаете, что я похоронен, лежу в могиле? Думаете, что я жертва обстоятельств? Нет, фрекен, вы наивны. У меня нет никаких высоких стремлений потому, что все другое не выше, я живу по своей воле, она выше всего. Я не требователен, но, пока что имею все, что мне нужно,— дом, платье, еду и выпивку.

— Вы умышленно сказали — выпивку?

— Хм. Не умышленно.

— Ха-ха. Вот это-то самое и есть! Да, мне смешно, глядя на вас. А вдруг настанет день, когда у вас не будет дома, платья, еды и выпивки?

— Я приму его так же, как и другие дни. Встреть меня, Гете, в тот день, когда я рассержусь!

— Вот великолепно сказано! — с улыбкой воскликнула молодая особа.

Борсен поднялся и произнес строго:

— В последний раз, фрекен, пойдете вы к Виллацу Хольмсену и разрешите ли мне сопровождать вас?

— Я не пойду к нему. Отвернитесь немножко, я встану.

— Я уйду.

— Вы мной очень недовольны.

Борсен не упустил случая ответить высокопарно:

— В тот день, когда я буду вами недоволен, я брошусь в море! — После этого он принял такой вид, как будто больше ничего не может для нее сделать.

Фрекен Клара снова улеглась и сказала:

— Я не буду вставать.

— Это оскорбление красоты — прикрывать ее простыней,— сказал Борсен.

— Вы совсем не знаете, насколько я красива,— возразила она.— Откровенно говоря, вы находите что я поступлю очень глупо, бросив одно искусство, в котором я — ничто, и перейдя к другому, в котором я могу достигнуть многого? Вам, может быть, не хочется отвечать?

— Вот видите ли, фрекен, мне не пристало выступать оракулом и подавать людям хорошие советы. Но тут вопрос идет о том, чтоб покинуть искусство вообще.

— Да, и перейти к другому.

— Нет.

— Ах, вот как!

— Вообще покинуть искусство. А это может делать тот, кто не может ему служить.

— А разве сценическое искусство не искусство?

— Нет, это — актеры.

— В этом с вами никто не согласится.

— Да,— сказал он.

В соседней комнате заходили,— должно быть, группа вернулась домой.

— Вы не видели, как я играю комедии,— сказала Фрекен Клара.

— Нет,— сказал опять Борсен.

Фрекен Клара вдруг захохотала и проговорила:

— Нет, вы просто говорите глупости! Вы хотите, чтоб я приняла ваши слова всерьез?

— Ничего не имею против,— ответил он.

Фрекен Клара захохотала еще громче и сказала:

— Нет, это просто остроумные реплики, точь-в-точь как в пьесах. Господин Борсен, я вас еще увижу? Увижу я вас днем?

Он застал ее днем в ее комнате, она была одна, полуодета, умыта и хорошенькая. И, должно быть, между ними что-то произошло, что-то такое, чего он не ожидал, придя, и чего не понимал, уходя. Начальник телеграфа Борсен был ошеломлен и сбит с панталыку, стал веселым малым и дураком. Боже, что за состояние! Он был словно пронизан светом, шел, закинув голову в небо, и нес ее, как пустое место, как сияющее пустое место. Вот так состояние!

Когда настал вечер, он пошел на маленькое кладбище и сорвал два цветка с могилы лейтенанта Виллаца Хольмсена и его жены. Эти цветы фру Раш посадила там в горшке, чтобы порадовать молодого Виллаца, и вот Борсен сорвал их, до того он очумел. И принес цветы на набережную, и стоял там, и ждал, пока труппа не съедет на пароход и не уедет.

— Вот, пожалуйста,— сказал он Фрекен Кларе, снимая шляпу.

— Боже мой, откуда вы достали такие прелестные цветы? — спросила она.

— Я достал их на кладбище,— ответил он.

Она поняла, что он сказал правду. Она передала это другим. Актерам это пришлось по вкусу, они громко захохотали и очень оценили это.

— Не пора ли сходить на берег? — спросил артист Макс, видимо бывший не в духе.

— Нет еще,— сказал капитан.

— Вот так черт! — вскричал Макс.— Я забыл портрет Лассена,— сказал он.

— Давайте устроим так, чтобы нам опять приехать в Сегельфосс! — сказал антрепренер и примадонна.

На пароходе стоят двое пассажиров, смотрят на Борсена, и один как будто узнает его.

— Как зовут этого человека? — спрашивает он стоящих на берегу. — Ага, Борсен? — Он оборачивается к другому пассажиру и говорит: — В наших местах был Борсен, корабельщик, богатый дом. У него был сын, из которого ничего не вышло. Парень пытал свою судьбу в актерах, — писал пьесы, — на всем провалился. Уж не он ли это?

А Борсен стоял на набережной и ничего не слышал и до того очумел, что говорил совершенно искренне и не мог сказать ничего выпренного.

— Приезжайте опять на обратном пути! — то и дело повторял он.

Последнее его впечатление от фрекен Клары было, что она стояла на палубе закоптелого парохода и натягивала белые перчатки, купленные в Буа. А он думал о том, куда она на это время положила его розы.

Те розы, что добрейшая фру Раш разрешила ему похитить с украшенной ею могилы.

ГЛАВА IX

Окружной врач Муус оставался в Сегельфоссе несколько дней и решил использовать случай, чтоб нанести визит господину Хольменгро. С ним отправился и адвокат Раш.

— Это очень любезно с вашей стороны, господа! — сказал господин Хольменгро.

— Я всегда доставляю себе удовольствие пожать вам руку, когда бываю в этих местах! — сказал окружной врач Муус. — Фрекен, надеюсь, здорова?

— А, позвольте вас поздравить вот с этим! — прибавил он, указывая на перстень господина Хольменгро.

Окружной врач Муус был вполне светский человек, слова так и лились с его уст, и он умел протезировать людям и проявлять благожелательность. Адвокат Раш двигался чуточку медленнее, но был силен и положителен, настоящий мужчина. Он преклоняется перед окружным врачом и был его другом. Хуже всего было в нем то, что он так растолстел, так разъелся, у него была привычка бренчать в кармане ключами, и иногда он вынимал их и держал в руке; а пальцы, бренчавшие ключами, были такие толстые и коротенькие, прямо на удивление. Он надел обручальное кольцо на мизинец, но оно и там стало чересчур тесно, и вот уже несколько лет он ходил без

обручального кольца и, по-видимому, нимало этим не огорчался.

Он сейчас же заговорил о событии, о театре.

— А вы не были, господин Хольменгро? Напрасно. По совести, это стоило затраченных денег. Спросите доктора!

Адвокат был так заинтересован этим, потому что ему надо было написать критику для «Сегельфосской газеты», он уже написал ее.

— Хм! — сказал доктор Мусс.— Вы слышали, господин Хольменгро, о перемене, которую я намерен предпринять относительно своей скромной особы?

— Нет.

— А-а, но это не то, о чем вы думаете и что тоже, может быть, не очень далеко, это не женитьбы.

— Так что же?

— Я подал прошение о переводе.

— В самом деле? Я предпочел бы первое! — вежливо ответил господин Хольменгро.

— Ах, что до этого... у вас будет другой доктор, гораздо лучше меня.

— Мы к вам привыкли. Вот как, вы переводитесь?

— Я уж давно об этом думал; в сущности, здесь для меня не место. А тут еще пасторша, фру Ландмарк, образованная особа с сердцем и душой, совсем убедила меня. После нескольких бесед с нею я окончательно остановился на этом плане.

— Да, и я тоже в один прекрасный день переберусь на юг,— сказал адвокат, вытягивая ноги.

— И вы тоже, господин адвокат? Не обездоливайте же совсем Нордландию.

— Мы с адвокатом можем сказать, что выжили здесь свое время,— сказал доктор Муус,— не следует предъявлять к нам чрезмерные требования.— И он стал развивать эту тему с большим весом и убедительностью.

Но так как хозяин не противоречил, им пришлось говорить одним.

Иначе и не могло быть. Господа эти были чересчур самонадеянны, полагая, что доверие их польстит господину Хольменгро. Он только позвонил и предложил гостям стаканчик вина.

— А можно ли мне? — сказал адвокат.

— Ослаб винтик в животе? — спросил доктор.

— Ну, ослаб? Ничего подобного, как раз наоборот.

— В таком случае, можешь выпить стаканчик славного издания господина Хольменгро.

— Ладно, с разрешения авторитета. Нет, как это вы не были на премьере, господин Хольменгро! Я не хочу сказать, что это во всем решительно было образцовое представление, этого я, конечно, не скажу.

Но были моменты, производившие огромное впечатление.

— Да, примадонна по временам достигала громадной высоты,— сказал и доктор.

— Не правда ли? И фрекен Сибилла тоже. Эта, кроме того, была еще замечательно аппетитна. Вас не удивляет, доктор, что она могла так держаться с этим маленьким Теодором-лавочником?

— Ведь вы знаете, вкусы различны.

— Да, но в театре, и дома тоже. Это было уж чересчур!

— Мудрый кади,— сказал доктор,— у нас не у всех одинаковые формы общежития. То, что нас, здесь собравшихся, заставляет чувствовать себя хорошо в обществе друг друга, на других может действовать, как стеснение и ограничение. Вероятно, Сибилла находила в лице этого — как его? — Теодора-лавочника общество, подходящее к ее личным вкусам и социальному положению. Что же с этим поделаешь, мудрый кади?

— Да, вы правы,— сказал адвокат Раш.— Что меня удивляет, так это то, что на представлении были двое из семьи ленсмана. Ведь у него нет на это средств.

— Если говорить об этом, так несомненно найдется и еще много таких, что не имеют на это средств. У зрителя вашей пристани, господин Хольменгро, есть конторщик,— разве он располагает большими средствами? Я его знаю, видел, он женат на женщине легкого поведения, которую зовут Давердана. Эта пара сидела на первых местах.

— На первой скамейке, вместе с нами, как ни в чем не бывало! — сказал адвокат Раш и посмотрел на помещика.

— Я не принадлежу к снобам,— заметил доктор,— в силу своего положения я вынужден общаться с народом. Но я соблюдаю границу, и не только как право, но и как обязанность.

— Разумеется,— сказал господин Хольменгро.

— Неправда ли? — подхватил адвокат и оживился, услышав это заключение.— Я не знаю, что думает делать редактор «Сегельфосской газеты», но я не удивился бы, если бы он вмешался в это дело. Ведь фру Ландмарк из пасторской усадьбы и обеим ее барышням, дочерям, пришлось сидеть на второй скамейке. Что вы скажете!

Давердана на первой, с гребнем в прическе, как у настоящей дамы, и гребень-то с красным камнем. Дама да и только! Что же будет дальше?

— А дальше будет веер и лорнет,— сказал доктор.

В дверь постучали, и вошел молодой Виллац. Он, по-видимому, удивился, застав в комнате гостей, и извинился за свое вторжение, он только проводил фрекен Марианну домой.

— Вот редкий гость! — сказал господин Хольменгро и радушно протянул ему руку.— Стаканчик вина? И сегодня тоже нет? Да, правда, вы никогда не пьете утром.

— А почему не утром? — спросил доктор Муус.

— Господин Хольмсен по утрам работает.

— О, работа! — проговорил молодой Виллац.— Но помимо всего прочего мне не хочется ходить целый день с тяжелой и пустой головой.

— Тогда, наверное, вы занимаетесь какой-нибудь очень деликатной работой,— сказал доктор.

Марианна вошла в другую дверь, она тоже остановилась в удивлении при виде гостей и затворила за собой дверь спиной.

— Я позволил себе осведомиться о самочувствии фрекен,— сказал доктор Муус, протягивая ей руку,— и вот вы входите здоровая и обворожительная, как никогда! — Доктор продолжал разговор и заметил: — Деликатная работа, да, конечно. Но можно сказать, что и моя работа тоже незаурядного порядка, мне приходится иметь дело с чрезвычайно тонкими диагнозами; но стакан вина никогда не мешал мне.

— Это происходит оттого, что мы с вами здоровые люди,— сказал адвокат.— Вот вы опять в старых палестинах, господин Хольмсен.

Виллац кивнул головой и, повернувшись к Марианне, сказал:

— А мы ведь собирались сыграть эти несколько тактов?

— Да.

Доктор подхватил:

— Ах, это большая любезность с вашей стороны показать нам, чего вы достигли, господин Виллац Хольмсен.

Марианна громко расхохоталась. Ей было трудно вести себя, как полагается настоящей даме.

— Тише, не греми так ключами, господин адвокат! — сказал доктор, прислушиваясь к музыке из другой комнаты.— Впрочем, они собирались проиграть нам какие-то упражнения.

— Наверное, они играют что-нибудь, написанное господином Хольмсеном,— сказал господин Хольменгро.

— Ну, можно сказать, господин Виллац Хольмсен мог бы выбрать для этого другой случай. Ведь он прямо утащил туда фрекен Марианну. Ну, да бог с ним! А что, выходит что-нибудь из этого молодого человека?

— Мне иногда попадалась его фамилия в столичных газетах,— вставил адвокат.

— Ну, это не бог знает что. Нет, вот Лассен, пастор Лассен, наш земляк, это вот замечательный человек.

— Да.

— Великий человек! Подумайте, выдержать все экзамены, начать взрослым прямо с пустого места и выучить все языки, все науки, все, и очутиться на вершине! Вот это, можно сказать, способности!

— Его прочат в епископы.

— Разумеется. И я надеюсь, что правительство сразу же назначит его в какую-нибудь южную епархию. Лассен достаточно времени провел на севере, все свое детство и юность, вплоть до зрелого возраста. Я поражаюсь, как вы можете выдержать здесь, господин Хольменгро, когда вас к этому ничто не вынуждает.

— Ведь у меня здесь дело,— уклончиво ответил господин Хольменгро.

— Да, но все-таки! Взять, например, меня, я предпочел бы жить в городе. Деревенская жизнь хороша, но когда имеешь другие интересы, культурные интересы... Вместе с тем, я отнюдь не желал бы жить в каком-нибудь городишке. А, право же, после Христиании во всех других городах чувствуешь себя, как в деревне.

— Но вы ведь не из самой Христиании,— сказал адвокат.

Доктор Муус нахмурил брови:

— Неподалеку. Конечно, я родился на севере, как почти все дети чиновников, но потом я переселялся все дальше и дальше на юг, и в конце концов мы жили в Эстердалене. Уездные города наши были Элверум и Гамар, главным же городом нашим была Христиания. А потом — ведь и вы тоже, господин адвокат,— разве мы не жили в Христиании все наши учебные годы? Разве не там мы получили, так сказать, наше крещение? Разумеется, первые основы были заложены в нас дома, в наших просвещенных семьях, но наше развитие в смысле мировоззрения, взглядов на политику, театр, искусство, науку — все это дала нам великая Христиания. Мы — оттуда.

— Да, да, мы — оттуда.

Фру Иргенс доложила, что обед подан. Марианна и Виллац вошли в комнату. Доктор сказал:

— Да, особенно возвышенной музыкой вы нас не попотчевали, но все-таки спасибо. Могу я иметь честь? — сказал он, подставляя руку. — Или, может быть, фрекен это неприятно?

— Нет, почему?

— Мне показалось, что улыбка сбежала с ваших уст.

— Я только подавила преисполнивший меня восторг.

— Да, да, скоро вы совсем избавитесь от меня, фрекен Марианна, — говорил он, идя с нею в столовую.

— Доктор переводится, Марианна, — пояснил ей отец.

— Не может быть, доктор?

— Совершенно серьезно.

После этого Марианна смолкла, и доктор, уважая ее молчание, не хотел мешать ей. Он обратился к Виллацу и заговорил о музыке, о пении, об опере.

— Когда же у нас в стране будет постоянная опера, господин Виллац Хольмсен?

— Когда страна будет достаточно богата, — ответил Виллац. Он заметил, что, произнося его имя, доктор выговаривает его как-то особенно отчетливо, но не мог решить, делает ли это с намерением оскорбить его.

— Если вы будете так бедны, я выпишу к вам оперу на торжество открытия, — сострил адвокат.

Виллац ответил:

— Если вы будете настолько богаты.

— Вот как, на это надо большие суммы! — сказал адвокат с надменной улыбкой.

— Мне редко приходится так изысканно обедать, как у вас, господин Хольменгро, — сказал доктор.

— Совершенно согласен, — подхватил адвокат, большой любитель покушать.

— В особенности хорошо готовит фру Иргенс один салат, — фру Иргенс, как это ваш муж умер в молодых годах при таком-то салате!

Фру Иргенс поблагодарила, улыбаясь:

— Доктор находит? Очень рада! — Она тоже хорошо знала гостей и постаралась хорошенько угостить их, а, приготавливая компот из каштанов, сделала даже маленькое открытие, — правда, по ошибке, — она смешала ваниль с лимоном. Но компот приобрел совершенно новый и своеобразный вкус.

И так как фру Иргенс до некоторой степени открылась возможность поговорить, она не могла удержаться, чтоб

не обратить внимание господина Хольменгро на новую поделку одного из его рабочих:

— Сколько времени мы будем терпеть это? Положительно это заходит слишком далеко! — говорила она.

— Что такое опять случилось, фру Иргенс? — спросила Марианна.

— Да, я скажу вам, хотя раньше не хотела говорить. Несколько дней тому назад у Теодора из Буа были танцы в сарае. И вот к нам приходит парочка, Флорина, девушка, что служит у адвоката, и с ней Ниль из Вельта, они приходят и зовут с собой компанию на бал, а Флорина в желтом манто. Марсилие нашей очень захотелось пойти, но у нее не было кавалера, и хотя, правда, с ней вызвался пойти Конрад, но у него не было башмаков. И что же? Конрад идет наверх и берет пару башмаков господина Хольменгро!

— Что он сделал? — спросила Марианна.

— Наверху. В доме. Новые лакированные башмаки, которые господин Хольменгро привез из города в последнюю поездку.

Молчание. Доктор спросил:

— Кто такой Конрад?

— Один из поденщиков. Да, и пошел с горничной Марсилией на бал. Плясали до утра. Когда пришли домой, Конрад был пьян, швырнул башмаки на место в том виде, в каком они были, так они и стоят до сих пор. Хорошенький у них вид! Хотите я принесу?

— Нет, — сказал господин Хольменгро.

— Как взгляну на них, как вспомню, какие они были новенькие и блестящие, мне так и хочется... И вы думаете, что так может продолжаться?..

Адвокат предложил вычитать из заработка поденщика, пока не наберется сумма на новые башмаки. Это очень просто.

— Да, неправда ли! — коварно подхватила Марианна. — Как по-твоему, Виллац?

— Да, конечно, — сказал Виллац. — Но только не выйдет ли это похоже на то, что господин Хольменгро собирается торговать башмаками?

Все посмотрели на господина Хольменгро, а он улыбался.

— Я думаю, мы подарим ему башмаки, фру Иргенс, — сказал он.

— Да, да! — отозвалась фру Иргенс, обиженно мотнув головой. — А потом он снимет с вешалки платье. Но так ведь всегда бывает, это не в первый раз.

— Не стоит из-за этого волноваться, фру Иргенс,— равнодушно сказал господин Хольменгро.

Но господин Хольменгро, видимо, очень хорошо владел собой, что мог сидеть совершенно равнодушно, исполнять роль хозяина и чокаться с гостями. Когда фру Иргенс упомянула о башмаках, рот его сейчас же покривился, как будто его что-то укололо, может быть, ему стало больно, что даже и прекрасные башмаки, дорогие масонские башмаки, и костюм на шелковой подкладке не внушают уже уважения.

Адвокат находил, что с поденщиком необходимо что-нибудь сделать.

— Я должен согласиться с фру Иргенс,— сказал он.— В общем, этот народ сядет нам на голову, если мы не примем мер.

Помещик отлично знал, что «Сегельфосская газета» постоянно нападала на него и что адвокат это допускал. Но он ничем не подал виду, что это ему известно.

— Еще стаканчик, господин адвокат? Не будем портить себе жизнь из-за пустяков.

Марианна чокнулась с отцом и произнесла следующую речь:

— Папа, в качестве твоих детей, я хочу сказать тебе, что ты лучше всех на свете!

Заговорили о возрастающем злоупотреблении флагами в Сегельфоссе; адвокат снова взял слово:

— У нас теперь махают флагами каждый божий день, неизвестно зачем. Сегодня появился флаг еще на одном доме — у нового фотографа, который только что приехал. У кого только теперь нет флага? — Адвокат пересчитал по своей привычке на пальцах: восемь штук, девять штук — прямо красно от флагов! Куда ни шло, если мы, так сказать, рожденные и выросшие с флагами, поднимаем флаг в день рождения или какого-нибудь семейного события; но представьте себе, что Теодор-лавочник станет поднимать флаг в день рождения Пера-лавочника!

Вино делает людей честнее и откровеннее, не правда ли? Доктор Муус сказал:

— Вы поставили мне на вид, что я не уроженец Христиании. Позвольте теперь мне спросить вас — разве у вас нет газеты и вы не можете обличать непорядки? А что делает газета?

Адвокат на минуту онемел, а доктор Муус оглядел всех, пожиная награду за свою справедливость. То был знаменательный час, он осадил своего доброго друга.

— Мне принадлежит значительная часть «Сегельфосской газеты»,— ответил адвокат,— но я ее не редактирую.

— Когда вы заговорили о злоупотреблении флагами, я убедился, что вы правы,— сказал доктор, снова искусным образом уязвляя своего друга.— Когда я получил флаг на свой докторский дом, я был один, а нынче у всех флаги: у пономаря, у кузнеца, у Якоба-подмастерья, у Оле с Зеленого Вала — все махают флагами день и ночь. Я теперь перестал.

— Я пользуюсь этим случаем, чтоб заявить, что я не редактирую «Сегельфосскую газету»,— начал адвокат Раш с большей торжественностью, нежели требовалось. Вид у него был очень честный в лице и во всей фигуре появилось выражение чистосердечия, сверхъестественной правдивости.— Я устроил в газету этого бледного типографа, при этом у меня было одно маленькое соображение частного характера, план на будущее, но в этом я никому не обязан отчетом. Я помог также этому человеку наладить дело, он сам редактирует газету, пока ее набирает. В некоторых случаях, не часто, я писал для него заметки или статейки, или направлял его, вот и все. Я сам часто бываю недоволен тем, что появляется в газете, но не могу же я вмешиваться по всякому поводу, на это у меня даже нет времени.

— Разумеется, нет! — сказал господин Хольменгро. Делая это замечание, он наверное надеялся, что адвокат в будущем изменит направление газеты. Ведь помещик сам устроил адвоката Раша в Сегельфоссе и представил его владельцам имения, неужели он так-таки совсем без стыда? Неужели он позволит своей газете и впредь натравливать на него рабочих?

— Я вовсе не имел в виду нападать на вас, дорогой друг! — сказал доктор.— Ваше здоровье!

— Ваше! Я очень благодарен вам, что вы дали мне возможность разяснить недоразумение,— ответил адвокат формальным тоном.— Я стою и буду стоять в стороне от редакции «Сегельфосской газеты».

Заговорили об обыкновенных вещах, городских, деревенских новостях: пастор Ландмарк только что обзавелся одноконной бричкой, которую смастерил всю сам, до последней спицы.

— Н-да, это, конечно, очень хорошо,— сказал доктор Муус,— но должностное лицо, священник... чем же это кончится? Я представляю себе своего отца и деда, как бы это они, со своими-то руками, стали бы работать рубанком!

О войне на востоке, падении Порт-Артур не обмолвились ни словом.

Вино, может быть, содействует тому, что у подчеркнута молчаливых людей развязывается язык, — да, несомненно, так. Молодой Виллац вдруг передал помещику поклон от Антона Кольдевина, — он скоро приедет, уже в пути: отец его, консул, был болен, а то он приехал бы раньше.

— Консула Кольдевина я помню очень хорошо, — сказал господин Хольменгро. — Он был посредником при моей сделке с вашим отцом, мы торговались однажды в летнюю ночь при ярком солнце. Консул был очень любезен и все время шутил.

Адвокат снова стал самим собою:

— Жаль, меня в то время здесь еще не было, — сказал он, — а то посредником был бы, наверно, я.

— Без сомнения!

— Да, да, господин Хольменгро, это благодаря вам я получил место и поле деятельности. Кстати, вы давно не видали моей рощицы? Великолепна, невообразима, не правда ли, доктор?

— Поразительно. Как я уже говорил, не хватает только соловьев. А когда, собственно, вы предполагаете устроить ваш праздник в саду, господин Раш?

— Скоро. Как только перевалит за половину лета. Деревья к тому времени еще подрастут, по крайней мере на вершок. У меня теперь есть фонтан, господин Хольменгро, и я веду переговоры с одним литейным заводом относительно двух статуй для сада. И знаете, что мне пришло в голову? Он сфотографирует праздник и сделает отличное дело, все участники пожелают иметь такую фотографию.

Фрекен Марианна посмотрела на него узенькими и хитрыми глазами и сказала:

— Но сначала он, наверно, сфотографирует конфирмантов.

Когда кончили обед и отпили кофе, доктору Муусу удалось поговорить немножко с фрекен Марианной наедине. Он завел речь о перемене, ожидающей его скромную особу, о его предстоящем переводе; это действительно его твердое намерение — покинуть Сегельфосс.

— Что сказать, люди встречаются и расходятся. Мы встретились, фрекен Марианна, а теперь...

— Cis, h, e, доктор! «Тихо и с задушевной мягкостью», вот так: cis, h, e.

Доктор посмотрел на нее сквозь свои огромные очки.

— Что это такое?

— Романс.

— А-а, мы опять деточка! — сказал он со смехом. — Или гидра выползла из своего ящика?

— Из своей спичечной коробочки. Доктор, не вздумайте мне рассказывать, что в последнее время вы не очень частый гость в пасторской усадьбе.

— Ах, вот как! — Он стал оправдываться, обеляться: что она хочет сказать? Пасторша порядочная женщина, у них общие симпатии, культура... — Да нет же, на что вы намекаете? Ведь дочери ее уже конфирмовались, младшая в прошлом году. С чем же это сообразно?

— Ах, не в этом дело, не в конфирмации! А они обе большие и хорошенькие.

— Этого я не отрицаю, — сказал доктор. — И, разумеется, в семье ко мне относятся благожелательно, и я бывал там несколько раз. Обе барышни, мать живут своею собственной жизнью, пастор ведь немного с ними бывает, он занят своей мастерской. Так что вы поймете, что общение с образованным человеком им приятно. Но от этого до чего-либо большего — дистанция большая.

— Вы ее пробежите, доктор, — сказала Марианна.

Тогда доктор поклонился и сказал:

— Это звучит так, как будто вы мне это советуете. Значит, вам самой несколько не интересно, будет ли это продолжаться.

— Cis, h, e...

— Нет! — доктор опять поклонился и отошел от деточки.

Господин Хольменгро проводил своих гостей до самой дороги, простился с ними и сказал, что пройдет на мельницу.

— Вы позволите мне пойти с вами? — спросил Виллац.

Ожидал ли господин Хольменгро этого предложения, а может быть даже нарочно так подстроил? Он был достаточно хитер для этого. Его влюбленность в молодого человека, радость по поводу его возвращения, общения с ним имели свои разумные причины: молодой Виллац напоминал ему о времени, когда он приехал в Сегельфосс сказочным королем и был своим человеком в доме лейтенанта, жил и строился у него. Вот это были времена! Теперь времена переменялись, король был низложен. Может быть, один из Хольмсенов снова войдет в его жизнь и поддержит его.

Мужчины медленно шли в гору по дороге, было около полудня, жарко, навстречу им попадались рабочие с мельницы, которые имели обыкновение именно в эту пору

дня удирать с работы. Уж не рассчитал ли помещик это обстоятельство и не хотел ли он поставить Виллаца лицом к лицу с безобразием?

Но молодой Виллац, по-видимому, пока еще ничего не замечал.

— Забавные люди! — казал он про доктора и адвоката. — Когда они говорят, мне сразу становится понятно, почему китайцы едят палочками.

Что он имел в виду? Их ограниченность, тесный кругозор, ничтожество? Адвокат несомненно был карьерист, но доктор Муус, выступавший в роли лидера, был ему противнее. Осталось ли в молодом человеке некоторая доля чванства от его школьных лет в Англии, немножко gentry? И не замешалось ли в его взгляды немножечко геральдики, унаследованной от предков? Может быть, он думал, что доктор — большой щеголь, ходит в башмаках с подшитыми подметками, а на спине его сюртука видны ясные следы от спинки стула. И такие-то сорочки он считает эlegantными? Но все это ничего, если бы он мог еще посмотреть на самого себя с высоты своего величия.

А думал ли Виллац Хольмсен Четвертый когда-нибудь о том, кто такой он сам? Товарищи, наверное, иногда напоминали ему об этом и высказывали свое мнение. Правда, иногда он шутил, говоря, что он — последний отпрыск рода, соглашался, что он — старинный портрет, сбросивший с себя раму. Но, — говорил он, — немножко эстетики, немножко щегольства, кое-какие унаследованные деньжонки, земельная собственность, разве все это вместе составляет банальную личность? Разумеется, при случае, он признавал, что насчитывает от рождения всего двести лет. А его род? Он повелся от лакеев и льстецов, стоял за стульями, потом выслужился в домоправители, надсмотрщики, получил власть, стал выскочкой и, наконец, приобрел богатство. С этого момента началось первое поколение. Четыре поколения сменили друг друга в возрастающей роскоши и утонченности, — теперь род вымирал. Таков закон жизни. Скажите, пожалуйста, что в этом замечательного? Разве не откроются новые лазейки, и в них не прокрадутся другие: другие мошенники и лизоблюды?

Да, вино развязывает языки, Виллац говорил, высказывался:

— Они нигде не пускают корней, они стремятся только на юг, — сказал он опять про адвоката и доктора. — Что это за типы? Чиновники. Я все более и более убеждаюсь,

что отец мой был прав: чиновник — низший тип во всяком народе, это фабрикат. Купец, делец — у него все в опасности, он спасает свое существование тем, что вкладывает его в дела и рискует им, он не уверен ни в чем, он каждую минуту должен побеждать. Его жизнь посвящена работе, спекуляции и волнениям, он идет навстречу своей судьбе: удаче или разорению. А что переживают чиновники? Отставка, старая материя на новом месте. А аристократия? Ее сила заключалась в том, что она владела землей и домами, что у нее был большой или меньший мир, над которым она могла властвовать: из ворот ее выезжали лошади на ее собственные поля и дороги, множество народа жило обработкой ее земель. Она не только полагала основу роду, но и укрепляла его корнями в данной местности. Когда аристократия была истреблена, ее место заняли чиновники. Почему? Потому что у них были большие руки, они только и могли, что сидеть и ничего ими не делать, они засели в администрации, сидели и писали. Они изнежились от такой служебной работы, как писание букв. Чиновники могут оставаться чиновниками, от отца к сыну, на протяжении несчетных поколений, они не рискуют при этом абсолютно ничем, самое большее — могут остаться за бортом, провалившись на экзамене. Они будут продолжать это немудреное и глубоко заурадное занятие, которое они унаследовали и за которое получают свое маленькое годовое жалование. Где сдали деды, там приходит внук, его прошлое определяет его будущее, путь известен, остается только идти по нему. А вот, с выдающимися людьми происходит иное: богатство не наследует до бесконечности, оно кончается в третьем, в четвертом колене; гений умирает вместе с его обладателем, может быть, он возродится еще раз, может быть, нет. Великие люди истощают до дна всю силу рода; если бы было можно, им бы следовало запретить производить на свет сыновей, а только дочерей. Чиновники же могут без всякой опасности рожать сыновей и посредственностей, сколько хватит сил.

Ах, как молодой Виллац спешил высказаться, как вино развязало ему язык и сделало его поддатливым!

В заключение он сказал:

— Чиновники — ниоткуда, им надо только на юг. У них никогда нет собственного угла, они живут на чужой земле, в чужих домах. Представим себе, что мы из поколения в поколение бездомны, какая-то перманентная божья немилость! У детей нет родного дома, где бы они родились и

выросли, они переезжают из своего первого, второго, третьего местожительства, потому что родители стремятся все дальше и дальше на юг, и, когда они переезжают, за ними волочатся их корни. Мне жаль их, они дети, но корни их тащатся за их скарбом. Потом, много лет спустя, они, быть может, попадут в такое место, где протекло их детство. Они являются туда в качестве туристов и смотрят на все с закрытыми глазами. Может быть, им вспомнятся маленькие переживания вот у этого камня, у той березки; вон там в ручье они пускали щепки. И они смотрят на него несколько секунд. Потом уходят. И едут дальше. Взгляните на этих людей: они так долго сидели, согнувшись над столом, что спина у них выгнулась, руки их ни на что не годны, почти у всех очки на носу. Признак того, что ученость, вливаясь в их мозг, высосала из их глаз зрение, они не видят. Эти люди — аристократия страны. Вот они!

Молодой Виллац мог развернуться вовсю, никто ему не противоречил. Но когда он сидел с товарищами, то, конечно, ему случалось выслушать резкий и заслуженный ответ: — Ха, говорит отпрыск, дворянчик, он знает свой урок, ему втолковали его отец и четверо дедов. Мой отец был судья, его отец не дослужился даже до лейтенанта, кто же из них был важнее? А кто он сам, сын-то? Деревенский помещик. Что из него может выйти? Спросите оракула. Когда нет надобности выдержать экзамены, тогда все делается спустя рукава, учение бросают и возвращаются в свое поместье, в деревню. А там имеется какая-нибудь старая прислужница для ухода за ним. Отпрыск, дворянчик здесь не при чем, у него есть прислужница, она досталась ему по наследству, она в кружевном чепце и с кроткими глазами. Если когда-нибудь утром он залежится в постели, она приходит и спрашивает, не захворал ли он; если он слишком долго сидит в кресле, она заставляет его под каким-нибудь предлогом встать, чтоб он не досиделся до беды. Потом он умирает. Прислужница возлагает на могилу цветы. Таков конец. И заметьте, умирают лучшие из отпрысков, из дворянчиков, умирают покоровшиеся, разочарованные. Господин Виллац Хольмсен, противятся смерти и выживают самые ничтожные, самые бесполезные!

Но у каждого свое, есть над чем подумать; у господина Хольменгро тоже было свое. Может быть, в речах молодого человека он узнавал отголоски речей лейтенанта, его отца, который во всем, что говорил и делал, обнаруживал те же мнения. Господину Хольменгро еще слышался голос старого лейтенанта, слова его были горьки и сильны, в устах сына

они становились довольно безбидными. Пожалуй, есть кое-что верное в том, что крупным людям не следует производить на свет сыновей.

Господин Хольменгро отвечал: — Да, да, да,— кивал и слушал, но думал о своем. Разве молодой Виллац не видит этих шатающихся рабочих, беспорядок? Его отец, лейтенант, устремил бы свои серые глаза и задал бы короткий вопрос.

Некоторое время они шли молча.

— Это ваших людей мы встретили там внизу? — спросил Виллац.

— Да.

— Они не кланяются?

— Иногда,— ответил господин Хольменгро.— Как же, некоторые кланяются.

— Но почему же они вам не кланяются? Ведь вы же их хозяин?

— Вероятно, потому,— сказал господин Хольменгро,— что природа, производя хозяев, не всегда на высоте творения.

— Вы объясняете этим? — спросил Виллац.

— Ваш отец был настоящий хозяин. Я часто вспоминаю о нем и о его коне. Ему стоило только поднять палец, и люди его слушались.

— Еще бы они не слушались!

— И в то же время он был добрый человек. Он стоял твердо, потому что от него зависели очень многие, он знал, что если он пошатнется, то упадет целая сотня.

— Да, так и было,— сказал Виллац.— Вот идет еще один, посмотрим, поклонится ли он!

Господин Хольменгро взглянул, точно только сейчас заметил человека, и сказал:

— Не поклонится. Это Конрад.

— Какой Конрад? Тот, что взял ваши башмаки?

Господин Хольменгро скорбно улыбнулся:

— Да, это была одна из его выходок.

— И вы продолжаете держать его у себя на работе?

— Я держу его потому, что его товарищи заодно с ним и объявят забастовку.

— И пусть они бастуют! — сказал Виллац.

Конрад поровнялся с ними и прошел мимо. На ходу он застегивал обшлаг рукава, притворяясь, будто очень этим занят.

— Он не поклонился,— сказал Виллац.— Чего, собственно, добиваются эти ваши ребята?

— Не знаю. Они прогуливаются, берут свободные часы, они ввели эту моду. Вот я вижу, некоторые сидят в лесу.

Виллац взглянул на господина Хольменгро и понял, что сказочный король ослабел, губы его слегка дрожали, радужная оболочка глаз посветлела и стала водянистой. Да, он постарел.

Виллац остановился и сказал:

— Позовите этого человека! Спросите его, куда он идет. Господин Хольменгро повинился и крикнул:

— Конрад, поди, пожалуйста, сюда на минутку!

Виллац поразился просительной форме и тому, что помещик сделал два шага навстречу своему слуге: уж не думал ли он, что это поможет? Конрад не поторопился из-за этого. И когда, наконец, он медленно и вяло приблизился, он не стал ждать, что ему скажут, а сам спросил:

— В чем дело?

Господин Хольменгро спросил:

— Куда ты идешь?

— Куда я иду? — переспросил Конрад.— Да никуда в точности.

— Разве сейчас не рабочее время?

— Другие отдыхают, и я тоже пошел.

— Ступай назад работать,— сказал господин Хольменгро.

Может быть, Конраду все это показалось немножко странным, немножко удивительным он почувствовал что-то новое, какую-то перемену: у помещика появился голос, сказав два слова, он не спешил повернуться, чтоб спрятаться. Кроме того, он был не один, с ним был еще барин, тоже помещик, что бы это значило?

— Что ж, я пойду, пожалуй, если и другие тоже пойдут,— сказал Конрад и пошел.

— Что там такое, Конрад? — крикнули ему с опушки.

— Велят идти работать,— ответил Конрад.

— Пойдем, ребята, посмотрим! — сказали на опушке.

Вперед выступил Аслак, высокий широкоплечий детина с трубкой в зубах. На нем была фуражка с козырьком и зеленая куртка, на ногах высокие сапоги с пряжками на голенищах. Двое других рабочих последовали за ним, они были в одних жилетах и в соломенных шляпах, курили папиросы.

Процессия двинулась по дороге. Конрад отстал и пошел со своими товарищами, между ними начался оживленный разговор.

— Посмотрим! — говорил Аслак.

Господин Хольменгро шел, поникнув головой, и думал. Поникнув головой? Ведь это же не подобающая осанка для короля. Может быть, он преследовал определенный

план и хотел ковать железо, пока оно было горячо. Когда пришли на мельницу, он спросил Бертеля из Сагвика:

— Разве тебе не нужны эти люди, Бертель, что они разгуливают в самое рабочее время?

— Как же не нужны! — ответил Бертель.

Оле Иогана подстегнуло его непобедимое любопытство, и он подошел.

— Еще бы не нужны! — сказал он.

— Да ведь они же уходят, куда хотят?

— Такой уж у них обычай, — сказал Бертель.

— Хм. У нас такой обычай, да! — слышался голос Аслака.

Господин Хольменгро повернулся к рабочим и сказал:

— Да, но впредь у нас такого обычая больше не будет.

— Вот что, — сказал Аслак. — Это вы один так решили?

— Да.

— Ага! А я-то дурак, думал, что и нас тоже это немножко касается.

— Нет.

— Ха-ха. Что-то вы очень стали храбры!

— С нами уж больше не считаются, ребята! — сказал Конрад.

Ропот. Все больше и больше рабочих прекращало свою прогулку и повыходило, понимая, должно быть, что заваривается какая-то каша. Аслак курил и плевал; когда трубка догорела, он зажег несколько спичек сразу и не двинулся с места. Он был высок и силен, может быть он был уверен в своей правоте.

— Идите работать, ребята, — приказал хозяин. — Становитесь на работе, кто хочет работать, остальные могут уходить. Краткое молчание.

— Что ж, мы опять стали рабами, товарищи? — спросил Аслак.

Помещик цыкнул на него и сказал:

— Ты-то, во всяком случае, можешь уходить, Аслак!

Наверное, никогда не слышал Аслак таких речей от хозяина; он позабыл про курение, с ним случилось неожиданное. Овладев собой, он начал объяснять, что этот перерыв в середине дня они установили два года тому назад и не уступят его, и кончил тем, что если уйдет с работы он, то уйдут и еще многие.

— Мы все уйдем! — ответили ему.

Эта поддержка рабочих помогла Аслаку, очень помогла: он почувствовал уверенность и злость, заговорил с хозяином дерзко, стал его «тыкать» и называть Тобиасом.

— Мы знаем, откуда ты явился,— сказал он,— ты родом с острова и тебя зовут Тобиас, не воображай, что ты римский папа. Потому что если ты скажешь еще хоть одно слово, я уйду,— сказал Аслак.

— Да, походи к зрителю пристани и получи расчет,— кивнул головой, сказал господин Хольменгро.

Но, верно, у Аслака имелся про запас очень солидный аргумент, крупный козырь; он усмехнулся от злости и обиды. Увидев молодого Виллаца, который стоял несколько в стороне, не задеваемый перебранкой, он спросил:

— Уж не он ли придал тебе сегодня такую прыть, Тобиас?

— Сейчас же принимайтесь за работу или уходите! — громким голосом крикнул помещик.— Ты, Конрад, тоже можешь уходить.

Но Аслак уже поставил молодого Виллаца в связь с катастрофой, он не мог так быстро его бросить:

— Может, это твой зять? — спросил он помещика.— Так давай его сюда, мы с ним поздороваемся! — Наконец, он понял, что вместе с ним уволен и Конрад, лицо его сразу посветлело от вескости его аргументов и козырей, и он сказал: — Ага, это мы с тобой попали, Конрад!

Решение было принято и высказано, господин Хольменгро со своим спутником пошли дальше по дороге. Помещика, видимо, не особенно радовало его мужественное поведение, он шел согнувшись. Это было непонятно: королю ведь надлежало бы высоко нести голову, старый моряк и искатель приключений собственно должен был бы жалеть, что дело не закончилось двумя-тремя револьверными выстрелами. Он посмотрел на молодого Виллаца своими водянисто-голубыми глазами и сказал:

— У меня уже несколько лет не было никакой радости.

Было ли это откровенностью со стороны высокомерного барина?

Аслак кричал им вдогонку:

— Ты не любишь Конрада, я понимаю, он забрал свои башмаки на пляс. Ха-ха... господи, помилуй! А куда ты сам-то ходишь плясать по ночам, Тобиас? Ты думаешь, мы тебя уважаем, фармазонишка ты этакий! Ты ходишь по избам и по сеновалам, немало народу тебя там видело! Ты пляшешь под одеялом!

Аслак продолжал орать. Это был его козырь. Стоявшие вокруг него рабочие заливались хохотом. Господин Хольменгро, видимо, торопился уйти подальше, он смиренно улыбался и тряс головой, словно желая сказать: слыханы ли

когда подобные обвинения? Виллац побледнел и остановился.

— Одну минуту! — сказал он, поворачивая назад.

И пошел тихонько, снимая на ходу перчатки.

— Вон идет зятек, — сказал Аслак, — давайте поздороваемся с зятем!

Виллац подходит к нему. Мелькнуло в воздухе, и Аслак на земле. Что такое — он ударил рукой! О господи, вот так кулак, твердый, английский, ни звука со стороны жертвы, а в нем самом какой-то срыв, гибель!

Толпа отступает, кто-то пятится задом, Виллац идет за ним.

— Это меня вы хотите, но ведь я уйду, — жалобно говорит Конрад.

Услышав эти слова, товарищи вспоминают, в чем дело: их просили сейчас же приниматься за работу или уходить. А вот возвращается и помещик, начальник, хозяин идет, все может остаться по-старому, стоит им только вернуться на свои места. Ударил ведь не хозяин, хозяин не дрался...

Они начали подталкивать друг друга и шептаться, по двое отходят к работе. А беднягу Конрада трусливо предоставляют самому себе. А Конрад покидает Аслака. В этом вся беда: они приехали сюда на велосипеде, ходя в сапогах с пряжками и сезонных костюмах от Теодора из Буа, они применились к внешней и не имеющей цены стороне народившегося городка, но характер их не изменился. Да, все ничтожество их налицо.

Господин Хольменгро имел очень удивленный вид, но он был бы глупцом, если б не испытывал удовольствия. Господин Хольменгро — глупец? Все, только не это. Но он был, видимо, сбит с толку.

— Извините, что я заставил вас присутствовать при этой сцене, — сказал ему Виллац.

Аслак пошевелился и сел, он хватается за голову, встает, разыскивает свою фуражку и уходит. Пройдя несколько шагов, он оборачивается и смотрит на своих господ, потом идет вниз по дороге. Внизу он нагоняет Конрада. Они идут к начальнику пристани за расчетом.

— Да, вот так оно и есть, — говорит господин Хольменгро в пространство. — Или, что это я хотел сказать? — говорит он. — Вот я несколько лет просил их, а они только упрямылись. Бертель, куда они девались? Пошли работать?

— Похоже на то.

— Они уступают перед кнутом, — сказал Виллац, нахмутив брови.

Господин Хольменгро качает головой, матрос в нем ухмылялся, но человек видел дальше: дня через три история, может быть, повторится, Аслак ведь не умер, дух его не умер.

Они идут по дороге, и Виллац говорит:

— Извините, в вашем деле я не при чем. Этот человек несколько раз потребовал, чтоб его допустили ко мне, и я пошел к нему по собственному почину. Я поздоровался с ним.

— Да, да, да,— сказал господин Хольменгро.

Был он жалок или умен? Боялся он обидеть свою опору? Или не хотел? Не годится сказочному королю обнаруживать себя слишком явно, лучше ему оставаться мифом. Но удивительнее всего было то, что господин Хольменгро вдруг начал ломаться и хвастать:

— Эти люди воображают, что я уже не богат, поэтому они и утратили ко мне уважение. Я несколько сократил производство, понес некоторые убытки, два раза повышал цену на муку, во всем этом они видят дурные предзнаменования. Ну,— он вдруг помолодел, и голос его стал энергичен,— у меня достаточно средств, чтоб терпеть убытки до конца жизни. Но ведь не могу же я сказать им этого. А средств у меня хватит!

Снова король! Ах этот Хольменгро, как он умел вынырнуть, блистая, из сказки и снова нырнуть, оставив за собой золотую дорожку!

— На востоке война,— сказал он.— Япония сейчас покупает тоннаж на вес золота.

Виллац взглянул на него. Да трезв ли этот человек? Виллац спросил из вежливости:

— А у вас разве есть дела и с Японией?

— У меня длинные руки,— ответил господин Хольменгро с улыбкой.— В свое время я вел дела с Кубой, с Порто-Рико, с Филиппинами, Антильскими островами, с Ямайкой.

Сказка. Да, конечно, господин Хольменгро — король. Он прибавил:

— Но не могу же я все это рассказывать этим людям, и потому они думают, что могут смотреть на меня сверху вниз. Между прочим, у меня давно был план, о котором я собирался поговорить с вами. Но я не хочу мучить вас сегодня, после этой сцены.

— Наоборот. Мне очень интересно...

— План зародился еще при жизни вашего отца, но я не успел обсудить его с ним. Вы владеете большими

лесными пространствами, пастбищами на целые мили. Вы могли бы сдать их мне в аренду или продать.

— Там нет дичи,— ответил Виллац.

— Нет, дичи нет. Поэтому они для вас бесполезны.

Я стал бы там пасти овец для экспорта.

Виллац кивнул головой: старики Кольдевины тоже развели сотни две экспортных овец.

— У меня было бы побольше. Я начал бы с малого, с тысячи штук, но постепенно увеличил бы. Ну, может быть, я начал бы с двух тысяч, но во всяком случае это — пустяки, в Мексике я видел совсем другие стада. Но, как вы говорите, там нет дичи, ни волков, ни медведей, скот может ходить без присмотра. В горах есть вода, он может пить, может доходить до самого моря, на берегу есть водоросли. Местами на горных площадках имеются небольшие скалы, которые могут служить прикрытием во время непогоды. Место очень подходящее. Подумайте об этом при случае и сообщите мне свое решение.

— Я подумаю.

Мужчины простились, и Виллац свернул к своей усадьбе. Она виднелась перед ним в профиль, со всеми крышами, рисовавшимися на западе, и с полями, спускавшимися к морю. Когда-то, в великом прошлом, его домом был весь Сегельфосс.

ГЛАВА X

«Мы полагаем,— писала «Сегельфосская газета»,— что самоуправство и побои — абсолютно неприемлемый способ воздействия, представляющий в наших краях исключительное явление. Нам известно, что подобное самоуправство имело место несколько дней тому назад, и виновник его — человек, от которого, казалось бы, нельзя ожидать такого рода опрометчивых выступлений. Дело передано в суд. Напоминаем вновь золотые слова, под которыми вместе с нами подпишутся и все благомыслящие люди, а именно: что в стране нашей есть закон и право, что ясные веления закона равно распространяются на высших и на низших и что никто не ускользнет от его действия».

Виллаца вызвали на какое-то особое разбирательство; это была не примирительная комиссия и не полицейское дознание, по названию-то считалось расследованием, на деле же все свелось к тому, что старый ленсман из Ура отнесся ласково и благодушно к обеим сторонам и

примирил их. Так он действовал всю свою жизнь, и это был наилучший способ. Правда, Аслак привел и поденщика Конрада, и других свидетелей, так что по началу дело, казалось, примет серьезный оборот, но в свидетелях не встретилось нужды, господин Виллац Хольмсен не отрицал данной им затрешины и спросил, сколько за нее причитается. Ленсман посмотрел через очки на Аслака, Аслак подумал и сказал цену.

— Это слишком мало!— заявил господин Виллац Хольмсен, и ленсману вдруг показалось, что он слышит голос его отца, лейтенанта.

Затем молодой Виллац заплатил вдвое больше. Это была удивительная сделка, покупка голов для вышибания из них памяти.

— Но,— сказал молодой Виллац, выложив деньги,— в следующий раз, когда этот человек заслужит от меня оплеуху, я ударю сильнее.

— Да,— сказал ленсман, не для того, чтоб подлить масла в огонь, а наоборот, чтоб сгладить,— да, но в таком случае последует новый штраф!

Виллац ответил:

— Я опять его заплачу.

Тот номер «Сегельфосской газеты» был очень содержателен, в нем была, например, статья самого адвоката Раша, передовица о театре. Это было воплощенное остроумие и знание дела. «Поистине,— писал адвокат,— немалое достижение, особенно со стороны странствующей группы, дать первоклассное воспроизведение такой ответственной пьесы, как «Ядовитая змея в пещере». Он разобрал всю пьесу и ее выдающиеся моменты; но,— говорил он,— блестящим исполнением этой пьесы мы обязаны прежде всего примадонне госпоже Лидии. Она несравненна, как актриса, и провела свою роль так, что зал гремел от рукоплесканий. Во многих сценах, особенно в сцене с отравленным кубком, она возвышалась до истинно трагического величия и вызывала в памяти подобные же сцены в исполнении знаменитейших артисток. Из прочих исполнителей прежде всего следует назвать фрекен Сибиллу Энгель, которая своей ослепительной внешностью и своей игрой заслуживает всяческой похвалы. Сам глава группы играл генерала. Он дал тип старой школы. Несколько меньшая бравурность произвела бы, конечно, тот же эффект, но в отдельных репликах он был великолепен. Остальные участники и участницы пока еще не выступали в крупных ролях, в которых могли бы проявить дарования, но надо надеяться,

что эти отменные артисты не в последний раз посетили наши палестины. Просвещенная публика с радостью ожидает их возвращения!»

Далее следовала критика самого театра: «Театр не должен находиться на окраине города, этого нигде не бывает. Также не принято перестраивать так называемый лодочный сарай в храм Талии; владелец здания, господин Теодор Иенсен, мог бы в данном случае без ущерба проявить больше понимания приличий. Относительно самого здания следует заметить, что оно, принимая во внимание обстоятельства, отнюдь не отвечает предъявленным к нему требованиям, и некоторые недочеты должны быть исправлены. Со стороны специалистов высказывались замечания по поводу недостаточной вентиляции, затем следует указать, что скамейки — это, конечно, хорошо, но скамейки со спинками — лучше. Еще два слова вообще: современные посетители театров ощущают большое неудобство от неимения под рукой программы, во многих зарубежных театрах имеются даже мальчики с программами по десять эре, на которые публика не скупится. «Сегельфосская газета» берется в короткий срок напечатать программы к следующему представлению. Но что случилось с музыкой?»

Ведь это же значит недооценивать музыкальную жизнь Сегельфосса — за весь вечер не дать никакой музыки в антрактах! Положим, в театре были образованные люди, пожалуй слышавшие на своем веку оркестры в составе по двадцать человек, и на таких, понятно, один рояль, как бы хорошо они не играли, не может произвести особого впечатления. Но кое-что все же лучше, чем ничего, а для той части публики, которая явилась, может быть, по религиозным мотивам, преимущественно ради музыки, мертвая тишина в антрактах была положительно жуткой. Мы узнали, что и в этом также повинен господин Теодор Иенсен, и советуем ему достать к следующему разу рояль. Владелец театра сделал хороший почин своим предприятием, но ему предстоит еще много потрудиться, чтобы оно оправдало все ожидания. Господин Теодор Иенсен — единственный мелочный торговец в нашем местечке, и это положение, конечно, со временем изменится; ему следует самому взять на себя инициативу в деле исправления недочетов театра, так, чтобы он сделался достойным города и не обманул ожиданий трупп, которые доверчиво обратятся к нему с просьбой о помещении». — Последние слова были обращены к публике, к Сегельфоссу и

окрестностям: «Есть еще люди, называющие этот дом искусств сараем; мы самым определенным образом протестуем против того, чтобы публика давала унижительные названия городскому театру. В противном случае, это скажется на уменьшении посещаемости. Просвещенные люди несомненно откажутся от всякого наслаждения драматическим искусством, если будут вынуждены искать его в сарае».

Такова была статья адвоката Раша.

В общем и целом — нападение на Теодора из Буа, человека, привлекшего сценическое искусство в город и давшего ему приют! А как же принял это Теодор? Он защищался в своей лавке, оправдывался, как и подобало ловкому парню, каким он был, следил, когда лавка бывала полна народа, и отвечал на месте. Разумеется, он был немножко молчалив и пришиблен в первые дни, но тем сильнее отыгрывался впоследствии. «А кто такой сам Раш? Заевшийся адвокат!» — говорил он. Больше всего его обидело, что в статье он был назван мелочным торговцем. «Я знаю торговцев и поменьше нашей фирмы, и то их называют купцами», — говорил Теодор из Буа.

А тут еще, пожалуй, вообразят, что он стеснен в деньгах: он еще не получил расчета за свою треску, а пришлось заплатить за весенние товары, — десять больших ящиков мануфактуры, — да еще построил театр. Но Теодор не сидел без денег. В один прекрасный вечер, когда было много покупателей, он вышел из своей конторы, помахивая кредитным билетом, а начальник телеграфа Борсен как раз стоял в лавке и опять покупал на несколько скиллингов табаку. Теодор обратился во всеуслышание к Борсену:

— Видали вы новые бумажки в тысячу крон?

— Я слышал про бумажку в тысячу крон, — ответил Борсен, — я даже слышал, как о них говорили с уважением. Но сам не видал.

— Так вот посмотрите! — сказал Теодор.

Впрочем, это была не такая уж новая бумажка, но с ней обращались аккуратно, и она могла сойти за новую. И что за черт этот Теодор, наверно он заставил свою мать пройти по бумажке утюгом и подновить ее для показа! Другого такого, как он, конечно, не сыскать! Это подумали все, бывшие там и видевшие бумажку собственными глазами.

Чего же ради хлопотал и трудился Теодор из Буа? Какова была его цель? Он не был скуп, как его отец, и не прятал деньги в стенные щели. Разумеется, ему хотелось

сделаться большим человеком, большим дельцом. Ведь вот, получил же он агентуру «госенского» маргарина на всю область, вплоть до Тромсэ! А ведь это все равно, что генеральная агентура, и все торговцы из северных местностей должны были обращаться к Теодору из Буа за «госенским маслом» из местности Госен, где имелись хорошие пастбища! Фабрика прислала сверкающие рекламы, плакаты, и яркие цвета их украсили фасад лавки и превратили ее в некоторое подобие рая на земле.

Так что же, Теодор-лавочник был доволен?

Наступали вечера, наступали ночи. Теодор искал уединения и мечтал. Те дни, когда они еще не конфирмовались и катались на салазках, были, пожалуй, счастливейшей его порой; правда, с тех пор он возвысился от нуля до кое-какой величины, но она ушла от него. Он помнит последний раз, когда он вез домой ее санки, а она была уж совсем большая девочка. «Спасибо, поставь санки здесь!» — сказала она. Дверь распахнулась и захлопнулась. Это было в последний раз. А теперь прошли годы, он уже не мог нарисовать ей картинку, не мог сочинить песенку, он был беспомощен. Сделавшись богатым купцом, он часто думал поднести ей в подарок что-нибудь ценное из того, что получал для лавки; но с шалью из чистой шерсти вышла незадача, она вернула ее с вопросом, что это значит. Однако Теодор вывернулся: он торговец, ему хотелось распространить эти прекрасные шали в Сегельфоссе, а скорее всего это сделалось бы, если бы именно она первая стала носить такую шаль. Она ответила: «Да, спасибо, но она еще не так стара и не так основательно замужем, чтоб носить шали! Посредницей в этом деле была одна из ее горничных».

После этого афронта Теодор был бы дураком, если б продолжал посылать подарки. Теодор — дурак? Ни в коем случае. Но и по сию пору он откладывал в сторонку какую-нибудь особенно изящную вещицу и мечтал, что пошлет ее в папиросной бумажке, и только уж после того, как она полежит порядочно времени, он приказывал приказчикам пустить ее в продажу. Такова была чувствительная и смиренная любовь Теодора из Буа.

Наконец, он вообразил, что нашел деликатную форму внимания: когда будет театр, он станет изредка посылать ей билет, — да без этой задней мысли он, пожалуй, и не взялся бы за дело и не стал бы строить театр. Так вот и тут опять не вышло! Полдюжины билетов на торжественное открытие — ладно, куда ни шло! Но если на этом всему

конец, так ему мало пользы: если же, наоборот, надо веки вечные посылать по полдюжине билетов на каждое представление, то какое же дело это выдержит,— ха, Теодор был хитряга! Кроме того, он, конечно, смекнул, что пять билетов из шести будут выбрасываться зря, так как достанутся пятерым неинтересным лицам. Нет, благодарю покорно!

Так он мечтал и горевал, сидя у своего оконца и поглядывая на ее дом. Дни были полны хлопот и суеты, а вечера — ревности и грусти.

«Прощайте, фрекес, прощай навек! Я хожу здесь по моей одинокой комнатке, чтоб бодрствовать в то время, как ты спишь. Пусть я ничтожен по сравнению с ним, но я буду любить тебя верно и искренно до последнего своего часа. Я слишком беден и жалок, чтоб роптать и противиться тому, что подарит мне судьба на моем жизненном пути. О, высокородная фрекен, не наступи на змею, пресмыкающуюся во прахе, это легко может принести тебе погибель, чего я не хотел бы. Но что касается до него, то гордость ведет к падению, пусть он этого не забывает! Я буду неустанно стараться возвыситься в своей отрасли, и, быть может, когда-нибудь он узнает, какого человека сделал навек несчастным. Черт бы меня побрал!»

И на следующий день он был снова бодрым, веселым парнем.

Вот, обе руки у него в перстнях, а сам он — в сером летнем костюме, красивее и не найти. Дошло до того, что он каждый день выставляет свои башмаки для чистки и является в лавку весь новенький и блестящий. Отец его в светелке наверху ничего не знает обо всех этих фокусах; бывают дни, когда он совсем не видит сына, а когда он стучит палкой в пол, сын приходит, только если у него есть время. Вот как обернулось дело. Старик Пер из Буа был человек без всяких тонкостей, зачем это летом светлая одежда, а зимой темная? Носи, что есть! Но Пер из Буа не дорос своему сыну и до коленок. Здороваясь, Теодор снимал шляпу, как делается в других городах, но никак при это не выражался и не говорил «здравствуйте», так нигде не дается. А нынче Теодор начал приписывать на своих счетах S. E. & O.*, приписывал даже и на письмах.

— Что означают эти буквы? — спросил хозяин гостиницы Юлий, со своей всегдашней назойливостью.

* *Salvo errore e omissione* — исключая ошибки и пропуски (обычный коммерческий термин).

— Тебе не понять,— ответил Теодор,— это по-латыни, и все крупные фирмы всегда так пишут.

Ларс Мануэльсен на это сказал:

— Будь здесь мой сын Лассен, уж он-то, конечно, сумел бы объяснить!

Теодор завел копировальный пресс и копировальную книгу, завел даже несгораемый шкаф, из тех, что рассыпаются в пепел при первом пожаре. В нем он хранил торговые книги. Если б об этом узнал его отец, узнал бы, что его мелочная лавочка превратилась в фирму, и что фирма ведет книги!

Но старый Пер из Буа все-таки чуял, что прогресс подхватил и лавку, и сына; он, разумеется, знал про то, что Теодор вывозит на сторону треску, что вот уже давно это повторяется из года в год; недавно он узнал, что сарай превратился в огромную танцульку, замечал по разным предметам, что барство и избыток проникли в его дом и семью. Царила уже не солидная и доступная простому взору торговля.

Он постучал палкой в пол.

Пришла его жена, пришла фру Пер из Буа. С годами она растолстела и спокойно командовала теперь двумя служанками. В старину было не так, тогда она одна делала всю работу и вдобавок имела на руках несколько человек детей. Но двое мальчиков умерли от скарлатины, а две дочери выросли и обе пристроились, одна у торговца Генриксена в дальних шхерах, а другая у консула Кольдевина в Вестландии — понятно, обе были домоправительницы, камерфрау и страх какие важные особы. У фру Пер из Буа дома оставался один Теодор, и по части почета он превзошел всех. Она спокойно и медлительно бродила по дому и не торопилась даже и тогда, когда муж стучал в пол. Вот как обернулось дело. Она держалась вне пределов досягаемости его палки и спрашивала, чего он так стучит,— господи помилуй, чего он так стучит?

Пер из Буа не признавал интимностей, он всю жизнь прожил, не разговаривая с женой, а если приходилось с ней говорить, глаза его смотрели довольно сурово.

— Пусть Теодор придет наверх!

— Это зависит от того, найдется ли у Теодора время,— отвечает жена.

О, прогресс заразил и фру Пер из Буа, она стала говорить изящнее, чем раньше, и старалась, чтоб выходило как можно изысканнее. Но глаза Пер из Буа не становились мягче от изящной речи.

— Я найду для вас время! — крикнул он и схватил палку.

А ведь он мог бросить палку. Эта возможность не была исключена, у него, действительно, оставался этот последний выход. Поэтому фру Пер из Буа вышла из комнаты.

Старик опять лежал один. Так он лежал все эти бесконечные годы, с разбитой параличом половиной тела, дряхлый и злой, то буйный, то подавленный. Этим летом ему даже стало хуже, душа болела сильнее. Настроение мрачное. Старый способ больше не годится: поддерживать жизнь едой? Какой толк от еды? Она только помогала тянуть существование, которое надо бы прикончить сразу. Но, впрочем, Пер из Буа совсем не желал, чтоб существование его кончилось.

Разве жизнь ему надоела? Как раз наоборот! Вот увидите! Пока он чувствует в себе хоть искорку жизни, он хочет жить, он будет жить год за годом, много лет, его жена, даже сын сойдут в могилу от старости прежде, чем он умрет. Вот увидите! Он победит и будет хозяйничать, то-то будет над чем посмеяться, когда он перемахнет за сто лет и должен будет взять на себя управление лавкой, потому что сын будет дряхлым стариком!

Ему было над чем поплакать.

А как будто он не лил слез! Вот огняли в Буа право винной торговли, а он не мог вмешиваться. Кто смотрит за бочками с патокой в погребе, кто чистит гири на весах и следит за тем, чтоб на них не садилась ржавчина, и они не становились тяжелее, чем надо? Ах, лежать с мертвой половиной тела и не иметь возможности работать в своем любимом деле! Гораздо лучше было бы отрезать мертвую половину, похоронить ее и отделаться от нее, теперь она для него только в тягость и убыток. Пер из Буа не понимал, что мертвая половина приносила ему некоторую пользу, ему следовало бы подумать, что с нею он лежал в постели гораздо удобнее, чем без нее, а когда он приподнимался и садился, она была совершенно необходима.

Теодор не шел. Ага, у него не находится времени! Посмотрим!

Здоровая рука у Пера из Буа сильна, он хватает стул и отглушительно колотит им. В лавке отлично слышно, слышно и далеко на улице, и, чтоб положить конец, Теодор находит время и идет вверх к отцу. Он уже не снимет своих колец, а выступает во всем своем великолепии; глаза отца не становятся от этого мягче.

— А-а, у тебя нашлось время прийти!

Теодор говорит с досадой:

— Не понимаю, чего ради ты ломаешь дом. Что тебе надо?

Отец с минуту безмолвен. Он бородат и лыс, звероподобен, верхняя губа его вздергивается и обнажает зубы. О-о, нежности в нем нет.

— Ха-ха-ха, чего мне надо? Я лежу и стучу в пол, щенок ты этакий, дрянь? Побеспокоил вас? Дай-ка полюбоваться на твои прикрасы,— лавка заплатит? Чего мне надо? Мне надо поговорить с хозяином, со щенком, ишь какой важный, в пору взять да подтереться. Уж не побеспокоил я и твою мамашу? Вздумал постучать в пол, побеспокоил ее протухлую милость! Чего ты стоишь? Присядь, если удостоишь! Тьфу!

Но Теодор не сел, отец бесился, и грозила возможность, что он швырнет палкой. Теодор отходит к окну, там он в безопасности, отец не рискнет стеклами. Впрочем, Теодор теперь не так уж его и боится, он совсем не щенок, живым его не возьмешь!

Отец опять сплюнул и сказал «тьфу».

— Ты получил спички? — спросил он.

Теодор и думать забыл о детском плане насчет тысячи grosсов спичек и только сухо ответил:

— Нет.

— Так и знал,— мотнул головой отец,— не дали спичек лукавому! А соль получил?

— Нет.

В эту минуту Пер из Буа понял, что он навсегда выкинут из игры, сын даже и виду не хочет показать, будто его слушает. А-а, так! Здоровая рука его смаху и свирепо ударяет по краю постели, он вскрикивает, рука ушиблена, и в ту же секунду она немеет, немеет и отмирает, от пальцев вверх по кисти, вверх до плеча. Он чувствует, что обе стороны его тела стали свинцовыми. Что это, что такое? От ушибленного места на руке, от этого широкого пореза? Безделица, ничего! Он перегибается наперед и хочет яростно закусить рану, но не может дотянуться, смотрит на нее, облизывается и ворчит. Нелепое, скотское поведение, Пер из Буа беспомощен. Ладно, но никто не должен этого видеть! Он хочет замаскировать свою беспомощность, сильно приподнимает плечи, как будто ему неловко сидеть, и он отлично может поправиться; ему удастся подпихнуть одну мертвую руку другой, они мягки и податливы, переваливаются, как тесто.

Волна горя готова подняться в нем, но у него хватает силы справиться с собой. Он говорит — говорит словно со стихиями, с морем и громами:

— Я хочу разделиться. Девчонки должны получить свое, пока ты не разорил нас.

Ха, конечно, не о девчонках он так сильно беспокоится, он это придумал.

— А сам я возьму родительскую часть, — продолжал он, — и все должно быть написано!

Теодор не отвечал.

— Ты слышал? — закричал старик. — Пусть придет уверенный!

Теодор вышел.

Чепуха, адвокату совершенно незачем приходить. Делиться? Как это — делить лавку, разбивать на мелкие кусочки, сносить постройки? Извините, наоборот, нам надо прикупить земли, нам надо расшириться! За адвокатом не пошлют, а отец лежит в параличе и сам не может его раздобыть. Так время и пройдет. Но ведь вот: отец может начать реветь, в конце концов, кто-нибудь услышит его с дороги и приведет адвоката в Буа. Это вполне возможно. Ну что ж, тогда Теодор поговорит с господином Хольменгро, ему и раньше приходилось укрощать бешенство отца. А если уж ничего не поможет, тогда ревущего отца можно сплавить в богадельню!

Дни шли.

Теодор пользовался жизнью, как охотничьим полем, как пастбищем, он действовал направо и налево, и его рвение приносило ему радость. Театр процветал в качестве танцевального зала, по субботам аккуратно устраивались балы, а молодежь обладала хорошим здоровьем. Сушка рыбы на горах подвигалась быстро, недели через две можно будет погрузить всю партию на яхту и отправить, а это — большие деньги, даже за вычетом задатка; деньги на щегольство, расширение дела и приятности жизни. Теодор купил себе большой граммофон. Сначала он держал его в театре и играл там, и — господи, сколько грусти было в «Коронационном марше» и в «Незабудке». Его жажда деятельности могла бы выразиться и в большем: будь карусель в моде, он устроил бы большой круг с шарманкой и флагами, то-то были бы денежки! Но карусель — это шум, ярмарка и базар. Нет, а он подумывал о кинематографе, как в других городах, это модно, а денег дало бы еще больше! Ах, чего только нельзя наделать в Сегельфоссе! Когда распространилась молва, что адвокат

Раш готовится к большому празднику в саду, Теодор-лавочник раскритиковал в пух и прах и самый праздник, и бурду, какую там будут угощать. Нет, уж коли на то пошло, у него есть птичий остров, и на нем избушка, можно отправиться туда с граммофоном и изрядным угощением. Только бы ему залучить туда кого-нибудь из господ!

Но однажды Теодор махнул чересчур уже далеко!

Музицировать с граммофоном в театре было неудобно: народ собирался снаружи и торчал под окнами; и в сущности, было бессмысленно сидеть и наслаждаться граммофоном в одиночку, когда имелось в виду блеснуть этой новой музыкой на все местечко. Что, если он возьмет граммофон домой, в лавку? Это привлечет народ и увеличит торговлю, тут же представится повод объявить, что граммофон стоил ему целое маленькое состояние, объяснить устройство механизма. Люди повалятся с ног.

Он перенес машину домой, снял трубу, вставил пластинку, завел и начал играть.

Люди повалились с ног. Но в ту же минуту наверху поднялась тревога, загремела палка.

Ведь Пер из Буа не окончательно умертвил свою здоровую руку, он только так неудачно ушиб ее, что она онемела, но потом она опять ожила и могла стучать так же сильно, как раньше. А на зияющий порез он обращал ровно столько внимания, что не мешал ему оставаться, как он был, без всякой повязки,— сделайте одолжение! Разумеется, рана опять раскрылась и кровоточила всякий раз, когда он ударялся об что-нибудь, но — сделайте одолжение, пусть себе раскрывается!

Что это за музыка внизу, в лавке? Да, было из-за чего стучать! Когда палка не подействовала, начал работать стул. Музыка продолжалась. Тогда-то и случилось: Пер из Буа заревел. О, ужасным ревом одинокого человека, ревом железного быка!

Но Пера из Буа так много лет не видали в лавке, что никто его уже не помнил и не питал к нему почтения. Поэтому, когда Теодор покачал головой и остановил машину, публика испытала разочарование и стала говорить, что вот есть же такие, что не выносят музыки, а иные собаки прямо-таки от нее бесятся.

— У отца голова не совсем в порядке,— многозначительно сказал Теодор.

Теодор убедился теперь больше, чем когда-либо, в одной возможности: отец заревет. Рано или поздно это привлечет внимание посторонних, приведет к тому, что явится

адвокат Раш, и Теодору придется тогда ожидать и раздела, и всего плохого. Раздел сильно пошатнет его положение, совсем разорит. Даже если сестры оставят свою часть наследства в деле, он сам сильно потеряет во мнении людей и унижится до положения управляющего лавкой. Да, впрочем, сестры, конечно, немедленно потребуют свои деньги, они им нужны, осень и весна для обеих девиц обычно были трудным временем. В ту пору домой присылались сношенные платья, которых толстая старуха-мать не могла носить, но с гордостью показывала и продавала соседним служанкам.

Теодор размышлял, нельзя ли укротить отца хоть водой или огнем.

— Послушай, отец,— практиковался он, поднимаясь по лестнице к старику,— послушай, если ты еще раз заревешь таким манером, будь уверен, что я отправлю тебя в богадельню!

Но увы, стоя в отцовской комнате, он вел совсем не такую речь. Уже в коридоре на него напало сомнение в том, что отца удастся сломить силой, ведь он имел дело не с человеком, а с комком упрямства, с лежащим в кровати бешенством, наделенным человеческим телом. Однако он все-таки решил попытаться и насупил брови.

— Ты так кричишь, что народ сбегается в Буа,— сказал он отцу.

Старик отнюдь не обнаружил неудовольствия:

— Я вас обеспокоил? — спросил он.

— Люди спрашивают, не значит ли это, что ты хочешь в богадельню.

Лицо Пера из Буа быстро передернулось, точно его свела судорога. Да, но от удовольствия, прямо от веселья. От внимания Теодора не ускользнуло, что рот отца покривился молниеносной улыбкой, и он понял, что его намек на богадельню попал впустую.

Отец без дальних околичностей приступил к делу:

— купишь ты спичек лукавому?

Ага — может быть, от него отделаешься этим!

Операция была устарелая и дурацкая, но Теодору приходилось играть так на так. Он ответил:

— Что ж, мы можем выписать спички, рад ты думаешь что это такая хорошая сделка.

— И соль?

— Да,— сказал Теодор.

Да, соль теперь, на зиму глядя, совсем не так глупо, и потому в этом пункте Теодор сразу проявил уступчи-

вость. Он мог послать соль на Лофоленские рыбные промыслы, а то сохранить ее до весны и послать на промыслы в Финмаркен.

Но если он думал добиться чего-нибудь от отца своей уступчивостью, то очень ошибался.

— Пошли за поверенным! — сказал старик.

О, Пер из Буа был очень зол и совершенно спокоен, он торожественно смотрел на сына: в его распоряжении был рев. Верное средство найдено, в его груди всегда будет наготове изумительнейший рев, мать и сын пусть себе ходят и ждут его, пусть постоянно прислушиваются, постоянно боятся.

— Гм! — сказал Теодор, чтоб выиграть время. — Я буду недели через две отправлять рыбу, так на обратном пути мы захватим соль. Если погода будет хорошая, спички можно будет погрузить на палубу под брезентом.

— Я не хочу этой музыки в доме, — сказал отец.

— Хорошо, хорошо, — ответил Теодор.

— А поверенный пусть придет завтра.

Последнее решение. Нет, примириться с таким упрямством невозможно! Пока старик Пер из Буа лежал в постели и ухмылялся, сын спускался в лавку, угнетенный многими мрачными мыслями. Но спички и соль во всяком случае не будут куплены. Черта с два, так он их и купил!

Его дожидалась телеграмма — от Дидрексона? Ага, ну, конечно, от коммивояжера Дидрексона, поверенного фирмы Дидрексон и Гюбрехт, того, что плавал на собственном пароходе. Он попал в неприятную историю: повреждение машины во время перехода; задержался в дальних шхерах на несколько суток, ему необходимо немедленно переговорить с Теодором, если возможно, сегодня же ночью.

Вот как! Но Теодор был не в духе, а дорога длинная, сначала на велосипеде, потом в лодке. Однако он как бы оживился от этой телеграммы, как будто из поездки могло выйти что-то хорошее. Что же это может быть? Ни малейшего представления! Но во всяком случае, насчет адвоката получится оттяжка дня на два, без него за адвокатом некому послать. Он отправил приказчика Корнелиуса к отцу с телеграммой и велел объяснить, что она очень важная.

Проехав с час на велосипеде, он встретил Флорину, горничную адвоката. Она остановилась посреди дороги, как будто для того, чтоб задержать его. Когда он сошел с велосипеда, она спросила:

— Вам что-нибудь от меня нужно?

— Нет, — ответил он с удивлением.

Девушка Флорина выросла вместе с Сегельфоссом и была особа очень продувная. Но она была клиенткой Теодора и покупала много нарядов.

— Нет, — повторил он, — мне от тебя ничего не нужно. Где ты была?

— Была в гостях в дальних шхерах.

— Какова дорога?

— Дорога, как и здесь, — ответила она. — А вы, должно быть, тоже в дальние шхеры?

— Да. Почему ты знаешь?

— Нет, я только сейчас подумала, — ответила она.

И вдруг натянула шерстяной платок на рот, а до тех пор он был не повязан.

Теодор собрался садиться, чтоб ехать дальше.

— А я знаю, к кому вы собрались в дальние шхеры, — указала она.

Смышленного малого сразу озарило, что девушка Флорина пронюхала о появлении Дидрексона в дальних шхерах и что она была у него. Между ними происходит маленькое объяснение: да что ж, она несчастная девушка, попавшая в беду, и вот она его разыскала и сказала. Нельзя же, чтобы такие вещи сходили с рук. Ей ведь не на кого надеяться, кроме как на себя, и если является мужчина и срывает цветок ее юности...

— У тебя ведь есть сберегательная книжка, — сказал Теодор.

... цветок юности, то он сам понимает, как это для нее плохо. И вот она просит Теодора, как доброго и влиятельного человека, замолвить за нее словечко.

— Я бы хотела получить сразу, что мне причитается, — сказала она, — так я по крайней мере буду знать, что у меня есть. Эти приезжие господа ведь все равно, что перелетные птицы: никому неизвестно, где их искать. А кроме того, ведь он может тем временем умереть и совсем исчезнуть.

— Да, да, но у тебя есть сберегательная книжка, — сказал Теодор. — Да и потом, разве ты не выходишь за Нильса из Вельта?

— За Нильса? Нет, он разошелся со мной.

— Вот дурак! — сказал Теодор.

— Уж там дурак или нет, а только мне не на кого рассчитывать, кроме как на самое себя. Так что, если вы подумаете о моей горькой участи и заступитесь за меня...

— Я поговорю с ним, — сказал Теодор. — Не знаю, зачем я ему понадобился, наверное по каким-нибудь делам.

В сущности, он не был огорчен этим поручением, оно свидетельствовало об уважении и доверии, а, может быть, сулило и заработок — да, это совсем не невозможно. Он покати́л прямо по дороге, нанял лодку в дальние шхеры и пристал к пароходу.

У господина Дидрексона собрались гости, салон был полон смеха и праздничного веселья, девушки с берега, двое мужчин; сам он был изрядно навеселе. Он нарядил повара во фрак и белые нитяные перчатки, чтоб он мог достойно прислуживать компании.

— Вы привезли с собой телеграфиста? — крикнул он. — Очень рад вас видеть! Пожалуйста, стаканчик или два! А телеграфист? Вы ничего про него не знаете? Местер, это вы писали телеграмму и позабыли — как его зовут? Борсен? Черт бы вас побрал, Местер! Этот человек заинтересовал меня, он все еще гниет в Сегельфоссе? Но здравствуйте, вы сами, господин Иенсен, спасибо, что приехали! Мы только вас и ждали, Местер наконец-то наладил машину, мы уходим завтра рано утром.

Когда Теодор выпил стаканчик или два, господин Дидрексон вспомнил, что хотел поговорить с ним, и позвал его на палубу. Он заговорил торопливо:

— Эта моя поездка в Сегельфосс оказалась дорогой забавой. Девушка явилась сегодня сюда, на глазах слезы, у рта шерстяная тряпка. — В чем дело? — спросил я. Так-то и так-то. — Да, да, — говорю я, — тут уж ничего не поделаешь! — Да, сказала и она. Но не дам же я ей погибнуть в несчастье? — Нет. — И я не отниму от нее руку помощи? — Нет. — А может ли она получить что-нибудь от меня? — Разумеется. — А нельзя ли все сразу, — сказала она, потому что тогда до начальства ничего не дойдет. — Да, черт побери, ты разумная девушка, — отвечаю я, — значит, ты ничего не будешь писать, и я развяжусь с этой историей? На чем же мы с тобой помиримся? — Две тысячи крон, — сказала она.

Господин Дидрексон взглянул на Теодора, интересуясь действием своих слов.

— Безумие! — сказал Теодор.

— Безумие, так говорит и Местер, я ему все рассказал. Но во всяком случае, я хотел раньше переговорить с вами и очень вам благодарен, что вы приехали. Дело вот в чем: не мог же я так сразу передать девушке большую сумму, без всякой гарантии, а в Сегельфоссе мне не хочется показываться. Поэтому мне пришлось вам телеграфировать, и я еще раз благодарю вас за то, что вы приехали.

— Для меня это было удовольствием.

— Спасибо. Но это немножко запутано: вы говорите, безумие. Да, конечно. Но я не могу доводить дело до крайности, моя невеста может узнать.

— Вы обручены?

— Естественно. Обручился на севере с дочерью одного консула,— как его фамилия? Известный богач в Финмаркене, китовый жир, единственная дочь, вот посмотрите! — господин Дидрексон вынимает из бумажника женский портрет и с восторгом демонстрирует: на нем была подпись: твоя Руфь.— Вот видите,— сказал господин Дидрексон,— так она его дочь, вот никак не могу вспомнить фамилию! Ну, и вот, она может все узнать, а этого не должно быть.

— Она не узнает,— сказал Теодор.

— Да, вот видите, это невозможно. Тем более, что девица, сегельфосская девица... дело в том: я форменно в нее влюбился за то, что она была так благоразумна, и показал ей этот портрет. Разве это не огромная глупость?

— Не знаю.

— Местер говорит, что это было очень глупо. Но я немного выпил с нею сегодня, потому что она была такая молодчина и умница, и показал ей портрет.— Руфь! — сказала она и посмотрела на карточку.— Да, Руфь! — сказал и я,— и теперь вы понимаете, почему эта чудесная девушка не должна ни о чем знать. Да, она это понимает, и не будет ни начальства, ни резолюций, и ничего такого, сказала она.— Позвольте мне сначала переговорить с господином Иенсеном,— ответил я.

Теодор заявил, что и половины, тысячи крон, будет за глаза.

— Да, но тогда выйдет огласка, начнут разнохивать мои материальные обстоятельства и все равно приговорят к наивысшей сумме. Да, впрочем, я не хочу вести себя глупо и отлынивать. Тысяча крон раз в пятнадцать лет — это не то, что двадцать эре каждый день на еду и платье.

Теодор вскинул глаза на своего молодого друга: этот легкомысленный сын старой почтенной купеческой семьи обладал драгоценными качествами, почти непонятными Теодору; его собственное наследство было сплошь такого рода, что он день за днем, год за годом старался урвать что-нибудь у себя и в возмещение взять все, что годится, у других.

— Разумеется. Вы правы! — сказал он вдруг, словно и сам так думал.— И теперь я могу вам сказать: я встретил девушку дорогой, и она просила меня замолвить перед вами словечко.

— Вот как. Но, видите ли, дело все-таки немножко запутано. В тот вечер, когда мы вместе сидели в Сегельфоссе — помните, как это его звали? Борсен, начальник телеграфа, говорил про человека, который вернулся домой после двенадцатинедельного отсутствия, но тут оказалось, что его невеста уже три недели ходит в шерстяном платке и мучается зубной болью. Вы понимаете?

— Помню.

— Не имел ли он в виду эту девушку? Мне пришло это в голову сегодня.

— Можно предположить, что он имел в виду эту девушку, — ответил Теодор, желавший соблюсти честность и чистоплотность. — Но не знаю, пожалуй, вам не стоит касаться этого дела.

— Да, конечно. Но если взглянуть в совокупности, получается ужасная чепуха. Потому-то я и приглашал телеграфиста вместе с вами. Впрочем, я сейчас рад, что он не приехал, а то я, наверное, спросил бы его. Но не думайте, что дело совсем уж ясно!

— Неужели?

— Местер говорит, что с девицей ровно ничего не стряслось.

— Что? — спрашивает Теодор в искреннем изумлении.

— Местер страшно опытный малый, он сидел с девушкой после меня сегодня, и он говорит, что она так же беременна, как мы с вами. Между прочим, он подарил ей свою часовую цепочку.

Молчание. Теодор думает, потом говорит:

— Что же, значит, она только притворяется?

Во всяком случае, она из-за этого лишилась жениха.

— Да, — ответил господин Дидрексон, улыбаясь, — это она рассказала и мне. Но тут важно знать, не ценит ли она деньги дороже, чем жениха. А впрочем, именно тогда-то жених и может вернуться.

«У нее есть сберегательная книжка, — думает Теодор, — вот чертово отродье!» И он восклицает с внезапной твердостью: — Вы не должны платить ни одной эре! — Но он не уверен, этот сложный ход мыслей, в котором ему приходится разбираться, ново для него, поэтому он прибавляет: — Я сделал бы точь-в-точь так, как вы: заплатил бы что следует и развязал себе руки; но если это обман и вымогательство, тогда совсем другое дело.

— Но я не могу этого установить.

— Нет, — согласился Теодор, — не можете. — И Теодор продолжал соображать. Но вдруг его поражает безусловная

смехотворность всего этого дела. — Да черт побери, вы ведь можете не платить до рождения ребенка! А он, пожалуй, никогда и не родится! — говорит он.

— Совершенно верно, — отвечает господин Дидрексон, — потому-то я вас сюда и вызвал. Девушка, может статься, очень хитра. Кстати, как ее зовут?

— Флорина.

— Флорина. Очень хитра, пройдоха. Так вот, я внесу деньги вам, господин Иенсен, я обещал ей; но она не получит их раньше срока. Я посоветовался с Местером, он парень дошлый. А когда она их в конце концов получит, то с обязательством хранить молчание, за подписью и при свидетелях, а то она опять придет. Все должно быть закреплено письменно.

— Великолепно! — сказал Теодор, сверкая глазами.

Что привело его мгновенно в такой восторг? Не шевельнулся ли в его голове какой-нибудь план, сразу принявший жизнь и формы?

— Хорошо! — сказал он господину Дидрексону. — Я возьму на хранение деньги и улажу все с Флориной, можете на меня положиться.

— Да, вот именно, если вы разрешите затруднить вас этим. Хорошо было бы сразу разъяснить ей все и зажать ей рот, — сказал господин Дидрексон.

Теодор ответил:

— Хорошо. все будет сделано.

Он пробыл на пароходе до утра и спал, пока другие пировали. Молодому Дидрексону, видимо, мало было этого урока, он любил радость, искал и находил ее. Молодой и красивый, как принц, он всю ночь хороводил с гостями, исполняя роль радушного хозяина. В четыре часа подали горячий завтрак.

— Пожалуйста, не взывайте! — вежливо говорил хозяин, товароватый и внимательный, как всегда.

Повар был в свежих белых перчатках, в антрактах между кушаньями Местер играл на гармонике. Да, все было очень остроумно и весело.

Наконец, общество стало расходиться, гости сели в лодки и поплыли к берегу. Они были молоды и пылки, и бессонная ночь ничуть не отозвалась на них — этого бы еще недоставало! С берега они торжественно махали платками и шляпами.

Через двадцать лет они, может быть, вспомнят эту ночь и улыбнутся. Через тридцать будут сердиться, что другие молодые люди урвут себе одну ночку в жизни...

— А в случае, если... если вам не придется платить, как тогда? — спросил Теодор, стоя на трапе.

— А-а... Ну, что ж, в сущности, она по-своему была благоразумная и хотела помочь мне распутаться с властями,— ответил господин Дидрексон с беглой улыбкой.— Нельзя не дать ей совсем ничего. Но с другой стороны, она вела себя не очень благородно,— дайте половину!

Вернувшись домой, Теодор отправился к отцу и сказал,— бумажник его был так туго набит, что он мог это сказать:

— Адвокат был?

Отец удивлен, но имеет основания считать вопрос неискренним.

— Мне вчера надо было уехать,— продолжал Теодор.— Теперь нет никакой помехи, чтоб его вызвать, если он еще не был.

Отец злобно косится на него и говорит:

— Чучело!

Пер из Буа чуял недоброе; неужели сила уже не на его стороне? Посмотрим! Долгие годы праздности отнюдь не смягчили его, а, наоборот, понемножку ожесточали каждый день, теперь он весело шел попятным путем. Еще немножко, и он станет чудовищно злым и будет кидаться на людей, природный инстинкт разворачивался в нем беспрепятственно и работал вовсю на полной свободе, он быстро шел назад к своему глубокому прошлому, к пещере, звериной хитрости, реву и нападению. Он бежал по дороге прямо, как духовидец, тьма звала его.

— Ну, так чего же тебе надо? — спрашивает Теодор.— У меня есть другие дела, а не только что стоять здесь. Хочешь делиться — сделай одолжение, я выкуплю ваши части.

Ловкий выпад со стороны мальчишки Теодора — выговорить такие слова, не моргнув глазом! Но отец тоже не промах,— он скосил голову, словно имел дело с совершенным ничтожеством и говорил с сором на полу:

— Вот что, пащенок, выкупишь? Нет, это ты, пащенок, вылетишь отсюда.

И искоса метнул на сына взглядом.

— Как это так? — спросил Теодор, и в ясной голове его точно вдруг отодвинулась какая-то заслонка, он услышал, как шумит в его ушах кровь.

— Вот я так выкуплю тебя! — сказал отец хриплым от раздражения голосом. — Вон из дому! — прибавил он.— Ты спрашиваешь, как? Выгоню из своего дома, вон, в поле, паршивец!

Но в эту волнующую минуту Теодор овладел собой.

— Ах, вот что ты задумал! — сказал он, криво усмехаясь. Он знал положение дела, как свои пять пальцев: ежегодные операции с треской и многократные покупки и продажи судов, — деньги, вырученные от всех этих совершенно личных предприятий, были вложены в дело, и лавка не могла откупиться от него, не обанкротившись. Он криво усмехнулся. Он даже не подумал о птичьем острове, которого никак нельзя было выкупить, потому что он не продаст его.

Единственное, что могло быть, — это, что отец действительно разорит дело в лавке и потом посадит девчонок начинать торговлю сызнова. Пер из Буа пользовался большим кредитом.

«Как хочет! — думал Теодор, — аккуратно, как хочет! Я разобью их торговлю в пух и прах под самым их носом, только бы мне заполучить квадратик земли!» — Улыбка еще змеилась на его губах, когда он вышел от отца.

Пер из Буа чуял неладное и даже видел перед собой странную улыбку, — что же, он начал сдаваться? Он не сдался, он заревел. Позвали адвоката Раша, и этот составил акт раздела не хуже всякого другого, писал несколько дней, писал с большой готовностью, посмотрел торговые книги в лавке, вызвал телеграммой дочерей, телеграфировал с большой готовностью этим малюткам и охранял их права. Ведь дело шло о двух молоденьких девушках и параличном старике; все трое смотрели на него с надеждой, не мог же он обмануть такие глаза? Ведь он жил тем, что помогал людям в юридических случаях, когда в жизни приходилось применять право. Пер из Буа хотел устроить свои дела перед смертью, и его благовоспитанные дочери не стали ему перечить. Сын тоже не перечил: сделайте одолжение, — сказал сын. Что же оставалось адвокату, как не приступить к делу!

— Сделайте одолжение! — говорил Теодор и усмехался криво.

А нужный участок он наконец купил, стена о стену с лавкой, большой четырехугольный пустырь для лавки и склада, все звонкий камень. Строительные же материалы доставит шхуна обратным рейсом, когда повезет треску, — никаких спичек, никакой соли!

Теодор усиленно работал все это время и был постоянно начеку. Уже первый шаг его встретил препятствие: господин Виллац Хольмсен не хотел продавать ему участок. Почему? — думал Теодор. Два раза он получал отказ, на третий раз он стал действовать через женщину и победил.

Он пошел не более не менее, как к фру Раш. Ну, и бестия же этот Теодор, все-то он знал, даже и то, что добрейшая фру Раш похлопочет за него у господина Виллаца Хольмсена — как раз наперекор адвокату.

— Что такое происходит? — спросила фру Раш.

Происходит то, что у него отняли лавку, торговлю, всякую деятельность, ему отказали, выгнали, помогал в этом адвокат.

— Теперь помогите мне вы!

— Не могу же я действовать против моего мужа, — сказала фру Раш.

— Всего несколько квадратных метров горы у господина Виллаца Хольмсена из барской усадьбы. Не потому, что он нуждается в продаже, а потому что он может помочь мне. Я выстроюсь и опять выйду в люди. Адвокат получит тогда торговую конкуренцию в Сегельфоссе, которой он добивался.

— Я не могу действовать против своего мужа, — сказала фру Раш.

На следующий день Теодору доставили несколько строк от господина Виллаца Хольмсена, что он может получить участок. Податель, Мартин-работник, вымерит его, цену мы назначим, скажем, двести крон, а сумма должна быть выплачена съестными продуктами в несколько приемов, на десять крон каждый раз, негодяю Конраду, бывшему поденщику господина Хольменгро. Купчую пусть напишет ленсман из Ура.

Вот чего добился Теодор.

Он начал взрывать участок для закладки погребца и фундамента. Взрывал динамитом стена о стену с лавкой, не так-таки уж прямо для того, чтоб уморить со страху отца, но и не для того, чтоб пощадить его. Пер из Буа заревел было, но когда адвокат Раш разъяснил ему положение, он больше не пикнул. Чтобы он стал пищать? Мальчишка и его мать очень просчитаются, если думают, что он попросит пardона! Зато однажды к Теодору явился адвокат и предложил ему нечто в роде мировой сделки. Адвокат, должно быть, в конце концов понял, что лавка не может откупиться от Теодора, не пошатнувшись сама. Он сказал:

— Вложенные вами наличные деньги вместе с законной частью наследства...

Теодор перенимал то хорошее, что находил у других; подумав, должно быть, как поступил бы в этом случае молодой господин Дидрексон, он прервал адвоката и сказал:

— Я отказываюсь от наследства.

На адвоката Раша это неожиданное заявление подействовало, как удар. Удивительно, какие обезьяны эти выскочки; еще будь это человек из хорошей семьи!

— Напрасно вы так заноситесь, молодой человек!— сказал он.

— Заношусь или не заношусь, это не ваше дело!— ответил Теодор.

— Я даю вам дружеский совет.

— Я в нем не нуждаюсь.

— Ну,— сказал адвокат,— я не об этом пришел с вами поговорить. Положение таково, что лавка отлично может выплатить вам вашу часть, и продолжать по-прежнему работать...

— Ну, так и платите! — сказал Теодор.

— У меня есть частное предложение,— продолжал адвокат.— Рекомендую вам позволить мне его изложить, не прерывая меня. Так вот: лавка отлично может это сделать, то есть откупиться от вас, в особенности, раз вы так по-мальчишески и, может быть, немножко чересчур смело отказываетесь от наследства.

— Это вас тоже не касается.

— Не прямо.

— И не косвенно, вообще никак. У меня нет привычки дарить сберегательные книжки, но я и в долг не даю и не беру,— раздраженно заговорил Теодор.— Заткните свою пасть и убирайтесь подобру-поздорову, я не принимаю вашего предложения, понимаете?

Адвокат с величайшим состраданием заявляет:

— Я только ради вашего блага и ради блага остальных сию здесь и слушаю... вашу пасть, как вы это называете...

— Вы отлично знаете, что я могу наложить арест на товары и платежи в лавке, пока не покрою своего долга, в бешенстве крикнул Теодор. В нем проснулся сын Пера из Буа, и он умел шипеть от ярости.— И вы знаете, что тогда лавке конец. А если не знаете, так я могу рассказать вам, я понимаю в этом больше вашего, я торгую с самого рождения.

То ли адвокат нашел в его словах кое-что правильное, то ли решил не замечать похвальбы, но он сказал:

— Мое частное предложение заключается в следующем: в интересах всех сторон, предприятие продолжает вестись, как до сих пор. Вы управляете им, но сестры ваши становятся его участницами. Согласны вы на это?

— Нет,— ответил Теодор.

— Но вы будете заведовать всем? Вы не соглашаетесь остаться, как прежде, начальником и главою?

— Нет,— ответил Теодор.

— Гм! — кашлянул адвокат.— Я настойчиво обращаю ваше внимание на то, что это предложение исходит персонально от меня, а не от кого другого. Весьма возможно, что оно натолкнется на противодействие со стороны вашего отца и ваших сестер. Но эта возможность не наступит, так как вы отказываетесь от переговоров на этих основаниях. Каково же ваше собственное предложение относительно урегулирования дела?

Теодор ответил:

— У меня нет никакого предложения. Вы и остальные хотите вышвырнуть меня вон, и я говорю: пожалуйста!

— Хорошо, тогда будет так. Дело пока пойдет своим чередом, разумеется, под контролем.

— Под контролем?

— Ваших родителей и сестер. Или моим, по их поручению.

Тогда Теодор усмехнулся совсем криво и сказал:

— Если вы придете и пожелаете контролировать меня в торговле, то, конечно, найдете двери запертыми и опечатанными печатью ленсмана, пока я не получу свое. Этого вы хотите?

— Нет. Я хочу только блага всех заинтересованных, молодой человек. Не давайте воли своему озлоблению, вам выплатят все, что причитается, может быть, к делу будет привлечена Сегельфосская ссудно-сберегательная касса: в лавке достаточно ценностей.

— Вот и чудесно! — сказал Теодор.— Привлекайте свой банк, и чем скорее, тем лучше!

После того, как адвокат ушел ни с чем, в Буа явилась девица Флорина. Она не могла больше ждать. Но Теодор был настроен весьма воинственно и решительно заявил Флорине: деньги будут, когда будет ребенок.

— Как это? Не раньше?

— Нет.

Краткое раздумье, глаза Флорины почти закрыты.

— Тогда я напишу его невесте и все расскажу. Ее зовут Руфь, я знаю.

— Попробуй только, Флорина! Тогда тебя исследует врач, и ты будешь арестована на месте. Попробуй!

Флорина засмеялась:

— Неужто арестуют? Господи, помилуй! Что-то вы стали уж очень сердиты; не оттого ли, что вам приходится уходить из Буа?

В эту минуту Теодору было наплевать на стоявшую перед ним хорошую покупательницу, он тоже ответил грубостью:

— Ступай-ка домой и думай о себе, а не обо мне, потому что я плюю на тебя. У тебя три недели болели зубы до того, как Дидрексон появился здесь проездом на север, тому много свидетелей. Начальство возьмется за дело, и тогда выплывет наружу и то, за что адвокат подарил тебе сберегательную книжку.

Какой тон по отношению к хорошей покупательнице! Ясно, что Теодор боролся за нечто большее, чем справедливость; должно быть, он боролся за крупные кредитки, от которых раздулся его бумажник и которыми он мог распоряжаться. Девушка Флорина, правда, несколько изменилась в лице при такой его резкости, Но, верно, это оттого, что она была женщина, принадлежала к мягкосердечному и слабому полу. Она прослезилась и сказала:

— Я не думала, что вы такой бессовестный.

— Если ты еще раз посмеешь разинуть пасть, увидишь тогда, что будет! — пригрозил Теодор, пользуясь своим преимуществом. — Я не желаю больше слышать об этом ни слова! — Он гордо выпрямился, высморкался в носовой платок из искусственного шелка и сунул его в грудной карман, выпустив длинный угол.

— Ну, что ж, авось адвокат мне поможет, — сказала Флорина, вытирая слезы.

— Адвокат? Благодарю покорно! Адвокат и сам то не выпутается из этого дела.

— Напрасно вы в этом так уверены, — сказала Флорина.

И после этой сцены Теодор был еще в состоянии пойти в имение Сегельфосс поблагодарить господина Виллаца Хольмсена за его любезность. Он захватил с собою купчую на участок. Принес также и деньги, двести крон. Обидно поддерживать такого человека, как Конрад, ведь он совсем этого не заслужил.

Брови молодого Виллаца Хольмсена слегка нахмурились. Впрочем, в комнате сидел незнакомый господин, так что молодому Виллацу только и оставалось, что нахмурить брови, видя, что его приказания не исполняются.

— Разве вы не прочитали моего распоряжения относительно этих двухсот крон? — спросил он.

— Нет, как же, прочитал, — с досадой ответил Теодор. — И если таково ваше желание...

— Да, таково мое желание.

Незнакомый господин был приятель Виллаца Хольмсена, его звали Антон Кольдевин, тоже знатный барин с виду; но он так высокомерно смотрел на Теодора, что это было почти несноснее заносчивости Виллаца.

— Я только подумал... я ведь больше знаю здешних людей... но, разумеется! До свидания и благодарю вас за продажу. Я уже работаю на участке. Благодарю вас, нет пожалуйста, не беспокойтесь, я отлично могу пройти и здесь...

Теодор вышел опять черным ходом, как и пришел.

ГЛАВА XI

Оба друга остались одни.

— Ты как будто и не очень пытался проводить его другим ходом,— сказал, улыбаясь Антон Кольдевин.

— Это здешний купец, говорят, толковый малый,— отозвался Виллац.— Он на днях купил у меня маленький участок земли.

— И у вас вышло недоразумение из-за расчета?

— Нет. Я сказал ему, что делать.

Должно быть, Виллац был недоволен собой, оттого и не хотел сказать ничего больше. Да и что это за фантазия,— помогать какому-то бездельнику как раз вопреки своему убеждению! Но, разумеется, приходится держать данное слово, даже если и сделал глупость.

Что, собственно, сделал Виллац? Конрад слонялся без дела, несомненно, ему приходилось туго. Виллац видел, как по вечерам он спускался с гор, где сушилась рыба, с котелком в руках, потом Конрад перестал ему попадаться, рыба высохла, Конрад остался без работы. Виллац конечно, думал, совершенно правильно: «Какое мне дело до этого человека!» У него был товарищ, по имени Аслак, с тем Виллац рассчитался, Конрад же ничего не получил. Ну, да, но ведь он ничего и не заслужил. Но вдруг человек опять появляется на дороге, и Виллац встречает его; случайно это повторяется два-три раза, и каждый раз человек кланяется, Конрад снимает шапку и кланяется. Виллац посмотрел на него своими серыми глазами и сделал по отношению к бедняге то, что пришло ему в голову, что, впрочем, сделал бы его отец и дед: двести крон порциями по десять крон бедняге.

Но ведь теперь, сверх всего прочего, негодяй придет, протянет руку и поблагодарит,— у него ведь хватит на это смелости!

— Участок,— проговорил Антон,— а что, если бы и я купил у тебя участочек и поселился здесь?

— Тогда тебе не придется быть консулом, как твой отец,— чуть насмешливо ответил Виллац.

Антон Кольдевин был не из таких, что не умеют ответить.

— Кто может сравняться со своим отцом! Уж не воображаешь ли ты чего-нибудь в этом роде относительно себя? — спросил он.

Вот так тон! Друзья могут быть близкими друзьями, могут шутить, могут выцарапывать друг другу глаза со смехом. Во всяком случае, эти двое были хозяин и гость. Уже с первого дня они усвоили такой тон, и он становился постепенно все вольнее, они расходились все дальше и дальше, дошло уже до приятельской грубости, которая была изумительна и бесподобна. При этом гость все время увлекал за собой хозяина.

Вошла Полина, неся кофе. Нетрудно заметить, куда смотрят глаза Полины, а чужому молодому барину она даже не отвечает, хотя он разговаривает с ней ласково.

— Я живу здесь уже неделю, пора тебе взглядывать изредка и на меня, Полина, — говорит он. А по ее уходе продолжает, обращаясь к Виллацу: — Удивительные глаза у этой девушки!

В общем Антон Кольдевин был веселый человек, смелый, с несколько вульгарной развязностью. Он получил коммерческое образование в Сен-Сире и знал свое дело, вступил компаньоном в отцовское предприятие и проявлял большие способности. Отец мог теперь со спокойной совестью беречь свои силы, обзавестись досугом и двойным подбородком.

Антон и Виллац мало видались по окончании учения, когда съезжались в Сегельфоссе на каникулы, один из Франции, другой из Англии, ровесники, равные по рождению, одинаково способные, но совсем разные. Дружба их поддерживалась перепиской, и, уезжая нынче весной на родину, Виллац пригласил приятеля поехать с ним. Антон ответил, что да, он приедет и попытается отобрать у него Жар-птицу!

— Жар-птицу?

Тон и тогда был чересчур откровенен, и Виллац выбрал себя, что пригласил приятеля. «Жар-птица» — это было название нового железного баркаса фирмы Кольдевинн, там оно было уместно, но не здесь; ведь взрослым Антон встречал фрекен Хольменгро всего два мельком в Христиании. Да и можно ли вообще думать так по-купчески о ее золоте!

— Ее нельзя взять, ее можно только получить, — ответил тогда Виллац.

— Я не знаю ни одной, которую бы нельзя было взять!— возразил на это Антон.

Оказалось, что годы развели друзей очень далеко, в дружбе их очень быстро обнаружались трещины, и хорошо, что Антон мог бросить дело всего на две недели, а потом должен был спешить домой. Но и в отпущенное им короткое время, приятели причиняли друг другу много неприятностей.

Вначале Антон вел себя в доме господина Хольменгро тихо и мило, настолько сдержанно, что фрекен Марианна решила напомнить ему, что они старые знакомые. Это сразу подействовало.

— Вы все смотрите на мое кольца, почему вы смотрите?— весело спросила она.

«Соображает, сколько они стоят», — подумал Виллац.

— Я смотрел на вашу руку,— ответил Антон.

— Что же вы смотрели? Выйду ли я замуж?

— Ха-ха, вы хотите сказать — сколько раз?

— Ах, что вы! Фи!

— Да, вот он какой! — сказал Виллац.— Хорошенького господинчика я заполучил в дом!

Все трое засмеялись, Антон несколько принужденно.

— Я не очень гонюсь за тем, чтоб казаться изящным,— сказал он, или изображать знатного барина, или англичанина. Я француз, я натурален.

— Я норвежка,— сказала Марианна.

— Потому-то мы вас и любим, фрекен.

Вначале Виллац думал вырвать у приятеля жало слишком большой откровенности, он узнал теперь Антона и знал, чего от него можно ждать. Но Виллац скоро перестал следить за ним, пусть Антон сам разделяется, если зайдет слишком далеко.

— Ну, вы теперь так хорошо освоились друг с другом, что я могу уйти,— сказал он.

На это они опять засмеялись, но Марианна недовольно протянула:

— Партитура! Он занят какой-то вечной партитурой!

— Он — вундеркинд,— сказал Антон.— Он счастливчик, родился в рождественский сочельник и почти сразу же заиграл на рояле. Но с ним происходит, должно быть, то же, что со всеми такими детьми: когда ребенок вырастает, чудо исчезает. Не правда ли, Виллац?

Это задело почти что за живое. Марианна низко опустила голову, Виллац ответил:

— Хе-хе, весьма возможно, что ты прав! Ну, прощайте пока! И будьте пайиньки!

Но Антон очень скоро заметил, что ему следовало уйти вместе с Виллацем. Марианна смотрела ему вслед в окно и говорила уже невесело. Немного помогло и то, что Антон по всему был очень остроумен, говорил приятные вещи и признавался, что приехал сюда исключительно для того, чтобы увидеться с нею; Марианна отвечала:

— Да не может быть! Неужели это правда? Положим, я постаралась произвести на вас неизгладимое впечатление лет десять, двенадцать тому назад.

Антон ежедневно ходил к господину Хольменгро и приносил с собой молодость, веселость и развязность. Он замечал, что Виллац продолжает стоять на его пути,— этот человек с усадьбой и музыкальным талантом, в остальном же — совершенное ничто, тогда как у него самого настоящее дело. Ведь это же все чепуха, из Виллаца ни черта не выйдет, почему же он все-таки пользуется предпочтением? На что это похоже? Однажды, когда они сидели все вместе и разговаривали, она сняла с его плеча пушинку, и можно было подумать, что пушинка пристала к ее собственному плечу, так спокойно и естественно она ее сняла.

Мы прощаем тем, кто выше нас, да, это так. Но мы не прощаем равному, если он в чем-либо превзойдет нас. Антон привык идти вперед без задержки,— здесь он споткнулся. Это не образумило его. У него были даже точки соприкосновения с хозяином дома, с господином Хольменгро, они с интересом разговаривали о войне на Востоке, о пароходстве в Южной и Центральной Америке, о тоннаже,— во всех этих вопросах Виллац был, практически говоря, полнейший неуч и только слушал. То, что он — нуль, должно было бы повредить ему, умалить его шансы до минимума,— ничего подобного! Боже, что за чепуха! А ведь господин Хольменгро еще смотрел на Антона с таким уважением во время этих разговоров.

— Ваши расчеты на Южную Америку, конечно, совершенно правильны, господин Кольдевин,— если вам повезет!

Антон отвечал:

— Баркас, наверное, будет счастливым — он называется «Жар-Птица»!

Так прошла первая неделя.

И вот теперь друзья сидят вдвоем и чувствуют, что дружба их стала довольно прохладной. Антон повторяет, что у Полины какие-то необыкновенные глаза, но говорит, что это почти все, что у нее есть.

— Ты имеешь в виду приданое? — язвительно спрашивает Виллац.

— Может ли она заведовать хозяйством? — спрашивает Антон.— У нас есть дача, там коровы и сепаратор. Это величайшая комедия: по вечерам, когда коровнице некуда спешить, она со сна чуть сама не валится в сепаратор, по утрам же, когда ей некогда, она крутит ручку, как угорелая, чтоб поскорее отделаться. Может, и Полина в таком же роде?

— Нет,— сказал Виллац.

Антон посмотрел на него и усмехнулся:

— Извини, что я слегка усмехнулся: ты делаешь некоторые вещи так же, как делал твой отец. Ты его копируешь.

Виллац собрался уходить. Антон выразил изумление, что хозяин так бесцеремонно обращается с высокочтивым гостем: позволяет себе уйти от него. Что же в таком случае делать гостю?

— Если бы ты, например, пошел опять к господину Хольменгро,— сказал Виллац,— ты избавил бы меня от необходимости сидеть здесь и слушать твои грубости.

— Наверное, опять партитура?

— Да. Партитура.

— Вечная партитура, как сказала фрекен Марианна. Нет, во-первых, я не собираюсь сегодня к господину Хольменгро. Ты с такой готовностью отправляешь меня к ним, почему это? Потому что я насколько безвреден?

— Ты не совсем безвреден. Ты вредишь самому себе.

— На это то ты и надеешься. Знаешь что, я не чокнулся с тобой этим последним глотком ликера, я допью его один.

— Постыдись! Ведь ты мой гость.

— Нет, я не пойду сегодня сразу к господину Хольменгро,— продолжал Антон.— Туда я пойду попозже, а сначала в другое место. Как зовут этого молодого господина, что был здесь?

— Ты спрашиваешь про Теодора? Теодор Иенсен, Теодор из Буа, лавочник.

— Отлично. Я обдумал и чувствую себя оскорбленным, что ты обошелся с ним так свысока. Что он тебе сделал?

— Ничего.

— Этот молодой человек — торговец, деловой человек, в некотором роде мой коллега, разумеется в меньшем и более узком масштабе. Я оскорблен за него, ты его не проводил.

— Нет.

— Почему?

— Потому что не хочу, чтоб он ко мне приходил.

— Ведь ты сам назвал его толковым человеком?

Разумеется, он гораздо дельнее тебя. Человек, у которого есть почва под ногами. А ты ведь — ничто.

— Отсутствие коммерческого воспитания мешает мне ответить тебе, — сказал Виллац. — Ничто? Что за чушь! Это звучит странно, но даже и самый ничтожный человек — кое-что. Возьми, например, дельца, посредника: он покупает не для потребления, а для перепродажи с прибылью. Представь себе, что все люди начнут сами покупать все нужное для своего потребления, и посреднику конец. Так легко его устранить. Тебе и Теодору Йенсену конец. Вы и есть то ничто, о котором ты упомянул. Но все-таки кое-что вы собой представляете, вы, например, обладаете способностью одного пускать к себе в дом, а другого не пускать.

— Я пойду сделаю ему визит, — сказал Антон. — Извини, что я не слышал ни слова из твоего философского рассуждения. Ты, кажется, сказал, что обладаешь способностью не пускать в свой дом, кого хочешь? Это надо понимать вообще?

— Перестань говорить глупости.

— Если это относится к моему коллеге Йенсену, то относится и ко мне.

— Ты хочешь заставить меня вспылить? Этого ты хочешь? — спросил Виллац с особым ударением.

— Мне все равно, что бы ты ни сделал! — ответил Антон. — Выйдем вместе, нам немножко по пути. Я иду к моему коллеге. Пожалуйста, не воображай, что я раздумую.

А Антон Кольдевин действительно пошел в Буа, будто бы за табаком, и имел долгую беседу с Теодором. Его познакомили с положением: Буа находится в состоянии раздела, здесь будут торговать две сестры и поверенный по делам, а сам Теодор открывает дело рядом, — все это, конечно, безумие и самоубийство, но неотвратимо. Антон был очень любезен с Теодором, а Теодор в свою очередь чуть не лопался от важности перед приезжими гостем.

Он собирается устроить осенний праздник, говорил он, пикник с музыкой и угощением на моем птичьем острове...

— У вас есть и птичий остров?

— О-о, мало ли что у него есть: тресковые промыслы, птичий остров, генеральная агентура «госенского» масла, театр...

— Подумайте, птичий остров! С гагарами, гагачьим пухом?

Теодор кивает: чудеснейший товар, первоклассный. Маленькая избенка на острове. Если б он осмелился питать надежду, что такой человек, как господин Кольдевин, согласится принять участие в празднике...

— Отчего же, спасибо, что невозможно. Подумать только, пикник на птичьем острове, да ведь это все равно, что молоть бриллианты на еду! Когда же это будет?

— Через несколько времени. Нельзя раньше осени, пока птицы не улетят с острова...

— Я спрошу фрекен Хольменгро, не поедет ли и она, — сказал Антон.

Впрочем, Антон Кольдевин сделал этот визит не только ради своего коллеги Теодора, но и ради его сестры, той, что служила камеристкой у консула Кольдевина в Вестландии. Надо же было Антону из вежливости навестить ее родных, но он не особенно распространялся на эту тему.

— Вам кланяется ваша сестра, — сказал он.

— Благодарю вас, — ответил Теодор, — она скоро приезжает, и тоже будет выбрасывать меня вон!

Антон отправился к господину Хольменгро и застал там Виллаца. Виллац пошел туда, а совсем не на кирпичный завод, к своей партитуре! Вот хитрая душа, черт знает! Антон больше не станет с ним считаться и уедет раньше срока! Виллац, конечно, мог бы сгладить впечатление, если б объяснился, но нет, он не объяснился; он мог бы сказать, что попробовал работать, как и было на самом деле, но ничего не вышло, он не сдвинулся с места и сегодня, как уже за много дней до того, поэтому пошел на люди, чтоб немножко освежиться. Он не сказал ни слова. Это было его английское кривляние — молчать. Антон от души презирал английское кривляние.

— Я был у купца Иенсена, — сказал Антон. — Он пригласил меня на праздник, который устраивает осенью на своем птичьем острове. Это наверное будет забавно, я принял приглашение. Я приеду опять и непременно буду.

«Отлично, значит, ты опять к нам приедешь! — мог бы сказать Виллац.

«Возьмите меня с собой на праздник! — могла бы сказать фрекен Марианна.

Никто из них не сказал ни слова.

— У адвоката тоже будет осенний праздник, — проговорила наконец фрекен Марианна. — Ты пойдешь, Виллац?

— А меня пригласят? — спросил он.

Молчание.

— Это на тебя не похоже,— сказала вдруг Марианна,— добиться приглашение только для того, чтоб отказаться.

Антон посмотрел на обоих с изумлением; выходит, что они в ссоре, грызутся?

Пусть делают, что хотят, он не желает больше слушать.

— Извините, фрекен Марианна,— сказал он,— я, собственно, пришел к вашему отцу. Как вы думаете, могу я поговорить с ним минутку?

— Посиди и подожди, он наверное придет,— ответил Виллац и собрался уходить.

— Отец на мельнице,— сказала Марианна.— Я не знаю, когда он вернется. Отчего бы нам не пойти туда всем вместе, может, мы его встретим?

Пошли все вместе. Виллац немножко неохотно и посмотрел сначала на часы.

Они вышли на большую проезжую дорогу между мельницей и пристанью, там стоял человек и ждал. Это был Конрад. Он поклонился и шагнул вперед, словно собираясь заговорить, но остановился один Антон, остальные прошли дальше.

— Зачем ты так сказала? — спросил, смеясь, Виллац.— Он подумает, что мы поссорились.

Глаза Марианны сделались длинными и узкими, почти совсем закрылись.

— А пусть себе думает! — сказала она.— Не все ли равно! — и перешла к другому: — У нас опять нелады с рабочими.

— Опять?

— Я не знаю в точности причины, да много ли для этого нужно? Насколько я понимаю, они разобиделись из-за какой-то бумажки, записки в Буа. Они брали там товары и записывали их на счет мельницы; теперь папа распорядился, чтоб на мельницу не отпускали никаких товаров без записки от заведующего мельницей или рабочего старосты. Вот эту-то записку рабочие и требуют отменить: это, говорят, издевательство, все равно, говорят, что наклеивать на себя ярлык.

— Да, они стали ужасно шепетильны,— сказал Виллац.

— Но потом все успокоилось, и по весьма основательной причине. Оказывается, Оле Иоган не умеет писать, и вот рабочие сами пишут вместо него и выписывают, что хотят. Ха-ха-ха, ну, как же не смеяться! Никто не ходил за записками к Бертелю из Сагвика, потому что он умеет писать, все ходили к Оле Иогану. А в конце концов не стали ходить ни к кому, а писали сами; тогда у Теодора

возникли подозрения, и дело раскрылось. Сегодня к папе пришли двое и сказали: пусть виновные заплатят за товары, которые они получили обманным образом! — Я их уволю, — сказал папа. На это они не согласились. И папе пришлось пойти с ними на мельницу для переговоров.

— Он пошел с ними договариваться? — спрашивает Виллац.

— Что же ему было делать!

— Не понимаю, что за охота твоему отцу возиться с мельницей.

— Наверно, у него есть свои причины, не знаю.

У каждого свои причины. Мне следовало бы дать ему зятя, который бы ему помогал, — сказала Марианна, — а я этого не делаю.

— Попробуй только! — шутливо сказал Виллац.

— Вообще, мне надо дать ему зятя, — продолжала Марианна, — но я, конечно, этого не сумею.

Виллац засмеялся громко и уверенно, как собственник:

— Подожди еще немножко, — сказал он, — месяц или около этого, а может быть и меньше. У меня ведь не все дни неудачные.

— Мы ждем партитуры. Вот чего мы ждем.

— Мне хочется достигнуть чего-нибудь большего, чем теперь, к тому времени, когда ты удостоишь меня согласием. Оцени хорошенько эту благородную черту твоего почтительнейшего слуги.

Марианна, видимо, не могла поддерживать тот же шутливый тон, а может быть и не хотела. Ей следовало бы понять по манере Виллаца, что веселость его деланная и весь легкий тон его речи неискренен. Разве она не видела, как дергались его брови? И дергались тем сильнее, чем определеннее она говорила. Эти обнаженные фразы, конечно, оскорбляли его, — она ведь вовсе не стремилась пристроиться. Ах, эти необдуманные выражения, когда она оставит их! Он отлично знал, что по натуре она совсем не груба, до сегодня она была нежна и ласкова, как в дни детства, когда просила, чтоб он поцеловал ее «длинную-длинную минутку». Но он знал также, что ее путешествия и позднейшие знакомства изменили многое в ее взгляде. Она бывала иногда дерзка, дерзостью современной Норвегии, кое-что из новых нравов привилось и ей. Одобрение, с каким она встречала в обществе какую-нибудь смелую, откровенную фразу, составляло для него муку, много раз это отдаляло их друг от друга и кончалось ревностью и размолвками.

Но Марианна — о, она была коварная, как ее прабабушка-индианка, и отлично знала, что делает. «Гнутья или ломаться!» — верно думала она.

Марианна сказала:

— Антон, я слышу, остается. Нет, — продолжала она, — уж если ты вбил себе что-нибудь в голову, Виллац, этого из тебя не выбьешь.

— Да, я очень скучный, — согласился он.

Тогда у нее вырвалось:

— Мне кажется, мы слишком уж привыкли к тому, что в течение стольких лет нас предназначали друг для друга.

Должно быть, это было непререкаемо верно, потому что он несколько раз кивнул.

Антон догнал их бегом.

— Извините, что я отстал, — сказал он. — Виллац, меня просили передать тебе благодарность.

Виллац нахмурился. Он, конечно, понял, чего дожидался Конрад, и умышленно прошел мимо, как бы не заметив.

— Да, меня просили передать тебе благодарность, — продолжал Антон, не смущаясь. — Я не передам ее без квитанции. Ты только смотришь на меня?

— Да. Я, так сказать, смотрю на тебя.

— Что бы ты ни делал, — продолжал Антон, — в наших местах такое поведение тебе не сошло бы с рук. Приходит человек и хочет поблагодарить тебя за что-то, а ты даже не слушаешь его, не видишь его.

Виллац ответил:

— Ты побеседовал с ним. Ты умеешь, обходиться с народом.

— Господи, можно ли до такой степени ломаться! — от души воскликнул Антон. — Не понимаю, что тебе за охота! Твой отец поступал так или иначе, потому что это было в нем, искренно; но ты — ты просто в роде управляющего величием, оставленным твоим отцом.

Марианна расхохоталась и рассмешила Виллаца.

— Хорошенький тон для друга и гостя! — сказал он. — Антон словно на иголках от страха — а вдруг он будет недостаточно груб.

— Я умею обходиться с народом! — сердился Антон. — Да, что ж поделать! Я не завидую твоей мрачности, она закрывает для тебя жизнь разными тонкостями и глупостями. Посмотри, вот это жизнь! — сказал он, протянув руку.

Навстречу ехали двое возчиков, они грузили муку, и лица у них были до смешного одинаковые. «Но!» —

погоняли они лошадей. Телеги скрипели под тяжелым грузом, люди шли рядом с возами, изо дня в день шли рядом. По прибытии на пристань они сваливали муку и нагружали рожь, везли рожь на мельницу и опять забирали на пристань муку. Изо дня в день, изо дня в день!

— Мне кажется, я вижу, как ты принимаешь участие в этой жизни! — сказал Виллац.

— Я участвую в ней по-своему, — ответил Антон. — За этим-то я и ищу господина Хольменгро, мне нужно маленькое разъяснение, намек. Я тоже хлопочу и тружусь, хоть и не с мукой. А ты иди домой, Виллац, и женись на красавице Сюннэве Сольбаккен.

И опять Марианна засмеялась, на этот раз одна.

— А он не смеется, — сказала она. — Ты не смеешься, Виллац?

— Разве, что ты прикажешь найти это забавным, — ответил он.

Господин Хольменгро шел им навстречу, приветливо кланяясь, спокойно, как счастливый отец для всех и вся, чудо равновесия. Марианна спросила, уволил ли он грешников, но отец только улыбнулся и ответил, что грешников оказалось слишком много.

— Вот ты, поклонник жизни, тут есть кое-что интересное для тебя, — обратился Виллац к Антону. Все трое ввели его в курс дела, и Антон, выслушав, заключил:

— Да, значит, не было контроля.

Виллац засмеялся:

— Правильно! — сказал он. — Виноваты обе стороны, так и будет написано во всех газетах. И если дело дойдет до суда, все судьи скажут то же самое. Я должен давать рабочему работу и плату, но если он у меня украдет, то вина падает на нас обоих: я должен был дать работу и плату другим, которые контролировали бы рабочего, потом работу и плату контролерам над контролерами. И в то же время рабочий требует прибавки за хорошо выполненную работу или грозит забастовкой.

— Что же ты бы с ними сделал?

— Если на свете мало сволочи, я предоставил бы ей жить, и развиваться. — В нашем деле я рекомендовал бы третейский суд, — сказал Антон господину Хольменгро.

Тогда Виллац опять засмеялся, запрокинув голову, с необычайной для него веселостью:

— Совершенно верно! — воскликнул он. — О, Антон Фредерик Кольдевин — так ведь, кажется, тебя зовут — ты настоящий алмаз, как раз по теперешнему времени.

— Я не имел, разумеется, в виду третейский суд по поводу самого преступления, самого проступка,— обиженно возразил Антон.— Но если дело обострить, все рабочие будут заодно, и мельница остановится. Я думаю, господину Хольменгро это совершенно ясно. Пусть рабочие сами устроят между собою суд, от этого они не откажутся. Третейский суд должен касаться только записки, ярлыка: оставить его в силе или отменить.

— Послушай, папа, а разве грешников было так много?— спросила Марианна, которой наскучил спор.

— Да, много. По-видимому, все, за исключением Бертеля из Сагвика и Оле Иогана.

— Стало быть, за исключением контролеров. А какие же товары они забирали?

Господин Хольменгро улыбнулся:

— Разные. Вплоть до парусины, до керосина.

— Ну, нет, я никогда!..

— Они внушили Теодору-лавочнику, что наши собственные цистерны керосина пусты, и взяли одну в раздел. Парусина им понадобилась будто бы на сита. Маргарин — для бутербродов, когда у них сверхурочные работы, потому что тогда по их словам, они должны получать харчи. Ха-ха, они положительно бесподобны! Прodelка эта тянулась довольно много времени.

Антон покачал головой, и, пожалуй, никогда у него не было к тому больше оснований: бесконтрольность была уж чересчур велика.

— Что же ты сделаешь, папа?

— Ничего нельзя сделать, слишком многих пришлось бы наказать.

— Кроме того, это наказание обоюдоострое.

— Неужели ваши бухгалтеры сразу же не заметили этого? — спросил Антон, чуть не дрожа от деловитости и опытности. Он позабыл, что помещик может быть, не нуждался в его участии.— Разве не было специального счета из Буа? — спросил он.

— Нет,— просто ответил господин Хольменгро.

— Однако...— начал Антон, но смолк, когда Марианна улыбнулась его азарту.

— Я вижу, что приходится открыть карты,— сказал господин Хольменгро, тоже улыбаясь: он в свое время сказал Хольменгро, что не надо выписывать спецификации счета, так как статей будет немного. Ему хотелось оказать Теодору это доверие, которое он считал заслуженным, да, впрочем, Теодор и не сплутывал. Этот Теодор, между

прочим, очень, очень дальний его родственник, его мать доводится господину Хольменгро чем-то вроде троюродной сестры, и он вначале помогал семье устроиться здесь, в Сегельфоссе.

— Ах, вот как! — сказал Антон.

Но, конечно, нельзя не признать, что это странный способ вести дело. Ведь это мог допустить только колоссально богатый человек.

Они стояли на перекрестке, оттуда Виллац должен был свернуть на кирпичный завод, к своей партитуре. Он уже приподнял шляпу.

— Кстати, господин Хольменгро не можете ли вы рекомендовать мне опытных метчиков?

— Метчиков? — спросил помещик, отвлекаясь от своих собственных переживаний. — Да, найдутся. Я тщательно осмотрел ваш лес и думаю, что в нем много пригодного.

— Благодарю вас! — сказал Виллац и пошел.

Господин Хольменгро был, по-видимому, настолько мало взволнован беспорядками на мельнице, что мог дать вежливый и толковый ответ на совершенно посторонний вопрос. Но тончайший оттенок неудовольствия в его ответе не ускользнул от внимания Марианны, — что он означал? Она не знала, что у ее отца тоже было о чем спросить: о горах, которые он хотел купить или арендовать, о пастбище для тысяч экспортных овец, — как обстоит дело с этим? Но он ничего не сказал. Марианна подумала: должно быть, его сердит, что Виллац не может сам наладить порубку леса, ему во всем приходится помогать!

Она взяла отца под руку и тихонько проговорила, не глядя на него, как будто даже и не говорила:

— В качестве твоих детей, я протестую, что ты злишься на Виллаца!

— Ах ты, маленькая индианочка! — смеясь, ответил он.

Нет, он ни на кого не злится. Вернувшись домой, он пригласил Антона в кабинет и полчаса разговаривал с ним о южноамериканских делах и давал толковые советы. Антон нашел, что сущее удовольствие слушать такого опытного человека. Да, судя по всем признакам, Антон хорошо распорядился с «Жар-Птицей», но надо считаться и с удачей, говорил господин Хольменгро. Предприятие Антона, по-видимому, заинтересовало старого авантюриста, короля Тобиаса:

— Напишите мне два слова о результате! — сказал он.

Он остался в кабинете, когда Антон вышел в гостиную.

Марианна, должно быть, вдруг решила, что на ней слишком тяжелые украшения, и за эти полчаса сменила

большие золотые полумесяцы в ушах на жемчужины. Антон сейчас же это заметил и подумал, что у нее стал более приличный вид. Эти болтающиеся полумесяцы, висевшие на тоненьких цепочках, были, пожалуй, индейским или, если можно так выразиться, музыкальным украшением, жемчужины придавали ей более европейский вид. Она разрешила ему сказать это и ответила:

— Вы находите? Это меня радует.

— Вас радует, что мне нравится?

— Да, именно.

— Вот как! Но я этого не понимаю,— сказал со всею непосредственностью Антон.

Он заговорил о своем предстоящем отъезде — посмотрим, когда отходит пароход на юг. В пятницу? Ну, вот тогда он и уедет. Но он вернется, когда улетит гагара.

— Что это значит? Кто это — гагара?

— Ах, боже мой!— воскликнул Антон,— В чем вы меня заподозрили? Гагара? Это когда гагары улетят с острова, из своих гнезд на острове, с птичьего острова купца Иенсена.

— Ах, да, я и забыла. Вы приедете опять к празднику на птичьем острове.

— В особенности, если я и праздник можем надеяться на ваше присутствие.

— На мое присутствие? Нет, извините!

Антон долгое время размышлял над этими словами и опять обиделся: ну да, он собирался быть на празднике у своего коллеги, купца Иенсена. Дельный малый, передовой человек этот так называемый Теодор из Буа, посмотрите, как энергично он действует, посмотрите, как от него расходятся круги все шире и шире! Это человек будущего! Иные люди как будто живут в прошлом. Они слепы, как кроты, но ходят с широко раскрытыми глазами, даже производят впечатление мудрецов, оттого что походка у них такая твердая. Но они совершенно слепы. Таким людям следовало бы отвести остров среди моря, они не знают, что жизнь — это дневной свет, торговля и артиллерия.

— Отчего бы и вам, фрекен Марианна, не поехать на непринужденный праздник, где все участники будут вам рады?

Напрасно он тратил свое красноречие. Марианна сказала, что больше не хочет об этом слышать.

— Не буду, не буду,— сказал он.— Но я приеду опять осенью. Остановлюсь в гостинице — как это она называется? — в гостинице Ларсена.

По уходе Антона Марианна разыскала какое-то старое рукоделие, посмотрела на него и опять отложила. Взяла книгу, прочла несколько строк, потом принесла колоду карт, перетасовала. Вдруг она отворила дверь в кабинет и сказала, что пойдет еще немножко погулять.

— Иди, иди! — ответил отец, по обыкновению ласково и добродушно.

И вот он остался один, на всей своей половине. Что-то произошло с ним после того, как Антон вышел из кабинета: неужели старость могла так быстро сказаться? Или это мрачные мысли пригнули его к земле и придали ему такую некоролевскую осанку? Перед ним не лежало никаких бумаг, и он не подводил никаких счетов, просто сидел и смотрел белесовато-голубыми глазами на свои руки: нет, масонское кольцо не спасло его, ничто не спасло, даже и то, что он таинственно косил глазами в сторону и строил гримасы, как будто сговариваясь с кем-то невидимым, — рабочие победили его. Они сейчас же начали говорить ему «ты» и называть Тобиасом. Это был смертельный удар. Они утратили всякое уважение к нему, опять его поймали на том, как он гонялся по ночам за девками; правда, он сослался на то, что осматривал лес для Виллаца Хольмсена, под вечер очутился очень далеко в горах и попросился переночевать на одном хуторке.

«Ха, ты плут и фармазон, Тобиас, ты точь-в-точь такой же, как и мы грешные, ничуть не лучше! А теперь ты опять накинул цену на муку! Мало ты высосал из нас крови, у нас осталась еще крошечная капелька. Неужто и стыда у тебя нет? А стоит нам написать маленькую бумажку, пойти в лавку и получить какую-нибудь малость для поддержания жизни, ты обрушиваешься на нас, словно рабовладелец какой, и высчитываешь нам каждый грош. Только и остается, что наплевать на тебя!»

Несколько человек рабочих были спокойнее и обнаружили чувство справедливости, они предупредительно кивали головой и признавали, что кое в чем помещик прав.

— Это не так уж глупо! — Он уж вовсе не такой дурак! — говорили они.

И это было, пожалуй, хуже всего. Аслак уже ушел с мельницы, но дух Аслака остался.

Нет, это было совершенно невыносимо, положительно ему при рождении не дано способности властвовать, он мог быть только сказкой. Люди вбили себе в голову, что бог, знает, как еще обстоит насчет его богатства. Он спекулировал, наживал деньги, терял деньги, может, у

него уж не осталось даже и одного миллиона, который он бы мог потерять! Для народа это было важнее всего. Почему он накинул на муку? Милые мои, если он это не сделал из нужды и необходимости, так ведь он ни на волос не лучше любого человека в Сегельфоссе, и тогда за что же нам его уважать? Плевать нам на него!

О чем он думает и размышляет, рассматривая свои руки? Понял ли он сегодня, что новый способ, который он применял в течение нескольких недель, провалился? Что ему предпринять? Ведь он природный крестьянин, сегодня, как и вчера, фантазия не совсем еще извратила для него действительность, он не спускал из вида земли, даже когда летал. Когда на прошлой неделе он набивал цену на муку, то сделал это по справедливому и правильному расчету, и все же продавал дешевле других мельников на сумму, почти соответствующую фрахту,— так что же, и этого он не должен был делать! Люди? Вот тут-то и выяснилось отношение к нему людей: если он не богат, он — ничего! Ах, как они ошибались! Жизнь этих людей по сравнению с катастрофой. А его богатство? Что именно им надо о нем знать? Может быть, он в состоянии утереть всем нос своим богатством, а может и нет. Может, у него не найдется даже и того, что золотоискатель находит в один-единственный день — что же из этого? А может быть, у него больше, это никому не известно. Случалось, что Марианне, хитрой и умной Марианне, хотелось узнать, что написано в разных письмах и телеграммах, которые получал ее отец. «Скажи мне, папа,— спрашивала она, шутя,— зачем ты отправил своего сына обратно в Мексику ребенком и обучил его управлять поместьями и кораблями?» — «Чтобы ты думала, что у меня есть поместья и корабли в Мексике!» — загадочно отвечал он.

Но если он приехал в Сегельфосс из каприза, то ведь долгое его пребывание здесь, при рабочих беспорядках и при постоянно уменьшающемся личном уважении к нему, было полнейшей бессмыслицей. Если он мог жить всюду на земле, почему он жил именно здесь? По-видимому, ничто не могло удержать его здесь — ни фру Иргенс с ее кушаньями, ни рабочие и мельница, дороги, река, приходящие суда — ничто. А может быть, заветной мечтой его было жить и дышать на родине — это первобытное инстинктивное стремление, непобедимая сила, крест? В таком случае, милые люди, ему следовало бы растоптать вас, следовало бы идти своей дорогой и растоптать вас, как соломинку под ногами, и ничего больше.

Он никого не топтал, не умел, он не был повелителем. Повелитель? Он даже не мог удержать свое богатство и не всегда умел отвечать сдержанностью на насмешку какого-нибудь рабочего. Вот, разве он не сидит сейчас в своем кабинете и не размышляет об испорченности мира? Все шло хорошо, пока он был королем и сказкой, шло великолепно, все живое склонялось перед ним; а потом пошло скверно. Он родился на острове, он отошел на шаг от крестьянина, принадлежал всего лишь к первому поколению некрестьян — чего же еще можно было от него ждать! И все-таки он был для Сегельфосса сказкой. Он был звездой, сиявшей над сборищем обыкновенных плутов.

Он выходит в столовую и опять возвращается назад, вошел в дверь, прислушиваясь и крадучись, и теперь садится, с таким видом, будто спасен: хозяин дома спасся! И вот мало-помалу на душе у него начинает проясняться, он улыбается. Господи, да есть ли из-за чего печалиться? Строго говоря, разумеется, ему не следовало опять быть таким сумашедшим, опять таким молодым. Девушки никогда не могут смолчать о том, что делает барин, постоянно спрашивают друг друга: «А с тобой это было? Где? Сколько раз?» Ах, этот Синбад-Мореход, безумец, седой юноша! Не оттого ли фру Иргенс вот уже много лет так трудно залучить в дом горничных? А далеко от здешних мест были страны и берега, цвели кофейные деревья, бананы и сахарный тростник струили аромат, ночи — были для мореходов и безумцев. Были острова с желтыми, черными и белыми женщинами. Если хорошенько все взвесить, ему не следовало так тщательно осматривать лес Виллаца Хольмсена, положительно не следовало, — горные хутора, в сущности, представляют мало привлекательного, если не считать того, что у горничной Марселины там живет молоденькая сестра. Ее отец подвез его именно с горы на телеге; ее отец всегда предлагает подвести его.

Если рабочие на мельнице считают его своей ровней, то они очень ошибаются. Он совсем не то, что они. У него в голове иного идей и великих замыслов. Горные пастбища для тысяч экспортных овец — это только маленькая частичка в длинной веренице мыслей, заканчивающейся фабрикой консервов и флотом для вывоза. Он может провести электричество и построить механический завод. Может пахать паром. Но может заинтересоваться устройством аптеки и книжного магазина в Сегельфоссе и даже открыть мелочную лавку и зарабатывать три тысячи в год и жить припеваючи. Хе-хе, он все может — может

воспользоваться глупостью и болтливостью мальчишки Теодора и вдруг выступить в качестве его конкурента! Не удастся один новый способ, он может попробовать другой, поновее, он все может. И не бойся, голубчик Теодор, мы не потревожим тебя в твоей лавочке, живи себе спокойно на своей кочке на радость и гордость своей матери! У вас есть на уме кое-какие другие планчики, один из них мы осуществили вчера, в Тихом океане, вот телеграмма! Военному ведомству понадобилось наше маленькое суденышко, наше чудесное маленькое суденышко «Сова»; «Сова» не стала дожидаться дня, она ушла ночью, ушла в тысячу и одну ночь, нагруженная бриллиантами. «Переправьте ее нам!» — сказало военное ведомство. Пожалуйста, двести двадцать тысяч! Голубчик Теодор, она стоила нам шестьдесят тысяч! Но сегодня мы немножко жалеем об этой сделке, судно было хорошее и возило бриллианты. Повел его молодой человек, сеньор Феликс, сегодня он командует другим судном, сеньор Феликс — удачливый авантюрист.

Господин Хольменгро совершает новую прогулку в столовую и снова прокрадывается обратно, грудной карман его набит. У матросов бывают такие карманы, когда они сходят с корабля на берег. Наступил вечер, господин Хольменгро смотрит на часы и выходит из дома. На лестнице он сталкивается с дочерью и шутиливо говорит:

— Вот счастливая встреча!

— Спасибо,— отвечает она, улыбаясь.

Они всегда добрые приятели и товарищи. И ни он не спросил ее, откуда она пришла, ни она не спросила, куда он идет.

Он пробыл довольно долго на пристани в своей конторе, отдал кое-какие распоряжения и засадил конторщика на экстренную работу, которая займет несколько часов. Между тем ночь потемнела настолько, насколько может потемнеть в это светлое время года,— закоулки и тропинки между сегельфосскими домами виднелись явственно.

Начальник станции Борсен выходит с телеграфа и в медлительной раскачке несет свои плечи по дороге к набережной. Все знали, что этот нерегулярный человек регулярен в одном: аккуратно каждую ночь гуляет. Он думает, философствует, глаза у него открыты, он улыбается какому-нибудь наблюдению, хмурится, услышав шум. Хорошо, что стоит лето, он без пальто, и голова у него, должно быть, занята важными вещами, если он вообще так мало заботится о своем платье. На ходу брюки у него

съезжают, материя на них расползается, это плохая материя, у пяток совсем бахрома. Но начальник станции Борсен хорош тем, что не обращает внимания на свои брюки, а когда смотрит на бахрому, говорит, что ноги у него стали чересчур длинны. Вообще, а иногда произносит замечательные сентенции.

Он долго бродит по набережной и досконально знает каждый стоящий там ящик и каждую бочку; вдруг он слышит шум, хмурит брови и идет туда, откуда слышится шум. Ночь тиха, говорят возле одного из домов, возле дома пристанского конторщика, это голос самого конторщика, он бранится, чем-то раздражен и гонит перед собой человека. Конторщик — самый лучший бас в певческом кружке зрителя пристани и мог бы говорить гораздо громче, но сейчас он шепчет, шипит:

— Так вот зачем вы дали мне ночную работу, не подлая ли вы после этого свинья! Чего вам здесь надо? Ходите и лавируете под окнами! Но счастье, что Давердана не таковская, она не отопрет. Вот я вас проучу!

Он гонит человека перед собой, продолжая шипеть:

— Что — ах, черт побори! Видал ли кто такую собаку? Чего вы здесь шляетесь и вынюхиваете? По-настоящему следовало бы вас огреть дубиной по загривку!

«Барин и слуга!» — думает Борсен, уходя! Он косится через плечо и видит, как барин упорно старается увильнуть от игры и жалобно ухмыляется. А что же ему и оставалось, как не ухмыляться жалобно? Борсен усердно философствует: он спас бы барина от слуги, если бы была к тому какая-нибудь возможность, и, в сущности, он мог бы сейчас завернуть к Давердане и успокоить ее относительно шума перед ее домом, — тут Борсен улыбается, как будто дофилософствовался до чего-то приятного.

Но в это время преследуемый барин решил: внезапно и словно выбрав место, откуда он больше не нуждается в провожатом, он пригнулся к земле и побежал, через мгновение он уже исчез. Слуга тихонько и безмолвно последовал за ним, вероятно вернулся на пристань к своей работе.

Барин и слуга, ну, да, тысячелетняя история, Борсен не предвидел ей конца и в этом году. Он чувствовал начало в этом простом случае: седеющий безумец на положении вдовца — нет, и фактический вдовец. Когда-то он умел справляться с собой, теперь больше не может. Прислушайтесь к этой гробовой тишине в ночи, она кипит, она безумствует, она такая же, как он. Ничего воровского

или подлого, в сущности, тут не было: с чем слуга не может примириться, от того его надо удалить, все просто и грубо, это дерзость без фальши. Но был ли барин дерзок в другом? Наоборот, деликатен, щедр и отзывчив. Философия тут оказывалась бессильна; Борсен прервал самого себя тем, что никто в этом не разберется: ветер дует не по узорам, а между тем он есть; нельзя говорить о чулках цвета грома.

Борсен просидел около часа на телеграфе и привел себя в бодрое и трезвое настроение прежде, чем отправиться на ночную прогулку. Он прошел далеко за театр Теодора, и только потом повернул обратно и зашагал той же дорогой. Он был в хорошем расположении духа и мог отлично рассуждать. Но, подойдя к дому пристанского конторщика, он на минуту смутился, потому что прогнанный барин опять стоял там.

«Он перестал остерегаться,— думает верно Борсен,— в Сегельфоссе ему уже некого остерегаться!»

Черт разберется в этом, но ведь и Борсену тоже нечего было делать нынче ночью у этого дома, тут надо действовать, надо спасти, что можно, прежде всего барина. Не пожелав доброго вечера, без всякого вступления, он подходит прямо к барину и говорит:

— Я позабыл отметить на вашей телеграмме третьего дня, что часы не точно установлены.

Разве это не настоящий удар! Но нет, барин принял его спокойно:

— Вот как,— сказал он.

— Срок для вашего ответа. Под цифрой часов стоял крестик. Это была важная телеграмма, мне следовало бы определенно пометить, что часы подачи в Порто-Рико были неясны.

— Я понял крестик,— сказал барин.

Борсен шагнул вперед и сказал решительно:

— Пойдемте вместе несколько шагов! Неверное указание часов может сделать то, что ваш вчерашний ответ получится слишком поздно. Идет война, каждый час имеет значение.

— Я ничего не имею против того, что мой ответ запоздает,— ответил барин.

— Дело шло о крупной сумме, о целом состоянии.

— О, да,— отозвался барин.

Они пошли, разговаривая, по дороге. Навстречу им идет пристанский конторщик, должно быть, он опять почувствовал недоброе и вышел на слежку; но, встретив их вдвоем, он тихонько проходит мимо и кланяется.

До сих пор барин был сдержан, теперь он вдруг проникает благодарностью к телеграфисту и выражает это самым сердечным образом.

— А я отлично понял крестик, — говорил он. — Если эта сделка состоится, у меня на одно судно будет меньше. Это славное судно, на нем были товары, которые стоят бриллиантов. Если сделка не состоится, оно пойдет дальше с товарами. Вот какое дело. Но сделка наверное состоялась, иначе я получил бы сегодня еще телеграмму.

Они заговорили о другом, продолжали идти по дороге; вот завиднелись головы драконов на доме адвоката Раша, они прошли мимо его плантаций. Барин становился все разговорчивее, Борсен отлично заметил, что он говорит больше, чем обычно, и не особенно следит за собой. Они прошли так далеко, что уже стал виден дом господина Хольменгро.

— Посидим немножко, — сказал барин.

Да, конечно, он разболтался, говорил об островах с цветнокожими женщинами, шутил, употреблял восторженные выражения о старых и всем известных вещах, несколько раз повторял собственного сочинения афоризмы, которые Борсен выразил бы гораздо лучше: «Разве не правду я говорю, что любовь — временная болезнь! Надо в это время уходить из дому и оставаться наедине с самим собой, вы не согласны со мной?»

Барин не был ни пьяницей, ни развратником, его срывы не имели ничего общего с болезнью. Но он был промежуточный тип, иногда он сходил с рельсов, в иной вечер становился паяцом. Борсен начинал испытывать мучительное чувство от его болтовни, как вдруг барин вытащил из кармана бутылку и стал угощать.

Угощал отпущенный с корабля матрос. Борсен привык ко многому, но тут сказал: «Нет, благодарю вас.» — Может быть, он сочувствовал барину, он сказал:

— Премного благодарен, но дома мне надо еще поработать, право, я боюсь! Другое дело, если вы сами выпьете стаканчик, по случаю вашей крупной сделки.

— Да, — сказал барин, тоже вставая, — вот именно, стаканчик по случаю сделки. Это славное вино, я прихватил его с собой — хотел пойти в одно место, кой-кого угостить.

— Ах, я вас задерживаю, вы устали, вам пора ложиться, — сказал Борсен.

— Я не устал, — ответил барин, выпил и спрятал бутылку опять в карман.

— Так значит, покойной ночи! — сказал Борсен, низко и вежливо опустив снятую шляпу, и пошел.

«Странный человек! — думает барин, стоя на месте.— Значит,— говорит,— покойной ночи! — хотя я не устал и не собираюсь ложиться».

А Борсен снова выходит в могильную тишину и благодать ночи. Он еще долго философствует и продумывает жизнь откуда-то с самых глубин — черт его разберет, и опять смотрит на домик конторщика на пристани и — кого же он видит? Барина. В третий раз барина. У него ключ, он входит и запирает за собой дверь.

ГЛАВА XII

В тот вечер, когда господин адвокат Раш с женой устроили свой садовый праздник, сороки на горе, возле дома господина Хольменгро, подняли отчаянный крик. У сороки такой нрав: она любит покой и тишину, когда вечером усядется на свое дерево, но если ее потревожат, она кричит, извещая других сорок, чтоб и они тоже кричали погроме, и получается страшный шум.

«Удивительно, отчего это у нас так раскричались сороки!» — думает фру Иргенс, тоже присутствующая на празднике.

Да, так вот, наконец-то адвокат и его жена устроили свой садовый праздник, осенний праздник, и весь Сегельфосс собрался к ним. Только нет начальника станции Борсена, потому что за все эти годы он так и не сделал визита, значит не могло быть и речи о том, чтоб его пригласить; но, кроме него, не забыли никого, заодно пригласили на чай и закуску и всех рабочих.

— А когда придет Виллац Хольмсен,— говорил адвокат Раш своей жене,— изволь спокойно сидеть на месте, пока он не войдет в комнату, прими его без всякой торжественности. Смотри на меня, Кристина, и замечай, что буду делать я, и, будь уверена, не ошибешься. Например, когда Виллац Хольмсен соберется уходить, я совсем не намерен его удерживать.

Увы, адвокату Рашу постоянно приходилось учить свою жену светскому обращению, она не имела понятия ни о каких тонкостях. А что, если б она, в подражание ему, вздумала, например, носить свой носовой платок за обшлагом, как делал он и доктор Муус? Нет. В конце концов ему надоело следить за ее ошибками, и только

когда они становились уж чересчур грубыми, он выговаривал ей:

— Послушай же, Кристина, нельзя наклонять тарелку, чтоб доесть весь суп, запомни хорошенько. Ни один порядочный человек так не делает!

Фру Раш была, пожалуй, настолько глупа, что чувствовала себя угнетенной своим мужем, но оснований для этого у нее не было; понимай она все правильно, она была бы ему благодарна. Но, разумеется, она не чувствовала к нему благодарности, — на то она — женщина.

Бесцветная, но милостивая, честная и чуть-чуть глупенькая, она не всегда понимала, что говорит. Девушкой — веселая и стремившаяся замуж, женщиной — немножко чопорная, седенькая и сентиментальная, — смотритель пристани, увы, господь не судил, чтоб он достался ей! Он пришел сегодня со своими певцами, и когда они пели в саду, она должна была убежать в спальню, чтоб скрыть свои слезы. Да благословит его господь! А может быть, они и пел-то для нее, для своей бывшей возлюбленной Кристины Сальвесен? Она отдала свою руку адвокату Раши, по настойчивому совету и уговорам фру Иргенс, наверно, то было божье предопределение, теперь у нее двое детей, других таких не найти на свете — разве что Виллац Хольмсен мог сравниться с ними. Виллац Хольмсен, когда был маленьким...

А нынче Виллац даже не пришел на вечер. Нет, со времени отъезда Антона Кольдевина молодой Виллац мог больше распоряжаться собой и усиленно работал. Он прислал ей записочку — дорогая фру Кристина! — с благодарностью и поклоном ее мужу, — он застрял с работой и должен поскорее ее кончить, так что никак не может прийти на праздник.

— Да, да, — сказал ее муж, — но ведь вот доктор Муус пришел же, и господин и фрекен Хольменгро здесь, и фру Ландмарк с дочерьми тоже здесь!

Адвокат мог бы назвать еще многих: ленсман из Ура, редактор и наборщик «Сегельфосской газеты», торговец Генриксен с дальних шхер, обе дочери Пера из Буа, то есть барышни Иенсен, и надо правду сказать, они очень развилась, носили часы на груди и совсем стали образованные барышни. Теодор же из Буа, их брат, тот отсутствовал по причине ссоры и враждебных отношений с адвокатом.

Все гости собрались в саду. Лето, можно сказать, уже миновало, но погода стояла еще мягкая и ясная, все были

без пальто, только горничная Флорина, разумеется, щеголяла в своем желтом шелковом манто, хотя и должна была прислуживать гостям, всем же остальным было тепло и без верхнего платья. А самый сад или парк был теперь в полном великолепии, со всеми своими клумбами, и боскетами, и прочими прелестями. В нем было все, что полагается: и фонтан бил высокой струей, и на лужайках — зеленая трава, и на дорожках — гравий и раковинки, а теперь к торжеству выписали с юга деревянные скамейки и множество круглых столиков, и столики были из листового железа и выгибались со звонким гулом, когда на них что-нибудь ставили.

Да, так здесь-то, собственно, и происходило торжество, здесь новый фотограф снял все собрание, пока еще было светло, и здесь публика находилась до поздней ночи. Знатные же и почетные гости расположились потом на веранде, а то и вовсе в гостиной, пили пунш, чокались друг с другом и беседовали. Праздник вышел очень уютный, и доктор Муус несомненно выразил общее мнение, когда, подняв бокал, произнес речь во славу сада и семейства Раш. Ах, этот доктор Муус, как он умел говорить и держать в своей власти целое общество! Хуже всего, пожалуй, в нем были его безобразные уши, но все лицо сияло одухотворенностью, очки же придавали ему вид китайского ученого. Речь его в этот вечер имела символическое значение, потому что доктор получил место на юге и собирался уезжать. Он расхваливал сад и парк, но пожалел об отсутствии соловьев. Правда, на юге тоже нет соловьев, но он, уезжавший, все же приближался к соловьям — добро пожаловать и вы, все, кто собирается на юг!

— Спасибо, — промолвил адвокат Раш.

— Спасибо, — сказала фру Ландмарк, достала носовой платочек, помахала доктору и сказала: — Bravo!

Смотритель пристани собрал свою компанию перед верандой, они откашлялись, прочистили горло и запели про «Весну Юности» и светлое лето.

Теперь настала очередь адвоката. Он позвонил своими ключами и встал, страшно пузатый и откормленный, но видный и представительный мужчина. Соловьи, сказал он, нет, соловьев он не завел, пока еще не завел. Но он ввел кое-что другое в Сегельфоссе, он подал маленький пример. Что представляло собою до него это место? Голое поле. А что оно теперь? Парк с фонтаном и заморскими деревьями; в его руках оно превратилось в цветущую поляну,

воздвиглась вилла в современном стиле, какие видишь на юге, и он уже ведет переговоры с несколькими литейными заводами относительно приобретения двух художественных произведений, двух статуй для сада. Но — это не все; устраивая это собрание, адвокат имел более серьезное намерение: теперь, когда здесь присутствует столько состоятельных мужчин и дам, он хотел бы предложить основать союз Благоденствия Сегельфосса — в председатели можно выбрать кого угодно, ему, адвокату, это безразлично. Вместе с тем он хочет теперь же поблагодарить собрание за дружный отклик на его приглашение, поблагодарить каждого и поднять этот бокал за здоровье ныне отъезжающего, незаменимого друга своего дома, доктора Мууса!

«Ура» и «браво» и пение кружка зрителя пристани.

Но вечер кончился еще не для всех. Многие гости ушли, ушел господин Хольменгро с дочерью, и ленсман из Ура последовал за своей приятельницей фрекен Марианной. Но доктор не ушел, не ушла и фру Ландмарк с дочерьми; эти гости остались на ужин и продолжали веселиться.

Да и гостиная же была у адвоката Раша, только в ней и посидеть! Не современная дребедень с фарфоровыми статуэтками, четырехугольными лампами и мазней «молодых», а солидная буржуазная обстановка; вкус у хозяина дома был наследственный, — старинный чиновный род наложил на него свой отпечаток, а в помощь ему явились и материальные средства. Стоял в нем книжный шкаф со стеклянными дверцами, и так как поэты нынче все вымерли, то в шкафу не было ни одного живого, потому что в нем стояли поэты. А стены были густо завешаны коврами, а на столиках лежали альбомы с родственниками и друзьями Раша, и даже телеграммы к свадьбе Раша и его жены, переплетенные в книжечку с золотой надписью и датой золотом. Этажерка была богато заставлена канделябрами под старину, раковинами, красивыми камешками, стеклянными флаконами и рождественскими подарками в виде чернильниц и бисквитных фигурок. В общем — наследственная культура. Но адвокат Раш отнюдь не представлял собою одну наследственность и точка! Он, как и доктор Муус, усваивал кое-какие мелочи и из современности, поскольку их можно было соединить с его природным здоровым вкусом. Так, например, когда доктор Муус в последний раз ездил в город, он обедал на пароходе с несколькими коммивояжерами, и их речи и взгляды,

конечно, нисколько не были ему интересны, но они очень красиво и совсем по-новому действовали ножом, держали его, как ручку для письма. Эту черточку современности доктор Муус привез с собой и, постоянно упражняясь, достиг того, что все лучше и лучше резал мясо таким способом. Не прошло много времени, как и адвокат Шар заметил и перенял эту штучку с ножом, но, конечно, ему стоило больших трудов обучить фру Раш, потому что сама она ничему не могла научиться, на то она — женщина. Однако доктор Муус совсем не пришел в восторг, увидя свое искусство в руках адвоката, и бог знает — человек, который так много ест и имеет такие толстые обрубленные пальцы, может ли такой человек быть из хорошей семьи! Когда адвокат ссылался на чувствительный желудок, это было, несомненно, простое ломание; у доктора же Мууса желудок был по-настоящему слаб от утонченности многих предков.

— Как чудесно они пели! — сказала фру Раш дамам Ландмарк, пытаясь завязать беседу.

— Вы находите? Ах, да, правда, — ответила фру Ландмарк. — Хотя мы у себя на юге слышали совсем другое пение.

— Я только хотела сказать — очень, очень недурно. Впрочем, я мало в этом понимаю.

— Тебя ведь так легко удовлетворить, Кристина, — вмешался ее муж. — Но одному я рад: что мы учредили союз Благоденствия Сегельфосса. Очень рад!

Доктор всегда — в любую минуту — умел ответить, что надо. Он поднял стакан и поздравил своего друга со званием председателя.

— Ну, что ж! — равнодушно отозвался адвокат. — Приходится жертвовать собой ради друзей. Но теперь надо нам устроить базар и собрать денег. Это самое главное. Полагаю, что могу рассчитывать на барышень Ландмарк?

— А эта фрекен Хольменгро не особенно симпатична, — сказала одна фрекен Ландмарк.

— Да уж, можно сказать, — ответила другая фрекен Ландмарк.

— По-моему, — сказал доктор Муус, — в сущности, и нельзя ожидать особенно много от особы, не имеющей за собой нескольких поколений культурных предков.

— И потом у нее желтая кожа. Это от плохого желудка, доктор?

— Тс... не говорите о плохом желудке! — сказал адвокат.

Доктор не обратил внимания на его слова и ответил:

— Нет, это наследственное. Безусловно наследственное. Когда знаешь науку о расах, это не возбуждает сомнения. Вспомните, в жилах фрекен Хольменгро течет индейская кровь. Она то, что называется квинтеронка.

— Представь — она индианка! — говорит одна фрекен Ландмарк.

— Вот уж ни за что не согласилась бы быть индианкой! — говорит другая фрекен Ландмарк.

— Я боюсь за ленсмана, — говорит адвокат, думая о своем. — Как бы в один прекрасный день он не крахнул. Как бы мне не пришлось в один прекрасный день положить конец этому делу.

— Неужели этот человек так беззастенчиво живет выше своих средств? — спрашивает доктор.

— Не стоит о нем и говорить! — с досадой отвечает адвокат. — Он мог бы зарабатывать пропасть денег, но он не умеет вести себя, а если что и заработает, у него ничего не держится. Вот, хоть сейчас, когда мы, имеющие на это средства, подписали каждый по пяти крон в пользу благоденствия Сегельфосса — ленсман тоже должен был дать столько же! Но у него абсолютно нет на это средств, с него достаточно было бы и пятидесяти эре.

— Я не видела сегодня начальника телеграфа. Он никогда нигде не бывает? — спрашивает одна фрекен Ландмарк.

— А вы знакомы с ним? — спешивает доктор Муус.

— Нет, мы только один раз подавали телеграмму, — отвечает другая фрекен Ландмарк.

— Да, он нигде не бывает, — сказал адвокат. — Во всяком случае, человек, не делающий визитов, не может быть приглашен в мой дом. есть известные формы, соблюдения которых образованные люди должны требовать, иначе мы все смешаемся в одну кучу.

— А мне показалось, что последняя песня была совсем недурна, — сказала вдруг фру Раш. — Вы не находите, фру Ландмарк?

Улыбаясь с бесконечной снисходительностью, адвокат отвечает жене:

— Что в тебе хорошо, Кристина, так это то, что тебя так легко удовлетворить.

Фру Ландмарк сказала:

— А этот молодой Хольмсен из «поместья», как здесь говорят — там миленький флигель, но никак не «поместье»!

Здесь на севере, должно быть, не очень взыскательны насчет «поместий». Он ведь поселился теперь дома?

— Возможно, — ответил доктор, как будто не знал этого и как будто этого и не стоило знать.

— Его, кажется, не было нынче вечером?

— Нет. Он тоже из тех, что не проявляют особой вежливости, — отозвался адвокат. — Но я пригласил его ради моей жены, — ведь постоянно приходится жертвовать собой ради друзей, — она знала его еще ребенком. Но результат был тот, что он не пришел.

— Ведь он ответил и просил извинить его, — вмешалась жена. — Очень вежливым письмом.

— Недоставало, чтоб он даже не ответил вежливо и почтительно, раз я оказал ему любезность своим приглашением.

— Не знаю, — сказал доктор Муус, — есть люди, с которыми я никогда не мог поладить. Я не мог сойтись и с его отцом, — человек, дослужившийся только до лейтенанта! Он, вероятно, думал, что может прийти ко мне и разыгрывать знатного барина — но не на такового напал!

Вошла горничная Флорина и сказала:

— Пожалуйста, вот тут телеграмма, я нашла ее возле места, где сидел господин помещик.

Телеграмма господину Хольменгро, она была вскрыта: Порто Рико такого-то числа, двести двадцать тысяч за судно, за «Сову», ответ до такого то часа, Феликс.

— Феликс — это сын помещика, — пояснил адвокат. — Потерять телеграмму такой страшной важности! Пойди и сейчас же отнеси ее господину Хольменгро, Флорина.

Эта крупная сумма денег закрыла на минуту всем рты, словно упала на стол. Потом все заговорили: — Двести двадцать тысяч — господи, какими делами и какими деньгами ворочает этот человек! Даже адвокат сказал растерянно:

— Да, нельзя поручиться, что этот человек и сам-то знает, как велико его богатство!

Все эти мелкие людишки вдруг заглянули в величие несколько иного рода, чем их собственное, и не сразу могли опомниться. Чудодей Хольменгро потерял телеграмму, сейчас горничная Флорина идет с ней — потому что ведь не мог же он обронить ее намеренно?

Фру Ландмарк из пасторской усадьбы, скрывая ход своих мыслей, промолвила: — Феликс — это красиво, не правда ли, девочки?

И, конечно, девочки очень одобрили:

— Неужели он никогда не приезжает домой? — спросили они.

— Домой? Он и так дома,— обидчиво сказал доктор Муус.— У своих соплеменников,— добавил он.

Из парка все еще доносился смех и любовные повизгивания, хотя было уже совсем поздно; когда же визг стал усиливаться, доктор Муус сказал адвокату:

— Послушайте,— это ваши избиратели. И это вам приходится терпеть?

Замечание попало в точку. Адвокат с минуту имел такой вид, как будто его разгадали.

— Должен сказать, что признаю за народом право иметь свои развлечения, когда мы имеем свои,— ответил он.

— Мудрый кади,— сказал доктор, заглаживая сказанное,— ты сказал справедливо, и слова твои — золото! Мы с радостью присоединяемся к вам без всяких оговорок, вы этого заслужили. Не поймите меня превратно.

— Но не подлежит сомнению, что они угостились чем-то еще, помимо чая и бутербродов,— заметил адвокат, смягчаясь,— я подозревал весь вечер. Я сейчас...

Он приподнялся и крикнул в темноту с веранды, что теперь все должны удалиться из парка и разойтись по домам. Спасибо за сегодняшний вечер!

Ах, мудрому кади не следовало бы устраивать свой садовый праздник так близко к осени. Правда, было тепло и приятно, но зато и темно для очень многого. Пострадали посадки, пострадали газоны, гравий на дорожках во многих местах оказался разрытым. В ближайшем номере «Сегельфосской газеты» была передовица о празднике, в которой говорилось, что адвокат Раш больше не будет открывать своего парка для народных увеселений.

«Это весьма прискорбно,— писала газета,— господин адвокат и народ всегда находились в добрых отношениях, но теперь народ сам их испортил. После праздника посадки оказались в значительной мере потоптанными, а в боскетах было найдено не более и не менее, как 18 дамских гребней, из них один с красным бисером. Что это отвратительно, не требует доказательства,— писала газета,— и мы полагаем, что народу следовало бы отчасти компенсировать господина адвоката Раши, отдав ему свои голоса на выборах. Все на выборы!»

Выбирать адвоката Раши?

Но мудрому кади не следовало так долго медлить со своим праздником, вечера стали чересчур темны, а во мраке случается многое. Отчего это сороки подняли такой страшный крик? Ха, не более и не менее, как по случаю взлома, у господина Хольменгро, в то время как он сам и его домашние

были на празднике, а дом оставался пустым. Налет на его кладовую, грубая кража свинины, мяса, сыра, копченой лососины и сладостей в банках, чистейший гастрономии, да мало ли чего! Вот об этом-то и возвещали сороки!

Вернувшись домой, фру Иргенс сейчас же подошла к шкафчику с ключами, и, конечно, все ключи были на месте. Фру Иргенс была замечательная хозяйка, а может быть ее грызло беспокойство, — во всяком случае, она никак не могла позабыть о пропавшем ключике от кладовой; она взяла фонарь и пошла в кладовую. Здесь она сразу и увидала, что случилось, и на крики ее прибежал весь дом, в том числе и ленсман, потому что он тоже как раз находился здесь; и ленсман взял фонарь, тщательно все осмотрел и выяснил, что было можно. К сожалению, это оказалось немного, возможные следы на дворе были затерты другими следами, и вот не оставил после себя никаких примет.

Но во всяком случае ленсман, а также, впрочем, и остальные установили, что в кладовой был отперт маленький висячий замок, американский замок, висевший в неприкосновенности на двери все время, но теперь носивший свежие следы на ржавчине вокруг замочной скважины. Замок был совершенно не поврежден, так что он был отперт ключом и опять заперт.

— Ах, если бы барин привез с собой замок из города! — говорила фру Иргенс, плача и ломая руки. — Но это я виновата! — говорила она и плакала все сильнее. — Я не должна была выпускать ключа из своих рук, а ночью надевать его на шею!

Да, смятение было большое, но сам господин Хольменгро отнесся к проишествию спокойно и мягко и полагал, что как-нибудь они сумеют раздобыть еще продуктов.

— Пойдемте же, пойдемте в комнаты! Пойдемте, ленсман!

Но пока они стоят, вдруг появляется Мартин-работник, идущий из имения Сегельфосс, и достаточно ему было услышать слово «кража», как он говорит во всеуслышание:

— Да Это Ларс Мануэльсен сделал!

Молчание.

— Ты это говоришь? — спрашивает ленсман.

— Да, говорю! — И Мартин-работник очевидно не желает щадить Ларса Мануэльсена.

— Ты сам видел?

— Я встретил его с узлом. И Оле Иоган встретил, и Петер-лопарь, что живет у нас, тоже встретил. Мы все трое его встретили, мы шли вместе.

— Где же вы его встретили?

— Здесь! — ответил Мартин-работник и постепенно отмерил несколько шагов по дороге.

Ленсман поднял фонарь и осветил лицо господина Хольменгро, но не заметил на нем никакого вопроса. Господин Хольменгро ничего не сказал.

— Почему вы были здесь так поздно вечером? — спросил ленсман.

Мартин-работник ответил:

— Да уж не для того, чтоб кого-нибудь обокрасть. Мы получаем харчи на усадьбе в Сегельфоссе и от Виллаца Хольмсена. Нет, вот как это вышло: мы услышали, что сороки очень раскричались, Оле Иоган и говорит — он как раз был у нас, а ему ведь непременно надо все знать — он и говорит: пойдите, мол, посмотрим, чего это сороки так раскричались. Мы и пошли.

Опять осветил ленсман лицо господина Хольменгро, но господин Хольменгро только сказал коротко:

— Нечего здесь стоять и говорить об этом! — И пошел в дом.

Ленсман же задал еще несколько вопросов, как бы для заключения:

— Ларс, ты говоришь, он разговаривал с вами, или вы сказали ему что-нибудь?

— Я сказал «добрый вечер», но он только пробормотал что-то и поскорее прошел мимо. Больше никто ничего не сказал.

— Вы ясно видели, кто это был?

— Мы можем присягнуть, если вам угодно. Господи помилуй, нам ли не знать Ларса Мануэльсена, и его пуговицы, и его парик! Он нес под мышкой глиняную банку.

— Это банка с вареньем! — воскликнула фру Иргенс.— Малина! — сказала она. Ах, боже мой, если бы мне его встретить!

Фрекен Марианна увела ленсмана в дом, и остальные разошлись.

Но хотя господин Хольменгро и позже не говорил ни слова о краже и о виновнице ее, слух о ней распространился по местечку и окрестностям. Слишком многие о ней знали. «Сегельфосская газета» тоже не могла промолчать и преподнесла новость в серьезной юридической статье, которую приписывали перу самого адвоката Раша. В статье сквозили ненависть и месть.

Шум поднялся большой. Но преступник, видимо, чувствовал себя в полной безопасности, во всем этом было нечто

слишком явное, нечто почти угрожающее: гостиница Ларсена несомненно получила кое-что из лакомых продуктов, потому что вдруг сделалась замечательно хорошей гостиницей, по крайней мере, несколько коммивояжеров, приехавшие в Буа с осенними товарами, заявили, что они никак не ожидали найти в этих местах такую гостиницу и будут ее рекламировать. Каким образом гостиница Ларсена вдруг отважилась подавать первоклассную лососину, и свиную грудинку, и малиновое варенье своим постояльцам? Разве что это было в связи с последними ночными похождениями господина Хольменгро. Да, разве что так! Ларс Мануэльсен был отцом Даверданы, а Юлий, хозяин гостиницы, ее братом, может быть, они оба знали, на что могут отважиться.

Но Сегельфосс преобразился: это был уже не тихий и безгрешный Сегельфосс, каким он некогда был. Безгрешный? «Из Сегельфосса сделали всесветную яму,— говорил сам Ларс Мануэльсен,— и я пошлю об этом письмо моему сыну Лассену!» А тихий? Нет, здесь было не тихо, здесь совершалось многое, пусть в малом виде, и хотя местечко было маленькое, случались перевероты, роковые события.

Вот отпраздновали и праздник на острове у Теодора из Буа, тот самый праздник гагачьего пуха, который Теодор обмозговал в своей голове только для того, чтоб умалить и унижить праздник адвоката. Наконец пришло и его время. И уж если кто мог придумать сногшибательный план праздника, так это Теодор. Но он отнюдь не собирался блеснуть на один день всем великолепием на пустынном острове, прежде всего его имя и его предприятие должны были засиять в местечке Сегельфосс, для этого он припас кое-что невиданное и неслыханное в этих местах: он добыл фейерверк!

И чертовский же малый этот Теодор!

Он был теперь очень занят, его новая мелочная лавка была почти готова, когда весь лак и позолота просохнут, можно будет переезжать. Ему уже некогда было самому торговать за прилавком. Какой-то человек пришел купить желатину,— он из горного поселка и уже покупал желатин и раньше:

— Дайте мне еще пять пакетиков,— сказал он,— такого сорта, как в прошлый раз.

— Подожди, пока мы вернемся с праздника,— отвечал Теодор,— разве ты не видишь, что я поднял флаг?

— Узнаешь в свое время!

Он поднял флаг в честь Антона Кольдевина, он поднял флаг в честь праздника. Когда-то он два дня выдержал

на сигнальном холме приказчика Корнелиуса и вымотал у людей душу своей таинственностью, в тот раз это было ради важного коммивояжера с собственным пароходом, а нынче? О, нечто исключительное! Пришел почтовый пароход, а Антон Кольдевин приехал, но Теодор продолжал махать флагом. Смотрите хорошенько, от Теодора всего можно ждать, он никогда не думал исключительно о народе, во всех его выдумках всегда что-нибудь да было.

День выдался ясный и тихий, пять лодок были приготовлены для молодежи, и на набережной собралась толпа. Несколько молодых рабочих с мельницы тоже отпросились с работы и пришли со своими подружками, должно быть фрекен Марианна выхлопотала им этот отпуск на половину дня, потому что сама согласилась поехать. Да, вот и в самом деле она идет, в сопровождении Антона Кольдевина, она уступила без дальних разговоров и пошла с ним.

Без дальних разговоров? Как бы не так. Антон приехал вечером, остановился в гостинице и сейчас же пошел к ней. Не поедет ли она с ним завтра на праздник гагачьего пуха?

— Ах, господи, мне кажется, вы сошли с ума! — сказала она.

На это он заметил:

— Я нахожу, что между моими промахами и вашим огромным изумлением нет никакого соотношения.

— Вы хотите сказать, что я должна была бы ожидать от вас чего-нибудь подобного?

— Да, да, скажем так. Я просто вернулся, как сказал.

И, в сущности, она, вероятно, прониклась восхищением перед решимостью и энергией этого человека. Он не тратил жизнь попусту на рассуждения и взвешивания, но говорил что-нибудь и действовал, как думал. И вот он перед нею, после трех дней пути.

— Я отвечу вам завтра, — сказала она.

— Благодарю вас, — ответил он. И обещайте мне не испортить моего дела за ночь! — Этот Антон Кольдевин был вовсе не бессловесный, далеко нет.

А на утро они сговорились, и вот парочка явилась.

Теодор из Буа пошел им навстречу, раскланиваясь еще издали. Ах, Теодор даже дрожал от радости и беспокойства, и, разумеется, ему было из-за чего волноваться. И вот он решает, что самое подходящее будет принять полушутливый тон, и когда Марианна говорит: «Здравствуйте», — Теодор отвечает:

— Как же, здравствуйте, здравствуйте и добро пожаловать!

Но, впрочем, он был чрезвычайно вежлив и говорил о благодарности, даже о высокой чести.

Когда лодки отчалили от берега, Теодор преподнес берегу и местечку огромный сюрприз: он закатил салют. Да не обыкновенными, простыми выстрелами заячьей дробью, а в десяти местах, в горах, он заложил в ямы динамиту и теперь взорвал его. даже земля задрожала. Народ закричал «ура».

— Словно король отправляется в путешествие! — сказала Марианна.

— Королева! — возразил Антон и поклонился ей.

— У меня еще десять выстрелов для обратного пути, — сказал Теодор из Буа, сняв шляпу.

И, мало того, открыл вдруг граммофон, и в трубу загремело:

God save the King*

— The Queeh!** — сказал Антон и поклонился.

А Теодор взялся за шляпу.

Бедненький коротышка Теодор, и он тянулся туда же! Бедный? Ха, он был сущее золото. Он суетился и немножко куражился, теперь в смущении своем он вообразил, что ему надо быть веселым и оживленным, бывают же такие странные фантазии; но парень имел вес в других делах, и там он стоил дюжины.

«Этакие выстрелы, и такая музыка, и этакий праздник!» — думал он. А весь Сегельфосс сидит и завидует, в этом он ни на минуту не сомневался. Вот у него целая лодка с одними только съестными припасами и напитками, лодкой правит хозяин гостиницы Юлий, пекарь и Нильс-сапожник. Все трое будут прислуживать.

— За нами идет еще лодка, — сказала фрекен Марианна.

— Это наше продовольствие, — ответил Теодор, прикладывая руку к шляпе.

Он постоянно прикладывал руку к шляпе и держался, как солдат, отдающий честь. Он придумал это неожиданно, и это была чертовки бравая выдумка! Позже вечером он надумал еще другое: отдавая громким голосом приказания прислуге, он заканчивал их своим именем, словно подписывался: «Теодор Иенсен, — говорил он, — весь бодрость и оживление. Он нарядился сегодня в новый полосатый костюм и был неотразим, на ногах башмаки — бог знает, откуда он их выписал, из Китая или из Вены». «Из Вены!» — говорил Теодор. А башмаки были страшно

* «Боже храни короля» — начало английского гимна.

** Королева.

острые и расшитые, с гетрами из желтого бархата,— нет, это были специально придуманные башмаки, и на них не хватало только серебряных бубенчиков.

Двинулись в путь при всеобщем благодушии, с песнями, при ясной погоде. Барышни сегодня отличались одной особенностью: почти ни у одной не было гребня в прическе. Но они были все же очень веселы, как будто гребни нынче совсем вышли из моды. И во всем царило такое же настроение. Море простиралось неподвижное и блестящее, как огромнейший, залитый солнцем, лист жести; от села подплывает еще несколько лодок, и все их радостно приветствуют.

— Мы слышали страшную стрельбу,— говорят с лодок.

— Вот и отлично,— отвечает Теодор.

Народу набралась уйма, и хорошо, что была целая лодка с провизией.

Но вот прямо против них появилась новая шляпка, она шла от дальних шхер, а так как она была свежевыкрашена и блестела, солнце ударяло в нее, и она была похожа на маленький кораблик с золотой грудью. В ней сидели дамы из семейства Генриксен с дальних шхер.

— Мы услышали страшный гром и стрельбу,— сказали они.

— Вот и отлично,— отвечал Теодор, прикладываясь к шляпе,— мы едем на праздник, поворачивайте и поезжайте с нами, с почтением Теодор Иенсен.

Они поехали, все ведь поехали, хозяин был неотразим.

— Надо было известить Виллаца,— сказала Марианна Антону.— Может быть, он тоже поехал бы.

— Я вообще не решаюсь являться в этот раз к Виллацу,— ответил Антон.— Я повздорил с ним в прошлый раз. Нынче я буду здесь инкогнито.

— Почему не поехали ваши сестры, Теодор? — спросила Марианна.

Теодор забыл приложиться к шляпе:

— Мои сестры? Нет, фрекен Хольменгро, мои сестры только и думают, как бы вышвырнуть меня вон, они сумасшедшие, они погубят сами себя, а не меня. У меня ведь сейчас моя собственная фирма! — И Теодор разъяснил все обстоятельно и без всякого ломания, потому что здесь он чувствовал под собой твердую почву. В заключение он рассказал, что даже и не обедает дома, а ходит в гостиницу, все из-за сестер.

Солнце быстро снижается, и наступает пышный закат, румянец его ярче золота и крови, и словно беззвучный

гром тонет он в море. На маленьком островочке сидят две большие чайки грудью прямо против вечернего багрянца, и кажется, будто они из розового шелка. Они поворачивают головки и следят глазами за лодками, но не снимаются с места.

Марианна чуточку задумчива, она говорит:

— Какой мистический вид у этих чаек, они живут в своем мире и, может быть, там они высокопоставленные птицы, всеми уважаемые птицы. Так что если б они сейчас умерли, о них, может быть, стали бы очень горевать в царстве чаек!

Странные слова, но Теодор почувствовал, что они ему очень приятны и удивительно мягки. Он захватил с собой маленький подарочек для фрекен Марианны за то, что она была так добра и поехала с ним сегодня, ах, просто маленький носовой платочек в тридцать пять крон, коммивояжер сказал, что его не стыдно подарить и принцессе. Но теперь нужно, чтобы фрекен Марианна в течение вечера потеряла свой.

— Скоро мы приедем? — спросил Антон.

— Да. Это вон там, где флаг.

— Вы и там тоже подняли флаг?

— У меня не только флаги. Когда стемнеет, мы зажжем факелы и плашки.

Оказалось, что Теодор заранее послал людей все приготовить. Все высаживаются на берег и идут к избушке. Немедленно появилось вино, стаканы и печенье для подкрепления души. И пока повара и виночерпии разводят козетер и накрывают столы, Теодор ведет гостей погулять по птичьему острову. Он здесь постоянный гость и все знает. «Когда-то это был наш остров!» — думают, верно, дамы с дальних шхер. И это правда. Но в свое время у Генриксена с дальних шхер был крупный и опасный долг, и таким образом птичий остров перешел к Теодору из Буа. Все переходит из рук в руки.

Остров сейчас необитаем, птицы улетели, гнезда их пусты, пух собран в последний раз, виднеются только маленькие крыши над гнездами, ожидающими прилета новых птиц на будущий год. Запоздалая морская сорока с писком проскакала на длинных красных ногах по обнаженному от прилива берегу, кругом острова покачивались на волнах чайки.

Всюду было одно и то же, и все осмотрели быстро, вечер затуманился, у избушки уже зажглись факелы и плашки. Трое, приставленных к провизии, работали по

инструкции и работали хорошо, хотя пекарь пропил свою собственную пекарню за стойкой у старика Пера из Буа, так что нынче вечером ему доверили продавать только хлеб и печенье; напитками же заведывал хозяин гостиницы Юлий. Он уже расставил вино и красивые стаканчики для господ в избушке, и шипучку со спиртом на длинных столах на вольном воздухе.

— Настоящий виноградный спирт! — сказал Теодор, давая читать этикетку.

— Да, уж на Теодора можно положиться! — загудела молодежь.

А когда появились на столе закуски, то оказались они самыми лучшими, какие могла раздобыть гостиница Ларсена, и публика пила шипучку со спиртом и ела бутерброды с лососиной, и со свиной грудинкой, и с малиновым вареньем; и все ведь столько наслышались об этих лакомствах, что, пока ели, нахохотались до того, что слезы катились градом.

— Только бы нам не попало за это по парикку! — говорили гости, пуская самые тонкие намеки. Но выпив побольше, расхрабрились и говорили: — Только бы нас не арестовали! Юлий был занят в избушке и не слышал никаких злых шуток, он подавал господам, какие там поместились, и для этого стола Теодор дал ему лучшие консервы, а кроме того были холодная птица и мармелад, и яйца в трех видах, и пирожки, и морошка. А по части напитков было пиво и красное вино, а к птице — корзина шампанского. Юлий великолепно изучил весь порядок по поваренной книге и разузнал у коммивояжеров.

Ах, что за праздник! Так что, когда люди вспоминали про праздник адвоката Рапа, только уж самые робкие не говорили о нем с досадой и раздражением! Да уж, на Теодора можно положиться! Да и все вышло необыкновенно удачно, погода была достаточно прохладная, как раз по запасу виноградного спирта, то время года, когда кусты роняют листья. Девушки были прелесть какие хорошенькие, они цвели в последний раз перед осенью, и парни гасили факелы по мере того, как Нильс-сапожник их зажигал, потому что очень уж удобная была темнота без света. Парочка за парочкой разбредались куда вздумается, а так как было довольно прохладно, приходилось бросаться на землю и прижиматься теснее друг к другу, чтобы не зябнуть. На небе вспыхнули редкие звезды, там и тут на острове попыхивали кончики папирос.

Нильс-сапожник опять ужасно исхудал и обнищал, он ничего не заработал с весны, когда был театр, и до

сегодняшнего вечера, когда его назначили зажигать факелы и прислуживать на острове. А теперь сумасшедшие люди мешают ему добросовестно исполнять свои обязанности! Он идет прямо в избушку и жалуется:

— Они гасят мне факелы,— говорит он,— я зажигаю, а они все гасят!

Чтоб успокоить его, Теодор выходит вместе с ним и расследует дело:

— Да ведь здесь почти что никого и нет? — говорит Теодор.— Зажги снова!

Тут выходит из избушки Юлий, отводит Теодора в сторонку и шепчет:

— Я подобрал ее носовой платочек!

Значит, все идет, как по маслу, и Теодор заводит граммофон и играет мазурку, чтоб вызвать беглецов на танцы на лужайке; он даже не набрасывается на пекаря, который, улучшив удобную минуту, стибрил бутылку спирта и уже вдребезги пьян.

И вот постепенно парочки возвращаются из окрестностей и, получив новое подкрепление для души, пускаются в пляс. Было невероятно весело, они хохочут, кричат, курят папиросы, ах, что за праздник, да уж, на Теодора можно положиться! Даже дамы с дальних шхер выходят из избушки, соглашаются потанцевать с парнями и готовы все послать к черту!

Когда же мало-помалу все разошлись из избушки, за необрунным столом остались только господа, только фрекен Марианна и Антон Кольдевин. Фрекен Марианна прилегла на скамейке у стены, и Антон говорит ей:

— Наконец-то мы одни!

На это Марианна ничего не ответила, а только быстро взглянула на него. Тогда он опять говорит:

— Этот вот взгляд — только вы одна и умеете бросить его по-настоящему!

— Неужели?

— Как вы думаете, увижу я в этот раз вашего отца? — спросил он.

— Вы и в самом деле не собираетесь заглянуть к нам?

— Да, благодарю вас. Но, на всякий случай, передайте вашему отцу, что мне посчастливилось с «Жар-птицей». Я распорядился правильно, и мне повезло, так и скажите.

Марианна кивнула головой. Антон придвинулся к ней и сказал:

— Мне хотелось бы идти с вами по дороге, чтоб нас захватил дождь и чтобы нам пришлось идти под одним зонтом.

— Вот так,— отозвалась она.— Так вам посчастливилось, вы заработали много денег?

— О да.

— В таком случае, не можете ли вы помочь одному здешнему человеку, уделить ему сколько-нибудь?

Это огорошило Антона:

— Одному человеку? Кому это? Я с ним знаком?

— Нет, право, не знаю. Ему нужны деньги, не знаю сколько, может быть тысяча крон.

— Гм. Да — это следовало бы сделать кому-нибудь, кто стоит ближе, чем я, ведь я даже не живу здесь. Но, разумеется. Есть у него имущество, обеспечение?

— Обеспечение? Нет, я имела в виду подарок. И анонимный подарок.

Тогда Антон улыбнулся:

— Это настолько неделовой подход, что я даже не могу в этом разобраться. Нет, для меня это уж чересчур замысловато.

— А-а,— протянула она.

— Для меня это отзывается актерством и минувшими столетиями.

— Я, во всяком случае, знаю человека, который не стал бы спрашивать об обеспечении,— сказала Марианна.

— Совершенно верно! — ответил Антон, вспыхивая.— Я тоже знаю. Но он не деловой человек, он просто ничего.

— Он — золото! — сказала Марианна, она опустила ноги и села на скамейке.

— Золото? Вот уж меньше всего! Он даже не серебро. Он вынужден рубить свой лес, чтоб как-нибудь свести концы с концами.

Марианна улыбнулась. Но Антон, ничего не замечая, продолжал:

— Золото? Нет. У него есть музыкальные инструменты, ножницы и щетки, и много пар перчаток, и разные вещички из малахита и оникса, но золота, ценностей...

— Какого-нибудь обеспечения? — подсказала Марианна, и ее продолговатые глаза стали узкими, как ножички.

— Да, обеспечения — имеется ли у него что-нибудь такое? Имение не заложено? — спросил Антон.

— Как, разве вы не друзья? — удивленно спросила Марианна.

— Да, конечно. Но вы думаете, я не говорил ему то же самое прямо в глаза? Гораздо больше. Он человек прошлых столетий, он мечтает об искусстве и природе, о государстве и этической жизни. Я этим не занимаюсь. Я

принадлежу к этому миру, действую и работаю, зарабатываю деньги и трачу деньги. Тысячу крон какому-то человеку? Разумеется, раз вы приказываете. Я только хотел сказать, что такой образ мыслей устарел и глуп. Но само собой разумеется. Тысячу крон, если вам так угодно. Завтра утром я телеграфирую, чтоб их выслали. Разве после этого я не милый? — спросил он, придвигаясь еще ближе к ее скамье.

— Хорошо, тысячу крон, — сказала она необыкновенно умильно и вкрадчиво. — Нет, отодвиньтесь, пожалуйста, немножко, вон туда, — да, так! Вот видите ли, мне не хотелось бы вмешивать в это отца или Виллаца.

— Виллаца? — воскликнул Антон. — Да у него и не найдется тысячи крон!

— Неужели?

— Какое там! Можете мне поверить!

— У него гораздо больше, чем вы думаете, у этого самого Виллаца.

— У Виллаца? Вот что! Благо ему, если у него есть! И вообще я не понимаю, чего вы носитесь с вашим Виллацем. Можно подумать, что вы жалуете его, цените его безбидность. Неужели вы не понимаете, что он только запутает вас? Послушайтесь доброго совета, Марианна. Конечно, я приехал сюда для того, чтоб сказать вам это, а вовсе не на праздник. Я приехал ради вас, и вот я здесь! Да, я придвигаюсь к вам, я хочу упасть к вашим ногам, вот, смотрите! Это не годится? А по-моему очень годится, и вы можете меня выслушать, я не хотел говорить раньше, но теперь с «Жар-птицей» вышла такая удача. Мне не пристало изливаться о своей любви и бессонных ночах и тому подобном, но я влюблен в вас с первых каникул, когда был в Сегельфоссе, и сейчас вы непременно должны меня выслушать, Марианна. Я не стану утверждать, что у меня много заслуг, нет, этого я не стану, но кое-что я могу предложить вам. Виллаца я совершенно сбрасываю со счетов, решение зависит от вас и от меня.

— Да нет же — что вы говорите? Да перестаньте же!

— Не отодвигайтесь. Я заканчиваю тем, что делаю вам сейчас предложение разумного человека: примите мою руку, я никогда не предлагал ее другой.

— Нет, — сказала Марианна. — И не будем больше об этом говорить.

— Я совершил этот длинный путь, чтоб добиться вас, чтоб завоевать вас.

— Вы с ума сошли!

— Поговорим серьезно, Марианна. Я предлагаю вам свою руку, в этом нет ничего безумного, мы знакомы с самой ранней юности, я ждал вас с тех пор и не навязывался. Виллаца я совершенно не принимаю в расчет.

— А я принимаю.

— Вздор. Вы отлично знаете, что это невозможно. Если бы еще это был тот купец — а может быть, это купец?

— Нет, это Виллац, — сказала она, вставая. — Пойдемте отсюда.

— Послушайте! — сказал он, тоже вставая; свет от лампы ударял ему прямо в лицо и мешал. — Послушайте, — эти пианисты без будущего — я не хочу говорить о нем лично, раз его здесь нет, но обо всех вообще. Для меня нет ничего нелепее, чем видеть, как женщины сходят по ним с ума. Ведь это же стыд и позор! Женщине гораздо меньше толку от музыканта, чем от конфирманта. Они ничего не умеют, умеют только играть, они не мужчины.

— Вы — болван!

Он задел лампу под потолком, они очутились в темноте. Что он затевал? Он не мог ее схватить, она сердито ворчала. Не помогала и настойчивая страстность, попытки применить насилие. Следующая минута кончилась полным его поражением, он лишил ее возможности сопротивляться, бросившись на нее и зажав ей рот поцелуями, обнял ее — и вдруг почувствовал укол, боль в бедре и разомкнул руки. Не пустила ли она в ход серебряную шпильку? У нее не было серебряной шпильки, она пустила в ход нож. Она лежала в его объятиях, она не хочет попасть ему в руки, та ли это? Но она что-то проворчала перед тем, как ударить.

В дверях стоял Теодор:

— Мне послышалось — что это, лампа погасла?

— Я разбил ее, — сказал Антон.

— Я сию минуту принесу другую!

Марианна вышла, и Антон последовал за нею. Возбуждение упало, оба оправдали платье, Антон ощупывал свою рану и дышал тяжело. Марианна же не дышала тяжело, она уже совсем перестала волноваться.

— Не у вас ли мой носовой платок? — спросила она, протягивая руку назад и не глядя на Антона.

— Что? Ах, носовой платок? Нет, но я сейчас поищу.

Она разговаривала с ним, значит не возненавидела его, он ей не противен, дьявол разберет эту девушку, эту метиску! Но сейчас он был ей благодарен за это спокойствие и изумлялся ее самообладанию. Она не закричала, только проворчала что-то перед тем, как

ударить, а теперь спрашивает про носовой платок! Красота ее была вовсе не очевидна и не бесспорна, нет, она желта и похожа на индианку, глупого рисунка и глупой окраски, не классична. Но, обнимая ее, он почувствовал, что она прекрасна, почувствовал, что в ее теле и в ее движениях огромная сладость. Он решил придерживаться ее тона и сказал только:

— Будьте добры, забудьте это!

— Конечно,— ответила она.

— Благодарю вас. Но, господин, это самое оригинальное из всего, что мне случилось видеть в жизни: вы пырнули меня ножом?

— Нет, вилкой,— ответила она, показывая, что все еще держит ее в руке.— Положите ее обратно на стол!

Он взял вилку и пересчитал зубцы:

— Один, два,— стало быть во мне — во мне четыре дырки.

Но нет, пусть дьявол разберет эту девушку, она обернулась к нему и сказала:

— Будьте добры, забудьте это!

Пришел Теодор с лампой, и Антон последовал за ним. Марианна осталась возле избушки и смотрела на танцы. Находила ли она извинение поведению безумца, или же считала его — отчасти понятным и разумным? Он был не из тех, что подбираются к своей цели окольными путями, нет, конечно, не из тех тысяч заурядных нолей, что действовали бы иначе; уж не склонил ли он ее до некоторой степени в свою пользу своей паразитической определенностью?

— Я не нашел вашего носового платка,— сказал Антон.

Теодор шагнул вперед, взялся за свой грудной карман, оглянулся, раздумал — отказался от чего-то. Подали кофе для всех гостей — ну, и Теодор!

— Нет, спасибо, мы будем пить здесь, со всеми,— сказала Марианна.

— Вы не решаетесь вернуться в избушку? — спросил Антон.

— Я боюсь этого меньше, чем вы,— ответила она.

Кофе пили с пуншем, и Марианна спросила, который час: не пора ли нам собираться домой? Но когда молодежь напилась кофе с приложением, танцы пошли еще оживленнее и веселее, а те, что не танцевали, сидели за столом и продолжали распивать пунш, ничто не могло усилить или ослабить их настроения, даже Юлий с виноградным спиртом и закусками,— что ж, разве закуски из гостиницы

Ларсена были не хороши? Юлий дал нам всем отведать тонких закусок из кладовой. А про Теодора я даже и не хочу говорить, потому что он выше всех! Короче сказать, все так развеселились, что опять стали гасить факелы и расходиться парочками, но тут Теодор скомандовал:

— Все в лодки! Точка. Теодор Иенсен.

И это прозвучало так бодро и весело, что публика подчинилась, и все направились к лодкам, крича «ура» и «спасибо за праздник» и, «ура Точке Теодору». Пекарь, Нильс-сапожник и Юлий остались тушить факелы и убирать стаканы и посуду, хотя пекарь, впрочем, никуда не годился и спал, позабыв о бренности мира сего.

Обратный путь под граммофон и веселый смех, ни одна не отходит в сторону, все эскортируют, все плывут тесной флотилией. На адмиральском судне Теодора висят три зажженных фонаря, да несколько редких звезд мигают в синей чаще неба, так что не темно и не светло, одна приятность. Да, и Теодор галантно пригласил дам с дальних шхер в свою лодку.

Подплывая к Сегельфоссу, он вдруг пустил в воздух ракету. Это был сигнал: десять динамитных взрывов вновь потрясли землю и берег, салют на весь земной шар.

— Да здравствует королева! — с большим чувством, чем обычно, сказала Антон Марианне. Теодор приложился к шляпе.

Вот взвилась в небо ракета с сигнального холма, другие ракеты с других холмов, начался сюрприз. Чудо свершилось. Люди в лодках опустили весла и смотрели, они слышали, как народ в местечке разразился криками, ракеты сменялись в воздухе огненными кострами, римскими свечами, золотым дождем, золотыми коронами, огненными павлинами — ах, господи! И так продолжалось долго, без конца, необыкновенно пышно и грандиозно, — Теодор, должно быть, заработал в этом году уйму денег на своей треске.

— Это положительно великолепно! — сказала Марианна. — Удивляюсь, как это вы сумели так все устроить, Теодор!

— Фейерверк-то? Да, не хотелось чтобы было, как в других городах, — ответил Теодор.

Он полез в грудной карман и достал оттуда пакетик. «Теперь или никогда!» — должно быть, решил он. Сорвал папиросную бумагу и сказал:

— Фрекен Марианна, извините, вы, кажется, потеряли носовой платок, так вот, у меня есть. Пожалуйста. Да, пожалуйста.

— Ах нет, благодарю вас, не надо, я сейчас буду дома.

— Посмотрите на него и возьмите!

Марианна посмотрела, поднесла к свету, пришла в восторг, кружева, боже мой! Но нет, спасибо.

— Почему вы отказываетесь? Если мне хочется подарить вам?

— Он слишком дорогой. Зачем мне? Нет, я не возьму.

Теодор быстро нашелся:

— Я ношу его в кармане, он получен моей фирмой, это образец.

Марианна только покачала головой.

Фейерверк погас, погас не только фейерверк, Теодор покорно умолк. К чему это жестокосердие! Что она отослала однажды обратно шаль — ну, положим, она не носит шали. Но ведь это же маленький носовой платочек!

Тогда он говорит дамам с дальних шхер — и бедный Теодор улыбался дрожащими губами, потому что был смертельно оскорблен:

— А вы тоже не хотите взять его?

Ах, нет, это не годится, раз фрекен Хольменгро отказалась. Они, конечно, с удовольствием взяли бы эту изящную вещицу, эту книжную закладку, но нет!

— Нет, спасибо, — сказали они, — у нас есть носовые платки.

— Похоже на то, что вам не удастся его сбыть, — сказал, смеясь, Антон Кольдевин.

И Теодор тоже засмеялся, но это была его манера скрывать свое горе и печаль, он был в эту минуту очень бледен. И вот он подобрал со дна лодки кусочки папиросной бумаги и старательно завернул драгоценность, но вид у него при этом был самый несчастный.

Потом пристали к берегу и вышли на набережную, а из эскорта, который должен был отправляться домой, опять стали кричать «ура» Теодору, и он сам стоял и махал шляпой и кричал «покойной ночи» и «спасибо за компанию!» Марианна протянула ему руку и поблагодарила в сердечных словах, перед тем как уйти домой с Антоном Кольдевином.

Да, конечно, праздник гагачьего пуха был исключительным, единственным в своем роде, народ в местечке стоял на набережной, и все смотрели на Теодора, на победителя, и говорили о выстрелах на земле и знамениях на небе. Человек с желатином еще дожидался, и не жалел об этом, каких только чудес он не насмотрелся в этот вечер! — Но Ларс Мануэльсен качал головой и заявил, что

напишет своему сыну Л. Лассену, не кощунство ли эти огнедышащие знамения и человеческие выдумки на небе?

ГЛАВА XIII

— Я не видел тебя целую неделю,— сказал Виллац Марианне,— ты не пришла в тот день, когда обещала?

— Антон был здесь,— ответила Марианна.

— Я знаю.

— Знаешь?

— Я его видел. Ты не пришла ко мне в тот день, когда обещала?

— В таком случае, ты знаешь и другое. Я была с ним на празднике гагачьего пуха.

Этого Виллац не знал, и брови его неприметно дрогнули. Нет, он ни о ком ничего не знал это время, он работал очень прилежно, очень напряженно. Марианна была ему нужна в тот день на прошлой неделе, чтоб прослушать кое-что, изобразить публику и прослушать одно место, но она не пришла. Он работал очень напряженно, но очень плохо.

Зато он встретил на дороге ее отца и обменялся с ним несколькими короткими словами:

— Я вижу,— сказал Виллац,— что листья желтеют. Хорошо бы было, если бы мне удалось обмерить лес.

— Это сделано,— сказал господин Хольменгро.

— Сделано? Я вам очень благодарен. Когда же?

— Только что. Я не позволил себе беспокоить вас, а сделал все сам, по своему разумению.

— Благодарю вас. И вы можете достать мне дровосеков?

«Удивительный человек этот новый Виллац Хольмсен!— подумал верно господин Хольменгро.— Во всем ему нужна помощь и опора! — верно думал он.— Вот и теперь: два человека несколько дней размечали лес, кончили, и новый Виллац Хольмсен ни словом не заикается о плате, даже не вспоминает о ней, может быть, и не приготовил. «Дровосеков!» — говорит...

Чуть-чуть уловимым усталым тоном ответил господин Хольменгро:

— Дровосеков тоже можно достать.

— Благодарю вас,— сказал Виллац. Но он, верно, услышал, что господин Хольменгро утомлен и не хотел его задерживать: — Честь имею кланяться!

— Вы так усиленно работаете, Виллац, мы вас теперь совсем не видим.

— Да, я пытаюсь кое-что сделать. Ну, что ж, у каждого свои заботы; я тщетно старался пролезть в игольное ушко, последний год пытался даже силой,— промолвил он с улыбкой.

— Ах, кстати,— заговорил господин Хольменгро,— вы не подумали о моей просьбе уступить мне часть вашего нагорного участка?

— Если вы разрешите мне быть откровенным,— ответил Виллац,— то мне бы этого очень не хотелось.

— А, тогда не будем больше об этом говорить.

— Дорогой господин Хольменгро, это может показаться нелюбезностью и неблагодарностью с моей стороны, но мой отец, старый земляной крот, просил меня в последнем письме скорее прикупать, а не сбывать землю.

— Не будем больше об этом говорить! — сказал господин Хольменгро. И никто не мог бы разобрать, что старый спекулянт в душе был страшно рад отказу. Он ответил с холодной вежливостью.

Это было в тот раз, что Виллац встретил господина Хольменгро на дороге.

А теперь Марианна сидит у него. Не намерена ли она продолжать холодность отца?

— Что это за праздник гагачьего пуха? — спросил он.

— Это был праздник Теодора из Буа. Помнишь, как-то вечером были выстрелы и фейерверк? Вот там я и была.

Она, верно, ожидала какого-нибудь иронического замечания: ведь не так-то редко она его обманывала! Но нет, он только кивнул головой.

— А теперь я пришла. Может быть, поздно? — спросила она.

— Мне хотелось, чтобы ты кое-что прослушала.

Потом я обошелся. Впрочем, теперь я это бросил.

— Ах, боже мой! Милый Виллац, если я не всегда могу прийти, когда ты меня зовешь...

— Я не только звал тебя, мне это было тогда очень важно. Я молил тебя прийти.

— Я очень огорчена. Так что, может быть, я буду виновата, что некая партитура никогда не увидит света?

В ответ он улыбнулся, холодность он мог отпарировать:

— Ну, до такой степени зависимости мне не следует доходить. И я таким не был.

— Да, неправда ли! — сказала она с подчеркнутой готовностью. Она встала и подошла к окну, как будто для того, чтоб поправить гардину.— Неправда ли, тебе ведь удалось написать две замечательные вещи.

Он опять улыбнулся:

— Разве ты не помнишь, что Григ назвал их гениальными?

— Да, это именно я и говорю.

Виллац был сегодня не такой, как всегда, неизвестно по какой причине. Он, наедине с ней обыкновенно обидчивый и чувствительный в отношении к своему искусству, теперь смеялся над ним; Виллац, так часто неистовствовавший от ревности — теперь видел, словно железный.

— Между прочим,— начала она, потянувшись к складке на гардине и косясь на него из-под руки,— если ты хочешь, чтобы слава о твоей гениальности распространилась, ты, конечно, должен продолжать сидеть в одиночестве и молчать в ней.

Это попало в цель, так что он даже внутренне вздрогнул, сегодня она нападала на него без жалости! Но, словно решив не давать ей никакой победы, он опять улыбнулся, сидел, лениво поглядывая на свои сложенные руки, и улыбался.

— То, что я говорю, правда,— продолжала она,— но по мне, можешь поступать, как тебе выгодно. Антон еще здесь, ты знаешь?

— Да,— ответил он.

Она быстро повернулась от окна:

— Знаешь?

Ах, как он раздражал ее сегодня своим спокойствием! Он ответил:

— Ты несколько этим не изумлена, Марианна, твое лицо не принимает сейчас ни малейшего участия в твоём волнении. Разумеется, я знаю, что Антон здесь, что же из этого? И я все время отлично знаю, что ты стоишь у окна и хочешь заставить меня посмотреть, зачем ты там стоишь.

Это тоже попало в цель, ее глаза почти закрылись. Но в следующую секунду она опять овладела собой. Она могла вспылить, могла пырнуть вилкой, но умела и мастерски скрыть свои чувства. Но, увы, все это коварство сегодня было ей, пожалуй, не на пользу, а только во вред.

— Я не понимаю, на что ты намекаешь,— сказала она.— Послушай, а ты не можешь сыграть это, только хоть кусочек оттуда?

— Уволь сегодня. Еще не все готово.

— Я уволю тебя на все дни,— ответила она, искренно оскорбленная.— Навсегда?

Ах, какие они наносили друг другу удары! Виллац, железо, сидел по-прежнему непримиримый и спросил:

— И теперь ты больше не хочешь?

— Нет,— ответила она. И в эту минуту казалось, что это ее непоколебимое решение.— Собственно говоря, нас всегда связывала только какая-нибудь соломинка.

— Перестань.

— Не правда?

— Мы оба и тогда бывали на праздниках,— ответил он. Вот тут-то он выдал себя, выдал свою ревность в секунду необдуманности. Заметила ли она это?

— Поклонись от меня Антону,— сказал он, чтобы поправиться.— Когда он уезжает?

Да, Марианна отлично заметила его оплошность и ответила резко:

— Не может же он уехать до прихода парохода.

— Конечно. А когда это будет? Но все равно. Поклонись ему и скажи, что я очень занят эти дни,— сказал Виллац, беря нотную тетрадь.

— Что это? Давно ли она у тебя? — спросила она, указывая на саблю с золоченой рукоятью.

— Сабля моего отца висела здесь все время,— ответил он.

— А, в таком случае, извини! — И как бы случайно взглянув в окно, воскликнула: — Ну вот, потерял,— ведь он же не может ходить без перчаток. Ну, прощай!

С этими словами Марианна выбежала из комнаты, даже не затворив за собой как следует дверь.

Виллацу пришлось встать и затворить ее. И в то же время Виллац, конечно, невольно покосился в окно. Тьфу, только Антон! Но он был в перчатках — Марианна выдумала. Во всем обман!

Ну, и конечно, Виллац не мог после этого работать, невозможно, а петь он не умел, он не унаследовал голоса своей матери. В сущности, он был, верно, скучный малый: он умел рисовать карандашом и красками, как мать, умел одеваться изящно, аккуратно, как отец, но это и все, что он умел. А ревновать к Антону! Извините, это просто смешно!

Теперь дорога наверное свободна, и ему можно выйти.

Сегодня с ним должно было случиться еще кое-что; случилось, что Конрад стоял на дороге; бывший поденщик, бездельник, стоял и поклонился, а его товарищ Аслак сидел на камне и тоже встал и поклонился; Конрад с минуту повозился со своими манжетами, а покончив с ними, протянул руку. И тут Виллац нахмурил брови сильнее, чем за весь день.

— Я хотел вас поблагодарить,— сказал Конрад.

Виллацу это было неприятно, несносно, он сказал:

— Тебе не за что меня благодарить, запомни это на будущее время. Чего еще тебе нужно?

Конрад понял, что надо быть кратким, и сказал:

— Мы хотели спросить, не найдется ли у вас работы.

Виллац смерил его глазами от шляпы до сапог, точь-в-точь, как, делал его отец:

— Работы?

— Да. Мне, и вот ему, Аслак.

Виллац смерил и Аслака. Вот стоит человек, которого он однажды проучил, ну, конечно, и заплатил за то, что оказал это благодеяние самому негодяю и людям.

— Вы можете рубить лес,— сказал Виллац.

— Это хорошо,— ответил Аслак.— Так вы хотите рубить лес? А не рано ли еще?

Виллац не стал разговаривать, никаких лишних слов, он коротко кивнул и сказал:

— Идите на усадьбу и явитесь к Мартину-работнику.— С этими словами он прошел дальше.

Это было неплохо, даже хорошо, он мог избавить господина Хольменгро от труда подыскивать ему дровосеков. Разумеется, начинать рубку леса еще рано, но в таком большом хозяйстве временная работа для двух человек всегда найдется. Вышло прямо великолепно, и он решил сейчас же сказать об этом господину Хольменгро.

Господин Хольменгро был опять мягок и приветлив:

— Вот как? Ну, дровосеков, во всяком случае, было бы нетрудно найти. Значит, вы свезете по зимнему пути, а весной сплавите, а лес — это деньги!

Совершенно верно, но Виллац все-таки вздрогнул: деньги не раньше весны! Разве это не правда, что лесная торговля дает необычайно быстрый оборот, и можно получить сколько угодно денег под размеченный лес? Может быть, господин Хольменгро ждал прямого обращения? Он его не дождался!

— Не останетесь ли вы поужинать? — спрашивает господин Хольменгро.— Нам было бы это так приятно, мы с Марианной очень одинокая пара. Правда, за последние дни нас немножко развлекал Антон Кольдевин.

Виллац не мог остаться, не смел, господин Хольменгро, как бы ему этого ни хотелось!

Он пошел тою же дорогой, какой пришел, но тут с ним опять случилось нечто: несколько выше моста росла ивовая рощица, она начиналась прямо от края дороги, Виллац хорошо знал место, здесь он поцеловал Марианну

в последний блаженный раз перед своей первой поездкой в Берлин,— теперь он увидел там Марианну и Антона. Что же из этого? Ничего. Антон ведь предупредил, что хочет отбить у него Жар-птицу. А может быть, парочка стояла здесь и когда Виллац шел на гору, к господину Хольменгро; только тогда он не бормотал ничего и не разговаривал сам с собой, как с ним иногда случалось!

Вот Антон становится на колени. Становится на колени! Он без шляпы, наверное, делает предложение, напрямки, Марианна хочет уйти, но он обнимает ее юбку, это очень смешно, обнимает ее ноги. Делает предложение, что ли? Это было более чем смешно, оба говорили одновременно, Виллац видел по их движениям, что они всецело заняты собой, а шум от реки мешал им слышать чье-либо приближение. Они считали себя в полной безопасности.

Одну минуту Виллац хотел было повернуть обратно, сделал шаг назад, но в это мгновение Марианна взглянула на него. Она сказала несколько торопливых слов, Антон вскочил и уставился на него. Приятели смотрели друг на друга растерянно и недоуменно, словно из двух разных миров, потом Антон поднял свою шляпу, поклонился Марианне и пошел к лесу.

Он бежал? Это было на него непохоже. Должно быть, Марианна сказала ему что-нибудь решительное.

Она отошла от ивняка и зашагала по дороге, грудь ее высоко вздымалась. Несмотря на большое смущение и старания не расплакаться, она все-таки сумела кивнуть головой и улыбнуться Виллацу. Молодчина эта Марианна, все-то она может! Она сказала:

— Ты видел? Ничего не поделаешь, мне все равно. Но досадно, что ты видел. Он сумашедший. Послушай, ну, как ты, удалось тебе поработать? Посмотри, вон лежит его тросточка, конечно, я не стану поднимать ее. Что ты делал у папы? — Она вынимает носовой платок: — Ах, ну вот, я наверное простудилась, у меня уже начинается насморк. И глаза слезятся. Видал ли ты когда что-нибудь подобное? И так внезапно! Скажи мне, тебе неприятно? Это нехорошо? Но разве ты не видел, что он... я не могла пошевелиться.

— Прощай,— сказал он и пошел.

Он не оглянулся ни разу,— заставил бы кто-нибудь Виллаца Хольмсена повернуть голову! — поэтому, когда он дошел до кирпичного завода и хотел войти в дом, а Марианна очутилась в двух шагах позади него, он сильно вздрогнул. Ее скользкая, беззвучная походка привела ее сюда.

— Прости,— сказала она, увидев, что испугала его.

— Иди домой!— попросил он.— Не стой здесь, иди домой!

Простуда прошла, платок спрятан, она проглотила свои слезы:

— Конечно, я пойду домой. Но согласись, что это чересчур бессмысленно с твоей стороны: разве я виновата, что он схватил меня?

Спору нет, это было так далеко от здравого смысла, что на мгновение он не нашел ответа. Но ведь они ссорились не первый раз, оба были на это мастера, и, не долго думая, он сказал:

— А заметила ли ты, что мы с тобой дали друг другу слово вот в этом доме?

Она не ответила.

— Ты очень удивила бы меня, если б ответила иначе, чем молчанием.

— Почему бы нам не войти? — проговорила она.

— Ну, конечно, почему бы нам не войти? Раз ты приказываешь, мы должны преклонить колени, да еще сердце у нас должно захолонуть от счастья! Разумеется, мы можем войти. Куда же девался Антон? Вот был бы для него афронт, если бы мы с тобой вошли сейчас в дом и сели вместе. Как ты полагаешь?

— Нет, это не было бы для него афронтом. Он говорит, что хочет на мне жениться, и говорил он мне это сегодня не в первый раз. Но я не хочу выходить за него, я ответила, что я не свободна.

— Что же это у тебя не свободно? Я ничего такого не знаю.

— У меня не свободно то, что называется сердцем.

— Удивительно! Неужели твое сердце не свободно? Нет, нет, разумеется, ты связываешь и развязываешь его по своему желанию. Впрочем, ты вольна располагать своим маленьким достоянием, как тебе заблагорассудится.

— Войдем же в дом, Виллац!

— Но если Антону не помогло преклонять перед тобой колени и валяться у тебя в ногах — с моей стороны это нескромно, но что ж! Все мы норовим подставить друг другу ножку! — так же ли это безнадежно и для меня? Что, если б я стоял здесь и распинался битый час и просил бы тебя, молил бы о том, что ты называешь своим сердцем — привело бы это к чему-нибудь?

— Замолчи! Ты сам пожалеешь, что был так зол.

— А если бы я вместо этого расхохотался и сказал: покорно благодарю, прощай! — тогда что?

— Ах, эта простуда, вот, глаза опять слезятся! — сказала Марианна и опять вынула носовой платок.

Он видел, как она дрожала, но храбрилась и опять подавила слезы. Это вышло у нее хорошо.

— Иди домой!

— Иду, — ответила она и пошла. Конечно, она подавила слезы, но зато они и не показались, никто не увидел, что она поддалась слезам. Она повернулась, обиженная и разозленная, и крикнула через плечо: — И если осенью ты уедешь со своей оперой, скатертью дорога!

Снова он с минуту не находил слов. Потом ответил:

— Ах, пожалуйста, не напоминай мне перед уходом, чтобы я завтра утром послал тебе цветов!

Они здорово поранили друг друга ужасными словами, с чисто военной или разбойничьей злобой — и это в дни помолвки! Да, но ведь потом не будет хуже, не может быть хуже. По крайней мере, им не грозит неприятность — прожить жизнь в супружестве и испытывать тошноту при воспоминании о былой приторной сладости. Они были незаурядные влюбленные.

Простуда и носовой платок снова по боку, Марианна скользили по дороге, как всегда, могла говорить и думать. Вот стайка кричащих сорок преследует человека на дороге, навстречу идет Ларс Мануэльсен в двубортной куртке с восемью пуговицами, он до такой степени чувствует себя отцом великого человека, что полагает, будто может останавливать всех, он останавливает Марианну:

— На месте вашего отца, я перестрелял бы всех этих проклятых сорок, — говорит он.

— Тебя все еще не оставляют в покое сороки?

— Нет. Сороки гоняются за мной, куда бы я ни пошел, это сущий крест, люди смеются надо мной, а мне это не нужно. Это ваши сороки.

— Не следовало тебе ссориться с сороками, Ларс.

— Почему это? Тварь и нечисть, вот я им всем до одной положу отравы!

— Говорят, они мстят.

— Они уже и так отомстили. Я у всех на языке, просто некуда деваться. Люди обвиняют меня в краже у вашего отца, только бы мне найти против них свидетелей! Но я уж написал моему сыну Лассену, чтоб он вызволил меня.

— А, так Лассен приезжает?

— Он, Лассен, такой человек, что приедет, если найдет для этого досуг и время...

Марианна встречает Антона. Он нашел свою палку и идет проводить Марианну. И он тоже полон насмешек?

— Ну, что же, все уладилось с золотом?

— Нет, не уладилось,— отвечала она.— И я убедительно вас прошу не подвергать меня впредь таким неприятностям.

— Униженно прошу вас простить меня!

— Мое прощение зависит от вашего будущего поведения.

— Мое поведение будет исправлено. Позвольте мне надеяться на вашу благосклонность!

Низко поклонившись, Антон пошел по дороге на пристань и в гостиницу. Но дойдя до поворота и убедившись, что Марианна не следит за ним, он свернул к реке и направился берегом к кирпичному заводу. Там он без церемоний отворил дверь и вошел к Виллацу.

— Здравствуй,— сказал он.— Вот я. Я тебе нужен за чем-нибудь?

— Нет,— ответил Виллац.— Разве только, чтоб попросить тебя не приходить сюда и не мешать мне.

— Ты хочешь отделаться словами,— раздраженно сказал Антон.— Это тебе не удастся!

— Твои грубости оставляют меня совершенно хладнокровным, они меня не волнуют,— ответил тот.

Раздражение Антона было велико:

— Это не удастся, хотя бы даже один из нас остался на месте!

— В том, что ты говоришь, есть известная доля смысла,— сказал Виллац раздумчиво и пуская в ход все свое благоразумие.— Потом можешь лечь вон там, на диване, и выспаться.

— Опять болтовня! Положим, я не привык к боксу, к работе английской мясорубки, но я умею фехтовать.

— А я не привык к французским вязальным спицам.

— Хорошо, но ведь мы оба умеем стрелять?

Виллац громко рассмеялся и сказал:

— Разумеется, ты смешон! Ну, да ладно, ты захватил с собой из чего стрелять?

— Нет. Да вот у тебя револьверы на стене. Правда, какие-то жалкие огрызки вершков по шести длиной.

— Восьми вершков,— беспристрастно поправил Виллац. И он подробно описал револьверы, не горячася, без высоких фраз: — Посмотри на них, они блестят и опасны.

Но Антон все же был недоволен и злился:

— Ты наверное испортил их, потому что ожидал меня,— сказал он.

— Разве только для того, чтоб ты не пришел и не наделал себе вреда, сумасшедший ты человек. Могу я узнать, зачем ты пришел ко мне?

— Тебе это все еще не ясно! — в бешенстве спросил Антон. — Я пришел поколотить тебя.

Бледность разлилась по лицу Виллаца. Он встал и ответил:

— Если б я не знал тебя, я мог бы принять это всерьез.

— Я пришел поколотить тебя за то, что ты ходишь и подсматриваешь! — закричал Антон, окончательно выйдя из себя и подпрыгивая. — Ты потерял всякий стыд, ходишь и подсматриваешь...

И тут случилось, что Виллац — этот человек, умевший говорить и молчать с дурацким спокойствием, умевший стерпеть многое, умевший ударить, умевший и спустить — на этот раз ударил. И ударил очень основательно. Но Антон только одну секунду пролежал у стены. Вскочив, он дикими глазами уставился на Виллаца и прохрипел:

— Мясорубка!

Потом схватил свою палку и швырнул ее, от взмаха палки упал стоявший на полке флакон. Он оглядывается, чем бы еще бросить, но, увидев, что уже попал, что ему страшно повезло, и лицо друга разбито в кровь, отказался от намерения швырнуть старинным пистолетом, очутившемся в его руке. Он отбросил пистолет и сказал, весь дрожа:

— Смотри, я щажу даже мясорубки! Впрочем, ты был достаточно противен и без раны. Жалко флакона, ты же получил от меня все, что следовало. Сколько стоит флакон?

Не получив ответа, он засопел от презрения, даже фукнул носом с насмешкой и отвращением:

— Merde! — прошипел он и вышел.

Потом вернулся, чтоб сказать:

— Сейчас явится дама! Ты, разумеется, попросил ее прийти защититиь тебя. Фу, черт!

Антон опять пошел вдоль реки, чтоб не встретиться с Марианной, спускавшейся с горы. Он еще дрожал, храбрость у него была, но он болтал и шипел, у него не было чувства меры.

Куда ему деваться до прихода почтового парохода? Похоронить себя в гостинице? На минуту он подумал, не сходить ли на часок к Теодору из Буа, но отказался от этой мысли и пошел в гостиницу.

Да и не очень кстати вышло бы, если б он как раз сейчас явился в Буа. Он попал бы в страшный хаос ящиков

и бочонков, громких приказаний и распаковки товаров. Теодор перебирался сегодня в свой новый дворец-лавку. Ему помогало несколько мужчин, среди них Юлий.

Разумеется, все находили, что новая лавка до смешного велика, но Теодор был умнее всех: он уже теперь предвидел тот день, когда ему придется расширять даже и эту лавку! И этого нельзя было отрицать, он получил несметное количество товаров, и требовалось много места.

А старая лавка, мелочная лавка фрекен Иенсен и адвоката? Она стояла стена об стену с новой и продолжала существовать. Теодор не пожелал ее уничтожить, «пусть остаетя семье», — говорил он. Однако дело обстояло и так, что она принадлежала Теодору, у него были вложены в нее деньги, она служила ему обеспечением впредь до выкупа, а потому у него были все основания оставить старую лавку в неприкосновенности. Но это не надолго! Милые мои, ведь последние коммивояжеры ничего не продали барышням Иенсен, а все Теодору. Они побывали у дам и оставили с величайшей вежливостью свои карточки, но дальше дело не пошло: товар они отдали молодому господину Иенсену, который был их давнишним клиентом, они принципиально не продавали двум конкурентам в одном месте. Барышни Иенсен только оскорбленно сначала потупили, а потом вскинули головки, дескать, милые мои, об нас не беспокойтесь, мы получим все товары, какие нам надо, мы покупаем за наличные! Барышни не теряли бодрости. Но у них не было коммерческой жилки, как у Теодора, они слишком часто вскидывали головки и не обладали добродушием, которое могло бы это компенсировать. Если к барышням Иенсен приходила какая-нибудь из сегельфосских девиц купить полотна для рубашек, она могла услышать такую отповедь: «Мы сами берем на белье такой материал, а тут вдруг тебе такое полотно недостаточно тонко!» Теодор сразу понял, что так не годится, он поступал лучше, он завел заборные книжки для солидных девиц, имевших заработок. Так что девушка могла сказать другой, что вот, мол, не дальше, как вчера, Теодор предложил мне забирать у него на книжку и расплачиваться каждый месяц; и еще сказал: потому что так гораздо удобнее, фрекен Палестина!

Лавка Теодора Иенсена была прямо заглядение, большие окна с большими стеклами, светлые стены и стеклянные шкафы с медными брусьями. «Как полагаешь, сколько это все стоило?» — говорил Теодор. Он придумал все сам, чтоб было как в других городах, хотя, положим, ему очень

помог начальник телеграфа Борсен. Этот удивительный праздничатый и лодырь все больше и больше заинтересовывался энергией Теодора — хорошими качествами молодежи, говорил он — и часто давал ему отличные советы. «Смотри, чтоб медные брусья у тебя всегда блестели! — говорил он, — а не то, выбрось стеклянные шкафы!»

Теодор помнил также, что это Борсен устроил все чудеса на празднике гагачьего пуха, хотя у того же самого Борсена не было платья, чтоб поехать на остров.

Праздник гагачьего пуха — люди до сих пор вспоминали о нем. «Как полагаешь, сколько он стоил?» — говорил Теодор. Он называл сумму, сотни, хо-хо, кучу денег! Проверки нечего было бояться, кому была известна стоимость иллюминаций? «Но вы сами видели, что я наделал с небом! — говорил Теодор.

И все же со дня праздника гагачьего пуха Теодор был уже не тот человек. «Хоть бы этого праздника никогда и не было!» — верно думал он не раз. Огорчение, овладевшее им теперь, было нехорошего свойства, оно захватывало дух, портило ему настроение. Теодор, который, по совести, должен бы быть совсем другим, частенько сидел один и делал, что мог: отчаянно ругался. Психологи и знатоки человеческого сердца подивились бы такой мелочности и ограниченности умного парня. Чего он добивался? Не полагается дарить дорогие носовые тряпочки на празднике гагачьего пуха, Борсен отсоветовал бы всякую попытку такого рода, засмеял бы его до смерти. «Чем бы он ей помешал!» — без конца повторял про себя Теодор. Он не понимал, что можно поблагодарить за булавку, но от тридцати пяти крон надо отказаться. Нет, он не понимал ничего, кроме этого пренебрежительного отказа.

— Будь счастлива, вот чего я желаю! — следовало бы ему сказать теперь, как и раньше, и перестать думать. А время превосходно залечивает все раны. Да, так и следовало бы говорить и делать.

Да и вообще, знаменитый праздник не дал того, что должен был дать: коллега Антон Кольдевин уехал, не превратившись в закадычного друга и завсегдаята, а «Сегельфосская газета» не обмолвилась о празднике ни единым словом. Причин для огорчения было достаточно. И все это надо принять в расчет при обсуждении дальнейшего образа действий Теодора по отношению к его сестрам: в течение нескольких дней он предоставил им торговать и продавать то небольшое, что им удавалось, а затем явился однажды с ленсманом и наложил арест на

наличность кассы. На те самые наличные, на которые барышни и адвокат собирались закупить товары.

— Вот разважничался-то! — говорили сестры.

Послали за адвокатом.

— Давайте, потолкуем немножко! — сказал адвокат.

— Деньги на бочку, а не то ленсман опишет все, что есть, и закроет лавку! — ответил Теодор.

А ленсман стоял и кротко и уныло взирал на происходящее, не проявляя желанья приступить к исполнению и заработать деньги, нет, он начал уговаривать:

— Так и так, всем понемножку, ведь обе стороны — одна семья.

— Родственники! — поправил адвокат. — Здесь нет того, что подразумевается под семьей.

— Надо откинуть ежедневные расходы, — продолжал ленсман, — но постепенно необременительная выплата...

Обе стороны одинаково недовольны, Теодор наотрез отказался, и адвокат тоже.

— Это попытка парализовать дело, — заявил он.

А ленсман с раздражением сказал:

— Вы, ленсман, и здесь предлагаете свои необременительные выплаты, ну, да теперь уже довольно: банк должен получить свое через двадцать четыре часа. Слышите?

Ленсман слышал. И хотя ему не следовало бы бормотать, потому что это было прямо позорно со стороны человека, имевшего лошадь, которую он мог продать, и хотя это, конечно, не могло произвести хорошего впечатления на такого человека, как адвокат, ленсман только сказал:

— Я постараюсь — ясно, что надо что-нибудь придумать — у меня есть лошадь...

И вот смирение, как и прежде, произвело хорошее впечатление на адвоката Раша, его раздражение немножко улеглось, и он сказал:

— Лошадь! Кто станет покупать лошадь и кормить ее на зиму глядя? Вы могли бы продать ее весной.

— Да. Но тогда предстояли полевые работы...

— Ну да, ну да, я сказал свое слово!

Но перед уходом ленсман все-таки успел немножко уломать обе стороны и примирить их на том, что известный процент с торговли поступал в платеж Теодору. Ладно. Но это только отсрочка, лавка была приговорена.

Ленсман отправился к Хольменгро, по своему обыкновению. А кроме того, вчера он получил записочку от фрекен Марианны, что ей надо поговорить с ним, как

только он будет в этих местах, и она не желает ждать до бесконечности!

— Ленсман,— сказала Марианна, приступая прямо к делу, она, видимо, была очень счастлива, она улыбалась,— ленсман, я получила письмо, хотите посмотреть конверт? Что на нем написано?

— Одна тысяча крон.

— Да. Оно пришло третьего дня. И вот, вы получаете эти деньги на двадцать лет. Видите, здесь расписка, расписка на тысячу крон, вы занимаете их у меня на двадцать лет и возвращаете мне две тысячи. Вы понимаете, ленсман?

Нет, ленсман не понимал.

— Деньги мои. Я могла бы показать вам и само письмо, оно от одной фирмы, я сделала дело, но это секрет, я не покажу вам письма. А теперь я сказала все, что надо, я прорепетировала, когда увидела, как вы поднимались вгору, и постаралась изложить как можно короче. Потому что очень неприятно долго разговаривать о таких вещах,— сказала Марианна.

— Я не проживу двадцать лет,— сказал ленсман.

— Еще как,— ответила Марианна.

Ленсман пробормотал какую-то благодарность — что это несомненно такая крупная помощь, такая сумма...

В эту минуту отец прислал за Марианной и выручил ее. Может быть, это было заранее условлено, господин Хольменгро часто играл со своей дочерью.

— Интересно, чем это папа опять будет меня мучить — сказала она,— этакий брюзга,— сказала она.— Она сейчас же скользнула к двери и крикнула с порога: — Ну, прощайте, ленсман. Извините, мне надо идти. И приезжайте скорей, слышите!

Ленсман пошел вниз с пригорка со своим богатством, думал разные думы, считал и подсчитывал и не продал лошадь. Такого коня не продают, ему цены нет. Но он не мог прийти к адвокату с билетом в тысячу крон,— всякий бы догадался, откуда они, эта бумажка выдала бы его, скомпроментировала бы; он пошел к Теодору-лавочнику и разменял билет.

— Где вы были после того, как ушли отсюда? — с изумлением спросил Теодор. В смышленной голове его все было ясно; но так как он не имел никаких причин распространяться о щедрости семейства Хольменгро, он вдруг смолк и сказал только: — Это меня не касается. Разменять билет в тысячу крон? С удовольствием. Два, если вам угодно!

Теодор был в хорошем настроении:

— За этот час, что вас не было, у нас тут кое-что случилось,— сказал он ленсману.— Отец узнал про наши дела, и с ним опять случился удар. К сожалению,— сказал Теодор.— Я послал за доктором.

— Опять удар.

— К сожалению! — ответил Теодор.— И я жду, что адвокат явится очень скоро, может еще сегодня же, он придет просить пARDону. Куда ему деваться?

Припрет со всех сторон! Что, он не придет и не сдастся?

— Я только подумал, что это было бы на него не похоже.

— Ну, я уж устрою, чтоб было похоже! — заявил Теодор.— Черт за черт — чтоб такое пузо расселось торговать рядом со мной! Да кстати, послушайте, ленсман: что, надо иметь разрешение, чтоб играть в театре? Они мне пишут, что опять собираются приехать.

— Нет, можно просто играть. Вот как, они опять приезжают?

— Проездом на юг. На этот раз у них будет другая пьеса, она называется «За садовой оградой», и там много пения, они спрашивают, достал ли я рояль. Естественно, я достал рояль.

Теодор рос все выше и выше, казалось, этот последний час был особенно благоприятен его росту. Разменять билет в тысячу крон? С удовольствием, два! Рояль? Он давно уже добыл рояль и был в настроении предложить другой. Теперь он решил сейчас же отрядить рабочих чинить дорожку к театру, чтобы фрекен Сибилла Энгель опять не свихнула себе ногу. Он решил послать и к Нильсу-сапожнику — сказать, что бедняга опять может заработать две кроны.

— Поднеси Юлию и другим по стаканчику виноградного спирта вечером, когда пошашат! — крикнул он в дверь конторы приказчику Корнелиусу.

Огонь и пламя, сама энергия! И хорошо, и отрадно было людям знать, что есть человек, который — огонь и пламя.

Разве Нильс-сапожник не нуждался в поощрении? Еще как! Добрая фру Раш не забывала его, она часто давала ему на дом детский башмачок в большом пакете и наказывала принести веников. Но Нильс-сапожник как будто не жирел от этого, нет, по нем этого не было видно, наоборот, чем дальше, тем отчаяннее он тошал. Фру упросила молодого Виллаца написать мистеру Нельсону в Америку, но ответа не было. «Может быть, Ульрик уже

едет домой», — говорил Нильс-сапожник. Он долго ждал базара в пользу Благоденствия Сегельфосса, облизывался на него, как собака, молил о нем бога, но базара все не было. Нет, дело не выгорало из-за помещения. Адвокат не мог побороть себя и снять театр у Теодора, у этой лавочной крысы, выскочки, да, впрочем, пусть никто не воображает, что у него театр, просто навес для рыбных сетей. Союз Благоденствия Сегельфосса не снимает для своего базара навес для рыбных сетей, мой милый Нильс!

— Ну, понятно! — согласился Нильс, тускло улыбаясь и поддакивая. Но зато он ничего и не заработал.

Ленсман опять зашел к нему. Да, а ведь раньше ленсман зашел к адвокату и заплатил свой долг.

— Вот видите, как полезно быть строгим! — сказал адвокат. — Справитесь ли вы также и с ревизией, когда она будет?

— Надеюсь справиться, теперь, как и до сих пор, — ответил ленсман.

— Ах, вот как вы стали храбры! — сказал адвокат, задетый за живое самоуверенным тоном жертвы. — Но, в таком случае вам следовало бы и со мной расплатиться пораньше.

— Я постараюсь никогда больше не быть вам должным. Таково мое намерение, — ответил ленсман.

Значит, наконец-то он понял, что должен зарабатывать деньги и держать свою кассу в порядке. Нельзя сказать, чтоб особенно рано! У него был очень твердый и решительный вид, когда он покинул адвоката и направился в гостиницу, чтобы потребовать у Юлия аукционные деньги в двадцать четыре часа. Но подойдя к двери, он посмотрел на свои часы и увидел, что сегодня ему некогда заходить в гостиницу, тогда он отправился домой и заглянул к Нильсу-сапожнику. Ему хотелось еще раз попробовать засадить сапожника за работу. Но опять потерпел неудачу.

— Я больше не сапожничаю даже для себя, — ответил Нильс и показал, что на нем покупные башмаки из Буа. Да, это была последняя его покупка на фантастические, таинственные деньги, полученные летом; он купил эти башмаки. И вот они уже начали расползаться на швах, и подметки проносились, но это все-таки очень легкие и приятные летние башмаки, хотя стояла осень. Нильс-сапожник бегал в них, как ветер.

— В Буа много таких башмаков, — сказал он ленсману.

— Да, но эти башмаки не для меня, Нильс.

— И уж коли на то пошло, — сказал Нильс, — я как раз сейчас получил извещение от Теодора, что опять будет

театр, а кроме меня некому поручить билеты и всю счетную часть.

— Сколько же ты получаешь за такой вечер продажи билетов? — спросил ленсман.

— Две кроны, — ответил Нильс-сапожник, не задумываясь.

Должно быть, он сбился с пути в один туманный день, и с тех пор у него не все были дома.

Ленсман встретил шарабан-доктора и снял фуражку.

— Здравствуйте, ленсман! — ответил доктор Муус и остановился. — Позвольте мне воспользоваться случаем и, кстати, проститься с вами, я уезжаю на этих днях. Спасибо вам, ленсман, и поклонитесь вашим от доктора Мууса. Что ж, я могу сказать, что исполнил свой долг и честно отслужил свое время здесь на севере, пусть теперь другие сделают то же! На боку я никогда не лежал, да и сейчас я, так сказать, на ходу и еду к больному. Да, к Перу-лавочнику, к старику Иенсену из Буа, несчастный человек, болен бог знает сколько лет. Я сделал все, что может сделать наука, у него то, что у нас называется гемиплегия, паралич одной половины тела. Сегодня я получил сообщение о том, что произошло что-то новое, но я не решаюсь высказываться до подробного исследования. Можно предположить, что это паралич мозга. Ну, прощайте, ленсман! Можете поверить, я предвкушаю сладость возвращения на юг, в Христианию, и свидания с моими родными. Только надежда на эту минуту и поддерживала меня здесь все эти годы. А теперь я, слава богу, накопил порядочную сумму опыта, который пригодится моей родной области.

Доктор уехал, прибыл в Буа, поднялся в светелку, понюхал затхлый воздух, приказал отворить окно, снял пальто, потер руки и стал исследовать пациента. Разумеется, Пер из Буа был болен, но нет, нового удара у него не было, да он и не допустил бы себя до этого. Он был чем-то возмущен и страшно ревел: немудрено, что несчастье Буа потрясло его и на минуту затемнило его разум; трудно отказаться от блестящего плана мести, не испытав потрясения. Но Пер из Буа вовсе не находился в агонии. Однако, он был еще ужасно возбужден: «Буа! — говорил он. — И еще эта проклятая коза!» — говорил он.

— Хорошо, хорошо, а теперь мы дадим вам чего-нибудь, чтоб вы уснули! — сказал доктор, успокаивая его.

Он отвесил с необыкновенной тщательностью бромистого калия, как будто один лишний грамм грозил смертью.

— А вот это пусть примет вечером,— сказал он барышням Иенсен, стоявшим тут же,— и принесите мне столовую ложку, чтоб я видел, какой она величины,— сказал он.— Да, эта годится. Сейчас я дам ему сам, чтобы вы научились, как вам это сделать вечером!

Когда доктор кончил и вышел на двор, там стоял Теодор, дожидавшийся результата.

— Нет, это не новый паралич,— сказал доктор,— но больному нужен покой. Если наступит ухудшение, немедленно пошлите за мной.

И доктор Муус направился к своему кабриолету, ступая ногами с поразительной аккуратностью.

Теодор не двинулся с места. Новое испытание, постигшее отца, должно быть, несколько смирило и несколько придавило его: придя к себе, он держался тихо и отменил данное приказчику Корнелиусу приказание: не стоит подносить парням нынче вечером,— сказал он,— раз отцу стало хуже,— прибавил он.

— Он помирает? — спросил приказчик Корнелиус.

Теодор ответил:

— Больному необходим покой. А впрочем,— сказал он,— я никогда не слышал, чтобы какому-нибудь больному покой был не нужен.

Теодор был далеко не в том же настроении, как утром, и если бы не народ, он, вероятно, завел бы граммофон и послушал бы Коронационный марш. Но уныние его продолжалось недолго, явился посланный от адвоката Раша. Явилась горничная Флорина.

— Вы знаете, где находится Дидрексон? — спросила она, заботясь прежде всего о своих собственных делах.

— Дидрексон? Зачем он тебе понадобился?

— Я уж давно написала ему и не получаю ответа. Я только хочу узнать, где он.

— Зачем это? Деньги здесь, и я сказал, что в свое время ты их получишь.

— Да, но я не хочу ждать. Можете это ему сказать.

— Так я это и сделал!

Пауза. У горничной Флорины, должно быть, не особенно много стыда, она говорит:

— Так, так. Ну, тогда я напишу его невесте, я знаю, как ее зовут.

— Это ты оставь, Флорина, вот что я тебе скажу! — торжественно заявил Теодор.— Если ты откроешь рот или возьмешься за перо и напишешь благородной даме, дело твое пропало!

— Я не желаю вас знать! — сказала Флорина и с бешенством посмотрела на него.

Но хуже этого ничего нельзя было бросить Теодору в лицо, он не выносил этого, это наводило его до степени чего-то обиденного и ничтожного.

— Я вышвырну тебя вон! — раздраженно крикнул он и побледнел.— И чтоб ноги твоей здесь больше не было! Флорина поняла, что дело серьезно, и сказала:

— Я пришла с поручением от адвоката. Он велел вам прийти в контору.

Теодор подумал с минуту:

— От адвоката? Чтоб я пришел к нему? Нет.

— Он так велел сказать.

— Можешь передать от меня своему адвокату, что если ему от меня что-нибудь надо, пусть придет сюда сам!

Горничная Флорина могла сколько угодно фыркать по поводу важности коротенького человечка,— Теодор схватил ее за руку и потащил к двери.

— Уж я передам ему ваши слова, будьте спокойны! — угрожающе сказала она.

Но адвокату, по-видимому, было важно повидать Теодора еще сегодня же, он действительно приковылял в лавку и начал с того, что нынче вежливости от молодежи трудно ожидать. Теодор стоял как раз перед прилавком с аршином в руках, а ведь хороший аршин бывает обыкновенно из ясеневоего дерева. Он шагнул к адвокату и спросил, не надо ли ему чего-нибудь?

— Да,— ответил адвокат и сразу же сказал, что старой лавке приходится сдаться.

— Так скоро? Господи помилуй...! — Ха-ха, Теодор видел толстяка насквозь: адвокат наверно решил, что его гонорар в опасности — ага, но на это Теодор только улыбнулся, он лучше знал старую лавку.

— Тут нечему улыбаться,— сказал адвокат и погремел ключами.— И вообще я не желаю разговаривать с вами здесь, разве мы не можем переговорить наедине?

— Нет,— ответил Теодор,— я хочу разговаривать с вами при свидетелях.

Адвокат злобно усмехнулся при этих словах и сказал:

— Теперешняя молодежь не блещет благовоспитанностью. Вы нахально приказываете передать мне, чтобы я пришел к вам для переговоров, неужели вам не стыдно! Если бы не ваши родители и не ваши сестры, вы бы напрасно дожидались меня. Впрочем, я больше ничего не имею сказать вам, и у нас с вами не будет никаких дел. После сегодняшней

перемены к худшему в положении вашего отца, я посоветовал вашим сестрам уладить сами отношения с вами. Результат, к которому вы придете, должен быть окончательным, и то, что надо будет закрепить письменно, то я напишу. По моему мнению, для всех вас будет выгодно помириться на минимуме. Разумеется, вы заберете все товары в лавке?

— Да.

— И по приличной цене. Разумеется, вы это сделаете. И купите и самую лавку.

— Нет,— ответил Теодор.

— Вот как?

— Это старый хлам. Как видите, у меня есть собственный дом, а как вы полагаете, сколько он мне стоил? Нет, вы и остальные выгнали меня из старой лавки, и я в нее больше не пойду.

Но это, конечно, была только хитрость со стороны Теодора. Неужели он так-таки зря выстроил новую лавку стена об стену со старой? Разве он не собирался соединить оба дома в один, когда придет время?

— Но я могу арендовать старую лавку,— сказал он.

Тогда адвокат не на шутку испугался и, может быть, подумал о своем гонораре:

— Единственное, что меня беспокоит — это ваши родные,— сказал он,— что будет с ними? Если им не удастся сколько-нибудь выгодно сбыть свое имущество, то я не знаю, чем они будут жить в дальнейшем.

— Мои родные могли бы жить так, как жили раньше.

— Я согласен,— сказал адвокат,— что при теперешних обстоятельствах это было бы самое лучшее.

Ага, заевшийся адвокат раздавлен, окончательно растоптан, пузо, свинья! Теодор властвует над ним. Он спросил снисходительно:

— На всякий случай, сколько вы хотели бы получить за старую лавку?

— Я говорил об этом с вашими, мы полагали — ваш отец полагал — три тысячи.

Довольно странно, горничная Флорина вызвала на божий свет господина Дидрексона; как поступил бы в подобном случае он?

— Я дам три тысячи,— сказал Теодор.

Адвокат счел это своей личной победой и сказал:

— Вот видите, очень полезно поговорить с вами!

Я не зря представил вам беспристрастное изложение дела.

Что такое, он опять за свое и начал побрякивать ключами!

— Вы вовсе не представили никакого изложения,— сказал Теодор,— и можете убраться, когда вам будет угодно.

— Да,— оторопело проговорил адвокат.— Ну, да, желательно, чтобы ваши родные в дальнейшем действовали по намеченным мною принципам. В конце концов образуется одно помещение и одно имущество, счета вычитаются, мое маленькое вознаграждение тоже вычитается; но остается еще многое: часть ваших родителей, и другая — ваших сестер. Вы сами по-прежнему отказываетесь от наследства?

— Натурально.

— Отлично, это-то я и хотел выяснить. Когда товары будут подсчитаны и вы установите между собой ценность имущества, я готов предложить свои услуги. Вы согласны?

— Нечего вам стоять и болтать! — сказал Теодор.— Я дам своим родным все, что полагается, и еще больше без вашей помощи.

ГЛАВА XIV

Можно ходить в жилете с золотыми пуговицами и не уметь сочинить оперу. Виллац Хольмсен ходил в жилете с пуговицами из золота.

Чего только он не придумывал! Если б в один прекрасный день он остановился и подсчитал все, что придумывал для того, чтоб привести себя в настроение, он сам удивился бы. Он гулял и запирался у себя в комнате, пил вино и постился, стремился к людям и бежал от них, работал днем и работал ночью — получалась только работа, только крах.

К отчаянной бесплодности прибавилась ужасная и неутомимая ревность.

— Покушайте же, пожалуйста! — говорила Полина, устремляя на него темно-голубой взгляд.

— Спасибо,— отвечал он, даже не поворачивая головы.

Он работал. разумеется, он отлично играл, он научился этому искусству с самых ранних лет и, кроме того, был счастливчик, родился в сочельник, но теперь это не помогало, скорее, это его изводило. Нет, ему и в этом году не следовало приезжать в Сегельфосс, все пошло плохо с самого начала. Даже первую встречу он в глубине души, верно, представлял себе немножко по-иному: с безмолвным изумлением, с любопытной толпой на набережной. Ведь он же известный в стране человек,

многообещающий музыкант. А как вышло на самом деле? Встретила его на набережной экономка его родителей, милейшая фру Кристина. Сегельфосс видел туристов поважнее его, англичан, объездивших земной шар, принца Бонапарта, направляющегося на Шпицберген. Один раз приезжал государственный министр, ужасно ломался и притворялся, будто интересуется жизнью и стремлениями народа, за что карьерист адвокат Раш прокричал ему «ура» на набережной. Приезд Виллаца Хольмсена произошел в полной тишине. Несчетное число раз он собирался уехать, но оставался. Он прирос к месту.

Антон Кольдевин, разумеется, давно уехал домой. У господина Хольменгро все идет своей обычной чередой. Марианна изредка показывается на пригорке, когда идет с отцом на мельницу или возвращается оттуда. Она в ярко-красной накидке. Может быть, Антон скоро опять приедет к ней. На здоровье!

Опасное и ужасное время! Виллац достает глины и лепит — чего только он не придумывал! Ему хочется вылепить летящую фигуру, великолепную ростральную фигуру, украшение для галиона. Оказалось, что он не научился лепить, совсем не научился, даже был сейчас искуснее, чем в детские годы в Англии, когда обучался лепке. Но делать ростральные фигуры было безусловно трудно. Виллац вытащил рисовальные принадлежности, кисти и тюбики с красками, а почему бы и нет! Его мать тоже рисовала, и он научился от нее. Потом опять играл. Потом собственноручно пришил золотые пуговицы к своему жилету и разгуливал с ними в честь самого себя и в память отца, от которого их получил. Во всяком случае, было очень приятно красоваться с золотыми пуговицами на груди, и Виллац гулял так по своим комнатам на кирпичном заводе, даже ходил в лес к своим дровосекам.

В лесу Аслак и Конрад рубили деревья, и когда Виллац подходил ближе, они кланялись. Еще бы они забыли поклониться! Он разговаривал с ними немного, но смотрел на их работу твердыми серыми глазами и высказывал свое мнение. Бог знает, что было сначала на уме у этих двух людей, когда они попросились на работу к Виллацу Хольмсену, не хотели ли они ему повредить или отомстить за что-нибудь. Но, прожив у него некоторое время, они утихомирились, а кончив порубку в лесу, оставались вновь и вновь и постоянно получали работу в большом хозяйстве. Они перестали покупать провизию в Буа, хотя у них

завелись и деньги, они имели приличные харчи, постель и стирку, оба поправились и раздобрели.

Каждому свое. Виллац разгуливал с золотыми пуговицами, а работал, как каторжник, и худел от горя и страсти. «Вот увидишь, я посредственность!» — думал он по временам. Он переносил это хорошо, переносил, как настоящий Хольмсен. Нет, этому никогда не будет конца, посредственность засела в нем крепко, впиталась в кровь; но Виллац не сдавался. Только этого не доставало! Дома, на усадьбе, он притворялся, будто интересуется животными, курами, было бы слабостью забыть обо всем остальном из-за музыкальной пьесы. Он часто наблюдает петуха, великолепного бойца со шпорами на ногах; вот он загорается любовью, распускает крылья, выступает боком, хорохорится, выгибается на левый бок и чуть не падает — ах, чего только он ни проделывает! Но потом снова становится повелителем и победоносно разгуливает по двору. Вот так петух — так и кажется, что он щеголяет с цветком, с розами и гвоздикой. Он возвращался в свои кирпичные комнатки и играл, злился и мучился. Неужели он так и не дождет взрыва? Чем он заполнял свои дни? Мелочами. Кое-когда нож, но не меч, рой звуков, но не голос. Жантильности. Три раза подряд он подходил к зеркалу и всматривался в свое отражение, чтоб хорошенько убедиться: да, у него появился седой волос, два седых волоса. Отец его не начинал седеть в такие молодые годы. Антон Кольдевин не поседел. На здоровье, пусть себе едет к ней!

— Пожалуйста, покушайте!

— Спасибо, я приду через минутку. Нет, я не пойду. Оставьте меня одного.

Что это? Несчетное число раз он обманывался — и вот пришло! Волны подхватила его! Стоял вечер, но в его глазах занимался рассвет, небо начало струить золото, и земля под ним розовела. Волна, волна! Долго же мы ждали ее, но теперь нам нечего жаловаться, совершенно нечего жаловаться, и чувствовать влагу на глазах, и дрожать. Этого не надо.

Звуки льются и льются из переполненной души, льются, не переставая; он сидит, как слепой, и воспринимает их извне, записывает же, словно в ярком свете. Пишет, пишет, пишет. По временам ударяет рукой по роялю, опять пишет, подпевает, чувствует тошноту и сплевывает, пишет. Так длится долго, часы бегут, о, эти часы на волне! Опять кантата, песня, музыка для танцев? Нет, опера, о боже,

шедевр! Сейчас, как никогда раньше, в нем происходит взрыв — так что, пожалуй, и вышел кое-какой толк из того, что ревность так долго кипела в нем.

На заре потихоньку начинается отлив, лампы выгорели досуха, шатаясь, он походит и задувает их. Потом падает на диван и засыпает ничком, уткнувшись лицом в свои руки.

— Здравствуйте! Не придете ли вы покушать?

— Нет, спасибо. Иди домой, я приду попозже.

Он еще не кончил. Слава богу, не кончил. При взгляде на работу прошлой ночи он чувствует, как душа его словно взмахнула крыльями, опять начинается, звуки из неведомого царства песен, они с какого-то острова, они увлекают его за собой, опускают — волна! И сегодня продолжается то же, волна распоряжается им, необузданно и неэкономно, тошнота его становится сильнее, слезы чаще, он бросается на пол и пишет коленапреклонно, молитвенно, а звуки все льются, льются, наполняя отрадой...

— Пожалуйста, покушайте хоть немножко!

— Спасибо, поставь здесь.

В двое суток он преодолел все трудности и напитал свое произведение волною. Он жил один, на огромной высоте над землей, жил лишь одним собою, высасывал самого себя, спал урывками, ел совершенно рассеяно, поглощая все, что находилось на тарелках, безудержный и всем существом своим пьяный от поэзии. Двое суток. Затем волна медленно отхлынула.

Из глубочайшей бесплодности унижения — с головой в величие! Он зачал и сотворил в одном длинном беге.

Молодой Виллац — у предков его были слуги, помогавшие им одеваться по утрам — молодой Виллац не нуждался в помощи, он лежал свернувшись калачиком. А никто не спит крепче художника, когда после удачного дня он погружается в сон, подложив под голову собственные руки, вместо подушки.

— Я уезжаю, — сказал он. — Но этого никто не должен знать, кроме тебя и Мартина-работника.

Полине некому было и сказать-то. Она посмотрела на него своим милым, рабским личиком, и глаза ее подернулись бархатом:

— Вот как, вы опять уезжаете!

Мартину-работнику он сказал, чтоб Аслак и Конрад всю зиму выбирали камень. Весной он собирается строить, пристройку к скотному двору, беседку в саду, амбар для силосованного корма — большие планы, неужели молодой Виллац Хольмсен так богат!

Полина видела, как он сел на пароход. Она украдкой выпила воду из его стакана. Выходя, погладила рукой гвоздь, на который он обыкновенно вешал шляпу. Потом заперла комнаты на кирпичном заводе и пошла назад на усадьбу, к хозяйству, надзору за работницами и продаже молока от тридцати с лишним коров. Маленькая Полина была большим молодцом.

А Виллац повернулся спиной к набережной и не смотрел на берег; он был изящен и молчалив, в новых перчатках. Он уезжал так же тихо и гордо, как и приехал, никакого парада, никаких «ура». Да вышло так удачно, что, проездом на юг, на берег высадились актеры, что примадонна Лидия, и фрекен Сибилла, и актер Макс опять сошли на берег в Сегельфоссе, и они-то и привлекли всеобщее внимание.

Теодор встретил трупку на набережной и проводил в гостиницу Ларсена.

— Большие перемены с того времени! — сказал он и сейчас же рассказал, что стал единоличным владельцем Буа и скупил все.

Актеры слушали с преувеличенным вниманием и притворялись, будто очень интересуются радостями и горестями владельца театра. Фрекен Сибилла спрашивала о подробностях:

— И теперь ваши сестры не будут жить дома?

— Мои сестры? Нет, они уехали обратно, на свои места. А я сам, — сказал Теодор, — несколько недель обедал в гостинице, но теперь я опять перебрался домой. Потому я теперь я владею всем.

— Подумать только, неужели вы владеете всем! — воскликнула фрекен.

Но тут дело зашло, должно быть, уж чересчур далеко, потому что актер Макс заметил с удивительной язвительностью:

— Как бы ты скоро опять не свернула себе ногу, Сибилла?

Фрекен Клара, пианистка, осведомилась о Борсене.

А где же был Борсен? Неужели он не пожелал показаться на набережной шикарным приезжим? Разумеется, он моментально исправил свою оплошность, пошел в гостиницу и явился к фрекен Кларе. Радостная встреча и теплая дружба, описания путешествия по северной Норвегии, переживания, забавные приключения на пароходах и в гостиницах, артистические триумфы в городах. «За садовой оградой» — старинная прелестная пьеса, пере-

вод со шведского; они ее сильно исправили и прибавили новые песенки, Макс-мастер сочинял куплеты. Сюжет «За садовой оградой» — печальный, герой и героиня не женятся, нет, она его закалывает, убивает, и это замечательно подходило к фрекен Кларе, она вся пылала, когда в конце они ссорятся. Она сама могла бы выйти замуж за богатого и все такое.

— Вы играете в этой пьесе?

— Разумеется. Это самая большая роль. Я не только играю, но я пою и аккомпанирую себе на гитаре. Никто другой этого не умеет, и потому ни о ком не было таких замечательных отзывов — вот, посмотрите! Не правда ли? И, разумеется, в Сегельфоссе тоже сойдет хорошо, ведь нам так страшно повезло этим летом. Как вы думаете, господин Борсен?

Удивительный Борсен, глупый Борсен, чего он ожидал от фрекен Клары? Ничего; но в прошлый приезд в ней был здравый смысл, в ней была горечь, она решительно покидала искусство, в котором не могла достигнуть ничего крупного, — теперь горечь исчезла, улеглась оттого, что она получила роль в какой-то неведомой пьесе с пением. С пением — а может ли фрекен Клара петь?

— Да, отчего же, — ответил он.

— Потому что нам ведь приходится. А что же иначе делать? — смеясь сказала фрекен Клара. — У нас мало денег. Правда, мы заработали недурно, но расстояния между городами такие большие. А потом, мы покупали разные разности, когда были деньги, наступили холода, пришлось купить верхние вещи. Кроме того, мне нужен был пеньюар, хотите посмотреть? Капот, толстый шелковый шнурок вокруг талии...

Борсен сказал:

— Виллац Хольмсен уехал с этим пароходом. Говорят, он последнее время komponировал днем и ночью.

— Вот как, — сказала фрекен Клара. — Ну, я больше не интересуюсь музыкой, я поняла, что мне это ни к чему. Я теперь интересуюсь только драматическим искусством. Послушайте, господин Борсен, ведь это, конечно, была только шутка, — то что вы говорили о драматическом искусстве летом? Вы не отвечаете?

— Не помню. Но не считаю невозможным, что летом я пошутил насчет так называемого драматического искусства.

— Ах, боже мой, какой вы скучный! Простите, что я так говорю!

— А где все остальные? — спросил Борсен.

— Ушли в театр, господин Иенсен хотел показать рояль и граммофон. Вы хотите видеть остальных?

— Пианистка не интересуется попробовать свой рояль?

— Нет! Вы слышали. Но подождите, дайте мне одеться, и я пойду с вами. Можно идти в таких галошах?

— А что с ними такое?

— Они не блестят и не новые, мне надо другие. Уверю вас, люди стали иначе смотреть на меня с тех пор, как я купила себе шикарные платья в Тромсе. Знаете что, господин Борсен, эта ваша шляпа скандальна. Извините, что я так говорю.

Борсен улыбнулся:

— Если б я надел одну из моих новых шляп, я не посмел бы взглянуть в глаза своей старой шляпе.

— Вы не носите пальто? — спросила фрекен Клара.

— Нет.

— Да, но, в общем, начальнику станции следовало бы быть хорошо одетым.

— Дорогая фрекен, все равно никогда не будешь так изыщен, как оберкельнер в какой-нибудь большой гостинице.

— Вот это, наверное, возвращаются остальные, — сказала фрекен Клара и сняла галоши. Но тут миленькая дамочка, должно быть, испугалась, что обидела начальника станции, подошла к нему и начала застегивать его пиджак, приговаривая: — Боже мой, какая прелесть, какой вы большой, я достаю вам только до этих пор, посмотрите! Но убей меня бог, если я понимаю, зачем вы торчите в этом Сегельфоссе! Сколько времени вы уже здесь? Слушайте, вот как вы должны завязывать галстук, подите, посмотритесь в зеркало. Нет, это не они вернулись. Но мы с вами все-таки не пойдем — хорошо? Послушайте, господин Борсен, хотите быть ужасно милым? Я один раз видела у вас кинжал, такой, что уходит в рукоятку, когда им ударишь, подарите его мне?

— С удовольствием.

— Спасибо. Вы прелестнейший в мире человек! Зачем он мне? Да для пьесы же, ведь я же его закалываю, и было бы замечательно хорошо, если б можно было ударить изо всей силы. Ах, «За садовой оградой» очень глубокая пьеса.

Фрекен Клара замурлыкала, схватила гитару и запела. Кончив, она сказала: «Никто другой так не умеет! Как вы находите, господин Борсен?»

Молчание.

— Для меня не подлежит сомнению, что вы играете лучше, чем поете,— ответил Борсен.— И я не сомневаюсь также, что вы сами это знаете. Вы искажаете себя перед самой собой.

— Ах, вы опять говорите загадками. Я не хочу вашего кинжала! Послушайте, неужели я в самом деле так гадко пою? Пусть, но поверьте, что я пою хорошо, что у меня выходит, поверьте, слышите! Разумеется, я не умею петь, но не говорите этого другим, вы обещаете? Потому что иначе у меня отнимут роль, а это великолепная роль...

Наконец вернулись остальные актеры, и опять произошло радостное свидание. И фрекен Сибилла проявила такой же интерес к радостям и горестям начальника телеграфа, какой она проявила к радостям и горестям Теодора: «Как вы поживаете? Как приятно снова видеть вас!» Глава труппы спросил Борсена о видах на исход представления. И полагал ли он, что первоклассный спектакль может рассчитывать на достойный прием в этом местечке.

Борсен находился в глубоком затруднении, никто не знал театральный мир Сегельфосса меньше, чем он. Но ведь о труппе были такие хорошие объявления, перспективы, можно сказать — светлые?

Фру Лидия, примадонна, принесла рабочий ящичек и сказала:

— Извините, мне надо зашить дырку!

Она открыла ящичек, и между швейными принадлежностями обнаружили две бумажки по десяти крон.

— Господи, какая ты богачка! — воскликнул кассир труппы.— Хорошо, что мы узнали!

— Ты хочешь, чтоб я спросила, откуда у тебя такая куча денег, Лидия? — сказала фрекен Клара.

— Да, спроси, спроси! — поддержал актер Макс.

Примадонна метнула на фрекен Клару презрительный взгляд и ответила без тени смущения:

— Подожди, пока добьешься моего жалованья, дружок, тогда и у тебя тоже будет оставаться два-три десятка крон!

И все кивнули друг другу, что знают, мол, старую штучку фру Лидию, которую она всегда проделывает при посторонних. Но фрекен Клара не удовлетворилась кивком, она дала понять примадонне — да, без всякого снисхождения, она заставила примадонну взглянуть на лист нотной бумаги, заявив при этом:

— Посмотри, ты не можешь разобрать даже этих безобидных значков! Потому что бог не дал тебе ни капельки голоса!

— Не ссорьтесь, дети! — остановил антрепренер.

Фрекен Сибилла не интересовалась ссорой, ах, ей совершенно безразлично, кто сейчас опять ссорится: фрекен Сибилла интересовалась только собой. Она была мастерица изобретать разные фокусы для украшения и одевалась смело и красилась, сегодня она нашла два белых пера чайки по дороге в театр и сейчас втыкала их в волосы.

Начальник телеграфа ушел из гостиницы беднее, чем пришел. Он спешил туда, чуть ли не как юноша, как мальчишка, еще слабо взволнованный своей летней влюбленностью; но теперь он уже не был юношей и безумцем, — куда девалось его смешное и упоительное настроение? И тотчас же мозг его заработал, и кое-что получалось в возвышенном стиле, вроде: «Желкая жизнь, глубокое унижение!», а кое-что в низменном: «Прекрасная Клара, ты играешь лучше, чем поешь, и сама это знаешь, ты поешь, как замочная скважина. Может быть, ты захочешь знать, составил ли я себе об этом определенное мнение? Прекрасная Клара, никакого определенного мнения, но одно мнение и об этом, и о тебе, и обо всех вас — убеди меня, что оно неверно! Вы фигляры, скоморохи, и такими вы останетесь. А надо ли, чтоб кто-нибудь был фигляром? Хорошо. Нужно ли, чтоб некоторые люди были кастратами? Хорошо. Ведь ваше ремесло стирает половое различие между тобой и мужчиной, вы разговариваете и действуете на равной ноге, хотя вы и не равны, это искусственность и заблуждение: в жизни горный козел отличается от горной козы. Фрекен Сибилла несомненно бесполо, актер Макс по всем вероятностям немножко обоего пола. Он ни на что не способный бедняк в мужском платье. А что такое ты?

Прекрасная Клара, ты застегивала мой бывший пиджак и дышала на меня, это ничего не означало, но ты привыкла, что мужчина должен получить награду за свою любезность, и ожидала, что я захочу, как в прошлый раз. В твоих движениях не было «нет», но где был угар? Неужели ты думаешь, что угар это — становиться на одну ногу с актером Максом и говорит непристойности и притворяется распушенным, как он. Ты ошибаешься, это бездарность. Ты не годишься для сладострастия, ты только играешь, будто годишься. Прекрасная Клара, я отвернулся от тебя, потому что ты бездарна, я отвергаю тебя, твоя игра проиграна. Если ты идешь по улице, то не для того, чтоб куда-нибудь пойти, а для того, чтоб хорошенько выставлять свои ноги, чтоб спрашивать знатоков, хорошо ли ты их выставляешь. Ты кичишься легкомыслием,

которого у тебя нет, ты разочаруешь всякого настоящего мужчину. Не надо выносить сладострастие на рынок, сладострастие священо, поцелуй и объятие ни в каком отношении не имеют связи с улицей.

Почему люди находят, что вы, актеры, бесстыдны? Потому что люди — скоты. Вы не бесстыдны, вы дрожите от стыда за свою бездарность. Если вам во всякое время приходится притворно вызывать в себе эротический пыл, то это происходит ради «искусства» и ради вас лично, ради сегодняшнего представления. Вот, этим-то вы и позорите себя, и это совершенно правильно и справедливо. Вы, дамы, играете в презрение к домашнему хозяйству, притворяетесь равнодушными к малому личному уважению, какое внушает, вы не матери, или же только чрезвычайно плохие матери, не воспитательницы, или же воспитательницы до плачевности дурные — каждый божий день погружает вас во все больший стыд перед этой бездарностью. Это правда. Актриса стыдится больше, чем люди, которые могут быть названы скотами. У скота есть свои способности, и он не стыдится.

Прекрасная Клара, извинить ли мне вас? Не правда ли, вскинем головку в знак того, что мы в этом не нуждаемся! Вы слышали, что и это тоже «артистично», это входит в игру. Кто твой отец и мать? Происходите ли вы, актеры, от людей загнанных и впавших в заблуждение? Вы редко бываете красивы и быстро делаетесь безобразными, вы прикрываете все недостатки своего тела специально придуманными костюмами, которые затем общество перенимает от вас, как заразу. Прикрасы господствуют, а Венера низводится с пьедестала. Венера? Да простят мне богиня, что я произнес ее имя здесь! Разве Венера была фигляркой? Разве она не стеснялась отпустить вольность с подмостков, сальную шуточку для театральной черни? Разве она прибегала к разным хитрым приемам? Она была святая.

Я извиняю тебя, прекрасная Клара. Ты состоишь в бродячей труппе, вам приходится жить в дешевых гостиницах и стараться не выйти из бюджета, приходится притворяться, будто дела идут гладко, будто швыряние контрамарок происходит исключительно от хорошего состояния кассы, вам приходится разыгрывать состоятельных людей перед каждым человеком и в каждой лавочке: «Я бы взяла этот шелковый корсет, но мне не нравится цвет! Отложите для меня этот скунсовый мех, мы послезавтра получаем жалованье!» Жалкая жизнь!...

А чего лучшего вы заслужили? Чему вы учились? Немножко судьбы, чуточку больше, может быть, школьной науки, чуточку больше, может быть, «воспитания» — ярмарочный фигляр, тот умеет есть горящую паклю и жонглировать кинжалами. Вы явились в театр бог весть откуда и безо всяких данных или с любыми данными: талантом, честолюбием или нуждой. Талант? На то, чтоб показывать себя, чтоб актерствовать. С седой древности, со времен фараонов и Великого Могола — ремесло рабов, в наши дни — мастерство, столь же распространенное, как школьные науки и «воспитание», а в некоторых городах и странах — заразная болезнь, которой не в силах прекратить никакой бог или дьявол.

И вот вы у цели — в доме с тремя стенами. Можешь ли ты, прекрасная Клара, представить себе, как искажается весь дом?

На сцене царят болтовня и махание руками. Но ни один порядочный человек не болтает и не размахивает руками, это случается с ним только в те минуты, когда он утрачивает часть своей порядочности. О том, что в тебе есть самого лучшего, благородного, ты не говоришь, ты только думаешь, но ты молчишь об этом. Если ты слышишь, что театральная чернь хохочет, будь уверена, что ты выкинула нотой коленце, над которым никто не рассмеялся бы в доме с четырьмя стенами, но все молча извинили бы. Или сойдя вниз и присутствуй в качестве одинокой зрительницы при коленцах, какие выкидывает твоя собрат по фиглярству, — и посмотри, засмеешься ли ты! Это свет, люди и музыка превращают театр в место сборища, они, и единственно они, превращают пустейшее препровождение времени в необходимую потребность для взрослых людей. Сидеть и притворяться перед другими, будто ты взволнован. Внушать сидящим вместе с тобой, будто ты превосходишь их в понимании искусства.

А понимаешь ли ты искусство? Что если твое понимание просто-напросто не признают? Вот являются критики! Посмотри на них, когда они входят, они решают все, поистине это они заставят данное сборище черни сказать, правильно ли повернулась фрекен Сибилла и хорошо ли зевнул актер Макс. А потом почтенные старцы высказываются об этих проблемах письменно. И один говорит да, а другой говорит нет, все на основании глубокого знания дела.

В антракте мы идем в буфет. Нам это почти необходимо, мы ослабели, истощены. И тут на нас глазект,

и мы тоже глазеем, чернь раскланивается перед чернью нынче вечером, как вчера, мы рассматриваем туалеты и выслушиваем мнения: пойдет пьеса или провалится?

Фараон и Могол — они были тираны по убеждению, театральная чернь — тиран по наивности. Она пишет в «Сегельфосской газете» и сама читает это с радостью.

Так называемое актерское искусство есть искажение по рецепту. Это промежуточная форма, возникшая не для усовершенствования произведения, но паразитирующая на нем. Высшей победы актерское искусство достигает в изделиях специалистов, родившихся с особой сноровкой, и оправдание свое актерское ремесло ищет в том, что вкладывает содержание даже в худшие из этих изделий: это значит, что оно углубляет и разъясняет то, что недостойно никакого объяснения. Достойное назначение актерство могло бы иметь в фарсе: заставляя чернь плакать вместо того, чтоб хохотать во все горло.

Согласна ты? Составила ли ты себе определенное мнение относительно того, что мое мнение не верно? Прекрасная Клара, послушаем!...»

Фрекен Клара могла бы, пожалуй, ответить на это, что если он тот самый Борсен, сын известных Борсенов, который не желает быть никем, то всякий ответ излишен. Он попытал счастья в качестве актера и не обнаружил таланта, писал пьесы и потерпел фиаско. Ха-ха, фрекен Клара могла спокойно играть, и ее труппа тоже.

Но Сегельфосс — увя! — уже не был алтарем искусства и городом для приезжих трупп. Кто мог бы это понять: актеры те же самые, а «За садовой оградой» — прелестная пьеса. Несколько редких зрителей в театре Теодора, они громко разговаривали и перебрасывались шутками через огромный зал: иди, мол, сюда, садись, занимай один целую скамейку! А когда представление кончилось, они опять громко говорили, что такого жульничества они еще не видали! И уходили разозленные.

В чем же было дело? Актеры поместили объявление в гезете, и редактор написал заметку, Теодор из Буа вывесил флаг на лавке и на театре. Нильс-сапожник добросовестно сидел на своем месте и продавал билеты. И сама труппа сделала все, что от нее зависело: мужчины ходили гулять и анонсировали о себе шляпами на шнурках, а дамы новыми пелеринами. Но все равно! Так, может быть, Сегельфосс не мог выдержать два тетральных представления в один и тот же год? Или, может быть, сама пьеса оказалась не столько подходящей? Она кончалась печально, герой был замеча-

тельный человек, во всех отношениях, но, благодаря недоразумению, возлюбленная закалывает его кинжалом, и тут сегельфосские парни заревели и хотели за него вступиться. На этот раз в театре не было ни адвоката Раша, ни доктора Мууса, которые могли бы их образумить; не помогло и то, что невеста потом ужасно горевала и пела, заливаясь слезами — парни чувствовали себя оскорбленными, они заплатили деньги не за то, чтобы присутствовать при поражении.

На следующий день начальник телеграфа Борсен пришел в гостиницу и застал всю труппу в крайнем угнетении, только актер Макс был довольно бодр, но и то из нахальства.

— Устроим маленький праздник! — сказал Борсен.

Ответственные уныло улыбнулись на это предложение, а неответственные встретили его рукоплесканиями. Когда же Борсен вышел и вернулся с вином для дам и виски для мужчин, то недолго спустя все сделались несколько менее ответственными.

— Хорошо, если бы праздник продолжался до тех пор, пока не придет пароход и не увезет нас из этого противного места! — сказал глава труппы.

— Да ведь пароход придет не раньше завтрашнего вечера, — возразил кассир.

Часы шли, веселые часы. Борсен, ангел-спаситель, лично принес еще водки, и добыл он ее, верно, от того же Теодора из Буа, потому что его фирма стала способна на все. Кассир воскликнул:

— Если бы у нас были деньги на все это!

— Не хватит! — ответил один из актеров, — нам все равно было бы мало!

Но шеф был благоразумен и сказал:

— Давайте вести себя так, чтоб нам можно было еще раз вернуться в Сегельфосс!

— Нет, мы никогда больше сюда не поедem! — закричали одни.

— Да, мы еще приедem и опять увидимся с начальником телеграфа! — закричали другие.

— Да здравствует Борсен! — закричали все.

Борсен был непоколебимо щедр и спокоен, прямо отец к детям, прямо провидение. Ставя на стол новую бутылку, он сказал:

— Здесь все будет заставлено ими, я защищу вас от сквозняка бутылками с водкой!

Ах, и веселый же дьявол этот начальник телеграфа Борсен, он не мог бы быть лучше, если б его украшали ракушки и мантия гамадрила.

Разумеется, никто уже не печалился. Фру Лидия вспомнила, что у нее болезнь сердца, и принесла свои капли, фрекен Сибилла столь же бесцеремонно сходила за своей железной микстурой, царило полное дружелюбие, они посылали воздушные поцелуи висевшему на стене пастору Лассену и поднимали в честь его стаканы, чокались друг с другом и прощали друг другу всевозможные оскорбления.

Борсен подсел к фрекен Кларе так, словно бы на вечные времена, словно наконец-то добился настоящего свидания с нею. Это рассердило актера Макса и довело его до бешеной ревности. Актер Макс был ненормальный и никуда не годный, он ревновал, как евнух, ко всем, а тут напрямик заявил, что начальник телеграфа домиляется до того, что станет на голову короче, если не пересядет!

Фрекен Клара закричала:

— Отстань, Макс! Я не выношу твоих противных синих рук!

— Что ты говоришь? — грозно спросил Макс.

— Мы все это говорим! — ответила фру Лидия и фрекен Сибилла.

Макс поднялся бледный, как смерть, и вышел из комнаты.

Словом, все было широко задумано и хорошо выполнено. Борсен потребовал ужин для компании; покушав, все опять пили. Борсен по-прежнему оставался невозмутимым. С уст его то и дело сходили возвышенные и оригинальные фразы, и он удивлял фрекен Клару тем, что говорил ей столько нежных и кривоточащих слов:

— Мои губы жаждут ваших уст, — говорил он, — мне приходится закусывать их, чтоб удержаться! Как вы себя чувствуете, фрекен Клара? Если в любви не подвигаешься вперед, то пятишься назад. Таков закон.

Принесли письмо, написанное пером и чернилами, оно было от актера Макса. Он спрашивал, можно ли ему вернуться в компанию. Борсен достал свой карандаш и хотел ответить.

— Нет, не карандашом, — сказала фрекен Сибилла, — Макс очень щепетилен на этот счет.

— Неужели карандаш не годится, чернильный карандаш?

— Чернильный, великолепно, ха-ха-ха, — захохотал кассир. — И ответьте, что если он придет, его, так и быть, потерпят.

— Нет, не так, — сказала фрекен Сибилла, — это его не удержит.

— А на это господин Макс не щепетилен? — спросил Борсен.

— Напишите, что я ушла,— предложила фрекен Клара.

— Ты воображаешь, что это по тебе он стосковался? — вскричали обе остальные дамы и начали спорить из-за негодного мужчины.

Но тут он сам появился в дверях, поклонился и спросил, разрешается ли ему войти.

— Естественно! — ответили все.

— Да, но ты, Клара, выгнала меня вон.

— Разве я с тобой говорила? — ответила Клара. — Ни слова. Здесь много народу, кроме тебя, Макс. Садись! Ты не ел?

Но тут кутеж зашел уже чересчур далеко, да и вечер был уже поздний. Фру Лидия и фрекен Сибилла, смеясь, пили друг у друга лекарства и никогда не испытывали такого облегчения. Тогда шеф в последний раз проявил благоразумие и сказал:

— Видите себя так, чтобы нам можно было сюда вернуться, прошу вас!

И вот тогда-то фру Лидии стало дурно. Сначала она подумала было упасть в обморок, но поневоле пришлось изменить обморок на тошноту и выбежать из комнаты.

Остальные продолжали сидеть за столом, Борсен в повышенном настроении и очень довольный. Он говорил, что хотел бы обладать фрекен Кларой, как дорогим бархатом и вышивкой, говорил, что она смотрит на него взглядом, от которого он погибает — ах! Это опять стало не под силу бедному Максусу, и он скрежетал на них зубами.

Фрекен Клара вспомнила про кинжал, волшебное оружие.

— Не зубуйте завтра кинжал, господин Борсен!

— Не забуду!

Шеф предложил расходиться.

— Поблагодарим начальника телеграфа за эти забвенные часы, спасибо и ура!

— Я еще не ухожу,— сказал Борсен.

Актер Макс застонал от ревности и спросил:

— Разве вы не слышали, что наш глава просил вас уйти?

Но Борсен был стоек и велик и продолжал сидеть. Казалось, будто он ожидал от этого момента чего-то важного, будто надеялся на какую-нибудь несдержанность в том или ином направлении.

Актер Макс растерянно выкатил глаза и обратился прямо к Борсену:

— Нас здесь семь человек, вы один, не можете ли вы подать нам хороший совет, как нам от вас избавиться?

Борсен продолжал сидеть.

— Пойдемте, прогуляемся! — предложила ему фрекен Клара.

Борсен сейчас же встал и вышел с нею.

Но кончилась и эта ночь, и занялся новый день, о, печальный день, с головной болью и множеством забот. Серьезность вступила в свои права, антрепренер и кассир вели ответственные разговоры. Труппа попала в беду, она застряла в Сегельфоссе, приехала сюда с пустыми руками и ничего не имела про запас. Ах, новые пальто стоили страшно дорого! Если бы они смогли расплатиться здесь, им, может быть, удалось бы получить бесплатные билеты на палубе до ближайшего театра.

Шеф и кассир отправились депутатами к примадонне и с тысячью извинений попросили одолжить им ее двадцать крон.

— И речи быть не может! — ответила примадонна.

Они выждали час и пошли к ней снова.

— О чем же я расплачусь сама? — спросила примадонна. — И зачем вы так мотаете, когда у вас заведутся деньги? — спросила она. — Я видела, как ты купил почтовых марок на пять крон.

— Мне приходится писать во много мест и вкладывать вырезки и наклеивать марки, — ответил антрепренер. — Но у меня еще осталось на две кроны, я их пересчитаю.

Примадонна смягчилась:

— Вот деньги! — сказал она. — А теперь мы справимся?

— Не совсем. Но мы посмотрим, не наберем ли еще немножко у других!

И оба пошли депутацией к остальным.

Антрепренер считал долгом своей чести, чтобы труппа расплачивалась в каждом месте и могла вернуться туда еще раз. Жалкая жизнь. Актеры были доверчивы и беспомощны, они лепетали, как дети, и словно куры жались друг к другу. Их можно было надуть и потопить, ничего не стоило напоить их и заставить кривляться: но при правильной постановке, они сияли красивым светом, озарявшим их мрачный фон. Случалось, они сидели и чинили свое платье, штопали дыры, зашивали иглой и ниткой свои рваные башмаки. Фрекен Сибилла готова была помочь труппе всем, чем могла; после совещания с фрекен Кларой она принялась стирать и вывешивать на видном месте для просушки тонкие воротнички и сорочки с ручной

вышивкой, чтобы люди поразились великолепием этих странствующих артистов. Когда депутация пришла к фрекен Кларе, она сейчас же расстегнула корсаж и вытащила помятый медальон на шнурочке, и, конечно, горделиво полагала, что рассчиталась вчистую, уж один шнурочек стоил дороже цепи любого короля.

— Денег у меня нет,— сказала она.— Но у меня есть вот это! — с этими словами она отдала медальон. А может быть, она получила его в подарок дома, в какой-нибудь рождественский сочельник, в давно минувший сочельник, на елку.

Начальник телеграфа Борсен явился с кинжалом, вежливо раскланиваясь направо и налево. Он был величествен и крепок сегодня, как вчера, и казалось, не имел никаких забот, должно быть, он уже устранил их. Фрекен Клара поблагодарила за кинжал, но не была расположена поучиться обращению с ним.

— Мы в страшном затруднении,— сказала она,— нам нечем расплатиться!

— Пустяки! — ответил Борсен.

Она объяснила положение, дефицит, это очень серьезно; Борсен улыбнулся и сказал:

— Эти гроши вы можете занять у меня!

Она всплеснула руками и воскликнула:

— Ах, господи, да вы же прелестнейший человек в мире, и я никогда не слыхала ничего подобного! Лидия!— закричала она в дверь,— знаете, что? Борсен спасает нас, начальник телеграфа.

Борсен принес деньги и опять устроил кутеж,— он не мог бы быть лучше, будь у него даже лавровый венок на голове. Дамы целовали его, а мужчины кивали головой и говорили, что будут помнить его до самой смерти и что поступок его станет известен всюду, куда их не занесет судьба! Денег было много, целая куча, и фрекен Клара так разошлась, что побежала за кинжалом и пожелала поучиться, как с ним обращаться — вот так? Борсен взял кинжал в руку, нажал пружинку в рукоятке и передал ей со словами:

— Вот, теперь пронзите меня!

В следующее мгновение кровь, безмолвная оторопь, крики — много криков, вопли и суматоха, стоны.

Сам ли Борсен направил кинжал для удара? Или он только потрогал пружинку и не отпустил ее хорошенько? Он сам растерялся, когда злополучное оружие стали извлекать и оказалось, что оно довольно крепко засело в хряще. Потом он опустился на стул.

Крики и суматоха продолжалась. Является Юлий.

— Доктора! — сказал он. — Доктора здесь не будет до прихода парохода, Муус ведь уехал!

— Отведите меня на станцию! — сказал Борсен.

Он сильно побледнел, но настолько владел собой, что зажимал кулаком рану. Фрекен Клара, не переставая, стонала:

— Это я виновата!

Борсен ответил ей, улыбаясь:

— Перестаньте, деточка, я сам виноват. Я этого хотел.

День вышел очень печальный. Стоял порядочный мороз, и Борсену приложили к ране льду, но трупна искренне отчаивалась по поводу несчастья. Борсен сказал:

— Я мог бы умереть, но сейчас у меня нет внутреннего кровоизлияния, это просто колотая рана, я залечу ее карболкой.

Однако фрекен Клара была безутешна и упрекала себя за то, что ударила так сильно.

— Плохо то, что вы не туда попали, — ответил Борсен, — в следующий раз цельтесь немножко ближе к боку!

— И вы еще в состоянии шутить!

— Я не шучу.

— Как, неужели вы хотели, чтоб я вас убила? — воскликнула актриса.

— Да, — сказал Борсен.

— Но зачем же? Я ничего не понимаю.

— Я хотел пасть от вашей руки.

Это слышала вся трупна, и дамы, Лидия и Сибилла, испугались, что больной начал бредить.

Да, печальный день.

Когда же свечерело, фрекен Клара надела пелерину и галоши и вышла из дому. Часа два она была тиха и молчалива, словно обдумывала что-то в своей маленькой головке, и вот теперь она пошла в «Сегельфосскую газету». Редактор стоя набирал свой листок. Она попросила его телеграфировать в газеты о катастрофе, о трагедии, и редактор ничего не имел против того, чтобы первым преподнести новость своим коллегам, тем более, что дама вызывалась сама оплатить телеграммы.

— К сожалению, Борсен лежит с зияющей раной, а то он сам бы это сделал, — сказала фрекен Клара. — Любовное горе, — сказала она. — И придется, пожалуй, упомянуть мое имя, что делать, этого никак не избежать, да впрочем, ему это нисколько не повредит. Да, конечно, это была

попытка самоубийства. И напишите — кинжалом. И напишите, что я в этом совершенно неповинна, потому что мне известно, что это так, но есть надежда, что он оправится, напишите.

Но фрекен Клара не отправила телеграмм из Сегельфосса, со станции самого Борсена, неизвестно почему — должно быть, не успела; телеграммы она взяла с собой на пароход до следующей станции. Однако она в последний раз сходила перед отъездом к Борсену, узнать о его самочувствии, и когда она стояла, склонившись над ним, больной опять стал шутить с ней и сказал:

— Ах вы, бедняжка, когда днем убьешь человека, вечером не очень-то хорошо себя чувствуешь. Но поезжайте с богом, фрекен, я непременно поправлюсь, к сожалению.

И фрекен Клара очень обрадовалась этой шутке и оживилась. Ведь она не была бессердечной.

ГЛАВА XV

Что такое — на гостинице Ларсена появился флаг? Он не с иголочки новый, но хорошо развевается, это один из флагов Теодора-лавочника, и Ларс Мануэльсен выпросил его на время. Он вывесил его в честь своего сына Лассена. Великий день!

Против Ларса Мануэльсена так и не затеяли никакого дела за его кражу по осени, но сороки преследовали его по дорогам и кричали, и люди были не многим лучше их и тоже кричали. Но хуже всего была, пожалуй, статья в «Сегельфосской газете», она даже попала на глаза пастору Лассену и пробудила в нем его прирожденные мужичьи свойства; трусливость и страх. На отца его намекали так откровенно, что ошибка была невозможна, не оставалось никаких сомнений, и вот такой отец мог помешать карьере блестящего сына. Пастору пришлось совершить длинный путь на север из столицы и попытаться уладить дело.

Он приехал. Он был высокий и костлявый, длинноволосый, бритый и серьезный. Одет он был тепло. Он сходит на берег и встречает своего отца, здоровается, говорит о своем багаже, видит Юлия, здоровается и с ним и опять говорит о своем багаже, что он стоит вон там. Потом идет в гостиницу с отцом, Юлий следует за ними по пятам. Пастора беспокоит одна галоша, задник у нее то и дело сползает, но другая тащится за ним с собачьей преданностью. Он входит в дом и видит свою мать!

— Здравствуй, матушка! Мир дому твоему!

Мать от волнения не может вымолвить ни слова, но счастлива до слез. Бедная старушка по-своему добрая, ей выпала на долю тяжкая жизнь с плутом-мужем и дурными детьми, и вот сегодня к ней вернулся знаменитый сын. Великая минута, обожание в сердце, детская наивность в старых глазах — точь-в-точь, как шестьдесят лет тому назад, когда ей подарили медную пуговицу.

— Ну, что ж, вот посмотри, как живет простому человеку,— говорит Юлий.

И наверное он ожидал, что брат ответит немножко иначе, чем он ответил, а он только кивнул. Смотрите-ка, брат, должно быть, остался недоволен, он не особенно милостив, нет; не успела еще мать принести кофе, как он сказал:

— Что это я слышу про вас? Я читал «Сегельфосскую газету». И ты тоже, Юлий, уж ты-то мог бы быть поумнее!

— В чем дело? — спросил Юлий.

— В том, что ты открыто подаешь приезжим краденую провизию,— сказал старший брат, не затрудняясь в словах.

— Что до этого, так за это в ответе отец,— сказал напрямик Юлий.

— Отец... очень хорошо сваливать на отца!

Должно быть, в Юлии проснулся шутник, в его дерзости всегда была своего рода честность, и он дал волю своему необузданному языку без мелочных оговорок:

— Я сразу же сказал отцу: это тебе не следовало делать, раз у тебя есть такой сын, как Л. Лассен,— сказал я.— Спроси отца, правду ли я говорю.

— Ох, я нынче стал уж стар,— ответил Ларс Мануэльсен сыновьям,— вы умнее меня, теперь ваш черед жить, это моя единственная мысль. Что же ты не нальешь Лассену?

Старуха-мать очнулась от своего обожания и вышла в величайшем смущении.

— Эта история мне во всех отношениях противна,— сказал пастор.— И вот мне пришлось бросить свои научные занятия и свою работу и ехать в такую даль на север. Это совершенно бессмысленно.

— А правда ли, что ты стал доктором? — спросил Юлий, заминая неприятную тему.

— А как мои вещи? — спросил пастор.— Кто-нибудь принесет их?

— Я сейчас схожу,— говорит отец и не без радости спешит к двери.

Пастор устремляет свои очки на брата и спрашивает:
— Неужели ты позволишь старику-отцу тащить сюда багаж?

Юлий усмехнулся было, но не от веселости.

— Сдается мне, что ты малость глуповат,— сказал он.

— Я?

— Что у тебя ума на скиллинг, а глупости на целый далер. Да, я утверждаю, что так оно и есть.

Вошла мать, неся кофе.

— Уж не знаю, понравится ли тебе наш кофе.

— Спасибо, матушка. И, разумеется, матушка, ты не при чем во всей этой греховной истории с кражей,— сказал сын.— Но ты, Юлий, не заслуживаешь никакого оправдания.

— Это сороки! — сказала добрая мать, стараясь сгладить.— Я всегда говорила, не трогай сороку, Ларс, потому что, говорю, она отомстит всем нам. Но отец ваш сбросил гнездо и нашел в нем ключик от кладовой, от этого и вышла вся беда.

— У вас каждый день флаг на гостинице? — спросил пастор.

— Флаг? У меня даже нет флага,— ответил Юлий.

— Это отец вывесил флаг в твою честь,— ответила мать.— Он сам сходил в Буа и выпросил там флаг.

— В этом не было никакой надобности,— сказал пастор.

Он стал пить кофе. Пришел отец с вещами. Юлий сказал:

— Если хочешь умыться, как прочие приезжие, пойдем со мной!

Пастор последовал за ним. Несколько крутых ступенек вело вверх, и пастор сказал:

— Вот так крутые ступеньки!

Комната оказалась не совсем в порядке, какая-то свинья коммивояжер валялся в постели и плевал на стену.

— Это Энерсен, — сказал Юлий,— он был пьян раз утром!

Отец шел за ними с чемоданами в обеих руках, он сказал:

— Мать отмоет!

— Боже мой, ты тащишь багаж, отец, а ты, Юлий, идешь с пустыми руками! — вскричал пастор.

Юлий находился далеко не в кротком настроении:

Полина с барской усадьбы отказала ему в последний раз вчера вечером, а тут еще является этот важный братец, который, может быть, даже и в мыслях не держит, чтоб заплатить за постой.

— Почему же ты не взял и не понес сам свой багаж?— сказал он.

— Юлий, Юлий! — с упреком воскликнул отец.

— Много он тебе послал, твой Ларс? — спросил со злостью Юлий. — Парик да сборник проповедей.

Пастор отнесся снисходительно к такой необразованности и ответил:

— Весь свой заработок я тратил на свое образование. И вот достиг того, чем стал.

— Да, правда ли, что ты доктор? — спросил опять Юлий. — Верно, просто врачи?

Брат ответил:

— Ты в этом ничего не смыслишь. Конечно, я доктор, но я не врач. Я получил докторскую степень по своей науке. Послушай, нельзя ли мне переменить воду в графине? Ведь она совсем застоялась. И кстати, что эта кровать с пружинным матрасом?

— Да, с пружинным, — ответил Юлий. И вдруг плюнул там, что попал на выступ печки, и сказал:

— А впрочем, можешь делать, как тебе угодно, хочешь ложись на эту кровать, хочешь — нет. Но должен тебе сказать, что здесь жили люди почище тебя, и карманы у них были тоже немножечко потолще. И Теодор из Буа долгое время ходил сюда обедать, а он, на мой взгляд, достаточно важен, и средств у него побольше, чем у нас с тобой вместе.

Пастор опять пропустил мимо ушей огромную необразованность и стал умываться, вымыл руки и лицо, не вымыв ни шеи, ни ушей, достал щетку и почистился, переменял воротничок и манжеты и принял опрятный вид. Потом сел и задумался о том, что вот, какая удивительная у него судьба: рыбак-гребец, священник, ученый, кавалер ордена св. Олафа, доктор философии, кандидат в епископы, в дворцовые проповедники, если таковой понадобится и даже его прочтат в государственные советники, если освободится вакансия — поистине, пути господни неисповедимы! И вот сейчас он здесь, для спасения вороватого отца, письмом просившего у него помощи. Разумеется, пастор мог сделать только одно: появиться и своей репутацией поддержать отца. Сегодня нет, но завтра он пойдет к господину Хольменгро и в газету. Сегодня он будет кушать и отдыхать. Он вынимает из чемодана свой пасторский сюртук и вешает на стену, на сюртуке орден св. Олафа, на случай, если понадобится.

У парня Ларса сильная воля и железная настойчивость — эти важные качества у него есть.

У него есть руки, для чего они ему? Они созданы для работы, для тяжелого труда, суставы рассчитаны на что-нибудь чрезвычайное, нелепо огромные, но эти руки бледны и болезненны от бездействия, это невероятно нелогичные руки, они не принесли ему никакой пользы в жизни. Честолюбие его не задето особенно высоко, но удовлетворялось служебным положением, он метил в администрацию, в управление тем, что создали другие. Цель достигнута, и у него нет сомнения в том, что все это достойно его стремлений. Он хранил в своей голове школьную премудрость, как его деды прятали скиллинги на дне сундука, и теперь он много знает, он ученый. Он недостаточно духовно развит, чтоб тяготиться этой жалкой жизнью, он будет стремиться приобрести все больше книжной учености, еще немножечко больше, тогда игра его будет выиграна. Такова была его миссия на земле. И вот он сидит с дряблыми мускулами и мозгом, подточенным школьной зубрежкой в юности и в зрелые годы, но он уважаемый человек, его можно спросить о многом и получить ответ, он читал о том и о сем и знает, где что написано, он обладает ученостью попугая. Докторская диссертация его трактовала о норвежском духовенстве в шестнадцатом столетии и была скомпонована по датским журналам, норвежским государственным росписям да по *Diplomatariuv Norvegicum* — и по норвежским журналам, прибавил бы он, если бы слышал это перечисление, ибо исследователь он добросовестный. Следующим его трудом было сочинение о великом *Nomen Nescio*, заключавшее много важных научных открытий, между прочим то, что герой отправился «за лучшим устройством» не в 1512 году, а в 2523, затем, что за два года до своего отъезда по вышеозначенному делу, имел доселе неизвестный исследователям судебный процесс с одним членом Гамбургского совета — то был четырнадцатый его процесс. Этим произведением парень Ларс стяжал себе лавры, и так как он уже давно был членом ученого общества, пришлось пожаловать ему орден св. Олафа — и вот, он уже величина. Ах, он улыбался, вспоминая, как в семинарские годы ходил, побрякивая серебряной цепочкой от часов, теперь он побрякивал рыцарским орденом; кто мог сравняться с ним? Неужели такому человеку быть пастором в Горландии, неужели надо вообще напоминать ему, что он родом из этой области! Постепенно кругозор его расширялся, глаза становились жаднее и охватывали все больше почетных должностей и высоких положений, он начал

кротко жаловаться, что его обходят, что к нему несправедливы, газеты недостаточно пишут о нем, государство не делает того, что ему следовало бы сделать. Так продолжалось несколько лет.

И вдруг — молниеносная перемена; оценка его сразу начала приходить в большее соответствие с его заслугами, он получил несколько голосов на выборах в епископы, газетные корреспонденты называли его возможным кандидатом в министры церкви. Кто теперь мог сравняться с ним?

Отныне о нем позаботится время, оно одно, ему остается только ждать. Парень Ларс приободрился, ему захотелось проявить вольномыслие, он примкнул к народническому направлению семидесятых годов, стал говорить на народном языке и сделался необычайно обходителен, и он, такой значительный человек, имел к этому и внутреннее предрасположение, это подходило к нему лично: ведь он рыбак в гребной скамье, родился в мусоре, работал в пыли. Ни один ученый не заботился о чистоте тела и платья, Гераклит тоже не отличался изяществом.

Итак, все складывалось очень благоприятно для парня Ларса. Он мог с некоторой надеждой выждать очередной кончины кого-нибудь из епископов, а тем временем продолжал учиться, приобретал все больше познаний по части книг, грамот в кожаных переплетах и пергаментов. Время шло, его народничество вошло в поговорку, он услышал, что надо собирать древности, и сделался специалистом по части церковной утвари, резных деревянных предметов, оловянных епкелей, серебряных чаш. Он обладал широкой культурой, народной и научной.

И вдруг всплывает история с отцом. Неужели она действительно будет иметь какое-нибудь значение?

Когда мать пришла звать обедать, он встал со стула с таким лицом, как будто обед — ну, да, разумеется, отчего же, но требуется не только это. Плут, ведь он еще на пароходе съел лишний бифштекс перед тем, как сойти на берег, так что не был голоден! И в столовой вел себя таким же набожителем и говорил: «М-да, довольно вкусно, матушка, дай-ка мне еще тарелочку супу!» Пообедав и прочитав молитву — боже мой, то-то было зрелище: огромный датский дог, выдрессированный сидеть со сложенными лапами, — прочитав молитву, он велел позвать отца и Юлия.

Они пришли.

— Чем я гарантирован, что меня накормили не краденой провизией? — спросил пастор.

Отец и мать молчали, ошеломленные. Юлий ответил:
— Так ты бы и не ел!

Но пастор, конечно, отнюдь не имел в виду, что оба грешника отделаются этим мягким вступлением, они были его близкие родные, но один — вор, другой — укрыватель; правосудие должно свершиться в полной мере.

— С тобой, Юлий, я не разговариваю, — сказал пастор, — но должен заявить тебе, что если тебе удастся отвертеться от земной кары, ты не избежешь кары небесной.

Старуха-мать свесила голову на бок и сложила руки, а непочтительный Юлий спросил, зачем его позвали.

— Но ты, отец, должен одуматься! — сказал пастор. — Господь не позволяет над собой смеяться, — сказал он, — скоро может быть поздно раскаяться, дня и часа никто не ведает.

Юлий испортил все, спросив:

— Правду ли говорят, будто ты собираешься сказать проповедь в церкви?

Великий брат остановился, Юлий не мог придумать ничего лучше, чтоб убить его. Он ожидал и надеялся, что его попросят сказать проповедь, для того-то он и взял с собой облачение и орден. Господи, да ведь это и было главное средство, которое он хотел пустить в ход против людской молвы — известный всей стране оратор на церковной кафедре!

— Кто говорит, что я буду произносить проповедь?

— Люди. Многие говорили.

— Об этом мы потолкуем после, — сказал пастор. — Сейчас я говорю о греховном и непристойном поступке, в котором вы оба обвиняетесь и о котором даже пишут в газетах.

— Это сорока отомстила! — прошептала мать и фанатически кивнула каждому в отдельности и посмотрела на всех.

Отец обратился к сыну:

— Я старый и необразованный человек по части учености и всего такого. Но вот, что я хотел бы узнать: хорошо ли по-твоему, чтоб во дворе были сорочьи гнезда или же это скверная и безобразная вещь? Молчите только и услышите! — сказал он остальным.

— Не трогай сорок! Не трогай сорок! — предостерегающе проговорила старуха-мать.

— А ежели дело обстоит так, что ты хочешь проповедовать, — сказал Юлий, — я могу сказать Оле Иогану, он сейчас же всем разблаговестит.

Выговор совершенно испорчен. Но пастор ведь добр, терпелив и настойчив:

— Во всяком случае, эта статья в газете оторвала меня от науки и работы и заставила проехать через всю страну на север,— сказал он.

— Не стоило из-за этого беспокоиться,— сказал Юлий.— Тут ни одна душа об этом больше не заикается.

— Тогда тебе не следовало так молить меня о помощи, отец. Это непростительно,— сказал пастор. Но почувствовал огромное облегчение, узнав, что газетная статья позабыта.

Отец стал оправдываться, что это Давердана написала так невоздержанно. Да, все аккурат так, как сказал Юлий, никто уж этим больше не интересуется.

— Но сороки гоняются за мной и кричат,— сказал Ларс Мануэльсен,— и если у тебя есть против них какое-нибудь средство, если ты можешь отвадить сорок...

Пастор покачал головой.

— Нет, не можешь? А вот я хотел спросить у тебя еще одну вещь. Правда ли, что фармазоны носят такие кольца, каких нет ни у кого из прочих людей, и вот говорят, будто у барина Хольменгро такое кольцо...

Пастор знал своего отца, он знал, что грешник старается выпутаться болтовней. Ничего с ним не поделаешь, а старик уж перешел к кощунственным знамениям на небе, какие устроил Теодор из Буа — «Разве не правду я говорю?»

Пастор обернулся к брату и сказал:

— Я специально не очень собирался произносить проповедь. Но если у здешних прихожан есть действительно потребность послушать меня, то мой долг говорить. Во всяком случае, предложение должно исходить от здешнего пастора и причта. Я не пойду навязываться.

— Еще бы! — усмехнулась мать.— Слыханное ли дело!

На следующий день пастор Лассен отправился с визитом к господину Хольменгро. При этом он преследовал не одну только цель, ведь однажды, в свободную минуту, он послал фрекен Хольменгро письмо.— Дорогая фрекен Марианна, бывшая моя ученица! — и теперь хотел получить на него ответ. Теперь он стал кое-кем поважнее, чем когда давал ей уроки; правда, она была не бог знает какая красавица, и не так-то уж образованная и начитана, но, конечно, она не могла не слышать о том, каким важным человеком стал Лассен. И вот он здесь. Довольно странно, самой фрекен Марианны он не очень боялся, другое дело, будет ли им

доволен богат Хольменгро, ведь помещик тоже был не особенно просвещенный и развитой человек, ценивший ученость. А Марианна, бывшая ученица — что ж, к ней он отнесется немножко по-наставнически, немножко по-отечески: заговорит о книгах и древностях, резной купели из жирового сланца, которую ему удалось выменять в Сетердалене. Это наверно понравится, в пансионах он заинтересовал собой не одну незамужнюю особу, а сейчас он шел к своей бывшей ученице. Да, и тут же он перейдет к тому самому, намекнув — положение, мол, таково, что он многого достиг в жизни, но он одинок. «Одних книг мало, Марианна, — зайдите как-нибудь посмотреть мою библиотеку, в следующий раз, как приедете в столицу, уже сейчас несколько тысяч томов, и все прибавляется и прибавляется. Но, как сказано, нехорошо человеку быть одному, — так вот, что же вы ответите на мое почтительнейшее послание?»

Сегодня он идет собственно за тем, чтоб убедиться в восторге самой Марианны, а завтра он переговорит с ее всемогущим отцом.

Но Марианны не было, она уехала. Вот как, значит, это не ее невинный лепет и смех он слышал в кабинете?

— Нет, — сказала фру Иргенс, — фрекен Марианна уехала.

Вышел господин Хольменгро. С минуту они стояли, смотря друг на друга. Потом Лассен представился, поспешно и со смехом, словно ему пришла в голову великолепная идея:

— Я понимаю, что вы не узнаете меня, — сказал он, — Лассен, ваш бывший домашний учитель.

— Такой ученый и знаменитый человек и путешественник? — сказал господин Хольменгро.

— Да. Я пробираюсь на север и заглянул в свои родные палестины.

— Вы едете еще дальше на север?

— В Финмаркен. С научной целью. По вопросу о лестадианизме.

— Не присядите ли вы? — сказал наконец господин Хольменгро, указывая на стул.

— Я пришел к вам по весьма печальному делу, — сказал пастор.

О нем, к сожалению, было много разговоров, и он сам наслушался вдоволь... Он говорил не очень складно, но кое-как объяснил, в чем дело, и очень удивился, когда оказалось, что господин Хольменгро ничего не знает о краже, ни малейшего представления, никогда не слышал о ней, вообще не слушает никаких сплетен.

— Но ведь об этом было напечатано в «Сегельфосской газете!», — сказал пастор.

— Неужели? — спросил господин Хольменгро. — Да ведь я не читаю этой газеты.

Все шло великолепно, поразительно. Когда он явился в «Сегельфосскую газету», редактор и наборщик Копперуд тоже, по-видимому, ничего не знал о краже.

— Нет, это, должно быть, недоразумение, — сказал он, — если у нас и была когда-нибудь маленькая заметочка, то во всяком случае, писал ее не я.

Все шло божественно.

— Зато в ближайшем номере у нас появится маленькая статейка о господине пасторе, — сказал редактор. — Не хотите ли взглянуть на корректуру?

Пастор прочитал. Вот как, даже и здесь в Сегельфоссе знали, что его прочтут в государственные советники!

— Кто это писал? — спросил он.

Редактор ответил:

— В сущности, не следовало бы это говорить; но такому человеку, как вы... Адвокат Раш.

«Замечательная мысль произвести пастора Лассена в государственные советники подействовала больше всего прочего даже на Сегельфосс, даже на карьериста — адвоката Раша. Пастор притворился совершенно равнодушным к необычайно раболепному тону заметки, которую пастырь прибыл в Сегельфосс, — говорилось в статейке, — и остановился в гостинице Ларсена».

— Вы можете прибавить, что я еду в финмаркен с научными целями, — сказал он редактору. — А библиотеку свою здесь исчисляют от одной до двух тысяч томов — в действительности, она приближается к трем тысячам и постоянно увеличивается. Будьте любезны исправить это!

Разумеется, все шло божественно.

«Теперь остались только сороки!» — с улыбкой подумал он.

У него уже не хватало духу бранить своих родных, он вернулся в гостиницу и был ласков со всеми. Отец спросил:

— Что же сказал Хольменгро?

— Что он сказал? Разумеется, он не мог быть со мной нелюбезным.

— Еще бы он попробовал! — пригрозил Ларс Мануэльсен. — Я бы спросил его тогда, зачем он шатался к Давердане.

Сын не слышал или не хотел слышать, он был спокоен и кроток. Несколько сегельфосских мальчишек торчали под

окнами, прижавшись носами к стеклам, и Ларс Мануэльсен стал их прогонять.

— Оставь их,— сказал пастор Лассен.— Может быть, впоследствии, в дальнейшей своей жизни, эти малютки будут вспоминать, что видели меня собственными глазами!

— А-ах! — выдохнула мать и, подавленная, покачала головой.

Дня через два он получил приглашение от приходского священника произнести в Сегельфоссе проповедь,— было бы лучше, если бы пастор Ландмарк пришел сам, вместо того, чтоб посылать своего причетника, подумал пастор Лассен,— и приглашение навестить больного Пера из Буа.

«Пера из Буа, — подумал он, — того самого, на которого я уже пробовал повлиять раньше и безуспешно, но, конечно, это не причина отказываться сейчас!»

Пер из Буа, видимо, доживал последние дни. Он был уже не только дряхл, он в серьез собрался помирать. Но смерть была ему нежеланная, он не хотел ее знать, у него было закоренелое отвращение к смерти. Он по-прежнему лежал в жилетке, хотя от нее издали разило десятилетней ноской, все еще оглушительно ругался, но глаза его уже не принимали в этом участия, не были тверды и полны яда, они стали пусты и остекленели. Но умирать? Он был уже настолько плох, что чувствовал привкус земли в воде, хотя стояло только начало зимы, а его пронизал луч надежды, что скоро весна и тогда он сможет встать и по-настоящему приняться за дело! Однако смерть энергично обрабатывала его и подтачивала его крепкое здоровье, глаза были обведены черным кольцом, а лицо посерело.

— Не хочешь ли ты повидать перед смертью пастора?— спросила жена.

— Коза! — ответил муж.

Это «перед смертью», в разговоре с больным, было жестоко и прямо-таки нахально, и Пер из Буа отказался от пастора, которого, впрочем, ему было отчасти любопытно повидать. Правда, что если кто-нибудь мог разозлить Пера из Буа и вызвать в нем упрямство, так именно его жена, у нее была какая-то особенная, нудная манера раздражать его, да еще с таким видом, как будто она решительно ничего не сделала. С другой стороны, муж должен же быть благодарен за то, что она изредка заходит к нему, обмывает и вытирает, особенно под носом, когда он плачет, потому что сам он, как малое дитя, и ничего не может сделать своими руками, разве только, когда

приходит в ярость. И, право же, ему следовало бы ценить, что она вообще отваживается заходить к нему, потому что это вовсе не безопасно. И уж, конечно, коза — неподходящее слово для такой минуты.

— А кому останется твоя одежда? — спросила она. — У тебя ведь хорошая фризровая тройка и кожаная куртка, кому они пойдут?

— Тебе! — с бешенством ответил Пер из Буа. — Носи на здоровье!

Он был вовсе не безжизнен, и так как в сущности было несправедливо, что он умирал, то он делал все, что мог, чтоб оттянуть этот момент. Он лежал курьезно уродливый, почти доисторически безобразный, скрюченный, словно только что вылупившийся из большого яйца, лежал и размышлял о том, как бы ему встать. Со времени последнего визита доктора Мууса он был очень озабочен, не повредил ли ему свежий воздух... Прodelав обратную эволюцию к зверю, он научился с наслаждением вдыхать вонь, но теперь ему захотелось отворить на минутку дверь. С большим трудом от отворил ее палкой. Он лежал и около часа прислушивался к своим ощущениям, но не выздоровел. А что если прибавить еще? Он стал лакомкой, его сладострастие приняло такие эксцентричные формы, что ему захотелось отворить окно, даже дверцу у печки, для сквозняка. Он встал. Разумеется, упал. «Ну, да, — подумал он, — неосторожно вставать на обе ноги, когда одна не действует!» Он сам вскарабкался на кровать, приподнимая поочередно то один конец туловища, то другой, словно камень, ворочающийся сам при помощи дома, а очутившись в постели, подтянул парализованные члены и бросил их кое-как, не приведя в должное положение.

И вот теперь Пер из Буа должен был бы сдаться, но нет, он уходит из жизни без всякого достоинства, а пятясь задом и упираясь. Внимательно и упорно он изучает, как бы ему вывернуться, что-нибудь надо сделать, не может же он так-таки просто лежать и мириться с этим. Начинается борьба с невозможным, с высшими силами, — ну, что ж, а хоть бы и так? С неустанным трудолюбием подкапывается он, лежа в постели, под смерть, хочет подмять ее под себя и победить, он дерется, вот схватил мертвую руку живую, стал трясти ее, кричать: «Подожди, я тебя выучу!» Вцепился в парализованную ногу, заколотил по ней изо всей силы и сбросил с постели. Но смерть — утомительный компаньон, она ослабляет. Пер из Буа

выдохся и должен бы снова собирать свои члены. «Где же вы были? — спрашивал он, воя от горя и злобы. Но прежде чем простить им их отсутствие, он, скрежеща зубами, требовал, чтоб они ожили. Тогда он возьмет их к себе, говорил он.

Это была истерика камня.

Он отказался от священника, и отказался из злобы на жену. Но узнав, что приехал пастор Лассен, соседев Ларс, сын Ларса Мануэльсена, что приехал он, Пер из Буа надумал попросить помощи у него. Забавная выйдет штука, у него будет пастор, но не женин пастор, Пер из Буа долго вел себя прилично и смиренно и сказал, что хочет подготовиться к смертному часу. Пастор тоже отвечал ласково, и даже для того, чтоб быть понятнее этой глубоко страждущей душе, перешел на народный говор и стал изъясняться на нем, как умел. Дело шло великолепно, Пер из Буа оживился, любезно усмехался, говоря, что весело слышать такие странные слова. Но, впрочем, ему надо быть посерьезнее, потому что он хочет подготовиться к смертному часу, — сказал он.

Эта мысль о «подготовке» крепко засела в нем; по-видимому, он связывал с нею надежду на выздоровление: вино и хлеб ведь чудо, может быть, он от них поправится! И узнав, что в этот раз пастор не может дать ему хлеба и вина, так как совершает научное путешествие в Финмаркен, Пер из Буа испытал некоторое разочарование.

— Но я могу побеседовать с тобой и подготовить тебя к причастию, — сказал Лассен, — и приходский пастор допустит тебя к господней трапезе!

Нетрудно было видеть, что Перу из Буа это совсем не понравилось, потому что при таком обороте дела, он ведь не имел верха над женой; но пастору Лассену не могло не понравиться, что его предпочитают приходскому священнику, и потому он решил хорошенько заняться этой душой.

— Нет ли у тебя чего-нибудь особенного на сердце, друг мой? — спросил Лассен.

— Нет. Я маленько почитал молитвенник. Я не хочу, чтоб другие его видели, но он у меня здесь, в кровати. А кроме того, я часто думаю о боге. Но я не молюсь.

— Неужели не молишься?

— Нет еще, пока не молился. Это нехорошо?

Пер из Буа не знал, достаточно ли осторожно он обращался с богом. Он продавал оконные стекла, рюмки

и кофейные чашки, но, может быть, бог — материал более хрупкий.

— Если б я мог добыть из Христианиии свои книги, я дал бы тебе прочитать одну книгу: руководство к молитве, — сказал пастор.

— У вас, верно, много книг?

— О, тысячи, целая библиотека от пола до потолка. И я бы дал тебе одну книжку.

Пер из Буа продолжал высчитывать небольшое доброе, что сделал: он хотел уничтожить танцульку, хотел набить ее спичками для лукавого. Вот когда лукавому стало бы жарко!

Пастор улыбнулся.

— Разве это тоже нехорошо?

— Я сказал бы, что это фантазия, наивная выдумка, милейший Пер. Это ни хорошо, ни плохо.

— Ах, вот что! — Пер из Буа вспомнил про лебедей: они кричали так громко и пугали его, проклятые птицы, но он никогда не ругал их.

Пастор подумал, не использовать ли ему страх больного в разумных целях, но отказался от этой мысли:

— Лебеди, белые — творения божьи! — сказал он. — Брорсон написал про них свои прелестные лебединые песни!

— Но вообще, как-то ничего не выходило, никакой исповеди, ни покаяния, ни раскаяния. Умиравший, который ставит себе в заслугу, что не ругал лебедей! Пастор Лассен посмотрел на часы и сказал: — Что же у тебя лежит на сердце, Пер. Ведь ты же послал за мной.

— Я хочу приготовиться.

Пастор покачал головой.

— Приготовить тебя по-настоящему к причастию я, вижу, сейчас не могу. Не такое у тебя настроение. Ты должен сначала раскаяться в своих великих грехах...

— Ну, какие это уж такие великие грехи, — скромно ответил Пер.

— Ты огорчаешь, ты пугаешь меня, — сказал пастор, — я положительно боюсь за тебя. Как ты полагаешь, куда ты попадешь, когда умрешь? Что ты будешь делать?

— Да, — пробормотал Пер из Буа. Но он лежал в кровати и, видимо, не придумал, как вести себя в опасных случаях. — Нет, — сказал он, помолчав.

— Вот видишь! — сказал Лассен. — Ты малодушен и растерян, ты даже не выяснил самому себе, что ты великий грешник.

«Так пусть же мина взорвется!» — подумал, верно, Пер из Буа. Что у него особенного не сердце? Об этом он до

сих пор молчал: он хотел выздороветь, встать и отобрать лавку у Теодора. Больше ничего. Лавка — его.

— Я думал, что вы сжалитесь надо мной и приготовите меня,— сказал он.— Потому что, может, от этого мне станет легче. Я лежу здесь год за годом и мучаюсь, и ноги и руки делаются у меня все хуже и хуже, господь без меры наказывает меня своим тяжелым крестом, он совсем погубит меня раньше, чем исцелит.

— Замолчи! Ты кощунствуешь, Пер! Господь карает тебя в меру твоих грехов, можешь быть уверен!

— Ну,— сказал Пер из Буа,— да ведь вы не знаете, что здесь произошло. Я бесприютный: у меня нет крова над головой в собственном доме, Теодор отнял его у меня. Куда как прекрасно! Отец и мать выброшены к чужим людям, можно сказать, и я не могу выздороветь, чтоб встать и повернуть все как должно быть! — Пер вдруг сделался красноречив, и в глазах его появились прежняя жестокость.— Не можете ли вы хоть пойти в лавку и выгнать его? — спросил он.

— Нет. Это дело светских властей. Нет, нет, не говори мне ни о чем подобном!

— Я говорю это ради него самого, потому что он мой сын и мое дитя. Если б вы вышвырнули его за дверь, он, может быть, одумался бы, щенок проклятый...

Пастор молчал. Он вдруг почувствовал в Пере из Буа крестьянина, ту расу, к которой принадлежал он сам. Так вот зачем послал за ним умирающий. Он молчал. Несколько кратких лет тому назад мысли Пера из Буа были не чужды и ему самому; теперь, слава богу, он стал другим!

— И мало того, что он нас, своих родителей, доводит до богадельни и нужды, он забрал и долю своих сестер и пустил их голыми по миру,— продолжал Пер.— Теперь он допустил до того, что местечко отобрало у нас право винной торговли, все идет прахом, а мать его все равно, что коза, не смотрит ни за бочками с парафином, ни за кадками с патокой в кладовой. Куда мне кинуться? Теодор выстроил новую лавку стена об стену со мной, и теперь я слышу, будто он снес стену прочь и устроил одну общую лавку. Эх, посмотреть бы мне только!

— А разве адвокат Раш не может помочь тебе в этом деле? Я не могу вмешаться,— сказал наконец пастор Лассен и встал. Какая полнокровная злоба и жажда мести у паралитика — поистине, Лассен был рад, что отошел от сословия, где царит один грех и грубость!

— Прощай,— кратко проговорил он.— Постарайся исправиться!

Пер из Буа посмотрел на него. Ах, будь это в дни его молодости, когда он мог двигаться! Нынче он был бессилён.

— Я понимаю,— сказал он,— вы уж поговорили с Теодором, что меня не надо соборовать, и что я не встану.

— Я не говорил с Теодором,— ответил пастор.— Исправься, Пер, Советую это тебе, как духовник. Чего ты хотел? Чтоб я отпустил тебе грехи именем самого бога, когда у тебя такое направление мыслей? Я этого не могу.

— Нет, нет,— сказал Пер из Буа. И у него уже не было зубов, чтоб вцепиться в икру Лассену.

Вернувшись в гостиницу, пастор Лассен сказал, что визит к больному вышел не совсем приятный. Это могла бы быть великая минута: после исповеди и покаяния больной испытал бы облегчение и в душу его внизошли бы мир и благодать, но, к сожалению...

В воскресенье он произнес проповедь в полном облачении и при ордене. Церковь была переполнена. Проповедь совершенно исключительная. Хотя он был ученый и великий знаток в области богословия, он не стал этим кичиться. Церковь,— христова невеста, он — ее смиренный служитель. И он сказал буквально:

— То, что вы слышите, дорогие друзья, это только мой голос. Представьте же себе, когда голос божий возглаголет к вам из тернового куста!

Вообще же это была бодрая проповедь в народном духе, кое-что на диалекте, но остальное на понятном языке. Присутствовала вся пасторская семья, за исключением самого пастора. Присутствовал и адвокат Раш.

Пастор Лассен так и сыпал изречениями, сентенциями, то ли он сам сочинил их, то ли вычитал из какого-нибудь журнала для семейного чтения. Шесть из этих изречений гласили следующее:

«Человек слабее, когда он рассчитывает на других, нежели когда полагается на самого себя; но надо полагаться на бога».

«Если на телескопе пятна, то и на самом ясном небе увидишь тучи».

«Делай добро ради добра и не заботься о том, что из этого выйдет».

«Доброта — утес в море, добродушие — зыбучая песчаная дюна».

«Никто не может растопить каменные сердца, но божий мельник может их размолоть».

«Талант без дисциплины — дворе без крыши».

После проповеди фру Ландмарк с дочерьми явились в гостиницу поблагодарить. Это великое событие! Ах, что они пережили!

Лассен спросил про пастора.

— Его задержали,— ответила фру,— но он просил кланяться.

— Папа ужасно занят другими делами,— сказала одна фрекен Ландмарк и хихикнула.

— Он изучал чертеж молотилки,— подхватила сестра и тоже хихикнула.

Обеим девицам был показан кавалерский крест ордена св. Олафа и было разрешено подержать его в руках. Пасторша и Лассен сошлись на том, что жить надо непременно на юге.

— Так возвращайтесь поскорей в Христианию! — сказал он.— Надо же вам, наконец, побывать у меня и посмотреть мою библиотеку и мои древности.

ГЛАВА XVI

А потом пастор Лассен уехал. Он продолжал путь в Финмаркен, чтоб изучать лестадианизм на месте его родины. Он был искренно рад возможности выбраться из уголка, где прошло его детство, из этого Сегельфосса в Нордландии; он сам понимал, что не подходит к таким людям, как Ларс Мануэльсен, Юлий Ларсен и Пер из Буа, и решил никогда больше сюда не возвращаться.

— Прощай, мать! — сказал он.— Не плачь, мне лучше будет в Христиании,— прибавил он.

Юлий ничего не получил от брата за постой и не скрывал, что этот же брат увез с собой две книжки, бывшие в гостинице, которых он, Юлий, не отдал бы и за две кроны каждую.

— Я не стану на него жаловаться в суд,— сказал Юлий,— но я его не уважаю. Ни вот столечко!

Да, Юлий не понимал брата, достигшего такого величия, и сестра Давердана была тоже немногим лучше.

— Ну, а про меня Ларс не спрашивал? — спросила она,— и не упомянул? Что ж, скатертью ему дорожка,— сказала Давердана. Она была замужем, жила своим хозяйством и шила мешки на мельницу, так что зарабатывала лишние деньги; вдобавок, была рыжеволосая и имела много поклонников.

Но вот настал день, когда никто уже не стал шить мешков на мельницу. Этого нельзя было ни оттянуть, ни предотвратить, ни избежать, нет.

Фрекен Марианна опять нагнала своего отца на дороге, она была в своей красной перелине с мехом. Она сказала ему:

— Я пошла за тобой, чтоб показаться тебе.

Отец улыбается:

— Какая на тебе хорошенькая шляпка!

— Ты находишь? Но зато она очень дорогая.

— Да, наверное. Но она большая и красивая.

— Разве мельница сегодня не работает? — спрашивает она.

— Совершенно случайно, — отвечает отец. — Мне пришлось взять Бертеля из Сагвика и Оле Йогана на другую работу.

— Я вижу, они что-то роют на пригорке, что это будет: колодезь или погреб?

— Это будет алмазная пещера, — ответил отец, напуская на себя таинственность, как и много раз раньше. — Милочка Марианна, иди домой и не заглядывай в пещеру.

— Помнишь, когда Феликс и я были маленькие, ты переносил нас на руках как раз на этом месте, — сказала она, — потому что здесь всегда было очень топко.

— Да. Мне кажется, что это было совсем не столько лет тому назад. А теперь скоро вы с Феликсом сможете перенести меня.

— Время идет! — сказала Марианна.

— Время идет, милый мой мудрец! — ответил отец, улыбаясь.

Подходит Мартин-работник, он опять начал охотиться и идет из леса, неся через плечо дичь.

— Я шел к вам с этими птицами, — говорит он, кланяясь.

— Это Виллац Хольмсен приказал тебе?

— Да.

— Поблагодари его, когда будешь писать, — сказала Марианна.

И тут Мартин-работник спрашивает, он ведь так давно знаком с господами, что может себе это позволить, — он спрашивает:

— Неужто Ларса Мануэльсена не засадят за кражу?

Марианна не отвечает, а господин Хольменгро говорит:

— Как ты думаешь, что сделал бы лейтенант?

— Ну,— приходится Мартину-работнику ответить,— лейтенант пустил бы вора на все четыре стороны, потому что не захотел бы мараться с такой дрянью.

— Вот видишь!— сказал господин Хольменгро.

На обратном пути Марианна была очень задумчива. Хитрость ее оказалась неудачной, она не сумела заставить отца открыть перед ней свое сердце, как ни старалась. И не удалось также вызвать его на выговор по поводу ее шляпы, он ничем не выдавал себя. А шляпа была совсем не новая и не дорогая, она была куплена два года тому назад, и Марианна сама переделала ее. Это была уловка, ей хотелось вызвать отца на маленький упрек, но нет! Ей же самой было совсем не до шляпы.

Дома она застала ленсмана из Ура, который мимоходом спросил ее про отца.

— В чем дело, ленсман?

— Нет, ничего, фрекен Марианна, решительно ничего. Просто два слова, раз уж я попал в ваши места...

В следующие два дня в Сегельфоссе явились какие-то странные приезжие, городские господа, но не коммивояжеры; они остановились в гостинице и вызвали туда господина Хольменгро для переговоров. Там же находился и толстый адвокат Раш, и ленсман из Ура, но тот, по-видимому, стремился поскорее уйти. Все они беседовали при запертых дверях.

Мельница продолжала стоять, и господин Хольменгро объяснял это тем, что двое заведующих мельницей понадобились ему для другой важной работы. А Бертель из Сагвика и Оле Иоган копали какую-то таинственную яму, и предполагалось, что это одновременно и погреб, и яма, безопасная от огня и с замечательными приспособлениями против взлома и обвала. Стены изнутри выложены толстой каменной кладкой.

— Как думаешь, что он там собирается прятать? — спросил любопытный Оле Иоган.— Говорят ведь, что ему и прятать-то больше нечего.

— Кто это говорит?

— Я слышал. В лавке говорили.

Бертель из Сагвика всегда на стороне хозяина, так всегда было, он родился с этой редкой слабостью, он отвечает:

— Ну, уж наверное у него побольше, чем знают в лавке.

— Сказывают, будто сюда приехали с юга какие-то важные господа, и они переписывают все до капельки, что имеется у Хольменгро,— заявляет Оле Иоган.

— Мать твоя родила такого же переписчика,— отвечает Бертель своим обычным присловьем.

Да, в Буа догадывались, в чем дело; у молочника Теодора был особый нюх, природное чутье, и он не находил причин щадить дом Хольменгро от подозрений. Фрекен Марианна проявила к нему такое жестокосердие и пренебрежение, может быть, теперь она удостоит заметить его на поверхности земли.

Может быть. Но Теодору из Буа не следовало бы на это рассчитывать, Марианна была такая же, как всегда, в красной перелине и большой шляпе. А новые события? Они, как будто, не были для нее неожиданностью, возможно, что она догадывалась о положении своего отца, она была хитрая и смышленная, умела перехватывать письма и телеграммы. Зачем же она и ускорила летом свою помолвку в Виллацем Хольмсеном, если не для того, чтобы предупредить крах и катастрофу?

Но одна вещь, как будто, сбивала фрекен Марианну с толку: Борсен, начальник телеграфа, который как раз в эти дни лишился места и которому только и оставалось, что шляться по дорогам, этот самый Борсен часто встречался ей и ее отцу, когда они выходили гулять, и всякий раз Борсен кланялся помещику, как королю. В чем тут дело? Если кто-нибудь знал положение ее отца и просматривал его телеграммы Феликсу и от Феликса из Мексики, то конечно, Борсен. И он по-прежнему кланялся помещику низко и почтительно.

— Что же это, неужели отец не разорен? — думала Марианна.— Или Борсен находит, что он достоин почета и уважения и после своего падения?

Она поймала своего старого друга, ленсмана из Ура, и сказала:

— Почему вы ответили, что ничего нет, когда было так много?

— Я тогда не знал,— ответил ленсман.— Я получил телеграмму, но не понял ее.

Теперь она знала наверное.

Ну да, совершенно разорен, он был на дне, игрок поставил на карту свой последний скиллинг и проиграл. Так вот каков был этот господин Хольменгро, приехавший в Сегельфосс и сыгравший роковую роль для себя самого и для других. Он был явлением из незнакомого мира, из глубины, он был король, превративший жизнь в загадку, какова она и есть.

Он не жаловался, не разговаривал. Раньше, когда ему случалось понести крупный убыток, он иногда напивался,

как матрос, и жаловался, теперь он вел себя с большим достоинством, он копал замечательный погреб, который собирался чем-то наполнить, он даже улыбнулся и был приветлив и ласков, как будто и сейчас он мог лечь и проспать четверо суток одним духом и проснуться богатым и беззаботным. Странный человек! Однако адвокат Раш с изумлением заметил, что при первом свидании с приезжими городскими господами помещик снял с пальца свое таинственное кольцо, франкмасонское кольцо, и спрятал его в карман. Почему это? У одного из приезжих господ было тоже франкмасонское кольцо на пальце, но он его не снял. Может быть, помещик не хотел обнаруживать свое высокое звание теперь, когда он пал? Или же, может, он вовсе и не франкмасон? Адвокат Раш впал в сомнения.

Да, адвокат Раш впал в сомнения и относительно некоей телеграммы из Порто-Рико, от некого Феликса, касавшейся продажи некоего судна, огромной суммы. Может быть, это тоже выдумки?

«В сущности, — думал адвокат Раш, — чего же и можно ожидать от человека его происхождения, при недостатках его образования!»

Но вообще-то? Судьба господина Хольменгро? И каким образом совершилось его падение? Это знал он сам, он один. Его богатство, может быть, никогда не было особенно велико, но он уехал на родину и блистал тем, что имел.

Это было и нехорошо, и хорошо. И он блистал так усердно, так ярко, что в конце концов ему пришлось закладывать свои поместья, самую мельницу и, постепенно, пристань, набережную, барский дом; он закладывал все чаще и чаще, закладывал все, выжимал деньги из всего, вплоть до машин, вплоть до оборудования. Он был банкротом уже много лет, но отстранял разорение и делал это очень искусно, превосходно, гениально. Разумеется, он мог бы приостановить свою деятельность во-время, но тогда кредиторы моментально набросились бы на него; он, может быть, спас бы значительную часть своего состояния, но тогда жизнь его не была бы фантастичной, сказочной. Царствовать изо дня в день над мельницей и ее рабочими — разумеется, это было смешно! Он не любил регулярности, работа не доставляла ему удовлетворения; если он не мог блистать, он был бессилен. Он и блистал.

И такой-то человек мог поселиться в Сегельфоссе и бессмысленно тратить годы за годами в этом месте, пока не наступила старость? А почему же нет? Человек таит в себе свою собственную судьбу и судьбу других людей.

Человек с Кордильер, должно быть, решил, что на это он имеет средства, на большее же — нет; он обуздал свои порывы и полетел ближе к земле. Впрочем, Сегельфосс не был захоластьем, когда он основался там; в ту пору в имении жили господа, люди, в сношениях с которыми радостно было быть богатым, он не жалел ни об одной сделке с ними, ни об одном сделанном им подарке. Лейтенант и его супруга были аристократы и дворяне. С их смертью для господина Хольменгро, в сущности, все кончилось, ничего нет фактического сиять среди аллеи обяденщины, это может сделать и адвокат Раш в красном клетчатом жилете. Но у господина Хольменгро была уже мельница, молотья муку; приходилось продолжать молот, мельница стала его властелином, он молот напропалую, молот до старости, пока спина его не согнулась и глаза не стали водянистыми. То был рок. И в довершение всего, ему еще приходилось бороться ради поддержания положения владельца мельницы, надо было прибегать к хитростям и уловкам таинственными перстнями, таинственным телеграммам, все для того, чтоб предприятие не лопнуло и рабство его не кончилось. Что еще он предпринимал? Ничего. Его кувырки и прыжки по аллее, его внезапные срывы — то, что он напивался и гонялся за женщинами — было проявлением неизрасходованных природных сил: матрос был ведь человек и мужчина. Преступление его заключалось не в этом, его преступлением было молот муку.

А как невероятно хитро работал мозг этого человека, намеками, почти незаметно, неслышно! Пастбище на две тысячи овец для вывоза — это звучало грубо и мощно, но это бы тончайший, хитроумнейший план. Господин Хольменгро хотел купить эту пустошь, потому что ее нельзя было купить! План был связан с милой Марианной и Виллацем Хольмсеном, с помолвкой, которую надо было ускорить. Впоследствии, после краха, Виллац Хольмсен узнал бы, что две крупные спекуляции в Тихом океане временно не удались.

Мельница стояла, но дни шли, Бертель из Сагвика и Оле Иоган копали и обкладывали камнем яму. Вероятно, об этом телеграфировали в газеты, все громко говорили об этой затее, вся округа знала о ней. Фрекен Марианна получила с прошлой почтой новое пламенное письмо от Антона Кольдевина, сегодня она получила от него телеграмму, что его последняя операция с «Жар-Птицей» сорвалась, и он не смеет больше настаивать на своем почтительном

предложении! Практичный человек уклонялся, и против этого ничего нельзя было возразить; при чтении в индейских глазах Марианны мелькнуло что-то в роде улыбки. Зато она не улыбнулась над письмом Теодора из Буа, оно было немножко хвастливо, но наивно и беззлобно:

«Высокоуважаемая фрекен! Если мне будет разрешено прийти в ваш дом на консультацию, я почтительнейше предлагаю свои услуги в отношении дел вашего папаши. В ожидании благоприятного ответа, остаюсь, с совершенным почтением Теодор Иенсен».

«Милый Теодор, вы не можете помешать неизбежно, — написала она в ответ, — но благодарю вас за ваши любезные строки. Ваша Марианна Хольменгро».

Но вот вышла «Сегельфосская газета», в ней была передовица о крушении господина Хольменгро, написанная твердо и уверенно, с разъяснениями из «осведомленного источника». «Мы давно это предвидели, — писала газета, — но не хотели обнаруживать; наконец-то Немезида обрушилась на предприятие, которое было гнило в самой своей основе и потому могло существовать, лишь благодаря постоянным повышением цен на муку!» Статья была очень длинна, шедевр по образованности и стилю; всякий понимал, что в Сегельфоссе был только один человек, который мог так распоряжаться словами. «Мы с ужасом думаем о рабочих, оставшихся без хлеба среди зимы, — писал этот человек, — и не можем отделаться от надежды, что мельница будет продолжать работать, хотя бы временно и в убыток. Нам стало известно, что из источника, которому близко благо Сегельфосса, настоящим владельцам предприятия было сделано указание на необходимость продолжать производство, а если новые хозяева не поймут этого, их заставят понять. Рабочих много, и требования их справедливы».

Другая статья в газете была, вероятно, составлена самим редактором и наборщиком Копперудом; она не блистала эрудицией, но тоже была хороша и полезна для Сегельфосса и окрестностей.

«В чем дело? — писал он. — После той практики, которую помещик Хольменгро установил своим юбилеем, рабочие несколько лет несли тяжкий труд в ожидании нового юбилея. И что же, неужели его не будет? В прошлый раз помещик пожертвовал пять тысяч крон, а теперь, почти накануне нового юбилея, он бросает свое поместье. Это имеет вид заранее обдуманного намерения, и обманутыми являются опять-таки рабочие. Запомните это, наемные рабы!»

И наемные рабы запомнили это и еще многое другое, у них были развязаны руки, развязан язык — полная свобода. Все могли нападать на короля, «Сегельфосская газета» не пожалела его ни одним словом, рабочие осудили его многими словами. Начать с того — чего ради он сюда явился? Под предлогом слабого здоровья, ради соснового воздуха. Как будто в Мексике нет хвойных лесов! Как будто на всем свете только в Сегельфоссе и есть хвойный лес! Чего ему здесь было надо!

Покуда он мог удовлетворять сильный и слепой аппетит пролетария, все шло хорошо, он должен был давать народу муку, по преимуществу, пшеничную, по дешевой цене, всего лучше даром. Неудовольствие началось с того момента, когда он потребовал платы, когда он захотел иметь труд за плату. Они не ставили ему в вину, что он развратил местечко своей фантастикой, своей безудержностью, пасть народная всегда была разинута и требовала все больше и больше. Король ввел наличные деньги, деньги стали цениться все меньше и меньше, деньги побрякивали в кармане у всех и каждого, король раздавал их щедрой рукой — дай бог здоровья королю! Но понятия смешались, в домах появился другой дух, король ввел роскошь, справляться с которой не у всякого хватало ума и характера.

Теперь все это прекратилось. Что это значит? Значило ли это, что консервы, часовые цепочки и папиросы сделаются недоступны? Быть рабочим становится все труднее и труднее, капиталисты проматывают капитал и оставляют рабочих без куска хлеба; мы с ужасом думаем о зиме! Многие горько жаловались, они купили лошадей для возки на мельницу, теперь они оказывались им ненужными. Что им делать? От серьезной работы они отвыкли, им страшно было за нее приняться, и вот они предпочитали шататься, часами торчать у прилавков в Буа, обсуждать вопрос о диалекте и шансы на выборы адвоката Раша.

— А не может ли Теодор купить лошадей? — Отчего же, за товары.— Теодор покупал и продавал все, лошади перешли к нему, он разослал их на пароходе по разным местам. Теодор невольно выступил теперь в роли общего помощника, люди в Буа не голодали, лошадь съешь не скоро. А к Новому году будет Лосфоден, а к лету, глядишь, что-нибудь да найдется. А на Хольменгро — наплевать!

— Не смей так говорить! — сказал вдруг Теодор.

— Еще что!

— Да. потому что он, Хольменгро, превратил Сегельфосс в город, а этого не сделал ни ты, ни адвокат!

Смотрите-ка, Теодор из Буа за последние дни переменял свое отношение и переметнулся к врагу! Он получил письмо от фрекен Хольменгро, говорил он, и после этого увидел все в совершенно новом свете.

Ах, это письмо, эти две строчки: Дорогой Теодор, ваша Марианна Хольменгро; только это и требовалось, чтобы Теодор переменял свое отношение. Жениться на ней он не собирался, для этого она была слишком уж высокопоставлена; но его уже не отвергали с презрением, он был восстановлен в своих правах; она писала ему. Он сотни раз перечитывал записку, оставаясь один, целовал ее, играл ей на граммофоне, произносил прощальные речи и плакал. Таков был парень Теодор, не хуже, вот какой он был хороший. Разумеется, он хвастал письмом, он был бы дурак, если б не сделал этого, Теодор даже давал понять, что ему одному, и никому другому, в точности известны все обстоятельства падения господина Хольменгро.

— Есть тайны, которые тебе неизвестны,— сказал он Ларсу Мануэльсену.

— Я и не нуждаюсь их знать.

— Погреб его скоро будет готов, в него еще попадут драгоценности и сокровища!

— Тогда ему следовало бы вспомнить Давердану и отблагодарить ее хоть чем-нибудь за все оскорбления, какие она перенесла,— сказал Ларс Мануэльсен, соблюдая интересы семьи.

Была ли доля правды в том, что господин Хольменгро собирался зарывать в землю сокровища? Люди пришли в сомнение,— разве узнаешь все про короля? Сам он находился еще здесь, не говорил и не жаловался; мельница не работала, но погреб становился все прочнее и надежнее, и теперь вот он уже и готов.

Что же будет дальше?

Ленсман из Ура почти ежедневно приезжал к господину Хольменгро и оставался там на правах друга; может быть, он выступал и в качестве доверенного другой стороны и заведывал домом. Он доставлял много удовольствия своим присутствием, и они с фрекен Марианной опять весело шутили, невзирая на обрушившиеся испытания. Старый ленсман очистился от долга в кассу, не имел и частных долгов, вдобавок пользовался всеобщим доверием и вот сейчас получил телеграмму от Виллаца Хольмсена.

— Я получил сегодня телеграмму, что Виллац Хольмсен опять едет,— сказал ленсман как бы мимоходом.

— Кто едет? — спросила Марианна. Но она была так ужасно хитра, что усидела смирно на стуле и продолжала

разговор.— Послушайте, ленсман, ведь если мы стали бедные, никто не захочет теперь на мне жениться. А может быть, и Теодор-лавочник! Но если не захочет он, то Лассен-то уж возьмет, как вы думаете?

— Он едет,— сказал ленсман.— Молодой Виллац уже выехал.

— Вот как? Да, правда, ему все возят бревна. Так вы получили телеграмму от Виллаца?

— Да. И ответил, что бревна возят,— сказал ленсман, усмехаясь.

— Можно посмотреть, телеграмму?

Совершенно верно, Виллац Хольмсен подал о себе весть, срочная телеграмма с красной наклейкой: Срочно! Что же это так срочно? Задержать ее, если она собирается уехать, просить сейчас же выехать на юг и взять его таким, каков он есть, хотя опера все еще не совсем готова. «Дорогой друг Марианны, позондируйте почву, могу ли я надеяться, но не показывая этой телеграммы!» Длинная и кипучая телеграмма, выразительная и бестолковая, влюбленная телеграмма: он не решается показаться сейчас из чувств рыцарства и порядочности,— еще бы, посмел бы он сейчас просить ее руки! — но он боится, что она исчезнет и он никогда больше ее не увидит. «Я еду сейчас на север, не для того, чтоб быть ближе, но потому, что здешние мои две комнатки должны быть вымыты к моему возвращению. Отвечайте в Тронгейм».

— Что же мне ему ответить? — спросил ленсман.

— Вы ни в коем случае не должны показывать такую телеграмму,— ответила она, вспыхнув до корней волос.— Да, вы смеетесь, а я вот ему расскажу!

— Значит, вы с ним увидите? — спросил он с величайшей серьезностью.

Она проворно подбежала к зеркалу и обеими руками спустила на лоб волосы, чтоб быть поинтересней.

— Увижусь ли я с ним? Покажите-ка мне еще раз, разве там не написано, что он встретит меня в Тронгейме?

— Я не могу показывать такую телеграмму,— сказал ленсман.

— Вы спрашиваете, что вам ответить. Я отвечу сама,— сказала Марианна.

Ленсман покачал головой:

— Ведь вы не знаете, сколько свезли бревен.

— Как вы думаете, где мой милый папочка? Мне надо... я хочу только.

В дверях она обернулась и еще раз спросила ленсмана, действительно ли он получил эту телеграмму.

— Нет, я ее купил,— ответил он, и оба засмеялись.

Впрочем — как бы фрекен Марианна ни радовалась, и ни смущалась, и ни хотела сию же минуту ехать на юг,— почтовый пароход отходил не раньше, чем через два дня. За это время она послала и получила очень много телеграмм и уложила платье и вещи в сундук. Отец помогал ей, он был молчалив и счастлив, должно быть от удовольствия, что алмазная пещера готова и может быть использована.

Наконец, пришел большой пароход. Господин Хольменгро подал сигнал флагом, судно пристало к его пристани, оно и шло в его адрес. Теперь люди уже окончательно ничего не понимали: что это, новый корабль с зерном, и король, значит, не пал? Господин Хольменгро только кивнул головой, что, мол, он давно ждал этого корабля, и вот он пришел. Стало быть, какое-нибудь чудо да случится? Корабль не может сдавать зерно банкроту и не может принимать на борт вырытый в земле несгораемый погреб и уходить с ним в море.

Господин и фрекен Хольменгро взошли на пароход и долго оставались там; флаг торжественно развевался все время, пока гости находились на судне, а когда они сошли на берег, капитан отправился с ними. Он был высок и желтолиц, должно быть из чужих стран, фрекен Марианна шла с ним под руку, он говорил на незнакомом языке, но сказал и несколько ломаных сегельфосских слов, над которыми все смеялись. Марианна и господин Хольменгро называли его Феликс.

Так вот когда молодой Феликс вернулся в Сегельфосс, с тайным визитом, на несколько часов, инкогнито. Вот он. Все здесь его удивляло, он вернулся в родной городок, позабыв всех людей, и только помнил несколько имен. «Юлий?» — спрашивал он. «Готфред?» — спрашивал он. «Виллац, Полтна, Пер из Буа?» — спрашивал он. — А чья это большая новая лавка? Теодора? Не помню!

Теперь и господин Хольменгро сам начал укладывать платье, в сундуки и чемоданы, а Бертель из Сагвика и Оле Иоган снесли все на пароход: фрекен Хольменгро ехала к своему жениху в Тронгейм, и отец провожал ее.

— Как думаешь, вернется он? — говорит Оле Иоган.

— Вернется. Неизвестно, что он хочет делать с погребом,— отвечает Бертель.

— А говорят, что он больше не приедет.

— Кто это говорит?

— Адвокат болтал.

Они снесли сундуки и ящики; каждый раз, когда они приходили на пароход, Оле Иоган задавал пропасть

вопросов и получал в ответ кучу непонятных сообщений от экипажа. Сам капитан находился на берегу у господина Хольменгро или же гулял по окрестностям и осматривался. Люди встречали его то тут, то там, он заговаривал с ними, смеялся, произносил несколько сегельфосских слов, но больше плел удивительнейшую чушь. Должно быть, он говорил на диалекте. Спросили редактора Копперуда, и тот сказал, что, должно быть, это диалект.

Со времени приезда пастора Лассена диалект получил здесь большое развитие; важное значение имело, что этот ученый и знаменитый служитель церкви был сторонником диалекта и даже проповедывал божье слово на нем. Все оставшиеся не у дел рабочие господина Хольменгро сделались приверженцами диалекта и поражали друг друга своими успехами, а тут еще приехал из чужой заграничной страны важный капитан, и он, оказывается, тоже говорит на диалекте.

Капитан зашел и в Буа, купил кое-каких мелочей и поговорил на своем тарабарском языке, — невозможно было ошибиться, все поняли, что он сказал, да, это был родной язык, сердечное напоминание о далеком прошлом Норвегии. Праздношатам энергично покивали капитану и начали ему подражать. Он многому научил их в короткое время. Жаль только, что он так скоро уехал.

Поздним утром на следующий день господин и фрекен Хольменгро и приезжий капитан взошли на пароход. Об этом сейчас же узналось, и оставленные без куска хлеба рабочие, должно быть, подумали: «Уж не хочет ли он сбежать? Надо посмотреть!»

Набережная кишела народом, фру Иргенс провожала своих господ, она стояла и плакала, хотя получила пакет с деньгами и была хорошо обеспечена. Стало быть, она плакала оттого, что лишалась хороших хозяев. Начальник пристани и его помощник явились в праздничном платье и держались в стороне. Бертель из Сагвика и Оле Иоган поздоровались с помещиком, как всегда, и Бертель спросил: — Как же нам, присматривать за погребом, покаместь вас нет?

Господин Хольменгро подумал с секунду, потом ответил:

— За погребом? Нет, раз корабль пришел, погреб мне не понадобится.

Он дал Бертелю толстый конверт, дал такой же конверт и Оле Иогану, сказав, чтоб они не вскрывали их, пока он не уедет. Потом поблагодарил обоих за верную службу.

— Разве вы не вернетесь? — спросил Оле Иоган.

— Когда моя дочь будет хозяйкой в имении, я наверное приеду навестить ее, — ответил господин Хольменгро.

На набережной спрашивали, что он ответил, и вот оказалось, что он не удирает, дочь его остается здесь, и сам он тоже вернется! И тогда оставшиеся без куска хлеба рабочие перестали кричать и перестали свистать в кулаки, не такие уж они были отпетые, и даже стали помогать отдавать чалы и с грустью смотрели на своего бывшего хозяина. Вот он стоит на палубе; строгим и требовательным работодателем он никогда не был — счастливого пути! Не такие они уж были отпетые. Пусть только он не бросает на берег тысячу крон в раздел между ними, этого сейчас же будет мало, они начнут ворчать, почему не две тысячи, ну да, потому что эти деньги созданы ведь их же потом! У них инстинкт пролетария, вечная неудовлетворенность их непохожа на неудовлетворенность зверя, их разинутая пасть постоянно требует все больше и больше.

Теодор-лавочник тоже слышал ответ господина Хольменгро, и сердце его сжалось. Хозяйка в имении, ну, что ж, это не новость, не сюрприз. Мало пользы иметь фирму и быть первым в своей отрасли, судьба сильнее. Вот она стоит, прощай, и будь счастлива, вот мое желание!

Вдруг в толпу влетел, словно сорвавшаяся с привязи лошадь, Оле Йоган, отходивший в сторонку. Любопытный старик, конечно, не мог удержаться, чтоб не открыть конверт, и вот он протиснулся к Бертелю из Сагвика и сказал:

— Там не писанный аттестат, как ты думал, а деньги. Разорви и посмотри, сколько у тебя!

— Когда он уедет, — ответил Бертель.

Подошел Борсен, легко одетый и озябший, похудевший после раны в груди. Удивительный Борсен, невозможный Борсен, разжалованный из начальников станции в телеграфисты под начало маленького Готфреда, но такой же представительный, походка вперевалку, как и раньше, без раскаяния, без озлобления. Он кланяется господам на палубе, шляпа его опускается чуть не до земли, никто не умеет так послать привет старой шляпой, как Борсен. И господа отвечают ему тоже низким поклоном, господин Хольменгро благодарит начальника телеграфа за все труды, которые он нес ради него; Борсен снова опускает шляпу и, раскачиваясь, бредет дальше.

Господин Хольменгро подзывает Теодора. Он желает молодому купцу действовать и дальше так же успешно:

— Поклонись твоему отцу и матери!

Марианна кивнула ему головкой.

В эту минуту пароход отходит от пристани, и Теодора охватывает страшное волнение. Большой пароход все шире и шире раскрывает просвет у берега, последний кивок Марианны, разлука на всю жизнь, это было что-то необъяснимое, он тяжело перевел дух.

— Ваш отец помер,— говорит рядом с ним чей-то голос. Это говорит Юлий.

Теодор возвращается из другого мира:

— Что ты говоришь?

— Отец ваш. Он сейчас помер. Я только что из лавки.

— Отец помер?

— Да.

Теодор сразу возвращается в свой собственный мир, он уже не видит парохода, не чувствует никакого необъяснимого волнения, он торопится домой и разыскивает мать.

— Да, отец твой помер,— говорит она, плача.— Он был очень плох утром и не мог сказать ни слова. «Тебе худо, Пер?» спросила я, но он не ответил. А теперь он помер.

— Да, да,— сказал Теодор.

Он не был подготовлен к этой внезапной смерти, но она пришла не преждевременно, наконец-то бог оказал отцу эту услугу. В голове Теодора промелькнуло несколько быстрых мыслей, гроб, похороны, крест на могиле. Он пошел в лавку и выбрал черной материи повязать на шляпу. А не надо ли ему черной полоски на рукав? И на какой рукав, у кого бы узнать? Может быть, на оба? Редактор Копперуд наверное знает, как полагается, но Теодор был с ним далеко не в приятельских отношениях. Может, фотограф знает? Он послал подручного спросить; нет, фотограф не знал. Теодор был в таких вещах очень педантичен и боялся промахнуться. Борсен-то, разумеется, знает. И не следует ли ему писать письма на бумаге с черной каемкой, как принято в других городах?

Он пошел сам разыскивать Борсена, а вернувшись, поднял на лавке припущенный флаг.

«А не выкинуть ли флаг и на театре?» — подумал он и приказал вывесить приспущенный флаг и на театре. Теперь самое главное сделано. Теодор был удивительно расторопен и в горе, даже в семейном горе, все он успел устроить: заявил о смерти отца причетникам, пастору и ленсману, заказал гроб, велел пекарю наготовить сладкого печенья. Что вселило в него такую смелость и огонь? Он старался это скрыть, но, в сущности, он хорошо заработал на смерти отца, это был случай, когда он выручил свою цену, не отдавая товаров.

Мало-помалу люди разошлись с набережной и с пристани, большой пароход, увезший короля Тобиаса и его дочь, скрылся за далекой серой линией, теперь народ наполнял лавку и принимал участие в новом событии.

— Вот что, так он представился!

— Да, да, господь долго мучил его, прежде чем взял к себе!

Ларс Мануэльсен только выразил сожаление, что Пер из Буа сам виноват: не умер, пока Лассен был здесь. Тогда, по крайней мере, на могиле его было бы произнесено настоящее надгробное слово.

ГЛАВА XVII

Надгробное слово, и правда, могло бы быть лучше, все остались им недовольные. Сегельфосс не получил от него никакого удовольствия. Пастору Ландмарку представился прекрасный случай поговорить серьезно, но он им не воспользовался, да и вообще он был плохой проповедник. Публика ждала, все уши насторожились от любопытства — неужели пастор не скажет про грехи Пера из Буа, неужели он обойдет их молчанием? Он обошел.

Пастор Ландмарк был ремесленник, он плотничал, ковал, работал на токарном станке; он знал толк в форме, в линии, а Пер из Буа наверное никогда не совершил крупного и красивого по форме злодеяния, про него не было слышно ничего плохого, кроме мошенничеств, обманов и противного корыстолюбия. Пер из Буа вовсе не был таким уж ничтожеством, но пастор не знал его, это видно было по его речи, покойник был ему совершенно безразличен. Все были разочарованы речью. Теодора, следившего за всем, рассердил равнодушный тон пастора, и он не пригласил его на поминки, очень нужно!

— Из того, что его сделали председателем, не следует, что он может относиться так нахально к усопшим, — сказал Теодор. — Да и не каждый день ему случается бросать землю на такие гроба, — сказал он.

И правда, молва о гробе разошлась далеко, он был великолепен, выписан из Тронгейма, с надписью «Почивай в мире», с ангелами, с двумя руками, встретившимися в пожатии, всякими украшениями — все словно из чистого серебра. Теодор целый день не брал его с набережной, так что люди могли рассмотреть гроб, пока его не употребили в дело. В день похорон присутствовал, правда, не весь Сегельфосс,

но адвокат Раш во всяком случае явился, он знал свои обязанности по отношению к усопшему клиенту, и Теодор привел домой с кладбища большую свиту: покупателей из окрестных селений и виднейших жителей местечка. Среди них был Ларс Мануэльсен, совершивший свой первый выход в пальто, в городском пальто. Удивительно, до чего наружность его изменилась вместе с платьем, а сороки — нет, сороки не кричали! Неужели они не узнали Ларса Мануэльсена?

Пир был, разумеется, самого первого сорта, без горячих блюд, а кофе со всевозможными печеньями и закусками, консервами, пивом и виноградным спиртом. Юлий опять распорядился вместо хозяина, а роль лакея исполнял при нем Нильс-сапожник. Да, пир был отменный. Много прошло с тех пор времени, но кое у кого были основания его вспоминать, и среди таких был Юлий.

Вечером его и Нильса-сапожника неожиданно позвали в контору к Теодору, который предложил им быть свидетелями. Там находилась горничная Флорина; она и Теодор стояли посреди контора, похоже было, что предстоит нечто торжественное, все молчали.

— Зачем вы нас позвали? — спросил Юлий.

Флорина не отпустила глаз, и вид у нее был скорее твердый и упрямый. Она уже довольно давно перестала завязывать рот шерстяным платком, это уже перестало достигать цели, зубная боль и рвота у нее прекратились и не возобновлялись, а платок только надоедал, кроме того адвокат категорически потребовал, чтобы она его сняла. И вот она стояла в конторе. На вопрос, что ли, ее вызвали? Сделайте одолжение, пожалуйста!

Теодор-лавочник взял слово. «Пришла почта», — сказал он и приступил прямо к делу:

— Я получил письмо от моего друга Дидрексона, — сказал он, — ты помнишь его, Флорина? Представитель Дидрексона и Гюбрехта?

— Чего вам от меня надо? — резко спросила Флорина.

— Ты писала его невесте, фрекен Рахили.

Флорина ответила, полная яда и раздражения:

— Должно быть, мне не следовало беспокоить!

— Она порвала с ним, — сказал Теодор.

— И слава богу!

— Теперь я скажу тебе одно, — продолжал Теодор, — вот письмо моего друга Дидрексона у меня в руке. Ты вела себя по отношению к нему не по-джентельменски, но я решил уладить это наилучшим для тебя образом и уплатить тебе немножко денег.

Ты хорошая покупательница, и лично я ничего против тебя не имею.

— Сколько же он мне назначает?

— Ну — сколько он назначает! Я уплачу тебе кругленькую сумму: тысячу крон.

Флорина вздрагивает, это превосходит ее ожидания, и она спрашивает:

— А вы можете это сделать?

— Что я могу сделать — об этом тебе нечего беспокоиться. Я беру это на свою ответственность. Тысячу крон под расписку. Юлий, и ты, Нильс-сапожник, вы — свидетели.

Юлий стал расспрашивать. Он был не из таких, чтобы пропустить без расспросов великих и малых мира сего, а тут ведь дело касалось всего лишь горничной Флорины. Но он получил только необходимые краткие ответы, а Флорина сказал: «Это тебя не касается, Юлий». — Так и сказал.

Затем Теодор положил на стол подробную расписку: такого-то года, месяца и числа, и нижеподписавшиеся, и на основании доверенности, в том, что с получением тысячи крон, прописью, поименованная Флорина отказывается впредь от всяких претензий к господину Дидрексону, вояжеру фирмы Дидрексон и Гюбрехт.

Но тут горничная Флорина стала раздумывать и отказалась расписаться: сумма была слишком мала, в сущности, ей следовало получить еще тысячу, потому что столько она потребовала: разинутая пасть ее требовала больше и больше; нельзя же позволить всякому заезшему барину поступать с бедной девушкой, как ему вздумается.

По настоянию Теодора она в конце концов расписалась, но не без ворчания: Юлия Теодор водил за руку, пока он расписывался, потому что Юлий сказал, что свои собственные буквы он пишет хуже всего. Зато Нильс-сапожник стоял прямой, как палка, и подписал свою фамилию неизмеримо крупным почерком.

— Уплатить тебе сумму сейчас, или ты предпочитаешь оставить ее на вкладе у меня? — спросил Теодор.

Флорина, вероятно, находила, что синица в руке лучше журавля в небе, и потребовала сумму.

И так как Теодор только что получил все деньги за годовой улов трески, он широко распахнул свой несгораемый шкаф и вынул тысячу крон из пачки, а пачка даже как будто ни чуточки не убавилась от этого маленького платежа. Глубокий вздох вырвался из груди зрителей, а Нильс-сапожник тихо и слабоумно захихикал.

— Вот, пожалуйста, пересчитай, пересчитай сама,— сказал Теодор Флорине.

Он был счастлив, он стоял, точно опираясь на меч, случай вынудил его показать свои деньги, он был бы очень огорчен, если бы Флорина отказалась от полочки. А кстати, теперь он уже не нуждался в деньгах господина Дидрексона, некоторое время тому назад оказавших ему такую замечательную поддержку. Это была сама судьба, все склонялось перед парнем Теодором.

Разумеется, он получил письмо от молодого господина Дидрексона, буйный повеса разошелся, надо полагать, он и на этот раз писал с какой-нибудь пирушки:

«Девчонка — как же это ее зовут? — сегельфосская девчонка, господь с ней, но она просто-напросто наслетничала Рахили. Вы помните Рахиль, дочь консула? Поэтому уплатите сегельфосской девчонке только одну тысячу крон, она, негодница, наслетничала, и Рахиль расстроила помолвку. Словом, заплатите ей, сколько признаете нужным. Местер — вы знаете Местера, он неизменный мой закадычный друг и удивительно скупой малый — Местер говорит, чтобы мы дали ей только половину, но я хочу, чтоб негодница получила тысячу, она этого стоит, я мог бы дать ей больше, все, что у меня было. Рахиль порвала со мной, я узнал об этом в счастливую минуту, как раз, когда обручился с другой. Вы представить себе не можете, как она очаровательна, молодая особа здешняя уроженка, я любил ее все время, но она согласилась только теперь, когда я связался с другой, как же это ее фамилия? А теперешнюю зовут фрекен Гюбрехт, дочь хозяина фирмы, по семнадцати лет. Я покажу вам ее портрет, когда приеду. Рахиль прислала мне потом другое письмо, но оно ничего не может изменить в принятом мною решении. Я очень счастлив, и так как негодная сегельфосская девчонка некоторым образом тому причина, то прошу вас поблагодарить ее за меня от чистого сердца. Я не могу забыть Рахиль, для этого я слишком сильно к ней привязался, но, в общем, это все-таки мимолетная влюбленность, а от судьбы своей никто не может уйти. Фрекен Гюбрехт зовут Еленой, голубые глаза, восемнадцать лет. Итак, не откажите в любезности передать мою благодарность девице и примите сами мою глубокую признательность за то, что вы так любезно взялись уладить это дело. До свидания».

Знакомство с молодым Дидрексоном оказало хорошее влияние на Теодора, великий повеса был легкомыслен, но

благороден, с широким размахом, и добрым сердцем,— Теодор не взял комиссионного вознаграждения ни с одной из сторон и в тот же день отослал расписку и остальные деньги. То был день похорон отца — тот самый день, когда перед хозяином гостиницы Юлием вдруг раскрылось, какая завидная партия горничная Флорина, и он начал искать сближения с нею.

После великих событий Сегельфосс мало-помалу успокоился. Поговаривали, будто весной мельницу опять пустят в ход, но пока что стояла зима, и многим жилось тяжело. Теодор-лавочник проявил в эти дни больше отзывчивости, чем от него ожидали, он распространял вокруг себя бодрость, снарядил нескольких наемных рабочих на Лофоден и вообще помогал людям кормиться.

Раскаты после падения господина Хольменгро гремели долго, но Теодор был теперь уже не настолько близорук, чтоб нападать на помещика: оказалось, что, с остановкой мельницы, деньги в местечке исчезли, Теодору не с кем стало торговать, господин Хольменгро поддерживал все. Теперь фотограф сидел на своем чердачке и умирал с голоду, а Нильс-сапожник заработал свои последние две кроны на похоронах Пера из Буа, «Сегельфосская газета» лишилась подписчиков. Правда, Теодор помогал и там и сям и не лежал, как камень, но толку выходило мало,— Сегельфосс спал, торговля и движение прекратились, поговаривали, что телеграф может обойтись одним телеграфистом, а там станцию и совсем закроют. В таком случае, Борсену придется остаться за флагом.

А что касается до Нильса-сапожника, то он стал совсем прозрачным, каким-то призраком, потому что всякие танцы и представления в театре прекратились. Пока хватало сил, он летал, легкий и донельзя нищий, по дорогам, в своих истрепанных покупных сапожках, поражая всех своей худобой. Особенную жуткость и вместе комичность придавало бедняге его масляно-умильное лицо,— оно производило впечатление, как будто он постоянно прислушивался к чему-то веселому, вид у него при этом делался страшный, близкий к помешательству. Последняя надежда его лопнула, он отправился к адвокату Рашу и прошел в контору, чтобы не показываться в этот день барыне,— спросил адвоката, скоро ли будет базар в пользу благоденствия Сегельфосса, и получил ответ, что времена теперь не для базаров.

— Так, так,— сказал Нильс-сапожник, но это была его последняя надежда.

Оттуда он пошел в лавку и купил несколько сухариков,— наверное, никто не голодал так основательно, как он:

— Дайте мне парочку сухариков для послеобеденного кофе,— сказал он.

Когда пришлось расплачиваться, он несколько раз вытаскивал ту же самую монету в пять эре и долго рылся в кошельке, как будто в нем не так-то уж мало денег. Уходя, он улыбнулся. Он всегда легко улыбался, но если теперь он улыбнулся, так потому что это было необходимо.

Два дня спустя Борсен ввалился в его избенку с провизией и водкой и в самом веселом расположении духа.

— Ха-ха! Я шел мимо и решил заглянуть к тебе,— сказал он.— Ну-ка, попробуй вот это!

Нильс-сапожник лежал в постели — подагра, сказал он — и потому в печке у него не было огня. Он с большой готовностью отведал вкусных закусок и выпил стаканчик. Борсен вел себя, как доктор, и сказал:

— Оставь пока эту колбасу, от нее тебе захочется пить, съешь лучше хлеба с маслом! Вот хорошо, что ты закусишь со мной; я иду издалека, и со мной были эти припасы!

Борсен затопил печку и так накалил сапожника, что тот вылез из постели и сварил кофе.

— Ха-ха, Нильс-сапожник, дела наладятся, все еще наладится!

— Оно похоже, что налаживается, когда вы приходите!

И, конечно, дела шли, но как? В глазах всех разумных людей, они шли вспять. Нильса-сапожника нельзя было поставить на ноги одним обедом и стаканчиком водки, для этого он зашел уж слишком далеко, а Борсен не интересовался ни ходом дел, ни тем, что ожидает его самого. Он никуда не собирался, бросил работу и жил со дня на день. Занимался праздными размышлениями, немножко благотворительствовал какому-то сапожнику, пил, играл на виолончели и произносил высокопарные речи,— все разумные люди поневоле от него отвернулись. Но поискать еще такого спокойствия и величия в самом падении!

— Не будь у меня сейчас такого стеснения в деньгах, я взялся бы реставрировать Тронгеймский собор,— сказал он Нильсу-сапожнику.

— Не похоже, чтоб у вас было стеснение в деньгах! — ответил сапожник, уже сытый и захмелевший. Совсем призрак.

Борсен не ел, но пил. И пил он все-таки не из порочности и малодушия, чтоб облегчить себе жизнь, или от отчаяния,

чтоб сократить ее,— Борсен малодушен? Ничего подобного. Он был тверд и спокоен, он находил, что хорошо и так. Если он мало ел, то оттого, что он не был ни голоден, ни сыт, а аккурат в точку, и чувствовал себя хорошо. Оба телеграфиста держали что-то в роде экономки, женщину, которая на них стряпала, но женщине пришлось уйти, потому что нечего было стряпать. Готфред стал обедать в гостинице, Борсен же вообще не обедал. Готфред, желая помочь ему, звал его с собой обедать в гостиницу, но Борсен благодарил и отвечал: «Не стоит, дружок!» Готфред все время помогал ему, и когда Борсен лежал больной от своей раны, и позже, когда обнаружилась его растрата и его сместили из начальников станции,— Борсена трогала эта доброта, и он благодарил за каждую мелочь, но ни в чем не изменял своей жизни. Должно быть, у него от рождения была естественная склонность к гибели. Неужели у него не было родных, семьи? Ведь кто-то из проезжих узнал в нем блудного сына богатого торгового дома? Может быть, у него была семья, а может быть и нет. Его поразительное равнодушие к своим деньгам и к чужим объяснялось, может быть, тем, что вначале он рассчитывал на семью, которая могла ему помочь,— он привык к безответственности и плевал на все. Но когда дело пришло к развязке, он не искал нигде помощи и ниоткуда не получил ее, а попросил у инспектора разрешения пополнить недостачу ежемесячными выплатами. Помощь? Нет. Точь-в-точь так, как будто у него не было никакой семьи. Но само собой разумеется, Готфреду пришлось пополнить кассу вместо него.

И вот теперь он сидел у Нильса-сапожника и высокопарно разглагольствовал об известном обычае у римских патрициев в древности: заметив, что они впали в немилость у своего повелителя, они вскрывали себе жилы или морили себя голодом.

— Вежливое и благородное поведение по отношению к высшей силе; все другое было бы просто хамством. Представь себе, знатные господа стоят, и с них снимают допрос, стоят и держат ответ перед смертью — черт возьми! Через сто лет ведь все равно об нас никто не вспомнит.

Уж не воображал ли телеграфист, что такие речи весело слушать? Он был не пьянее обычного и отлично знал, что говорит. Или же он хотел внушить сапожнику спокойствие и покорность перед тем, что его неминуемо ожидало?

— Насколько же вежливее мы должны быть по отношению к богу и идти ему навстречу! — продолжал он. — Ведь нам с тобой, мой добрый Нильс, уж нет никакого

интереса изворачиваться и суетиться, извлекать выгоды из событий. На что нам выгоды? Мы об этом не заботимся, пусть с этим возятся другие. Это мы с тобой на правильном пути, мы с тобой не яркие светочи среди мировой загадки, а тьма во тьме, одно с ней, мы у себя дома и счастливы. Ты стал красивым, Нильс, лицо твое не противно, у тебя сделались мелкие и тонкие черты, и в лице твоём нет дерзкой наглости, ты — словно мука. Это оттого, что ты себя не перекармливал: индийские мудрецы, то тоже голодают, чтобы сделаться белыми и внутренне ясными, тогда они видят блаженство. Можешь быть спокоен, Нильс, мы с тобой на правильном пути.

— Надо думать,— отвечал сапожник, поддакивая.

— Сын твой мог бы, пожалуй, прислать тебе что-нибудь из Америки, но это вряд ли принесло бы тебе много пользы.

— Да, я тоже думаю. А, может, оно и так, что Ульрику и самому живется не очень сладко.

Борсен сказал:

— Когда придет почтовый пароход с юга, побывай у меня на станции. Не забудешь?

— А надо? Прийти к вам?

— Да. У меня есть основания думать, что тогда мне захочется повидать тебя,— сказал на своем странном языке Борсен и пошел.

Он оставил свои галоши. Нильс-сапожник проявил страшную подвижность, вышел на порог и крикнул про галоши, но Борсен махнул рукой, что не хочет их надевать, они очень тесны и жмут: брось их в печку!

Он побрел домой, на станцию. Он отлично сознавал свое положение, что он человек конечный, банкрот, он подвел итоги, Жизнь и смерть стали для него равноценны, от этого у него было легко на душе. Еще недавно он предпочитал жизнь, но путем многократных размышлений пришел к заключению, что ему может быть безразлично, какой жребий выпадает ему на долю. Он ни в чем не раскаивался. Он не стремился обвинить богатую семью чтоб умалить собственную вину. Он ни в чем не виноват. Кого ему винить, и за что? И в чем виноват он сам? Растрата в телеграфной кассе будет пополнена, а больше ничего. Вина? Даже заблуждение есть вина, а он и не заблуждался, он великолепно жил на станции, ему так нравилось, он чувствовал себя бесподобно.

Он в таком состоянии, что никакие несчастья не могут его постигнуть. Блага этого мира оказались для него очень

доступными, они сделали жизнь его приятной, он фактически наслаждался всем, так что все ему известно. А если он пил, то не для того, чтобы чувствовать себя лучше, а чтобы продолжать чувствовать себя хорошо. Удовлетворенность, стоящая у цели, определенная точка зрения. Имел ли он что-нибудь, кроме своего тела и платья? Он был на дне. Пусть приходят несчастья, пожалуйста, он отнял у них всякую возможность торжества.

Когда пришел почтовый пароход, Борсен получил желтую повестку, денежное письмо и отдал деньги Нильсу-сапожнику. Опять выдумки, великодушные, пьяная фантазия, бог знает, что: но был ли в этом какой-нибудь смысл?

Да, Нильс-сапожник пришел, он был в галошах, они теплые и хорошие, сказал он. Он очень ослабел, был жалок, легко волновался, на глазах у него выступали слезы, хотя он боролся с ними и громко откашливался, чтобы казаться мужественным. Деньги ошеломили его, он упал на стул, хотя ему не предложили сесть.

— От Виллаца Хольмсена, — сказал Борсен. — Господин Виллац совершает свадебное путешествие, он с радостью посылает тебе эти деньги.

Сапожник сидел съезжившись и беспомощный, как зародыш в материнской утробе:

— Да, так, стало быть, это не мои деньги?

Борсен весело захохотал, чтоб ободрить его, и сказал:

— Виллац Хольмсен хочет, чтоб ты хорошо прожил на эти деньги до весны. А если на остаток захочешь поехать в Америку, поезжай, вот, что он говорит. Но, во всяком случае, у тебя не должно быть горечи против жизни, когда придется с ней расстаться.

— Он так говорит? Да, уж эти Хольмсены из барского, отец его был такой, и сын в него! Нет, неужели он так говорит? — Нильс-сапожник вдруг замечает, где он находится, и встает, благодарит, благодарит, ошеломленный, начинает без устали кланяться, и лицо его все сморщено от слез. Он даже не мог выговорить ни слова на прощание, когда уходил.

— Он не доживет до весны, — сказал Борсен.

Об этом Борсену следовало бы подумать раньше, тогда благоразумным людям не пришлось бы покачивать головою, говоря о нем. Умиравшему создают хорошие условия, он получает галоши и деньги, словом, снаряжается для жизни — чтоб пойти домой и умереть! Ему помогает в этом человек, совершающий свадебное путешествие!

Но в Сегельфоссе было много других людей, и те были умнее Борсена. Когда распространился слух, каким богачом сделался Нильс-сапожник, один за другим стали приходить к нему и просить займы:

— Но ведь не проживешь всего за зиму,— говорили они,— а по возвращении с Лофодена мы тебе отдадим!

Нильс-сапожник был не каменный, вдобавок он теперь поздоровел и отъелся, купил новое платье, пил кофе,— он стал давать займы, сперва осторожно, потом все охотнее и охотнее, ему начало нравиться быть важным человеком, он находил в этом вкус, люди относились к нему все вежливее, все подобострастнее, в несколько недель он превратился в благотворителя не хуже всякого другого. Богатство его таяло.

Но зато в Сегельфоссе опять зашевелились кое-какие деньжонки, и все они приплывали в лавку. Это немножко напомнило хорошие времена, когда мельница работала — ах, отраженные гулы после господина Хольменгро и мельницы ежедневно слышались до сих пор. Куда же это девался помещик? Или он уж окончательно не мог вести дальше работу, а то, пожалуй, и вовсе докатился где-нибудь до богадельни?

Однако общее мнение было таково, что у господина Хольменгро капитала побольше, чем все думают. В богадельне, он-то? Человек, выписавший свой собственный огромный корабль, чтоб поехать на свадьбу! Оно, собственно, не обязательно, чтоб это был его собственный корабль, могло быть и обыкновенное грузовое судно, которое лишь на несколько часов отклонилось от своего курса. Публика осаждала Теодора, все время делавшего вид, будто он чуть ли не доподлинно знает все относительно банкротства господина Хольменгро, и торжественно спрашивала про погреб, для чего он вырыт. Погреб этот продолжал волновать умы, а в конце концов, может, это был просто фокус разбитого короля, попытка в последний раз, засиять сверхъестественным блеском, чего доброго, пустая бравада.

— Но разве этот погреб так и должен оставаться здесь?— спрашивали люди.— И есть ли в нем что-нибудь?— спрашивали.

— Почему я знаю! — отвечал Теодор.— А если кое-что и знаю, все равно не скажу,— прибавил он.

— Давайте мне немножко ваших сухариков,— говорит Нильс-сапожник,— только вот, я не захватил с собой кошелька.

— Да у тебя в нем, должно быть, ничего уж и нет,— говорит Теодор.

— У меня много разобрали займы, понятно, кое-что еще есть, но раз у меня разобрали, то, конечно, осталось уж не так много.

Какой-то человек отводит Нильса-сапожника в сторону, это человек, который всегда покупает много желатину, он с горного хутора и еще не знает, что сапожник опять обнищал, он хочет занять у него денег. Они говорят вполголоса.

— Я наверное смогу тебя выручить,— говорит под конец Нильс-сапожник. Должно быть, уж очень приятно чувствовать себя богатым человеком и благодетелем.

Разговор в лавке опять заходит про погреб. Зачем господину Хольменгро понадобился погреб для своих сокровищ, когда он мог взять их с собой на корабль и увезти?

— А впрочем,— сказал Теодор,— впрочем, никому неизвестно, что находится в том погребе. Есть ли на нем замок?

Оле Иоган присутствует здесь же и отвечает, что нет, никакого замка не имеется.

— Тогда там, может быть, ниша в самой стене.

Или маленькая незаметная ниша в своде. Об этом часто приходится читать.

Оле Иоган копал и выкладывал погреб, и в нем нигде нет никаких ниш.

Ларс Мануэльсен тоже здесь, он терпеливо и молча слушает, потом говорит:

— А вот нет ли ниши в каком-нибудь другом месте!

— Не отпустите ли вы мне немножко сухариков? — спрашивает опять Нильс-сапожник,— только я не захватил с собой кошелька.

— Дай ему сухарей,— говорит Теодор своему подручному,— отвесь ему вон тех сухарей,— говорит он, потому что он не каменный.— Но я совсем не расположен на тебя расходиться, Нильс.

Станный разговор. Даже человек с гор, последний заемщик, настораживает внимание, он еще раз отводит сапожника в сторону и спрашивает, может ли он получить деньги.

— Да, я, конечно, тебя выручу,— отвечает Нильс-сапожник.

Так проходят дни. В Сегельфоссе тихо и печально, но в Буа кое-что случается, там собирается народ, там топится печь. Лавка освещена, Теодор — единственный человек, имеющий средства, у него горит много ламп. Лавка превратилась в огромный магазин, Теодор хорошо знал, что делал, когда пристраивал новую лавку стена к стене

со старой, — настал день, когда он спилил перегородку, и получился огромный магазин.

— Как вы думаете, сколько уж мне стоило? — говорил Теодор.

Он положительно великолепен. Во времена испытания для местечка Теодор — поддержка, ободрение и утешение всем, он неутомим в разных выдумках, в напоминании о себе. Он любит франтить, но не обладает настоящим вкусом, чтоб выбрать, что ему идет, и не умеет носить платье; но он любит франтить. Теперь в его лавке никто не вертит бумажных фунтиков. Теодор завел большие и маленькие бумажные картузы, а на картузах — его фамилия. Когда его имя стали читать на каждом картузе и оно прославилось, Теодор придумал прибавить к надписи рисунок лавки — в роде иллюстрированной картинки с моего предприятия, — говорил Теодор.

Ему не хватало только трубы, чтоб трубить в нее.

По вечерам у него всегда полно народу. Говорят про Борсена, что он очень худеет в последнее время, прямо тает, бог знает, не голодает ли он. Действительно, Борсен тает, впрочем, худоба ему к лицу, он стал тонок и бел, и, может быть, это от голода. Говорят про Юлия, что вот теперь горничная Флорина переселилась в гостиницу Ларсена и будет там хозяйкой и женой. Сам Юлий все такой же, но невеста подарила ему длинную трубку с бисерным шнурком, и эта трубка далеко высовывается из его кармана и придает ему солидный вид. Говорят про адвоката Раша, он прошел на выборах и скоро попадет в стортинг. Он занят вопросам о мальпосте и работой по уменьшению налогов.

Говорят обо всем этом.

Изредка Теодор вставляет свое слово, и все прислушиваются к его указаниям, потому что он чертовски толковый и смысленный парень. В один прекрасный день он поражает народ замечательным плакатом на лавке, это наука о комерции, биржевой курс: Гавр 25-го октября. Кофе 71 1/2 тенденция к повышению. Рио Жанейро 23-го октября. Вексельный курс на Лондон 109/84. Фрахт в Соединенные Штаты 52 1/2. Сантос 25-го октября. Тенденция устойчивая, сведений о пароходных отправлениях в Норвегию за неделю не имеется. Ввоз во внутренние области Са-Пауло 66,000.

— Вот вам цены, на кофе, — сказал Теодор.

— Замечательно! — говорил народ, смиренный и жалкий, а Теодор чувствовал себя всеильным. — Неужели вы можете вычислить цену на кофей вот по-этому?

Теодор только улыбнулся, как будто для него было пустяком преодолевать подобного рода трудности.

Но вот вышла «Сегельфосская газета». Бедняга редактор и наборщик Копперуд, газетке его приходилось плохо, подписчики отпали, адвокат же Раш, после того, как его выбрали, отказался ее поддерживать. Что же оставалось делать Копперуду? Теодор-лавочник не прибавил камня к его бременю, наоборот он регулярно помещал свои объявления, и даже сегодня прибавил еще одно: «Заведующий конторой, в совершенстве знающий бухгалтерию, немецкую и английскую корреспонденцию может получить место, вознаграждение в зависимости от квалификации. Теодор Иенсен, Сегельфосс».

О-о,— неужели Теодор собирается торговать с границей! Дальше уж идти некуда! Никто не знал в точности его средств, кончится, пожалуй, тем, что он купит мельницу и начнет получать зерно из Америки и с Черного моря и молоть его, точь-в-точь, как Хольменгро!

Теодор отвечал, что работа в конторе отнимает у него чересчур много времени и утомляет. Он сказал, что решил завести и пишущую машинку. Дело же в том, что начальник пристани господина Хольменгро остался не у дел, а Теодор знал, что человек этот имеет здесь безнадежную любовь и ни за что не хочет уезжать из Сегельфосса. Теодору не улыбалось позвать его к себе и втихомолку дать ему должность, он желал произвести эффект на весь Сегельфосс, затем и поместил объявление, пусть люди знают, что его фирма нуждается теперь в заведующем конторой, знающем иностранные языки. В былое время он махал флагом из-за всего и из-за ничего, это было, когда он еще не вырос, то были детские забавы по сравнению с теперешним временем, когда он заводил деловые сношения с границей. Начальник пристани явился просить места, Теодор взял его. Взял сразу, без мелочной осмотрительности, смело и властно. Но на скромный оклад для начинающих.

Он сказал Оле Иогану:

— Не можешь ли ты с Бертелем из Сагвика сделать для меня одну землекопную работу? — И сказал это, как самую простую вещь, хотя стояла середина зимы, и земля глубоко промерзала.

— Не лучше ли подождать до весны? — сказал Оле Иоган.

— Об этом тебе нечего беспокоиться, раз мне нужно сделать землекопную работу зимой,— ответил Теодор.—

Нужно поставить крест на могиле отца. Я не хочу, чтоб он лежал без креста.

Оле Иоган сейчас же приступил к делу.

Прибыл крест, большой, важнецкий железный крест с золотой надписью, числом года и золочеными ангелочками во всех четырех углах. Он был великолепен. На всем бедном кладбище только и была хорошая могила, что у Хольмсенов из поместья, а то не видно было ничего, кроме крашенных деревянных крестов да простых земляных холмиков, — теперь появился крест Пера из Буа. И мало того: Теодор выписал и решетку, обнести крест. Это уж было верхом всего, что можно было вообразить. Оле Иоган и Бертель из Сакгвика получили работу надолго, им пришлось разводить на кладбище костер, чтоб оттаяла земля, но Теодор ничего не жалел. Дело должно быть сделано.

— Потому что у нас должно быть, как на других кладбищах, — говорил Теодор.

И вот у его матери нашлось занятие: ходить через дверцу за решетку, запираться и украшать могилу. У нее появилось маленькое местечко, которое она могла запирать от других женщин, почти то же, что прилавок в лавке, отделявший толпу; приятно было проводить границу, жена Оле Иогана часто это на себе чувствовала. Правда, теперь, среди зимы, трудно было достать цветов и зелени, но можно обойтись и раковинами, и авось удастся вырастить горшочек-другой фуксии и герани. Фру Пер из Буа украшала могилу каждую субботу, украшать ее среди недели было бы напрасным трудом, к приходу богомольцев в воскресенье все равно все увяло бы и зачоченело.

Но крест и решетка повели к расточительности, а фру Пер из Буа заразила соседок своим могильным культом. Народ стал приходить к Теодору и заказывать памятники для своих усопших, Один не хотел отставать от другого, народу приходило все больше и больше, поистине благородное соревнование, и все обещали расплатиться после Лофоденского промысла. Теодору пришлось выписать иллюстрированные каталоги литейных и скульптурных мастерских, получилось настоящее торговое предприятие. Камень был, пожалуй, наряднее и вытеснил железо, памятники были из мрамора и гранита, полированные и неполированные, всех цветов, люди могли выбирать. Были кресты и пирамиды, и плиты, и колонны, иobelisks, всех форм. Можно было высечь места из писания или другие общепринятые слова: «Мы встретимся снова!», «С любовью и сердечным прискорбием!», «Спи с миром!». Люди могли выбирать. А после того, как

выбор был сделан сообразно со вкусом и средствами заказчика, Теодор выписывал памятник.

Все это было очень благородно и приятно, но получилась настоящая эпидемия. Ничего нельзя было сказать против того, что Ларс Мануэльсен с женой заказали памятники своим двум малюткам, пролежавшим в могиле уже двадцать лет; но в таком случае, у фру Пер из Буа двое малюток тоже лежали под дерном, и их тоже надо обнести решеткой? Конца этому не предвиделось, мало у кого не имелось родных на кладбище, и теперь все хотели помянуть их надгробными камнями. Да и не всегда это сходило гладко — как, например, когда отец горничной Марсилиии облюбовал себе хорошее местечко для гордого обелиска, а Нильс из Вельта явился с маленькой гранитной плиткой и стал утверждать, что его отец похоронен как раз здесь.

Маленькое кладбище расцветало в разгаре зимы, и днем, и ночью на нем горели костры, растапливавшие мерзлоту, чтоб можно было производить земляные работы. Но когда фру Пер из Буа окидывала взглядом могилы, железный крест вызывал в ней неудовольствие; и действительно, кругом появились памятники, несравненно величественнее и красивее. Не поставит ли Теодор своему покойному отцу другой памятник внутри решетки? И Теодор был не прочь, пышность и великолепие нравились и ему; но он хотел выждать время! Что же ему делать со старым крестом неужели так-таки выбросить? Другое дело, если в скорости умрет кто-нибудь по имени Педер Иенсен и мало-мальски подходящего возраста, — тогда Теодор сможет продать железный крест и вернуть свои деньги.

Так-то идут дни.

Теодор вел зимой порядочную торговлю памятниками и был в хорошем расположении духа; однажды вечером он предложил камень и Борсену. Это была чистейшая шутка, и Борсен на нее не обиделся, а ласково и кротко улыбнулся купцу. Борсен стал ужасно бледен и худ, у него и в самом деле был такой вид, что ему вот-вот понадобится надгробный камень, а глаза у него сделались необыкновенно блестящие. Он перестал покупать табак, а купил две штуки сухарей, тех самых, которыми поддерживал себя Нильс-сапожник в нищете. Заплатив за сухари, он ушел.

Внезапно завернул сильный мороз, а Борсен был очень легко одет, он шел не торопясь, как будто холод на него уже не действовал, а может, он и не в силах был идти быстрее.

Шел он на станцию. Было темно, Готфред ушел обедать. Оба телеграфиста как раз сегодня подвели счета, и Борсен уплатил последний остаток своего долга. Он взял впотымах свою виолончель и опять вышел; тихонько доплелся в поместье Сегельфосс и вызвал Полину. Произошла печальная сцена. Он передал Полине свою виолончель и попросил отдать ее Виллацу Хольмсену, когда тот приедет.

— Вот как,— сказала Полина,— значит, я должна ее просто передать.

— Да,— ответил Борсен.

Странный поступок, разумеется, виолончель отдавалась не по принуждению или из нужды: Виллац Хольмсен был не такой человек, чтоб давать Нильсу-сапожнику деньги под какой-то залог. Да и Борсен тоже не стал бы продавать свою виолончель, а подарить мог кому угодно,— он и подарил ее туда, где ей будет хорошо, милая старая виолончель, прощай!— Но поступок все-таки был странный.

— Что это — вы нездоровы? — воскликнула вдруг Полина.

— Да,— ответил Борсен и согнулся.— Колет,— прошептал он, едва дыша.

Полина растерялась и хотела бежать за Мартином-работником, но Борсен простонал:

— Нет. Это пройдет — сейчас,— только колет.

Через несколько минут он действительно отнял кулаки от груди и вздохнул глубже:

— Сейчас скорее прошло,— сказал он,— нынче утром было хуже.

Но и сейчас он чувствовал себя все-таки не очень хорошо, губы его были совершенно бескровны, и Полина спросила, не лучше ли, чтоб Мартин-работник проводил его до телеграфа.

Он ответил:

— Я и один дойду. Покойной ночи.

Он зашагал довольно твердо, и у Полины составилось впечатление, что он оправился. В отблеске от окон она видела, как он шел по дороге к местечку и станции, и держался прямо — потом он вошел в темноту, и Полина не видела, что у него опять сделался сильный припадок, заставивший его согнуться и остановиться. Он оглянулся, до местечка было страшно далеко, назад до поместья тоже, он стоял согнувшись под углом и тихонько поводил головой во все стороны, ища, куда бы свернуть. Потом, должно быть, слишком озяб от неподвижного стояния и крошечными шажками двинулся наперекоски по снегу.

Полина последняя видела Борсена; дни проходили за днями, а он не появлялся. Стали искать и расспрашивать, на пароходе он не уезжал, на дорогах его нигде не видали. Исчез. «Сегельфосская газета» оповестила о событии в своем последнем, перед закрытием, номере.

На том и кончилось.

Теодор из Буа готовится к новым предприятиям на Лофоденских островах и вербует экипаж для рыболовной яхты, прежде всего он нанимает Нильса из Вельта, к которому привык. Этот Нильс некоторое время был очень молчалив и угнетен, и все из-за горничной Флорины. Он вел себя чертовски глупо в ту весну, когда оттолкнул от себя Флорину и пустил ее плавать по волнам с приезжим коммивояжером. Правда, потом они помирились, и были у них и танцы по субботам, и много чего другого, но вот все кончилось навсегда: горничная Флорина разбогатела, у нее завелась сберегательная книжка и пропасть денег, и в конце концов она вышла замуж за Юлия. Теперь она хозяйка в гостинице,— ну, что ж, прощай, будь счастлива, только всего! Но оказалось, что у Нильса из Вельта характер очень глубокий, и он не так-то скоро забыл свою любовь, так что только после серьезного совета Теодора он отказался от мысли хорошенько разделаться с Юлием. Потом горе его мало-помалу улеглось, и в последнее время он сблизился с девицей Палестиной. Может, это вышло и к лучшему для него, Палестина имела в Буа заборную книжку и пользовалась большим доверием, про Флорину же Нильс, наоборот, слышал, будто она через адвоката добилась раздела имущества между собой и мужем. Так пусть же Юлий и владеет ею!

Луна скрылась, и звезд не видно, ночь и глубокий страх. И вот появляется Ларс Мануэльсен; куда же это он собрался в такую темень? Он идет вверх по дороге в поместье Сегельфосс, но, пройдя порядочное расстояние, сворачивает в сторону и шагает наперекоски по снегу.

Ни крика сорок, ни оклика или предупреждения, все тихо. Сорока так именно и поступает, она мстит не до смерти, вовсе нет, а наказывает семь месяцев подряд в первый раз, и девять месяцев подряд во второй раз, такой уж у нее обычай, и вот первый раз она Ларса Мануэльсена больше не наказывает. Бог знает, не сороку ли ему надо благодарить за то, что он нашел свои очки, они лежали в кармане его куртки, кожаной куртки с восемью пуговицами и наружными и внутренними карманами, как у заправского богача — в ней-то и лежали очки. Когда Ларс Мануэльсен нашел их, его чувства к сорокам стали менее ненавистны.

Вот он идет наперекоски по снегу. Ему некуда идти, как только к погребу, к алмазной пещере господина Хольменгро, а что ему так надо? Он не забыл, что в погребе, может быть, где-нибудь есть ниша, и решил поискать ее.

Он подходит к двери, замка нет, он открывает ее и входит. Внутри тепло и приятно, холод сюда не проникает. Он чиркает спичку.

Но вдруг Ларс Мануэльсен роняет из руки спичку, он чувствует крик ужаса в своей груди, но подавляет его, останавливает, как икоту, и шатаясь устремляется к двери, шатаясь бежит от погреба — бежит — и останавливается только у двери своей избы.

Когда настает день, он идет к Оле Иогану и говорит:

— Давай, сходим в погреб старика Хольменгро.

— Зачем? — спрашивает Оле Иоган.

— Посмотрим, нет ли там где-нибудь ниши.

Оле Иоган ужасно любопытен и идет.

— Я решил пойти днем, — говорит Ларс Мануэльсен, — потому что ничего не собираюсь украсть.

— Ну, еще бы.

— Потому, что мне это не нужно.

Они подходят к погребу, и Оле Иоган из любопытства входит первым. Но он сейчас же пятится назад и говорит:

— Борсен!..

— Что такое? Что там?

— Борсен! — говорит Оле Иоган. — Он сидит здесь. Он мертвый.

Оба спешат в местечко Сегельфосс и в лавку. Они приходят и разрешают загадку — может, и не разрешают ее, но горды своей новостью. Они ходят и болтают, болтают без конца: он сидит в погребе, он первый, — все узнают об этом, слушают, задумываются на минуту, потом возвращаются к своим повседневным делам. Тем и кончается. А в вышине, прямо к югу, стонут лебеди.

СОДЕРЖАНИЕ

Дети времени
5

Местечко Сегельфосс
199

Литературно-художественное издание

Кнут Гамсун

Дети времени

Местечко Сегельфосс

Романы

Ответственный за выпуск
Г. К. Джапаридзе

Художественное оформление
Б. М. Кравченко

Редактор
С. В. Хрусталева

Технический редактор
А. М. Короб

Корректоры
Л. И. Семенюк, Г. К. Савчук

Подписано в печать 15.07.94. Формат 84×108/32.
Бумага типографская. Гарнитура «Таймс».
Печать высокая. Усл.-печ. л. 26,04. Уч.-изд. л. 28,75.
Заказ № 4-476.

«Эй-Ди-Лтд». 121663 Москва,
ул. Большая Филевская, 35.

Оригинал-макет подготовлен в ИПЦ ММП «Борисфен».
252189 Киев, ул. Дружковская, 10.

Отпечатано с оригинал-макета по заказу ММП «Борисфен»
на материалах заказчика на арендном предприятии
«Киевская книжная фабрика».
252052 Киев, ул. Воровского, 24.

